А. В. ДРУЖИНИН

ПОВЕСТИ
ДНЕВНИК

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



А. В. ДРУЖИНИН

ПОВЕСТИ
ДНЕВНИК



Издание подготовили
Б. Ф. ЕГОРОВ, В. А. ЖДАНОВ

МОСКВА
«НАУКА»
1986

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
С. А. РЕЙСЕР

Д $\frac{4702010100-240}{042(02)-86}$ без объявления



ПОЛИНЬКА САКС

ПОВЕСТЬ



ПРОЛОГ В ДВУХ ПИСЬМАХ

I

От Конст. Ал. Сакса
к Павлу Александровичу Залешину

Давно нет от тебя писем, почтенный пантагрюэлист [1]; стоило бы воздать тебе по заслугам, то есть самому ничего не писать, да в этом случае вся невыгода упадет на мою сторону. Пусть получу я крест, пусть выгонят меня из службы, ты все это проведаешь из газет. Умри я, и об этом, может быть, напишут. Конечно, там не буду я описан «сановником, оплакиваемым подчиненными», даже до «всеми уважаемого мужа» остается мне служить лет пять, а все-таки узнаешь ты, что такой-то Сакс, чиновник особых поручений, исключается из списков такого-то министерства.

А о тебе без твоих писем я ничего знать не буду. Ты богатый помещик, бьешь собак, по выражению наших стариков, в губернии слывешь отцом своих крестьян, да кто же из вас не отец крестьянам? Давай же, стало быть, подеятельнее переписываться.

Кроме всего этого, я сегодня так расположен к откровенности, что положил перед собою лист бумаги, и не подумавши о плане письма. С кем поболтать мне?.. Жена спит, как дитя, подложив ручонки под голову, а я не могу еще спать, благодаря проклятой привычке ночью работать... И сверх того, на душе не совсем весело.

А между тем день и начался и кончился счастливо. Поутру разделался я со следствием, которое на меня взвалили по службе, и кончил его так, что не один богатый синьор почешет у себя в затылке. Без гнева и пристрастия — sine ira et studio — я вывел на свет божий все проделки известного тебе комитета и открыто вызвал на бой дельцов, не отвыкших еще от идеи, что за казну, как за общую собственность, не след вступаться какому-нибудь выскочке. Министр несколько раз прочитывал мой доклад, соглашался с моими доводами и сегодня окончательно благодарил меня. Я воротился домой не без радостного волнения; мысль, что труд мой не прошел даром, дала мне порядочную дозу самодовольствия.

Полинька была хороша, как ангел, весела, как птичка,— все это в порядке вещей. Меня порадовало то, что я застал ее за роялем, а сильный ее mezzo soprano звенел в моих ушах, когда я был еще на лестнице. Ты знаешь, до какой варварской степени наши дамы и девицы

равнодушны к музыке: а моя жена, с горестью признаюсь, хуже всех их на этот счет. Она явно зевает в опере, дома же любит играть польки и галопы. Одна проклятая Sperl-Polka * испортила у меня бездну крови.

На этот раз, однако, она пела знаменитый романс Дездемоны[2]. Много минут из детства и молодости припомнил мне этот гениальный романс. Благодарю судьбу за восприимчивость и память моей души: довольно я пожил и пострадал и позлился на своем веку, а между тем ни одна светлая минута не забыта мною, ни одно ясное чувство не утратило надо мною своей силы.

Я не скрывал своего удовольствия: свежий и сильный голос Полиньки волновал всю мою внутренность. Я думал почти так: из слабой души не может литься такое энергическое пение; а если есть душа, то мы до нее доберемся.

Со всем тем Полинькина манера пения далеко не удовлетворяла музыкальным условиям. Она пела грустный романс «Assisa al piè d'un salice» ** так же бойко и живо, как дозволяется только петь «Черный цвет» или «Jeune fille aux yeux noirs» ***. Она даже прихотливо варьировала окончание каждого куплета, тогда как в однообразии окончания, в одном и том же меланхолическом припеве романса заключалось что-то, говорящее про одну и ту же мысль, неотступную, раздирающую душу.

Я догадался, что смысл романса ей непонятен и что вряд ли она слышала где-нибудь про историю Дездемоны. Оперу у нас еще только собираются ставить, Шекспира мы еще не читаем.

Потому-то, когда она кончила, я посадил ее подле себя, шутя дал ей заметить ошибки в ее пении и, наконец, рассказал ей по-своему историю Отелло и его жены. Она выслушала меня с удовольствием и тут же назвала меня именем венецианского мавра. Было ли это подозрение в ревности или намек на мои рассказы, я решительно не знаю.

Смейся, смейся над нашею ученою болтовнею. На письме оно плохо, а на деле я не знаю высшего наслаждения, как следить за мыслями дорогого нам ребенка, ставить его в уровень с нами и с веком, передавать ему в доступном виде все то, что казалось нам и глубоким и поэтическим,— потому что, я должен тебе признаться, я влюблен в мою жену, влюблен, как ребенок, как старик, как сумасшедший. Сама судьба берегла меня для этой страсти: благодаря болезненному, раннему развитию моих сил первая любовь захватила меня в ребяческом возрасте. Мне было тогда двенадцать лет,— что это была за страсть? А она долго во мне ворочалась, мучительно умирала, и вот почему во всю мою молодость, испытавши все на свете, я не испытал настоящей любви к женщине.

Весь остаток дня Полинька волочилась за мною, прыгала вокруг

---

* полька *(нем.)*.
** «Сидя под ивой» *(итал.)*.
*** «Молодая девушка с черными глазами» *(франц.)*.

меня, как котенок, показывала мне свое хозяйство, которое имеет только то неудобство, что сто́ит вдесятеро дороже всякого другого. Она пересказывала мне свое беспокойство, когда я работал в канцелярии, и по этому случаю высказала довольно оригинальное мнение о моих занятиях. По ее соображениям, мы, запершись по комнатам, пишем всякую дрянь по своему выбору, но не в содержании дело: начальство смотрит наши труды и награждает тех, у кого работа красивее написана. Можешь представить себе, как боялась Полинька за меня, qui écrit toujours en pattes de mouches *.

Конечно, она сама смеялась, рассказывая эти вздоры, со всем тем наивность эта мне не по мысли. Я думал сначала объяснить ей кое-что, однако оставил служебные тайны до другого разу. К вечеру я сам сделался ребенком и чуть не играл с ней в куклы. Она отказалась ехать в театр и к тетке, и вечер наш представлял сладчайший идеал семейного счастия, которому не только бы позавидовали здешние ротозеи-моралисты, но в котором и ты даже не нашел бы пищи своему сатирическому уму.

По обыкновению я не ложился спать, и пока Полинька засыпала, я сидел на постели, нагнувшись к ее личику, на которое, вероятно, никогда не насмотрюсь вдоволь. Оно было так очаровательно в те минуты, когда, под влиянием сна, органы его переставали принимать впечатления от окружающих предметов. Я смотрел, смотрел и досмотрелся до того, что тягостные мысли начали бродить в моей голове.

Отличительная черта Полинькиной красоты — это ее детская миловидность. Верхняя ее губка далеко отстает от нижней: красота ребяческая, а не женская. Вся нижняя часть лица ее так кругла, что на ней не видно ни одной ямочки. Это удивительно идет к Полиньке: но, по моему мнению, женщина в девятнадцать лет могла б обойтись без этого достоинства.

Так, признаки эти согласовались с характером Полиньки... или нет, не с ее характером, а с следами воспитания, которое дали ей примерные родители ее... чтоб их нелегкая побрала! И еще родители не так виноваты, как общество, которое требованиями своими заставило обращать женщин в ребятишек.

Я припомнил жизнь жены моей в девушках: она славилась своею невинностью, иначе наивностью, иначе... Я помню очень хорошо кучу приятелей, которые таяли от восторга при ее шалостях, при ее институтских bons mots! ** И глупая молодежь шептала: «Чудный ребенок! Что за ангел!», не думая того, что нам нужны женщины, а не ангелы. И с какою гордостию старик отец отпустил мне в день свадьбы стереотипную эту фразу: «Берегите мою Полиньку,— она такое дитя!»

Неужели же никогда не приходило вам в голову, почтенный папенька, что для человека, который потаскался по свету, бывал на коне и под

---

* который пишет всегда каракулями *(франц.)*.
** остротах *(франц.)*.

конем, давно распростился с пастушескими помышлениями, название дитяти не есть еще почетный титул?

Невинность, дитя, пансионерка! Все эти слова имеют большой вес между поклонниками женщин, да легче ли мне от этого? И вот уже год, как я стараюсь приготовить милого и дельного помощника измученной моей душе, которая, без шуток, так нуждается в дружбе, в истинной веселости... в потребности болтать от чистого сердца.

И вот уже год, как я бьюсь изо всех сил, чтоб оживить эту миленькую статуэтку! Усилия мои далеки, очень далеки от успеха...

Первою моею заботою поставил я потребность образовать эстетический вкус Полиньки. Я окружил ее предметами искусства, рука ее не коснулась ни до одной вещи, которая бы не была в полной мере изящна. И что же? Редкие мои картины стоят в пыли, цветы сохнут от беззаботности, уборка комнат, над которою я так ломал свою голову, не то что нравится ей, не то чтобы не по вкусу...

Напрасно старался я приохотить ее к музыке: садиться за рояль для нее наказание; несмотря на прекрасный свой голос, она стыдится петь при других и даже при мне. Поет ли она, когда бывает одна, этого я не знаю, а при мне она сегодня в первый раз сыграла серьезную музыкальную пьесу...

Чего же ожидать от чтения? Я, признаюсь, столько видел зла от страсти к книгам, что боюсь даже налегать на этот предмет. Пробовал, однако, я давать ей первые романы Жоржа Санда[3]: я был вполне убежден, что женщине будет доступен гений женщины. Вышло совсем напротив: она зевала, зевала и — бросила книги с отвращением.

Практическая жизнь для нее и чужда и непонятна. В свете ей кажутся странными именно те вещи, которые приближаются к здравому смыслу. Она и знать не хочет, в чем состоит служба ее мужа и зачем бы ему так часто по ночам запираться у себя в кабинете...

Я вижу однако, что я разболтался и порядочно проболтался: пусть будет так; без нужды скрывать дела свои так же глупо, как и трезвонить о них встречному и поперечному. Да и церемониться мне с тобою нечего: недаром мы с тобою вместе учились, вместе шатались по свету и вместе дрались на Кавказе. Конечно, дела эти случались не совсем в свое время: сначала мы пошатались, потом поучились и для увенчания философских теорий отправились истреблять род человеческий.

Все-таки мы приятели, хотя давно уж разошлись в разные стороны. Ты удалился в свою Аркадию и успокоился, moyennant un peu de pantagruélisme *, от бурь и треволнений светских, а я влюбился, женился и ясно увидел, что приходится начинать мой роман с первой страницы.

Письмо это навело на меня много грустных размышлений, а потом экзальтировало меня, как восемнадцатилетнего мальчика. Я захотел еще посмотреть на Полиньку, чтобы рассеять мою мысль, и потому перервал мое письмо и подошел к ней. Она спала, раскинувшись по-дет-

* при помощи небольшого чревоугодия *(франц.)*.

ски, с таким же ангельски бесстрастным выражением лица. Мне хотелось поцеловать ее; боясь помешать ее сну, я чуть-чуть прикоснулся к ней губами. Сердце ее билось так неровно, то тише, то скорее, как будто рассказывало о чем-то с большим увлечением... И я долго, нагнувшись, прислушивался к его стуку...

В эти сладкие минуты я не жил, а бредил наяву. Мне казалось, что это неугомонное сердце пересказывает мне всю жизнь моей Поли: как ее отгоняли в детстве от упражнений, способных укрепить душу и тело, как набивали ей голову всяким вздором и в довершение всего заперли в тесный дом, наполненный подругами и наставницами. Это сердце рассказывало мне, как ему мерещилось по временам чистое поле, и лес с верхушками, колыхавшимися без ветра, и солнце, которое играло и дробилось на гладком озере... Много подобных вещей было мне рассказано, только я щажу твое терпение, потому что ты не женат, не влюблен, да и, верно, более не влюбишься.

Однако воображения твоего хватит настолько, чтобы понять чувство, загоревшееся во мне после всех этих рассказов. Не оставляя сладкого моего положения, я возобновил мою клятву воспитать Полиньку по-своему, хотя бы для этого потребовалось рассориться вконец с обществом. Я поклялся развить ее способности вполне, сообщить ее мыслям независимость и настоящий взгляд на общество и вывесть ее таким образом из ряда хорошеньких, но пустых женщин. Я поклялся укрепить ее душевные силы, направить их ко всему доброму и разогнать облако сентиментальной, бессмысленной невинности, которое давит бедного моего ребенка...

Я чувствую, что я виноват перед Полинькою: в эти полтора года я не сделал из нее всего того, чего мне хотелось, и не сделал именно потому, что подчас сам с нею ребячился, увлекался ее милыми недостатками. В эти полтора года она могла бы сделаться женщиной: в этом убеждают меня и ее легкая насмешливость, и маленькая вспыльчивость, и привычка при споре кусать нижнюю свою губу. Все это признаки характера.

Я не сделал всего того, что мог. Дай бог, чтоб не пришлось дорого поплатиться за минуту глупого нежничанья!

Скоро ли кончу я мой труд? Скоро ли пройдет надобность воспитывать Полиньку? Если желание мое исполнится, как буду я счастлив! С какой беззаботностью выйду я с нею рука об руку навстречу жизни со всею ее дурною и хорошею стороной, и ты посмотришь, как будет умна, бодра и весела крошечная моя Полинька!

II

От Полины Александровны Сакс
к m-me Annette Красинской

Самый счастливый день из моей жизни был тот, когда я получила твое письмо, ma toute belle, mon incomparable Annette *. Я воображала себя в нашей белой зале, в нашем пансионе, который мы так бранили и в котором, право, было превесело.

Маменька доставила мне твое письмо очень верно; ты можешь быть уверена, что кроме меня его никто не читал. Так ты оттого так долго не писала, что не знала, где я живу? В конце письма ты найдешь мой адрес **.

А я было думала, что ты начала ненавидеть меня за то, что я не вышла за твоего брата? Душенька моя, подумай только о том, что папа спал и видел отдать меня за Сакса. Все родные были против этого брака, звали моего бедного Костю чудаком, вольнодумцем и бог знает какими словами,— папа и слышать ничего не хотел. Да и я, признаюсь тебе, шла за него охотно, хотя перед сватовством очень презирала его за злые речи о нашем пансионе... К тому же брат твой уехал лечиться... видно, уж так богу было угодно, Annette.

Ты пишешь, что муж мой и стар и дурен. Ты сама, mon ange ***, два года тому не то говорила. Такого благородного и смелого лица, как у Сакса, нигде не увидишь. Он плешив немножко, да я уговорю его носить парик. А лет ему тридцать два, да и то еще будет в мае.

Потом ты пишешь, зачем он не военный? «Vous êtes arriérée, mon enfant,— сказал бы мой муж: — il faut être de son temps» ****. Нынче статских любят. Да кроме того, Костя был в военной — и был в сражениях даже.

И я не жалею, что вышла за него: весь этот год я была так счастлива; что ни минуты не скучала. Случалось, что мы сиживали долгие вечера совсем одни — и мне было веселее, чем на бале. Чего только не видел Сакс и где он не бывал? Когда его слушаешь, кажется, будто сама ездишь по чужим землям или смотришь на такие дела, что и уму не придумать. Живем мы богато, только больших собраний не бывает у нас. Всех знакомых разделил Сакс по кучкам: если обедают у нас, например, мои родные, то своих знакомых он не зовет. За это сердится очень маменька. А его знакомые всё живописцы, музыканты и молодые чиновники.

Не рассердись на меня, mon ange, за то, что я защищаю моего Костю. За него некому заступиться, не много кто его любит, а больше всё зовут чудаком, иные даже боятся. Папа как-то говорил, что Сакс человек беспокойный и что из-за него много почтенных людей вышло из

---

* моя прекрасная, моя несравненная Аннета *(франц.)*.

** Ни адреса, ни числа в конце письма не оказалось.

*** мой ангел *(франц.)*.

**** «Вы отстали, дитя мое... надо быть на уровне своего времени» *(франц.)*.

службы. Я этого понять не могу: надо видеть, какой он добрый и тихий у себя дома. Он преуморительно всегда раскланивается с моими горничными, и раз я застала, что он сам доставал себе платье, потому что человек его ушел обедать. Я его пожурила немного.

Еще говорят, что он давно дрался с кем-то на дуэли; я боялась расспрашивать об этом,— уж не наделал ли он беды какой! Что, если он только притворяется добреньким?

Другим чудесам его счету нет. Раз истратил он кучу денег и накупил мне в подарок картин, совсем полинявших. И что за картины! Какие-то коровы или разбойники между горами. И еще купил статуи такие, что стыдно в комнату поставить. Над кроватью моей повесил старый портрет прехорошенькой женщины и говорит, что это святая Цецилия [4]. Откуда взял он такую святую, бог его знает.

С моими родными он очень вежлив, однако их не любит и неохотно сходится с ними. Я недавно говорила с ним на этот счет: он долго молчал, потом хотел переменить разговор. Чтобы поспорить с ним, я опять заговорила о маменьке и о папà.

— Я им обязана за многое,— сказала я между прочим.

— А я за одно только,— заметил он.

— За что же?

— За то, что не успели еще совсем тебя испортить.

О! Он мастер говорить такие комплименты. Подруг моих тоже не любит, тебя называет скандалезною дамою. Это за то тебе, что ты, вышедши замуж, поминутно с нами шепталась.

Часто думаю я: любит ли кого-нибудь этот человек? Ни до свадьбы, ни после не сказал он мне открыто, что он хоть сколько-нибудь в меня влюблен. «Любовь моя не на словах, а в жизни»,— говаривал он несколько раз. Чтоб он стал целовать мои руки, чтоб он становился на колени! fi donc! * от этого изомнется рубашка на груди, запачкается платье. Является он ко мне не иначе, как во фраке или сюртуке,— tiré à quatre épingles **,— верх дерзости, если он осмелится надеть летнее пальто вместо фрака!

Если не пишет, то читает всю ночь до рассвета, и папа говорил, что книги его все такие вредные... Я боялась за его здоровье и раз пришла к нему ночью в кабинет. Около него валялись какие-то змеи, скелеты, каменья... книгам и счету не было. Он посадил меня на мягкую ручку своих кресел и рассказал мне историю некоторых своих книг и вещиц, что лежали на столе... Этого человека и глухой заслушается.

Я сама захотела читать, и поутру он принес мне романы Жоржа Санда, о котором, помнишь, с таким ужасом говорила твоя кузина. Костя сказал мне при этом, что Жорж Санд не мужчина, а женщина и что поэтому я скорее пойму и полюблю ее сочинения. Ах, mon ange, если это точно женщина, так пребесстыдная и прескучная. В одном ее

---

* фи *(франц.)*.
** одетый с иголочки *(франц.)*.

романе мужчина пробирается в спальню молодой девушки и стоит всю ночь у ее постели! В тех книжках, что ты возила в пансион, бывали такие же случаи, да там оно так забавно, что знаешь — дурно, а смеешься. А эти книги так скучны, что я бросила на другой день.

А что за холодный человек этот Костя! Раз он довел меня до слез. Я как-то неловко тронула его пальцем, он вздрогнул весь.

— А! Ты ревнивый! — сказала я шутя.

— Да и какой еще ревнивый! — отвечал Костя.

— Скажи же мне, что б ты сделал, если б я тебе изменила?

— Э! Кто нынче изменяет!

— Ну, если бы?

— Как бы изменила? Из прихоти?

— Из прихоти! Разве нельзя представить, что я влюбилась бы в кого-нибудь из твоих приятелей?

— Очень бы влюбилась?

— Да, на всю жизнь, навек, без ума и без памяти.

Глаза его сверкнули так страшно, что я было струсила.

— На что же мне жена без ума и без памяти? Я бы поцеловал тебя и уехал куда-нибудь подальше.

— Ну, а ему-то что же?

— Он-то чем виноват?

Я заплакала, как ребенок: такая холодность хоть кого взбесит. Насилу Костя мог меня успокоить. За что же мог бы он драться на дуэли?

Денег мой муж тратит кучу и вовсе не заботится о своих доходах. В имении, которое дали за мною, сделал он такие перемены, что получать с него мы будем вдвое меньше, чем оно прежде приносило. Папа уж добр, а за это рассердился. «Без нужды уменьшать оброк,— говорил он мужу,— значит давать вредный пример соседним мужикам, уничтожать весь страх и повиновение». А Костя только смеется и слушать ничего не хочет.

Лакомка он страшный, и один стол бог знает во что обходится. Меня уговаривает более есть, наливает мне полную рюмку вина и говорит, что обед его повкуснее мелу и угольев... все это опять на наш счет, душа моя. Сказать ли тебе, Annette?.. Да ты меня выбранишь... Когда он бывает особенно весел, он приказывает вечером подать маленькую бутылочку шампанского, и мы с ним пьем, пьем, mon ange, пока всю бутылку выпьем! С таким чудаком сама за чудеса примешься...

Я бы не писала тебе всего этого, mon cher petit ange*, если б я думала, что муж мой всегда таким останется, как теперь. Давно я стараюсь переменить его и раздумываю, как бы сделать его похожим на всех людей. Когда я выходила замуж, maman говорила мне: «Помни, Поля, что умная женщина может все сделать из своего мужа». И сам Костя не раз говорил: «Хорошенькая женщина может совсем переделать мужчину».

Maman и теперь по временам дает мне все нужные советы, и кажет-

---

* мой дорогой ангелочек *(франц.)*.

ся мне, что Костя теперь не так уже чудит, как на первых порах. Надеюсь, что к твоему приезду он оттанцует польку с тобою и нашими bonnes amies *, бросит свои вздорные книги и... вот, кажется, дрожки его въехали в ворота.

Прощай, ангел мой, ma bien-aimée **. Письма не показывай никому... что, если кому вздумается дорогой его распечатать?..

ДВА ПИСЬМА ВМЕСТО ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

I

От Павла Александровича Залешина
к Константину Александровичу Саксу

Здравствуй, добрый мой Сакс, милый мой jeune premier ***. Дела твои идут хорошо: по ночам мы посиживаем у постели молодой жены? На старости-таки довелось тебе влюбиться,— потому что как ты себе хочешь, а молодым я тебя называть не стану. Мы с тобой старые петухи, даром что нам недавно перевалилось за тридцать; дело в том, что мы в былое время захватили жизни вперед, как забирали в былое же время у казначея третное жалованье[5].

И что ж кому за дело? Люби себе, дружище; я уважаю людей влюбленных; а коли тут еще и законный брак, то я им завидую. Человек женился — и счастлив хоть на год, хоть на месяц, хоть на неделю, а счастлив вполне; и поэтому женитьба преумное изобретение.

Не прими в дурную сторону легкого моего тона насчет гименея и его таинств. Если б мне было лет двадцать с небольшим, я бы не упустил случаю выбранить тебя, осыпать пошлейшими сарказмами семейную жизнь вообще, потому что страсть ругать все на свете и надо всем смеяться есть вернейший признак великой молодости. А для меня давно прошло то время, когда я тешился своим юмором и восхищался собственными своими мизантропическими выходками.

Я уверен, что жена твоя есть не что иное, как крошечный, миленький, умненький ангел.

Frisant un peu le diable par sa malignité ****.

У тебя искони веков был чудесный вкус; ты этим славился. «Сакс похвалил эту вещь»,— говорили все, и суждения прекращались. В таком уважении был твой вкус между прочими смертными. Да сверх того в достоинствах твоей Полиньки убеждает меня еще одно обстоятельство.

* приятельницами *(франц.)*.
** моя горячо любимая *(франц.)*.
*** первый любовник *(франц.)*.
**** почти дьявол со своим лукавством *(франц.)*.

Недавно приехал сюда из чужих краев князь Галицкий. Чей он адъютант, не помню, чином же штаб-ротмистр. Остановился он в имении своей сестры, соседки моей по имению, женщины... ну, о ней да позволено будет умолчать. Сестра эта воспитывалась в одном заведении с твоею женою и все ладила, чтоб выдали ее за этого Галицкого. Тот был так уверен в успехе, что, не объяснившись ни с родителями Полиньки, ни с нею, уехал себе пить зельтерскую воду, которую au prix modéré * продают и в Петербурге. Пивши воду, он прогулял невесту. Вся эта незатейливая история, верно, известна и тебе.

Говорят, что надобно было видеть отчаяние князя, которому, как кажется, все в жизни постоянно удавалось. Прибрежные скалы и уединенные леса наполнялись нежными именами, которыми заочно награждал он твою жену, и страшными ругательствами на сестру и на тебя. Он сделался болен чем-то вроде mania furibunda **. Однако потом он утих, сошелся с сестрою, познакомился с ее соседями и между прочими со мною. Перед отъездом в Петербург он вызвался доставить тебе мое письмо.

Я рассудил, что прятаться тебе от него не следует, к тому же вы знакомы, будете встречаться в свете,— стало быть, можно исполнить его желание. Вот почему это письмо передаст тебе князь Галицкий, первый полькер и вальсер в русском царстве.

Я тебя знаю, почтенный приятель. Прочитавши все это, ты усмехнешься, пожалуй покажешь мое письмо жене и подумаешь про себя: «Адъютантик! Князек! Полькер? *Пхе, пучзат!* [6], как говорят горцы». Нет, добрый мой Сакс, Галицкий не пхе, а человек довольно опасный, потому, что он горд, как дьявол, и что рано заслуженный, блестящий успех в свете выдвинул его из ряду обыкновенных людей.

Отними у любого знаменитого писателя его славу: думаешь, что его новые произведения будут так же хороши, как прежние? Припомни по этому случаю собственное твое изречение лет десять тому назад: «Дайте мне славы в кредит — и я сделаюсь отличным писателем».

Отними у какого-нибудь государственного человека его prestigium ***: ты думаешь, что труд его будет так же смел, и легок, и скор?

Галицкий родился пустым человеком, учился же и мало и плохо. А теперь дают ему трудные поручения, и он выполняет их на славу. За границей женщины умнее наших, а расспроси-ка, каких чудес он там наделал! Повторяю тебе: гордость и слава дали ему ум таким же путем, как ум твой доставил тебе и почет и богатство. К тому же Галицкий молод и на лицо прехорошенький мальчик.

Мне, признаюсь, он понравился, как человек до неимоверности разнообразный в своих удовольствиях. Достоинство это дает ему перевес над светскою молодежью, которая за порогом бальной залы и за рубежем каменноостровских дач [7] решительно не знает, что из себя делать.

* по умеренной цене *(франц.)*.
** буйное помешательство *(лат.)*.
*** престиж *(франц., лат.)*.

Убеждений у Галицкого нет никаких или их так много, что сам чорт за ними не угоняется. Он способен просидеть целый месяц в монастыре и удивить всех благочестием, может толковать с вашими мудрецами о благоденствии рода человеческого,— может есть пять раз в день и пить две ночи кряду. И главное, делать все это от чистого сердца. Надувание самого себя перешло к нему в жизнь, воплотилось вполне, и потому есть уже жизнь, а не простое надувание. Мы с ним часто ездили на охоту, спали на голой земле и пировали преисправно; а в Петербурге будет он задавать выпляски и подсмеиваться над житьем помещиков. Ну, бог с ним.

Что до меня, то я весел и счастлив, prêt à boire si vous voulez *, живу более в своем имении, прикупил себе дачу на самом берегу моря. Это мой Тибур [8], правда, здешнее фалернское «кислятина во всех отношениях», да это не беда. Одесса недалеко. Правду сказал древний мудрец: живи там, куда судьба тебя ткнула, пей, ешь и не думай о других.

Да ты ведь новатор и реформатор... ты мастер вопиять об индивидуализме и оптимизме. Я и сам не перестал еще посматривать, как ваша братья ученые переливают из пустого в порожнее по всем европейским столицам, и мог бы смастерить себе новую теорию счастия,— да лучше остаться при старой.

Счастие, любезный мой Сакс, чрезвычайно трудно сосредоточить в одном себе, несмотря на все расположение наше к эгоизму. Счастливый человек похож на газовый фонарь, потому что бросает вокруг себя светлый круг на известное пространство. Другими словами: счастие похоже на вкусное кушанье: его кладешь в рот, заботясь только о желудке, а между тем все члены крепнут, все тело толстеет и лезет врозь. Пусть мое хозяйство послужит подтверждением моего гастрономического афоризма.

Главное мое поместье купил я у юноши, который прокутился дочиста и совершенно разорил мужиков. Он любил понтировать: мужички платились за проигрыш, не получая с выигрыша ни малой частички. Когда имение продали мне, я приехал сюда, зная, что еду не в Эльдорадо [9], зато и решился ни о ком и ни о чем не заботиться.

Не успел обойти я своих владений, как мне сделалось тошно. Вместо деревень торчали какие-то руины, которые, сам знаешь, в России не так красивы, как на берегах Рейна. Физиономии тощие, жалкие поминутно попадались мне навстречу, отвешивая низкие поклоны. Я потерял весь аппетит,— что ты будешь делать? — и долго обедал я прескверно. Чуть выйдешь из дому, те же руины, те же госпитальные физиономии. Прошло два года, и я уже гуляю везде, и гуляю и ем с удовольствием. Вместо развалин стоят хорошенькие домики, без которых никуда не годен русский пейзаж, а рожи-то мне попадаются! радость и веселие! Не поверишь, как скоро разжирел поджарый этот народ.

Итак, теперь я совершенно доволен своею судьбою. Приятно, любезный друг, есть три раза в сутки, спать два раза и постоянно видеть во-

---

* готов выпить, когда угодно *(франц.)*.

круг себя жирные физиономии с лоснящимися носами, толстые животы с колеблющимися стопами. Не думаю, чтоб я скоро попал в ваш Петербург, где ни один год не обходится без гриппа, геморроя и тифуса.

Стой! Стой!.. Я хотел было запечатать письмо. Прескверная, преутомительная работа писать, что бы то ни было. А все-таки придется настрочить еще листок.

Ты просишь у меня совета, каким образом лучше выполнить перевоспитание твоей жены,— то есть совета ты не просишь, а стороной на него напрашиваешься: я знаю твою волчью манеру. Отчего же не посоветоваться с хорошим человеком? Тем более что советы мои так же славились, как и твой вкус. Они отличались совершенною неудобоисполнительностию, потому-то я и приобрел такую славу. При всякой беде так и говорили: «Вот не послушался Залешина, а было бы добро». Впрочем, читая твое письмо, вижу я, что советовать тебе вещь трудная.

Письмо твое изобилует красотами слога и решительно не дает мне понять, какого роду воспитание желаешь ты дать своей жене,— короче, чего ты от нее хочешь? Ты хочешь и вывести ее из ряда обыкновенных женщин, и показать ей жизнь, и дать помощника своей душе. Ай, Константин!.. В тридцать лет от роду неприлично откалывать такие юношеские фразы. Фактов мне, фактов подавай,— я глух на все отвлеченные порождения идеализма.

Ты хочешь из нее сделать себе помощника. Помощника в чем? Занятия эти не определены в особом уставе, как занятия помощника секретаря или помощника бухгалтера. Я понял одно только из твоего плана: ты хочешь развить в жене эстетический вкус и немножко насмешливый взгляд на жизнь с ее огорчениями. То и другое я одобряю.

Потом... да всего не опишешь. Лучше, знаешь ли что?.. напиши мне, как понимаешь ты значение женщины в наше время; пусть я узнаю, чем ты хочешь, чтобы была для тебя твоя Полинька. Составь мне свой идеал и перешли его по почте, только не смотри на то, что я сказал идеал. Мысли твои пусть будут также просты, осязаемы, как самые факты.

Я тебя не виню вполне. Требования нашего века относительно женщин — странны, неопределенны и сбивчивы. В сочинениях лучших писателей и самых плохих бумагомарателей напрасно станем мы искать ответа на вопрос: «чем должна быть женщина в наше время?» Лучшие европейские таланты пасуют или силятся нарисовать нам ряд невероятных фигур, поместив его вне места и времени. Отцы наши восхищались Клариссою и Юлиею [10], и то были идеалы, сообразные с своим веком. А для девятнадцатого века нет еще ни своей Клариссы, ни своей Юлии.

Русские писатели откровеннее: они или почтительно обходят женщин и пишут рассказы без героинь, или выводят на сцену какое-нибудь бледное, забитое существо...

Я вижу, что жена твоя мало училась и еще менее видела, как живут на свете. Бравши девушку, избалованную пансионерку, ты должен был рассчитать это заранее. Учить ее по книгам поздно, продолжай с нею свою дидактическую болтовню: женщины так любят, когда им расска-

зывают умные сказки. Дездемона влюбилась в арапа, слушая его рассказы. И я всегда думал: горе мужьям, если жены по временам их не заслушиваются.

Не держи ее в Петербурге: там она ничему хорошему не выучится. Или вези ее за границу (конечно, не в Баден-Баден и не в Эмс), или к нам, на юг России. Вот природа так профессор: кто не понимает ее уроков, даром что они достаются gratis?.. *

А женщины любят природу: не раз наблюдал я, как хорошенькая дама глядела на закат солнца за лесом или на беготню облаков перед бурею. Само собою разумеется, такие занятия происходили не перед балом и не за примеркою нового платья... да и то добро.

Без сомнения, и тебе надо везде быть с женою. Пора бросить столицу: чего тебе еще ждать? Съездил по шапке двух, трех крючкодеев — и отходи в сторону. Все несчастия твои происходили оттого, что везде умел ты залезть в драку, или, по-твоему, в борьбу. Оставь же все это: ты поработал на своем веку, поживи же для себя; не всякому достается такая миленькая женка. Навстречу какой еще борьбе хочешь ты выйти с нею рука об руку, говоря словами твоего письма? Эка страсть ходить в атаку! Экое юношеское бушевание!.. Музыку сюда, музыку! Пусть сыграет она тебе тот марш, под который в старинные времена отхлопывали мы ногами по вспаханному полю.

Прощай же, пантагрюэлист твой тебе кланяется. Если заедешь ко мне по пути, будет куда поместить и жену твою и тебя: дом у меня преогромный. Право, приезжай, милый Panurge **, мы посетим оракул дивной бутылки [11] и выспросим его мнение насчет супружества в XIX столетии.

От m-me Annette Красинской к Полиньке Сакс

Спасибо тебе за письмо, ma petite Paulette ***. Здорова ли ты, миленький мой персик? Такая ли же ты толстенькая и веселенькая, как в прежние времена? О себе мало хорошего могу пересказать: впрочем, о моем житье-бытье можешь ты спросить у брата, который хотел доставить тебе мое письмо.

Вот ты и рассердилась, я знаю это. Тебе противно видеть бедного моего Сашу. Полинька, пожалей и его и меня: никакое перо не напишет, сколько настрадалась я за это время! И теперь сердце мое совсем испугано, я не могу привести мыслей моих в порядок, а, прости меня, виновата тут немножко и ты.

В Италии брат мой узнал от кого-то из русских, что ты замужем. Сперва он не поверил этому, потом как сумасшедший поскакал в Россию. По делам надобно было ему заехать в Одессу, оттуда приехал он ко мне, не пивши, не евши, не спавши.

---

* даром (*лат.*).
** Панург (*франц.*).
*** моя маленькая Полинька (*франц.*).

Я испугалась не на шутку, когда он вбежал ко мне, худой, бледный, с глазами как огонь. «Правда ли, что она вышла замуж?» — было первое его слово. Я не знала, что отвечать, и залилась слезами. Он упал на стул и несколько минут не мог ничего выговорить. Я, наконец, подошла к нему и поцеловала его. Голова его горела как в огне. Мы с мужем уговорили его лечь в постель; в этот же день открылась у него страшная горячка.

Я просиживала ночи у его постели. Он плакал, метался во все стороны, проклинал свою ветреность, называл тебя не иначе, как своею Полинькою. То хотел он застрелиться, то с восторгом припоминал время, когда он видел тебя в пансионе и по часам говорил с тобою. В первый раз заснул он только, когда кризис болезни миновался: воспользовавшись этим, и я ушла в свою спальню и заснула как убитая.

Вдруг чувствую я, кто-то меня трогает. Просыпаюсь; он стоит передо мною, в сюртуке и каске.

— Сестра, вели же мне дать лошадей,— сказал он,— разве я ребенок, что меня не пускают?

— Зачем тебе ехать? — спросила я.

Он весь вспыхнул и затрясся. Он говорил, что кому-нибудь из двух надо выбраться со света, что Саксу, видно, на роду написано сталкиваться с Галицкими. Я поняла, что он хочет ехать в Петербург и стреляться с твоим мужем.

Долго умоляла я его опомниться: он и слышать ничего не хотел. По счастию, увидел он у кровати моей твой портрет, который с тебя писали, когда тебе было двенадцать лет. Сначала он бросился к нему с ожесточением, схватил его со стола, но, вглядевшись в твои черты, стал целовать его, жать к своей груди. Усилия эти так его ослабили, что мы опять снесли его на постель без труда. Наконец он успокоился, перестал тосковать и как будто привык к мысли, что ты не можешь ему принадлежать. «Все, что мне осталось,— говорил он мне с тех пор,— это изредка видеть ее и молиться за ее счастие».

Боже мой, Полинька, как мне становится грустно, когда я подумаю, что сделалось из этого молодого человека, за которым так гонялись наши дамы, который жил так беззаботно и не знал, есть ли горе на свете...

Перед отъездом его я дала ему это письмо. Ангел мой, пожалей его, присоветуй ему чем-нибудь заняться, обласкай его. Он еще так молод, все это пройдет, он переменится, будет иметь к тебе дружбу... без этого он или застрелится, или попадет в какую-нибудь беду. Пуще всего, не говори твоему мужу, что ты знаешь про всю эту несчастную любовь: избави бог, если они встретятся. Ты не знаешь, какой человек этот Сакс: он погубит бедного моего Сашу. И теперь я ночей не сплю, когда об этом думаю.

Ты пишешь о дуэли, в которой когда-то был замешан твой муж,— я расскажу тебе всю эту историю, чтоб ты поняла, как необходимо тебе беречь моего брата и как может повредить ему излишняя твоя откровенность с мужем.

История эта случилась, когда я только что кончила свое ученье, а ты была еще в средних классах. В то время, по какому-то случаю, много русских жило в Париже, и они, по обыкновению нашей молодежи, сорили деньгами и веселились вволю. Муж твой тоже там жил и рассказывал всем, что учится чему-то,— как будто нельзя учиться у себя дома.

На одном из тамошних театров была в большой моде молоденькая и преизбалованная актриса. Она играла по большей части мальчиков... можешь судить, какого поведения была эта женщина. Почему-то наши шалуны не взлюбили ее, а особенно однофамилец наш Галицкий, не князь, а просто Галицкий, товарищ Саши и приятель его по корпусу. Актриса, по какому-то особенному случаю почувствовав припадок скромности, не пустила к себе Галицкого, несмотря на все его старание сблизиться с нею. То был мальчик бойкий, умный, богатый и вовсе не привыкший к таким отказам. Он подобрал себе компанию из ее противников и решился дать порядочный урок своенравной актрисе.

Один вечер, чуть вышла она на сцену, поднялся шум, гвалт, каждое слово ее встречалось свистками и насмешками. Публика увлеклась скоро общим расположением, шумела и потешалась. Кто кричал петухом, кто блеял, как баран, а Галицкий давал полную волю своему негодованию и просто бранился из первого своего ряда. Прием этот так удивил актрису, что она раскапризничалась, подошла к рампе, хотела что-то сказать и залилась слезами.

Ну, конечно, молодежь светреничала, да что же это за криминальное преступление?

В это время Сакс вышел из своего ряда и, ставши у оркестра, обратился к передним рядам публики.

— Господа,— сказал он, обращаясь и к шумящим и к нешумящим,— я объясню вам причину этого скандала. Вчера один мой приятель бился об заклад, что он в четверть часа успеет поднять всю публику против самой любимой ее актрисы.

Слова эти ловко были придуманы, шум стал утихать, и скоро все заметили, что продолжал кричать один Галицкий. Приятели решились поддержать его, и шум опять было стал подниматься. Тогда муж твой подошел к Галицкому и силою посадил его на место. Осрамленный безжалостно перед всею публикою, бедный Галицкий бранился и кричал, пока полиция не заставила его выйти. Перед уходом, однако, он вызвал на дуэль Сакса, почтенного защитника актрисы.

На другой день хотели их помирить. Кто же, думаешь ты, отказался? Теперешний твой муженек. Он потребовал безделицы — чтобы Галицкий поместил в газетах извинительное письмо перед этой девчонкой, которая, к довершению эффекта, еще и захворала или сказалась больною.— Вот оно, рыцарство!

Галицкий взбесился еще хуже. Их развели: Галицкий выстрелил первый и дал промах. Сакс подошел к нему и стал тихо говорить с ним. Разговор этот пересказал мне сосед мой по имению, Залешин, бывший секундантом в этом несчастном деле.

— Напишите письмо и выставьте внизу первую букву вашего имени,— говорил Сакс.

— Не хочу,— отвечал Галицкий.

— Не подписывайте же письма вовсе — только уезжайте отсюда.

— Не хочу,— говорил Галицкий.

Великодушный рыцарь покачал головою, отошел на пятнадцать шагов — и прострелил ему голову. Тот и не пикнул. Мало этого. Ты думаешь, он бросился к убитому, плакал, рвал свои волосы? — Сакс подошел к секундантам, которые хлопотали около мертвого тела, и холодно взглянул на обезображенное гневом и судорогами лицо Галицкого.

— Господа,— тихо сказал он,— не жалейте об этом молодом человеке. Верьте мне, из него бы вышел только бездушный изверг.

Этому-то случаю, ma petite Paulette, обязана ты тем, что слушаешь такие милые рассказы о Кавказе и сражениях, где был твой муж. Да он недолго был там... через год ему все воротили.

Я бы не написала тебе этого несчастного рассказа, если б не шло дело о том, как предохранить брата моего от беды. Я вполне уважаю твоего мужа, и несмотря на то, что я, по словам его, скандалезная дама, мне не хочется чернить его в твоих глазах.

Ты поймешь теперь, душенька Полинька, почему я прошу тебя так горячо за моего брата. Позволь ему хоть смотреть на тебя, хоть изредка поговорить с тобою. Поучи его уму-разуму и пожалей о нем: по душе своей он стоит этого, по душе он ребенок, добрый и благородный. Бояться тебе нечего: ведь это только в романах пишут, что выходит беда, если при муже и жене заведется еще влюбленный молодой человек.

ГЛАВА II

Пока два эти письма лежат еще в кармане у князя Галицкого и податель их обдумывает план атаки на чужое счастие, посмотрим на житье молодых супругов, принявших такое похвальное намерение — перевоспитать друг друга по-своему.

Был час второй перед обедом. Полина Александровна Сакс сидела в своем причудливо убранном будуаре, сморщившись, надув губки, нахмурив брови по образцу Юпитера Олимпийского. Она рассеянно перелистывала книжку карикатур Гранвиля[12], которого талант в то время уже начинал выказываться.

Было отчего сердиться и думать о своем несчастии: целая буря бед, огорчений, обманутых надежд, разочарований обрушилась на хорошенькую голову молодой дамы.

Прежде всего да будет известно, что Поля (то была прескверная и презлая собачка, которую мадам Сакс, в избытке нежности, назвала собственным своим именем), Поля объелась и захворала. Скверное создание, с мутными глазами и мокрым рылом, лежало на другом кресле, на мягкой подушке, и угрюмо ворчало на свою госпожу, к которой и самые злейшие псы подходили и ласкались, как к двухлетнему ребенку.

Потом — платье, в котором надо было ехать сегодня в собрание [13], не было еще готово. Правда, мадам Бар, или Изамбар, или Нальпар божилась, что к вечеру все поспеет... да это что за отговорка?

Потом — маменька только что уехала, а перед тем побранила Полиньку, зачем позволила она мужу везти себя вчера в русский театр [14].

Потом — и это было, точно, ужасно — курьер приехал ранехонько поутру и потребовал Сакса к министру. Сам Костя вчера рассказывал, что теперь на время развязался со службою, а вдруг, не доспавши, вскочил как угорелый и до сих пор не приезжал.

Итак, вам легко понять, отчего широкая, готически убранная комната казалась Полиньке и пуста и мрачна, отчего группа Амура и Психеи, грациозно выдвигавшаяся от противоположной стены, выводила ее из терпения своею непристойностию, отчего святая Цецилия, изгнанная из спальни, как-то лукаво смотрела на мадам Сакс и как будто подсмеивалась над ее горем.

Вот почему Полинька Сакс уже с полчаса сидела в широком кресле, прижавшись совсем к уголку, подогнувши ножки и уцепившись руками за колени. Три собачки, загнув хвосты кверху, напрасно ходили около нее: она не садилась к ним на пол, не целовала их, а только время от времени заботливо посматривала на больную свою Полю.

Вдруг собаки поджали хвосты и, будто по команде, справа по одной вышли из комнаты. Чьи-то шаги послышались вдалеке: Полинька нахмурилась еще больше, еще крепче прижалась к уголку кресел... и, несмотря на все усилия, не могла-таки сдержать самой веселой, самой несердитой улыбки.

В комнату вошел Константин Александрыч Сакс, в черном фраке и черном бархатном жилете. Следы нелюбимой работы еще не успели исчезнуть с его лица; с озабоченным видом прошел он к креслу, на котором сидела Полинька и две трети которого все еще оставались пустыми.

Вдруг улыбка показалась на его лице, он бросился в кресло, загородил уголок, в котором Полинька сидела, и обхватил ее талию.

— А! Мы сердимся,— говорил он, целуя ее,— знаю я привычку жаться к уголкам, знаю твои кошачьи манеры!

— Тише, Костя, тише,— кричала Полинька, царапая мужа без всякой церемонии,— не видишь ты, Поля больна...

— Ты больна? Что с тобой, птичка?..— Он с беспокойством посмотрел в лицо Полиньке.

— Ай, ай! И жену от собаки не отличит.

— А! Так эта Поля больна,— сказал Сакс, покачав головою и взглянув на собачонку, которая все ворчала.

Грех великий христианское имя
Нарекать такой поганой твари [15].

Это сказано о жабе, да не велика разница.

— Ах, гадости! Слушай, Костя,— продолжала Полинька с серьезным видом: — зачем ты меня вчера обманул?

— Это как?

— Куда ты сегодня чуть свет уехал?

— Служба, птичка моя, служба, от нее не запрешься.— И лицо Сакса приняло прежнее выражение досады и беспокойства.— Сегодня бы уж не в счет, да вот горе какое случилось...

— Что, что такое?

— Мне надо ехать отсюда на три недели.

Полинька оцепенела, испуганные глаза ее остановились на муже, сердце ее замерло.

— Куда? — с усилием выговорила она.

— Верст за четыреста. В ***ов [16].

— Боже мой, зачем же?

— Мне поручили важное следствие.

— Ну, я поеду с тобою.

— Птичка моя, если б я только мог везде ездить с тобой, как с маленьким братишком! Иному покажется смешно, что я еду с женой на службу, да мне что до этого! Только ты ведь балованное дитя, выдержишь ли ты скачку по теперешним дорогам? А на месте я должен шуметь, браниться, допрашивать, ездить туда, сюда... ты не выдержишь этой муки.

— Не езди, Костя друг мой! Мне так страшно, так страшно. Откажись, кончи со службою, чего тебе еще надобно?

— Полинька моя,— сказал Сакс, крепче и крепче сжимая ее талию: — спасибо тебе, дитя мое. Ты мне даешь добрый совет, и я за тебя радуюсь. Видит бог, я бы все сделал для тебя, а отказаться от следствия не могу.

— Да что это значит следствие?

— Слушай и суди сама. Служил здесь в Петербурге старый ябедник, злая выжига, некто статский советник Писаренко.

— Знаю... я видела его. Он правил делами старого генерала Галицкого.

— Отца этого адъютанта?

— Да, да. Ну, что же Писаренко-то?..— И она прислонилась головкой к широкой груди Сакса.

— Не знаю,— продолжал Константин Александрыч,— как вел он дела покойного князя, а служебную часть вел из рук вон плохо. При своем важном месте во *** ве, он обсчитал и казну и имевших дела с казною и взял себе в карман тысяч более ста. По отчетам его, которые я разбирал, открыл я это воровство и обвинил и его и товарищей. Ты знаешь, что такое казенные деньги. Их дает мужик из скудного своего достатка, их надо беречь и тратить только на дело. За какие подвиги достались они мошеннику Писаренке? Поэтому за это дело горячо вступились и, в знак доверия, поручили мне разъяснить всю эту историю. Там можно сделать кое-что доброе.

— Это так, Костя, да мне не к добру грустно... Оставь это, не езди...

— Положим, я откажусь. Положим, что мне простят явное нарушение служебного порядка. Но честь моя может пострадать. Кто поедет на мое место? Как кончит он дело, мною поднятое? Может поехать не-

опытный человек и запутать себя и меня. Может поехать жадный человек и к одному злу еще зло прибавить...

Сакс остановился. Полинька, закрыв лицо руками, плакала навзрыд и слушать не хотела хладнокровных его доводов.

Сакс был вспыльчив, как все нервические люди. Огорчения дня часто вымещал он на лицах, вовсе не причастных этим огорчениям. С досады он так повернулся в кресле, что больная собака залаяла и вскочила с своего места. Полинька, уцепившись за ручку кресел маленькими, но сильными своими руками, вспорхнула и бросилась к Поле.

Константин Александрыч тоже встал и начал ходить по комнате.

— Полинька,— сказал он, остановившись перед женой, которая укладывала собачонку на старое свое место и горько плакала,— пора нам бросить эти идиллии. Долго ли тебе оставаться ребенком и не двигаться вперед? Когда ты будешь женщиною? Я люблю тебя, но я не содержатель пансиона. Я человек простой, человек служащий,— меня часто огорчают: нам с тобой некогда обо всем плакать. Выучимся лучше жить и веселиться, где только можно. Подумай, что́ будет из нас через десять лет: неужели и в тридцать лет от роду ты такою же останешься?

— Не езди, Константин! — могла только выговорить Полинька и заплакала пуще.

Поспешим извинить бедное дитя: оно тосковало не из прихоти. Какое-то предчувствие беды, непонятная грусть подступали к Полинькиному сердцу, чуть только начинала она думать об этих трех неделях отсутствия мужа.

Но Сакс не знал этого: он не верил предчувствиям. Минутная, но горячая досада волновала его душу, он ходил большими шагами взад и вперед по комнате, и когда испуганная собака встретилась ему на пути, он отбросил ее ногою в другой угол.

Полинька взяла собачонку на руки и отошла в уголок, боязливо посматривая на мужа.— Слезы, как крупные брильянты, остановились в ее глазах. Саксу и это не понравилось..

— Боже мой! — говорил он отчасти вслух, отчасти про себя, продолжая свою маршировку по комнате.— Год любви, год стараний, год горячего труда прошел совершенно даром... До чего добивался?.. Те же бессознательные слезы при малом горе, та же бесконечная возня с собачонками... Не глуп ли я? Способен ли я к тому, за что принялся, или уже нельзя иначе, или...

Он ударил себя рукою в голову. Тяжкая мысль, сомнение в способностях жены, посетила его...

Нет, она не глупа. Столько светлого, хотя и детского разуму замечал он в речах ее!

Или у нее нет воли, нет энергии в характере?

— Полинька,— опять начал Сакс, подходя к ней.— Я затронул твоего Цербера, извини меня. Поругай меня хорошенько, я совсем мужик, негодный для дамского общества.

Но Полинька не смотрела на него, не отвечала ему. Она была огорчена. В первый раз в жизни пришлось ей выслушать порядочную нота-

цию, и за что же? За то, что ей сделалось грустно, за то, что ей жалко было расстаться с мужем. Ее тихость, ее детский характер, превозносимые всеми до небес,— сделались предметом нападков со стороны Константина.

Ей было досадно. Ничего не говоря, сидела она в уголку, и ей становилось грустнее и грустнее.

Но страшно было действие этой первой ссоры на Константина Александрыча. То был человек страстный и постоянный, вечно свободный во всех своих поступках. Если он не ладил с кем, то не ладил на всю жизнь, не признавая необходимости приноравливаться к чьему бы то ни было характеру. Фамилизм [17] и его мелкие, губительные драмы и во сне не мерещились его вольной и широкой мысли. Бродячая жизнь в молодости, богатство и любовь в зрелых летах избавили его от грязной стороны семейной жизни.

И вдруг, как змея из розового куста, бросилась к нему, обхватила его эта семейная жизнь, со слезами и злыми собачонками, с беспорядками и ссорами...

Сакс сел на старое место и угрюмо повесил голову.

А между тем гнев Полиньки прошел. Милый ребенок уже готов был броситься на шею своему мужу. Пусть он начнет, говорит, однако, ложный стыд...

Она подошла к роялю: спела романс Дездемоны, сыграла Sperl-Polk'у. Бедняжка, она не знала, как солоно приходилась Саксу Sperl-Polka.

Она стала ходить по комнате. Она знала, маленькая кокетка, что муж любил ее торопливую походку и заглядывался на крошечные ее ножки.

У Сакса сердце повернулось в груди. Куда делась досада, куда скрылся призрак семейных ужасов!

Однако он крепился, молчал, смотрел еще угрюмее, но смотрел в ту сторону, где ходила Полинька... Ему хотелось помучить ее.

Не вините Константина Александрыча: вы, может быть, не знаете, какое болезненное, упоительное наслаждение мучить ребенка, за волосок, за улыбку которого мы готовы отдать полжизни? И еще как мучить!

По этому поводу я скоро расскажу вам другую историю... грустную историю, странную историю.

Сакс все молчал и сидел, угрюмо наклонив голову.

Полинька вынесла из своей спальни какие-то книжки и подошла к мужу.

— Смотри, Костя,— сказала она: — вот что прислала мне сегодня Таня Запольская. Стоит ли их читать? Ты ведь все знаешь.

Константин Александрыч взглянул на книги: то был бесконечно длинный французский роман.

— Брось это,— сказал он: — лучше ничего не читать, чем портить свой вкус этою дрянью.

— Да мне хочется читать что-нибудь,— говорила Полинька, взявши с этажерки роман Жоржа Санда «Les Mauprats» *.— Это хорошо?

* «Мопра́» *(франц.)*.

— Это очень хорошо, Полинька, да ведь ты же выбранила Жоржа Санда напропалую.

— Ну, я виновата, я стану его читать.

— Ты еще жаловалась, что ничего в нем не понимаешь.

— Я читала без охоты: теперь я буду стараться. Хочешь Костя,— сказала Полинька с веселым видом, с которым отпускала страшнейшие свои наивности: — хочешь, я буду учиться по этой книге. Видишь,— тут она загнула два верхние листка,— я выучу это, как долбили мы в школе: Il est temps de lever nos yeux vers le ciel... Calypso ne pouvait se consoler du départ... *

— Э! Черт возьми! — вскричал Сакс, выведенный из терпения чересчур невинною выходкою Полиньки.— Притворяешься ты, что ли? Будет ли конец этому?..

— Чего ты сердишься? — И она по-прежнему показывала ему первые листки книги.

— Да разве долбят эти вещи? Да разве учат что-нибудь наизусть в твои лета? Где мне взять терпения!

И, призывая на помощь терпение, вспыльчивый Сакс вырвал из рук Полиньки роман любимого своего писателя.

— Дай мне книгу, я хочу читать ее! — кричала Полинька, теряя терпение в свою очередь.

— Mais que diable, madame.

— Mais que diable, monsieur!.. ** — и Полинька топнула ножками, сперва одной, потом другою.

— Que diable, que diable! — с радостью закричал Сакс, притягивая к себе жену за обе руки.— Живее, друг мой! Брани меня, сердись хорошенько! Morbleu! parbleu! sacrebleu!.. *** — посылай меня к черту.

— Morbleu!.. parbleu!.. Костя, Костя, ты все хочешь, чтоб я была как мальчик!

Константин Александрыч был побежден. Все эти сцены и утомили его и разнежили, как это водится с людьми, до безумия влюбленными. Он посадил Полиньку на диван и сам сел с нею рядом. Очередь читать наставления осталась за m-me Сакс.

— Константин Александрыч,— важно говорила она, пока муж, ничего не слушая, целовал ее кругленькую шейку: — долго ли тебе дурачиться, чудить, шуметь из пустяков?.. Ведь ты живешь в свете, друг мой... с людьми живешь, душенька...

— Прошу покорно! — И Сакс не мог удержаться от смеху.— Она же читает мне мораль! Она же меня журит! Ну, да говори, говори; мне что за дело,— го̀лоса только не переменяй...

Долго бы Полинька читала мужу разные вздоры, целиком почерпнутые из бесед с маменькою, если бы шум чьей-то походки не спутал совершенно нити ее наставлений.

* Пора обратить наши взоры к небу... Калипсо не могла утешиться по поводу отъезда... *(франц.)*.

** Но какого черта, сударыня. Но какого черта, сударь! *(франц.)*.

*** Черт возьми! *(франц.)*.

Вошел камердинер и доложил, что князь Галицкий просит позволения видеть Константина Александрыча и Полину Александровну.

— Это бы зачем? — вырвалось у Сакса.

— Письма имеют передать,— отвечал камердинер на размышление своего барина.

— Ах, от сестры! От Annette!..— радостно вскричала Полинька.— Проси, проси! — Лакей вышел.

— Ловко ли это? — спросил Сакс жену.— Ведь он на тебе сватался?

— То есть собирался. Мне-то что за дело? Сам прогулял. Ты ведь его знаешь?

— Знавал на Кавказе и здесь видел. Придется продолжать знакомство, а куда мне его девать? Твои родные с ним не в ладу, для моих знакомых он и молод еще и знатен. Передать его разве в твое полное распоряжение?

Полинька покраснела, и сердце ее забилось.

ГЛАВА III

Вошел стройный молодой офицер и после первых приветствий и расспросов отдал по принадлежности оба письма, известные нам по содержанию.

— Эта услуга не велика,— сказал он, передавая Саксу письмо от Залешина: — зато я претендую на особенную благодарность Полины Александровны. Для таких писем почта тиха, а я ехал скорее почты.

— Что Annette? Здорова ли она? Дайте же письмо.— И Полинька стала читать послание своей подруги, нисколько не думая о том, что в комнате был посторонний человек и что глаза этого молодого человека так ловко следили за каждым ее движением.

Сакс положил свое письмо подальше и, разговаривая с князем Галицким о военных событиях, при которых, во время óно, столкнула их судьба, всматривался в него с любопытством и не без особенного удовольствия.

Князь Александр Николаевич имел одну из тех редких физиономий, которые нравятся с первого разу и мужчинам и женщинам. Правильные черты лица его казались и тоньше и умнее от матовой, несколько болезненной бледности, к которой чрезвычайно шли маленькие черные усы, приподнятые кверху. Рот его сохранял нежное, детски-ласкающее выражение, которое остается надолго у мужчин, бывших в детстве особенно хорошенькими мальчиками.

Он был высок и строен: но несколько жиденький стан его как будто был остановлен в своем развитии. Мундир с серебряным шитьем делал князя еще моложе...

— Что же поделывает добрый мой Залешин? — продолжал Сакс начатый разговор.— По-прежнему ли почитывает своего Пантагрюэля? Хорошо ли вы сошлись с ним?

— Я давно не запомню такого приятного знакомства,— говорил князь.— Далеко бы пошел ваш товарищ, если б не леность его.

— Его добрая воля,— заметил Сакс.— Да и чего же нам жалеть? Я уверен, что он совершенно счастлив.

— Да он был бы счастлив и здесь. Дайте ему хоть целое министерство: он будет так же весел и спокоен, будет и есть, и пить, и работать на славу. В службе тяжело только людям мнительным.

— То есть, вы думаете, что государственный человек...

— Должен быть эпикурейцем. Потому-то, скорее всех, служить должно Залешину.

— Оно почти так... Чем больше я на вас гляжу,— говорил Сакс,— тем более вижу в вас перемены. Вы гораздо более похудели, чем перед вашим лечением.

— У меня была нервная горячка... после вод.

— Да, воля ваша, и глупы эти воды. Есть ли что в мире пошлее, скучнее этого вечного Карлсбада и всех подобных лечебниц?

— Для меня они еще тошнее,— сказал князь, улыбаясь,— даром что я родился чуть только не в минеральной ванне... Я побыл недолго в Германии, весною проехал в Италию...

Полинька дочитала письмо и молча сидела и кусала губы.

— Я вас на минуту оставлю с женою,— сказал Сакс, взявши опять письмо Залешина: — ей уж не терпится... надо расспросить про подругу. Жаль, что я скоро уеду из Петербурга... правда, ненадолго. Если вы свободны, останьтесь обедать с нами.

Князь поклонился.

— У меня будет Запольский, которого вы знаете, да один художник из Италии. Оно вам и кстати. С ним потолкуем о Риме, а с вами

О бурных днях Кавказа...[18]

Сакс вышел с письмом в руках.

Медленно, с грустным взглядом, который так шел к интересному его лицу, подошел князь к Полиньке.

— Простите ли вы меня, Полина Александровна? — тихо сказал он, остановясь перед нею и сложив руки под грудью.

Полинька вся покраснела, потом побледнела, как полотно. Ей стало и жалко, и страшно, и совестно.

— M-r Alexandre,— сказала она по пансионской привычке,— в чем же?.. Я права, и вы правы... Вы, верно, прочли письмо? — вдруг вскричала она и снова покраснела.

Не улыбнувшись, не поморщившись, встретил князь Александр Николаич эту невыносимую наивность.

— Вы знаете, о чем оно? — опять спросила Полинька, чтоб поправить свою ошибку.

— Я догадываюсь,— грустно отвечал Галицкий.— А что мне за дело? Я прямо винюсь перед вами и не умею ни от кого скрываться... Письма эти были предлогом — я хотел видеть вас.

Полинька, перетрусившись совсем, боялась посмотреть в лицо князю.

— Не боитесь ли вы меня? — продолжал он.— Или в наше время любовь может вести к чему... или какая-нибудь страсть может развиться в наше время?..

Полинька находилась в страшном недоумении и не знала, что говорить.

— Я скажу вам откровенно, как говаривали мы в старые годы, я и сам не знаю, люблю ли я вас теперь. Я не думал о возможности говорить с вами... всю дорогу мне ни разу не грезилось даже целовать вашу руку... У меня одна только непонятная потребность — потребность глядеть на вас, Полина Александровна. Может быть, этого делать не следует... скажите мне прямо...

Князь шел прямою дорогою. План его атаки был до чрезвычайности прост. С Полинькой не могла иметь места любовная схоластика.

Услышав такую речь, Полинька ободрилась и подняла глаза до голубых глаз князя.

— Как это странно! — заметила она.— Вы много думаете, m-r Alexandre... верно читаете все книги. Вам надобно чаще ездить на бал... у вас столько знакомых...

— Я думал о причинах этой грусти,— продолжал князь: — думал об этой энергической потребности видеть вас... сказать ли?.. одно время я советовался с докторами, конечно не называя вашего имени. Это болезнь такая... гибельная только для меня... да она пройдет еще, может быть. Один взгляд ваш облегчил меня, я уже спокойнее.

— Да, все это пустяки,— сказала Полинька уже гораздо смелее прежнего: — вам надо веселиться, в карты играть... Я бы рада помочь вам, да нельзя же нам все глядеть друг на друга.

«Ах ты, милая плутовка! — подумал про себя князь.— Как ловко, хоть и бессознательно, подметила ты смешную сторону моего платонизма! Вперед! Еще усилие!»

— Вам кажется смешна моя грусть? — продолжал он вслух.— Впрочем, благодарю вас за участие. Надо мной могут смеяться... мне что за дело? Лишь бы я видел вас. Положение мое не подходит под общие законы... Я так уверен в странности, исключительности моей болезни, что готов итти к вашему мужу, открыть ему все... и он сам...

— Что вы? Боже мой! Молчите! Не говорите ему... Если вы хоть слово ему... я не стану говорить с вами...— Бедный ребенок снова побледнел: кровавая картина дуэли, написанная услужливою приятельницею, ясно выдвинулась перед ее глаза.

Ни один мускул не пошевелился на бледном лице князя.

— Мне его нечего бояться,— говорил он печально: — я не имею прав и глубоко уважаю права его. Требования мои не велики, а он благороден.

— Я сказала вам, князь, если вы только любите сестру, ни слова Константину Александрычу... я сама ему, после...

«А! Это дельно! — с удовольствием подумал князь.— Еще атака! Ну, Марлинский, вывози!»

— Странно! — начал он вслух.— Чудный человек! Я бы не ждал этого он него. В Дрездене видел я образ Мадонны, к которому нельзя было

подходить без слез и без трепета. У чудной картины этой никто не стоял, не гонял прохожих, не говорил им: я один могу смотреть на нее...

Галицкий замолчал. Полинька сидела, опустя голову и перебирая кончики своего шарфа. Казалось, на ее глаза навертывались слезы, потому что она ими мигала беспрестанно.

Робкое молчание нарушено было приходом Сакса и двух его приятелей.

— За стол, mon prince! — кричал он, входя в комнату.— Рекомендую вам... да за обедом познакомимся. Pauline,— он обратился к жене,— поездку мою на два дни отложили.

Константин Александрыч был очень доволен этой отсрочкою, Полинька была довольна тем, что бедный князь оказался таким тихим; был ли доволен Александр Николаич, этого, по праву рассказчика, я вам не скажу.

ГЛАВА IV

I

От кн. А. Н. Галицкого к ст. советнику Писаренко

Почтеннейший Степан Дмитрич! Что за ужасы мне про вас рассказали! Вы попались в переделку к правосудию? Бескорыстные наши алгвазилы [19] подкопались под ваше благополучие? Жаль мне вас, от всей души жаль. Помните, покойник отец говорил вам: «Эй, Степан Дмитрич, не бери этого места! Тяжело нынче служить старикам: новое поколение прет и ломит — и ничего не понимает».

Я и сам так думаю: в этой драке плохо тому, кому жить меньше. Откудова-то выскакивают юноши, кричат о честности высокой, сами даже плачут... Ну, эти бы еще ничего: они ничего не знают.

А хуже всех эти выскочки, как ваш благоприятель Сакс. Откуда они взялись? От кого родились? Что прежде делали? Никто не знает, а они знают все, годятся везде, молчат, не говорят о честности высокой — и лезут через других на первые места. Уходится ли когда этот народ — бог его ведает.

Душевно бы рад пособить вам, Степан Дмитрич, да кредит-то наш такой бестолковый... знаете ведь, вся фамилия Галицких искони отличалась уменьем состоять при важных делах, ничего в них не понимая и не делая. Посылаю вам несколько тысяч оправданий, не жалейте меня, у меня скончалась двоюродная тетка и оставила мне... почтенная женщина! порядочный куш чистых денежек.

Псковскими мужиками правьте по-старому: задержите оброк, коли понадобятся деньги. Не оставить же мне старого помощника всего нашего семейства. У меня есть к вам просьба, Степан Дмитрич, странная, а вместе с тем важная просьба. Мне хочется кое в чем угодить человеку, которого, по несчастию, вы близко знаете: именно Саксу. В чем заключать-

ся будут мои действия, этого мне некогда писать; со временем я вам все расскажу. Не съест же вас правосудие.

Для задуманной мною проделки требуется мне продержать Сакса подолее там, где он теперь, на следствии по вашему делу. Уже неделя, как он уехал, а работает он скоро.

К тому же я просмотрел все, что написано здесь о вашем деле. Работа ему короткая: сверить ведомости на месте и опросить подрядчиков; затем дело кончится, и он вернется в Петербург, к крайнему моему сожалению.

Я знаю ваш здравый образ мыслей, Степан Дмитрич. Вас пугают не следствия, а последствия. «Что за честь, было бы что есть», говорит умная наша пословица.

А в этом случае положитесь на меня как на каменную стену. Все потери, все убытки ваши вернутся вам с лихвою, даю вам мое слово, которого понапрасну я никому не давал. Только сделайте то, о чем я вас попрошу.

Держите Сакса во ***ове как можно долее. По крайней мере пускай дело ваше тянется еще месяца два. Путайте его, взводите на себя небылицы и не думайте ни о чем. Помните, что у меня в шкатулке лежит бездна денег, которых мне решительно девать некуда. Посторонних людей, если можно, в это дело не путайте: пусть все это останется inter nos *, как говаривали у вас некогда в семинарии.

Да, зачем же я сказал два месяца. Я знаю вашу аккуратность: вы пригоните конец к шестьдесят первому дню, начиная от сегодняшнего. Лучше я вам не даю срока: путайте дело, тяните его до последней возможности. Когда мое дело кончится, я напишу вам одно слово: «Довольно». Тогда развязывайтесь, как знаете. Да не нужно ли вам денег теперь?

Впрочем, не думайте, чтоб пришлось затягивать следствие слишком долго: может быть, мое «довольно» придет и ранее двух месяцев.

Теперь припомнил я, что по вашему делу должны спросить заключения от дяди моего, графа ******го. Его мнения очень ценятся. Тогда-то, поработавши для себя, я и о вас подумаю.

Ну, так по рукам, Степан Дмитрич! Не правда ли? Принимайтесь за дело да надейтесь на меня. Авось как-нибудь и вас вывезем! Преданный вам *А. Галицкий.*

II

От кн. А. Н. Галицкого к т-те А. Красинской

Когда мы с тобой расстались, сестра, во мне оставалась не одна искорка здравого смысла. Правда, я выдержал горячку, да бог еще знает, отчего она случилась. Была ли то любовь, досада, или утомительная дорога... Кто еще это разберет?

А теперь можешь меня поздравить с постоянной горячкою. Это не

---

* между нами *(лат.)*.

любовь, а сумасшествие, а бешенство. Это чума, которая должна быть заразительна. А ты знаешь мое мнение о любви: никто не выбьет у меня из головы, что любовь, разгоревшаяся до крайней степени, должна сообщиться и женщине, которую мы любим, если только в нашей власти видеть ее и говорить с нею.

Если магнетизер вертит нами по своей воле посредством глупейших движений пальцами, то что же должна произвести страсть, от которой трепещет и рвется весь наш организм?

На то ли женщина сложена слабее мужчины, на то ли оба пола чувствуют взаимное влечение один к другому, чтоб эти разрушительные порывы проходили даром, не возбуждая ни влияния, ни сочувствия?

А я влюблен до последней крайности. Мучения мои усиливаются тем еще, что надо каждую минуту управлять собою, надо действовать. Одно меня еще поддерживает: я не знаю бессонницы. Когда проходит день, я изнемогаю до такой степени, что засыпаю как убитый. Конечно, я постоянно ее вижу во сне; что же другое может мне сниться? Но все-таки сон укрепляет меня.

Я нашел твою Полиньку еще милее, нежели она была во время ее выпуска. Она все еще очень мала, но выросла значительно. Стан ее сделался еще стройнее. Разговоры ее с мужем много сделали ей пользы, потому что Сакс человек и умный и энергический.

Со всем тем я часто ломаю голову, думая о ней. Она не похожа ни на одну из женщин, которых я знал, а вместе с тем похожа на всех их. Понимай это как хочешь: я сам себя не понимаю и более и более убеждаюсь в том, что Полинька — нравственный феномен.

В пансионе вашем она была самым любимым и балованным дитею. Оттуда вынесла она все эти наивности и странности, которыми вы славитесь в первые годы после выпуска. Дома ее обожали: смотрели на нее как на очаровательную игрушку, как на бабочку, к которой страшно коснуться, чтобы не испортить блестящих ее крыльев. В свете носили ее на руках, старики и молодежь толпами ходили за ней, чтоб наговорить ей всякой дряни и услышать от нее какую-нибудь детскую выходку.

Тройное это баловство не могло не оставить следов в ее характере. Оно не избаловало ее, не дало ей капризов, а сделало еще хуже: решительно остановило развитие ее нравственных способностей. Как оно случилось, предоставляю описывать другим.

Оттого-то в девятнадцать лет она такова, каков бывает самый милый, умный, очаровательный ребенок в двенадцать лет.

Боже мой! Не оттого ли я так отчаянно, так страстно люблю ее? Рано начавшиеся мои успехи между женщинами давно сделали меня холодным только ценителем женской красоты. Чтобы вывести меня из апатического состояния, требовалась страсть причудливая, почти бессмысленная в своем зародыше. И страсть эта отыскалась: я влюбился не в женщину, а в ребенка.

Страсть эта не есть любовь к женщине: это любовь к ангелу, поразившему меня своей детской прелестью, к ангелу, который знает нашей жизни настолько, чтоб уметь говорить с нами.

Старое сравнение женщин с ангелами! Я употреблял часто это сравнение и каюсь в том, как в святотатстве. Женщины хороши сами по себе, но ангелом называю я и буду называть только одну из них.

И прав Полиньки на имя ангела никто не посмеет оспоривать. В ней все ангельское: и лицо ее, с которого скульптор может взять облик для статуи амура, и миниатюрность ее стана, и чудная доброта ее сердца, и способность к преданности, способность любить, разлитая во всем ее существе.

Но, горе мне! эта способность любить, источник всех женских добродетелей, неправильно развита в ней, не сознана ею. Она является во всем: и в преданности к угрюмому мужу, и в любви к родителям, которые гроша не стоят, и в страсти к птичкам и собачкам, и в участии ко мне, когда я плачу у ее ног.

И если бы мне удалось сосредоточить эту потребность любить, устремить ее на себя... не знаю, остался ли бы я жив, не умер ли бы я от восторга перед ее глазами?..

По-видимому, отношения мои к ней зашли до крайности далеко: я бываю у нее каждый день, целую ей руки, толкую ей прямо про мою любовь, обнимаю ее и целую. Когда она хочет остановить меня, мне стоит только с грустию взглянуть на нее, приложить ее ручонку к пылающей моей голове... и милое дитя все забывает, позволяет мне целовать себя, грустит вместе со мною. Всякой бы сказал, что мне следует радоваться, не помнить себя от восторга, а приходя домой, я терзаюсь в глубине души, рву на себе волосы.

Какая польза мне в том, что она постоянно танцует со мною на балах, дома позволяет целовать себя, говорит мне, что ей самой приятно на меня смотреть, что я «так хорош собою»? Она то же скажет, то же может сделать и при муже.

И ни слова о любви, ни малейшего признака той страсти, которая в этот один месяц совершенно истерзала мою душу!

Один только раз, пусть будет благословен тот день! — вызвал я от нее что-то похожее на чувство, которому нет названия. Без этого, сестра, я бы не писал к тебе писем: еще неделя такой жизни,— говорю тебе просто и открыто,— я наложил бы на себя руки.

Теперь же, благодаря этому сладкому воспоминанию, спокойствие по временам входит в мою душу. Я могу тебе писать отчетливо и спокойно.

Ты догадываешься, что Сакса нет в Петербурге. Перед отъездом поручил он своему приятелю Запольскому, сочинения которого и ты иногда почитываешь, развлекать по временам Полиньку и не давать ей скучать. Запольской хорош и со мною, знает, что m-me Сакс постоянно была близка к нашему семейству, а потому я сумел устроить дела так, что он, как человек занятой и сам женатый, взял меня к себе в помощники. Мы провожали Полиньку в театр, дома рассказывали ей все новости, привозили ей игрушки из английского магазина, читали ей журналы, пели ей вечное «Fra poco» и «Stabat mater» *.

* «Подожди немного» и «Скорбная матерь» *(итал., лат.)*.

Дня три тому назад, вечером, Запольский принес к ней кучу нот и картин, а сам отправился доставать билет в театр на этот же вечер. Я остался один с Полинькою. Она просила меня петь, я разбирал ноты, мы толковали о тебе, я рассказывал ей про свои корпусные шалости, а при этом дельном разговоре руки и ноги мои были холодны, вся кровь кипела около сердца.

Несколько теноровых партий, валявшихся передо мною, были так пошлы, усеяны такими вывертами... а мне хотелось петь; музыка всегда меня облегчает в подобных случаях.

В это время между нотами отыскал я молитву, знакомую мне хорошо... Чья она, не припомню, да и не до того мне.

Я пел эту молитву и думал о Полиньке. Я молился моему ангелу, и, верно, молитва моя была не холодна.

Она остановилась сзади меня и положила руку мне на плечо.

— Merci, m-r Alexandre *,— сказала она, и голос ее дрожал,— я напишу сестре, как вы меня балуете...

Я оглянулся на нее. Красная петербургская заря светила в окно, и розовый ее отблеск заливал всю комнату. На этом странном фоне рисовалась фигура моего прелестного дитяти. Полинька была в белом платье, волосы ее причесаны были не по-женски, в одну буклю кругом головки; мокрые глаза ее приветно глядели на меня.

Ангел, ангел!..

Не помня себя, я упал к ее ногам, прижал губы мои к маленьким этим ножкам. Слезы градом побежали из моих глаз, судорожные рыдания рвали мою грудь.

Страсть моя, достигнув крайнего своего предела, разразилась пароксизмом невероятной силы. Я плакал — в первый раз перед человеческим лицом. И, несмотря на слезы эти, что-то внутри меня говорило: ты велик и могуч в эту минуту.

Она подняла меня, посадила возле себя на диван, держала ручки свои на горячей моей голове.

— Сашенька, друг мой,— говорила она, ухаживая за мною, как за грудным ребенком,— полно ребячиться, что с тобою? Ты сам знаешь, что я люблю тебя, чего же плачешь? Что скажет про нас Annette?

Но зараза начинала действовать: щеки ее краснели, грудь неровно волновалась.

Она села ко мне ближе и стала просить меня, чтоб я оставил ее, не любил бы ее более.

— Дружок мой,— говорила она между прочим,— я не понимаю, чем я тебе понравилась? Посмотри на меня ближе, ведь я совсем не хорошенькая...

И она подробно доказывала мне, что она не хороша собою! Можешь представить, успокоивало ли меня все это. Слабая грудь моя рвалась, но при этой грациозной выходке Полиньки она не выдержала... Страшный кашель чуть не задушил меня.

* Спасибо, мсье Александр *(франц.)*.

Полинька испугалась, но не потерялась ни на минуту. Надобно было видеть ее в это время, чтобы понять, до какой неизъяснимой грации может возвыситься душа женщины. Она забыла и меня, и себя, и мужа — она видела во мне только больного друга.

Она положила голову мою на свою грудь, обхватила мой стан своими руками.

— Боже мой, полно, полно тебе, Сашенька,— говорила она и сама плакала.— Бог милостив, все пройдет, все забудется... перестань же тосковать, побереги себя... ты знаешь, я сама умру... если что случится...

К этому времени должен был воротиться Запольский и привести свою жену.

Благодаря стараниям Полиньки я скоро оправился, и день наш кончился в театре.

Можешь вообразить — много я там понимал! А Полинька смеялась и слушала пьесу со вниманием!

Ты знаешь, я ехал в Петербург без всякого определенного намерения насчет Полиньки. Посмотреть на нее, заставить ее пожалеть о своем браке, может быть, завести с ней интригу — вот все, что имел я в виду. Но теперь план мой прочно обозначился, и я не отступаю ни на шаг от него.

Полинька не из таких женщин, с которыми бывает достаточно завести любовную интригу и отложить всякое попечение. Там, где с другими женщинами видим мы развязку нашей страсти, с Полинькой это только начало любви. Что значит для меня месяц, год обладания ею, хотя бы и нераздельного обладания? Мне надобно ее всю, навсегда, вполне.

Женщины,— извини меня, сестра,— это дорогие цветные каменья, которыми приятно поиграть, иногда носить их. А Полинька между ними крупный брильянт; им надо обладать вечно, скрывать его от всех глаз, чтобы не вырвали с жизнью этого брильянта, которому цены нет.

Ей девятнадцать лет, она не бескровная женщина,— положим, я воспользуюсь минутою увлечения, овладею ею... думать только об этом... и кровь моя горит... буду ли я доволен? Я сказал уже, что там, где все кончается с другими женщинами, там только начало любви с Полинькою.

Нет, нечего думать, гадать и мириться на середине. Или она будет моя, вечно, нераздельно моя, или меня не будет на свете. Возвращение Сакса решит это дело, а до тех пор... будь что будет.

Что мне за дело до этого человека, который гордо стоит на моей дороге? Он любит ее? *Я* люблю ее. Он благороден? Мне какое дело — я люблю ее. Он смел и силен? Что мне до этого — я люблю ее.

ГЛАВА V

I

От Полиньки Сакс к m-me Красинской

Ах, Annette, Annette! Душенька Annette! Что ты со мною сделала? Если б ты посмотрела на свою маленькую Полиньку, ты бы вся перепугалась и заплакала. Такого горя, как у меня, не бывало никогда ни у одной женщины. И если бог станет судить нас, я хотела бы взять всю вину на себя... а то тебе много придется перед ним отвечать.

Зачем посылала ты сюда твоего брата? Зачем писала ко мне через него? Ты думала его успокоить, а сделала во сто раз хуже. И я умру, и он умрет. Если я не стану любить его, он погубит себя,— если я буду любить, он станет стреляться с моим мужем. Он поминутно говорит: «Нам троим тесно на свете».

Если бы они оба остались живы... если бы я одна могла умереть! Эту ночь голова у меня болела и жар был... я плакала и молилась богу, чтоб мне умереть теперь. Потом мне самой стало страшно и жалко... мне не хотелось умирать, к тому же он бы не пережил меня.

Наутро все прошло, я стала здорова... мне сделалось еще страшнее.

Вот, моя Annette, что из меня вышло... до чего я дошла!.. Ах, если бы ты не пускала сюда твоего брата, если б ты там еще приискала ему невесту, в которую бы он влюбился! Зачем он влюблен в меня! Это бы все прошло: столько женщин лучше меня... я это ему десять раз говорила... меня только из каприза называют хорошенькою.

У меня нет росту, я похожа на маленького мальчика... если б ты видела, какие худенькие у меня руки, какая я сама стала тоненькая в это время! И глаза мои совсем не голубые, как у твоего Саши.

Я удивляюсь, как не скучает он сидеть со мною: что он нашел во мне? Я ничего не знаю, ни о чем не умею говорить. Только у Константина Александрыча доставало терпения учить меня.

Друг мой, вот самое страшное горе: давно ли я каждый день не знала, как дождаться мужа, выбегала к нему навстречу, кидалась к нему на шею, утешала его моей болтовней, а теперь мне страшно подумать о нем, страшно написать ему два слова, потому что я не умею лгать. Вечером я боюсь ходить мимо его портрета.

Потому что я изменила ему, целовалась с чужим человеком, говорила ему, твоему брату, что люблю его. Что мне еще осталось? В душе моей я изменница и презренная женщина.

А между тем муж мой во всем прав передо мною. В письме своем ты описываешь его диким извергом: я не спала ночей, страшная история дуэли представлялась мне в лицах. А все-таки ты не права, Annette, я глупее тебя, я меньше видела свету, однако понимаю, что в поступке Константина Александрыча не все зло.

Разве бедная актриса, на которую напал Галицкий с товарищами, не женщина? Разве ее слава, любовь к ней публики, не была для нее всем: и утешением и хлебом, может быть?

Муж мой страшен и грозен... Боже мой, на нем лежит кровь человеческая! Но он не жесток. А все-таки страшный конец готовится всему этому... Господи, спаси нас!.. Лучше не думать...

Посылая сюда брата, ты просила успокоить его, пожалеть о нем. Душенька моя, ты не подумала, что я не каменная, что за мною еще надо смотреть!.. Еще бы если б он явился ко мне таким, как был прежде: веселым, беззаботным мальчиком, я бы сладила с ним и сама осталась цела. А когда увидела я его грустные глаза, бледное и изнуренное его лицо... что со мною сделалось!..

А он так хорош собою! Он во сто раз лучше, чем был прежде. Как идет к нему эта мраморная бледность! Грудь его впала, а талия сделалась еще благороднее, еще стройнее... а глаза его... Боже мой, прости меня... я ли говорю это?..

Вчера ехал он на парад мимо моего окна, в каске с белым султаном, на черной лошади, которая рвалась и прыгала. Как ловко худенький его стан гнулся при каждом движении лошади, как она повиновалась ему!.. Его место впереди солдат, перед неприятелем... а он тоскует и плачет со мною вместе!

И если бы я ласкала его для того только, чтоб успокоить его, если б я целовалась с ним только из-за того, чтоб не ввести его в отчаяние, я была бы права, по крайней мере перед своею совестью. А то нет, друг мой! Я в душе изменница, я люблю эти ласки: часто голова моя горит, сердце бьется, и мне легче только, когда я жмусь к его груди... Вечного стыда, вечного наказания для меня мало!..

К кому обратиться мне? У кого попросить совета и спасения? Писать к мужу я не могу: я стала бояться его, и как писать к нему, когда одно слово может привести за собою и страшную встречу и смерть.

Я думала просить самого Сашу, еще раз сказать ему, чтобы он оставил меня... да не значит ли это прямо высказать ему свою слабость? К тому же он не послушается... или еще хуже: послушается, и я погублю его...

Я признавалась во всем маменьке, стояла перед нею на коленях и очень много плакала... Я взяла с нее слово не говорить об этом никому. Она сначала бранила меня за неосторожность, потом слезы мои показались ей смешными. «Ступай, цыпочка,— говорила она мне,— такие грехи еще прощаются. Все это забудется. Только помни: не видайся больше с князем, а если увидишь его, не позволяй ему ни шагу более. Счастлива ты еще... гляди же за собою построже...»

Будто я могу смотреть за собою, владеть собою, когда он плачет у моих ног, целует мои колени.

Господи! Что будет со мною! Или ты не сжалишься над бедною Полинькою, не пошлешь ей своей помощи?

II

От Константина Александрыча Сакса к Полиньке

Ах ты, ветреница! Ах ты, ленивая, негодная птичка! Так-то ты переписываешься со старым своим мужем? В два почти месяца одно письмо! Доберусь я до тебя, пожуря тебя порядком!

Ошибок боишься наделать, что ли? Писала бы по-французски. Нет, это всё хлопоты по хозяйству, дела! Знаю! Знаю! Вот хлопоты по хозяйству: поутру мы сидим в уголку кресла, происходит ревизия собак. В это время мы думаем: обманщик Костя! По его счету это значит три недели!

После хлопот по хозяйству наступают дела: мы ездим по городу, упариваем бедных лошадок. «Да шибче же, Антон, скорее, еще скорее... к тетушке Julie, к маменьке». Там встречает нас готовый курс мудрости человеческой, неиссякаемый источник морали... что твой Геттинген, что Берлин?

А вечером, ma chère, вечером... Съезжаются подруги, всё ангельчики, всё незабвенные друзья. Тут и Жюльет, и Пашет, и Annette... да, Анет не в Петербурге. Позже всех являются Надин и Александрин.

И тут-то начинаются речи, полные практической философии, проникнутые глубоким познанием жизни и сердца человеческого! О, аллах, уши вянут, вчуже становится страшно.

За человека страшно мне! — [20]

как, помнишь, вопиял Каратыгин на Александринском театре.

А впрочем, ленись себе. Я люблю людей, которые неохотно пишут письма. Редко набегают на нас минуты душевной откровенности, а без этого что толку городить всякой вздор? Запольский пишет мне о твоем здоровье и твоих занятиях — и я спокоен. Кстати о Запольском. Пишет он ко мне, что у тебя часто бывает князь Галицкий и что, как кажется, он не на шутку в тебя влюблен. Последнее в порядке вещей: за два месяца об этом уведомил меня Залешин.

Признаться ли тебе, Полинька? — Я люблю, когда ты другим нравишься. Меня даже приятно щекотит, когда я знаю, что несколько человек не шутя по тебе вздыхают. Это дурно, но это моя слабость, моя гордость. То ли еще будет, когда мы с тобой поживем и поучимся науке жить на свете! А насчет Галицкого попрошу тебя серьезно, видайся с ним пореже, только не шути с ним, не пренебрегай им и не мучь его. Да кокетство твое не злое, этого опасаться нечего. Мне нравится этот молодой человек, хоть он немного горд и ветрен. Нынче уже чересчур развелась порода тихих скромников, из которых ничего не выжмешь ни для жизни, ни для общества.

Больше ничего не говорю тебе. Просить тебя не забывать о старом муже, значит обидеть тебя. Наблюдай слегка за Галицким: если он заврется слишком, уведомь меня, и мы всё устроим к лучшему, не обижая его.

Долго я здесь живу, по милости проклятого Писаренки. Он или сумасшедший человек, или гениальный мошенник. Много видел я крапив-

ного семени, а такого крючка не встречал и не понимаю. Он вертится, как бес перед заутреней, наговаривает на себя несбыточные дела, выдумывает самые невероятные отговорки, которые, однако, надо поверять,— а на поверке все оказывается чепухою и оканчивается к его же сраму. А дело все тянется и тянется: я напрягаю весь мой ум, чтобы предупреждать козни злого подьячего.

Это настоящая малая война, и — чтоб дорисовать картину — тут является и любовь моя к тебе; а желание поскорее увидеться с тобою придает мне и силу и хитрость, необходимую для этой сутяжнической борьбы.

Так-то, Поля моя, все дела делаются на свете. Иной и подсмеется над этой борьбою, но я твердо убежден, что если дело освящено любовью и пониманием жизни, дела этого никто не назовет ничтожным. Кто дал нам право требовать от жизни высоких, несбыточных страстей и деяний? Поучимся лучше делать пользу вокруг себя, подсмеиваться над тем, что смешно, и мириться с жизнию на том, что она дает нам.

Чем дольше я здесь живу, тем сильнее жалею о том, что не взял тебя с собою. Тебе полюбилась бы тихая жизнь городка, и лес, сквозь который вечером просвечивает солнце, и далекое озеро с пустыми его берегами.

Ты порядочная насмешница: мы посмеялись бы над здешними чопорными собраниями, над модами, утрированными до невозможности. В кругу скучных помещиков мы пожалели бы о кружке наших друзей, которые, не выезжая из Петербурга, умеют узнавать, что делается во всех концах вселенной, оттого в иной земле пляшут и веселятся, в другой голодают или режутся.

А потом мы бы сошлись с этими простыми людьми, отыскали бы в их загорелых лицах следы прошлого горя или настоящей страсти: нашли бы между ними людей замечательных, практических — и добрых философов. Всякой из них был бы интересен для нас: не настоящими своими делами, так прошлыми, потому что — кто из людей хотя раз в жизни не бывал занимателен во всем смысле слова?

Полно нам с тобою жить в столице. Воротясь отсюда, я возьму долгий отпуск или выйду в отставку. Тогда мы с тобой немножко порыскаем по свету, а то я начинаю бояться, не засиделись ли мы с тобою. Сначала, если хочешь, поездим мы по России, посмотрим ее города и городки, ее широкие реки, постранствуем по пескам, на которых со скрипом покачиваются высокие сосны. Поглядим и на Кавказ: по рассказам он надоел нам через меру,— а в самом деле видеть его очень стоит.

Из Одессы проедем мы в южную Францию и начнем путешествие наше с того края, в котором обыкновенно путешественники проматываются до последней копейки и потому не едут далее. Мы очень много не будем ездить. Италия, Франция, Швейцария, южная Германия — с нас и этого будет довольно.

А в увенчание всего поселимся в нашем имении; только после наших поездок и разговоров о виденном ты уже не станешь меня спрашивать: «Да что мы будем делать в деревне?»

Что это за новости? Я строю воздушные замки, смотрю за два года вперед? Это твоя заслуга, Поля: ты дала мне и свежесть и молодость: а то я начинал было порядком стариться. Подожди немножко — я за это расплачусь с тобою.

Надобно же сообщить тебе о моих занятиях подробнее: и, к счастию, сегодня я могу рассказать тебе не совсем пустую историю.

Со мною, как ты знаешь, занимается чиновник, с виду похожий на какую-то забавную птицу. Ты еще подсмеивалась над ним,— видел я, плутовка! — когда он садился со мною в коляску. И подсмеивалась только за то, что он ковыляет ногою и говорит тоненьким голоском.

А он человек трудолюбивый, хоть по душе не очень достойный. Имя у него странное: Фиф. Откуда происходит эта фамилия, решительно не знаю: однако он русский.— Я взял его с собой из странной прихоти: мне стоит взглянуть на него — и припомнить тебя так живо, как будто бы я видел тебя в зеркале. Оттого ли это, что ты смеялась над Фифом, когда я в последний раз тебя видел, или оттого, что он похож на птицу, а тебя называю я птичкой?.. Одним словом, тут есть странное сплетение мыслей.

Впрочем, Фиф человек тихий и способный к делам. Сперва он вертелся около Писаренки и увещевал его, потом говорил со мною насчет излишней моей строгости. На это я отвечал вежливою просьбою не соваться в это дело.

Но Фиф все егозил. Вчера объявил он мне, что жена г. Писаренки желает меня видеть, и по этому случаю рассказал мне, сообразно своим понятиям, печальную историю этой женщины.

Она, так же как и ты, воспитывалась в каком-то блестящем женском училище. Во всех науках была она постоянно первою, и способности ее так всех удивляли, что одна благодетельная душа давала ей на свой счет уроки итальянского языка — чрезвычайно полезной науки для дочери инвалидного поручика.

То была девушка с душою, с сильным характером, с аристократическим инстинктом, который так страшно возмущается от всего, что грязно и скудно.

Можешь представить, каково было положение бедной девушки, когда, по окончании курса, из высоких зал пансиона перешла она в бедный уголок своих родителей. Места в наше время трудно достаются, и ей пришлось жить дома. Ты поверишь мне, что как ни крепилась бедная девушка, родительский дом скоро показался ей адом.

А вся семья их была и честна и благородна. Отец, заслуженный, храбрый солдат, имел один только недостаток: он любил подгулять. Мать ее, добрая, тихая женщина, поминутно горевала, плакала и жаловалась на нужду.

Полинька, Полинька! Ты не знаешь всего ужаса бедной, нечистой жизни, в духоте и тесноте, среди недостатка и горьких сетований. Твои родители не блестят нравственными достоинствами, зато они по крайней мере богаты. Будь и за то благодарна судьбе.

Перейдем к бедной нашей девице. Не знаю, поймешь ли ты, Поля, отчего в энергических душах, особенно у женщин, мрачная сторона се-

мейной жизни отзывается страшнее. Тихая девочка потосковала бы и привыкла,— наша же героиня тосковала и ожесточилась: ожесточилась на судьбу, ожесточилась на свое семейство. Грязная эта жизнь, вечная нужда наполняли душу ее невыносимою горечью.

Она страстно была предана своим родителям, но любила их порознь или вне дома. Когда старый отец возвращался домой в унизительном состоянии, когда жалобы и плач матери вызывали его на ссору и упреки, тогда бедная девушка уже не любила их. Сердце ее рвалось, она страдала и ужасалась самой себя; но в эти минуты она почти не видала своих родителей.

Мудрено ли, что она кинулась на шею первому соблазнителю, ослепившему ее богатством и обещанием вывести ее из этого чистилища? Как водится между лучшими из знатных волокит, любовник передал ее, с приличным приданым, в супруги Писаренке, тогда еще мелкому чиновнику.

Писаренко в те времена был еще хуже, чем теперь. То был мелкий, грязный взяточник, а сверх того и пьяница. Ты думаешь, что бедная девушка, о которой идет наша речь, возненавидела его? помышляла только, как бы его оставить?

Ни то, ни другое. Для нее наступила пора примирения с жизнию, горького примирения, надо сказать правду. Она сделала для Писаренки то, чего прежде не в силах была сделать для отца. Она отучила его от невоздержности, привела в порядок хозяйство, возилась с мужем как с нравственно больным, одевала детей как куколок и сама воспитывала. Я думаю, любовь к детям и была причиною переворота в ее характере.

Не понимаю, как не отклонила она мужа от излишней симпатии к казенным деньгам. Муж боится и уважает ее и делает все, что она захочет. Может быть, она не вникала в образ занятий своего мужа, может быть, остаток слепой ненависти к обществу, неминуемый след горестной юности, мешал ей противиться.

Продолжаю мой рассказ.

Сегодня утром Фиф привел ко мне бледную высокую женщину с двумя мальчиками лет по двенадцати. Это и была г-жа Писаренкова. Она низко мне поклонилась и робко, но внимательно оглядела меня. Я попросил Фифа поводить детей ее по саду и усадил ее в кресло.

Ей понравилась моя внимательность к тому, чтобы дети не слушали неприятного разговора, она подошла ко мне и взяла мою руку обеими своими руками. На глазах ее видны были слезы. Я едва уговорил ее сесть на место, и она передала мне свою просьбу.

Она просила не за мужа: ей была известна и вина его и мера наказания. Одно, что сокрушало ее еще более, была мысль об участи детей. Они были свидетелями тяжкого процесса, видели каждый день отца своего раздраженным и огорченным. А когда дело кончится, из каких средств дать им воспитание? Что из них может выйти?

Я слушал со вниманием, и добрая мысль мелькнула в моем уме. Но бог знает, привел ли бы я в исполнение эту мысль, если б здесь не заме-

шался собственный мой интерес. Слушай же и смотри, какими путями добрые дела делаются на свете.

Мне пришло в голову: если я сделаю услугу этой женщине, она может уговорить своего мужа поскорее сознаться и не путать дело без всякой надобности.

— Ольга Ивановна! — сказал я ей.— Правительство наше не взыскивает с детей за ошибку или проступок отца. Впрочем, мне частию понятно ваше затруднение: мужу вашему или некогда, или некого просить о детях, и он боится отказа. Завтра же, не откладывая в долгий ящик, пошлите обоих мальчиков в Петербург, а я дам вам письмо к нашему министру, которому объясню все эти обстоятельства.

Бедная женщина плакала и хотела целовать мои руки.

— Когда они будут поступать на службу,— продолжал я: — припомните мне. У меня есть и кредит и знакомство, мы им дадим дорогу по их способностям. Остальных детей лучше вам воспитывать дома, по крайней мере пока состояние ваше яснее не обозначится.

Она поняла намек очень хорошо и оценила участие более, нежели услугу.

Теперь собственный мой интерес выступил на сцену.

— Ольга Ивановна! — сказал я опять.— Передайте мужу вашему дружеский мой совет. Зачем он тянет дело и мешает следствию? Даю вам честное слово: он ничего не выиграет. Пусть же лучше он сознается и развяжет мне руки. Вам я скажу по секрету: мне хочется быть скорее в Петербурге. У меня осталась там жена, о которой я думаю всякой час и всякую минуту.

Затем мы расстались.

Вот, Полинька, как люди кривят душою, делают добро из эгоизма, вступают в переговоры с неприятелем, а все из-за того, чтобы поскорее поглядеть на твои плутовские глазки.

Прощай же, дитя мое, ma petite rose blanche *, если что случится, напиши.

ГЛАВА VI

Через день после отправления этого письма Константин Александрыч суетился и одевался в своей спальне. Красное утреннее солнце еще не начинало припекать, а Сакс имел обыкновение вставать поздно. Хлопоты его заставляли предполагать какое-то особенное событие.

В низенькой комнате, исправляющей должность рабочего кабинета, сидели и ждали Сакса известный нам Фиф и еще одно лицо, важное по влиянию своему на ход нашего рассказа.

То был старик почтенного вида, с седой головой; на носу его надеты были синие очки. Вся фигура его отличалась удивительною подвижностью. Он не мог сидеть на месте, не мотая время от времени головою, не подергивая руками и не дрыгая ногой. Неприятная эта вертлявость составляла странный контраст с его старым лицом, чистым,

* моя белая розочка *(франц.)*.

холодным и синеватым, как лед. На этот раз, впрочем, вертлявость эта была довольно понятна. Старичок был в большой душевной тревоге. Изредка он вздыхал и при этом случае ощупывал боковой свой карман.

— Так-то, почтеннейший Степан Дмитрич,— говорил тоненький голосок Фифа,— помучили вы таки нас! Сколько лошадок заморили, сколько бумажечки мы пописали.

— Да что,— отвечал Писаренко медлительным басом: — все бы один конец был. Да и кто злом за добро платит? Сами знаете, пришла жена... плачет, рыдает. Иди, говорит... а у меня сердце повернулось...

— Ну, да бог милостив,— начал опять Фиф: — перемелется все, мука будет. А уж о детках будьте спокойны: положитесь на Константина Александрыча (тут он возвысил голос); это ангел, не человек.

— Знаю, почтеннейший, со вчерашнего дня знаю... Да что же он не идет?

— Одевается еще. Он у нас щеголь: в новом фраке выйдет.

— Говорила мне Ольга Ивановна,— заботливо спросил Писаренко: — у него жена в Петербурге осталась?

— Да, есть женка. Вертушка, как пятилетний мальчик. А уж хороша-то: просто розанчик.— Эти слова Фиф произнес гораздо тише, нежели мнение свое об ангельской натуре Сакса.

— Так и думал я...— И на лице Степана Дмитрича выразилось мучительное беспокойство. В это время отворилась дверь, и Сакс вышел.

— Благодетель, отец родной! — закричал Писаренко, бросаясь на Сакса с таким умиленным видом, что тот переконфузился.— Бог пусть наградит вас...

— Это дело частное,— вежливо отвечал Константин Александрыч,— оно не мешает главной нашей цели. Вы, говорят, покончили наши дела?

— Все кончено,— сказал Фиф и подал Саксу несколько бумаг.

— Ну, слава богу,— сказал Константин Александрыч, кончивши их пересмотр,— скажите же мне, Степан Дмитрич, по совести, что побуждало вас так долго вести это дело, к собственной вашей невыгоде?

Степан Дмитрич подошел к нему ближе. Что-то вроде слез заблестело под его очками.

— Константин Александрыч,— произнес он,— благодетель мой, будьте добры до конца. Я покаюсь перед вами во всем: дай бог, чтоб еще время не прошло.

Писаренко искоса взглянул на дверь соседней комнаты. Сакс догадался, что он просит особого разговора, и повел его в свою спальню, к великому огорчению любопытного Фифа. Пробираясь за Саксом, Писаренко вынул из бокового кармана какую-то бумагу.

То было письмо князя Александра Николаича Галицкого, которое вы можете отыскать в четвертой главе моего рассказа.

Покаяние Степана Дмитрича было полное. Он даже утирал слезы, выходя из комнаты.

Сакс окончил некоторые формальности, подписал донесение и к ве-

черу уехал из ***ова. Никакого особенного беспокойства он не чувствовал.

А страшное горе ему готовилось. На свете водится так, что радость приходит к людям или несвоевременно, или бестолково, или очень медленно. Ее не утискаешь в роман или повесть, не прикрасив по-своему. А зло двигается так ровно, так гладко, так кстати, что само напрашивается в печать или на сцену.

В тот самый день, когда Сакс въезжал в Петербург, во ***ов пришла петербургская почта. Один из пакетов адресован был на имя статского советника Писаренки.

Степан Дмитрич раскрыл его среди улицы, и руки его задрожали. Там лежал ломбардный билет в тридцать пять тысяч да измятый лоскуток бумаги. На лоскутке этом торопливою рукою написано было: «Довольно».

Затрясся Степан Дмитрич и в порыве благородного негодования бросил ломбардный билет на землю. Записку расщипал в мелкие клочки.

Потом постоял, подумал немного, поднял билет и положил его себе в карман.

— Не я, так другой,— пробормотал он сквозь зубы и направил путь во-свояси.

ГЛАВА VII

Следуют три письма, из которых два неудобны к печати, по некоторым подробностям, и еще одна записка такого содержания:

«С великим неудовольствием увидел я вас, князь Александр Николаич, вчера ночью под окнами моего кабинета, потому что в расположении моей квартиры сделал я некоторые изменения. Не чувствуя симпатии к предприимчивым гидальгам[21], я должен вам сознаться, что встреча с вами не в состоянии доставить мне ни малейшего удовольствия. Завтра я переезжаю на дачу, которую предоставляю вам отыскивать, сколько вам угодно. Не мешало бы и вам уехать из Петербурга, где малейшая ваша нескромность может принести вред нам обоим.

Вы догадываетесь, что это не последнее мое слово. Повторяю вам, через месяц мы увидимся с вами. В половине следующего месяца вы получите мою записку, там найдете мой адрес и время, назначенное для свидания. А до тех пор молчите и молчите.

К. Сакс».

А вот одно из тех писем:

От К. А. Сакса к П. А. Залешину

Прошло уже две недели, две страшные недели, и я не решился еще... в голове моей нет никакого плана, я готов на себя смотреть как на сумасшедшего человека.

Спасибо тебе за скорый ответ, за твое участие и внимательность; больше не за что тебя благодарить: советы твои никуда не годятся.

Я с жадностью раскрыл твое письмо, колебание души моей так сильно, что добрый совет, думал я, может наклонить все дело на худую или хорошую сторону; к несчастию, я горько ошибся.

Я еще в силах разобрать твои доводы. Ты оправдываешь жену мою, хочешь весь гнев мой обратить на Галицкого. Друг мой, жена моя не нуждается в оправдании, скажу тебе более: и Галицкий прав.

Да что же мне из этого: разве в моем положении идея о справедливости доступна до меня, разве она может получить практическое применение? Я знаю без тебя, и *она* права, и *он* прав, и я буду прав, если жестоко отомщу им обоим.

Раненый солдат с бешенством лезет на неприятельскую колонну: разве он думает о том, что может убить не того человека, который его ранил? что даже и ранивший его не виноват перед ним?

Я в отчаянии, я хочу мстить, и придет ли мне в голову подумать о результате моего отчаяния?

Да что я говорю: я хочу мстить! В том-то и дело, что у меня нет решимости даже на это злодейское намерение. А если б была решимость, у меня нет средств для мщения. Что́ мне делать с этим ребенком, который сам не понимает того, что̀ он настряпал! Не армянин же я, чтоб похаживать с кинжалом около «злодея» и «изменницы»[22], я не обладаю тем искусством, с которым иной важный господин умеет каждую минуту терзать несчастную свою жену, заставлять ее платить годами мучений за час заблуждения, да еще заблуждения ли?

Ты говоришь, чтоб я призвал на помощь свой разум и обратил бы его против страсти. Ты советуешь мне призвать на помощь и философию, и остатки идеальных чувств, и привязанность к когда-то любимым теориям. Ты как будто забыл, что я человек, и человек влюбленный,— что доктринерствовать и строить теории легко на литературном вечере, легко в романе, а не в жизни... Призвать разум! Да против кого? Не против страсти ли? Хорошо, если бы дела шли так ровно и разум знал бы только бороться со страстью. А во мне разум борется с разумом, страсть идет против страсти; я распался на два разума, страсть моя разделилась надвое, и страшное междоусобие это не кончилось, и я не знаю, чем оно кончится.

Я могу решиться на позорное дело, несмотря на мое отвращение к злодейству, могу кончить любовь мою жалкою трагедиею, но среди всеобщей ненависти, я знаю, ты один не обвинишь меня; я раскрыл перед тобою состояние моего духа.

Я не могу отвечать и за следующий день; может быть, я явлюсь героем великодушия; люди поглупее окрестят меня графом Монте-Кристо, пламенные юноши почтут меня новым Жаком[23], только ты один знай, что в моих поступках не может быть ни злодейства, ни великодушия...

Я слаб перед судьбою: пусть обстоятельства решают и мою, и ее, и его участь; я умываю руки; у меня нет сил действовать!

Ты кончаешь свое письмо язвительными выходками против Гименея, восхваляешь мне выгоды гордого одиночества, говоришь, что права женщин святы, что женской любви никто не предписывает законов...

Прекрасные речи, дельные, хоть давно избитые замечания, а за ними опять «право», опять отвлечения, опять холодные истины!..

Какая мне нужда до прав женщины, что мне за надобность знать теорию любви, изведать ее основные законы. Все это слова и слова.

В настоящую минуту для меня не существует ни общества с его предрассудками, ни женщин с непризнанными правами. Общество может оскорблять меня, может хвалить меня, женщины могут все исчезнуть с лица земли, могут возмутиться против мужчин, положение мое ни на волос не переменится от всего этого.

Я так же буду силиться, изнемогать и колебаться, так же буду плакать по ночам; я буду плакать, я, с моею плешивою головою!

Оттого, что нас только трое во всем мире: я, Полинька и Галицкий. Я бы хотел дорожить мнением общества, я б хотел вступиться за так называемое «опозоренное имя мое», может быть, предрассудок этот дал бы мне силу действовать.

Довольно разбирать твое письмо; я чувствую, как исчезает минутный проблеск хладнокровия: горячая кровь подступила к моему сердцу, она идет выше, давит мне горло, пальцы мои холодны, как лед... тоска начинает грызть меня.

. . . .

Стыдно, стыдно унывать! Я собираюсь опять с силами.

Сейчас воротился я из ее комнаты. По моему распоряжению, она сказывается больною, никто из знакомых не знает, приехал ли я в Петербург и где живу я теперь. Иначе нельзя поступать; чем бы ни разыгралась моя история, секрет строжайший необходим, да и хранить его нетрудно.

Теперь только, сообразив все прошлое, понял я, какая широкая пропасть отделяет Полинькину натуру от моей. В счастии я сам себя обманывал, а теперь, при первой беде, все открылось передо мною. Довольно взглянуть на теперешнее положение жены моей, чтобы понять, что все между нами кончено, что нам не сойтись более.

Горесть ее трогательна, жалка, но как далека она от горести разумной! Она плачет целый день, если я говорю с нею, она отвечает мне так, как подсудимые отвечали великому инквизитору. Иногда на нее припадает охота молиться, долго, долго... Она уверена: преступление ее так ужасно, что и в аду не сыщется для нее места!

Сообрази все это и пожалей обо мне. Нет надежды на соединение, нет надежды на *забвение*... любовь для меня кончилась, пьеса разыгралась и не возобновится...

Один вопрос меня терзает: что значит любовь ее к Галицкому? Правильное ли это стремление двух страстных юношеских натур одна к другой, истинная ли это, продолжительная ли страсть?

Или это одна неосторожная вспышка, «кончившаяся падением», как говорят романисты? О, если б оно было так! Я бы сумел воротить

прошедшее, зажать рот Галицкому! Такая любовь, как моя, не распадается с одного разу.

С этой мыслью я пришел в Полинькину комнату вчера вечером. Она сидела и плакала. Я начал говорить с нею твердо, но ласково.

— Дитя мое,— сказал я ей,— не из пустяков ли ты горюешь? Забудем на полчаса прошлое: вообрази, что я твой доктор и что ты больна в самом деле.

Она глядела на меня с ужасом. Я был уверен, ее расстроенному воображению пришла на мысль история мужа, который, под предлогом болезни, запер в желтый дом «коварную изменницу».

Я продолжал, усиливаясь хранить свое спокойствие:

— Наш разговор будет несколько тяжел. Что же делать, друг мой? Надо смело глядеть в глаза беде, не прятаться от нее, не плакать... Скажи мне просто и откровенно: любишь ли ты Галицкого?

Она стала плакать, просила пощадить ее, не говорить с ней, изъявила готовность умереть, чтобы смыть с моего имени страшное пятно...

Я стиснул зубы и начал выходить из себя. Однако я понял, что последний вопрос мой был слишком тяжек: понемногу я стал наводить речь на знакомство ее с Галицким, стал расспрашивать о его поведении, о ходе его страсти. Вдруг Полинька упала передо мной на колени, схватила мои руки.

— Он не виноват,— говорила она,— это я погубила вас обоих, я одна всему причиною; он еще молод, он дитя, ты простишь его... пусть я одна погибну...

Вот к чему вела меня моя заботливость! Вот в какую сторону перетолковала она мои расспросы... Слышишь, она его погубила! О женщины, женщины! О милое самоотвержение!

Злоба захватила мое дыхание, сердце мое сильно билось. Вражда, бессознательная, беспричинная вражда наполнила всю мою душу. Я бы хотел растерзать это милое существо, которое плакало передо мною, которого вся вина состояла в том, что оно не могло понять меня... Я отдал бы жизнь, чтоб на один час сделать женщину из этого ребенка, чтоб поселить в ее душе страсть ко мне, чтоб заставить ее вымаливать у меня любви и чтоб с черною радостью отвергать ее порывы, все сокровища только что пробужденной души.

Я никогда так низко не падал, как в эту минуту; но я преодолел себя и ушел из ее комнаты.

Пробовал я пустить к себе Галицкого и расспросить его. С первых слов он понес ахинею страшную. Я почти выгнал его; он ночи простаивал под Полинькиными окнами, так что я, во избежание скандала, переехал на дачу.

Теперь ты понимаешь мое положение, добрый Павел Александрыч. Мало мне своего горя: все мои попытки действовать падают и разрушаются. Никто меня не понимает, я похож на человека, приехавшего в незнакомый край для очень важного дела. Напрасно он бьется и хлопочет: всякой от него пятится, всякой боится в нем врага, а если и говорит с ним, то говорит каким-то непонятным языком...

Следовательно, пора кончить мое письмо. Я высказал мое положение и не могу прибавить ни одного слова. Во всяком случае, на что бы я ни решился, ты не останешься без уведомления.

А пора бы чем-нибудь кончить это дело...

ГЛАВА VIII

I

От Полиньки Сакс к m-me А. Красинской

Что я напишу тебе, друг мой? Я жива еще и здорова, по крайней мере телом здорова. Родные мои и знакомые думают, что я больна. Я сижу целый день одна, обложившись подушками. Так приказал он, Сакс.

Спасибо тебе, ангел мой, что ты не презираешь меня, что ты отвечала на несчастное письмо мое * и позволила писать к тебе. Без этого я бы впала в отчаяние: все отступилось от меня, страшная неизвестность меня давит.

Что будет со мною? Когда разразится над нами мщение оскорбленного мужа? Что будет с ним? Боже, сохрани его только!

Он жив. Я получила от него записку через мою Машу. Его также мучит страшное ожидание, он боится за меня... Сакс сказал ему то же, что и мне: «Через месяц ровно мы увидимся все и порешим это дело».

Странные слова! Какой гибельный смысл в них заключается? Что говорил нам взгляд этот, странный, неумолимый, холодный его взгляд? Что значит жизнь, которую он стал вести, эти чудные хлопоты и приготовления?

Брат твой писал, что он каждый день искал Сакса по городу, хотел узнать его намерения, напроситься на скорый конец дела, предложить ему удовлетворение и просить за меня.

Напрасный труд! Никто во всем городе не знает, где Сакс и что у него случилось в доме.

Слава богу, никто еще не знает обо мне, не проклинает и не презирает меня!

Ближайшие знакомые все уверены, что я больна и что мы на даче.

Мы точно на даче, но что это за дача! На отдаленном берегу Невы, в дремучем лесу, стоит этот дом, старый, огромный, безлюдный. В нем только я с моею горничною да Сакс с старым своим дядькою. Он уезжает чуть свет и возвращается поздно ночью. Лошади его храпят под моими окнами, шаги его слышатся по коридору. Ко мне заходит он только, если со мною Маша, заботливо спрашивает о моем здоровье, как будто я больна в самом деле. Перевезли меня на дачу эту вечером, в карете, наложенной подушками. Маше не запрещено исполнять мои поручения и даже носить письма, но ей страшно заказано сказывать

* См. главу VII.

кому бы то ни было, где мы живем. Я сама упрашиваю ее молчать: зачем губить с собою бедную девушку?

А грозный срок приближается. Через неделю кончится месяц... Боязнь отнимает у меня всю память о моей вине, я не могу плакать и раскаиваться... Что ждет нас через неделю? Что будет с Александром? Больше ни о чем не могу думать...

Страшные картины грезятся мне и во сне и наяву. Ты помнишь романс о черной шали[24], по которому нас маленьких учили петь? Недаром я боялась этой песни, в которой беспрестанно говорится про кровь... А потом, помнишь ты страшную книгу, в которой рассказывалось, как муж нашел у жены любовника и велел камнями заложить двери комнаты, в которой он спрятался? Обо всем этом мне и снится и думается...

Кто разгадает этого грозного и непроницаемого человека? В полтора года замужства я не сумела понять его... Бог один ведает, что у него на уме...

А обида была так тяжка... Боже мой, боже мой!

Что делают родители мои? Помнят ли они обо мне? Не проклинают ли они меня? На все письма мои к маменьке не получила я ответа. Неужели она не жалеет обо мне? Я бы не так поступила с моей дочерью.

Разве я забыла мою обязанность нарочно затем, чтоб оскорбить мою мать? Разве я мало боролась и мучилась перед моею погибелью? Или я не стояла перед нею на коленях, не просила ее защиты? Маменька, пусть бог простит тебя.

Вчера вечером вошли в мою комнату какие-то люди с угрюмыми лицами. Старший из них сел возле меня и говорил мне что-то о супружеской обязанности... о чем-то спрашивал. Со страху и от стыда я ничего не понимала.

Вдруг вошел Сакс, еще угрюмее, еще мрачнее, нежели в тот день... Он сделал знак страшным людям и увел их от меня. Долго слышала я их голоса над моею головою: они о чем-то спорили, потом замолчали. Я вся дрожала.

Опять отворилась дверь, вошел Сакс с бумагою в руках.

— Полина Александровна,— сказал он,— исполните ли вы мою просьбу? Ручаюсь, что она будет последняя. Подпишите эту бумагу не читавши: в ней идет дело о чести вашей... больше я ничего не скажу.

И опять тот же холодный, непонятный взгляд. Кто устоял бы против этого взгляда? Я подписала бумагу, он поклонился и вышел.

Была ночь, я подошла к окну. Нева бушевала и плескалась под самым домом, старые ивы длинными ветками нагибались до воды. Сучья каких-то серых, игловатых дерев врывались в окно. А на всем берегу росли сосны, и невдалеке мелькал между ними белый крест. Что-то ужасное случилось когда-то на этом месте. А что еще готовилось!

Боже мой, скорее бы прошла страшная эта неделя. Пусть будет что будет. Спаси только его, моего Сашу...

Какое право имеет этот жестокий человек меня мучить? говорить, что я больна, отдалять меня от родных, от всякой помощи? Зачем окружает он меня тайною, зачем дал он нам длинный, тягостный срок?.. Или я раба его, или я не человек, или я не равна ему? Кровь моя кипит, смелые мысли бродят в голове, только, бог свидетель, я не о себе думаю... я преступница... я возмущаюсь только, когда думаю о *его* участи. Ах! Маша несет мне записочку. Это от него! Я скажу тебе, что он пишет.

«Будь покойна, моя Полинька, я здоров и смел. Я готов на все и заранее обдумал все, что может случиться. Через неделю все развяжется. Только не жди больших бед: в наше время не случается слишком страшных историй».

В наше время!.. Да разве в наше время есть такие люди, как Сакс, разве в наше время бывают такие преступницы, как жена его?..

II

От князя А. Н. Галицкого к т-те Ап. Красинской

(Через неделю после последнего письма)

5 часов утра.

. . . .

. . . .

Тебя удивляют все эти распоряжения: они сильно пахнут духовным завещанием. Надо быть готовым на всякий случай. Ты, верно, догадалась, в чем дело.

Сегодня ночью получил я записку от Сакса. В ней написан был адрес и наставление, как отыскать его дачу. Эк в какую глушь его затащило! Потом была приписка такого содержания: «В семь часов утра. Князь Ал. Ник. догадается отпустить лошадей, не доезжая за версту». Данный им срок кончился: это было приглашение на обещанное свидание.

Взвесивши оскорбление, любовь человека этого к жене и железный его характер, скажи мне, сестра, чего могу ждать я от назначенного свидания? На злодейство Сакс не решится, но что же значит его странное приглашение приехать так рано, в такую глушь, совершенно одному? Признаюсь тебе откровенно, я жду или дуэли в двух шагах, или какой-нибудь подобной проделки, изобретенной для того, чтобы смыть пятно, которое ничем не смывается, кроме крови.

Я бывал в опасностях и не раз ходил на завалы, напевая песенки дорогого моего Беранже, а теперь я чувствую себя не совсем спокойным. На войне дело другое: там и шум, и увлечение, и грозная природа Кавказа. А здесь вокруг меня весь город спит так беззаботно, мутный рассвет глядит в мои окна, все так просто и тихо.

Изо всей массы здешних жителей передо мною одним воображение рисует раздраженного врага с неумолимым взглядом, которого выдержать не смигнувши не может глаз человеческий.

Ночью я мало спал: кое-что написал, кое-что сжег, думал о По-

линьке... правда, когда же я о ней не думаю? С постели встал я охотно и бодро, как водится при случаях, если сон не приносит нам спокойствия.

Только серое утро невыгодно подействовало на мою бодрость: было темно, хотя солнцу следовало быть довольно высоко. Мелкий дождь и туман портят погоду совершенно. Несмотря на август месяц, трудно узнать, стоит ли у нас весна, лето или осень.

Лошади готовы. Прощай же, сестра, если я не вернусь, письмо перешлет тебе мой Иван. Не забудь моих поручений.

12 часов ночи

Сестра, я с ума схожу... я болен, я не знаю, как писать тебе, с чего начать, как все высказать... Я...

Нет, я удерживаюсь, я зову на помощь хладнокровие, рассказ мой будет длинен и ровен, пусть ты испытаешь хоть частичку того, что испытал я сегодня . . . .

Без всяких дальнейших приготовлений я выехал из дому, по дороге к Шлиссельбургу. Проехав порядочный конец, мы своротили с дороги, поближе к Неве. Рассчитав расстояние и поверив места, я вышел из коляски и велел кучеру отъехать к большой дороге. Сам я отправился влево, к старому английскому саду, который мало чем отличался от леса.

Я не ожидал встретить вблизи от Петербурга такое полное, такое унылое запустение. Старые деревья повалились на землю, гнили спокойно, и никто о них не заботился, лужайки поросли мелким березником. Дорожки все заросли, и отличить их можно было только по тому, что трава на них была ниже и росла ленивее.

Скоро открылась передо мною Нева. Густой сосновый лес рос по всему берегу, будто на первых порах основания Петербурга. Другого же ее берега не было видно: туман еще и не думал подниматься, и, по его милости, Нева, узкая в этом месте, показалась мне безграничным океаном.

Место это было так пусто, смотрело таким зловещим, что я, признаюсь тебе, попробовал рукою, хорошо ли вынимается тупая моя шпажонка.

Оглядевшись хорошенько, я приметил на правой руке, около самого берега, высокий барский дом, который чуть выглядывал из-за кучи елей и сосен. Здесь жила моя Полинька, здесь ангел мой тосковал и молился за меня. Кровь моя кипела, я воображал себя Амадисом, Роландом[25] или испанским красавцем под окнами у своей любезной, в виду ревнивого ее мужа.

Дом был красив, но мрачен и стар. Пристройки почти все обвалились, гардин не было ни в одном окне; их должность исправляли сосны да ели, верхушки которых превышали это огромное строение.

Я зашел с одной стороны: ни ворот, ни дверей, ни души человеческой. С другой—тоже. Я рассердился. С третьей стороны отыскал я дверь, постучался и оправился.

Старый лакей отпер мне эту дверь и низко мне поклонился. Грустная его фигура согласовалась с местностью. Не давши сказать мне слова, он повел меня через анфиладу высоких и пустых комнат.

Мебель была в них во вкусе времен екатерининских, старая и запыленная. Портреты мужчин в париках и напудренных дам таинственно поглядывали с потемневших стен на давно не виданного посетителя.

Мы прошли через длинную залу, где во дни оны похаживали знатные боярыни с веерами и петиметры[26] в шитых кафтанах, а потом очутились в длинном и темном коридоре.

— Первая дверь налево,— сказал мне старик и затем исчез, будто сквозь землю провалился. «Diable! C'est un coupegorge!» * — подумал я.

Не удивляйся моему терпению описывать подробности: теперь я понимаю их высокое значение, их необходимость. Сегодняшний день во всю мою жизнь будет мне представляться так же ясно, как в настоящую минуту.

Я отворил первую дверь на левой руке. Меня встретил Сакс. Он был бледнее обыкновенного, та же холодность, то же непроницаемое бесстрастие на лице.

Мы поклонились друг другу.

— Князь,— спросил он,— вы отпустили лошадей по моему совету? Осторожность необходима.

— Я шел пешком версты полторы.

— Хорошо, садитесь. Благодаря вашей скромности я доволен этим месяцем. Ни одна душа не знает наших дел. А теперь потолкуем на досуге.

Он позвонил. Вошел тот же старик, который вел меня. Сакс дал ему шепотом какое-то приказание.

Я оглядывал эту мрачную, высокую комнату со штучными[27] стенами, с черными шкапами, за которые любитель старины барон *** дал бы страшную цену. Кроме стола, заваленного бумагами, кожаного дивана и двух таких же стульев, не было в комнате никакой мебели. На шкапах стояли бюсты каких-то людей с железными физиономиями, с гладко причесанными длинными волосами.

Легкой шум послышался за дверью. Я бы за версту угадал эту божественную походку. То была она — мой ангел, Полинька.

Дверь отворилась; это была она, моя красавица, мое дитя, мое сокровище. Она приветно вскрикнула, увидевши меня; на бледном ее личике загорелся румянец.

Она похудела, но немного. Здоровый воздух от сосен, от близости воды не дал ей изнемочь под бременем горя. Хвала Саксу, вечная хвала этому великому человеку!

Он показал ей на стул возле меня и сам сел на диван. Полинька переглянулась со мною, мы в одно время сдвинули ближе наши стулья... Кто бы мог вырвать ее из моих рук?

---

* Черт возьми! Это разбойничий притон *(франц.)*.

Сакс видел это и грустно улыбался.

— Александр Николаич,— сказал он, обращаясь ко мне с видом упрека.— Я не ожидал от вас, что вы станете пугать бедную Полину Александровну. Что за вечные записочки? Что за толки о роковом сроке, о страшном свидании? Или мы живем в Мексике или при феодальном правлении?

Я хотел отвечать.

— Речь ваша впереди,— сказал он с некоторою досадою.— Мне надобен был этот месяц, чтоб наблюдать за вами и кончить одно дело. Полина Александровна,— тут он встал со стула.— Вы совершенно свободны. Вы более не замужем.

Он подал мне бумагу. Ты понимаешь, что это такое было... Где найти благодарность, достойную этого великодушного человека!..

— Теперь же,— сказал он Полиньке,— вы поедете к матушке вашей на дачу. Я предуведомил ее, и послезавтра вы поедете за границу. Князь Александр Николаич возьмет отпуск и найдет вас там.

— Я выйду в отставку...— чуть мог заметить я с глупейшим видом.

— И прекрасно,— отвечал Сакс. — Тысячи глаз будут смотреть на вас в надежде потешиться скандалом. Обвенчайтесь без шуму и живите долее за границею.

Только в эту минуту разобрала Полинька все величие поступка своего мужа. Бледная как смерть, она упала к его ногам и плакала перед ним так, как плакал я в тот вечер... ты помнишь.

Я стоял как дурак, ноги мои не двигались, язык не шевелился. Сакс хотел поднять Полиньку, она не вставала с пола, противилась ему, как делают упрямые ребятишки. Сцена эта была слишком тяжела для Константина Александрыча: он отошел от Полиньки.

Он подошел ко мне, и голос его, резкий, быстрый короткий, торжественно раздался в пустой комнате, как команда ловкого начальника перед неподвижными батальонами.

— Князь,— сказал он,— вы разом отняли у меня жену и дочь. Вы отняли жизнь мою. Не думайте, что ребенок этот даром вам достался: я не надеюсь на вас! Помните, что б вы ни делали, два глаза будут смотреть за вами, где бы вы ни были, я буду шаг за шагом следить за вами. Вы берете мое дитя — не женщину. Горе же вам, если мое дитя не будет счастливо.

Слышно было, как слова эти теснились у него в горле, он торопился высказать тяжкое свое прощание.

— Я говорю вам просто и открыто: я буду видеть всю жизнь вашу. При первой ее слезе, при первом ее вздохе, при первой ее горести — вы человек погибший.

Он повернулся и хотел выйти. Но Полинька не пускала его, загородила ему дверь, рыдала, тряслась и не могла сказать ни слова. Радость и раскаяние страшно подействовали на бедного ребенка... в эти минуты я ревновал Полиньку к Саксу.

Мы ее подняли. Во все это время я не смел сделать ни одной ласки милому моему дитяти, не смел поцеловать его.

И Полинька меня понимала.

Я видел из окна, как Сакс и старый дядька провели ее к карете, посадили, или, лучше сказать, положили ее туда.

Несколько минут в странном оцепенении я все еще ждал Сакса. Я видел, как дрожки его промчались за каретою, и все-таки не мог отойти от окна.

Если б я мог, не теперь, а лет через пять, умереть за этого человека!

. . . .

Вечером я навещал Полиньку. У нее лихорадка и головная боль. Мы плакали и целовались... от радости не умирают... Скоро, скоро! Чтоб не затянулась только проклятая моя отставка!

III

От К. А. Сакса к П. А. Залешину

Добрый мой Павел Александрыч, одним холостяком стало более. Опять я одинок, как в былые времена. Уже нет маленькой Полиньки Сакс, осталась княгиня Полина Александровна Галицкая. К ней лучше шло это коротенькое имя: Полинька Сакс.

Я люблю тебя за то, что, прочитавши это письмо, ты не заахаешь, не закричишь: чрезвычайное происшествие, неожиданное известие, а скажешь, вероятно: видно, оно так и должно быть, у этого человека мысли не в разлад с делом.

Я еду за границу: дело встретилось. Там, думаю, долго придется мне прожить. Бюджет мой сокращаю я по-холостому, наполовину, и вследствие того хочу дать тебе поручение. Коли надоест, или нельзя, или лень, так уведомь.

В отсутствие мое возьми главный контроль над моими управляющими: преобразуй их в филантропически-пантагрюэлистском вкусе. Денег мне надо меньше, можно сократить сборы.

Именьице, которое досталось мне от отца, выпусти в обязанные крестьяне, согласно новым положениям[28]. Покопайся сам в законах, мне же, право, некогда.

Я был заботлив, но я служил. Пускай, при твоем надзоре, у моих подданных отрастут такие же животы и растолстеют физиономии, как у твоих крымских переселенцев. На первый раз довольно будет этого.

Коли ворочусь скоро в Россию, к тебе будет первый мой визит. Посетим и оракул de la Dive Bouteille;* только не знаю хорошенько, о чем буду я его спрашивать.

---

* дивной бутылки *(франц.)*.

ГЛАВА IX

I

От княгини П. А. Галицкой к m-me Ап. Красинской

Ницца, ноября 184 * года.*

Я редко пишу к тебе, Annette... и знаю, что ты извинишь меня. От брата ты ведь хорошо знаешь, что мы и где живем. Мы с ним давно обвенчаны, я счастлива, только здоровье мое мало поправилось. После последней моей болезни в Петербурге я, кажется, поторопилась выезжать, а потому до сих пор больна, и больна как-то странно... У меня боль в груди и по временам лихорадка. Это бы еще ничего... только иногда случается, что я совсем одуреваю, целый день брожу как в тумане... Какие-то урывчатые мысли день и ночь бегают в моей голове, а иногда я сижу по целым часам, смотрю на одну какую-нибудь точку и ни о чем не думаю.

Чаще всего я что-то припоминаю: то грезится мне мое детство, то думаю я о первом моем замужстве, и вспоминаю все это как-то странно, бестолково... без горя... без веселости.

Одни только слова вечно вертятся в моей голове, не знаю отчего, давят мне сердце какою-то тяжестью. Тебе писал брат, каким образом прощался с нами Сакс... А!.. Опять сердце мое бьется, бьется, опять звенит в ушах моих: «Помните, князь, при первой ее слезе, при первом ее вздохе — вы человек погибший». Отчего слова эти вечно мне слышатся?

И не знаю отчего, а я плачу. Грудь моя разорваться хочет... а надо прятать эти слезы: за нами глядят два неотступные глаза, а взгляд их так кроток и так спокоен. Опять раздаются около меня слова эти: «при первой слезе ее вы погибли».

Муж мой не наглядится на меня, бросил все свое родство, обожает меня... Я люблю его столько же, только, поверишь ли, мне как-то до сих пор дико его видеть: все еще, видно, я больна и не могу собраться с силами. И странно, когда он сидит у моих ног, целует руки мои, я отчего-то боюсь целовать его, мне мерещится что-то незнакомое, какие-то речи, не идущие к делу. А потом вдруг разом раздается в ушах моих: «Вы берете мою жизнь... я не надеюсь на вас... шаг за шагом буду следить за вами... горе вам, если дитя мое не будет счастливо».

Боже мой! Зачем чудные слова эти меня неумолимо преследуют? Ложусь ли я спать... я поздно засыпаю, мысли мои долго путаются... я что-то припоминаю, припоминаю — и вдруг опять слышу я этот голос, проницающий душу:

«Помните, при первой ее слезе...»

Он слышится мне, слышится... в самом сердце моем говорит этот голос, и чьи-то глаза блестят передо мною, и тихая твердая походка как будто раздается по ковру моей комнаты.

Сакс!.. как странно кажется мне это имя... Сакс здесь. Он уехал из

Петербурга... он следит за нами... шаг за шагом следит за нами... он смотрит за мною... боже, успокой его... пошли ему счастие... он велик...

Опять эти слова... опять его глаза... Перо падает из рук, туман стелется на мои мысли... «Помните, князь, ребенок этот вам не даром достался!»

II

От княгини П. А. Галицкой к m-me Ап. Красинской

Флоренция, февраля 184 года.*

Друг мой Annette, я вижу, что я скоро умру, а мне столько надо рассказать тебе, сделать тебе такие важные просьбы... Я знаю мою болезнь... ты помнишь странные слова, которые мучили меня это время. Они растолковали мне много, много, дали мне жизнь, а вместе с тем я умираю от них; только теперь я знаю почему. Теперь все в жизни открыто для меня, я столько пережила в эти два месяца...

Друг мой, ты не знаешь, что я люблю его всеми силами души моей. Я недавно это узнала: я люблю моего мужа,— не теперешнего: его я жалею,— я люблю его, Константина Сакса. Знаешь ли ты, какое райское наслаждение в первый раз высказать всю любовь мою, написать это обожаемое имя, покрыть его поцелуями и залить горячими слезами!

Я люблю его и всегда его любила. Только перед этим я не понимала ни его, ни себя, ни жизни, ни любви моей. Десять его слов сорвали завесу со всей моей жизни, разъяснили мне все, к чему в темноте рвалась моя душа. Пусть бог благословит этого человека, который и в разлуке дает жизнь, воскрешает, кончает начатое воспитание...

Я любила его всегда: любила, выходя за него, любила его, когда я целовалась с твоим братом, любила его, изменяя ему. Я любила его, когда раздавались над нами прощальные его слова... только во все то время я любила бессознательно; теперь только я сознала всю мою любовь и на краю гроба счастлива этой любовью, не променяю ее ни на что в мире.

. . . .

На севере Италии воздух мне больше повредил, чем помог. Грудь моя стала сильнее болеть; к этому прибавилось еще постоянное биение сердца. Мы решились проехать более на юг; князь по целым ночам плакал у моей постели и совсем терялся. Я же утешала его, устроила план поездки в Неаполь и уговорила его остаться на время во Флоренции, зная его слабость к многолюдным местам.

Мы жили здесь более недели. Я начинала чувствовать в себе странную перемену. До сих пор я была совсем равнодушна к природе: мало было мне дела, в Италии я или в России; а с тех пор как болезнь моя усилилась, я сделалась как-то умнее, понятливее до всего, особенно до природы.

Здоровье мое несколько поправилось, мысли стали меньше путаться. Ночью только дела шли по-старому: та же бессонница, те же несвязные воспоминания, та же чудная тоска...

Раз я оставила моего мужа на придворном бале и домой уехала ранее обыкновенного. Мне казалось, что усталость, свежий воздух скоро усыпят меня. И только что вошла я в спальню, тоска, лихорадка обхватили меня. Я села писать письма. Все вокруг спало.

В это время легкий шум послышался за дверью: занавес откинулся, и высокая фигура показалась в отдалении. Тихая, твердая походка, его походка, послышалась в комнате. Руки и ноги мои похолодели, а кровь кинулась в лицо. И между тем я улыбалась: это был он, а я начинала уже понимать его.

Сакс стоял передо мною в изящном бальном фраке; глаза его были так же светлы, грудь так же широка.

Он подошел ближе и кротко взглянул на меня.

— Дитя мое,— тихо сказал он,— что ты все хвораешь и задумываешься? Нет ли у тебя горя какого?

Я слышала, как кровь моя подступила к сердцу и колебала его неровными ударами.

Я схватила его руку, прижала ее к сердцу, к губам, к горячим глазам моим, которые не могли плакать...

— Прости меня...— шептала я глухо.

Он думал, что я благодарю его и прошу прощения.

— За что, малютка, в чем? — проговорил он, улыбаясь.— Прощай же, я рад, что ошибся.

Он нагнулся ко мне и поцеловал мою руку.

Я писала к тебе давно, что этот человек, ни до замужства моего, ни после, не целовал моей руки. Была ли это странность, или в том заключался какой-нибудь смысл...

И когда губы его в первый раз коснулись моей руки, я вздрогнула, и внутри у меня что-то оторвалось. Я видела, как он повернулся и вышел из комнаты, и, только что заперлась за ним дверь, у меня кровь потекла из горла, и я упала без памяти. То был первый обморок во всю мою жизнь.

Было от чего: этот поцелуй... короткие слова его... участие его... с этой минуты поняла я и его и себя.

Напрасно брат твой спит у моих ног и по глазам моим угадывает мои желания. Я не могу любить его, я не могу понимать его; он не мужчина, он дитя: я стара для его любви. Это он человек, он мужчина во всем смысле слова: душа его и велика и спокойна... я люблю его, не перестану любить его.

Я погубила себя, я не понимала его... но я не виновата. Бог простит мне, потому что я не ведала, что творила. И перед Саксом я чиста вполне; я погубила себя без сознания, как губит себя бабочка на огне, как ребенок по воле взлезает в светлое озеро.

Я далека от раскаяния, и в чем каяться мне? «Что было, то было»,— говаривал Константин, и теперь ясно я понимаю смысл всех речей его. С любовью, со страстью я припомнила всю мою жизнь с ним, растолковала все его речи, как толкует ученый творения любимого писателя.

Создатель мой! Я благодарю тебя за все: за жизнь, за любовь его, за любовь мою! Я не знаю горя и страха смерти: в минуты, страшные для всех людей, я думаю о нем, часы томительной бессонницы сделались для меня часами наслаждения. Это часы любви, часы воспоминания! Я боюсь заснуть, я с жадностию накликаю на себя бессонницу...

. . . .

Я остановилась на моем обмороке: то был первый припадок страшной болезни, насколько я поняла шептавшихся около меня докторов. Это было начало злой чахотки.

И странно: радость обхватила меня, когда я узнала, что мне скоро умереть. Значит, он переживет меня. При жизни я ничего ему не скажу: прошлого не воротишь. А после моей смерти он заглянет в мое сердце, я сделаю, что он увидит окончание моего воспитания; он узнает, что я оценила его, что за величайшую жертву я отплатила ему тем, чем только может платить женщина: беспредельною, жаркою любовью.

Чуть наступает ночь, я ложусь в постель, думаю о нем и припоминаю все дела, все слова его... Надумавшись о нем, я сажусь к столу и пишу письмо, которое получит он только после моей смерти.

В этом письме моя исповедь, мое страстное признание, моя благодарность ему, мой экзамен. Это мое первое и последнее любовное письмо.

Окончив дорогое письмо, я кладу его под подушку. Горничная моя знает, что с ним делать. Ей дан конверт с надписью на имя Сакса, в Россию. Если бы я умерла неожиданно, она должна вынуть из-под подушки письмо и отдать его на почту.

На следующую ночь я вынимаю написанное письмо, читаю его... как слабы его выражения, как страшно за один день разрослась любовь моя! Я пишу новое послание, целую эту бумагу, на которую упадут его глаза... Потом я молю бога за него, на коленях прошу его послать спокойствие Константину, послать ему любовь... Нет, нет, нет! Не надобно новой любви!

Одна мысль меня тревожит: что, если моя Маша забудет отдать письмо или оно пропадет на почте? Прошу тебя, ангел мой, сделай последнюю дружбу твоей Полиньке. После моей смерти осведомься вернее, передала ли Маша мое письмо, о котором я говорила. Напомни ей, напиши, уверься сама. Если оно пропало, повидайся с ним,— вы съедетесь же в Петербург,— покажи ему это теперешнее письмо. Пусть через него он сколько-нибудь заглянет в мою душу, узнает, что я любила его, и опять найдет свою Полю.

Думать, что он не увидит моего письма: мысль эта меня убивает. Там только я говорю языком для него понятным, там только увидит он, что ребенок его перед смертью сделался женщиною...

Оно писано слезами и кровью, в нем осталась вся моя душа.

Брату твоему не говори, что я его не любила. Общая ошибка связала нас до конца жизни, и до конца жизни буду я ему послушною женою. Мне жаль его: он любит меня... пусть неотступные глаза моего Константина не следят за нами, они не разгадают ничего до моей смерти...

Опять эти глаза смотрят на меня, опять голос его звенит в моих ушах, только на этот раз я понимаю его... я обожаю этот голос...

Боже!.. Кровь подступает к моей голове, сердце мое рвется... смерть, смерть идет ко мне... Господи, еще день... еще час жизни... чтоб я могла еще подумать о нем... перечесть мое письмо к нему... там не все еще сказано...

Мне хуже, хуже... Константин, помни обо мне... я люблю тебя...

Прошло еще два месяца. Весеннее время оживило княгиню Галицкую. Муж ее плакал от радости, лелеял ее, не отходил от нее. Весь город не мог налюбоваться на молодых супругов.

Догадался ли Сакс о чем-нибудь или остался доволен житьем Полиньки, только он выехал из Флоренции. Около года следил он за князем и его женою, шаг за шагом, как выразился он, передавая Галицкому свою Полиньку.

Надо было ему отдохнуть. Он уехал в Россию и поселился в крымском имении Залешина. Только напрасно старался добрый пантагрюэлист откормить своего тощего приятеля: брюхо у Сакса не вырастало, и лицо его не принимало жирной полноты, так приятной взгляду почтенного поклонника Рабле.

В один из тихих июньских вечеров Сакс сидел, задумавшись, на крутой горе, узкою площадкою отделенной от вечно шумящего моря. Сзади его, как на театральном занавесе, раскидывалась длинная перспектива лугов, пересеченных рощами, и полукруглый лес замыкал эту роскошную перспективу. Зонтиковершинные тополи будто плавали в розовом и прозрачном воздухе.

А под ногами его тихо плескалось море, набегая на песчаный берег под самые скалы. Дым от проходящего парохода стлался вдали, и где-то замирала тихая песня рыбака.

Толстый камердинер Залешина подошел к Саксу и подал ему письмо с черной печатью и заграничным штемпелем.

Полиньки не было уже на свете. То было последнее ее письмо, которое писала она и перечитывала по ночам. Что было в нем написано, знали только бог, да Сакс, да сама Полинька...



РАССКАЗ АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЧА

ПОВЕСТЬ



ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ

Истинно вредные, даже богопротивные мысли лезут человеку в голову, если человек этот, промотавшись дочиста, сидит один в тесной своей комнате, вечером, в ту пору, когда весь Петербург пляшет или слушает оперу. С задором и враждою смотрит бедный затворник и на общество и на все его законы да строит утопию за утопиею, то грязную, то тихую, по наклонности собственного своего характера. Строить утопии вещь чрезвычайно полезная: мало-помалу грустные мысли начинают улегаться, серая комнатка оживляется, грациозные образы начинают порхать перед мечтателем поневоле, затрогивают его, кокетничают с ним, советуют ему встречать огорчения насмешкою, переносить нужду с беззаботностью влюбленного мальчика.

За неимением лучшего можно еще иногда сидеть *одному* в своей комнате, но плохо человеку, которого судьба, позабыв наделить любовью к семейственности, поминутно сталкивает с особами, может быть и дорогими, но слабыми, несогласными и несносными. Не удастся бедному мечтателю и одному посидеть, не дадут ему строить утопий! откуда явится докучливое участие, откуда набредет куча патриархальных физиономий с вечно кислыми улыбками, с несносною, молчаливою моралью!

Тут-то наступает разгул грустным мечтам о гордом одиночестве, о бесполезности и бестолковости многих семейных отношений! Да, плохо иногда бывает промотавшемуся человеку.

Таким образом думал я, надевая шубу и отправляясь к приятелю моему Алексею Дмитричу, который обладал великим достоинством в приятеле, а именно почти всегда сидел дома. Почему он всегда сидел дома, это я сейчас объясню.

Алексей Дмитрич был человек военный — правда, военный только по мундиру. Образ жизни его был несколько странен и слишком регулярен для военного человека. Он вставал обыкновенно в восемь часов утра, пил чай с неимоверною медленностью, отправлялся учить свою роту, учил ее с большою заботливостию и старанием и продолжал это занятие до тех пор, пока желудок его не начинал требовать пищи. Почувствовав аппетит, приятель мой тотчас же кончал свое дело, не стесняясь никакими обстоятельствами, и с быстротою урагана устремлялся домой, где обед был готов во всякую пору начиная с одиннадцати часов. Никто в мире не мог бы остановить Алексея Дмитрича, когда он шел обедать,— догнать его можно было только на лошади.

После длинного обеда Алексей Дмитрич приказывал закрыть ставни; ложился спать и спал изумительно долго, потом шел гулять по улице. Если погода была ясная и дорога сухая, лицо его было спокойно; в противном случае гулянье действовало вредно на его нервы. Он угрюмо глядел на проходящих и пел себе под нос басовые итальянские арии, которые, как всем известно, отличаются свирепостью и тона, и содержания.

Потом он пил чай дома, и тут решалась участь остальной части дня. Если приходили к нему в это время приятели, он оставлял их у себя до поздней ночи, пел, спорил о театре, рассказывал скандалезные анекдоты, и веселость его скоро оживляла всю компанию. Но Алексей Дмитрич принадлежал к тому небольшому разряду людей, которые по произволу могут быть веселыми и скучными; а такие люди, если глубже в них всматриваться, веселостью своею часто наводят на грустные размышления.

Собеседники Алексея Дмитрича не принадлежали к числу той молодежи, которая десятками торчит в цирках и прочих публичных собраниях, в опере громко назначает друг другу свидания у какой-нибудь апокрифической графини да удивляет смиренных людей крутоватостью своей груди и воинственностию осанки. У приятеля моего сходились по вечерам все люди худенькие, желчные и бледные, ленивые и капризные, иногда восторженные до ребячества, иногда насмешливые и полные отрицания. Юность этих людей не была взлелеяна честолюбивыми надеждами и энциклопедическим всезнанием: вечное шатанье и жизнь нараспашку наградили их умом практическим, сблизили их и с высшими и с низшими слоями общества, заставили их горячо любить тот из этих классов, который более всего нуждается в сочувствии и заботливости.

Если же вечер проходил без собеседников, Алексей Дмитрич читал газеты часа с полтора и в десять часов «отправлялся в объятия Нептуна» [1], как выражается один мой знакомый, очень ученый, но не весьма сведущий в мифологии.

Могут спросить: откуда брался у него сон? на это я могу отвечать по опыту, что у того, кто много спит, сон не крепок и перерывчив, но наполнен презанимательными грезами и сладкими ощущениями при пробуждении и новом усыплении. Эти-то достоинства высоко ценятся людьми, которых судьба наделила халатными побуждениями, побуждениями русского человека.

Не всегда, однако, хватало сна у Алексея Дмитрича. Иногда, после чаю, он отправлялся не торопясь в один из театров, опаздывал немилосердно, скромно пробирался в залу, садился в первом ряду и сидел с примерным благочинием. Даже во время антрактов, в минуты движения, приветствий, сластолюбивых взглядов на бельэтаж, приятель мой не оставлял своего кресла, не облокачивался на перегородку, не делал экзамена городским красавицам. Никто не заговаривал с мирным театралом, сам он не кланялся ни с кем, хотя знал поименно всю пеструю толпу, наполнявшую кресла. Много товарищей детства узнавал он в этой толпе, по их огрубелым лицам и сановитой осанке припоминал прежние их миловидные детские черты, но не любил возобновлять прежних связей. Хо-

лодно замечал он, как люди, ходившие прежде в последний ряд, облекались в блестящий костюм и уже садились в первых рядах, уже заводили на голове проборы и отличались чистотою перчаток. Холодно наблюдал Алексей Дмитрич, как иные львы, краса первого ряда, вдруг куда-то исчезали, не являлись более в театр и, вероятно, запутавшись в какой-нибудь двусмысленной истории, стирались с лица земли...

Алексею Дмитричу, казалось, было все равно, что бы ни давали в театре: он любил и оперу, смотрел «Closerie des genêts» *[2], был непрочь и от «Двумужницы» [3], этого украшения дней праздничных и воскресных. Немецких спектаклей, однако, не любил наш приятель, хотя один раз приехал в Михайловский театр с твердою решимостью посмотреть «Zopf und Schwerdt» **[4] или что-то в этом роде.

Но пустота театра, смиренные лица зрителей обдали холодом Алексея Дмитрича. И когда первый любовник с жаром произнес: «O, warum hast du mich...» ***, приятель мой ухватился за шляпу и с негодованием ушел домой и тотчас же лег спать.

Такой образ жизни был странен для образованного человека. Алексей Дмитрич не скрывал его и вместе с другими готов был над собой смеяться. Такая жизнь не была претензией на оригинальность: приятель мой не имел таких претензий и сверх того был равно далек и от жалкого самодовольствия, и от пошлого разочарования.

Я любил бывать у Алексея Дмитрича; у него встречал я людей, с которыми в прежние времена сблизила меня военная жизнь, а порою и безденежье, этот петербургский вампир, который постоянно сосет кровь всей нашей молодежи, усыпляя ее взмахами грязных своих крыльев.

Но в тот вечер, о котором идет речь, у Алексея Дмитрича не было ни души. Сам он лежал на постели под одеялом и что-то читал, как видно, для засыпки. Грусть обхватила меня при входе в его огромную, сараю подобную комнату, в которой тускло горела небольшая свеча. Мне стало неловко.

— Бог с вами, Алексей Дмитрич! — закричал я, ухватясь за одеяло.— Хоть бы вы десяти часов подождали! Полноте, одевайтесь, пойдемте куда-нибудь поболтать.

— Очень надо,— сказал он с неохотою,— а здесь нельзя нам болтать?

— Да кто же вдвоем болтает? Вдвоем скучнее, чем одному. Надо же совесть знать: хорошо, вы спать можете, мне-то что же делать?

— Да видите, я рано встал по утру...— апатически промолвил мой приятель.

— Да не дам я спать,— упрямо возразил я.— Я совершенный цыган, денег у меня нет, ехать далеко мне лень. Да и вам надо развлечение. Вы давно уж так живете?

— Да года с два, как вернулся с Кавказа.

— И долго будете так жить?

---

* «Хуторок дроков» *(франц.)*.
** «Коса и меч» *(нем.)*.
*** «О, зачем ты меня...» *(нем.)*.

— Пока не надоест.

Чтоб расшевелить Алексея Дмитрича, я решился его рассердить. Да сверх того я и сам сердился за бесцеремонный лаконизм, которым проникнуты были ответы моего приятеля.

— Вот напустил на себя человек!..— говорил я, будто собираясь уйти.— А все Кавказ виноват! Там и битвы, и бурные страсти, и разочарование! Что ж после этого жалкий, материяльный Петербург? Сочинять себе новый образ жизни: на это вы мастера, господа Печорины...

Я ловко кольнул хозяина. Алексей Дмитрич сильно не любил претензий на разочарование, которые и прежде были смешны, а теперь сделались окончательно глупы.

— Образ жизни! — закричал он с неудовольствием и сел на постели.— Да что дался вам *мой* образ жизни? Да чем же ваша-то жизнь от моей разнится?..

— Я езжу в общество, смотрю людскую комедию на большой сцене. Я знаю женщин, связываюсь с ними, тешу мое самолюбие...

— Ну, да вы — особая статья! — заметил сердитый хозяин, растопырив руки и с видом глубочайшего почтения.— Вы ведь мастер «сидеть на гамбсовском пате», порхать «под упоительные звуки», как там у вас пишется? А мы люди темные, у нас на вечерах не угодно ли ужинать в спальне, откуда кровать вынесли, а танцевать в тесной зале, да на стулья натыкаться...

— О! Байрон! о герой нашего времени! — кричал я без всякой совести.— Вон он куда хватил! И точно: что такое женщина без блестящей обстановки? что такое род человеческий? что такое любовь? что за дрянь — самолюбие?..

Алексей Дмитрич совсем рассердился, встал с постели, надел халат и заходил по комнате из угла в угол. Я торжествовал.

— Женщины! — задумчиво говорил мой приятель.— Я люблю их, хотел бы часто их видеть. Да разве легко дается знакомство с женщинами? Кто хочет связываться с женщинами, тот должен связаться с семейством. А почем знаете вы, может быть семейная жизнь мне совсем не по вкусу, что даже я боюсь с нею сталкиваться?

— Знаю и я этот фамилизм! — отвечал я, подделываясь под мизантропический тон моего приятеля.— Умеет он вламываться в нашу душу, умеет связывать нас с жалкими существами, награждать нас *их* страданиями, отнимать всю энергию, всю независимость от наших поступков... Вижу, что вы заплатили порядочный процент семейным несчастиям.

— Не несчастиям: просто семейной жизни,— говорил хозяин, радуясь сходству наших мыслей.— Скажите просто: семейной жизни; всякой под этим словом уразумеет сотни таких драм, которые губят людей тысячами.

Я продолжал раззадоривать Алексея Дмитрича, Алексей Дмитрич продолжал ходить по комнате и произносить страшные филиппики на семейственность. Наконец он остановился передо мною.

— Вы меня глубоко огорчили нападками на мою жизнь,— ласково сказал он.— Всякого другого я бы выбранил, а перед вами я молчу, я

даже хочу оправдываться, глупая моя натура готова потакать вам. Вижу я, что у вас теперь денег нету, так вы от нечего делать шатаетесь по знакомым, поддразниваете добрых людей да наводите их на спор. Спорить я не умею, а болтать с вами готов. Слушайте и судите меня. Я расскажу вам,— продолжал Алексей Дмитрич,— историю, которую я никому не рассказывал, историю моего детства и первой молодости. Нечего и предупреждать вас, что в рассказе моем не будет ни особенных катастроф, ни эффектных злодеев. Напротив: лица, близкие ко мне, были все люди прекрасные, достойные лучшей участи, люди любящие и честные. А совсем тем они сделали мне больше зла, чем самый злейший враг мой. Я не виню их; они умерли, я вспоминаю о них с болезненным чувством, готов отдать все на свете, чтоб воротить их к жизни, чтоб дать им счастие: помоему или по-ихнему, лишь бы счастие.

Берите сигарку, рассказ начинается:

Я родился в Крыму, где служил тогда мой отец. Вот все, что я помню о той стороне: как-то ребенком взнесли меня на гору, и я долго смотрел вниз. На страшное пространство тянулись вдаль горки, поля и речки. Прямые высокие деревья стояли около нас, в кучах и по одиначке, а порывистый ветер сильно колыхал пирамидальные их вершины. Далеко, далеко от меня видно было море.

На старом Большом театре[5] был первый занавес, на котором изображена была перспектива, горы и море. Всякой раз, глядя на него, вспоминал я о первых годах моего детства и очень жалею, что вместо этого занавеса теперь красуется вид какой-то лестницы, на которой не очень кстати торчат два кувшина античной формы.

Когда мне минуло пять лет, семья наша переехала в Петербург. Отец надеялся получить место; но главною причиною этого переселения были запутанные его денежные дела, которые угрожали ему лишением последнего состояния. Он нанял квартиру на Вознесенской улице[6]. Рано узнал я эту тесную улицу с каретными сараями и тяжелым кузнечным запахом. Помню и дом наш, он был каменный, высокий, желтый, с оранжевыми деревянными коридорами по бокам. И стены и пристройки были совсем закопчены от давно начинавшегося пожара и никогда не подкрашивались. Крыша покрыта была обломанною черепицею; хорошо, что теперь уже не видать нигде черепичных кровель; на дворе, между дровами и безобразным сараем, стояла чахлая березка. Вы знаете мягкость ребяческой души, и потому поверите, что несчастная эта береза наградила меня сотнями горьких минут, даже часов. Унылая петербургская природа, унылая жизнь родителей быстро развила во мне какую-то странную и мечтательную тоску. В это-то время я часто просыпался ночью и плакал, думая о том, что на дворе стужа и ветер, что на больном деревце засохло еще несколько сучков, обвалилось с него еще несколько листьев, что плохо расти бедной березе на нашем нечистом дворике. Лучше было бы, если б эта березка никогда не существовала.

Теперь познакомлю вас с моими родителями. Отец мой пользовался неограниченным, восторженным уважением близких к нему лиц. Он славился человеком примерной доброты и честности; до сих пор случается

мне слышать отзывы о нем, где бескорыстие его прославляется как восьмое чудо. Но жить ему было плохо на свете, особенно в те времена лихоимства. Он не ладил со многими, кодекс взяточников был ему неизвестен, для него не существовало спасительных выражений: не я, так другой, теплое местечко, безобидный доход.

Озлоблен ли он был неудачами, или нрав его был завсегда угрюм, только отец мой был плохим семьянином. Припоминая события, я вижу, что он любил детей с редкою нежностью, но никогда не ласкал нас, воспитанием нашим не занимался, имея мало времени. Но величайшая его ошибка была та, что детей своих делал он свидетелями деловых и семейных своих неприятностей.

Он участвовал в каком-то предприятии, капиталы которого лопнули и для которого вошел он в долги. В тесную нашу квартиру часто ходили искривленные люди в очках, в вицмундирах, с бумагами. Они были отвратительно спокойны, отец часто сердился и спорил. Но невыносимо тягостно было смотреть на него, когда они уходили, Он начинал ходить по комнате, грустно задумывался, писал что-то на маленьких лоскутках и оставлял работу, махнувши рукою. Меня страшно мучили эти сцены, участие и любовь к отцу заставляли меня жадно вслушиваться в каждое его слово, тихонько прочитывать каждую упавшую бумажку и из этих отрывистых материялов составлять собственные соображения. Ум мой до того изощрился этою работою, что десяти лет от роду я знал тяжелое положение моего отца почти во всех подробностях. И до грустных этих открытий дошел я с помощию своих глаз и ушей, потому что не осмеливался никого расспрашивать прямо.

Я помню, каких трудов стоило мне добраться до горьких моих открытий. Приходилось ли мне слышать, что отец жалуется на срок векселя, я издалека, хитро выспрашивал у посторонних, что такое значит вексель. Дня через два, чтоб не подать подозрения, я таким же путем старался узнать, что значит срок? И во всем этом руководила меня, конечно, не жадность,— могла ли она быть в ребенке? — а истинное, глубокое участие в горе моего отца, и в страдании при несогласиях, которые по этой причине происходили у него с матерью.

Мать любил я менее, чем отца, несмотря на неограниченную нежность ее к детям. В отце любил я его твердость, редкие минуты веселости,— в матери я не видал ни того, ни другого. Она была женщина, которую всякой бы назвал образцовою при других обстоятельствах; но переносить тесные наши обстоятельства она решительно не умела. Прежде жила она в богатстве: воспоминание той поры ее мучило; но главными ее недостатками были лишняя мнительность и раздражительность характера. Она видела разрушение нашего состояния, видела умножающееся семейство — и думала устроить дела не радикальною переменою жизни, а мелкими хозяйственными расчетами. Натурально, всякой час доказывал неосновательность ее планов, и она глубоко терзалась вследствие каждой из самых мелочных неприятностей.

Между отцом моим и матерью, с первых лет брака, существовала какая-то тайна или, лучше сказать, какое-то тяжкое воспоминание, обоим

им понятное и о котором они боялись говорить. Несмотря на то, весь дом знал эту тайну, и я, может быть, к горю моему знал ее... только, знаете, я не хочу говорить о ней... я человек с предрассудками... я не могу вспоминать об этом предмете.

А между тем это обстоятельство бросает большой свет на мой характер, на мое воспитание. Довольно будет знать вам то: часто родители мои не ладили между собою, часто они огорчали друг друга, часто бранились в моем присутствии... часто на губах отца моего мелькал какой-то страшный, тяжелый упрек... слова их были темны и странны, они сами скоро прекращали разговор... Но это не мешало мне всякой раз терзаться душою, не спать целых ночей, проплакивать целые ночи, пока родители мои спали спокойно, выбранив друг друга и успевши помириться...

Весь наш дом был настроен на этот лад несогласий и сетований. Прислуга наша была привязана к своим господам, но по милости мелких хлопот мелкого хозяйства постоянно возникали неудовольствия между хозяевами и прислугою. Между собою люди эти жили, как водится, предурно и пренесогласно. Тесное помещение наше беспрестанно сталкивало их носом к носу, и каждое утро раздавалась брань, сыпались укоры, упреки, жалобы на горькое свое житье, и весь этот гвалт едва-едва успокаивался при появлении господ. При детях же люди наши не слишком церемонились.

Помню я гибельную эту тесноту, лишившую меня полного физического развития. Для воспитания ребенка потребно много свободного пространства: не надо, чтоб он часто сидел один, да не следует же ему жить и в вечном шуме. Детская наша устроена была в низкой и проходной комнате; часто, когда я ложился спать, ходьба всякой челяди только что начиналась,— особенно, если в квартире были гости. Ничто не могло приучить меня к беспокойству и перерывам сна: по целым часам я дожидался, скоро ли перестанет ходьба, и засыпал тогда только, когда последняя горничная, уложивши мать, возвращалась к себе через нашу комнату. От этого я вставал на утро недоспавши и на целый день оставался вялым и кислым.

У отца бывали иногда и вечера: с какой стати, для какой надобности, бог один ведает. Собирались какие-то неловкие люди, полузнакомые между собою, стояли около дверей, поодаль от дам, иные из них быстро исчезали, заслышавши, что на фортепьяно начинают брянчать какой-нибудь танец. Опасения этих господ всегда почти оставались напрасными: танцы редко устроивались, а если и начинались, то шли так вяло, и неловко, и безжизненно. Молодые люди ничего не говорили с дамами, от нечего делать, для вида, подходили к детям, гладили нас по голове, рассказывали нам такие нескладные вещи, что я порою сам страдал за бедных рассказчиков.

Физические мои силы развивались лениво и медленно; меня часто водили гулять, но я сам избегал этих прогулок. Как-то неприязненно глядели на меня кирпичные, закопченные дома, встречающиеся пешеходы были так угрюмы и мрачны, что я даже их боялся, а по вечерам мне иногда грезились их желтые, нахмуренные лица. За город мы никогда не ез-

дили, и потому недостаток чистого воздуха пагубно действовал на мое телосложение.

Зато умственные мои силы несвоевременно расширялись под гнетом унылой этой жизни; только развитие их было и неполно и болезненно. Как тесто, сдавленное прессом, ум мой выигрывал в ширину, теряя во всех остальных отношениях. Я как-то часто задумывался, а задумчивость,— сами знаете,— острый нож для ребенка. Неестественное упражнение моих способностей, во всей их девственной восприимчивости, наделило меня и мнительностию и мечтательностию. Прослушав какую-нибудь детскую сказку, я тотчас начинал строить воздушные замки и применять ее обстоятельства к себе и к нашему семейству. Так одно время, более года впрочем, воображал я, что судьба одарила меня богатырскою силою; в другой раз я помышлял о том, как бы хорошо где-нибудь на улице найти много денег. Приятные мечты! нежные воспоминания! «O meine Jugend! meine Jugend!» * — скажу я вместе с немецкою хрестоматиею.

В привязанностях моих выказывалась страшная сантиментальность и сосредоточенность. Десяти лет от роду я до неистовства привязался к одному мальчику, двумя годами моложе меня, который иногда приходил играть с моими братьями. Я же не играл никогда, потому что детские наклонности давно уже во мне не проявлялись. Ребенок этот был родственник одного из наших соседей и по всему составлял резкую противоположность со мною. Я был раздражителен и вял,— он был кроток, как девочка, и, несмотря на то, шалун величайший. Часто являлся он к нам с шишками и синяками на лице, которые, однако же, шли к нему. С приходом его начинались шум и беготня по всем комнатам, а иногда дело оканчивалось дракою, в которой сами ратоборцы едва знали, кто кого бьет и за что. Меня одного Костя не мог терпеть именно за то, что я его никогда не бил. Перед ним я казался еще робче и слушал с унынием, как на редкие предложения дружбы с моей стороны отвечал он насмешками, бранью и обещанием когда-нибудь приколотить меня очень больно.

Все-таки присутствие его было для меня великою отрадою: я смотрел на него, слушал его голос и думал о нем с неизъяснимым наслаждением.

Костин отец был промотавшийся генерал, который спал и видел, как бы скорее сбыть своих детей на руки попечительного правительства. Вследствие таких спартанских помышлений уехал он в свое воронежское имение, а шестилетнего сына передал на руки своему брату, с подтверждением отдать ребенка, при первой возможности, на казенное воспитание. Но дядя Кости был врагом всякого воспитания, и публичного и семейного. Не обращая внимания на побуждение брата, он держал ребенка в своем петербургском имении, воспитывал его вместе с своими детьми и так воспитывал, что родные и знакомые ахали только и пожимали плечами.

Точно, Костин дядя был странный человек. Он с непонятною ненавистью отзывался о Петербурге, приезжал в него с отвращением, однако

* «О, моя молодость! моя молодость!» *(нем.)*.

брал с собою на это время и Костю и других детей. И в деревне и в городе он следил незаметно за каждым их шагом, часто говорил о трудности обращения с детьми,— а дети не умели счесть до десяти, наука достопамятных происшествий и мораль были им решительно не знакомы. Чудак копался целые дни в поле или в саду, дети ему пособляли, он толковал им про травы, каменья и цветы, учил их срисовывать эти предметы, никогда не хвалил и не осуждал их замечаний и их шалостей. Книг им не давал читать никаких, вместо географии чертил с ними планы дома, сада и окрестного леса, водил их без шапок по трескучему морозу и по жестокой жаре. Немудрено, что и знакомые жильцы, в том числе и мой отец с матерью, смеялись над стариком воспитателем, звали его англичанином, чудаком, смотрели на Костю как на бедную жертву и соболезновали о нем. Никто из них не замечал, что бедная жертва цвела здоровьем, что во всех ее движениях виднелась и сила, и ловкость, что глазенки жертвы постоянно светились, как звезды,— тогда как дети насмешников были уродами во всех отношениях.

Случай выручил бедную жертву, и не дал ей сделаться совершенным Эмилем[7]. Холера посетила Петербург, и Костин дядя, поевши не в меру земных плодов, дарованных природою на радость человеку, окончил свою жизнь. Благодаря содействию сильной родни, детей всех призрели, Костю же, по желанию отца, отдали в пансион, куда и я поступил через три года. На это время я потерял из виду приятеля моего детства, да мне было не до него. От холеры же умер и мой отец, оставив все семейство наше в самом бедном положении.

Семья наша убавилась одним человеком, помещение же стеснилось наполовину. Из второго этажа мы перебрались в третий, под самую кровлю, стены новых наших комнат были исчерчены и испачканы и никогда не подкрашивались. Мать моя теряла голову, глядя на свои запутанные дела, надеялась их поправить, доверялась первому встречному дельцу, и обыкновенно эта благодетельная душа обирала ее и запутывала дела еще хуже.

Великим источником огорчений был для нас старший мой брат, который недавно умер. В то время он служил в Петербурге, мотал и беспрестанно попадался в скандальные истории. То был человек странный: слушая его речи и видя его похождения, можно было его принять за какого-нибудь *ландскнехта*[8] или буяна времен регентства[9]. Сочинить драку, попасться в раздор с начальством или даже полициею было для него делом самым обыкновенным. О своих деяниях, заслуживающих строжайшего возмездия, рассказывал он так просто и невинно, как в свете рассказывают об опере, об обеде у нового ресторатора или о прогулке по Невскому. Одним словом, брат мой был буян, что-то вроде Бурцова забияки[10].

Чуть наступала ночь, и он не являлся на квартиру, и я и все домашние ожидали его с трепетом сердца. И предчувствия наши были основательны: редкий день не приходилось выручать его из беды, упрашивать за него. Можете представить, каким источником горя был для нас этот человек. Железная строгость отца держала его в страхе божием;

по смерти же его он вполне предался своим феодальным наклонностям. К счастию, наконец он добился до того, что его выслали в армию, где он со временем сделался отличным служакою. Как бы то ни было, отъезд его успокоил нас и показал, как справедлива итальянская поговорка: lontano degli occhi, lontano dei cuore *.

Новое горе подготовлялось, и я сам был невинною причиною этого горя. Лета мои шли вперед, а очередь поступить в заведение не приходила [11]. Мать моя тосковала и скрывала свое горе от меня, но я вполне сознавал свое положение. Меня подготовляли, как могли, дома. Немецкий учитель преподавал мне тут же и священную историю, а наставник арифметики вместе с нею передавал мне свои исторические познания.

Я не любил никакой науки, все они были для меня равно противны. Никогда не испытал я ни малейшего влечения к любознательности, ни одного урока не затверживал я с охотою. Обстоятельство это было тем страннее, что дети, несмотря на весь вред теперешней системы воспитания, всегда почти привязываются к одной какой-нибудь науке, чаще к математике или истории.— Достойные предметы детской привязанности! Но у меня и того не было.

Нравственной моей системе готовился последний удар. Грустный свидетель нужды и беспрерывных семейных огорчений, я желал какого-нибудь развлечения. Я радовался, когда приход посторонних людей нарушал плаксивую тишину нашего быта, радовался, когда приходило время уроков, даром что учиться смерть не любил. У отца моего был шкаф со старыми книгами: и прежде их никто не читал, да по крайней мере были они заперты, а в то время, про которое я говорю, замок был сломан, и книги оставались к моим услугам. Там лежали сочинения старых русских писателей: перевод «Кандида» в самых цинических выражениях [12] (помните теорию: цинизм выражений означает нравственность поколения), перевод «Страстей молодого Вертера» [13], перевод «Страдания Ортенберговой фамилии» [14], перевод «Видений в Пиринейском замке» [15], перевод «Таинств натуры» Эккартсгаузена [16].

До сих пор я рассказывал вам довольно последовательно ход моих идей и моего воспитания, но со времени Кандида и Эккартсгаузена я умолкаю и не знаю, что вам сказать. Понатужась немного, может быть, я бы что-нибудь и выдумал, но всему есть границы, и прежде всего анализу грустной, ничтожной жизни.

Скажу вам только, что я страстно привязался к гибельнейшему занятию для детства — к чтению. Началом привязанности этой была опять-таки не любознательность: ни тень науки, ни призрак истины не тревожили моей души. Читая книги, я щекотал мое воображение, и был счастлив, потому что не думал ни о плаксивых физиономиях домашней челяди, ни о грустном взгляде моей матери, ни о нужде, которая теснила нас со всех сторон...

Алексей Дмитрич замолчал на минуту. Безыскусственный рассказ его пробился до глубины моей души. Но идеальные чувства еще не совсем

---

* с глаз долой, из сердца вон *(итал.)*.

меня покинули, поведение Алексея Дмитрича в своем семействе никак не мог я одобрить.

— Я понял ваш рассказ,— сказал я Алексею Дмитричу,— и знаете ли, кажется мне, что вы были не простою жертвою, вы сами умножали семейные ваши бедствия. Откуда взялось у вас, ребенка, такое отвращение к нужде и тесноте, откуда получили вы такое полувраждебное отношение к вашим родителям? Или вам не приходило когда-нибудь в голову утешить вашу мать, сказать ей, что вы не боитесь бедности, что только просите ее не горевать и беречь себя...

— Эх, почтеннейший друг! — промолвил хозяин,— хорошо говорить эти вещи в ваши лета, хорошо их делать в мои. Вспомните, что мне было тогда пятнадцать лет.

— Ну-те...— спросил я, смутно постигая главную мысль Алексея Дмитрича.

— Дело в том, что всякой ребенок эгоист самый неумолимый. Согласие, гармония, веселье — это воздух для ребенка, и если вокруг него нет этих атрибутов, ребенку дела нет, отчего это происходит; он возмущается против всех и каждого, не добираясь до того, кто виноват в нарушении гармонии. Нужда раздражает его: может ли он рассуждать о причинах этой нужды? Оттого-то и большая часть браков несчастны,— женщины те же дети, и для брака богатство есть залог согласия.

И вы не поверите, как страшно в продолжении всей жизни человека отзывается несчастное семейное воспитание, до какой степени ярко, в малейших его действиях, высказывается бессознательная вражда, зароненная давно, давно в ребяческую душу. Меня прославляют злым человеком; репутация эта не доставляет мне удовольствия, а потому я желаю оправдаться перед вами.

Надобно вам знать, что у меня в характере есть одна странность. Чужое горе не трогает, а ожесточает мою душу; сетования и жалобы, чьи бы они ни были, действуют на меня как-то непонятно.

Вам может быть случится, несмотря на счастливый ваш характер, испытать в жизни горькое событие. Обманет ли вас ваша возлюбленная, обыграют ли вас в карты, не являйтесь ко мне за советом или дружеским участием. Я очень верю, что в горести мужчина может на время сделаться женщиною, даже ребенком, знаю, что оно даже полезно; со всем тем прошу вас, не тоскуйте при мне никогда, не жалуйтесь на судьбу. Я душевно вас люблю, и потому буду молчать при вашем горе, скажу вам даже какую-нибудь высокую фразу, а в душе моей буду злиться, буду ненавидеть вас... по крайней мере на короткое время.

По должности моей, приходится мне иногда наказывать моих подчиненных. При этой тяжелой обязанности, я радуюсь, если провинившийся встречает беду холодно и терпеливо. Но всякая мольба, всякая слеза при этом случае ожесточает меня. Я делаюсь извергом, по крайней мере в душе, потому что, благодаря бога, я чувствую свою странность и не даю ей воли над собою.

Но боже мой, что со мною делается, если я бываю свидетелем какой-нибудь горькой семейной сцены! Целая книга не передаст вам чувств

моих в это время. Желчь моя вскипает до того, что я становлюсь нездоров. Беспричинный гнев мой, как он ни страшен, но еще может удержаться в границах. А затем является самая язвительная, горькая насмешливость, которая жжет мне губы, силится вырваться наружу, и с которой совладать я решительно не в состоянии...

Алексей Дмитрич замолчал. Тяжелая эта исповедь пробудила бездну мыслей в моей голове; характер моего приятеля ярко выступил вперед, и я понял, за что Алексей Дмитрич проклинал время своего детства...

Мы молчали и глядели друг на друга.

— Черт знает, что такое! — проговорил хозяин и бросил на пол свою сигару.— Начнешь рассказывать дело, а кончишь антропологией... Однако моя повесть стоит Шехерезадиных рассказов и протянется не один вечер. На следующий раз события будут поинтереснее,— я начну с поступления моего в училище.

— Кто не был в училище? — заметил я.— Жду много хорошего, хотя и предвижу страшные нападки на разные способы воспитания.

Мы простились, и я ушел.

ВЕЧЕР ВТОРОЙ

Одни только болтуны находят вкус в беседах с глазу на глаз, порядочный же человек всегда почти ими тяготится. Для меня тяжело посещение лучшего приятеля, если с ним не является третье лицо, будь оно хоть глупое, для оживления беседы. В уединенной беседе человек является великим подлецом: отступается от своих убеждений, спорит без увлечения, потакает такому человеку, над которым верно бы подсмеялся, если б был сам-четверт или сам-пят.

Однако последняя беседа моя с Алексеем Дмитричем составляла исключение из общего правила. Мне хотелось поскорее возобновить наш разговор, только Алексей Дмитрич был человек тяжелый. Бросить книгу за страницу от развязки, перервать разговор в самом интересном месте — для него ровно ничего не значило. Однако невзначай я затронул слабую его струну и вызвал его на то, что он сам предложил продолжать свой рассказ.

Как-то, при разговоре об учении детей, я спросил его, что сделалось с маленьким Костею, эмилевское воспитание которого так сильно противоречило с требованиями нашего общества? Алексей Дмитрич в одно время улыбнулся, вздохнул и нахмурился.

— Да, ведь я у вас в долгу,— сказал он.— История Кости — это самый грациозный и грустный эпизод в моей истории, а стало быть, во всей моей жизни. Да и сверх того эпизод весьма поучительный, особенно в наше время, когда все говорят о воспитании. Приходите же вечером, я все расскажу по порядку.

Видно было, что Алексею Дмитричу приятно было толковать об этом предмете. Как узнаете из рассказа, Костя был первым другом, сестра Кости была первою его страстью. Привязанности эти проявлялись странно в моем герое, натура которого, по собственному его выражению,

была вывихнута по всем составам[17]. Первая дружба его походила на любовь, первая любовь походила на дружбу, и в довершение всего, та и другая страсть кончились несчастливо. Вечером мы уселись на диван, и рассказ продолжался.

— Когда мне минуло шестнадцать лет,— начал Алексей Дмитрич,— синклит родных и друзей дома собрался в квартире моей матери. Толки шли обо мне, и боже мой! как длинно, как бестолково было это совещание! Главный мой учитель, maître Jacques * между педагогами, с похвалою отозвался о моих успехах, но объявил, что для дальнейшего образования следует отдать меня в пансион. Мать моя отделила часть скудного своего дохода, родные пособили ей как могли, и, надо отдать им справедливость, помощь эта была и радушна и благородна. Только люди они были бедные, жертва их принесена была так неловко, что сердце мое сжималось, когда я о ней думал. В годовой цене за мое воспитание каждый рубль изображал собою лишение или был вынут из заветной суммы, которая хранилась на черный день, а черные дни так часты в жизни бедных семейств.

В то время было в большой славе приготовительное учебное заведение француза Шарле[18], взятого в плен в двенадцатом году и с тех пор проживавшего в Петербурге. В достославный для России год Шарле был не цирюльником, не барабанщиком, как иные из наших иностранных воспитателей: он служил поручиком в молодой гвардии императора, взят был в плен не в обозе, а с оружием в руках, на бруствере Шевардинского редута[19]. Однако, несмотря на такую романическую жизнь, Шарле был дурным человеком.

Я не имею ни малейшей слабости к ветеранам de la grande armée **. Эти синие мундиры, исходившие пол-Европы,

Ces habits bleus par la victoire usés *** [20],—

хороши только в песнях Беранже. Шатаясь по свету, я видел двух или трех таких героев. Дико современному человеку слушать восторженные рассказы о том, как тридцать лет назад по тридцати тысяч человек гибли на каком-нибудь широком Ваграмском поле[21]. «Зачем гибли? для кого гибли?» — хочется спросить у этих стариков, да они посмеются над такими вопросами. Многие из них почитают Наполеона удивительным филантропом и в подтверждение расскажут вам, как он посещал госпитали после Аустерлицкого сражения...

Да кроме того все эти ветераны педанты, и жалкие педанты. Если б можно было какого-нибудь почитателя Фридриха Великого перенести на вахтпарад старого Фрица перед Потсдамским дворцом[22], если б можно было иного обожателя Наполеона посадить в кожу бедного конскрипта[23], подготовляемого для кампании... не то бы запели наши будущие Жомини[24].

---

* господин Жак *(франц.)*.
** великой армии *(франц.)*.
*** Эти голубые мундиры, истрепанные победой *(франц.)*.

Шарле был педант, неумолимый, сухой. Он с ума сходил на системах воспитания, а обходился с огромным пансионом, как в прежние времена со своею ротою молодой гвардии. Он жал бедных детей, от чистого сердца давил в них все человеческие чувства; «строгость и дисциплина»,— говаривал он при всяком случае, на каждом шагу.

Заведение его по справедливости могло называться нравственною бойнею. Благодаря репутации этого заведения, дети лучших фамилий поступали к нему каждый год в значительном числе. Несмотря на слезы, неизбежные при поступлении в пансион, мило было видеть эту вереницу новых жертв, эту кучку резвых мальчишек. Тут были и бойкие черноглазые дети, которые смело глядели перед собою, подтянув шейки, наподобие орленков; тут были худенькие белокурые мальчики с большими головами, с светлыми, задумчивыми глазками, нежные, причудливые создания, за каждым шагом которых надобно было смотреть с материнскою любовью.

Между ними были розовенькие дети, полные нежной аристократической calinerie*, для которой нет названия на русском языке; изредка попадались между ними некрасивые ребятишки, у которых будущая энергия написана была на угловатых, резко обозначенных чертах лица.

Но Шарле не очень интересовался физическою стороною своих воспитанников, он не вглядывался с любовью в эти личики, не приспособлял занятий каждого ребенка к его характеру. Учителя были у него превосходные, в этом надо отдать ему справедливость, дети ели славно, гуляли довольно, а со всем тем страшно было посмотреть, что выходило через год из хорошеньких новобранцев.

У орленков глаза тускнели, крылья их опускались, сами они становились похожи на ворон или на галок. Жиденькие, белокурые мальчики худели еще более, рты их раскрывались самым глупым образом, идиотизм начинал просвечиваться в больших их глазах. Розовеньким аристократам было всего лучше, потому что Шарле был человек не каменный, любил принимать подарки от родителей; но и те видимо дичали и глупели.

На всякого мальчика, который неповиновением своим нарушал общепринятый порядок, Шарле смотрел как на личного врага. Наказание следовало за наказанием, шпионство обхватывало непокорного со всех сторон. Шарле беспрестанно шатался по комнатам заведения, учил старших присматривать за младшими, десятилетним юношам читал глубокую мораль, причем слушатель только встряхивал ушами и проклинал заботливого наставника. Благодаря ловкой политике содержателя заведения между воспитанниками царствовали постоянные несогласия, а по милости этих несогласий ни одна шалость не оставалась скрытою.

Известие о поступлении в пансион меня испугало: я никогда не видал детей одних лет со мною, и потому, при всем моем самолюбии, от недостатка сравнения был чрезвычайно дурного о себе мнения. Меня страшила и дисциплина, и ожидание новых товарищей, и самые науки. Све-

---

* ласковости (*франц.*).

дений у меня было много в голове, но я пасовал перед каждой наукой, основанной на логической последовательности фактов. Всякое умозрение сбивало меня с толку. Оттого я никогда не знал математики, которая требует твердого базиса и умения выводить неизвестное из известного.

Физические силы мои были слабы, даром что я был высок и развит не по летам. Я был нескладен и хил, непонятная вялость преобладала над моим организмом. Я был похож на человека, который проспал без просыпу двенадцать часов сряду и ленится подняться с постели не оттого, чтобы не выспался, а оттого, что слишком заспался.

Итак, в одно ясное утро, я со страхом подошел к месту нового моего жительства. Но едва прошел я в ворота, бодрость явилась ко мне бог знает откуда. Обширное старое строение обхватило меня своими полукруглыми флигелями, а из-за их крыш возвышались старые деревья, далеко перевышавшие собою строение. Широкая белая лестница вела наверх.

Я спросил, где найти господина Шарле, и со страхом вошел в его квартиру. Меня встретила сухая, облизанная фигура, которой возраста определить было невозможно. Под носом этой фигуры торчали вместо усов какие-то клочки, подбритые до нельзя, бакенбарды в виде запятой начинались у ушей и около ушей же оканчивались. Казалось, на этом лице только и было, что кусочки усов да бакенбарды; и нос, и рот, и глаза как-то исчезали, были совершенно незаметны.

Каково же было мое удивление, когда это холодное существо дружески подошло ко мне, обняло меня правою рукою и стало ходить со мною по комнате. Ласковые речи лились из уст господина Шарле; я слушал все эти любезности, краснел и почитал себя счастливейшим человеком на свете.

— Я вижу в вас не воспитанника, а моего помощника,— говорил хитрый француз,— ваш возраст, ваша солидность ручаются мне, что вы не откажетесь делить часть трудов моих со мною.

Я кланялся и благодарил.

— Вы поступите в старший класс? — говорил мне содержатель пансиона.— Иначе и нельзя. Вы будете иметь большое влияние на товарищей, иначе и нельзя. Старайтесь же хранить это влияние, употреблять его на пользу, на поддержание порядка.

Он сел в кресло и тяжело вздохнул.

— Дети лучших семейств,— продолжал он,— портятся и портятся с каждым днем. Много горя готовит себе молодое поколение; не дай бог дожить мне до того тяжелого времени.

— И в моем пансионе нравственность падает с каждым днем, безнравственность, неслыханная в прежнее время, более и более вкореняется между детьми. Я вам скажу открыто: между всем пансионом вы не найдете и двух достойных вас товарищей. Удаляйтесь от них, избегайте знакомств и школьной дружбы. Я вам дам списочек самых дурных воспитанников, правда, все они дурны,— наблюдайте за ними, для их же блага, отцы их, если не они, оценят ваше благородство...

Но я избавлю вас от дальнейших разглагольствований дальновидного содержателя пансиона.

После беседы с Шарле вышел я с кучкою новых товарищей в рекреационную залу. Мы скоро познакомились, толковали о чем-то с большим жаром, только вдруг все мои собеседники, без всякой видимой причины, замолчали и с недовольным видом разошлись во все стороны.

Какой-то маленький воспитанник шел прямо на меня. За ним следовало пять или шесть старых учеников, грязных, с ленивыми и угрюмыми физиономиями. Когда он приблизился ко мне, я с радостью узнал в нем старого моего знакомого, Костю.

Свидание наше было чрезвычайно странно. Костя осмотрел меня с ног до головы с самым дерзким, нахальным видом.

— Здорово,— сказал он мне грубым голосом,— экой ты стал какой урод! Помнишь, как я тебя поколачивал?

Меня рассердило это хладнокровное невежество. В этот день самолюбие мое так баюкали, что первый неприятный толчок потряс меня через меру.

— Ах, ты пакостная шавка! — закричал я на Костю.— Да я тебя теперь...

Не успел я договорить, как уже летел на пол от толчка по ногам, который дал мне противник мой с необыкновенной ловкостию. Я бы разбил себе затылок, если б Костя не поддержал меня рукою за голову.

— Плохо тебе со мной драться,— говорил он, подымая меня с полу.— Хорошо, что хоть драться выучился. Пойдем к окну.

Он сделал знак сопровождавшей его компании, и она покорно удалилась в сторону.

Костя нисколько не вырос в три года после своего поступления в училище. Можно было подумать, что тяжкая болезнь остановила его развитие, если б этого не опровергал здоровый вид и грациозная пропорциональность миниатюрных его членов. Красота его превосходила всякое вероятие, даром что он делал все возможное ей во вред. Куртка его была без пуговиц и вся изорвана, лицо исцарапано и перепачкано, но все-таки оно сохраняло прежнюю свою миловидность. В жизнь свою я не видал ничего грациознее его полненького, но смело очерченного лица, его маленького рта, который гордо и дерзко выдавался вперед. Глаза его блестели тихим блеском, как звезды в темную ночь. Одним словом, ни неряшество, ни сдвинутые брови, ни постоянно дерзкое, даже злое выражение его лица, не могли помешать Косте быть самым красивым ребенком.

— Зачем ты сюда пришел? — спросил он у меня, вскочивши на подоконник и болтая ногами.— Удирай лучше, просись опять домой.

— Да и дома-то мне не было радости,— отвечал я с вопросительным видом.

— Помню, бедняжка, помню,— говорил Костя, припоминая нашу жизнь.— Худо тебе приходилось, да то хоть люди были...

— Будто уж у вас все такие! — спросил я, и сам испугался.

Глазенки Кости вспыхнули, как фосфорные спички при воспламенении.

— А... здесь! — проговорил он, стиснув кривые свои зубы с детски-враждебным выражением,— здесь не люди!.. я бы их прибил всех...— продолжал он с увлечением.

— Полно, Костя,— сказал я на это,— тебя избаловал твой дядя. Что ж делать! все, видно, горюют...

— Здесь все собаки,— продолжал он свою странную рекомендацию,— все или кусают, или ползают. Я бы убежал отсюда, да некуда...

Я смотрел на него с удивлением.

— Будем же приятели,— сказал он опять.— Смотри же, с нами за наших, а коли фискалить вздумаешь... да я знаю тебя, куда тебе!

Он подал мне крошечную свою руку, всю выпачканную и жесткую, как дерево.

В это время к нам подошел немец-гувернер, с рыжими бакенбардами, розовыми щеками, в очках и с недовольною миною.

— Что это, Herr Nadeschin,— сказал он строго, обращаясь к Косте,— опять куртка в чернильных пятнах? Когда я вам столько раз... когда сам господин Шарле вам приказывал? Вы жалкое, потерянное дитя!

Глаза Кости вспыхнули и на этот раз загорелись постоянным пламенем. Френетическое [25] бешенство подняло его грудь, все члены его затряслись и вдруг замерли. Сам гувернер безотчетно струсил, смешался, почти съежился под магнетическим влиянием этого взгляда. Я не знаю, что бы случилось, если б я, пользуясь тем, что держал его руку, не притянул его к себе изо всей силы. Гувернер, не кончив нотации, опасаясь слишком сильной сцены, отошел от нас.

Большого труда стоило мне успокоить Костю. Не раньше как через четверть часа, глаза его стали тускнеть и тело пришло в обыкновенное положение. Тогда он оценил мое участие.

— Спасибо тебе, Алексей,— сказал он мне, положив руки на мои плечи.— Спасибо, что ты обо мне позаботился. Когда-нибудь сочтемся. Прощай.

Около нас стояла кучка воспитанников.

— Прочь, мальчишки! — закричал на них Костя, и толпа почтительно расступилась. Он пошел в другую залу, и за ним последовали угрюмые его телохранители.

— Странный мальчик! — сказал я одному из новых моих приятелей.

— Берегитесь его,— отвечал тот.— Он сядет на вас верхом и введет в беду. Недаром его никто терпеть не может. Весь класс с ним не говорит.

— А! речь о Надежине? — вмешался в разговор один из гувернеров.— Точно, берегитесь его: это ужасный мальчишка.

Двойная эта рекомендация сбила меня с толку. Невозможная вещь, чтоб старшие бранили того воспитанника, которого не любят товарищи, да и товарищи не ругают учеников, которые в открытом раздоре с гувернерами.

Результат всего этого был тот, что я горячо захотел сблизиться с

Костей, что мне и удалось. Участие и приязнь были так незнакомы старому моему приятелю, что он предался им от всего сердца. Правду сказать, все невыгоды падали на мою сторону: хитрый мальчик заставлял меня писать для себя сочинения, брать у других для него книги и не раз пытался ввести меня в одну из тех историй, которыми изобиловала его бурная школьная жизнь. Напрасно пытался я как-нибудь взять верх над этим непонятным существом: пробовал я отказывать во всех его просьбах, пробовал не говорить с ним по дням, пробовал даже самую пошлую меру: читал ему наставления... Костя точно оказывался самым негодным мальчишкой.

Рожден он был с тихим и робким характером, остатки которого производили удивительный, уморительный контраст с всегдашнею его дерзостью и нахальством. Говорили, что прежде он был не таков, но видно поступил в дурной час в наше заведение. Я еще помню его пребойким, предобрым ребенком. А в пансионе случилось, как часто случается, что бойкость дитяти принята была за дерзость, откровенность за буйство, веселость за насмешливость и т. п.

Аттестовавши таким образом бедного мальчика, Шарле почел себя вправе угнетать его всеми мерами. Унизительные наказания сыпались на Костю. Шарле не стыдился сам возбуждать против него товарищей, рассказывать про него безнравственные, нелепые сплетни. Но Костю можно было убить,— переломить его характер мог один бог.

И разительна, грустна была борьба этого энергического ребенка с целым пансионом, с целым сонмом угрюмых наставников. Строгий содержатель не раз утомлялся, забывал свою жестокость, спускал Косте; но Костя не усмирялся ни на минуту. Между им и Шарле не могло быть мира.

Отшатнувшись от общества, в котором происходило его воспитание, Костя возненавидел его и почел себе вправе вредить встречному и поперечному. Он сделался маленьким Карлом Моором или Ринальдо Ринальдини[26]; верными сподвижниками его шалостей и предприятий были самые ленивые, сердитые, безнадежные воспитанники.

Костя вел открытую войну не с одними гувернерами, товарищам насаливал он вдесятеро более и обыкновенно ожесточался против смирных, безответных мальчиков, которые, как водится, бывают первыми в классе. Мне неприятно передавать прозаические подробности, но справедливость требует сказать, что у Кости не проходило дня без брани с кем бы то ни было, без потасовки в свою или неприятельскую невыгоду. Но гораздо более вредил он товарищам своими хитростями; он презирал всякое правило товарищества и взаимного одолжения. Если класс решался не отвечать учителю, он отвечал один; если класс соглашался потешить преподавателя блестящей репетициею, Костя один не знал своего урока. На экзаменах он отлично подбирал билеты, и искусство его служило к общему горю. Обнадежив ленивого воспитанника своею помощью, Костя совал ему в руки самый трудный билет, и у доверчивого товарища язык прилипал к гортани.

И — странное дело!.. теперь, впрочем, мне не странно: у этого дикого

ребенка была одна сильная страсть, не согласимая с его характером — страсть к цветам. По целым часам он мог смотреть на красивый букет, цветок на корне приводил его в ребяческое восхищение. Все, что расцветало в нашем пансионном садике, принадлежало Косте по праву, и горе дерзкому школьнику, который осмелился бы сорвать цветок без его позволения! За Костею всегда ходила ватага безнадежных старых воспитанников, которые готовы были на всякой бой по одному его слову. Эти своего рода bravi * не носили ни стилетов, ни шпаг, но иногда в темном коридоре бросались на обреченную им жертву и колотили ее без пощады. Затем рапортовали они Косте о своих деяниях и не помнили себя от восторга, если получали его одобрение.

Такого рода был мой приятель Костя. Давно бы однокашники заколотили его до смерти, если б не защита преданных bravi, давно бы Шарле выгнал его из пансиона, если бы чрезвычайная красота ребенка не заставляла его держать Костю напоказ — везде, где требовалось. Сверх того способности его были далеко не дюжинные, особенно в естественных науках; он, не учась, отвечал лучше всякого другого воспитанника.

До сих пор мне необыкновенно приятно анализировать этот странный характер, и потому я часто обращаюсь к нему. Можете себе представить, как интересовал меня в то время первый приятель одних лет со мною.

Прошло около месяца со дня моего вступления в пансион. Дела мои шли хорошо, я отдыхал душою. Домой ходил я неохотно и возвращался назад ранее всех.

Один раз, в праздник, воротился я вечером в пансион и собрался лечь в постель. В это время подошел ко мне Костя с чрезвычайно ласковым видом. Он вскочил на постель, у которой я сидел, и оттуда перескочил на мое плечо, на котором уселся как на кресле. Эта странная позитура означала необыкновенную любезность с его стороны.

— У меня к тебе просьба, Алексей,— сказал он. Костя, в противность школьному правилу, не называл никого по фамилии, а по именам, прибавляя иногда к ним эпитеты, показывавшие редкую озлобленную наблюдательность.

— Посмотрим.

— Сделаешь?

— Не знаю. В чем дело?

— Обещай просто.

— Не хочу.

Костя вздрогнул с досады, однако удержался.

— Хочешь быть с нашими? Нас семеро (он пересчитал компанию), хотим завтра побить весь класс.

— С ума вы сошли? Их втрое больше.

— Ничего, они все хилые. Завтра учитель истории не придет. Иные в классе заснут, иных мы вызовем прочь. А остальных всех прибьем.

---

* головорезы *(итал.)*.

Мне стало и смешно и странно.— Подите все к черту,— сказал я,— в жизнь мою меня не били, и я бить никого не намерен.

— Так молчи по крайней мере, мы тебя не тронем.

— И молчать не буду. Пора кончить драки, черт знает за что.

— Как черт знает за что? — проговорил Костя, стиснув зубы.— Вчера из них одна бестия меня обругала... которая, не знаю,— так всех бить.

— За что и как обругала?

— Ни с того, ни с сего, они прозвали меня гадкой девчонкой!

— Большая мне важность, что тебя прозвали гадкой девчонкой! Делайте, что хотите, а я передам это классу.

— Ты не сделаешь!

— Сделаю.

Он соскочил на пол и топнул ногою.— Смей только! — закричал он.

Я отвернулся и ушел. Точно, на завтрашний день класс был наготове встретить напор враждебных сил. Напрасно Костя выманивал из класса тех, кто посильнее, напрасно усиливал он своих брави бандитами из других классов. Попытка ничем не кончилась и совершенно не удалась.

Уже два дня мы не говорили с Костей. Мне было страшно тяжело, но я ничего не показывал. Наука владеть собою, жалкая наука в юности, была мне известна во всем совершенстве.

На третий день шел я вечером по тускло освещенной столовой зале. Чудное действие производила на меня эта сводчатая комната с закругленными окнами, сквозь которые широкими полосами падал лунный свет, с группированными колоннами, уходившими высоко-высоко и терявшимися под потемневшим плафоном. Шаги мои глухо отдавались в пустом пространстве, я стучал сильнее и с странным чувством прислушивался к далеко разносившемуся звуку. Тусклое освещение, тишина, высота готической комнаты — все это приводило меня в какую-то незнакомую, сладкую задумчивость. Я с сожалением подходил к концу залы, мне хотелось, чтоб зала эта тянулась далеко-далеко, чтоб лунный блеск вечно играл на ее блестящем полу, чтобы гул шагов моих отдавался еще торжественнее...

Вдруг лампа, висевшая надо мною, со звоном покачнулась, сронила стеклянный свой колпак и погасла. Какие-то дикие фигуры выскочили будто из-под земли и очутились передо мною. «А! попался, разбойник!» — загремели около меня с десяток грубых голосов. Луна светила с необыкновенною яркостью. С ужасом увидел я пред собою ватагу самых неистовых брави с поднятыми кулаками.

Во многих отношениях я был человек совершенных лет. На телесную обиду я с детства смотрел как на величайшее несчастие. Покойный отец, при всей своей строгости, ни разу не позволял себе наказывать меня телесно; не зная никогда детских игр, я во всю жизнь не испытывал даже незначительной потасовки. Можете представить себе мое положение в эти страшные минуты! Но кричать и звать на помощь я стыдился. Я отбежал немного и стал за один из длинных столов.

— Господа! — кричал я осаждающим,— не трогайте меня, я виноват перед вами...

— Поздно! — отвечали они и лезли с обеих сторон на приступ.

Я выхватил из-под стола табурет и взмахнул им над головою. Один храбрец кинулся на меня. Удар мой не зацепил его, оружие мое упало напрасно: все четыре ножки расскочились в стороны и доска прильнула к полу.

Брави ошеломлены были моей решимостью. Пользуясь изумлением их, я вскочил на стол, перепрыгнул на окно, открыл раму... Я забыл сказать, что сцена происходила в третьем этаже: целая пропасть разверзалась подо мною.

Но бесчестие казалось мне страшнее.— Подойдите только,— говорил я,— я брошусь в окошко!

Не веря моим словам, они двинулись вперед. Ни тени страха не промелькнуло в моей душе, уже одна нога моя уперлась для прыжка...

— Стойте, дураки! — раздался издали звонкий голос Кости,— не видите, он бросится. Идите прочь, мы помирились.

В полминуты ни одного бандита не оставалось в комнате. Костя подошел ко мне, снял меня с окошка, посадил на стол и сам сел ко мне на колени.

— Прости меня, Алексей,— сказал он, обхватив ручонками мою шею, и голос его дрожал.— Я не стану больше. Я виноват перед тобою.

Я спустил ноги на пол, стал на них и освободился от объятий моего головореза-приятеля. «Убирайся прочь»,— сказал я ему холодно.

Я ожидал страшного взрыва, но совершенно ошибся. Первая победа над Костею влекла за собою выигрыш всей кампании. Мы разошлись молча.

На другой день Костя тосковал страшно и наперекор порядку всякой школьной ссоры нимало не скрывал своей тоски. Все утро сидел он, скорчившись, как больная собачонка, и не сходил с своего места, не приставал ни к кому, не мучил никого. Весь класс с почтением обходил его, боясь расшевелить загрустившегося тигренка. Мне было ничуть не веселее, но во время короткого моего пребывания в училище я вполне успел изучить все школярские манеры. Я показывал, что мне чрезвычайно весело, болтал и смеялся, хотя веселость эта плохо шла к моей вытянутой физиономии.

К вечеру Костя хотел найти себе развлечение. Верный защитник всех угнетенных, то есть высеченных и посаженных в темную, он вздумал с помощию открытой силы передать какому-то узнику разные потребности для обеда и курения. Бандиты столпились около Кости, фаланга двинулась с единодушием, но предводитель, бросивши свое предприятие на самом интересном месте, ушел в класс и сел на свое место в тоскливой задумчивости.

Я торжествовал: мне так и казалось, что Костя будет ходить за мною, что в моей власти будет изломать его характер и переделать его посвоему. Я был глуп, я не мог сообразить, что в подобных натурах один шаг отделяет любовь от ненависти; но случай устроил все к лучшему.

Ночью я не мог спать: тоска и безотчетное угрызение совести мучили меня. Что-то мне говорило, что в настоящее время уже не Костя был

виноват передо мною, а я перед ним. Я смутно понимал, что шутить с огнем опасно, что трудно по своей прихоти управлять высшею себя натурою.

Я стал ходить по комнате. Тишина нашего дортуара[27] целительно на меня действовала, она была для меня чем-то небывалым. Тишина родительского дома походила скорей на горькую задумчивость, на минутное успокоение изглоданного нуждою человека.

Я остановился у костиной кровати. Бедный ребенок плакал, так же просто, так же открыто, как тосковал по утру. Он сидел на подушке, грудь его тяжело подымалась, но уже зубы начинали сжиматься, глаза начинали светиться враждебным огнем.

Добрый гений мой подтолкнул меня. Я чувствовал, что чрез четверть часа все погибнет, что за ребяческой тоской двигается следом энергическое ожесточение.

— Костя,— сказал я, садясь около него.— Я вижу, что я виноват перед тобою.

Он кинулся ко мне на шею, прижался ко мне всем телом и несколько раз поцеловал меня. Несколько минут он болтал со мною, говорил, что любит меня очень, строил планы наших занятий, собирался служить вместе со мною. «Не дурак ли ты, что хотел из окна выскочить? — повторял он несколько раз.— Велика беда, что поколотили бы!» — Посреди своих рассуждений он вдруг остановился, опустил голову и тотчас же заснул. С покойной совестью отошел я от него, но не мог сомкнуть глаз во всю ночь.

С этой ночи мы были неразлучны с Костею. В жизни его произошла значительная перемена. Он предался мне со всею страстию своей живой, любящей ребяческой натуры. Он забыл свои буйные похождения, бросил небритых брави и, благодаря моим стараниям, сошелся с лучшими из наших товарищей. Любить их, однако, он не мог; гонение и обиды, вынесенные им безвинно и за дело, ожесточили его восприимчивую душу. Он не мог отвыкнуть даже от своей бешеной вспыльчивости, и тем очаровательнее бывал в те минуты, когда предавался чувству приязни с нежностью и увлечением. Богатый запас преданности таился в его душе: до сих пор я не могу забыть его заботливости, когда мне случалось быть больным или грустить. Он весь переселялся в меня, каждую минуту ухаживал за мною, с непонятною проницательностию угадывал все мои желания, без ропота исполнял малейшие мои прихоти. Иногда, стыжусь сказать, я прикидывался грустным, чтоб вполне наслаждаться его любовью и заботливостью.

Чем более разглядывал я это странное, исключительное создание, тем сильнее удивлялся я неограниченной прелести и богатству его души. Натура Кости была ясно отмечена божественным перстом: она была создана не попусту: ей назначено было совершить что-нибудь великое, однако обстоятельства погубили ее, не давши ей развиться. Это не был гениальный ребенок, который обещает много и не выполняет ничего. Гениальные дети поражают несоразмерным развитием одной какой-либо способности, тогда как все другие глохнут и погибают. У Кости вся

его нравственная сторона была соразмерно развита: ему было пятнадцать лет; ни по уму, ни по чувству, ни по способностям он не опереживал своего возраста, а со всем тем он был неизмеримо выше всех детей одних с ним лет.

Никогда во взрослом человеке я не встречал такого здравого, практического понимания вещей, такой энергической вражды ко всему ложному, безобразному и стеснительному. Все, что в науке было бесплодного и вредного, не давалось Косте; доходило до того, что он начисто отказывался учиться истории, когда события чудовищностию своею возмущали его душу. Все, что казалось ему несправедливым в школьной жизни, возбуждало его негодование; а так как он делал то, что чувствовал, то это негодование переходило во вражду и открытое упорство.

В науках точных и сколько-нибудь завлекательных способности его были изумительны. Он сразу схватывал главную идею, развивал ее посвоему и привязывался к ней всею душою. Чувственность его спала крепким сном, но физическая красота пробуждала в нем бессознательное, языческое обожание. И — странное дело: обладая необыкновенною красотою, он почитал себя уродом. Когда мы разуверяли его в этом, он говорил нам: «На ваш глаз всего красивей грудной ребенок». Он отдал бы полжизни за то, чтоб быть выше ростом, чтоб иметь широкую грудь, чтоб обладать мужскою, атлетическою силою. Наш вкус был испорчен, его вкус поражал своею точностию. Откуда все это далось ему, бог один ведает.

Но главною, очаровательнейшею чертою его души был глубокий, детский поэтический инстинкт, тесно сроднившийся с малейшими его поступками. Я знаю, при слове поэзия вам грезятся размеренные строчки и завирательные текстики юной Германии [28],— успокойтесь: поэзия Костиной души не проявлялась рифмами и спондеями [29].

Поэзия эта состояла в беспредельной, горячей любви к природе, в детских воспоминаниях, переданных самыми простыми словами, в самых нехитрых выражениях,— она являлась в построении воздушных замков, которые были так просты, так невинны, так благородны.

Костя был величайший пантеист, конечно, никогда не думая о том, что значит пантеизм. Каждое дерево, каждый цветок были для него существами живыми, одушевленными общею с ним жизнию. Животных ставил он на одну доску с людьми: убить комара решался он не иначе, как взбесившись за его укушение; зато он с таким же хладнокровием убил бы и человека, который бы вздумал кусать его.

Любовь Кости к природе выражалась в тысяче самых причудливых, самых грациозных прихотей.

Иногда он забирался в середину сада и ложился на траве, лицом кверху, чтоб не видать стен пансиона и труб от соседних домов. Перед глазами его колыхались свесившиеся верхушки старых лип, и облака гонялись одно за другим по темноголубому небу. Так проводил он часы и называл это занятие «прогулкою за городом».

В другой раз он ложился на траву лицом к ней и, выбравши маленький клочок дерну, вглядывался в него с великим вниманием. Это удо-

вольствие называл он «заграничным шатаньем». Неприметные неровности казались ему высокими горами, между ними, вроде пальм, покачивались стебельки дерновой травы, клевер раскидывал исполинские свои цветы, и на высокие хребты гор взбирались барашки, представляя из себя невиданных чудовищ. Оторвать от этого занятия Костю было нелегко: в это время он чувствовал себя счастливее натуралиста, взлезшего на самую плешивую из кордильерских возвышенностей [30].

Цветы он любил более всего на свете, обходился с ними с величайшею вежливостью, не рвал их никогда, но зато был непостоянен и наклонен к волокитству. Сегодня расхваливал он розаны, назавтра проходил мимо их с презрением и садился около какого-нибудь крошечного колокольчика. Однако к камелиям чувствовал он особенную нежность, называл их испанками и был им постоянно верен, вероятно потому, что камелии редко попадались в его руки.

Сочувствие это к природе было отличительною чертою характера Кости, однако не думайте, чтоб в нем одном выказывалась чудная восприимчивость его души. Не было ни одного высокого чувства, которым бы не увлекалась его странная ребяческая натура; привязанности эти бывали страшно непостоянны, но причиною непостоянства было не что иное, как твердость, точность его ума.

Я уже сказывал вам, какую страшную вражду возбуждало в Косте все то, что казалось ему несправедливым или нелепым; доходило до того, что он наотрез отказывался учиться такому предмету, который не поражал ни красотою изложения, ни важностию содержания. Обыкновенно ребятишки любят историю за ее рассказы о войнах, о завоеваниях, о самоотверженных людях, а Костя всего этого терпеть не мог. Быстрый ум его решительно не хотел действовать, когда дело доходило до кровопролитий, начатых из-за пустяков, или до героев, погибающих за идеи, самим им непонятные.

Мы учились вместе, и помню я, какого страшного труда стоило мне вбить в его память те события и идеи, которые были так антипатичны его натуре. К этому было одно средство: увлечь его воображение каким-нибудь грандиозным эпизодом.

Чтоб Костя знал что-нибудь о крестовых походах, мне надобно было вылезать из кожи, придумывая ему разные занимательные сцены. Надобно было ему описывать Иерусалим под знойным небом, над глубоким оврагом. Надобно было описывать ему крестоносцев, закованных в железо, их лошадей, покрытых золотыми коврами, монахов с выбритыми головами, пилигримов с высокими палками.

Эта поэтически, соразмерно развитая натура терпеть не могла умозрений и соображений, все идеи Кости высказывались так красиво, так пластично, что с них можно было писать картины.

К счастию бедного Кости, а особенно к моему счастию, мы и полугода не провели под кровом почтенного Шарле. Нам пришла очередь поступить в казенное заведение и, благодаря порядочным нашим способностям и предварительному приготовлению, мы поступили с ним в один из высших классов. Я совершенно отдохнул,— все, что во мне есть поря-

дочного, приписываю я благодетельному влиянию нашего на диво устроенного публичного воспитания. И Косте было не в пример лучше, чем у Шарле: попечительное начальство сразу разгадало хорошую сторону его характера и понемногу, тихо старалось искоренять следы бестолкового эмилевского воспитания и того ожесточения, которое по милости Шарле, зародилось в детской душе моего товарища. К несчастию, время пребывания нашего в казенном заведении тоже было весьма непродолжительно.

Однако пора оставить рассказ о моих школьных воспоминаниях. Костя в то время был для меня всем в жизни, я был привязан к нему до безумия; до сих пор, из всех моих воспоминаний, воспоминание о нем сохраняется во мне с некоторою свежестью,— все же остальное, и старая моя любовь, и даже старые глупости мои, давно не шевелят меня нинасколько. Поэтому сегодняшнее многословие мое простительно. Костя и семейство его разыграли важную роль в моей жизни: его роль была прекрасна, семейство же исполнило свое дело, как следует всякому семейству.

ВЕЧЕР ТРЕТИЙ

— Основываясь на старом правиле,— начал он,— потребна любовь для моего рассказа.

— Можно и без нее,— отвечал я.— Если б вы были влюблены в китайскую императрицу или по крайней мере в св. Розалию, я бы послушал, а без этого...

— То есть вы боитесь общих мест. К полному моему удовольствию любовь моя была так бестолкова, окончилась так оригинально, что я смело ввожу ее в историю моей жизни.

У Кости была прехорошенькая сестра, старше его годом. Он любил ее с неограниченным фанатизмом, прежде ездил регулярно к ней в пансион, а потом переписывался с нею и был аккуратен в переписке.

Видно, в крови у всех Надежиных был беспокойный, неуживчивый элемент; Костина сестра, так же как и он, не уживалась в институте, с тою только разницею, что менее враждовала, а больше тосковала. Беспрестанно просила она отца взять ее к себе в деревню, но старому генералу не до того было.

Должно быть, русское уединение особенно вредно перед другими: чуть человек засядет в деревню, как начинает или глупить, или пакостить. Отец Веры Николаевны начал свое сельское поприще тем, что связался с бедной, но зубастой помещицей, и после короткой связи сочетался с нею «законным», следуя солдатскому выражению.

Брак этот поссорил отставного спартанца со всеми соседями. Видно, что новая его супруга была всем не по нутру: гостеприимный дом генерала опустел совершенно. Сам он сделался грустнее и слепее, дряхлел не по дням, а по часам. О дочери его воспитательницы ее относились так невыгодно, что он наконец послушался ее просьбы и взял ее в деревню с уверенностью, что берет себе в дом не дочь, а дьяволенка.

Костя горевал о сестре, однако скоро утешился. Письма ее из деревни только и говорили о том, как она счастлива, как ей было весело жить в тишине, на воздухе, с страстно любимым отцом. О мачехе отзывалась Веринька с величайшими похвалами и помирила ее не только что с Костей, но даже со всеми соседями.

Никогда юная невинность не писала своей подруге о красоте своего возлюбленного в таких страстных выражениях, в каких Вера Николаевна постоянно упоминала о старике-отце. Он был для нее всем — божеством, другом; она слепо повиновалась ему, зорко следила за каждым его шагом. Седые его волосы, высокий рост, редкие минуты веселости,— все это возбуждало страстное обожание в молодой девушке. Между стариками есть такие привилегированные натуры: при всем своем эгоизме, при всей своей слабости, старики эти способны возбуждать любовь во всех женщинах, начиная от дочери до последней кухарки.

Мне, однако, не верилось, чтоб молодая девушка была точно так счастлива, как писала она брату. Она жила в семействе, этого для меня было достаточно; все семейства, думал я, похожи на то, в котором я вырос. Вера Николаевна была страдалица, иначе я ее не воображал.

О деревенской жизни думал я с пошлым пренебрежением пустейшего из столичных франтов. Обыкновенно души сосредоточенные и огорченные с увлечением предаются мечтам о природе, об уединении,— этого со мною, однако, не было. Деревня представлялась мне пустым, широким полем, с обрушившимися канавами, с желтой слякотью, под вечно серым небом, под неперестающим никогда дождичком. На одном конце поля необходимо торчал лес, похожий на кустарник, на другом разбросано было с десяток серых изб. Если я представлял себе Вериньку, воображение рисовало ее не иначе, как на этом грустном, желтоватом фоне, и в грудь мою пробиралось чувство нежное, но совершенно соответствующее описанному мною ландшафту.

Я ни разу не видал ее и потому ждал с нетерпением портрета, обещанного ею брату. Согласитесь, что как бы хитро ни был воспитан человек, нельзя ему влюбиться в женщину, не видя ее изображения. Мне было девятнадцать лет, я жестоко был настроен ко всему ненатуральному; но всему же есть свои границы. Наконец, пришел портрет, я был в восторге, влюбился окончательно и беспрестанно говорил с Костею о его сестре.

Костя, однако, не восхищался портретом любимой сестры. От его проницательного взгляда не скрылось чуть-чуть тоскливое выражение личика хорошенькой девушки. Еще более стал он беспокоиться, заметив, что выражение лица дано было ей неестественное и натянутое. Я обвинял живописца, Костя и слушать ничего не хотел. «Это значит, она скрывала свое постоянное выражение, а коли скрывала, значит она грустит. А коли грустит, значит, ей худо жить». Против такой логики нечего было мне отвечать, тем более, что она согласовалась и с моими догадками.

Прошло короткое время воспитания моего в заведении. После большого экзамена главный наш начальник подошел ко мне с ласковым

видом, приветствовал меня как первого ученика в классе и заключил свои слова вопросом: «В какой полк хотите вы быть выпущенным?».

Невозможная вещь, чтоб до того времени не думал я о своей будущей карьере, но в эту минуту вопрос начальника поразил меня, как громовой удар. Тысячи горьких мыслей вспрыгнули в моей голове, я смешался и мог только попросить «подумать и посоветоваться».

Товарищи мои один за другим выкрикивали бойко и весело имена различных своих полков; я стоял у окна, и сердце мое сжималось, зависть грызла меня. При всяком названии представлялись мне вороные лошади, белые с золотом мундиры, сабли, каски, блеск и веселье... и я видел, что все это не для меня создано.

Кого было мне радовать своим мундиром? Матери моей не было уже на свете. Какая участь ждала меня в свете: безденежье, одиночество, опять, может быть, квартира в вонючей Гороховой улице, опять нужда и горе. Чего было мне ждать в кругу блестящей молодежи с моею неловкостью, с моею гордостию?

Но в душе моей уже совершилась перемена: я не падал в прах перед горем, энергия страшная пробуждалась в моей груди. Я сразу понял, что в моем положении я должен был трудом, кровью купить себе в обществе достойное меня место.

Я вспомнил, что за месяц назад в нашей церкви служили панихиду по одном из бывших воспитанников, убитом на Кавказе. Стало быть, есть еще уголок, где дерутся, где убивают людей, где пробиваются вперед. Где смерть, там жизнь,— где гибель, там дорога для оставшихся.

У меня было одно достоинство: я был решителен. Жалкое мое воспитание не успело сделать меня совершенным пошляком. Я изъявил свое желание и уже ввечеру разговаривал с Костею о будущих моих планах. Костя был еще слишком молод, и потому его отставили от выпуска. Когда я рассказал ему про красоты Кавказа, про тамошнюю бродячую жизнь, про горы и про шумные его реки, глаза его заблестели.

— Не ехать ли мне с тобою? — спросил он так просто, как будто бы дело шло о поездке по железной дороге.

— Да кто же тебя пустит?

— Я напишу к сестре, а отец будет очень рад. Никому не запрещается идти в юнкера на Кавказ.

— Да полно, сумасшедший,— начал я его отговаривать,— через год, коли хочешь, поедешь туда офицером.

Но уже Костя забрал себе в голову ехать со мною.

— Дорога туда через какие губернии? — спросил он меня, не слушая моих доводов.

— Чрез ***скую, ***скую, ***скую...

— Браво! — закричал Костя, вне себя от радости.— Это значит, мы заедем к отцу. Наконец-то я доберусь до сестры.

С этой минуты сам черт не изменил бы его решения. Он начал писать письмо, послал его и через несколько дней получил согласие ста-

рого генерала. Я скрывал свое удовольствие, но в самом деле не помнил себя от радости. Разлука с Костею была бы для меня чем-то вроде смерти.

Иное бедное, но честное семейство делает больше сборов перед отъездом за город, чем мы с Костею, собираясь в чужой и мятежный край на драку. Мы вовсе не толковали ни о наших планах, ни о наших будущих подвигах; для Кости следующая неделя казалась отдаленною вечностью, и он в совершенстве передал мне этот спокойный взгляд на вещи.

Все время от выпуска до отъезда и во все время дороги жили мы с ним совершенно, как птицы небесные: это были самые счастливые дни в моей жизни. До сих пор не могу я без сладкого чувства вспомнить о первом моем знакомстве с нашею бедною, но тароватою северною природою. Осень только что наступала, и погода стояла очаровательная. Мы ехали, не стесняясь временем и обстоятельствами, останавливались, где нам нравилось, и жили там дня по три, в других местах скакали как угорелые. Беззаботность наша была так велика, что только на половине дороги приметили мы, что с нами нет никакого теплого платья. Наскоро запаслись мы какими-то хламидами из звериных шкур, на ночь закидывались этими кожами и скакали, не останавливаясь. Месяц глядел нам весело в глаза, свежий ветер свистел около кибитки и наводил на нас самый богатырский сон.

Пришла пора сворачивать с большой дороги на имение генерала Надежина. Весь переезд не составлял тридцати верст. Косте уже не терпелось, поутру он разбудил меня в пятом часу, и мы поскакали проселком. Ямщик взялся довезти нас еще верст за двадцать до перевоза, а на той стороне реки должны были нас дожидаться генеральские лошади.

Я не помню ничего прелестнее того осеннего утра, в которое мы своротили с большой дороги. Солнце еще не взошло, серый туман волновался над песчаными берегами быстрой речки, сосновый лес зеленел в стороне, воздух был холоден, свет дня поражал своею матовою белесоватостью. Во встречных избах горели еще лучины, тяжелый стук цепов раздавался по соседним гумнам, природа оживлялась с каждым шагом вперед, ландшафты окрестностей становились красивее и красивее. Сонный мужик перевез нас через паром, лошади были отпущены; но, переехавши на другой берег, мы увидели, что подстава еще не пришла.

По-моему, следовало бы подождать, но для Кости не было хуже мучения, как ждать кого-либо или чего-либо. Он уговорил меня идти пешком, рассказывал, что помнит всякой перекресток и побежал вперед, беспрестанно отдаляясь по разным сторонам, и вместо одной версты пробегал три, как делают в дороге резвые собачонки.

Мы совсем отдалились от дороги: но Костя точно хорошо помнил местность. Через два часа ходьбы мы были уже в высокой дубовой роще и с горы, на которой она стояла, ясно видели и барский дом, и высокий сад и церковь. Все-таки оставалось идти версты четыре, а

Костя совершенно выбился из сил и решительно не мог двигаться далее. Я уговорил его прилечь и отдохнуть; он лег на сухие листья и тотчас же заснул, по своему обыкновению. Я курил сигару и любовался красивым видом села, окаймленного речкою с обрывистыми берегами, любовался старым садом, шум от верхушек которого, казалось, доносился до меня,— любовался рощею, которой листья, красные, желтые, зеленоватые, были похожи на цветы. Солнце грело не на шутку, будто спохватясь, что на дворе уже осень и что оно решительно бесполезно, как для озими, так и для ярового.

В это время заметил я шагах в двадцати около нас старика и девушку, которые с трудом взбирались на пологую верхушку холма. По описанию, по портрету и по военному сюртуку старика я тотчас догадался, что это был Костин отец с избранною моего сердца, с таинственною Верою Николаевною. Не желая пугать их неожиданным появлением, я прилег около Кости и наблюдал за ними, закрывшись кустом обсыпавшегося лозника.

Генерала Надежина воображал я себе старым, суровым гроньяром[31], из той породы, которая так мила в романах и на сцене и так нестерпима в настоящей жизни. Однако ожидания мои не сбылись: с виду генерал казался самым тихим, безответным старичком. Можно было догадываться, что когда-то стан его был высок, но в настоящее время он так сгорбился, что казался и слабым и жиденьким. Зато трудно было представить себе физиономию более привлекательную: все лицо старичка дышало добротою, немножко насмешливою, немножко ленивою, очень слабою, самою стариковскою. Маленькие глаза его глядели приветливо и немного робко, во все стороны; совершенно седые волосы придавали его лицу еще более почтенный вид. Он с осторожностию и самою изящною вежливостию опирался на хорошенькую ручку своей Антигоны[32].

Я забыл и старика, и Костю, и красоту ландшафта, раз посмотревши на знакомые уже мне черты Веры Николаевны. До сих пор не встречал я ни одной женщины, которая бы красотою или хотя грацией равнялась с этой «барышнею», воспитанною в каком-то заведении, проживающею свой век в глуши, чуть не в Саратове. А вы знаете, что вкус мой недурен и, главное, беспристрастен.

Вы человек не сантиментальный, а потому не найдете странным, если я сравню Вериньку с отличнейшею арабскою лошадью. Лучшего сравнения я не знаю, в нем и жизнь, и красота, и энергия. Каждое движение Вериньки говорило про жизнь, про смелую ее душу: она, казалось, жила скачками, деятельность и быстрота слышались в каждом ее слове. Надобно было видеть, с какою заботливостию вела она слабого старика: но легко было приметить, что ей не по душе была такая прогулка, ей бы хотелось взять отца на руки, носить его по саду и по роще, шуметь с ним, смешить его, бегать и болтать с ним без умолку.

А все-таки портрет говорил правду: в короткие минуты моего наблюдения я четыре раза заметил в голубых глазах Вериньки невыносимо грустный, непостижимый отблеск сосредоточенного уныния...

— Помучила ж ты меня, ветреница,— ласково говорил генерал,— вот тебе и пошли навстречу, а, я чай, сорванец наш уже дома.

— Ну, так марш домой! — послышался звонкой голос Вериньки,— давайте, сбежим ли мы с горы?

Движение ее было так выразительно, что мне показалось, будто бы она отбежала на полдороги.

— Стой, стой, экой скакун! — и генерал придержал ее за руку,— я совсем измучился... не прежние времена.

Дочь посадила старика на камень и ласково прижалась к нему.

— Вы же виноваты, а не я,— тихо сказала она,— заслушалась я вас и вон куда мы забрели...

Глаза старика весело блеснули, и стан его выпрямился.

— Ну, на чем же я остановился! — спросил он, что-то припоминая.

Вера Николаевна смешалась.

— Около Дрездена...[33] — сказала она, но отец уже продолжал свою речь.

— Так вот эти дураки австрийцы и ждали кирасир, а ров у них был под боком. Такой туман уж на них нашел, и забыли, что весь порох дождем смочило. Я с батареей стоял у края оврага, вижу, наскочила конница, австрийцы чик-чик, да и только... хоть бы одно ружье выстрелило... Страшно было посмотреть, как начали топтать их французы. Все шестнадцать батальонов перепутались, натыкались один на другой, бросали ружья, падали в ров, а помощи нельзя было подать: обходить надо было версты три...

Надобно было видеть, с какой любовью слушала молодая девушка историю кровопролития, которое, по всей вероятности, интересовало ее столько же, сколько меня перевороты в японской империи. Но генерал увлекся своим рассказом, голос его становился громче и громче, и когда дело дошло до бедствий его батареи, он встал с камня и бодро пошел к дому, чуть-чуть опираясь на хорошенькую свою спутницу.

Тогда я разбудил моего товарища, дал ему оправиться, и мы пошли догонять старика. Свидание было самое радостное: что-то вроде слезы блеснуло на маленьких глазах генерала. Он принял меня радушно, благодарил за дружбу к его сыну и по врожденной своей ворчливости тут же побранил Костю.

— Коли хочешь пешком ходить,— сказал он насчет нашего последнего странствия,— незачем было за лошадьми посылать. А то поднял с утра весь дом на ноги: шум, беспорядок... Да и что за нетерпение такое?..

Вера Николаевна шутя обратилась к отцу:

— Пусть себе ходят, надо им привыкать,— сказала она.— Нечего баловать этого шалуна, ведь и вы ходили на своем веку.

Старик успокоился и ласково поглядел на сына, которому уже тяжела становилась нотация.

— Экая спартанка! — закричал Костя, до сих пор не выпускавший сестру из своих рук, и стал целовать ее изо всей силы.

Я мало видел сцен милее свидания этих двух детей, без памяти

влюбленных друг в друга. Они поминутно затрогивали один другого, хохотали, пели, болтали такой вздор, что я не мог понять ни одного слова... Эти два живые, грациозные, взбалмошные существа так подходили одно к другому, были так милы, что старик нежился, глядя на них.

— Кстати,— сказал Костя, обращаясь к сестре с важным видом,— я хочу тебя поисповедывать немножко.

Вера Николаевна звонко захохотала и посмотрела брату в глаза.— Еще надуйся .. еще серьезнее...— промолвила она, поцеловала Костю, снова рассмеялась, толкнула его и сама отскочила в сторону. Костя бросился за нею, в две секунды они отбежали от нас далеко... потом сделали крутой поворот и снова подбежали к нам. Веринька, вся запыхавшись, прибежала первая и взяла отца под руку. Опять оттенок тоски промелькнул в ее глазах и опять все исчезло.

— А вот и Марья Ивановна,— проговорил генерал, обратясь ко мне.

Прямо на нас двигалась натянутая фигура высокой, худощавой женщины, одетой с несообразным великолепием и с великим безвкусием. Только безвкусие это возбуждало не смех, а какое-то тяжелое, мрачное чувство. Костюм мачехи, как одежда театральных злодеев, поражал глаза ярким смешением черного цвета с красным, и зловещие эти цвета бросали угрюмый оттенок на лицо генеральши, и без того не совсем привлекательное.

Не обращая внимания ни на меня, ни на Костю, женщина эта подошла к генералу, который совсем притих и съежился.

— Кончится ли это, Николай Алесандрыч,— сказала она, обращаясь к мужу с самою дерзкою миною.— Третий день шатаетесь вы навстречу да беспорядки делаете! И опять в одном сюртуке! Кого удивлять собрались? А все вы, матушка.

Вера Николаевна закусила губу, быстро подошла к мачехе, поправила ей мантилью и что-то шепнула на ухо. Весь гнев хозяйки будто исчезнул, она слегка кивнула падчерице, поклонилась мне, поздоровалась с Костею и поцеловала его.

Светлые глаза Кости впились в глаза мачехи и не опускались даже в то время, когда она его целовала. Пытливость, заботливость, недоумение светилось в его открытом взгляде: неопытный ребенок смутно сознавал, что мачеха много значит в их семействе, что узнать женщину эту необходимо, прежде чем допрашивать Вериньку.

После первых расспросов Костя отвел глаза от мачехи, посмотрел на отца, на сестру и о чем-то задумался.

Но я был опытнее Кости, я знал семейную жизнь, видел много дурных женщин на своем веку. Много разгадывал я по черным, неприятно блестящим глазам мачехи, по ее перерывистому, сосредоточенному голосу, по раздражительному румянцу, не сходившему с ее желтого лица.

— Итак,— спросила меня Марья Ивановна, продолжая начатой разговор,— вы бросили и Петербург, и столичную жизнь, и роскошь?

Я отвечал, что блеск и роскошь не дались на мою долю, а потому и Петербург оставил я без сожаления.

Дом был невдалеке, а потому мы всею компаниею ускорили шаг. Я вел Марью Ивановну и, желая наблюдать за этою женщиною, толковал ей про театры и «салоны», в которых нос мой никогда не показывался. Генерал заговорился с садовником и отстал от нас, Костя и Веринька шли сзади и спорили. До чуткого моего уха доносились такие выражения:

— Да это чучело! — говорил Костя.— «Пустое, я люблю ее без памяти».— Она вас мучит! — «Это ты с чего взял».— Я ее расспрошу сам.— «Этим ты меня обидишь».— Да расскажи ты мне.— «Ну, полно, экой капризный мальчишка!».

Я удвоивал шаг и заговаривал генеральшу. Она толковала про разврат и неповиновение крестьян, про непростительную слабость старика Надежина. Веринька, переговариваясь с Костею, с напряжением вслушивалась в наши речи.

Положение бедной девушки казалось мне сходным с положением самолюбивого бедняка, к которому напросился в гости богатый и прихотливый приятель. Напрасно голяк потчует его лучшими сигарами, напрасно удвоивает он свою заботливость, лжет напропалую,— не скрыть ему нищеты и замешательства, не украсить ему жалкой своей квартиры, не отуманить зорких глаз посетителя.

Ясно, что в семействе генерала дела шли не ладно, видно было, что на долю Веры Николаевны приходилось много горя; но дальнейшие подробности узнать было трудно, особенно для Кости. Веринька распоряжалась всем домом, мачеха, по-видимому, умела только бредить о столице и об аристократии; но мало этого: чуть готовился какой-нибудь спор, чуть генеральша собиралась побранить бедного своего мужа, чуть Костя начинал до чего-нибудь допытываться, тотчас являлась на сцену Вера Николаевна. Появление ее походило на явление ангела хранителя: все умолкало, все начинало улыбаться и приходило в спокойное состояние.

Я со страстью любовался на молодую девушку, и точно, я мог понимать ее скорее, чем всякой другой. Я понял даже необходимое значение одного обстоятельства, которое произвело на Костю неприятное впечатление. Весь дом генерала поставлен был на роскошную ногу, не согласную с состоянием хозяина. Мебель была великолепная, сад отделан изящно, вся прислуга ходила во фраках и белых перчатках, благочиние царствовало такое, что сама Марья Ивановна, войдя в дом, присмирела и говорила мало, боясь сочинить диспарат [34] в такой щегольской обстановке. Роскошь эта была уздою на мачеху.

Обед и вечер прошли тихо и весело. Генеральша явно благоволила к своему пасынку, который точно олицетворял хорошенького мальчика, mignon *, до которых сорокалетние женщины страшные охотницы. Костя будто забыл свое предубеждение к мачехе, шутил с нею, под-

* фаворит, любимчик *(франц.)*.

дразнивал ее, вскакивал из-за стола, затрогивал Вериньку, садился к отцу на колени, дергал его за усы, пил с ним вино, созвал всю прислугу, перецеловался со всеми, отыскал свою кормилицу и привел весь дом в совершенный восторг. Веринька не могла насмотреться на брата, мачеха дала полный отдых своему мужу,— один старик с маленьким недоумением глядел на Костю и будто дивился его бесцеремонным эмилевским выходкам.

Когда наступила ночь, нас проводили в маленький флигель, которого окна, все освещенные месяцем, чуть выглядывали из-за строя колоссальных георгин. Пол, двери и подоконники нашей комнаты выструганы были из простого дерева и удивляли своею кокетливою чистотой. Букеты георгин и астр стояли на окнах, зажженный камин трещал и весело блестел на всю комнату.

Я сел у огня и тяжело задумался. Семейство моего товарища напомнило мне много грустных минут из собственной моей жизни. Скоро воспоминания эти потускли, образ Вериньки возник передо мною во всей своей причудливой, обаятельной прелести. Эта девушка на первый день нашего знакомства зародила во мне какое-то безотчетное враждебное к себе чувство, и чувство это, хотя не усилило моей любви, но придало ей странный, неестественный мрачный характер.

В это время Костя сел на ручку моих кресел, по старой привычке прислонился лицом к моей груди и обнял меня с судорожною горячностью.

Я приподнял его голову и посмотрел ему в лицо. Он плакал горькими слезами и не мог выговорить ни одного слова.

— Костя, дитя, что с тобою? — спрашивал я, испугавшись этого неожиданного пароксизма.

— Алексей,— с усилием сказал он,— ты видел сестру... Бога ради, что с нею? Правду я тебе говорил?

Я старался утешить его.

— Что это ты забрал себе в голову? — сказал я спокойно.— Она скучает немножко: кто же не скучает в деревне?

— Нет, нет,— твердил Костя,— она могла б и не жить в деревне. За нее сватался барон Реццель, полковник, богач, красавец. Она наотрез прогнала его. Алексей, она больна, она умрет скоро.

Горесть его принимала какой-то истерический характер. Я принес воды, помог Косте оправиться, разогнал мысль о болезни сестры; я знал, что она не телом была больна.

— Да что же с ней? — опять допрашивал меня Костя.— Отчего она похудела, зачем она грустит все время?

— Что же я тебе скажу? Кажется, она немножко не ладит с мачехой.

— Как не ладит? что значит не ладит? кто смеет не ладить с Веринькой? Отчего ж она не побранится с мачехой, отчего она не бросит ее, не уйдет от нее? не прогонит ее от отца?..

Что было мне отвечать на эти вопросы? Костя не знал семейной жизни, причудливое дитя не подозревало о существовании сотни ги-

бельных драм, которые разыгрываются не с криком, не с громом, а с сосредоточенною грустию. У меня язык не шевельнулся бы на грустные рассказы.

Но Костя опять начал плакать, легкие судороги снова начали сводить маленькие его члены.

— Алексей,— говорил он сквозь слезы,— помоги же мне... научи меня. Я не жил с людьми... я мало видел женщин... женщины только целовали меня и качали на руках... Я их люблю, только я не понимаю их. И махечу я люблю, только я боюсь ее... Друг мой, я не знаю, что вокруг меня делается... я не понимаю этой жизни, я боюсь за сестру, Вериньке плохо... очень плохо... Растолкуй же мне, ты жил с родными, у тебя есть сестра, ты любишь Вериньку... растолкуй мне все, все...

Сердце мое заливалось кровью. Страшный вопль этой девственной, чистой души потрясал всю мою внутренность. Давно небывалые слезы лезли на мои глаза, в первый раз в жизни чужое горе возбуждало во мне чистое сочувствие, без всякой враждебной примеси. Во всем свете один только Костя мог тосковать передо мною сколько ему хотелось: я не умел злиться на него.

Из тягостного недоумения вывел меня звонкий голос Веры Николаевны.

— Что ж ты, Костя,— кричала она из саду,— уж раздумал гулять, соня этакой?

Костя забыл весь наш разговор.— Сейчас, сейчас, Вера! — закричал он, улыбаясь сквозь слезы, подбежал к лестнице, отворил дверь, разом прыгнул через десять ступенек и побежал за сестрою. Крик, шум, смех поднялся у них страшный: держась за руки, они сбежали вниз по крутой дорожке, пробрались ближе к реке и скрылись в вечернем тумане, который неровными клубами волновался на болотистых ее окраинах.

Река была запружена в этом месте и в пятидесяти шагах от флигеля образовывала род широкого озера. Шум падающей воды доносился до моего слуха, старые липы стояли, свесившись над водою, и роняли в нее рано пожелтевшие свои листья. Между деревьями по временам мелькала светлая веринькина мантилья.

Я долго сидел у окна и смотрел в ту сторону. Светлая, месячная, голубая ночь как-то грустно поглядывала мне в глаза, спать мне не хотелось, а все становилось грустнее и грустнее. Через час воротился Костя, весь измученный, поскорее разделся и кинулся на постель.

— Проклятая девчонка! ничего-таки не сказала...— бормотал он засыпая.

ВЕЧЕР ЧЕТВЕРТЫЙ

На другой день после описанной мною беседы я сошелся с Алексеем Дмитричем на Невском проспекте. Оказалось, что мы оба не спали последнюю ночь: я играл в карты, а приятель мой ворочался с боку на бок, раззадорив свою спокойную кровь воспоминаниями дней давно

минувших. Вследствие этого обстоятельства мы решились доставить друг другу удовольствие совершенно во вкусе Алексея Дмитрича.

Пообедавши самым гастрономическим образом, отправились мы к нему на квартиру, заперли все двери, велели закрыть ставни, завалились спать и спали до одиннадцати часов вечера.

Я проснулся и с ужасом слушал, как били часы. Комната освещалась красным огнем затопленной печки, а приятель мой сидел подле огня и курил, с наслаждением человека, который выучился курить на чистом воздухе, под дождем и непогодою.

— Э, почтеннейший! — кричал я, прикатывая кресло к огню.— Досказывайте ваши похождения,— рассказы в темноте всегда как-то откровеннее и интереснее. Что ж вы меня не будили? вы только на словах много спите.

Рассказ продолжался.

Костя ли меня расстроил с вечера, или усталость была виновата, только всю ночь видел я такие скверные сны, что и рассказать нельзя. Часов в восемь встал я с постели, оделся, хотел разбудить Костю, но генеральский дворецкий передал мне просьбу Веры Николаевны не будить ее брата, пока он сам не проснется.

Я стал бродить по саду и около дома. И в саду и по дворам ходило много дворовой челяди, занятой своими утренними работами. Тихие, запуганные, а иногда украшенные синяками физиономии баб поминутно попадались мне навстречу, перебранивались между собою и отпускали изречения вроде «ахти-хти, жизть-то, жизть...» или «о-о-охо, житье-то наше, житье», изречения, на которые щедр русской человек и в дурную, и в добрую пору.

Изредка бабы выражались несколько определеннее. «Эх, благая-то[35] ты барыня», «ах, барынька-барыня», сказанные в сатирическом тоне, определяли значение мачехи между ее подданными и бросали некоторый свет на семейные и хозяйственные дела старого генерала.

Шагах в двадцати от меня, у самого дома, гремел, возвышался до верхнего *до* и рассыпался мелкою дробью раздраженный голос хозяйки дома. Марья Ивановна, высунувшись из своего окна в довольно легком костюме, читала нотацию кучке собравшихся под окном мужиков и пересыпала свою речь выражениями, не то чтобы совсем неприличными, но вовсе не употребительными в аристократических компаниях, о которых так любила толковать сердитая генеральша.

Дело было такого рода. Накануне был храмовый праздник, который, в старые времена, давал крестьянам право три дня не ходить на барщину и пить пиво, сколько душе их было угодно. Привилегия эта была уничтожена мачехою, но крестьяне, кроткие и покорные при всех других притеснениях, постоянно протестовали, когда дело доходило до единственного в году храмового их праздника. На этот раз, придравшись к приезду молодого барина, они отрядили своих стариков просить заступничества у Веры Николаевны. Несчастная депутация не застала барышню дома, а наткнулась на барыню, которая встретила ее по-своему. Бедные мужики почесывали у себя в затылке, вертели

головами и хранили робкое молчание; мое появление спасло их от дальнейшей напасти; судя по возвышавшемуся голосу генеральши, за бранью скоро последовали бы другие более энергические меры. Но увидев меня, Марья Ивановна устыдилась своего утреннего неглиже, и, к великой радости бедной депутации, измятый ее чепец и засаленный хитон скрылись от окошка.

Не надевая шапок, депутация направила путь восвояси и на повороте дороги встретила Вериньку, которая выходила из сада. Она остановила мужиков и сказала им несколько слов. Видно, речи барышни были очень утешительны, потому что старики стали низко кланяться, поцеловали у ней ручку и, радостно ухмыляясь, тотчас же разбрелись в разные стороны.

— Рано встаете вы, Вера Николаевна,— сказал я, подходя к ней. Она облокотилась на мою руку, и мы снова вошли в сад.

— Мне надо не шутя побранить вас, Алексей Дмитрич,— сказала она довольно сухо,— что это вы наговорили Косте про меня? Целый вечер мучил он меня своими расспросами. И с чего взяли вы, что я не лажу с маменькой?

— Лучше сказать, отчего мачеха ваша не ладит с вами? — отвечал я, ударяя на слове мачеха.

— Я знаю, вы жили в семействе, может быть, и горевали. С какой же стати рассказывать Косте про вещи, которых он не понимает?

Я хотел оправдаться и передал ей разговор наш во флигеле. Слезы навернулись на ее глазах и тотчас же скрылись.

— Костя ангел,— сказала она задумчиво,— такого чудного дитяти не бывало на свете. Только жизнь наша не по нем, много горя он себе готовит...

— С ним легко справиться,— говорил я.— У него одни глаза только зорки. Неудачный ваш портрет навел его на грустные мысли; будьте немножко похолоднее, глядите повеселей, и он все позабудет.

Веринька вспыхнула и забросила кверху головку.

— Да что же это? — вспыльчиво сказала она.— Не переделывать же мне лицо мое для взбалмошного мальчишки! Слава богу, я не в пансионе... никто не прикажет мне смотреть веселее... есть же и конец терпенью!.. довольно мне и своей заботы!

Она сама испугалась этой раздражительной выходки, которая более объясняла ее положение, чем бы ей хотелось.

Долго бродили мы по саду и толковали о своих делах,— но — вы извините меня,— я увлекаюсь Костею и Веринькой, сам же я пока намерен оставаться в тени.

Часа через полтора мы пошли к старику и расположились пить чай в его комнате. Мачеха, как видно, успела уже выбранить своего мужа, потому что генерал был совсем не в духе. Привыкши к регулярной жизни, он досадовал на Костю, который, умаявшись с вечера, все еще спал,— и наконец, несмотря на просьбы Вериньки, послал к сыну дворецкого с приказанием явиться пить чай вместе.

Но в ту же минуту Костя вбежал в комнату, с шумом и веселым

смехом, живой, свеженький, сумасшедший, как всегда. И следов вчерашнего горя не видно было в его глазах. Не обращая внимания на суровую фигуру отца, на его замечания, он поздоровался со всеми, поддразнил всех и каждого, обежал весь дом и сел к чайному столу. Только сесть он хотел не иначе, как к Вериньке на колени. Она очистила ему маленькое место в своем кресле, Костя сел в уголок, продолжал возиться с сестрою и хотел уже ее посадить к себе на колени. При этой возне они как-то зацепили за стол, стол потрясся в своем основании, чашки задребезжали, и увесистый самовар чуть не опрокинулся на пол. Генерал совсем рассердился.

— Да полно тебе, Константин! — строго закричал он, стуча рукою по столу.— Сиди смирно, экий сорванец выискался! Эх, мало тебя секли-то, вот оно, нынешнее воспитание!

— И... и слушать тебя не хочу! — кричал ему Костя, продолжая возню с сестрою.— Видишь, какой ворчун! и! да какой сердитый! Садись же, Вера...

Генерал совсем поражен был этой эмилевскою бесцеремонностию. Давно уже было ему не по нутру то, что Костя говорил ему: ты. Вышла б неприятная сцена, если бы мачеха не вступилась за Костю. С первого ее слова старик присмирел и замолчал.

Костя не давал покою сестре.— Зачем у тебя такая тоненькая талия? — говорил он ей,— это совсем не красиво, ай! какие у тебя плечи худенькие! это почему? это что значит?..

С последним словом Костя выпрыгнул из кресла и стал на пол прямо против мачехи.

— Что это мне говорили,— быстро произнес он,— будто бы вы с Верой не ладите? Уж коли с ней не ладите, значит вы одни виноваты.

Генерал побледнел, Вера Николаевна побледнела, мачеха побледнела и бросила ехидный, сатанинский взгляд на бедную девушку. Костя один не замечал ничего и продолжал свою речь.

— Вы ей верно все мораль читаете, за ее поведением смотрите! Мы с Верой балованные дети, нам никто не смеет нотаций читать... за нами никто не смеет смотреть... вот что. Ну, не сердитесь же.

Я ожидал страшной перебранки, но, к общему удовольствию, дело устроилось миролюбиво. В эти полтора дня Костя приобрел такую власть над мачехою, что она смолчала на его расспросы и отвечала кротко и толково. Вера Николаевна вся дрожала: из этого мог я понять, на что способна была мачеха в минуту гнева. Костя не спустил бы ей ни на волос, в этом я мог быть порукою.

Разными шутками над Костею я успел повернуть все дело и замять тяжелый разговор. Но уже прежнего согласия не могло существовать между нами всеми. Генерал явно дулся на Костю, мачеха выискивала удобный случай наговорить дерзостей Вериньке, Вера Николаевна невольно сердилась на меня и чувствовала, что дальнейшее пребывание Кости в их доме поведет к нескончаемым неприятностям. Сам Костя раза два о чем-то задумывался и за обедом сердился на всех, даже беспрестанно придирался ко мне и к сестре.

После обеда генерал ушел спать, мачеха объявила, что ей надобно дочитать книги, присланные из Петербурга, то есть, говоря иными словами, хватить часика три. Солнце садилось в полном великолепии, вечерний ветер поднялся и начал шуметь между полузасохшими листьями; я, Вера Николаевна и Костя пошли в сад.

Сначала мы весело болтали, потом Костя снова задумался, становился угрюмее и угрюмее, чего с ним никогда не бывало.

— Слушай, сестра,— сказал он наконец, вскочив со скамейки, на которой сидели мы все рядом.— Наконец надобно же кончить чем-нибудь! Черт меня возьми, если я хоть что-нибудь в ваших делах понимаю. И отец, и ты, и мачеха, все вы живете прескверно. Отец совсем опустился, ты совсем исхудала. Начнем же хоть с тебя; я не ошибся, глядя на твой портрет. Я сам горе видел, меня притесняли, злили, мучили. Я знал, кто меня мучит... Я ненавидел, я знал, кого ненавидеть... я знал, кому мстить...

Вера Николаевна робко смотрела на Костю, который был уже не ребенком в эту минуту.

— Скажи же, Вера,— кротко сказал он,— кто тебя мучит? отчего ты похудела, отчего ты так часто сердишься, отчего ты горюешь?

Вера Николаевна посмотрела на него с изумлением и рассмеялась.

— С чего ты все это взял? — спросила она.— Да разве можно горевать здесь?

— Можно. Видишь, я горюю.

— Пустяки, ты притворяешься. Будто ты не любишь нашего сада? будто старые наши липы тебе не по вкусу? Посмотри, каков вечер, как хороши деревья, как мила наша осень...

— Осень твоя гадость. Очень весело смотреть на деревья, которые умрут через месяц.

— А весной опять воскреснут...

— Не люблю этого воскресенья. Коли есть воскресенье, стало, была смерть. А смерть вещь гадкая.

Никогда я не видал Костю таким сердитым. Вера Николаевна улыбнулась, привела нас вниз к речке, и мы переехали через нее, ставши на маленький плот. У противной пристани стоял курган, обросший старыми соснами. Ни ветер, ни холод не смели пробираться на площадку, осененную этими соснами. Песок под ними был сух, мягок и удобен для сиденья. Мы легли под соснами.

— Вот тебе и бессмертие,— шутя сказала Веринька.— Хорошо здесь?

Костя взглянул веселее.

— Так хорошо,— говорил он,— что я не шутя у вас останусь. Поезжай ты один, Алексей, я пришлю свидетельство и поселюсь у отца. Рано мне драться.

На этот раз Веринька побледнела. Но я не шутя обрадовался. Совесть меня давно мучила за то, что я вез с собою слабого ребенка в край нездоровый и опасный, за то, что я не употребил всех стараний, не отговорил его от охоты гоняться за приключениями.

— Да как же ты это сделаешь? — спросила Вера Николаевна.

— Очень просто, не поеду, да и только.

— Надо иначе поступить,— сказал я.— Завтра я от моей персоны переговорю с генералом. И слепой очень хорошо видит, что в твои лета и с твоим здоровьем рано таскаться по свету. Доктор даст тебе свидетельство о болезни, а потом тебе можно будет, не уезжая, перепроситься в один из полков, здесь расположенных.

План мой был одобрен. Мне стало грустно, но совесть приказывала так поступить, к тому же присутствие Кости казалось необходимым для семейства.

В это время за рекою послышался голос его превосходительства. Он звал Костю, чтоб переехать на нашу сторону. Костя побежал к отцу, а сестра его подошла ко мне еще ближе.

— Алексей Дмитрич,— сказала она дрожащим голосом,— отговорите брата. Незачем ему здесь оставаться...

Я с удивлением посмотрел на нее.

— Странное дело! или вам хочется, чтоб его убили на Кавказе?

Она вздрогнула всем телом.

— Его не убьют, я это знаю,— твердо произнесла она.— Его бог не на то создал, чтоб ему погибнуть в молодости...

— Это хорошо в книге, а не на деле,— возразил я.— Отчего бы ему не остаться с вами?

— Боже мой! Боже мой! — с усилием выговорила Веринька.— Он будет здесь несчастнее, чем там... Я не перенесу этого...

— Не думаю. Что кажется для вас горем, то, может быть, еще не горе. Вдвоем вы всякую беду одолеете,— прибавил я шутя.

— Бога ради, отговорите его.

— Не берусь за это: я вижу всю необходимость и соглашаюсь с ним.

— Все-таки он поедет, я говорю вам!

Глаза ее вспыхнули, точь-в-точь, как у Кости, когда он сердился.

— Не знаю,— отвечал я холодно,— я сделаю свое дело.

Рано утром я был уже в саду и обдумывал мою речь, план атаки на отеческое чувство старика Надежина. Скоро встретил я его и с ним неразлучную его Антигону.

Старик с рассеянным видом выслушал все, что я рассказал ему о здоровьи, о положении Кости. Остаться в деревне он ему решительно не позволял. Напрасно убеждал я его, он похож был на глухого: казалось, в эту ночь он одряхлел окончательно. Только когда я выставил ему молодость Кости, он отвечал мне:

— Сам я в тринадцать лет ходил на галерах под шведа.

Затем рассказал он мне всю историю первого своего похода.

Я отправлял к черту шведа и галеры и глядел на Веру Николаевну. Она была бледнее обыкновенного, во весь разговор наш с отцом она не сказала ни слова.

Старик уселся на скамейку, кончил свой рассказ и задумался. Я подошел к дочери.

— Жаль мне Кости,— сказал я ей,— вы поссорили его с отцом. Он не уедет отсюда.

Она смело взглянула на меня.

— Или вы не слышали?

— С чего ж вы взяли, что Костя послушается старика?

Веринька с недоумением глядела на меня.

— Вы забыли,— продолжал я,— что брату вашему не десять лет, что он страшно упрям. Припомните его воспитание... и вы думаете, что он послушается слабого отца, когда десятки педагогов не умели переломить малейшей его прихоти?

Она задумалась и слегка улыбнулась.

— Положитесь на меня,— сказала она,— все кончится для его же добра.

Генерал задремал, мы пошли к дому. Я удивлялся этой девочке, которая, не довольствуясь своими хлопотами, смело шла на борьбу с лучшим своим другом, не заботясь о трудностях этой борьбы...

У флигеля встретили мы Костю, и все трое уселись на сухой траве.

— Боже мой, какая ты сегодня хорошенькая! — сказал он сестре.— Я уверен, что часа два наряжалась. Давай, я тебя поцелую.

Веринька не далась и села за спиной Кости, так что он не мог поворотить головы к ее хорошеньким губкам.

— Костя,— сказала она, положа руки на его плеча,— папенька не хочет, чтоб ты оставался. Напрасно просили мы его...

— Все-таки я останусь,— тихо сказал Костя.

Вера Николаевна поняла, что спорить тут было невозможно.

— Друг мой,— сказала она, нагнувшись к его лицу,— пожалей старика... я даю тебе слово, через год он сам тебя позовет...

Костя хотел опять обнять сестру, она ловко увернулась с очаровательным кокетством.

— Ты напрасно боишься за меня, друг мой,— продолжала она соблазнять брата,— говорю тебе, я счастлива... Зачем же из прихоти тебе ссориться с отцом, послушайся меня, крошечка...

Она потянула Костю за плечо и положила его голову к себе на колена. Каштановые ее локоны падали на глаза брата, личико ее нагибалось к его лицу.

Костя опять потянулся вверх, сестра опять ускользнула от его поцелуя.

Веринька крепче обняла Костю, голова его приходилась к ее груди. Эта прелестная группа двух детей стоила Амура и Психеи Кановы [36].

Костя слабел и поддавался. Маленький язычник падал во прах перед красотою, перед кокетством сестры.

— Хорошо,— проговорил он, прижавшись головой к сестриной груди,— я уеду отсюда. Только слушай: расскажи мне верно, как перед богом, всю вашу жизнь с отцом и мачехой. И главное, чтоб я знал, отчего у тебя грустное лицо...

Веринька нагнулась к брату и поцеловала его.

— Доживешь до моих лет,— шутливо сказала она,— будешь сам тужить. Ты еще мальчишка.

— Пустое, пустое! — кричал Костя.— Ты хочешь меня соблазнить, хитрая девчонка.— Не хочу целовать тебя, я Иосиф... не слушаю тебя, оставляю мое пальто в твоих руках...

Он хотел приподняться, но взглянул на личико Вериньки и снова упал ей на руки.

Она снова нагнулась к брату и уже не подымала губ от его лица.

— Через год все устроится,— говорила она, пересыпая эти фразы горячими поцелуями,— я даю тебе слово: все это пустяки, это мой маленький секрет... при первом твоем отпуске все узнаешь... пусть Алексей Дмитрич будет свидетелем...

Она стыдливо взглянула на меня и снова нагнулась к лицу брата.

— Будет по-твоему, Вера,— сказал Костя слабым голосом,— смотри же, чтоб беды не вышло...

Через месяц были мы уже в Ставрополе, а с весною начались экспедиции...

. . . .

. . . .

Тут Алексей Дмитрич вошел в подробности чисто стратегические, развернул даже карту Кавказа; я слушал очень внимательно, однако не удержался и зевнул. Хозяин улыбнулся, тотчас же прекратил свои воинственные соображения и перенес меня на поле какого-то сражения, бог знает в каком краю. Из одного только названия леса мог я, хотя приблизительно, обозначить место подвигов моего приятеля. Так как я давно уже забыл военную службу, то могу не слишком ловко передать рассказ его, в чем заранее извиняюсь, а во всяком случае постараюсь укоротить эти сцены.

«Чем далее пробирались мы в лес, тем более неохоты и робости высказывалось между нами. Дым уже застилал узенькие интервалы между деревьями, и пули по временам взвизгивали около меня, с неприятным стуком впиваясь в стволы толстых лиственниц. В самом деле, положение мое было не совсем выгодно для первого дебюта: протискиваться в чаще, боясь потерять из виду свою рассыпанную команду, да сверх того еще наблюдать за Костею, которого воинственные наклонности не в шутку начинали меня тревожить. Сначала он шел довольно покойно и берег заряды, с усилием волоча неловкую свою фузею [37]; но, увидевши первого раненого, он совсем рассердился, беспрестанно стрелял наудачу, в полной уверенности, что всякой его выстрел наносит страшное опустошение в рядах неприятелей и поминутно подбегал ко мне с вопросами:

— Да скоро ли мы будем драться? да где эти бестии черкесы?

Однако деревья начинали редеть, и скоро перед нами открылась узкая поляна; мелкий овраг, обросший кустарником, пересекал ее наискось. Два-три выстрела раздались из противоположной стены леса, и затем все смолкло. Открытое место, шагов в пятьдесят, отделяло нас от неприятеля, но пройти эти пятьдесят шагов можно было не иначе, как под его выстрелами. Один убитый горец лежал на краю оврага и, против

правил своих соотечественников, не был даже подобран. Мохнатый унтер-офицер нашего полка подошел к убитому. Один только выстрел раздался со стороны неприятеля, и бедный егерь мертвый упал на мертвое тело. Цепь наша приостановилась и спряталась за деревьями, ожидая дальнейшего распоряжения.

Ротный командир наш был контужен при самом начале дела, командир цепи распоряжался на другом фланге, участь сотни людей лежала на мне. Я не труслив, но был неопытен: я знал все походы Наполеона как свои пять пальцев, мог отлично рассказать все моменты Лейпцигского сражения, только эти сведения тут не годились. Однако я понимал, что нам следовало до нового приказа остановиться у окраины леса и не выбегать на поляну, где нас могли всех перестрелять, как тетеревей.

Распорядившись таким образом, я вышел из леса вперед, благополучно пробрался до высокого камня и, притаившись за ним, старался вглядеться в расположение неприятеля. Но Косте и тут не терпелось: он не мог понять, что война не есть беспрестанное, восторженное хождение в атаку, а скорее томительное выжидание, изредка прерываемое минутами дикой и короткой схватки. Всякая дисциплина была не по нутру моему товарищу: несносный мальчишка вышел один из лесу и, не обращая внимания на пули, которые жужжали около нас, стал уговаривать меня на новые подвиги.

Я совершенно взбесился, хотел гнать его, но вдруг Костя вскрикнул, побледнел и ухватился за левую руку. Мундир был разорван на его плече, и кровь капала из отверстия. Я успокоился, рана была легка.

Но уже никто не в силах был совладать с Костею: бешеная его вспыльчивость выказалась гибельным образом. Увидевши свою кровь, он дрогнул всем телом, взвизгнул, стиснул зубы, вырвался из моих рук и кинулся в ту сторону, где еще стлался дым от последнего выстрела. В одно мгновение он отбежал шагов на двадцать, но в ту же минуту из-за кустов выбежали четыре горца в изодранных бешметах, схватили бедного мальчишку и потащили к лесу, откуда вышло десятка с два таких же удальцов, будто желая отбить у него миниатюрную добычу.

Я забыл все на свете, кинулся вперед и скомандовал наступление. В полминуты мы переколотили всю кучку неприятелей, в свалке я толкнул самого толстого из чеченцев и вырвал бедного Костю из его ослабнувших на минуту объятий. Костя не мог стоять на ногах и показывал мне на свою грудь, я взял его на руки, перебросил его через левое свое плечо, и только тут увидел, какое неосторожное дело наделал я с моими подчиненными.

Сотни винтовок торчали из кустов, около оврага, из кустов над оврагом и из той части леса, против которой мы стояли. Выстрелы гремели, как барабанная дробь. Сомкнувшись кучкою, шли мы к лесу, а прямо на нас бежала страшная толпа неприятелей.

Какая-то бешеная тоска обхватила меня. Я хотел провалиться сквозь землю, хотел умереть, но пули меня не зацепляли. Цепь наша без важной потери, подобрав раненых, добралась до глубины леса, но я стоял

еще за первыми деревьями опушки. А впереди уже напирал неприятель: далеко опередивши всех, бежал прямо на меня мюрид [38], которого толкнул я так ловко. Вся эта сцена продолжалась две-три минуты, но, пока я жив, она будет свежа в моей памяти. Пока я жив, я не забуду желтой фигуры этого толстого наездника, его огромного носа, дугою свесившегося над щетинистыми, почти синими усами. Он шел прямо на меня, хотя бы мог, не подвергаясь встрече, пристрелить и меня и Костю; но видно ему хотелось живьем схватить моего товарища.

Кто, к своему несчастию, бывал в рукопашном бою, тот только знает, до какой степени может разрастись сила человека, если человек видит, что опасности нет исхода. Голова моя сама вытянулась кверху, грудь напряглась и расширилась, левая рука, поддерживавшая все тело Кости, не чувствовала ни малейшей усталости. Взмахнув оружием, я кинулся вперед, правую мою сторону защищал ствол свалившейся лиственницы, далеко раскинувшей свои спицы по влажной земле. Слева стеной торчала чаща леса,— лицом к лицу подвигался ко мне бешеный чеченец, и рука его с шашкой, далеко откинутая вправо, ручалась за дьявольскую силу удара.

Тут нельзя было ни нападать, ни отражать ударов: я размахнулся, и шашки наши встретились с невероятною силою. Жизнь наша зависела от доброты стали, но моя шашка была прескверная, из толстого железа. Это спасло меня. Мой удар пришелся чуть-чуть выше рукоятки; тонкая булатная шашка мюрида зазвенела и расскочилась на части.

Как змей он изогнулся всем телом, уперся носками в землю, скакнул назад и выхватил кинжал, величиною с наш тесак. Но мой прыжок был также верен. В минуту, когда ноги мои коснулись земли, оружие мое ударило мюрида в плечо, неприкрытое сеткою, и врезалось до середины груди. Он упал, как пораженный молниею. Не припомню я, чтоб во мне явилась когда-нибудь сотая часть той энергии, которая кипела во мне в эту минуту. Глаза мои с непонятною ясностью видели все, что делалось по сторонам, и далеко проникали сквозь чащу; мысли мои толпились в голове, но были ясны и не сбивчивы. В руках моих чувствовал я большую, судорожную силу и хладнокровно выжидал нового нападения. Но вся толпа неприятеля провалила вправо от меня, не обращая на меня никакого внимания. Я был отрезан и разлучен с моею командою.

Мало-помалу улеглось зверское, напряженное состояние моего духа: Костя начал стонать и ворочаться на моем плече; снова все мои мысли обратились к бедному моему другу, и я бросился бежать, сам не зная по какому направлению.

Сражение не прекращалось, звон оружия по временам раздавался около меня, пули срезывали сучки по обеим сторонам. Костя, боясь упасть, так обхватил мою шею, что я с трудом переводил дух. Каким образом пробирался я между густо сросшимися деревьями, как я не расшиб себе тысячу раз головы о сучья, толщиною с строевое дерево, это один бог только знает. Ветки больно хлестали меня по глазам, выстрелы резко и звонко гремели по сторонам,— что-то страшное, дико

поэтическое заключалось в сумраке этого дремучего леса, в этих выстрелах, в диких, нестройных голосах наших врагов.

Так бежал я долго, долго и наконец забрел в совершенную глушь. Все было тихо вокруг меня, не видно было нигде и следов человеческих, хотя лес был редок и везде торчали обгорелые пни, следы давно случившегося пожара. Я перевел дух и пошел тише, по временам взглядывая на бедного моего товарища. Он был бледен, вскрикивал по временам, когда неловкий толчок растревоживал рану, и прижимался ко мне со всей силою молодого существа, которое дорожит своею жизнию. Он чувствовал, что мне было тяжело, и по временам старался улыбнуться и одобрить меня. Кровь чуть капала из его груди и плеча, и скоро он лишился чувства.

Вдруг невдалеке от нас закипела страшная перестрелка и крик людей стал явственно доноситься до моего слуха. Давно уже какой-то шум и смутный говор начали мне слышаться в той стороне. Надеясь добраться до какой-нибудь развязки, я смело пошел на выстрелы, беспрестанно раздвигал рукою кусты, перескакивал через костистые остовы обгорелых, свалившихся деревьев. Поминутно поглядывал я на Костю, прислушивался к его дыханию; каждая минута казалась мне годом. Прошло еще около часу, и мы добрались до места настоящей схватки. Узкая дорога, пересеченная высокими камнями и толстыми, переплетенными между собою кореньями, занята была несколькими сотнями ***ской милиции. Сзади стояла рота пехоты. Горцев не было видно нигде, не было ни отступления, ни наступления, а между тем перестрелка была во всем разгаре, и десятки убитых валялись посреди дороги. По обеим сторонам отряда торчал вечный, неизбежный лес, подернутый пороховым дымом, и дым этот лениво волновался, как туман середи лесистого болота.

Здесь-то пришлось мне быть свидетелем одной из тех гибельных сцен, которые часто случаются при военных действиях на пересеченной местности, против хитрого и ожесточенного неприятеля. Малый отряд, о котором идет речь, послан был в обход по дороге извилистой и дурно известной и посреди своего пути наткнулся на неожиданное препятствие. Казалось, что впереди его дорога заканчивалась высоким кустарником, из-за которого мелькали огоньки и сыпались выстрелы. Но опытный глаз различал, что то был не кустарник, а огромные деревья, срубленные и поваленные так, что крепкие их ветки торчали кверху. За стволами этими притаился неприятель и защищал это зеленое укрепление, знакомое кавказским героям под именем завала.

Маленькая колонна терпела еще более с правой стороны. Прикрывшись лесом, горцы стреляли на выбор. Напрасно стрелки наши силились отогнать их от опушки: чуть атака прекращалась, неприятель снова являлся на старое место. Некоторые удальцы забегали сзади по дороге и стреляли в тыл егерям. Отряд находился в явной опасности, но стоял крепко, готовый употребить последние усилия против превозмогающих, огромных сил врага.

Вдруг радостный крик пронесся по кучкам егерей; все головы повернулись назад; подмога приближалась на выручку.

По всей дороге, вправо от меня, изгибаясь, как длинный змей, и сверкая сотнями штыков, двигались два новые батальона. Люди шли спокойно, правильно, насколько позволяла неровная дорога, не уменьшая, не увеличивая шага. Впереди всех, на караковой[39] лошадке ехал молодой полковник в щегольском, блестящем мундире и, лениво покачиваясь на седле, глядел, прищуря глаза, на своих и на неприятеля, и на завал, который, казалось, горел и дымился; так горяча была пальба его защитников.

В минуту опасности у подчиненного рождается непонятное сочувствие к человеку, которого распоряжения могут доставить победу, повести к погибели или избавить от смерти... Я жадно всматривался в холодное, бледное лицо полковника, и точно... умное лицо это, спокойная посадка, самый ленивый его взгляд обещали победу и успех.

Поровнявшись со мною, он привстал на стременах: «Ложись!» — вскричал он, почти не раскрывая рта.

Но голос этот был громок и внятен. Весь отряд, стоявший между завалом и новыми батальонами, повалился на землю. Полковник поворотил голову назад, махнул рукою и рысью поехал вперед, и восемь ротных колонн, растянувшись по окраинам дороги, побежали по следам своего начальника.

Завал был охвачен с трех сторон и взят после короткой, хотя и отчаянной обороны. Горцы дорого поплатились за первые минуты успеха: со страшною потерею отброшены они были в лес и в беспорядочном бегстве сотнями гибли на штыках наших застрельщиков.

Во все время схватки молодой полковник не вынимал своей сабли из ножен, не делал ни одного восторженного жеста, весьма позволительного в таких случаях. Он остановил лошадь у самого завала и наблюдал за ходом дела, по-прежнему покачиваясь в седле и кусая перчатку на своей левой руке. Облако дыма, стоявшее над местом боя, откидывалось по временам и раскрывало, во всей ее благородной красоте, задумчивую фигуру отрядного начальника.

И — подивитесь странности человеческой натуры — я, человек не воинственный, враг батальных сцен и истребительных побуждений, я забывал весь ужас моего положения, глядя на этого совершенно незнакомого мне человека. Страстная, бессознательная симпатия, след тревожного дня, тысячи новых ощущений зарождались в моей груди. Я едва переводил дух, не заботясь ни о чем, стоял под пулями и не мог отвести глаз от этого заколдованного полковника.

. . . .

Истощив все средства и не отыскавши ничего похожего на помощь, я, все с Костею на руках, вошел в лес, куда не дохватывали пули, и осторожно сложил его на мягкую траву. Он был в беспамятстве, грудь его склеилась с моим плечом от вытекшей крови, и мне стоило долгого труда отцепить мою ношу. О величине и глубине раны судить было невозможно.

Солнце уже село, и ярко-розовый цвет неба просвечивал сквозь раскинутые над нами листья. Быстро охладевший воздух подействовал на Костю: краска показалась на его лице, он тяжело вздохнул и раскрыл глаза с задумчивым изумлением дитяти, которое просыпается на незнакомом месте. Боль в груди разом дала себя почувствовать; он вскрикнул и ухватился за сделанную мною наскоро перевязку. Страшная лихорадка южных краев начала его мучить, а у нас не было ничего, кроме моего кургузого сюртука.

— Что, очень болит? — спрашивал я Костю, стараясь отогреть холодные его руки.

Однако он не слыхал моих вопросов, не отвечал на мои ласки. То он метался и бредил, то приходил опять в себя, сердился на меня с обычною своей вспыльчивостию, жаловался на боль и на холод,— то звал к себе сестру, то командовал и воображал, что сражается. Воинственные эти порывы, так несогласные с его прежним равнодушием к военным сценам, сильнее всего потрясали мою душу.

Пальба давно уже затихла, я был уверен, что отряд стоит недалеко; казалось мне, что невдалеке от нас мелькали поодиначке белые солдатские фуражки. Я хотел привстать с земли, но у меня не было силы,— хотел громко закричать, но у меня не хватило голосу. Я еще переносил усталость, пока стоял на ногах, а короткие последние минуты отдыха, как водится, расслабили меня окончательно. Будто иголки кололи меня по всему телу, ноги мои не двигались и страшно болели около колен; левая рука моя замерла и будто вытянулась вершка на два, перед глазами моими танцевали и деревья, и пни, и толстая трава. В утомлении, близком к обмороку, я нагнулся к Косте, инстинктивно прижался к нему и начал было засыпать.

В это время маленькая и худенькая рука опустилась на мое плечо и чей-то громкий, но до чрезвычайности приятный голос обратил ко мне речь на французском языке. Я с усилием повернул голову, передо мною стоял тот молодой полковник, о котором я только что рассказывал.

— Ступайте же скорее ко мне,— говорил он,— soyez le bienvenu, monsieur *, ваш отряд далеко, очень далеко, переночуйте с нами.

Он заметил мое утомление, нагнулся, взял Костю на руки и помог мне подняться.

— Бедное дитя! — сказал он скорее с досадою, чем с жалостью глядя на моего товарища,— когда эти ребятишки перестанут соваться к нам да мешать только...

Мы подошли к биваку,— я едва передвигал ноги. Начальник позвал одного из офицеров и передал ему меня с большою заботливостию.

— Зайдите же завтра ко мне,— сказал он, ласково прощаясь со мною,— я вас видел обоих в Ставрополе и хорошо помню. Я командир ***ского полка, Реццель.

При имени этого человека, прославившегося своими причудами и

* милости просим, сударь *(франц.)*.

храбростью, я хотел сделать какой-то почтительный жест и чуть не свалился с ног.

Не помню, кто меня взял за руку, отвел меня к огню, влил мне в горло рюмку водки и потчевал чаем. Вслед за тем я уснул, как убитый.

На другой день я проснулся очень поздно. Страшное расслабление чувствовал я во всех членах, глаза поминутно раскрывались и слипались снова, рассудок лениво колебался и упорно отказывался начинать обычную свою работу. Сон мой был так крепок, что я не слыхал ни перестрелки, ни гвалту, который случился ночью. Горцы-таки не оставили нас в покое; собравшись в лесу, они перед утром нападали на передовые караулы. К счастию, в то время приходила смена, и двойной комплект пикетов встретил нападение. Барон Реццель, так рассказывали офицеры, болтавшие около меня, первый явился на место схватки, с обычным эффектом тихонько проехал под неприятельскими пулями, задержал нападающих и отбросил их назад в лес. Затем, не похваливши, не похуливши своих подчиненных, он уехал прочь и дал полный отдых своему отряду.

Соседи мои заключили свой разговор восторженными похвалами Реццелю, а затем один из них поглядел на меня и изъявил беззаботное сомнение о том, жив ли я еще?

Я все еще вполовину только проснулся и в каком-то забытьи слушал эти речи. Слова офицеров ясно представлялись моему воображению, не затрогивая рассудка, и рисовались передо мною какими-то грезами, как водится впросонках. То видел я пред собою кучу лезгинцев с длинными носами, то стояла жиденькая фигурка молодого полковника с длинными черными усами, с театрально-холодным выражением лица. На минуту я совершенно убедился, что все слышанное мною сон: офицеры начали пересчитывать убитых и раненых, тогда я начисто отказался верить, что есть на свете убитые и раненые, и силился проснуться. В голове моей даже мелькнуло такое соображение: не начитался ли я на ночь Марлинского, и не потому ли мне грезятся такие невероятности.

Вдруг я вскочил, как сумасшедший; только сумасшествия никакого не было; напротив того, туман, бродивший в моей голове, мигом рассеялся, и я разом понял, где я, что я, в одно мгновение припомнил прошлое, сообразил настоящее и заглянул вперед. Один из офицеров произнес название моего полка и фамилию Кости.

Я стал на ноги, усталость прошла. В полминуты я застегнул сюртук и уже был в ста шагах от моих изумленных соседей. Сердце мое не билось, какой-то инстинкт вел меня. Я стоял перед палаткою отрядного начальника, два медика входили в палатку: верно это обстоятельство и направило мой путь. Перед глазами моими редкие деревья и ружья, составленные в козлы, задавали страшную выпляску, а палатка то разрасталась вверх и становилась похожа на пирамиду египетскую, то делалась мала и совсем уходила вдаль, будто бы я смотрел на нее в зрительную трубку не с того конца.

— Entrez donc, monsieur! * — раздался из палатки сладенький голос

* входите же, сударь *(франц.)*.

барона Рецццеля.— Мы вас ждали целое утро, бедная крошка сам хочет идти вас посмотреть... le pauvre petit! *

Я вошел в маленькую палатку, убранную с сумасшедшим великолепием. Костя лежал на постели, которую уступил ему полковник, двое лекарей заботливо хлопотали вокруг него. На его лице играл гибельный румянец, признак жара, воспаления или горячки. Он страшно переменился в одну ночь и сделался похож на восьмилетнего ребенка. Никогда, ни в чьем лице я не видал подобных перемен, и со всем тем, бог знает отчего, а я догадывался, что перемена эта признак близкой смерти. Костя подал мне свою руку, горячую, как огонь, притянул меня к себе и поцеловал...

На краю постели сидел знакомый вам хозяин палатки, командир нашего отряда, играл с Костею, показывал ему разные блестящие вещи и между прочим три ордена, снятые с своего мундира. Бедный мальчик по временам брался за грудь, плакал без всякой церемонии или сердился на докторов, которые так тихо его вылечивали; иногда же он успокоивался, брал Рецццеля за руку и начинал с ним шутить или спорить.

Барон Рецццель был блестящим представителем старого молодого поколения, которое жило очень шибко и очень весело, почитывало Байрона да играло в разочарование, обладая тысячами пятидесятью годового дохода. В свете такие люди несколько пошлы или по крайней мере скучны, а в военное время разочарование вещь и полезная, и эффективная. Жизнь барона походила на вечное театральное представление. Еще мальчишкой он с восторгом скакал перед своим кирасирским взводом, беспрестанно пришпоривая свою и без того горячую лошадь; в зрелом возрасте он любил ходить в атаку на неприятеля, останавливаться под выстрелами, никогда не входить в азарт и молчаливо представлять из себя грустного философа, холодного зрителя общей потасовки.

А между тем он был чудно хорош во время дела и возбуждал страстное удивление своих подчиненных. Вечно раздушенный, вечно во всей форме, он прескверно держался на лошади, при всяком удобном случае перекидывал ноги на одну ее сторону, не выставлял солдат по-пустому, холодно и грустно смотрел, как передние их ряды падали под пулями. Если подскакивали к нему адъютанты с торопливыми приказаниями, он покойно их выслушивал, говорил им любезности, лениво распоряжался, и весь его полк, и я, грешный человек, и я первый лез из кожи, чтоб угодить барону и отличиться перед его глазами.

Человек он был лет сорока, но смотрел гораздо моложе, был очень недурен собою, манеры его были самые аристократические и даже чересчур любезные. Я служил два года под его начальством, был с ним близок и все-таки не мог хорошо разгадать характер этого человека.

— Allez donc, mon colonel **,— говорил Костя полковнику,— не на-

* бедный малыш (*франц.*).
** да полно же, полковник (*франц.*).

до, не надо, не надо мне ничего! у меня грудь так болит, как никогда, ни у кого в свете не болела... мне так тяжело...

— Знаю, знаю,— шутя говорил Реццель.

— Надуваете вы меня...— говорил Костя, пристально вглядываясь в глаза полковника, в которых на этот раз светилось истинное, горячее участие.

— Мы вас в отпуск пошлем,— продолжал барон.— Отец ваш тряхнет стариною, запляшет от радости, поглядевши на вас. Да вы еще верно влюбились в кого-нибудь... дорогою?..

— Я влюблен в сестру,— наивно заметил Костя, улыбаясь при мысли о Вериньке.

— Вот видите, как сестра ваша обрадуется! Она станет вас на руках носить. О вас станут толковать и в газетах напишут, и стоит того.

— Ей богу, не знаю,— спросил Костя, обращаясь ко мне,— когда же успел я наделать таких дел?

Барон слегка кашлянул, взглянувши на меня.

— Как когда? — отвечал он, не давши мне выговорить слова.— Атака вашей цепи решила все дело, вы были впереди всех. Потом вы хоть и отступали, да мы шли вперед и били. Вся экспедиция кончена, я думаю даже, что и войны больше не будет. Будьте спокойны, даром я ни за кого не хлопочу, а если стану хлопотать, мне не бывает отказа.

Костя снова улыбался и приходил в восхищение от своих подвигов. Он даже был недоволен тем, что война кончилась при самом его вступлении на воинственную дорогу.

— Впрочем,— говорил он задумчиво,— пора перестать вам резаться.

Я догадывался, в чем дело. В нетерпении я встал с постели и отвел в уголок медика, который хлопотал около банки с какою-то примочкою.

— Скажите, нет надежды? — спросил я, едва переводя дух.

— Раны-то пустые,— сказал доктор,— и у меня отлегло от сердца... только в эти лета всякая рана смертельна.

— Бог милостив,— продолжал он, видя, что я готов с ног свалиться.

— То есть?..

Он понял, что обманывать меня было невозможно.

— Он умрет к вечеру.

Я выбежал на воздух. Солнце уже клонилось к лесу, некогда было толковать и раздумывать, мне оставалось сделать для Кости все, что я мог только сделать для него, дать ему умереть спокойно, развеселить и утешить последние его минуты.

В двух шагах от меня толстая лиственница высоко подымалась между редкими деревьями и свесившимися ветвями почти касалась земли. Вид от нее был восхитительный: лес чернел невдалеке, прямо передо мною возвышался пологий всход на ***Даг, миллионы цветов пестрили лужайку, занятую нашим отрядом.

Полная беззаботность и веселое движение заметны были в людях, которые весь вчерашний день провели под пулями. Кучки егерей, пестрых милиционеров и казаков весело бродили по залитой светом ярко-зеленой поляне.

Жизнь эта и движение, солнце и красота природы расположили меня к страстному сочувствию. Мне казалось постыдным только тосковать о Косте и не делать ничего, что бы могло доставить ему хотя одно мгновение последней радости.

Я вообще туп на понимание красот природы, но в эти минуты я сам сделался Костею. Я собрал несколько солдат, разослал их в разные стороны с приказаниями, довольно странными для их понятий. Через пять минут груды цветов навалены были под высоким деревом, ружейные козлы утыканы были дикими розами, снопы цветов были наскоро связаны и переброшены на широкие ветви старой лиственницы.

Новый наш начальник высунулся из палатки и тотчас понял мою мысль. Костя спал или, скорее, был в обмороке, мы потихоньку перенесли его вместе с постелью и положили ее под лиственницу, между горами полевых цветов. Сами сидели мы около него, глядели на него и молчали. Перед закатом солнца весь бивуак оживился совершенно; жизнь, веселая болтовня закипели невдалеке от нас.

Костя проснулся, хлопнул обеими руками, смеялся, перебирал цветы, спрашивал их названия, хотел встать с постели, поминутно звал меня и барона на гору, которая, по известному миражу, казалось, была от нас во ста шагах. Насилу могли мы уговорить его подождать немножко; он был так счастлив, так весел, что железный барон не выдержал и отошел в сторону, потирая лоб.

Точно, сцена вокруг нас была чудно хороша. Последние лучи солнца бросали фиолетовый цвет на весь скат горы, ветви дерева, под которым мы сидели, пересекали их и висели над нами, как грозды чистого золота. Цветы блестели не хуже рубинов и яхонтов, страшный лес глядел так приветливо! Черные деревья его все уходили кверху, и глаз далеко следил за светлыми их промежутками.

— Боже мой, как у вас хорошо! — говорил Костя, не помня себя от восхищения.— Я здесь спать останусь, разбудите меня раньше по утру. Я бы хотел здесь жить, все бы это, и гору и лес, я взял бы под парк. Вас бы я выгнал с полком vous autres, exterminateurs! *

Это относилось к барону Реццелю, который подошел опять и тихо сел у Костина изголовья.

— Не угадали,— сказал барон, продолжая свою благородную комедию.— Я-то здесь и останусь с полком. Война, конечно, кончилась совсем, нас здесь поселят, мы завоевали это место. По всему полю вытянется богатое строение, мы будем обрабатывать землю, жить богато, весь Кавказ сделается большим садом. Вам мы дадим местечко на самой верхушке той горы, откуда все так далеко, так хорошо видно.

Костя верил всему. Я не стану передавать всех речей, которыми Реццель баюкал и развлекал бедного мальчика. Барон хорошо понимал предсмертное легковерие человеческой натуры, и потому слова его имели высокий, святой смысл у постели умирающего ребенка; а в покойном рассказе они будут и вялы и нелепы. Становилось темнее и темнее;

* вашего брата, истребителей (*франц.*).

без всякой причины мысль о смерти закралась в голову Кости. Он подарил Реццелю миниатюрный портрет своей сестры. «А тебе,— сказал он мне,— советую запастись оригиналом».

— Если б я умер,— продолжал он,— передай Вериньке наш разговор, она тебя очень любит. А главное, допытайся от нее, зачем она так похудела за это время? Я вижу, что у ней что-то тяжело на душе, узнай все и пособи ей. Ох, боюсь я мачехи, боюсь их семейства!

Темнота разом залила всю окрестность, однако ночь была тепла необыкновенно. Размеренные шаги послышались вдалеке, топанье становилось сильнее, ружья и белые шашки мелькнули перед нами. Батальон ***цев, отправляясь на опасную рекогносцировку, проходил мимо своего полкового командира. Барон отошел в сторону и сел верхом на срубленное дерево.

Глухо и торжественно раздавалась во мраке мерная походка тысячи человек. В ответ на приветствие любимого начальника солдаты подняли неистовый крик.

Барон вынул изо рта сигарку.

— Любит шуметь второй батальон,— заметил он внятно и резко,— пора угомониться, не на пляску собираетесь.

Услышал ли Костя эти слова, или боль его усилилась, только он стал тосковать и метаться во все стороны. «Опять война, опять бить друг друга!» — говорил он, не отвечая на наши утешения. Мы хотели развлечь его, давая ему цветы, но он не брал их и требовал от нас камелий. Пользуясь темнотой, мы подавали ему мак и дикие розаны; он хватал их, подносил к губам, но тонкие листки не выдерживали судорожных движений, коробились и опадали. Костя догадывался, что это не камелии, сердился на нас; мы уже хотели нести его в палатку, как вдруг он успокоился. Луна поднялась из-за лесу, звезды, втрое огромнее петербургских, заблестели на темно-голубом небе, весь ландшафт выдвинулся перед нами в новом виде, с новою, торжественною прелестью.

— Опять хорошо, опять весело! — вскрикнул Костя, взглянул вверх, взглянул около себя и упал на подушки. Это были последние его слова: он умер без мучений, без тоски, посреди радостного ощущения. Мы сделали свое дело.

— На следующий раз передам я вам окончание моей истории.

ВЕЧЕР ПЯТЫЙ

«Итак,— говорил Алексей Дмитрич,— через два года после моего появления на Кавказе, приходилось мне опять ехать по знакомому пути от Ставрополя к ***, и я уже думал, как бы свернуть с большой дороги на имение генерала Надежина».

Читатель, может быть, приметил, что мой собеседник не соблюдал строгой последовательности в своем рассказе. На этот раз скачок через два года так непозволителен, что я обязан вкратце изложить события за это время.

Ратоборство Алексея Дмитрича с непокорными горцами не оставалось без награды, как приличествует всякому доброму делу. Благодаря ходатайству нового своего начальника, барона Рецццеля, наш герой получил в два года чин за отличие и крест. Судьба, отняв у него лучшего друга, старалась загладить свой невежливый поступок. Дальний родственник Алексея Дмитрича, из отставных, восхитясь подвигами моего приятеля, отказал ему перед смертью порядочное имение невдалеке от Петербурга. Сто пятьдесят чухон [40] олицетворяли для Алексея Дмитрича идею блаженной независимости, золотой посредственности и спокойствия.

После одной предлинной и прескучной перестрелки барон Рецццель подъехал к нашему приятелю. Алексей Дмитрич почтительно приложил руку к фуражке.

— Знаете что,— сказал барон,— довольно вы с нами пожили. Не хочется мне, чтоб вас где-нибудь подстрелили. Вам предстоит случай жить в Петербурге.

Вследствие такого совета Алексей Дмитрич собрался ехать на родину. Продолжаю его словами.

Выезжать надобно было поутру, хоть я знал, что ночь перед отъездом пропадет напрасно. Лют я спать, когда совершенно спокоен духом, а в ту ночь я был далек от такого блаженного состояния.

Ни грязная оттепель, ни усталость не могли удержать меня дома: в полночь я пошел бродить по кривым улицам городишка, где расположена была штаб-квартира моего полка. Мне жалко было расставаться с местами, где странствовал я более двух лет и расставаться затем, чтобы ехать в Петербург, к которому я чувствовал постоянно какое-то непонятное отвращение. Жаль мне было и подчиненных моих, с которыми я свыкся, в которых подметил я много преданности, много какого-то странного, беззаботного, насмешливого добродушия, которое составляет отличительную черту русского солдата. Об офицерах я не слишком жалел: может быть, они были не по мне, может быть, мой неуживчивый характер отталкивает от меня товарищей.

Но в особенности жаль мне было расстаться с командиром моим, бароном Рецццелем, которому я был много обязан и к которому с первого дня знакомства чувствовал я странную привязанность. Казалось бы, не за что было любить его так горячо: барон мог быть отличным генералом, пожалуй министром, но никак не приятелем. Бог с ними, с этими людьми, которые так хороши в драке или экспедициях! Рецццель был человек самолюбивый и капризный, причуды его иногда были неизъяснимые, особенно во времена бездействия. Часто запирался он по целым дням у себя в доме, и если кто входил к нему за делом, он встречал его сухо и наговаривал всяких колкостей. И так далее, и так далее.

Однако между нами было много общего. Оба мы чуждались своих товарищей, оба мы любили одну девушку, если предположить, что сватовство барона на Вере Николаевне имело причиною не один бестолковый каприз. Вследствие таких обстоятельств я бродил, бродил по городу и очутился около квартиры полковника.

Я хотел было постучаться, но сообразив, что моя неуместная нежность может насмешить Реццеля, повернул было в сторону, когда дверь его домика отворилась и сам хозяин ленивыми шагами направился в мою сторону.

— А! вы бродите,— сказал полковник, будто удивляясь встрече со мною.

Он взял меня под руку, и мы пошли ходить по опустелому местечку, ступая высокими сапогами по грязи, будто по ковру.

— Рад, очень рад, что вы едете,— продолжал барон,— скучненько будет вам сначала, а потом спасибо скажете. Знаете, ударьтесь-ка в какую-нибудь специяльность, читайте военные сочинения, помучьте, потеребите себя первое время, нахватайте столько занятий, чтоб думать было некогда. Хорошо бы вам поселиться в деревне, собраться с мыслями, да одно страшно: свяжетесь вы с какими-нибудь почтенными соседями, да горе себе наживете, жениться вздумаете.

Душевное участие, с которым сказаны были эти слова, показывало, что барон понимал мой характер и догадывался о прошлой моей жизни.

— Видите, Алексей Дмитрич,— продолжал он, стараясь дать холодную интонацию голосу,— вы человек странный. Вы вовсе не жили, и вам жить не хочется. Всю жизнь вы к чему-то готовились и ни на что не готовы. Вам нужна осторожность, вам надо реже сталкиваться с людьми, вам надо сперва разобрать себя самого хорошенько. Если я вернусь в Петербург, я буду там иметь хорошее место и постараюсь раскусить вас. Кстати, о Петербурге; вы скоро там будете, а у меня есть одно спешное дельце.

Я отвечал, что должен еще заехать по пути в одно место. Барон заботливо взглянул на меня. «Не к старому ли генералу?» — спросил он. Я отвечал утвердительно.

— Не жениться ли на Костиной сестре?

— Да, если удастся.

— Послушайте, Алексей Дмитрич, не ездите туда. Если вы дорожите собою, объезжайте это имение окольными путями...

— Бог знает,— сказал я,— могу ли я это сделать.

Барон посадил меня на какой-то прилавок и сам уселся около.

— Уж не случилось ли там чего? — спросил я с нетерпением.

— Хуже, чем бы случилось,— сказал он на это,— ничего не случилось. Да и может ли что случиться? Поверьте мне, на свете есть какая-то судьба, которая все устроивает к худшему. Я готов дать свою голову в заклад, что старики переживут и погубят вашу невесту... Если б она их пережила, вышло бы чудо непонятное, низвергся бы общий закон...

Было что-то резкое, страшное в таком оригинальном убеждении. Высказав свою professoin de foi *, барон продолжал речь с искреннею, глубокою заботливостью:

— Знаете ли, что я чувствую к этой девушке? Я ненавижу ее. Рас-

* систему воззрений *(франц.)*.

судите хорошенько, и увидите, что я прав. Что такое ее жизнь, ее поступки, если не олицетворение какого-то своевольного непризванного самоотвержения?.. А мое правило такое: ненужная добродетель не лучше порока, безумная добродетель вызывает на вражду... Да я бы ничего, я могу и любить, и ненавидеть, и быть покоен. А вы человек очень молодой, очень огорченный, вы привязчивы... вот вы и меня любите, бог знает за что.

Вы влюблены в эту девушку. Вы можете встретить упорство, самоотвержение... ох, это самоотвержение!.. и уехать от нее с растерзанным сердцем. А что еще хуже, вы можете остаться с нею, поселиться там и погибнуть в семейном омуте...

Видите, Алексей Дмитрич, семейство вещь, может быть, очень почтенная, только не годная для нас с вами. Взгляните на страшную, неестественную многосложность этой машины и согласитесь, что если в ней хоть один винт не на месте... горе всей машине, горе и тому, кто к ней подступится... А семейство Веры Николаевны одно из самых нестройных.

Я затрогиваю тяжелую струну только для вашей же пользы. Не сталкивайтесь с семейством, старайтесь жить в одиночку, пока не возмужаете в душе. Тогда можете действовать или быть зрителем в жизни, а до тех пор берегите себя. Простите мне за длинные советы, за безжалостное повторение: помните, Алексей Дмитрич, не сталкивайтесь необдуманно с семейством.

Долго мы сидели и толковали таким образом; несколько странно было прощание двух людей, которые горячо любили друг друга и из каких-то бестолковых причин будто боялись признаться, что им жаль разойтись в разные стороны. Несколько раз я пытался проститься окончательно, но барон всякой раз меня задерживал, говорил, что ночь очень хороша, хотя грязь стояла по колено и пронзительный ветер обхватывал нас со всех сторон.

— А и точно холодно,— сказал он наконец, закутываясь шинелью,— вот что значит спать после обеда, и прошляешься всю ночь до рассвета. Прощайте же, Алексей Дмитрич.

Мы пожали друг другу руки.— Хотелось бы увидать вас в Петербурге,— сказал барон,— да вряд ли туда попаду. Что-то я слишком счастлив это время, все пули летают мимо, авось хоть одна зацепит хорошенько.

После этой выходки он ушел к себе и запер дверь. Я дивился этому странному человеку, и мне было очень грустно. Показалось мне, что он отворил окно и смотрел в мою сторону; не желая его сконфузить, я ускорил шаг и пошел домой, размышляя о нашем разговоре. Нечего и говорить, что я не послушался Реццеля, свернул с большой дороги и поехал на имение генерала Надежина.

Видно, сама судьба хотела устроить мои дела к худшему, чтоб подтвердить доказательства барона Реццеля. Чтоб послушаться его и ехать в Петербург без остановок на дороге, не много требовалось усилий с моей стороны. Пожалуй, я был влюблен или воображал, что был

влюблен, пожалуй, я был молод, своенравен, упрям, хотел видеть предмет моей страсти, но переломить такую любовь было легко, ежели бы я спохватился вовремя. Страсть моя к Вере Николаевне не была страстью правильною, естественною. Зародилась она в моем воображении, а не в сердце: короткое пребывание мое в доме старого генерала не только не сблизило меня с этой девушкой, а скорее задернуло ее образ какою-то таинственностью, вовсе не располагающею к нежности.

Мало этого, семейные обстоятельства Веры Николаевны и поведение ее не могли не произвести дурного впечатления на мой раздражительный характер. Рядом с любовью во мне развивалось чувство, враждебное бедной девице. За причинами дело не остановилось: кто, если не Вера Николаевна, из-за своего семейного фанатизма, загнала Костю в такое место, где пришлось ему сложить свою хорошенькую голову? мысль о чьем горе отравляла последние минуты бедного моего товарища?

Итак, я находился в таком состоянии нравственного колебания, в которое, по-видимому, легко бывает решаться на умные вещи — правда, только по-видимому. А все-таки я ехал, ехал, ближе подвигался к знакомому месту и везде расспрашивал о житье Веры Николаевны и ее семейства. Вести были не совсем радостные: старик одряхлел совершенно, мало того, что он весь подпал под власть своей супруги, он удвоил свою привязанность к ней, тосковал, если она куда-нибудь отлучалась, раболепствовал перед нею со всею преданностью, на которую так способны старики. Мачеха, у которой оказались не известные дотоле капиталы, прибрала все хозяйство в свои руки и заслужила от всех соседей почетное прозвище бабы-яги. Вера Николаевна не вышла замуж, хотя десятки женихов к ней присватывались. Имение генерала расстроилось, несмотря на жестокое управление самой помещицы: носились слухи, что мачеха боялась выходить из дому, постоянно рассказывали, что крестьяне замышляют на нее что-нибудь недоброе, и по поводу этих подозрений она притесняла их еще более.

С грустным нетерпением подъезжал я к дому генерала. Погода совершенно подходила к расположению моего духа и будто сулила мне еще не то впереди. Густые тучи низко висели над снеговыми полями, обнаженная дубовая роща, где увидел я в первый раз старика и дочь его, показалась влево от меня; казалось, роща эта стояла уже не на холме: так много лежало внизу снегу. Старый знакомый мне сад раскидывался по обе стороны дороги: голые ветки шумели и глухо стучали одна о другую, стада ворон каркали на верхушках высоких лип, и печальный полусвет тихо начинал сходить на эти вершины.

Ворота были заперты, все вокруг дома было пусто, прежняя роскошь исчезла. «Стало быть, узды уже нет на мачехе,— подумал я,— сорвана ли эта узда или нету в ней надобности?..» Насилу мог я достучаться; старая ключница отперла ворота, со слезами вспомнила о дитятке своем Константине Николаиче и побежала докладывать обо мне.

Мачеха гостила у соседей. Я тихо вошел в залу, где сидел генерал, раскладывая пасьянс. Я не заметил в нем никакой перемены, на лице

его изображалась скука, какое-то неудовольствие и тоскливое ожидание. Ему просто было скучно без Марьи Ивановны.

Вера Николаевна сидела возле отца, обложившись книгами и картинками, которые показывала ему, чтоб сколько-нибудь облегчить горестную разлуку с почтенной сожительницею. Она радостно изумилась, увидя меня; но вид мой скоро напомнил ей Костю, она заплакала было, однако быстро себя переломила и завязала общий разговор.

Она сильно переменилась и была тенью прежней Вериньки. Вам может быть, случалось видеть милую особу, только что выдержавшую тяжкую болезнь. Не правда ли, ужасно смотреть на страдание, выраженное на лице, не созданном для страданий, отыскивать нежную миловидность в тех формах, по которым собиралось пройти разрушение! Конечно, если любовь цела, она не замедлит вступить в свои права, представить интерес в изнеможении и красоту в помертвелости, но все-таки минуты этой борьбы тяжелы. Такого рода были мои чувства при взгляде на Веру Николаевну.

Она похудела, грудь ее впала, но глаза ее сделались больше, худоба лица придала энергию мягким его чертам, хотя энергия эта была обманчивая, энергия неразумная. Вместо прежней грусти на лице ее ясно выражалось сосредоточенное безнадежное уныние, вместо прежней смелости в глазах ее светилась раздражительная готовность переносить все, не отступая ни на шаг от своей цели, жертвовать и собою и другими для той цели, которую она себе предполагала.

Старик первый стал вспоминать о Косте, и вспоминал довольно холодно. Он с удовольствием говорил, как Марье Ивановне нравился сын его, и довольно язвительно смотрел на Вериньку, будто говоря: «Вот ты одна только не умеешь с ней ладить». Вслед за тем он понес страшную ахинею.

Вера Николаевна будто разделяла мысли старика, она поддакивала ему усердно, хотя слезы по временам пробивались из-под длинных ее ресниц. Зная чем угодить отцу, она стала расспрашивать меня о собственных подвигах и о Кавказе. Генерал приободрился, с жаром и охотою вступил в нашу речь, критиковал распоряжения частных начальников и допытывался до малейших подробностей последних экспедиций. Разговор о военных событиях был для него великою радостью, и интересно было видеть, как эта дряхлая развалина оживала, чуть лишь доходило дело до какого-нибудь кровопролитного эпизода.

Но одно обстоятельство изумило меня и поразило. Генерал рассказал несколько военных сцен из событий своей молодости. При этом рассказе он уже не обращался к Вериньке, как бывало в прежнее время, хотя она слушала эти рассказы с такою же любовью, с такою же внимательностью. Не было более сомнения: старик уже не любил своей дочери, злая мачеха достигла своей цели; но поведение Вериньки не изменилось нимало: она также ласкалась к отцу, также ухаживала за ним, не надеясь, не ожидая благодарности...

Мы разошлись поздно, язык мой устал от болтовни, а на сердце было тяжело. Вместе с Верой Николаевной мы вышли из комнаты гене-

рала. В соседней комнате она остановилась и с жаром взяла меня за руку.

— Благодарю вас, Алексей Дмитрич,— весело сказала она,— я давно не видала папа́ таким счастливым. Погостите у нас, если не торопитесь; вы оживили его, он скучает один.

И голос ее задрожал, в нем слышались горькие слезы.

— Мне надо много говорить с вами,— продолжайте о нем, о Косте...

Я взял обе ее руки и поцеловал их. Она не обиделась, не рассердилась, казалось, вовсе не заметила того, что я сделал.

— Будемте *вспоминать* о Косте, будемте *говорить об вас,*— сказал я, ударяя на последнее слово.

Она внимательно посмотрела на меня, закусила губку, покачала головой и ушла в свою комнату.

Опять очутился я в том флигеле, где в первый проезд мой мы ночевали с Костею и всякую ночь толковали о Вериньке и ее мачехе. Впрочем, я не очень падок до воспоминаний, да и некогда было мне раздумывать о старом товарище. Во мне колыхалась целая бездна ощущений, и ощущения эти относились к действительности.

Во-первых, мне было грустно. Комната была холодна, вьюга завывала на дворе, а вдали выли собаки, чуя близость волков. Голые деревья покачивались и скрипели под окнами, нигде не слышно было голоса человеческого. Как вся эта печальная обстановка согласовалась со сценою, которой был я свидетелем!

Этот жалкий, одинокий старик, потерявший сына и утешающий себя воинственными сентенциями; девушка, принесшая себя на жертву, чтоб поддержать на время дряхлую развалину, которая не ценит ее жертвы, и надо всем этим мысль о сварливой, гигантски злобной женщине, которая отравляет все, к чему ни прикасается.

Высока и благородна казалась мне Веринька. Действия ее были выше всякой похвалы; но причина этих действий была неразумна, возбуждала не сочувствие, а досаду, переходящую в ненависть. По усталым глазам Веры Николаевны, по ее бледному лицу, по ее вздрагивающим губкам читал я целую повесть о борьбе страшной, неперестающей, бесполезной, о борьбе глухой, мелкой, позорной и вместе с тем требующей необъятной душевной силы. И в чем же состояла эта борьба? в каком-то героическом самоотвержении, в страсти скрывать, смягчать свои семейные огорчения, в ненужной преданности самолюбивому, холодному старику, к которому прижалось молодое, полное жизни существо, как здоровый плющ к полусгнившему дереву. И к чему вела эта преданность? Если б Вера Николаевна исторгла отца из-под влияния скверной женщины, если б она дала ему счастие,— никто б не смел обвинить ее. Но надежды никакой не было, ей оставалось погубить себя, погубить свою энергию, свою красоту, свою молодость... погубить все то, чего не имеет права губить человек.

— Женщины, женщины! — думал я с негодованием.— Кто научил вас захватить привилегию на самоотвержение, кто заставляет вас умирать за эту привилегию?

И когда я вновь представил себе ту сцену, на которой действовала бедная девушка, когда представил я себе плаксивую жизнь ее семейства, припомнил наш последний разговор, полный заглушенных слез и терзаний, сердце мое стало биться и тягостно ворочаться, желчь подступила к горлу, я стиснул зубы с досадою и ожесточением. Инстинктивное чувство предостерегало меня, советовало мне не поддаваться любви, отталкивало меня от Веры Николаевны. Я с полною ясностью понимал, что любить такую девушку значило лезть на беду, губить себя и ее, что ни в ней, ни во мне нет столько душевной силы, чтобы разорвать спутавшие нас обстоятельства,— все это понимал я и все-таки любил ее.

Но человек есть дрянь, поэтому немудрено понять, что все эти довольно здравые мысли не сделали меня ни на волос умнее. На следующий день, еще не видавши Веры Николаевны, я уже успел позабыть все черные мысли, все предостережения Рецццеля, собственные мои умозрения и сделался совершенным Линдором или Аминтом [41]. Мне было двадцать три года, поэтому я вздыхал самым неблагопристойным образом, мечтал о первом поцелуе и о взаимности, при разговорах же с Верою Николаевною конфузился и таял. Хорошо, что при ее характере неизвестность не могла меня долго мучить и совершенно раскалить мою любовь.

Вера Николаевна любила меня и без обиняков передала мне свои чувства. Я был чуть ли не один мужчина, которого видела она в последние два года; дружба Кости заранее расположила ее в мою пользу. Многое во мне ей нравилось, врожденная моя леность была ей по вкусу (женщины любят этот недостаток); но мои страстные порывы возбуждали в ней мало сочувствия. Для Веры Николаевны любовь к молодому человеку далеко не составляла цели всей жизни, чувство любви было для нее hors d'oeuvre *, не более. Вся любящая часть ее души устремлена была на старика-отца, вся ее энергия тратилась на борьбу против того, что могло его огорчать или беспокоить.

Конечно, она краснела, слушая мои любезности, сердце ее билось сильнее при моих горячих признаниях, но все это скорее происходило от неопытности, от новости положения, а не от других причин. Одно слово отца, один намек на отсутствующую мачеху, и она переставала меня слушать, отвечала мне с рассеянностью.

Но раз завязавши любовную игру, я не в силах был вернуться назад, а более и более увлекался красотою этой девушки, пуританскою чистотою ее души, неестественною зрелостью ее ума. Она казалась мне существом великим, исключительным; во времена религиозного фанатизма, думал я, из нее могла бы выйти Жанна д'Арк, при фанатизме политическом она сделалась бы новою m-me Rolland или Шарлотою Корде. Но в настоящее время она могла только погибнуть жертвою фанатизма семейного.

Три дня уже провел я у генерала, и во все это время никто из нас

---

* вводный эпизод *(франц.)*.

не выходил из дома. Страшная вьюга не прекращалась и наметывала такие сугробы, что вид ближайших полей изменялся каждое утро. И сад и дорогу завалило снегом, трудно было ожидать скорого приезда мачехи. Все в доме начало дышать веселее; Веринька заметно пополнела в эти три дня.

Один старик видимо тосковал о мачехе; досадовать на отсутствие ее он не смел. Мало-помалу он, однако, поддался влиянию своей дочери, которая истощала все усилия, всю свою нежность, чтоб утешить его и развеселить. Мы играли с ним в карты, рассказывали ему воинственные анекдоты, наводили его на рассказы и слушали их с достодолжным вниманием. По вечерам он любил, чтоб мы читали ему книги из его библиотеки, а библиотека эта вся состояла из старых русских писателей да из Вольтера, переведенного на наш язык в восьмидесятых годах. Мило было слушать, как Веринька ломала свой язык над дубоватыми виршами Озерова и других поэтов, очень почтенных, но совершенно неудобных для чтения вслух в наше время. Поработавши над какой-нибудь трагедией или торжественною одою, Веринька раскрывала «Задига» или «Принцессу Вавилонскую» и читала их ровно, спокойно, не смущаясь варварски тупым переводом и циническими выходками старого фернейского проказника [42]. Старик хохотал до упада, восхищался самыми незначительными местами, иногда собирался отнять у дочери книгу, приговаривая: «Рано тебе еще такие вещи читать». Однако чтение продолжалось; Вериньке же было все равно: чтоб доставить удовольствие старику, она не отказалась бы при всех громко читать «Фоблаза» [43] и «Маркиза Глаголя» [44]. Новых же книг читать генерал ни за что не соглашался.

На четвертый день после моего приезда метель приостановилась и погода утихла. Мороз придавил снеговые горы, и солнце, перед закатом прорезавши свинцовые тучи, облило белые поля нестерпимым блеском. После позднего завтрака генерал задремал, сидя в кресле. Веринька вышла из комнаты и через минуту возвратилась в теплом салопе.

— Пойдемте,— сказала она, ласково облокотясь на мою руку,— пойдемте помолиться за Костю.

Легкое непринужденное прикосновение это взволновало всю мою кровь. Я стал похож на шестнадцатилетнего мальчика, который тает в спокойных объятиях тридцатилетней красавицы.

Мы пошли по расчищенным дорожкам. Я был без шинели, но мне было жарко. Дело дошло до того, что я теперь даже не могу дать себе отчета, о чем мы говорили.

Мы живо подвигались вперед. Вера Николаевна порхала, как птичка, между сугробами, поддерживая меня, когда ноги мои глубоко продавливали намерзнувшую снеговую кору. Скоро мы пошли по гладкому и звонкому пути: то была знакомая мне речка; старый паром чуть выдвигался где-то в стороне, перед нами возвышался высокий полукруглый частокол, из-за которого торчали зеленые вершины старых сосновых деревьев.

Мы прошли сквозь калитку в частоколе, поднялись вверх по краси-

вой лестнице и очутились на песчаной площадке, под старыми соснами, ветви которых низко нагибались над нами. Ни клочка снегу не видно было ни на земле, ни на деревьях; можно было подумать, что на дворе лето: так жива и отрадна казалась эта зеленая купа бессмертных деревьев. Несколько оранжерейных цветов было только что сорвано и брошено на площадку, проницательное их благоухание казалось еще резче, еще упоительнее в этом холодном разреженном воздухе.

На этой самой площадке, два года тому назад, Вера Николаевна соблазняла своего брата, уговаривала его пожалеть отца и ехать на службу...

Прямо перед нами стояла небольшая каменная часовня, выкрашенная темною краскою. Мы вошли туда; там топилась маленькая печка, много свечей горело перед образами, а в углублении против двери стояла мраморная статуя ангела грубой работы. Под ногами ангела лежала мраморная же черная плита.

Я не чувствовал никакого особенного умиления, я соображал только, каких хлопот и трудов стоило бедной девушке устроить весь памятник, выписать издалека этого ангела, так плохо сделанного. Зато Вера Николаевна была вполне убеждена, что ангел походил на Костю как две капли воды. Я не мог не улыбнуться, подтверждая ее слова.

Веринька медленно подвинулась вперед, грациозно согнула свою талию, тихо опустилась коленями на холодную плиту и начала молиться, легко и спокойно. Мало-помалу молитва ее становилась горячее, слезы закапали из светлых глазок, слабые, но судорожные рыдания слышались по временам и тяжко колебали гибкий стан молодой девушки. Рыдания становились сильнее, слезы перестали падать на Веринькины щеки, она согнулась вся, вскрикнула, ухватилась за левую сторону груди, прилегла горячею головкою к подножию ангела, и темные локоны ее рассыпались по белому камню.

А что бы вы думали, делал я во время этой святой, чистой молитвы? Я стоял в углу, стиснув зубы и царапая себе руки до крови. Слезы, грусть, молитва бедной девушки разожгли во мне обычное враждебное чувство. Вся моя история с Веринькою вертится на этих переходах, в которых трудно давать отчеты. В ее слезах, в ее горести о прошлом чудилось мне ее бессилие перед настоящей жизнью. Я понимал, что женщина, которая может так покоряться горю, слаба перед действительностью, и мне хотелось смутить чистую молитву Вериньки, мне хотелось разрушить очарование ее отрадных воспоминаний, мне хотелось сказать ей, что фигура ангела сделана жалким скульптором, что эта фигура вовсе не походила на Костю и что сам Костя похож был скорее на хорошенького чертенка, а вовсе не на ангела.

Когда мы вышли из часовни, дикое расположение моего духа совершенно пропало. Вера Николаевна как будто не плакала, будто не молилась. Она была спокойна, даже немножко резва, на ее глазах не видно было и следов от слез. Я очутился опять влюбленным, счастливым юношей и собирал все мое хладнокровие для решительного объяснения.

— Вера Николаевна,— начал я, поддерживая ее при сходе с пригор-

ка,— вы так умны, что с вами нет средств разговаривать романтическими фразами. Всякая «симпатия сердец», всякое «клокотание страсти» тает и исчезает перед вашим светлым взглядом. Я буду говорить с вами очень просто. Я люблю вас до последнего предела всякой возможности, скажите мне так же откровенно: любите ли вы меня, хотите ли быть моей жен... нет, и это слишком высокопарно, хотите ли выйти за меня замуж?

Она ласково улыбнулась, смело взглянула на меня и немного покраснела. В этой краске проявилось не одно простое смущение, но и частичка привязанности.

— Вы здесь довольно погоревали,— продолжал я.— Мы поедем в Петербург, может быть, жизнь наша сначала будет и трудна, но ручаюсь вам, вы не увидите грязной бедности. У меня есть некоторое состояние и друзья довольно сильные...

— Я люблю вас, очень люблю вас,— перебила речь мою Веринька,— только я не поеду отсюда, я не брошу отца одного.

Я помолчал немного и снова начал разговор.

— Я от души уважаю вашего батюшку,— сказал я,— только, признаюсь откровенно, я ревную вас к нему. Привязанность дочери так сильна в вас, что вам некогда подумать о будущем муже.

Она опустила глаза.

— Вы говорите неоткровенно,— сказала она,— я вижу, вы не отца боитесь...

— Да, я боюсь не отца вашего, а той страшной, утомительной борьбы, которую вы за него выдерживаете. Я понимаю вашу жизнь, удивляюсь вам, я вижу, куда тратятся ваши силы, для какого святого дела они напрягаются и гибнут. А вместе с тем я хочу любви вашей. Любовь эта невозможна в теперешних обстоятельствах. Для вас предстоит выбор: любовь или борьба, муж или отец.

— Не думайте,— продолжал я шутливым тоном, чтоб смягчить мою патетическую тираду,— не думайте, чтоб я укорял вас в холодности. В моих глазах вы своего рода Наполеон, ваша борьба с семейною жизнию стоит его гигантских кампаний. Император французский перед своими походами, вероятно, не очень любезен был с женщинами: вы находитесь в таком же положении. В ваших глазах читаю я рассказ не об одном Маренго, не об одном Ваграме, может быть, не об одной Ватерлооской баталии... [45]

Вера Николаевна вся вспыхнула. Я тронул ее слабую струну.

— В таком случае,— быстро произнесла она,— чего же вы хотите от меня? Соглашусь ли я уехать отсюда, решусь ли я оставить его одного с...

Она вдруг остановилась. Я удивлялся ее самообладанию, я не помнил себя, я уничтожался перед этою дивною исключительною женщиною. Холодность моя уничтожилась, я дрожал, я сходил с ума, я едва не упал перед нею на колени.

— Коли так надо,— с увлечением говорил я,— коли мои просьбы не склоняют вас, я решаюсь на все, я остаюсь с вами. Я забываю вражду мою к семейным раздорам, забываю тяжкое время моего детства, я при-

ношу себя всего на жертву вашему отцу. Я буду ждать вашей любви целые годы. Я буду охранять вас, любить вас без надежды на взаимность, и горе тому, кто посмеет оскорбить вас, кто только подумает смутить вашу привязанность, кто с благоговением не преклонится перед вашими поступками...

— Друг мой,— тихо сказала она,— угрозы ваши не помогут в этом деле.

Эти десять слов разом перевернули все мое направление. Я понял ничтожность юношеской моей запальчивости, но любовь моя ни насколько не ослабела.

— Извольте,— сказал я,— если надо, я готов молчать, готов переносить все, поселиться у вас и сделаться самым безгласным членом вашего семейства. Службу оставить мне не стоит большого труда. Обещаюсь повиноваться вам во всем и действовать заодно с вами.

Я знал хорошо, что я накликаю на себя гибель, но в эту минуту страсть увлекала меня.

Вера Николаевна улыбнулась и с прежнею приветливостью поглядела на меня.

— Так и надо,— заметила она.— Только я вам не даю еще слова. Перед моим согласием надобно объяснить вам мое положение, как можно подробнее. Тогда, если вы не перемените мыслей...

— Говорите же, говорите же теперь,— торопил я ее, дрожа от нетерпения.

Мы были в двух шагах от дому, я был весь в жару, хотя вместе с сумерками поднялся холодный ветер и продувал нас очень исправно. Но Веринька озябла и торопилась домой.

— Некогда, некогда,— говорила она, улыбаясь в ответ на мои доводы,— пора обедать, папа выспался теперь, и после обеда засядем мы в карты.

— Боже мой, когда же наконец дождусь я вашего ответа?

— Сегодня нельзя уже. Впрочем,— сказала она, сжалившись надо мною,— подождите вечера. После ужина ступайте к себе во флигель, а через полчаса, уложивши папа, я стану ждать вас в моей комнате. Пройдите через боковую дверь, тихонько, только без особенных предосторожностей...

— Понимаю вас,— отвечал я.— Всякой секрет с вами есть обида.

— Именно,— дружески сказала она.

Мы вошли в комнату. Веринька шутливо присела передо мною и побежала переодеться.

И обед и все время после обеда тянулось невыносимо долго, несмотря на то, что нетерпение мое потеряло свои лихорадочные признаки.

— Стало быть, она любит меня,— говорил я сам себе,— стало быть, мы будем жить вместе. Вечером расскажет она мне подробности своего житья, выбранит мачеху, а затем даст мне слово. Может быть, я расшевелю ее на это время, может быть, она прижмется к моей груди, поцелует меня.

Думая таким образом, я готов был плясать по комнате, и счастье казалось мне так возможно, легко.

Мы отужинали позже обыкновенного. Около двенадцати часов распростился я с генералом и ушел в свой флигель. Там я проводил время очень приятно, ожидая, пока весь дом уляжется спать. Я курил сигару, зажигая ее с обоих концов, выпил воды стаканов пять и пел такие арии, которые вряд ли кому на веку приходится слышать. И все-таки не мог я убить более одной четверти часа. Какое-то тягостное предчувствие прокралось в мою душу, хотя и без него там происходила порядочная катавасия. Я не в силах был ждать долее; не надевая шинели, в сюртуке и фуражке, я бросился в сад, оттуда к боковому крыльцу, оттуда в комнату Веры Николаевны.

Месяц светил ярко и приветливо, морозный воздух не колыхался.

А то была самая страшная ночь во всей моей жизни. Если б мне довелось пережить две таких ночи, я бы окончательно одряхлел или умер раньше срока. Чтобы понять весь ужас этой весьма обыкновенной истории, надо побыть в моей коже, быть воспитанным так, как я был воспитан.

Весь дом уже спал, но Веры Николаевны не было в ее комнате. Изза слабо притворенной двери в кабинете генерала мелькал свет и слышался ее голос. Она что-то читала вслух, вероятно, для отца. Я тихонько уселся на диван и со страстью осматривал комнату молодой девушки.

С первого взгляда эта комната не производила приятного впечатления на хладнокровного посетителя; но я был влюблен, мне везде мерещилась какая-то тонкая, женская прелесть, хотя высокая комната Веры Николаевны скорее похожа была на келью отшельника, на кабинет человека, занятого тяжелой умственной работой. Ни одна женская работа, ни одна блестящая вещица не нарушала холодного, аскетического колорита этой комнаты. Жесткая мебель расставлена была однообразно и некрасиво, несколько картин висело на стенах. Однако выбор этих картин был удивителен, если не по работе, то по содержанию. То были все пейзажи, но каждый из этих пейзажей поражал своею грацией, и, всматриваясь в них, можно было подметить, как собственная душа уносилась далеко-далеко... на вершину снеговых альпийских возвышенностей, на цветущие берега итальянских озер...

Вера Николаевна так же, как и брат ее, любила природу; глядя на эти изображения, она давала отдых измученной своей душе и набиралась сил для своей тяжелой борьбы. В моем восторженном расположении духа я не упустил случая сравнить ее с гигантом, боровшимся с Геркулесом. Поминутно слабел он в первой схватке, но всякой раз, когда гигант касался «матери земли многоплодной», силы его снова возрождались, и снова и снова кипело бесконечное единоборство[46].

Тихо подкрался я к двери и сел около нее на стул. Оттуда мог я видеть генерала, сидевшего в своем кресле, и дочь его, которая своим звонким немного усталым голосом доканчивала ему один из романов Вольтера, начатой за день перед тем. Старик слушал с благоговейным напряжением и поминутно изъявлял свое удовольствие.

— Хе-хе-хе! — по временам вскрикивал он,— о, шельма ведь этот Вольтер! вон какие штуки загибает! ишь, куда хватил он! поди себе раскусывай!.. Ну, читай!

Старик еще раз засмеялся и робко поглядел по сторонам, будто опасаясь, не пристукнет ли его кто-нибудь за вольные мысли. Веринька радовалась, плохо понимая, в чем дело: она отвела глаза от книги и лукаво улыбалась старику, как улыбается молоденькая маменька на непонятные наивности своего ребенка. Чтение продолжалось.

— А ты, преподлый Фрерон, из школы иезуитов, изгнанный за... [47]

— Ну, полно, полно! — перебил старик, отбирая у дочери книгу,— ступай себе спать, рано еще тебе читать такие вещи.

Точно, Вериньке рано еще было читать такие вещи: она не понимала в них ни одного слова. Она посмотрела на часы и на дверь своей комнаты.

— Прощайте, папа,— тихо сказала она, подходя к отцу.

Старик перекрестил ее, поцеловал и разнежился.

— Доброй ночи, кошечка,— сказал он ласково,— спасибо тебе, сегодня мне так весело... сам не знаю почему.

Вера Николаевна была награждена вполне и ласково прижалась к отцу, который не мог догадаться, почему было ему так весело все это время. Она подала руку отцу, чтоб довести его до спальни, но двери кабинета отворились сами собою. Перед ними стояла мачеха. Возвратясь из своей недалекой поездки, женщина эта уже успела переполошить весь дом, пугнуть порядком заспавшуюся челядь и, казалось, с нетерпением выжидала случая, чтоб смутить спокойствие мужа и падчерицы.

Я узнал эту скверную женщину: нисколько не изменилось ее тощее, злое лицо, черные цыганские ее глаза по-прежнему прыгали и будто сыпали из себя искры. Полный наряд помещицы: теплый салоп, яркого цвета, платок и зеленый капор еще более возвышали противное выражение ее лица.

Кто не жил в глуши, а видал только столичных женщин, с трудом поймет, до какой степени праздная жизнь и привычка повелевать уродуют каждый энергический женский характер. Для мачехи злость была и болезнью и утешением; болезненный ее румянец, постоянное дрожание в голосе доказывали, как разрушительно действовала на нее привычка бесноваться и мучить близких к себе особ; а со всем тем два-три дня спокойствия могли бы совсем уморить эту женщину. То было существо в высшей степени вредное, неисправимое, которое возбуждало не одно отвращение, но и жалость.

— Запереть людей, что со мной ездили! — кричала она в другую комнату.— Будут они меня помнить, изверги!

Такое начало не обещало ничего доброго. Старик было обрадовался, увидев жену, но не смел заговорить с нею, услышав эти слова. Вера Николаевна подошла к мачехе, спросила ее о здоровье и о дороге.

— Хороша дорога,— сказала мачеха, усаживаясь в кресло и торжественно кивая головою.— Дай бог здоровья вашим людям!

Она замолчала. Веринька вопросительно глядела на нее.

— Знаю я их речи, знаю, чего хотят они,— продолжала мачеха,— да нет, видно, не выдал бог злую барыню.

Она опять остановилась, опять помолчала и примолвила:

— Хороша дорога, дай бог вам здоровья, матушка.

Не расспрашивая более, Веринька отошла от нее, но старик с беспокойством стал допытываться, в чем дело. Помучив и его, мачеха объяснила, как изверги люди, сговорившись убить ее, опрокинули возок на ровном месте, но, по какому-то непонятному случаю, не предприняли дальнейших мер.

Легкая краска показалась на лице Вериньки.

— Маменька,— сказала она, подходя к генеральше,— оставьте мне это дело; я узнаю все. Я ручаюсь вам, что вы ошиблись.

— Я ошиблась! — и мачеха захохотала горьким смехом.— Вам это дело разобрать? вас так любят! ангел барышня... как ей не сказать! Что люди — люди добрые, из терпенья только вышли! а мачеха зла, мачеха баба-яга, а долой ее, старую барыню...

Вера Николаевна быстро позвонила.— Выпустить людей, что с маменькой ездили,— сказала она вошедшему лакею.

Марья Ивановна вспрыгнула со стула, стала против падчерицы... она задыхалась, не могла сказать ни слова.

— Я говорю вам,— сказала твердо Вера Николаевна,— люди не виноваты. Вы сами накличете на себя беду; пока я жива, вы не дотронетесь ни до кого из них.

— А! давно бы так! — вскричала мачеха с сатанинскою ирониею. Но она не могла продолжать: она встретила светлый, твердый, могущественный взгляд падчерицы. Взгляд этот напомнил мне Костю: мачеха съежилась, струсила перед этим взглядом, как трусили перед Костею угрюмые его гонители.

О, если б Веринька могла быть хоть день, хоть час так тверда и так велика, как была она в эту минуту. Она бы раздавила своего врага, она бы вырвала отца своего из-под ига гнусной женщины. Но усилия ослабили ее; она приложила руку к головке и тихо опустилась на стул.

Но генерал испортил все дело. Он понял, что мачеха побеждена, и хотел успокоить ее. «А ведь точно они не виноваты»,— сказал он ни к селу, ни к городу.

Марья Ивановна была неутомима на брань. Она поняла, что, оскорбляя старика, она отплатит падчерице, и накинулсь на бедного своего мужа.

Я рассказываю быль — не роман и не повесть. Мне нет надобности передавать все речи действующих лиц, особенно, если такие воспоминания терзают меня. Да и мало интересу повторять те слова, которыми бешеная женщина терзала своего старого мужа. Вера Николаевна взяла под руку отца, который, по-видимому, защищался, хотя очень слабо, и повела его к дверям комнаты, не обращая внимания на возмутительные возгласы мачехи.

Равнодушие падчерицы взорвало Марью Ивановну, с неистовством бросилась она и стала между отцом и дочерью. Страшно было смотреть

на нее в эту минуту, и какая-то адская мысль написана была на ее лице.

— Что вы обнимаетесь? куда вы идете? — спрашивала она то старика, то Веру Николаевну.

— Пойдемте спать, папа,— тихо сказала Веринька, прислонив усталую голову к плечу генерала.

— А! — гаркнула фурия,— старые песни, старые сказки! За дело вы принялись, и скрываться нечего. Этим путем вы пересилите старую мачеху! Где я живу? что это бог не приберет меня, чтоб я не могла видеть этого?..— И она быстро перешла от ярости к порывам жесточайшего отчаяния. Эта женщина была изумительна; она сама верила своим нелепым вымыслам, она выла от чистого сердца; судорожные рыдания ее страшно отдавались во всей комнате.

Вера Николаевна с презрением встретила это новое, бесчестное нападение. По всей вероятности, мачеха не раз прибегала к своему последнему, постыдному средству. Старик сперва весь вздрогнул, выпрямился, твердо поворотил голову, но, услышавши не брань, а вопль и рыдание, он снова опустился. Напрасно дочь старалась увести его от места тягостной сцены, он уже не слушал ее, отнял руку, за которую держалась бедная измученная девушка, и, услышавши новые вопли, новые всхлипывания, быстро отошел от дочери, не взглянув на нее, подошел к креслу, на котором сидела бешеная женщина, нагнулся к ней и начал утешать ее самыми ласковыми, униженными речами. И он, и жена его были отвратительны в эту минуту.

Вера Николаевна стояла одна в углу комнаты, опустя руки и повесив голову. Я будто предсказал ей эту минуту, когда поутру сравнивал ее шутя с Наполеоном. Горькая эта сцена была Ватерлооским сражением для несчастной девушки. В ее глазах, отец, которому она принесла всю жизнь свою в жертву, бросил ее и в самую страшную минуту преклонился перед женщиной, не достойной имени женщины. Бедное дитя было убито.

Мачеха не утомлялась: она не отвечала на покорные убеждения своего мужа и продолжала вой, плач и жалобы на свою судьбу. Гаже, презрительнее, гнуснее этой сцены трудно вообразить что-нибудь на свете. Сердце мое рвалось, в горле чувствовал я нестерпимую горечь, я был болен. Но когда вопли и плач мегеры усилились, когда из-за разных углов стали высовываться разные лакейские физиономии, когда на этих физиономиях показались и страх, и радость, и любопытство... я не выдержал долее. Как сумасшедший, бросился я к крыльцу, через которое прошел в Вериньнкину комнату, сбежал с него, вошел в сад и упал на промерзлый снег.

Я чувствовал припадок какой-то непонятной болезни; сердце мое было истерзано. Сильная тошнота смягчила физическую боль, но ничто в мире не могло утишить душевного моего мучения.

Чтоб понять эти мучения, я попрошу вас припомнить мое детство, мое воспитание; более ничего говорить я не намерен. Здоровый человек может вынести рану, но ударьте кинжалом раненого в незажившее еще место, гангрена неизбежна.

Радикальный переворот произошел в моей душе. Я мог удивляться Вериньке, но любить ее уже не мог. Любовь моя, нежный цветок, взросший на тощей почве, не могла устоять против такой бури, какую довелось мне выдержать. У меня не было силы спасти Вериньку: человек моих лет, моего характера не мог ни спасти ее, ни решиться на гибель вместе с нею. И мало этого: не только любовь моя исчезла: враждебное чувство, которое возбуждала во мне эта девушка с первых свиданий наших, начинало разрастаться, увеличиваться без причины и основания, принимать гигантский объем, душить во мне все остатки любви, дружбы и сострадания. И всю эту страшную ночь явственно виделась мне грустная фигура барона Рецделя, резко звенели в ушах моих страшные его слова: «Ненужная добродетель не лучше порока...». Я не хотел остановиться на мысли, что и в бесплодном самопожертвовании женщины есть своя святая, высокая заслуга — это поддержание веры в возможность чистейших побуждений на земли...

Наутро меня будили, будили и оставили в постеле; сон мой скорее походил на обморок. Я проснулся поздно, голова была довольно свежа; но, бывши часто болен в детском возрасте, в настоящее время я легко догадался, что в меня закрались первые признаки какой-то мучительной болезни; концы пальцев были холодны, в боку я чувствовал какое-то давление; вода, которою я умывался, скользила по моей коже и производила излишний озноб. Ко всему моему горю прибавилась еще новая забота, чтоб не свалиться больным в этом проклятом доме, которому я и без того столько был обязан. Я придрался к первому случаю, чтоб скорее выехать: дня за три назад я получил из Петербурга известие о болезни брата. Приказавши укладывать мои вещи и привести лошадей, я пересилил свое волнение, пошел к генералу, застал все семейство в полном сборе и совершенном молчании, поблагодарил за гостеприимство, объявил о неожиданном известии и о необходимости в тот же день ехать в Петербург.

Дивитесь странности человеческой натуры и не торопитесь бранить меня: я сильно страдал во время унылого этого разговора; а между тем я почти со злостью смотрел на Веру Николаевну, я не облегчил ни одного из ударов, которые наносили ей мои слова, я не сокращал моей речи, хотя сердце мое рвалось, не сводил глаз с бледного ее личика, хотя последние искры любви не раз пробивались сквозь враждебное, постыдное настроение моей души. Измученный, разбитый, я добрался наконец до флигеля, торопил людей, посылал за лошадьми и с ужасом видел, что сборы тянулись необыкновенно долго, как водится на святой Руси.

Я не мог сидеть на месте; мысли, воспоминания начинали душить меня, чуть только принимал я спокойное положение. Самые крепкие сигары не туманили моей головы: едкий дым их казался мне мягок и безвкусен. Исходивши сотни раз всю комнату по всем направлениям, я выбежал из флигеля и, сам не понимая, что делаю, пустился быстрыми шагами по садовым дорожкам, которые были так расчищены, что походили на канавы.

Бог знает, каким образом очутился я у часовни, на известной вам

горке. Было тепло, шел небольшой снег, я остановился у замкнутой решетки и долго глядел на памятник, который Вера Николаевна поставила своему брату. Мысль о Косте несколько успокоила душевную мою тревогу: во всей моей жизни встретилось только одно существо, которого влияние на меня было благотворно, которое не наградило меня враждою или ожесточением. И долго я думал о Косте, и кажется мне, что я плакал, и я будто вновь прощался с ним, и грустное воспоминание о прошлом на время рассеяло мысль о гибельной действительности. Костя и за гробом помогал мне.

Через несколько времени я взглянул вправо, и снова кровь подступила к моему сердцу, прежний хаос забродил в моей голове. В нескольких шагах от меня, прислонясь к старой ели, стояла Вера Николаевна и держала в руке оранжерейный букет. Она будто не замечала меня и смотрела в другую сторону.

Я не любил уже в это время; но я еще хотел спасти Вериньку, сестру моего Кости. Жгучее сострадание мое похоже было на любовь. И кто бы не почувствовал того же, глядя на нее в это время?

Стройная, тоненькая, она будто не касалась дерева, на которое, однако же, облокачивалась всем телом. Глаза ее были утомлены, но глядели так же смело, отблеск от снега падал на ее лицо, впалость ее щек еще резче прежнего бросалась в глаза, и как грустно выдавалась вперед ее худенькая грудь, как безотрадно глядели углубления в ее лице, между глазами и краями ее губ?

И боже мой! пока я жив, не забуду я туманного, грустного колорита всей этой сцены. Смеркалось, свинцовая темнота медленно сходила сверху; казалось, она сплошною массою ложилась на верхушки деревьев, и деревья будто страдали, будто гнулись под этой металлическою тяжестью, будто роптали на тяжелый сумрак и уныло роняли на нас клочья снега со своих веток. Я подошел к Вериньке, взял ее руку, долго, долго целовал ее и не мог сказать ни слова.

— Прощайте, Алексей Дмитрич,— тихо сказала она,— я не виню вас, я радуюсь за вас...

— Друг мой,— говорил я,— соберите ваши мысли, опомнитесь, спасайте сами себя. Еще есть время, пожалейте себя, вы не имеете права устроивать своей собственной погибели. Дайте мне ваше согласие, едемте вместе из этого омута...

Она тихо покачала головой. Я не выразил ей вполне моей мысли, а потому все еще надеялся.

— Я не требую, чтоб вы оставили отца вашего на жертву... возьмите его с собою, я буду любить его. Бросьте эту женщину, оставьте ей ваше имение, вырвите у ней из рук бедного старика. Лучше одно сильное потрясение, чем такая жизнь.

— Отец мой свыкся со своей жизнью...— доволен ею. Сильное потрясение убьет его. Прощайте, друг мой... ждите... или лучше уж позабудьте обо мне.

Я подошел к ней еще ближе, обнял ее. Как уцелело мое сердце на своем месте, того я не понимаю...

— В последний раз прошу вас,— говорил я,— спасайте себя, решитесь, уйдите отсюда...

Я отодвинулся от нее и продолжал целовать ее руку.

— Алексей Дмитрич,— сказала она сквозь слезы,— простите меня еще раз. Я вижу, я много зла вам сделала. Уезжайте скорее, я стану молиться за вас... я остаюсь здесь, здесь мое место.

Последняя искра жалости погасла в моей душе. Я отбросил руку Веры Николаевны, так что тоненькая рука слегка хрустнула. Она уныло поглядела на свои бледные, худенькие пальчики и не говорила ни слова.

— Пусть же будет проклят,— сказал я, задыхаясь и теряя всякое чувство приличия,— пусть будет проклят ваш фанатизм и ваше гибельное, безумное самоотвержение! Пусть будет проклято это семейство, которое раздавило меня в детстве и хочет еще губить мою молодость!..

Она задумчиво глядела на меня и кротко улыбалась, как улыбались в старину мученики, глядя на орудие своей казни.

— Бог с вами,— продолжал я несколько спокойнее,— оставайтесь здесь, будьте счастливы, я ненавижу вас.

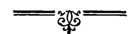
Я отвернулся и отошел далеко-далеко, не поворачивая головы. Да не было и толку, что я не смотрел в ту сторону: перед моими глазами с разительною ясностию рисовалась знакомая площадка, окаймленная строем разросшихся елей. И под одним из деревьев этих все-таки стояла жиденькая стройная фигура молодой девушки, и грустно, бессознательно глядела эта девушка на худенькие пальцы своей правой руки. И с тех пор до этого дня, точно так же, с таким же жестом представляется моему воображению единственный предмет неудачной моей любви. Я так ясно воображаю ее себе, что, кажется, могу пересчитать жилки на ее руке, приподнятой кверху; а сзади ее мне видится тот же печальный, свинцовый фон картины, еще более омраченный хлопьями серого, беспрестанно падающего снегу.

Когда я подошел к флигелю, лошади уже были готовы. Перезабывши часть моих вещей, я вскочил в сани и велел ехать шибче. На каждой станции чувствовал я, что болезнь подходила ко мне ближе; я возбуждал себя, прикладывал к голове снег, пил водку и таким образом проехал верст полтораста, не давая себе отдыха. На шестой станции я велел остановиться, приискал себе ночлег и решился отдохнуть. Наутро оказалась у меня желчная горячка, я перенес ее довольно спокойно и провалялся недель шесть, один-одинехонек.

Вот вам первая часть моей истории. Второй я пока не буду рассказывать: мне страшно надоело анализировать себя самого и близких ко мне лиц. На прошлой неделе подал я в отставку и намерен поселиться на время в деревне. Там у меня есть все, о чем мечтает человек в минуты злого огорчения и душевной усталости: и домик с зелеными ставнями, и коллекция оружия, и запыленная библиотека, и прочие пасторальные принадлежности. Признаюсь, я немногого ожидаю от этого отшельничества в двадцать пять лет от роду, а впрочем, отчего и не попробовать? Le repos — c'est Dieu *, сказал ваш же любимый писатель... [48]

* Отдых — это бог *(франц.)*.

ДНЕВНИК



<1843 г.>

Vous l'avez voulu, j'obéis *

Неужели после первой бестолковой попытки, спустя три года, мне должно снова взяться за перо и описывать вещь довольно скучную — мою жизнь. Не смейтесь, я очень далек от байронизма и *разочарования,* я вполне уверен, что в жизни нашей встречается много минут, достойных воспоминания, прошлая моя жизнь доказала мне это,— но я вполне уверен, что в целости жизнь — вещь скучная и что самые эти воспоминания — вещь очень относительная. Я давно привык жить не сердцем, а головою, и признаюсь, что часто насмешливая критика моего ума разрушает очаровательнейшие из этих воспоминаний.

Так, я описываю мою жизнь для воспоминаний, но что такое воспоминание?

Смешно скрывать что-нибудь от вас, и потому я признаюсь, что большею частию не существует их для меня. Недавно, перечитывая одно из моих писем, писанное в минуту самой *безумной* и пламенной страсти, я решительно ничего не почувствовал и тут же хотел прочесть его товарищам, чтоб посмеяться над отчаянным его слогом. Незадолго до лагерей я был на кладбище и молился над могилою человека, которого обожал всю мою жизнь, долго оплакивал и которого память мне всегда будет священна. Что ж? — вместо молитвы мне все казалось, как я поеду вечером в корпус[1] и какие фигуры там увижу. Благодарю бога, что такое состояние находит на меня пароксизмами, что в душе моей не все холодно постоянно, но со всем тем вот вам воспоминания!

Зачем и с какою целию писать мне журнал: смешно становиться на ходули, видеть трогательное и высокое там, где ничего не видишь, еще смешнее в осьмнадцать лет воображать себя разочарованным, но весьма скучно описывать, где был утром, что делал ввечеру, что ел, что пил, с кем об чем говорил, выводя без всякой цели на сцену личности. И потому не ждите от меня правильного и постоянного дневника: мне неоткуда писать его.

Одно, что постоянно в человеке,— это его рассудок, судья неумолимый и насмешливый; он питает очаровательными мечтами нашу молодость, чтоб потом мало-помалу разрушить их; он подчиняет себе сердце

---

* Вы этого хотели, я повинуюсь *(франц.)*.

и чувства, дает им иногда полный простор и снова вступает в свои права; он ослабляет порывы радости, зато утешает нас в горе; он заставляет нас находить интерес в комедии жизни, но за это ведет нас к эгоизму.

И поэтому, кто хочет писать жизнь свою, тот должен смотреть не на факты, а на результат, описывать не последовательность событий, а *последовательность своих мыслей.*

Впрочем, я ленив слишком,— не ждите от меня многого.

Итак, вот уже три дня, как я оставил навсегда Пажеский корпус. Смутно припоминаю я себе все *события* этих двух лет и не знаю, повели ли они меня к дурному или к хорошему. В том, что эти два года я провел приятно, я не сомневаюсь и признаюсь всем, что в Корпусе я нашел людей, приключения и даже поэзию. Чего я не испытал в этом миниатюрном и для многих *грязном* свете? Несмотря на частые неприятности, я всегда повторю: l'homme d'ésprit trouve par tout son niveau *.

В одно и то же время я был *первым* и *последним,* меня любили и ненавидели, меня *боялись* и делали мне неприятности. По крайней мере, я ни разу ни в чем не уронил себя, и эта чудная смесь любви и вражды, уважения и скуки до конца занимала меня приятным образом. Некоторым образом, я был властелином моей судьбы во все эти два года, и едва ли кто мог понять во мне то, чего я не хотел, чтоб понимали.

Характер мой обозначился резче, я, так сказать, начал знакомиться с самим собою, но, признаюсь, до сих пор еще не так далек в этом знакомстве. Скажите, бога ради, что я такое? Я оставил много людей, которые любят меня всею душою, стало быть, я порядочный человек, но мне кажется иногда, что их люблю не так много, как они меня.

Мне кажется, что я ужасный эгоист, а во всю жизнь мою я не повредил никому для своего блага. Мне многие говорили, что я очень горд, но кажется, что это неправда. Я знаю почти наверно, что у меня слабый характер, а до сих пор я был очень верен в дружбе, не делал подлостей и не спускал тем, которые меня не любили, даже я многим жертвовал капризам.

Нет, право, сам черт тут ничего не разберет, предоставим решение этой задачи времени.

Я знаю только насчет дурного, что со времени пребывания моего в корпусе, где я ничему не выучился, я воображаю очень много о своем уме (этому, право, не я виною), моя нравственность пошатнулась, et je negligeais mes devoirs de réligions **.

(...) благородства. Я все мог сделать с тобою, ты предался мне со всей силой детского верования: я мог восстановить тебя, направить тебя ко всему высокому и прекрасному,— а что сделал я с тобою? И хорошо, что еще не сделал всего, чего хотел! Судьба дала мне чудную игрушку на сбережение: я не мог присвоить ее и разломал ее!

---

* умный человек везде найдет общество по своему уровню *(франц.).*

** и я перестал аккуратно выполнять свои религиозные обязанности *(франц.).*

И как чисты были твои отношения ко мне: за дружбу, за ласковое слово я получал тысячи их. Как ты старался сохранить мою привязанность — но *после* ты ни одним словом, ни одним движением не унизил себя передо мною, а я знаю, что тяжело было тебе. И теперь: одно слово от меня, и все забыто! Я это знаю и век буду молчать.

Жизнь человека: это спектакль, пожалуй, хоть Александринского театра [2]. Сначала идет драма, с любовью и пылкими страстями, потом комедия, со сценами повседневной жизни, потом водевиль для разъезда карет, и, наконец, холодная критика этого же спектакля. Мне *девятнадцать* лет, а я чувствую очень хорошо, что моя драма уж разыгралась; и как? и где? — а уж она разыграна.

Я сам составил себе призрак, а до сих пор кроме этого призрака ни на что не смотрю.

Куда как чудно создан свет,
Пофилософствуй,— ум вскружится! [3]

<1845 г.>

9 января [4].

Очень интересно для меня то, что у нас в полку [5] беспрестанно толкуют об отличном обществе, тогда как у нас нет решительно никакого общества. Старшие офицеры у нас все отличные люди, но они держат себя как-то в стороне от младших. Я составляю исключение из этого правила, но я сам неохотно пойду в тот круг, где нет мне равных по чину и летам. А того, чем красуется полк,— веселой и беспутной молодежи у нас нет и в помине: все младшие офицеры или отъявленные хамы, или хорошие люди, да подавленные проклятым безденежьем. Всякой сидит в своем углу и знать других не хочет. Впрочем, признаюсь, что это для меня выгодно: отъявленный враг всякого принуждения, всякого esprit du corps *, я нисколько не тягочусь недостатком общества в полку: если я хочу веселиться, у меня и без них довольно знакомых и товарищей, если я хочу сидеть дома, никто не потащит меня на насильное веселье. Если судьбе угодно было на сцену моей комедии высыпать несколько десятков новых лиц, это нисколько меня не стесняет. Я люблю смотреть на все это со стороны, смеяться над смешным и изредка открывать в нем хорошую сторону.

L'esprit d'un homme est si fort qu'une seule sécousse, si grande qu'elle soit ne pourra jamais l'abattre **. А между тем тревожная грусть ложится мне на душу. Гоняясь за убеждениями, хватая познания, я и не почувствовал, как сделался скептиком, и не могу укрыться от скептицизма в самую глубь души и ни в чем не верю ни себе, ни другим. Тягостное по-

---

* сословного духа *(франц.)*.

** Ум человека столь силен, что одно потрясение, как бы велико оно ни было, не сможет сразить его *(франц.)*.

ложение! Благодарю бога, что мне еще немного лет; я не могу поверить, чтоб теперешнее мое положение осталось надолго.

Не есть ли это уныние предвестник какой-нибудь страсти, не суждено ли мне еще раз сделать глупость? Почему же глупость? Я б хотел влюбиться, пожалуй, хоть несчастливо, только кажется, что я на свою долю уконтентовался [6] и рано и надолго.

Чего мне надо, чего мне хочется?

Отчего еще одна идея мучит меня, идея славы и литературной известности? Верю ли я в славу, уважаю ли я науку? Способен ли я к труду и успеху, когда по целым дням ни одна сносная идея не посещает моей головы?

<Набросок повести>

Теперь, mon enfant *, я расскажу историю совершенно по вашему детскому вкусу. В моем рассказе будут и бурные страсти, и свет, и дуэли, и оргии. Говорят, что у нас такие повести вышли из моды, а потому я доволен, что вы незнакомы с русскими книгами.

Я знал двух людей, ненавидевших друг друга до невероятной степени. Такой ненависти мне не придется увидеть, и она была тем сильнее, что оба старались ее скрывать. Они отзывались друг о друге с холодностью, но при откровенном разговоре выражения каждого получали какое-то враждебное красноречие. За что они так мучились, никто не знал, да и сами они словами не могли этого выразить. И судьба, как в насмешку, беспрестанно их сталкивала.

Один из них был кавалерист, другой служил в пехоте, и оба жили в Петербурге. Вам известно, почему рассказы мои относятся к моим военным воспоминаниям, а потому не взыщите за однообразие.

Оба они были мои классные товарищи, я их застал в самом разгаре довольно смешной школьной вражды, хотя, говорят, одно время были они дружны. Я их...

...своих чувств и по чистоте своих убеждений. Вы, mon enfant, сильно его мне припоминаете, дай бог, чтоб ваша участь была счастливее.

Детство его, как и ваше, прошло не без горя. Брошенный своими полузнатными родителями на руки знатных родственников, он испытал вполне тягость пренебрежения и тягость покровительства. Дурное воспитание, отсутствие родительского участия положили печать хитрости, раздражительности и грусти на его открытый характер. Он еще сохранял многое, мы его любили за его немножко унылую веселость, за привязанность его к своим убеждениям и верованиям.

Он был незлопамятен, и тем удивительнее казалась его ссора с Всеволожским. Впрочем, Константин был виноват явно, он был в состоянии вывести из терпения ребенка. Сделать ему неприятность, оскорбление было наслаждением для нашего радикала. Сам черт не мог согласить его благородного характера с такими недостойными продел-

* дитя мое *(франц.)*.

ками. Истинная его радость была слушать что-нибудь дурное о князе Т., замечания его в таком случае выходили из границ всякого приличия. Я удивляюсь, как еще они не доходили до самых грубых средств выражения своей ссоры. К их чести должно сказать, что в редких разговорах своих они никогда не позволяли себе сказать в глаза ни малейшей неприличности.

К<нязь> Александр вел себя вначале гораздо благороднее и искал случаев прекратить ссору, но вскоре выведенный из терпения платил Всеволожскому по правилу «око за око», оказывал презрение к его восторженнейшим идеям и смеялся над некоторыми его физическими недостатками (самая злая обида для многих умных людей).

По правилам самых пошлых школьников, они почти скосили свои глаза, боясь смотреть в ту сторону, где в классе сидел *враг,* если же когда взглядывались, то долго ни один не хотел опускать глаз, чтоб не уступить другому. Тогда из них выходила пресмешная фигура.

Наступало самое лучшее время нашей жизни: кончались классы и приходил выпускной экзамен. С выпу<скным> экзаменом должна была по дням, по частичкам прилететь к нам упоительная свобода. Время чудное, когда после экзамена химии рвалась «Химия» на кусочки с криком: химия на всю жизнь к черту! for ever! * На другой день рвалась: «История», там «Политическая экономия»... на всю жизнь! Если б мне сказали, что я примусь за те же самые науки через полтора года!..

Сверх окончания курса, тут же подоспела и Страстная неделя, в которую обыкновенно говели все воспитанники нашего заведения вместе. Не знаю, как по вас, а во мне последние дни поста возбуждают тысячи воспоминаний: воспоминаний детских, стало быть, приятных. Я помню, как мне нравилась тишина и вместе с тем движение на улицах, открытые двери церквей и в них заунывно-торжественное вечернее пение, а на улицах розовый снег и светлые весенние вечера. Мне нравились и толпы молящегося народа со свечами в руках, и рассказы о том, что давно тому в эти дни страдал за нас бог, который нас так любит.

Правда, тут примешиваются воспоминания эгоистические: шум и беспорядок перед светлым праздником, и кучи игрушек у Гостиного двора, и близость гулянья под качелями.

Многого из этих вещей для меня не существовало в то время, о котором идет мой рассказ, однако в нашем заведении Страстная неделя была довольно торжественна. Тут забывались шалости, и для всех наступало время тишины и набожности, довольно чистой, хоть и кратковременной.

Сверх того у нас существовал хороший и трогательный обычай: все ссоры кончались в день, назначенный для исповеди,— начиная от маленьких ссор и от маленьких врагов до старшего класса и до серьезных неудовольствий. Я был уверен, что Всеволожский и Т. помирятся в этот день.

На Константина я плохо надеялся: он нас давно пугал отсутствием

---

* навсегда *(англ.).*

всякого религиозного чувства, хотя и не выказывал этого. Как все умы возвышенные, горячие и упрямые, он не без страшной борьбы расстался с верованиями своего детства и, вырвавши их с кровью из своего сердца, не искал новых верований и почитал их невозможными. Но детски поэтическая душа князя Т. была не такова: она чисто и с увлечением верила всему и самые праздные поверья воссоздавала в поэтическом виде. Он, кажется, верил своему ангелу-хранителю, и к нему очень шли такие светлые фантазии. Я не сомневался, что он сделает первый шаг.

Пришла середа; поутру еще кончились примирения и лобызания, а Всеволожский и Александр еще не сходились вместе. Всенощная кончилась, свечи были почти все погашены, но наша домашняя церковь не запиралась. Солнце спряталось, сделалось темно, зажгли еще несколько свечей, и началась исповедь. Так как нас было немного, то церковь была почти пуста, и желающие приходили поодиночке или маленькими кучками.

Можно было срисовать картину с нашей церкви, так хороша она казалась, когда половина ее была совсем темна, в противоположном углу горело несколько свечей и тускло освещало ее черные с золотом стены. Образа мрачно выдавались вперед из средних ее частей; у входа, направо и прямо, настежь растворены были две огромные двери. Одна из них вела на освещенную белую лестницу, другая в самую большую из наших зал, где было так темно и где так звонко раздавались шаги проходящих. Мраморный пол церкви шаркал под ногами, из окон видно было готическое здание нашего Корпуса и сад, где черные деревья подымались из не растаявшего еще снега. Месяц, или, если угодно, луна, светил.

Когда я вошел, Всеволожский вышел из алтаря, где исповедывались, и направил путь свой к лестнице, вероятно, желая отправиться спать. Только проходя мимо окна, он взглянул в него и остановился, продолжая глядеть в сад, так был он хорош на взгляд при свете месяца. Об чем думал он, глядя на снег и на деревья? о чем может думать человек в девятнадцать лет, с горячей кровью, с настойчивой волею, с кучей причудливых идей в голове? Может быть, он представлял себе, что по кровлям этих гордых домов бегает пламя пожара, слышал перекаты пальбы и восторженные крики народа и, забывши, что он не в Париже, а в Петербурге, летел впереди толпы, произнося слова, которых она не понимает, да и дай бог, чтоб не понимала долго еще... В это время из темной залы вышел князь Т.

Верно, с ним только что возились какие-нибудь шалуны, потому что еще веселая улыбка не исчезла с его лица, впрочем, она мигом прошла. Просто, с светлым взглядом, сложив свои маленькие руки, он подошел к одному образу и стал на колени.

Только он молился недолго, какая-то мысль заставила его быстро вскочить. Он поглядел на все стороны, заметил Константина, который продолжал смотреть в окошко, и покраснел. Я понял, в чем дело, и отошел немного в сторону.

Затем он подошел к Всеволожскому и облокотился на его плечо. Из первых его слов я мог только понять, что он называл себя «виноватым».

— Ты шутишь, верно,— отвечал Константин, дружески держа его за руку, и, когда тот удивился его странному ответу,— ты сам знаешь,— продолжал он,— и я готов всем признаться, что я виноват в тысячу раз более и просто даже, что я один виноват...

— Зачем считаться,— сказал улыбаясь Т.,— пусть виновата будет судьба.

— Судьба — правда твоя.

Оба они говорили пророческую правду.

Они поцеловались и говорили еще несколько времени. Я ушел очень довольный и, встретивши Всеволожского на лестнице, с жаром показал ему все благородство поступка князя. Я был уверен, что вражда их обратится в дружбу. Мне казалось, что кроткая и глубокосочувствующая всему высокому душа Александра вместе с его веселостью, резкостью и любознательностью совершенно сойдется с раздражительной и возвышенной душой Всеволожского.

Ничуть не бывало. После праздников я опоздал тремя днями и уже застал обоих их в прежней холодности, в прежней вражде и косоглазии. Весь класс прямо обвинял Константина. Князь сначала вел себя с ним, как ангел, беспрестанно адресовался к нему в разговоре, предлагал ему все свои тетради, чтоб вместе готовиться к экзамену. Всеволожский сохранял свой насмешливо холодный вид и не сходился с ним. Естественно, что Т. рассердился еще хуже.

Я сильно побранился с Константином. «Чего тебе хочется? — говорил я.— Ты хуже сумасшедшего, ты истинный капризный чудак и педант. Что тебе еще сделал Т., так платишь ты ему за то, что он благороден с тобой».

— Ты мне надоел,— отвечал он,— я ненавижу эту девчонку, вот и вся причина. Не ругаться же было мне с ним в церкви. Впрочем, я б хотел избавиться от этой глупой вражды, только поверь мне, что я не в силах.

...энергической воли в своем магнетическом взгляде.

И странное дело: изящная женская красота князя Александра, самого хорошенького мальчика в нашем корпусе, меркла перед красотою Всеволожского, которого товарищи иногда называли уродом за его небрежный вид и часто неловкие движения. Во Всеволожском в эту минуту я видел красоту нашего века, нашего больного гиганта, нашего XIX столетия, с его грустно неразрешимыми вопросами, с его сознанными пороками и немощами, но с энергической волей и жаждою искупления.

A propos *, пока играется пиеса, пока прославленная m-elle Rebecqui является на сцене то гризеткою, то гусарским офицером, то маркизою в пудре и с блестящими глазками,— я расскажу вам мои теории о красоте.

Ужасная идея — все на свете относительно! И идея красоты, которую признают те, которые давно отступились от идеи добра и истины,— и она относительна. Во всякой части света своя красота, а в одной и той же —

* Кстати *(франц.)*.

всякий век имеет свою. Припомните, опираясь на поэзию, живопись и историю, идеалы хотя мужской красоты в разных веках: как они различны! Попробуйте перетасовать их: какая выйдет путаница! Представьте себе нашего теперешнего бледного, задумчивого красавца, с насмешливой улыбкой на устах, в кругу идеалов древней Греции! Quelle horreur! *

Представьте теперь красавца паладина времен рыцарских, с его восторженно фанатическим видом, с его физическою силою, огромного до грубости, с его мещански свежей физиогномиею,— представьте его посреди нашего салона! Ce sera un boucher en habits de dimanche **.

Вообразите теперь маркиза времени регентства Франции или Людовика XV, этого ловеласа, который, едва выйдя из детства, считает свои победы дюжинами, вообразите-ка себе этого господина во временах феодальных битв и крестовых ополчений?

А между тем, как верно выказывается в каждом из этих идеалов дух века, его создавшего.

Оттого я отдаю справедливость нашим женщинам, которые умеют отдать справедливость красоте, в которой виден наш век. Несмотря на нападки остряков на общую страсть нашей молодежи корчить Чайльд Гарольдов и задумчивых героев,— молодежь права: она знает, что женщины ценят теперь не римский нос, не правильные черты, а три вещи в лице: мысль, силу и грусть.

А мы, что ценим мы в женщине? Замечаете ли вы, какие сбивчивые понятия являются в последнее время о женской красоте, как уважение к ежедневной красоте падает и как наши пииты и романтики лезут из кожи и не могут выдумать идеи женской красоты?

Заметили вы всеобщее охлаждение к мечтательности и любовным сценам? Я твердо верю, что все это оттого, что в настоящем положении общества женщина не удовлетворяет нас нравственно, а следовательно физически, потому что в физической ее красоте не достает главного: души такой, как нам смутно хочется.

Вы теперь хотите, чтоб я рассказал Вам мой идеал женщины XIX столетия. Я б хотел это сделать и не могу; спросите других, которые больше об этом думали. Я знаю, что в лице ее должна светиться благородная энергия, но в какой степени — не знаю; что роскошное тело ее должно быть прочно развито для практической силы, но как — не знаю. Чувства, понятия, едва-едва мерцающие в нашем обществе, идеи новые должны отражаться на лицах наших женщин,— но этого нет, и потому мы холодны к нашим дамам, а особенно к этим кислым, бесцветным существам, так называемым девицам.

Но мы страшно отвлеклись от предмета.

Продолжаю начатое. Несмотря на шумные восторги нашего первого ряда кресел, несмотря на наши белые султаны или убийственно повязанные черные шарфы...

---

* Какой ужас! *(франц.).*

** Это будет мясник в праздничной одежде *(франц.).*

Тот только, кто вел большую игру, может представить себе положение Всеволожского, когда он воротился домой поутру, после выскользнувшего из рук выигрыша, случай, который, по словам игроков, хуже чем проигрыш. Выпитое вино, огромное количество выкуренного за ночь табаку жгли его горло, дневной свет выводил из терпения глаза. Напрасно силился он заснуть: хотя от утомления мурашки бегали по телу, рассудок, раздраженный избытком судорожной деятельности, не хотел успокоиться и рисовал ему картины прошлой ночи. Все талии, все ставленные карты, все игрецкие соображения возникали наперекор ему в его голове, перед глазами торчала холодная фигура банкомета и раскрасневшиеся рожи понтеров. Удачные карты, прорвавшиеся ставки, разрушенные планы на огромную сумму, бывшую уже в руках, смешивались со злобой и досадой на давно ненавистного счастливца, насмешливо разрушившего все его ожидания.

Наконец, рассудок переставал действовать, но воображение еще пуще дразнило и утомляло Всев<оложск>ого его короткими и бестолковыми снами. То виделась ему знакомая комната с догоравшими лампами, с кучами карт и золота на столе, с игроками около стола. Сам он будто в каком-то саду под сухим деревом отыскивал клад. Кучи мешков лежали у его ног, в ушах звенели слова: бита, дана, угол, на 24. Он смотрел на мешки, радовался, строил планы путешествий и независимости. Развертывает мешки, смотрит, боясь, чтоб кто другой их не увидел. Что же в них: какие-то черепки, пополам с гранеными стеклянными кружками, с медными пятаками и восковыми огарками... Сцена переменялась, он видел какой-то пожар, на улицах шум и народ. И опять в каком-то саду, освещенном заревом, он видел князя Т-го, будто они долго смотрели друг на друга с страшной ненавистью и потом, держа шпаги в руках, медленно сходились, и все пропадало.

Потом он видел, что они стрелялись с Т. в расчищенном лесу, где росли огромные двойки и девятки с листьями наподобие черных сердец с хвостиками наверху. Под деревьями прогуливались дамы, валеты и короли и так мало обращали внимания на их дуэль, что он, целя в грудь Т., на которой красовался огромный туз, думал, как бы ошибкой не подстрелить одну из гуляющих фигур.

Через каждые пять минут Всеволожский просыпался. Осеннее небо светилось сквозь уголок сторы, одеяло почти свалилось до полу, измятые подушки еще хуже жгли его горячее лицо. Разбросанное платье довершало беспорядок угрюмой комнаты, бюсты республиканцев с мрачным укором смотрели на молодого человека. Ему становилось совестно и грустно, он хотел дать себе клятву не играть, оставить погоню за актрисой и в душе своей не находил решимости. Все в ней было так низко, так презрительно и мелко, кроме одной застарелой ненависти, которая росла, росла, мучала его и грозила захватить собою всю его жизнь.

Напрасно, стараясь снова заснуть, он уверял себя, что через четыре часа ему надо быть на ногах и потому не мешало бы выспаться; напрасно, чтоб развлечь мысли, прибегал он к известным темам размышлений: глаза его не смыкались, в голове все были двойки, деньги и князь Т., и

ненависть. Наконец, он стал думать о m-lle Rebecqui, и этим еще хуже себя расстроил: тревожная ночь и расстроенное воображение распалили его кровь до степени высочайшей страсти, если страстью можно назвать чисто чувственное побуждение. Актриса представлялась ему беспрестанно со всею грацией своих движений, со своими дивными черными глазами, со всем ее очаровательным телом, обещающим такую бездну наслаждений. Обругавши себя тысячу раз за свою медленность, припомня все часы, проведенные в ее обществе, он наконец не выдержал и вскочил с постели.

— «Сегодня или никогда! — вскричал он.— Ее-то не отобьют у меня! сегодня, сегодня будет сделана моя последняя глупость!». Он пересчитал все свои деньги, пересчитал и вчерашний выигрыш. Денег вышло довольно много.— «Остальное проиграю,— подумал он, закрывая бумажник,— и тогда поневоле сделаюсь умнее. Прощайте, остатки идеи независимости!». Затем он посмотрелся в зеркало. Глядя на его лицо, можно было подумать, что этот человек только что решал судьбу целого государства, так гордо смотрели его глаза, так торжественно усталыми казались его черты. А между тем, он не более как играл всю ночь в карты.

10 августа 1845.

Пропивши все мои деньги на Средней Рогатке [7], я тащился угрюмо в хвосте первого батальона. Грязное небо висело над вонючей Гороховой улицею, урывчатый дождик выгонял из меня остатки паров шампанского, музыка играла какой-то пошлый марш, на тротуарах стояли [ряды мужиков] и куча мальчишек, глядевших с величайшим вниманием на ряды испачканных солдат.

Офицеры шли на местах, я шел один по тротуару, и, надо отдать справедливость, публика с готовностию давала мне дорогу, поглядывая с участием на мои штаны, изорванные и покрытые грязью. Несмотря на то, я злился на нее и на себя, и на Петербург, который при всяком свидании со мною наводит на меня невыразимую тоску.

Да, признаться, и радоваться было нечему. В лагерях все мы надоели друг другу до того, что я, болтун в компании и любитель скандалов, за счастие почитал, когда сидел один. Неурожай, безденежье, отвращение к службе заставляли меня переменить свой круг действий, а я не умел приняться за дело. А в перспективе рисовались передо мною караулы и шатанье в Михайловский манеж.

— Черт возьми! — так или еще сильнее начал я речь сам с собою,— что я стар сделался или просто взгрустнулось? Где то время, когда я всякий день подымался с постели бодро и весело, с запасом неисполняемых реформ и золотых планов? Где то время, когда в мысли: «у меня нет ни копейки в кармане» заключалось что-то и забавное, и авантюрёзное, и почти поэтическое. Неужели для меня начал иметь цену пошлый металл, для меня, который имеет его только шесть дней в году и то никогда не держит при себе?

Где прежнее доверие к своим силам и тот дилетантизм к жизни, кото-

рого казалось мне довольно на всю жизнь? Мне точно много повредила наша служба и беспрестанное общество военных людей.

Лучшие и старшие из наших офицеров (так должно быть и во всех полках, если не во всех службах) одарены в высокой степени умом практическим. Но это излишнее развитие практической деятельности делает их ранними скептиками, людьми односторонними, равнодушными и даже враждебными к немного завирательным идеям, которые поддерживают энергию молодости, как шампанское поддерживает расположение духа.

Молодое поколение, грустное, скромное, безденежное, имеет очень мало своего характера, оно представляет много интересного для наблюдателя, но очень мало для ума и сердца. Ни с кем из них я искренно не сошелся и не сойдусь, вероятно, но я знаю их вдоль и поперек. С ними ужасно скучно, они старше старых офицеров. Привязанности к своему званию нет ни у тех, ни у других: отвращение к службе царствует во всей русской гвардии.

Не мудрено, что, блуждая посреди людей различных и по образу мыслей, и по воспитанию, без всякой возможности поменяться задушевными мыслями, иногда призадумаешься. Скуки я не знаю, но начинаю чаще и чаще грустить. А полгода тому назад я говорил: «Я не знаю и не буду знать ни скуки, ни грусти, ни страдания, пусть они придут, я смеюсь над ними». Захотят — придут и возьмут.

Где вы, мои прежние товарищи, товарищи самого дорогого и тяжелого времени моей жизни? Уж нам не сойтись по-прежнему. Может быть, любовь та же, но умы отвыкли друг от друга. За недостатком идей и опытности я видел в вас искреннюю и горячую привязанность, а все-таки мне и вас было бы мало.

Мне надо двух-трех людей молодых, очень молодых, с горячей душою, с верой в душу, в славу, в *труд,* в поэзию, в науку. Чтоб они не думали, что свет создан чертом, чтоб они не стыдились своих поэтических убеждений и в кругу себе подобных людей говорили и действовали смело, горячо, без arrière pensées *, без насмешливых ужимок.

5 сент<ября> 1845.

Вот что значит леность, однако же я продолжаю.

Вчера я был на похоронах почти целый день. У С. умер младший сын, мальчик лет шестнадцати. Одно время я его часто видел и любил его, как можно было при неравенстве наших лет. Ему было десять лет, когда мне было пятнадцать. Мы часто ходили гулять в Вейне [8], которая теперь продана,— кидали каменьями в уток, смотрели на водяную мельницу и взбирались на песчаные берега речки, которые мне казались чуть не Швейцариею. В характере его все наклонности были женские: он не играл в солдаты, не любил мундиров и лошадей и воспитывался так же, как младшие его сестры. Если прибавить к этому, что он был очень хорошенький мальчик, хотя несколько и подурнел впоследствии, и что харак-

* задних мыслей *(франц.).*

тер его соответствовал красоте, то можно понять, что его смерть заключала в себе что-то грациозно-трогательное.

Я давно почти раззнакомился с их семейством и потому не хотел было ехать на похороны. Мне жалко было бы видеть старика одного и в горе, потому что остальные его два сына, старые кутилы, вероятно, не разделяют горести отца. Но в этом я с удовольствием признаюсь, что обманулся, по крайней мере, на время.

Один из них заехал к нам. Бессрочно отставной гусар, член всех попоек и балов с драками, явился с заплаканными глазами и плакал, рассказывая о последних минутах своего брата. Братская привязанность в состоянии меня тронуть, оттого ли, что она всегда почти бескорыстна, оттого ли, что в весьма ограниченном кругу моих привязанностей самое первое место занимает братская. Мне понравилось, как гусар с жаром нападал на одну старуху, coureuse d'enterrements *, которая своими отчитываниями помешала ребенку умереть в спокойном неведении смерти. Мне понравилась его выдумка — засыпать его гроб целым возом цветов, потому что покойник страстно любил цветы. Поэтому я поехал, надевши мой нестареющий мундир и каску с султаном.

Подъезжая к дому, мы заметили, что вынос окончился. Таким образом, мы избавлены были от официальных соболезнований, глупых и лишних. Старик не мог провожать сына, потому что был слаб и болен. Мы поплелись за гробом, и после обычных приветствий знакомым, проговоренных не с улыбкой, а с кисло-угрюмым видом, я начал обзор местности и всему прочему.

Не рассуждая о необходимости уменьшать роскошь на похоронах, я заметил, что попов было чересчур много и поезд был великолепный. Был какой-то старик в безобразной шапке, архимандрит, как мне сказали, но явился ли он только в церкви или шел впереди, я этого не знаю. Особенных признаков горести в сопровождающих заметно не было: плакала одна из сестер, особенно дружная с Сашей, братья же и гусар даже осушили свои слезы. Я нисколько не ставлю им этого в осуждение, я знаю, что горесть находит пароксизмами, между которыми ничего не чувствуешь, и в голову лезет черт знает что такое. Виновен глупый обряд торжественных похорон, требующий от всех или слез, или угрюмой физиогномии. А потому из всех присутствующих больше мне нравились пансионские товарищи умершего, которые, верно, его любили очень. Они явились все и шли тихо, покойно, слегка задумавшись. Вероятно, их свежий и молодой рассудок понимал, что о смерти молодого человека не пристало слишком горевать, что лучшие выражения участия есть воспоминание простое, дружеское, покойное.

Таким образом, я шел по камням, иногда думая что-то похожее на дело, иногда ничего не думая, иногда думая дурное, потому что человек — свинья. Мне, по крайней мере, приходили самые дикие, скверные, уродливые фантазии в таких местах, где требовалось совсем других чувств. Впрочем, я беру на себя ответственность только за те идеи, кото-

* любительницу пóхорон *(франц.)*.

рые приходили мне в голову с печатью возможности и согласия от моего внутреннего чувства.

Пройдя мимо Пажеского корпуса, который теперь красят белою краскою, отчего он потерял свою готическую наружность, мы повернули по Невскому и пошли в такие края, каких я от роду не видал. Бывал ли я около Введения [9], не знаю, но за этой церковью я никогда не бывал. Неприятный вид представляли неуклюжие желтые дома, с широкими простенками, с грязными стеклами в окнах. На гробе лежали цветы, только их было немного. Певчие, благодаря неизмеримому ряду попов, пели за полверсты, а может быть, и не пели. Я не вступал в разговор с соседями и не отвечал на расспросы прохожих, а потому не развлекался ничем и продолжал размышлять.

Если я умру, думал я, я не хотел бы, чтоб сзывали на мои похороны всех моих знакомых. Я разделил бы перед смертью их на три категории: 1) товарищей классных и корпусных, 2) товарищей полковых, 3) остальных приятелей. Из этих трех я составил бы особый разряд человек из пятнадцати и велел бы их пригласить. Попа довольно одного, певчих — из моих кантонистов. После похорон чтоб завтракали и выпили дюжину шампанского, но чтоб первые и последние бокалы выпили в мою честь. Когда-нибудь составлю список приглашенных.

Запыленные подошли мы к монастырю [10], который, как я и ожидал, не представлял ничего ни особенно красивого, ни особенно замечательного. Братья и товарищи умершего внесли гроб, я шел позади и стал около. Обедня и отпеванье показались мне очень длинными, хотя служба была великолепна и певчие отличные. Но я был не очень расположен к благоговению, хотя отдаю справедливость похоронной службе и люблю ее слушать. Один дьякон колоссального роста и такой же толщины свирепствовал до того, что у меня звенело в ушах. Об нем еще будет речь. И все-таки я с особенным удовольствием смотрел на цветы, которыми уложено было все подножие гроба. Что это было за чувство, я не хочу его исследовать и принимаю его как оно есть. Кроме этих цветов, я других не видал и подосадовал на гусара.

Наконец, все кончилось самым обыкновенным образом, и мы поехали на квартиру отца. Здесь начинается самая скандальная сторона наших обычаев.

Гости были голодны, а архимандрит или архиерей не приезжали. На всех физиономиях написано было: скоро ли дадут есть? И опять-таки некого тут обвинять, ни гостей, ни хозяина.

Все так делается в жизни. Сколько в ней вещей дурных и негодных, за которые не у кого спросить отчета. Ежели б всякому злу ясна была причина, свет давно бы шел иначе.

Все мы видимо жалели о старике, и он знал, что мы чувствуем его потерю, и, со всем тем, все мы были друг другу в тягость, и все, кроме присяжных «охотников», ругали обычай похоронных обедов.

Я верю возможности утешения: из тысячи доводов и убеждений всегда хоть одно найдет дорогу к сердцу человека противных мыслей (хоть он того и не скажет), отчего же утешение будет отвергнуто тем, кто

ищет утешения? Многие из нас наедине, может быть, поговорили б со стариком от души, сказали б ему, что в первой молодости умирать не тяжело и не заслуживает страшного сетования, что в то время, когда полнота сил привязывает нас к жизни, какое-то другое чувство неопределенное заставляет нас смотреть на смерть без страха и без тоски. Мы бы могли сказать ему, что при страшной банковой игре тот, кто раньше других ушел спать, счастливее проигравших, счастливее, может быть, и выигравших. И, подавивши свой скептицизм, я сказал бы, что за сном будет и пробуждение и что самое светлое пробуждение, самое ясное утро назначено тем, кто спит с цветами под изголовьем.

Но все вместе мы сидели, молчали, говорили о погоде, пока не приехал главный поп, не подали закуски и не пошли к столу. Столовая зала походила на залу прежней квартиры С-их, где я так часто играл ребенком и где ко мне выносили маленького Сашу. Говорю это *так,* а не для вящщего умиления, тем более, что я тогда был голоден. Соседство мое не мешало моему молчаливому расположению духа, с левой стороны сидел очень толстый монах, справа какой-то инженерный офицер, вероятно, знаток в винах, потому что тянул их преисправно. Вина в самом деле были хороши и в большом количестве.

Зятья старика и старший сын (гусар в кругу товарищей и моего брата [11], видимо, забыл и горе, и гостей) угощали компанию. Старик подходил к нам. Заметил ли он мою серьезную мину, или просто я напомнил ему сына, он, подчуя меня вином, облокотился дружески на мою руку. Мы сказали еще несколько слов — что мог я ему сказать хорошего?

Таким образом сидел я, прислушиваясь к разговору, который делался шумнее и шумнее. Мне было совестно принимать участие в этом шуме, да и надобности никакой не было.

Зародыш многих обычаев, если не всех, должен был быть хорош во всех отношениях. Чтоб увлечь за собою подражателей, надобно что-нибудь прекрасное. Стоит порыться, чтоб увидеть, что самые смешные обыкновения были когда-нибудь уважительны.

Отчего произошел обычай поминок, обычай теперь смешной, где смешивается обжорство и пьянство с религией, кислые рожи со смехом, красные глаза с красными носами? Произошел ли он от того, что после похорон друзья покойника не позволяли родным его оставаться одним, утешая их дружеской беседой и светлыми воспоминаниями о умершем? Или произошел он от тех пиров, где цветущие здоровьем люди, отдав последний долг другу, собирались, чтоб посмеяться в лицо смерти и утопить в вине бесполезные слезы? И то, и другое хорошо, но середина между ними никуда не годится.

Почти против меня сидел враль X., который, от нечего делать, сердил попов, рассказывая им, что он вычитал в Иосифе Флавии (может, и выдумал, мне какое дело!) о том, что перепись иудеев была за 4 года до рождества И. X. Потом говорил он о папах, которые замечали эту ошибку, и все в таком же роде [12]. Архиерей говорил, что можно верить только св. отцам, и, кажется, сказал умную старую истину, что в деле религии верь всему или ничему. Может быть, мне и послышалось. Близ сидящие

монахи, вступя в разговор, нашли случай сказать, что католики и папа — идолопоклонники, с чем согласился мой vis-a-vis, художник, живший когда-то в Риме.

Человек слаб, и я слаб. Ругаться и спорить с монахами я не хотел, но кольнуть их слегка не упустил случая. Не вступая в речь с рядом св. отцов, сидевших влево от меня, я заметил художнику, что справедливость требует признать все религии равно уважительными, а если смеяться над ними, то смеяться над всеми. Избитый мой силлогизм я подкрепил довольно простодушным рассказом о службе митрополита в Казанском соборе, которая, сказал я, казалась мне и комедией, и идолопоклонством, и каббалистикой.

Речь моя не понравилась монахам, однако они молчали и сообщали себе свои замечания in petto *. Поспорив с художником и с инженером, которому я желаю знать такой же толк в религиях, как в портвейне, я сказал несколько слов о достоинствах католицизма, о его легендах, музыке, блеске и процессиях и, не желая надувать себя и других, замолчал. Шампанское было теплое, однако гости сильно развеселились, и, когда за киселем пели Вечную память, толстый протодьякон дотягивал smorzando **, а в одном углу страшно шумели и хохотали.

Покачиваясь, гости разошлись по комнатам; старик сидел на маленьком диванчике, кажется, с дочерью. Поставьте на его место не отца, а самого холодного эгоиста, и того бы неприятно поразил, если б не обидел, начавшийся шум и смех. Молодежь ушла в особую комнату, взявши с собой протодьякона, который подружился с ними, толкал всех своим огромным брюхом и на последнем пении Вечной памяти явно фарсил своим нечеловеческим басом. Другой какой-то огромный поп, приняв меня за брата, осыпал меня благодарностями за приятное соседство и целовал меня, а потом целовал в извинение за свою ошибку. Ротмистр Г. собирался показывать всей публике, как Набоков в Новгороде делает пехотный развод, а другой Г., улан, клялся, что он повезет дьякона в какой-то фикгауз. Я взялся за шляпу и ушел, признавая, что все правы, и все-таки недовольный всеми. Но днем я был доволен.

6 сентября.

В лагерях я досадовал, что мне не приходилось все время быть одному. Этот преизбыток компании должен был обратиться в привычку, и потому первое безденежье, заставив меня сидеть дома, заставило скучать. Напрасно убеждал я себя, что уединение и занятия лучше общества, особенно общества лагерной линейки,— привычка гнала меня с наступлением вечера куда бы то ни было. Так подействовал на меня лагерь, что же должен был он сделать с людьми более безденежными и с более ограниченным кругом занятий? Недостаток шатанья и болтовни обратился у них в скуку, уныние и жалобы на свою судьбу.

Такой ход дел продолжается и «по сие время», маленькая наша ком-

* про себя (*итал.*).
** в полголоса, глухо (*итал.*).

пания почти всякий день сходилася наверху, над нашей квартирой, но беседы, вместо коротких и оживленных, как они бывали иногда прежде, сделались длинными и потому невеселыми. Ни одному из членов нечего рассказывать, а иные на время убыли.

На днях сидело нас в клубе четверо, Р., Б., Д. и я. Сначала были пересказаны все события дня, потом сыграно и спето несколько музыкальных вещей из собрания «Скандальных песен и романсов», наконец, все погрузились в *унылое* молчание, кроме меня, который хранил молчание, только не унылое.

«Чрезвычайно весело»,— сказал один из присутствующих. Другой сказал: «Будет чем вспомнить свою молодость». Я заметил, что подобную вещь говорят почти все люди, назвал сказавшего лордом Байроном и по какому-то случаю заметил, что причину тоски и неудовольствия на себя надо искать в нашем бестолковом воспитании.

Моя идея, которая была стара и не требовала пояснений, возбудила сильное противоречие. Мне сказали, что с безденежьем, с недостатком света и развлечения сопряжена тоска, что идеи, связывающие между собой людей с целью в жизни, не что иное, как шарлатанство, или хоть не шарлатанство, а вещь, не способная отогнать скуку и доставлять постоянное удовольствие.

— «Итак, господа,— сказал я,— вы согласны все, что наша скука происходит оттого, что у нас нет денег?»

Все согласились. «Я сам люблю деньги и вижу в них идею независимости. Так кто же мешает нам достать денег?». Все думали, что я шучу, и я в самом деле начал излагать средства для развеселения публики, но на дне была у меня легкая идея возможности всего, если несколько человек захотят с усилием и предприимчивостью.

Мы начали разбирать мой старый проект об основании монастыря около Петербурга, буде надобно, с мощами и чудесами, что подавало возможность кучи смешных сближений и личностей, и сплетней. Я ручался за то, что проповеди будут отличные, что будет хороший стол и хорошая библиотека. Особенных скандалов и разврату в монастыре не допускалось. Успех казался мне несомненным: один рассказ о том, что десять офицеров одного полка гвардии, хотя и ребиндеровской [13], обратились к спасению, произведет эффект. Положение же наше перед совестию было бы не беззаконнее положения какого-нибудь обер-прокурора или другого ворующего и надувающего слуги царского. Да и все в свете разве не основано на надувании, если не каждого в особенности, то всех вообще. Человек иногда бывает открыт и честен с одним человеком, с двумя, но относительно общества он всегда или мошенник, или лжец.

— «Впрочем, если не хотите монастыря, заведемте общими силами бардак».

— «Почтенная дама Александра Ивановна хочет идти во вновь открытое заведение, виноват, в женский монастырь, а потому нам уступит по знакомству свое собственное. Для украшения и распространения выдается 100 акций, ценой во 100 р. каждая. Р. дать акцию даром, за то что у него имение в Эстляндии. Всякий из акционеров должен распро-

странять практику между своими знакомыми и однокашниками, а сверх того поочередно заниматься хозяйством».

— «Тогда-то,— говорил я,— у вас не будет праздных вечеров,— заботы хозяйства, устройство вечеров и балов займут вас самым приятным образом».

Вошел Г. и по этому поводу наговорил страшную дичь о пользе таких заведений, о Франции, об Англии, чуть не коснулся Тьера и надоел всем.

На другой день мы продолжали наши планы.

— «У нас по соседству,— начал опять я,— много имений под владениями неутешных вдов и старых дев. Имения их маленькие, и не заслуживают других хлопот, кроме гуртовых [14]. Не составить ли компанию для управления всеми этими имениями вместе, доставивши прелестным помещицам общее хорошее помещение, отличный стол и наемных утешителей?».

Наконец, предложен был последний план: покупка общими силами хорошего имения для того, чтобы составить там компанию помещиков одного и того же имения, поселиться вместе и заботиться о улучшении имения и средствах разбогатеть. В свободные же часы собираться вместе, болтать, читать, охотиться. По всей вероятности, такая же жизнь была бы спасена от нужд и мелочных хлопот.

Но увы! денег ни у кого не было, даже жалованье было забрано до такой степени, что никто не интересовался о времени раздачи его за прошлую треть.

Однако все это вранье навело меня на мысль: могу ли я, бросив службу и не получая других доходов, кроме своей части с нашего имения, в таком положении остаться довольным своей судьбой? Вопрос в настоящее время не применяемый к практике, но полезный для того, чтобы знать свои силы на случай несчастия или каприза. Скитаться с мизерным доходишком по Петербургу, середи вонючих квартир, видя недоступный себе образ жизни, я не могу. Сидеть за книгами где-нибудь на чердаке я не могу. Не надеюсь довольно на себя, чтоб встреча с людьми, прежде равными мне по положению в свете, не произвела на меня неприятного действия. Моя наблюдательность очень сосредоточенна и очень ленива, и потому разнообразие характеров и людей, видимое вблизи, не вполне меня удовлетворит.

Зато иметь, как я имею, свой уголок, красивый, обделанный, с лесом, с садом, с водой и полями и с маленькими горками — дело другое. Мысль, что позади меня есть *редюит* [15], может подкрепить в скитании по свету. Когда-нибудь поговорю на этот счет поподробнее.

17 сентября.

Классы русского общества.

Россия двигается вперед и двигается быстро. Новое поколение обещает порядочные плоды, много старых зол истребляется или смягчается. Теперь, когда государства Европы беспокойно ожидают, чем ознамену-

ется влияние России на их дела, какую идею принесет с собою страна, недавно вступившая на сцену ее политики,— русский, увлеченный вихрем событий, еще более задумывается о ее судьбе и будущности. «Где мы, куда мы идем? Что из нас выйдет, что мы такое?»,— вопросы эти занимают всех наших разномыслящих соотечественников. Одни видят в будущем квасную утопию блаженства России, когда она перельет в душу Европы какой-то свежий патриархально-религиозный элемент [16], другие мрачно смотрят на ее развитие, на могущество ее верховной власти, пророчат России страшные смуты и теряются в демократических мечтаниях [17], которые к ней вовсе не пристали, как итальянская блуза сибиряку. Третьи спрашивают себя с недоумением, чем это все держится, чем все кончится и, соскучивши подобными размышлениями, погружаются в спокойный эгоизм или ищут случая половить в мутной воде рыбу.

Мы все в политике любим поклоняться раз принятым идеям и обо всех государствах готовы судить по Франции или Англии. Идея неограниченной власти возбуждает в нас неодобрение, аристократию мы ненавидим более чем французы перед революциею, демократию мы признаем неудобною для России, потому что надо быть пошлым дураком, чтоб утверждать противное. Держа в одной руке историю чужих государств, в другой — сочинения чужих политических писателей, мы смотрим на Россию и, пораженные тем, что она не подходит под раз созданные правила, провозглашаем ее нестройным колоссом, варварским государством, едва ли способным для внутреннего совершенствования.

Тогда как довольно видеть, что Россия не похожа ни в чем на государства Европы, что она сформировалась иначе.

23 сентября.

Светлые дни осени прошли, и на набережной красуется грязь во всей своей прелести. Дождь не дождь, а какая-то сырость в воздухе гонит всех с улицы, так что я почти бросил мои наблюдения у окошка, за неимением предметов наблюдения. Сегодня я целый день сидел один, за исключением двух-трех получасовых визитов, и копался в транспорте книг, полученных от Исакова. Я так привык получать все новое себе в руки, что сдавать библиотеку [18] будет мне тяжело. Такое перелистывание бесполезно, но очень приятно. Между прочими вещами я прочитал с «испытующим видом» новый роман (начало) Ковалевского: «Петербург днем и ночью» [19] и посмеялся усилиям автора подделаться под манеру Сю в «Mystères de Paris» *. Такие же картины бедности, грязи, такой же сюжет, оборвавшийся на soit disant ** интересном месте.

Итак, настает время геморроя, скуки и «премудрых сомнений», впрочем, последний пункт так во мне усилился, что, верно, не пойдет дальше. Чем-нибудь оно же должно кончиться. Но приближение скуки и геморроя меня пугает.

До сих пор мне совсем не скучно, я даже с небольшим удовольствием

* «Парижские тайны» *(франц.)*.
** так сказать *(франц.)*.

смотрел *из окна на грязь* и проходивших мужиков, закутанных в тулупы. Но я знаю, что скоро *она* подступит, расставит свои батареи и пойдет на штурм.

Прошлый год она была отбита совершенно, потому что я занимался делом с жаром и со своею философиею, третьего года я только что оставил корпус, и мне было не до скуки, четвертого года я был влюблен, еще один год назад idem *. В особенности несносная гостья была отпотчевана прошлого года, я ее даже сам вызывал и уверял, что во всю жизнь не буду знать скуки. Теперь же леность меня одолела совершенно, или, лучше сказать, не леность, а неуменье начать лучший образ жизни. Признаться, я плохо верю в пользу прошлого года, как трудолюбиво проведенного: для того, чтобы память, рано сбитая с пути, удержала б в себе что-нибудь, надо возобновить чтение тех же самых книг, занятие теми же предметами, с теми же руководствами. За это и не имею сил взяться. И какая же польза, ближе ли я стою к своей цели, если я немножко и поумнел в этот год?

После нескольких месяцев, проведенных всегда в праздной, иногда шумной компании, становишься ленив, пошл, но зато неспособен увлекаться. Впрочем, дай бог, лучше увлекаться.

С завтрашнего дня начинаю готовиться к деятельной и трудолюбивой жизни, а с 29 сентября начну трудиться, как прошлый год. По опыту я знаю, что давать себе обещания, твердо решаться, даже давать себе слово исполнить предположения — все это не ведет ни к чему. И потому ограничиваюсь одним простым предположением. До сих пор занятия мои ограничиваются бессвязным чтением от двух до трех часов в день. Остановив несколько начатых увражей [20], я ограничиваюсь теперь «Ирландиею» де Бомона [21] и «Дон Жуаном» Байрона, хотя «Дон Жуан» чтение вредное, особенно при петербургской осени.

Я благодарю судьбу за то, что она хотя не одарила меня энергиею и быстротою ума, но дала мне способность чувствовать изящное в мире искусства, науки и поэзии. Особенно при чтении великих писателей я благодарю судьбу и мои занятия, очистившие мой вкус. Имея в руках произведение одного из этих избранных, я перерождаюсь, становлюсь его достойным и вполне ценю каждую его мысль, каждое выражение.

Изо всех поэтов последнего времени и из известных мне старых к Байрону я питаю какое-то особенное чувство, которого он, может быть, ни на кого не производил. Здесь нет аффектации, потому что характер Байрона я нисколько не нахожу похожим на мой: разве один скептицизм, да кто нынче не скептик? Еще в дни великой моей молодости, когда я увлекался высокими фразами, и тогда, удивляясь мрачности Байронова гения, я находил в нем что-то нежное, дружеское, родное, до крайности привлекательное. Так, я помню, читая «Манфреда», я плохо понимал главную идею, благоговел перед пышными метафорами, воображал, что понимаю идею разочарования,— благоговел перед чертями и вычурными духами, и вместе с тем я плакал в той сцене, когда Манфред, вызвавши образ

* то же *(лат.)*.

Астарте, пересчитывает свои страдания и умоляет ее сказать хоть одно слово.

Теперь, конечно, я читаю с удовольствием роскошные и угрюмые сцены, родившиеся под пером Байрона, я более понимаю его в минутах ненависти и резкого презрения к свету и людям, но не этот элемент очаровывает меня в его творениях. Я с жадностию (...)

6 октября.

Наконец, я обуздал свою неукротимую манию чтения и сильно ограничил круг своих занятий. Все, что я читаю теперь, это сочинение Buret о нищете низших классов во Франции и Англии, да романы Жоржа Санда. Исследовать попытки социальных реформ последнего времени, вот моя цель, и я теперь с нетерпением ожидаю издания «Revue indèpendante» [22].

Недавно я кончил «Валентину», роман грациозный при всей его глубине, и вспомнил, что за год перед настоящим временем, я писал разбор «Индианы», где смеялся над непонятными для меня в то время идеями Жорж Санда, и со всей досадой оскорбленной односторонности спрашивал: чего хочет эта женщина?

В год много перешло мыслей через мою голову, и эгоистический оптимизм, которому я обязан целым годом спокойствия и *счастия,* потерял для меня великую часть своей цены. Основательные исторические и экономические занятия раскрыли передо мною картину современного общества образованнейших государств Европы.

<1846 г.>

12 января 1846.

Сегодня вечером я долго ходил по комнатам один, совершенно один, и при настоящем моем несносном *полууединении* должен был сознаться, что мне скучно. С этим сознанием разлетелась в прах эгоистическая эпикурейская философия, которая баюкала меня более полутора года, хотя в последнее время она уже далеко не удовлетворяла меня. Впрочем, я буду вспоминать об ней с благодарностию, тем более, что ее влияние было мне во многом полезно.

Чувство, овладевшее мною, было, пожалуй, не скука, потому что скука происходит от пустоты душевной, оно скорее было душевным усыплением, и никакие усилия не могли добудиться того, что спaлó у меня на сердце и в уме. Во сне мне постоянно снится всякая дрянь и пустяки, таким же сном представлялось мне мое настоящее положение, в котором ничто, кроме дрянных интересов и мелочей, меня не занимало.

С давнишней поры я замышлял и несколько раз решался на радикальную перемену моего образа жизни и моих занятий. Обыкновенно подобные размышления приходили мне на ум, когда я ложился спать, редко являлись они мне в систематической форме, потому что я засыпал под свои мысли,— но даже когда случалось мне на что-нибудь решать-

ся, я не приводил ничего в исполнение и — не без внутреннего укора — молча признавал себя фетюком. Так могли идти дела, когда я еще сильно философствовал, трудился и был доволен собой. Но теперь положение моего духа становится хуже и хуже и требует решительных, непоколебимых мер.

Я стал тщательно разыскивать причины моей скуки, вялости в уме и раздора с самим собою. Причин набралось так много, что и вычислить трудно.

1) Малочисленность приобретенных убеждений.

2) Охлаждение к цели моих литературных занятий и попыток.

3) Перемена образа жизни и деятельности (или, лучше, приближение этой перемены).

4) Влияние семейных обстоятельств.

5) Болезнь и предрассудки и недостаток развлечения.

Вот главнейшие причины, но многие из них существовали прежде, не мешая моему счастию и ручательству за его продолжительность. Вытекала тут общая причина: недостаточность прежде установленного порядка жизни и недостаток твердости для следования новому плану.

С тех пор, как я узнал, что жизнь есть не комедия, а борьба, что на свете не все к лучшему и что я слишком восприимчив для душевной беззаботности, моя прежняя теория жизни упала. Тщетные усилия подставить вместо нее новую поселили во мне презрение к своей собственной слабости и недеятельности. Может быть, я был слишком строг, ругая себя фетюком, может быть, мне следовало без негодования на себя строить новое здание из материалов по моим средствам.

Как бы то ни было, я стою теперь на обломках, и мне некуда спрятаться от напора жизни мелочной, расчетливой, материальной, которая с минуты на минуту должна ко мне подступить. Чиновническая жизнь должна страшно сушить душу, когда мы видим и военных людей такими черствыми. А военные люди имеют и разгульную беседу, и сладость отдыха от физической усталости, и ранние прогулки на заре (хоть и поневоле), и бивачные ощущения, и полукочующую жизнь. Да, расставаясь с военною жизнью, я говорю ей душевное спасибо за дружбу товарищей, за маневры, за дневки, за скандальную болтовню, за всё и за всё, в чем сердце мое находило много такого, о чем другие не помышляли. Я оставляю полк вовремя, окруженный уважением, провожаемый сожалением. Кажется, я немного удалился от дела.

Но теперь, когда прошли первые надежды и первые потехи юности, как разрушительно подействует на меня воздух канцелярии. Я сделаюсь свиньей, если до тех пор не успею сделаться порядочным человеком. Пока еще время, надо звать на помощь идеи истины, добра и изящества, звать на помощь любовь к науке и нравственному усовершенствованию, звать ощущения, смягчающие душу, звать самый эпикуреизм, собрать всё, что есть в душе сносного и порядочного, и составить из всего этого план жизни и дел, твердый, неизменяемый ни в одном случае, но способный к усовершенствованию.

Поздно составлять его, когда придется начинать новую мою службу:

куча новых лиц и обязанностей надолго отуманит голову. Надо начать теперь же и, по мере составления, неотлагаемо приступать к исполнению.

Рассматривая распределение моего дня в материальном отношении, я нахожу его до того неудобным, что приписываю ему в сильной степени нравственные мои недуги. Я твердо убежден неоднократным примером, что чем более я предаюсь деятельности нравственной и физической, тем я счастливее.

Теперь же я живу как: встаю в 9 часов, иногда позже, вследствие такого сна я поутру вял и ленив и неспособен к труду. Я решаюсь вставать в 7 или 7 1/2 и ходить по улицам до усталости. Пока я не приищу себе достойного умственного труда, я буду утомлять себя физическими трудами. Правило мое будет: *не быть праздным ни одной минуты в день,* кроме короткого срока после обеда. Хотя бы, за неимением других занятий, пришлось мне гулять по Большому проспекту в день десять раз, я скорее решусь на это, чем сидеть на диване и ни о чем не думать. Сообразно сказанному будет расположен мой день. Но перейдем теперь к составлению новой философии, которая б устроила порядок моей нравственной деятельности. (Продолжение со временем).

16 янв<аря>.

Когда я слышу о болезни и смерти какого-нибудь простого человека, солдата или крестьянина, мной овладевает до чрезвычайности грустное чувство. В эти три месяца я почти видел смерть бедного Герасимова, у нас умерло два отличных человека, и теперь в доме тяжело больна одна женщина, при которой мы все родились.

У меня умирали люди одного со мной положения, к которым я был привязан, у меня умер отец, которого я любил, но горесть, испытанная мною при этих случаях, была совсем отлична от грусти, охватывающей меня у постели умирающего солдата или старого слуги. Первая идея бывает ропотом на *причину,* создавшую нас, на природу и на весь свет,— потому что жизнь и смерть бедного труженика, не видевшего в жизни ни наслаждений, ни борьбы, ни любви, ни даже чувственных удовольствий, возбуждает страшный вопрос: где справедливость?

Есть люди, жизнь которых есть цепь страданий, неудач и падений, но все это предполагает идею счастия, хотя <бы> *возможности счастия,* идею борьбы, потому что борьба есть жизнь. Сверх того, большая часть подобных людей пользуются материальным благосостоянием. Но боже мой! за что миллионы творений, равных по всему этим немногим, волочат жизнь без возможности счастия, живут с стесненным умом, с недостатком самосознания. Страдания их лишены очистительной силы, свойственной страданиям, наслаждения их так ничтожны, да еще и теряются по недостатку внутреннего сознания в наслаждении, борьба их есть чаще всего борьба с нуждой и голодом. Боже мой, за что на одного человека, который ест трюфли [23], сотни глодают черствый хлеб, на одного, который сидит в театре, десятеро бедняков мерзнут около лошадей на подъезде, на одного офицера, который сидит покойно, в караульной комнате, десятки солдат жмутся в одной комнатке и сидят сутки на хлебе и воде, не

смея заснуть более двух часов. И каково же видеть одного из этих пасынков судьбы на смертной постеле, когда он имеет такое право проклясть свет и судьбу, его создавшую, и видеть его, ожидающего смерти в грустном спокойствии, часто сохраняющего и покорность и преданность к нам, и видеть, что он еще платит благодарностию за каждый внимательный взгляд и ласковое слово!

Я понимаю людей, для которых любовь к народу сделалась религиею. Стоит только подумать о том, что делается на свете, чтобы сердце облилось кровию. Кого не воспламенит страстью к справедливости страдание большинства людей и в особенности то, как оно переносит свои страдания. Сколько добродетели, преданности и любви скрыто в массе, которую мы зовем грубою массою!

Я верю, что со временем люди переменятся и настанет время, когда не будет рабов и неимущих, когда перед каждым человеком будет открыта дорога всевозможного блага и усовершенствования. В исполнение этой утопии я верю твердо: заря ее уже занялась. Но за что же пострадали даром миллионы созданий, не дождавшихся царства истины, которые с каждым днем отходят тихо и тоскливо — куда, кто их знает. Для чего они жили, почему они не видали радостей и жизни, за что *другие* и жили, и радовались? Справедливость требует им бессмертия. Когда придет царство истины, люди обойдутся без идеи бессмертия, пожалуй, и теперь мы, счастливые мира, вырвем с кровью из своего сердца надежду на возможность будущей жизни,— но боже мой! им, страдальцам и труженикам, дай бессмертие, дай им его не как награду, а как должное. Если душе бедного мужика, верного слуги или измученного солдата не суждено проснуться снова и вкусить радости, которых прежде она не ведала, если за страданием одной жизни не последуют наслаждения другой,— то бога нет и он не надобен. Весь мир тогда есть шутка злого духа, человечество будет негодною плесенью на поверхности земли.

Страшная тайна лежит на конце всех человеческих размышлений: все ли кончается с смертью тела? Я хотел бы знать одно: верили ли вполне господа философы тем курчавым теориям, которые так мило красуются в их книгах? Я думаю, что нет. Если добираться до идеи бессмертия, то надо идти путем любви и энтузиазма, а никак не по лабиринту абсолютов и фюрзихзейнов [24].

19 января 1846.

Все еще не выходит отставка. Если б побольше денег (в обширном смысле), я бы был совершенно счастлив, если побольше их хотя в настоящее время, я бы был совершенно покоен. Впрочем, необходимость службы меня не пугает, я чувствую, что я всегда буду сам себе господин, а поглядеть на новых людей, на новые дела довольно интересно. В среду (сегодня воскресенье [25]) я получаю решительный ответ от директора канцелярии. Если он будет противен моим ожиданиям, дела мои запутаются, но огорчаться я не намерен.

Будем продолжать мой план. Рождается вопрос: чему я верю? Вопрос и решение его очень важны: вся жизнь зависит от убеждений. На-

стоящий христианин не будет эпикурейцем, материалист не вдастся в аскетизм, и так далее.

Несмотря на все усилия мои и великую потребность веры во что-нибудь, я могу сказать о себе в обширном смысле, что я не верю ни в бога, ни в черта. Выражение резкое, но оно передает мою мысль. Под именем бога я разумею убеждения утешительные, веру в бессмертие и благую причину, создавшую нас. Черт для меня есть материализм. Я даже не скептик, потому что верю в возможность чистых правильных убеждений и в возможность посильного разумения истины. Но спасительным маяком (что за пошлая вычитанная фраза) возвышаются для меня три идеи, в которых я вижу все, что есть самого высокого на свете: идея добра, правды и любви. В то время, когда моя душа бывает взволнована неизвестностью, сомнениями и неопределенными порывами, одни эти идеи могут ее успокаивать и хотя несколько ей отвечать. Зато они для меня все, и я должен *весь* им отдаться. Я верю, что все люди равны и что всякий имеет право жить и пользоваться благами жизни нисколько не меньше всякого другого. Из этого ясно обозначаются мои обязанности ко всем людям, да и распространяться не стоит: в трех вышеназванных идеях заключается ответ на все вопросы об обязанностях и правах.

Я уверен, что пользоваться благами материальными совершенно позволительно и быть эпикурейцем часа два в день даже полезно. Спокойствие часто бывает полезно для нас, слабых бойцов: в эти минуты мы собираем свои силы, обдумываем прошлое и будущее, собираем сведения и решаемся на усовершенствования. Насчет круга любимых занятий и выбора для своей собственной деятельности я не могу еще ничего сказать, потому что новый образ жизни и новые хлопоты должны сначала поприглядеться.

14 февраля.

Вот неудобство спокойной философской жизни: при первой потребности на деятельность ум, не привыкший действовать на поприще мелких жизненных интересов, беспокоится, усиливается, думает и передумывает о таких вещах, на которые плюнуть не стоит. Я готов себя прибить, до такой степени я малодушен: целые дни у меня вертятся в голове штатные места, хлопоты в канцелярии, награждения и представления. Эта атмосфера пошлостей до такой степени налезла на меня, что я не могу иметь мысли порядочной, не могу читать, не могу рассуждать о предметах, недавно близких к моему сердцу. Неужели я долго еще останусь в таком положении? Что мой дух придет в нормальное состояние, в этом я не сомневаюсь, но боюсь, чтоб эта пошлая тревога не оставила на мне следов и не втолкнула меня в колею чиновнических интересов.

Спешу объясниться перед самим собою: я поступаю в гражданскую службу не за тем, чтоб добиваться чинов и видных мест: ко всему этому я очень холоден и за несколько тысяч рублей в год готов дать подписку на всю жизнь остаться отставным подпоручиком. Мне надо каждый год несколько денег на мои прихоти и чтоб не быть в тягость семейству; служба может мне дать деньги, а я за то продаю ей часть моего

времени, более 5-ти часов в сутки. Вот вся история: стоит ли она такого великого внимания, которое я придаю ей?

Сегодня вечером я препорядочно себя выругал. Развлечься удовольствиями я не мог, потому что в кармане у меня не было ни копейки,— вещь весьма естественная и никогда не приводящая меня в уныние. Однако, что же нибудь надобно было делать; я раскрывал одну книгу за другой, но читаю я совершенно без удовольствия, оттого ли, что слишком много читал во время моей болезни, или от недостатка постоянного внимания вследствие теперешних хлопот.

Одну книгу я читал только в это время с удовольствием, это «Илиаду»; я ее перечитывал во время моей последней болезни и чуть ли не с этого разу вполне понял ее красоты. Смешной спор с одним нашим офицером побудил меня обратиться к чтению Гомера, и чтение это вполне меня вознаградило. Так как все лучшие места «Илиады» перечитаны мною по десяти и более раз, то на сегодняшний вечер я ее читать не хотел, а взял окончательно Байронова «Дон Жуана». Вот где можно найти лекарство от пошлых помышлений, вроде тех, которые мне теперь лезут в голову. Кроме едкой иронии, которая так поражает жизненное ничтожество, места светлые и поэтические как-то сильнее потрясают, выпавши из-под пера поэта-скептика. Когда я дошел до прелестных, грустно очаровательных сцен на острове пирата, слезы почти навернулись на моих глазах, и я, наконец, отдохнул от канцелярии.

Кстати о канцелярии. Об ней можно говорить и думать как о сцене моей новой комедии, но не более. В первое мое посещение физиогномии моих будущих товарищей не произвели на меня приятного действия. Я видел очень мало, но видел какие-то рожи с тупеями[26] и с пластырями на губах. Насчет любезности и учтивости пожаловаться, однако, нельзя, это не то, что чиновники Чичикова и Иван Антонович Кувшинное рыло[27]. Второй визит мой был счастливее. Исправив удачно мое дело, я вышел через комнату, где стояла кучка чиновников. Они посмотрели на меня с вопрошающим видом, я театрально прошел мимо них, холодно и спокойно посмотрев каждому в лицо. Сколько позволили мне мои плохие очи, я заметил несколько порядочных фигур. Не пошлет ли мне судьба из них какого-нибудь умного и горячего человека, с которым бы я мог сойтись по уму и по характеру? Неужели я так оригинален, что до сих пор из сотни приятелей не нашлось мне ни одного друга?

Между людьми, окружавшими его, Гоголь видел то, что другой не увидит, если его не толкнут носом в ту сторону, куда смотреть. Какой ряд занимательнейших наблюдений потребен был для того, чтоб в уме писателя сложился характер Селифана, Мижуева, не говорю об Ноздреве и Чичикове. А я сижу полдня между людьми нравственно уродливыми, истинно пошлыми, занимательными каждый в сфере своих действий, и ничего не могу высмотреть.

Последнее, впрочем, несправедливо: я разгадал частичку этих людей, знаю их интересы, слабые струны их характера, если б захотел, мог бы сделаться приятелем каждого из них и выведать много интересных

подробностей, да что толку из всего этого. Я вполне убежден, что нет на свете ничего, что б не было достойным кисти или пера художника, но я тоже убежден в том: чтоб верно изобразить какой-нибудь предмет, надобно его или любить или ненавидеть.

Гоголь любил тот мир, который он описывал, любил его так, как мы любим пустого, но забавного человека,— он наблюдал за миром этим с той же любовью, с какою Карр[28] наблюдал за букашками и растениями своего сада. Лермонтов, Пушкин и великий Байрон глядели на окружающий их мир с гневом и отвращением. Гёте, которого называют холодным, был не потому всеобъемлющ, что был холоден, а потому, что в душе его равно помещались обе стороны взгляда на жизнь: и любовь, и негодование.

В характере Гёте, каким воображаю я его, нахожу я сходство с моим характером. Я вовсе не бесчувствен, холодность моя к внешнему миру происходит оттого, что во мне слишком много чувства, не глубокого, но разнообразного. Это-то разнообразие и вредит мне,— изведавши в миниатюре многое, я даю отзыв на многое, но дело в том, что могучести в душе недостает. Я способен понимать и благородные стремления, и грубый разврат, и бескорыстный труд с его сладостью, и полный эгоизм с индифферентизмом,— я люблю и природу, и науку, и людей, и самого себя, но все эти побуждения проявляются слабо, чуть слышно, незаметно. Надобно бы написать целую книгу о вреде энциклопедического воспитания.

14 juillet 1846.

Mon épitaphe

Soldat d'arrière garde, frappé d'une balle morte
Je tombe sans avoir combattu,
Et je vais pour paraître où le destin m'emporte,
Sans crime et sans vertu.

Enigme lamentable, où notre esprit s'arrête,
Je t'ai cherché partout;
Ami, sur ce point ne casse pas ta pauvre tête:
Un jour tu sauras tout.

16—17 juillet. Nuit.

Sur les Chansons de Béranger

Chansons cheries si tendres et si vibrantes,
J'entends encore votre son consolateur
Puisse votre voix, si noble et exhaltante
Vibrer toujours dans tous les nobles coeurs!

Qui ose rêver la gloire et la tendresse
Du temps passé, de sainte liberté
Sans te connaître, poête de la jeunesse
Poête de gloire, poête de volupté?

Peut être un jour, vieux, triste et solitaire
Vers le néant trainant mon pauvre corps

Pour revoir ce que j'aimais sur terre
Ces pages aimés je relirai encore.

A cette lecture les objets de tendresse,
A mon esprit viendront se présenter,
Et je reverrai le temps de ma jeunesse
Le temps d'amour, le temps de liberté.

16 juillet 1846.

Marengo

Jeune, faible, sur son courcier à la blanche crinière
Tout pâle,— Il se penchait,
Et son regard brûlant, abaissé vers la terre
[La semblait attaché]
Y restait attaché.
Au loin, de cent canons eclatait rugissait le tonnerre,
Et dans le rouge lointain
[Defilait devant lui]
S'avançait à la charge la Garde Consulaire,
Ses vieux républicains... *

17 июля, ночью.

Жаркие ночи, бессонные ночи!
Как тягостны стали оне,
С тех пор как игривые детские очи
Не грезятся более мне.

---

14 июля 1846.

Моя эпитафия

Солдат тыла, сраженный смертельной пулей,
Я падаю, не быв в сражении,
И я иду туда, куда меня влечет судьба,
Без греха и без добродетели.

Горестная загадка, перед которой останавливается наш разум,
Я всюду тебя искал;
Друг, над этим не ломай бедной головы:
Однажды ты узнаешь все.

16—17 июля. Ночь.

На песни Беранже

Милые песни, нежные и страстные,
Я все еще слышу ваш утешительный напев.
О, пусть ваш голос, благородный и воодушевленный,
Звучит всегда во всех благородных сердцах!

Кто дерзает мечтать о славе и нежности
Прошлого, о святой свободе,
Не зная тебя, поэта юности,
Поэта славы, поэта сладострастия?

Быть может, однажды старый, печальный и одинокий,
Влача свое жалкое тело к небытию,
Чтобы снова увидеть то, что я любил на земле,
Я еще раз перечту любимые страницы.

[Но помню мечты я, которыми]
А помню, с какою отрадою прежде,
　Бессонницу я вызывал,
И, не смыкая усталые вежды,
　Я и заснуть не желал!

<1847 г.>

<Весна.> [29]

Псих<ологические> заметки.

Рассматривая и тщательно анализируя прошлое время, я должен согласиться, что в жизни моей была одна эпоха, в высшей степени для меня благотворная. Она продолжалась с год, случилась не внезапно, а вытекла из обстоятельств, из круга мыслей, которые ее подготовили,— и со всем тем, действие ее отразилось и в настоящем времени и, по всей вероятности, нескоро во мне истребится. Теперь моя работа должна состоять в том, чтоб или снова пойти по старому, благословенному пути или всеми мерами стараться поддержать в себе все то, что два года тому подобрал я на пути этом.

Пора эта была не порою страстей и неопределенных порывов, а временем спокойствия и наслаждения. Если б она протянулась до сих пор, я б сделался величайшим эгоистом, a force d'être heureux *. Впрочем, что прошло, о том жалеть нечего.

Мое эпикурейское, бессовестное, насмешливое равнодушие к внешним обстоятельствам моей жизни укоренилось в душе до такой степени, что истребить его нет возможности, если б я даже и захотел этого. Не испытавши себя, я воображал, что самолюбие может быть великим

При этом чтении нежные предметы
Всплывут в моем сознании,
И я снова увижу время моей юности,
Время любви, время свободы.

16 июля 1846.

Маренго

Молодой, хрупкий, на своем белогривом коне,
　Совсем бледный, он склонился,
И его горячий взгляд
　[Казался прикованным]
　Был прикован к земле.
Вдали из сотен пушек [разразился] заревел гром,
　И в красной дали
　[Прошла перед ним]
Двинулась в атаку консульская гвардия,
　Его старые республиканцы... *(франц.)*.

* стремясь быть счастливым *(франц.)*.

двигателем моей натуры. Теперь я убедился в противном: леность, беспечность, которые одолели меня тотчас же после неожиданного, незаслуженного почти успеха, ясно говорят, что страшное это самолюбие имеет весьма ограниченные размеры.

Ознакомившись поближе с главным двигателем, кажется, можно смело увериться, что великие деяния, страстные порывы и наслаждения душ избранных вовсе мне не по плечу. И сознание это мне не противно: я не имел никогда глупости ставить себя выше всех людей, я только любил ставить себя выше того кружка, где я ворочался, и в этом случае не ошибался. Если были исключения, они не оскорбляли меня.

Природа дала мне, как всем людям слабого сложения, способность страдать более при малых несчастиях и способность извлекать из каждого события жизни возможно большую массу наслаждений. Моя жизнь кой-что переменила в этих способностях; страдать я совершенно разучился: высшую степень страдания называю я скукою, да и та является только при начале весны и в середине осени. Наслаждаться я не могу, как бы я хотел, ни средства мои, ни образ жизни того не допускают, и я иногда с завистью смотрю, как для других открыты источники наслаждений, из которых я не могу черпать.

Но организм человека способнее к наслаждению, чем к страданию, здравый смысл подтверждает эту аксиому: мы смеемся над человеком, который сам создает себе горести, сочувствуем тому, который борется с обстоятельствами, находит отраду в этой борьбе, при несчастии нравственном хватается за материальные наслаждения, при болезни и слабости развлекает себя усиленною умственною работою. Диоген в бочке был бы очень хорош, если б был не так скандалезен, Гераклита можно сносить только потому, что он плакал не о себе, а об роде человеческом.

Жизнь есть наслаждение (не надо понимать этого слова в возвышенном, идеальном смысле): со всеми физическими жизненными проявлениями, со всеми нравственными явлениями природа сочетала удовольствие. В высшей степени развитый человек не должен знать страданий, разумеется, если положение общества не ведет к этому.

Есть люди, которых воспитание шло так ловко и удачно, события в жизни которых устраивались так складно, что результатом всего этого вышло правильное развитие всех их способностей. Если б мы имели средство узнавать такого человека в толпе, тогда к нему могли бы быть и взыскательнее, но дело в том, что таких людей мало. Большая часть из нас живет только одною стороною своего существа, и делать с этим нечего: надо стараться и из этого состояния извлекать всю возможную пользу. Строить реформы в самом себе хорошо в том только случае, когда у нас станет способности на реформу, без этого что толку обрекать себя на терзание и бессильные усилия к достижению недосягаемого идеала?

Я читаю мало и без охоты, последняя книга, которую я пробежал, были «Письма путешественника» Жоржа Санда[30]. Результат идей этого сочинения противоречил недавно изложенным мною мыслям, из этих

страниц, наполненных длиннотами, но проникнутых горячим, страдальческим чувством, я видел ясно, что чем выше, сложнее нравственный организм человека, тем большую дань платит он горести и страданиям.

Причину этого легко понять: такому человеку суждено болезненно сталкиваться с порочным, неправильно развитым обществом. В настоящее время можно почти угадывать степень развития души человеческой, видя, как человек этот уживается с обществом.

Я беру в пример себя: я уживаюсь с обществом, хотя и не совсем дружелюбно. Я могу всякое утро видеть людей, из которых одни пошлы, другие заносчивы и избалованы жизнью. Одни подличают и хитрят, другие важничают и от души воображают о себе, что они значительные люди. Видя все это, я возмущаюсь на несколько мгновений, а затем какая-нибудь насмешка, какой-нибудь кукиш, показанный из кармана, мигом меня утешают и направляют мои мысли далеко от этих господ. Я могу холодно смотреть на уморительные занятия нашей администрации, без отвращения сознавать, что ни одна благородная идея, ни одно энергическое дело не прорывается в груде всей этой вялой чепухи. Уходя из этого места пошлости и душевного онанизма, я совершенно забываю, что я делал, что я видел поутру — дурные впечатления только скользнули по моей душе и исчезли окончательно.

Вот один пример, до крайности сжатый, но весьма ко мне близкий. Взглянем, как уживаются с этой же самой действительностию организмы других размеров.

Возьмем сперва людей, которых и мое мнение, и общее мнение ставит на самую низкую ступень умственного развития. Для этих людей служба есть необходимость, они простодушно сознаются, что дома им скучно, что там нечего делать. Этих людей нельзя назвать счастливыми, но они в высшей степени приладились к середине, в которую поставлены: другого счастья для них быть не может.

Одной ступенью выше: те уже хитрят и среди служебных занятий находят обширное поприще своей деятельности. Все стороны их души расположены к действованию в этой сфере. Всякая сплетня, всякая перемена для них событие, и событие важное, потому что в нем открыт путь собственному их интересу. Эти люди бывают несчастливы, если служба не везет им, вполне довольны, если дела их идут хорошо.

На третьей ступеньке ставлю я таких людей, как я; люди ступенью выше меня не станут делать того, что я делаю по утрам (я беру в расчет: если они в таком же положении, как я).

Организм еще высший или зачахнет от тоски, или свернется начисто и сделается порочным, или захочет бороться с действительностию и совершенно погибнет.

Организм еще высший старался бы переделать все по-своему, успех зависел бы от средств, но во всяком случае он пустил бы в ход несколько идей, которые принесли бы желанные плоды по прошествии, может быть, долгого времени.

Из этого мелкого примера, по аналогии, можно достигнуть до того убеждения, что каждая степень человеческого развития требует непре-

менно и середины, ему соответствующей. Человек, который живет спокойно в девятнадцатом веке, в шестнадцатом был бы одним из несчастнейших, лучший гражданин Соединенных Штатов погибнул бы, если б судьба назначила ему родиться в Ирландии. И так далее и так далее.

Но обратимся к «Письмам» Жоржа Санда, они зародили во мне еще вопрос. Я допускаю, что возвышенные души всегда почти страдают, что общество перед ними виновато, терзая их или представляя им себя самое как зрелище жалкое, представляя им людей как жалкий род, достойный слез и смеха [31]. Я допускаю, что оптимизм и холодное равнодушие совсем не так велики, как прежде о них думали.

Но вопрос таков: позволительно ли страдать и не выискивать средств к облегчению *своего,* не чужого страдания? Позволяется ли ставить свой эгоизм в такое несчастное положение, что из него ровно ничего извлечь невозможно? Исполняет ли свое назначение та душа, которая вся отдается на чужую пользу, которая принимает как должное себе и борьбу, и ожесточение, и тоску, и мрачное отчаяние?

Короче: смотреть ли на себя как на единицу, которая ничего не значит без целого, или смотреть на целое как созданное единственно для нас?

Одним словом, куча ерунды теснится в моей голове, обо всем этом надобно подумать.

По старой привычке, весна продолжает производить на меня самое благодетельное действие. Нынешний год, впрочем, она начала свое дело совсем не так хорошо, как я предполагал. Целую половину марта месяца мне было очень скучно, работать не хотелось, отвращение к чтению возросло до последней крайности, случалось, что я просиживал по три часа в темной комнате, ничего не делая, ни о чем не думая. Потом скука начала проходить, а за нею явилось знакомое расположение духа, вполне ей противоположное.

<1848 г.>

Продолжение психологических заметок.

23 февраля 1848. 6 мар<та> 1848.

Нравственная моя система имеет большое сходство с расстроенным желудком,— воспалений и страшных припадков с нею не бывает, но зато она подвержена множеству мелких недугов, на первом плане которых стоит апатия, постоянное колебание и болезненное стремление к вещам недоступным.

Я уже изучил эти болезни, и если б не леность, я мог бы побороться с ними; наконец, в эти три месяца самолюбие мое так баюкалось, что недуги эти не появлялись. Но недавно явилась наместо их новая болезнь, отчасти сходная с прежними припадками, отчасти им противоположная. Болезнь эта так странна и сильна, что зародыш ее приписываю я физическому расслаблению.

Вот главнейшие симптомы: 1) Омерзение к действительности и к моим занятиям. Литературная работа уже не заманивает меня, как прежде, но все-таки к ней я никогда не охладею совершенно. Но зато служба, домашняя жизнь огадились мне до последней крайности. На службе я ничего не делаю, потерял и охоту, и способность работать, и, несмотря на то, что меня оставляют в покое, вид канцелярии, вид бумаг, запах этих комнат производит во мне лихорадочное отвращение. Прежде я имел на службе людей, которых несколько ненавидел и ругал с удовольствием, а теперь я вполне помирился с ними. При сильном отвращении нет места для ненависти.

2) Какая-то страшная боязнь за будущее. Мне так и кажется, что меня запрут и заставят работать, что я испорчу здоровье и погибну над бумагами или что я захочу разорвать эти обстоятельства, наделаю в семействе бездну горя и сцен, об которых не могу помышлять без досады. Я всю жизнь жил в семействе и совершенно антипатичен семейству. В «Алексее Дмитриче» я развил эту идею, но только вражда моя не сильна, а скорее может назваться тягостным отвращением. Во мне есть странность: чтоб я был привязан к людям, потребно, чтоб эти люди держались от меня на почтительной дистанции.

3) Неодолимая потребность уединенных занятий и природы. Никогда не был я так близок к тому, чтоб плюнуть на все, поселиться в деревне и начать учиться. Всякое противодействие этому желанию пробуждает во мне негодование. Я стиснут обстоятельствами, но не отчаиваюсь и выжидаю. Если б у меня не было идей на этот счет, если б я не имел куска хлеба и был бы завален работою,— мысль о самоубийстве не раз промелькнула бы в моей голове. Теперь я труслив, потому что положение мое, точно, не совсем дурно, а тогда б я пришел в отчаяние и наделал бы черт знает чего.

В желании моем отшатнуться от теперешних моих занятий есть своя совершенно разумная сторона: мне надобно учиться и восстановить свое здоровье. В настоящее время бездействия я подвел итоги всех моих прежних занятий и сведений, имеющихся налицо в моей голове. Определить теперешнее состояние мое могу я одним фактом.

Вчера я хотел выбрать себе книгу для чтения, и в каталоге пробежал до ста названий знаменитейших ученых и изящных произведений, древних и новых. Я себе не мог выбрать ничего, и с отчаяния решился читать Тита Ливия, надеясь простотою древних писателей исправить свой в высшей степени расстроенный вкус.

Я знаю решительно все, кроме некоторых естественных наук, и все знаю прескверно, чрезвычайно многого я не в состоянии понимать. Некоторым трудом можно одолеть трудности чтения,— но зная результаты, какая мне охота читать предисловия. Например, мне принесли сочинения Спинозы: никогда не читав его, я поверхностно знаю основания его системы, знаю краткое содержание его сочинений, знаю, чем грешат они, знаю, что мало живого извлеку я из этих сочинений: как же после этого бросать два месяца на упорное чтение жида, хотя и «опив-

шегося идеею божества» (ivre de Dieu*)? Этот пример может служить верным образчиком моих сведений.

Но пора кончить эти вечные колебания и трудом добывать себе возможную степень усовершенствования. Дорога открыта передо мною, я щедро награжден за все мои усилия, и успокоиться теперь на лаврах, нахватанных кое-как, будет вещь непростительная. Прошлая жизнь моя пусть служит мне примером: мой талант не родился со мною, я приобрел его трудом, хотя и не тяжелым, но сознанным и добросовестным. Мне хотелось быть писателем, и я получил и успех, и возможность идти прямо, к определенной уже цели. Я еще молод, и много времени передо мною. Надо пересилить апатию и идти вперед.

Учиться теперь надо не из книг, надобно схватиться с собственными своими мыслями, изучить их и развить их, применить их к практике. Надо, чтоб мысль теперь окрепла, возмужала и приучилась к деятельности. Пора работать, работать не над книгами, а над собою.

Психол<огические> замечания.

Ежели я со временем переломлю все препятствия, которые стесняют меня и делают несчастным, мне приятно будет, посреди невозмутимого спокойствия, посреди наслаждений, которые только доступны моей слабой натуре, перечитать эти заметки, писанные во время душевной апатии, мелких огорчений и неопределенных порывов. События, которые меня теперь возмущают и мучат, получат интерес давно прошедших глупостей, и я с большею ясностью буду их понимать и оценивать.

Меня не покидает мысль описать со временем свою жизнь по истинной совести, не отступая ни на шаг от правоты. Жизнь моя представляет обильный материал для писателя, который умеет излагать ход психологической деятельности человека. Да кроме того, и во внешнем интересе не будет нуждаться моя история.

Жизнь моя была разнообразна, потому что я мог много наблюдать. Я постоянно бросался из стороны в сторону, испытывал разные роды деятельности, приходил в соприкосновение если не с замечательными людьми, то с замечательными классами общества. Я почти не оставлял Петербурга, центра нашей деятельности; ежели я не видал многого, зато я слышал многое и размышлял обо всем.

Чрезвычайно много общественных вопросов зацепили меня своею хорошею или худою стороною. Я имел время ознакомиться с значением семейства, испытал воспитание публичное, видел своих сверстников, молодое наше поколение во всех возможных видах. Я достаточно понимаю литературное движение нашего времени, и понимаю его вдвойне, потому что мог наблюдать и за публикой, и за писателями.

Я очень мало ездил по свету и мало видел событий, но те места, где я был, те люди, которых я видел, твердо врезались в моей памяти, обо всяком из них я могу дать обширный отчет. А этих людей было много;

---

* пьяный богом *(франц.)*.

надобно сотнями считать лиц, с которыми был я в близких сношениях, я, домосед и ленивец.

Да и какая надобность в интересе фактическом там, где все произведение основано на психологических переворотах. По мере того, как сам я ближе себя понимаю, видится мне, что жизнь моя не есть одно сцепление бестолковых действий и пр.

Никогда не испытывал я еще такого странного состояния духа, как в настоящее время. Радость и горе, хлопоты и спокойствие, беззаботность и усиленный труд, уныние и безотчетная веселость, опасность и надежда,— все это до того перепуталось и сшиблось, что поставило меня в странное положение. Никогда еще отдых, спокойная жизнь не являлись мне до такой степени привлекательными; я чувствую, что счастие у меня под боком, что мне стоит только протянуть руку и достать его...

Кажется, с этой дороги меня не собьет ничто на свете: через год, через два, через три, может быть,— а я буду жить по методе приятеля моего Карра, шататься под высокими деревьями, строчить ерунду и вспоминать об людях и прежней жизни, как о сне довольно тяжелом. Мало-помалу воспоминания вступят в свои права, и прошлое будет казаться мне уже не так противным, может быть, и привлекательным.

Наконец, пришла пора убедиться, что ежели бы я захотел трудом пробивать дорогу, я бы ровно ни до чего не достигнул; это не потому, чтоб общество враждебно глядело на меня, а потому, что *я неспособен ни к какому постоянному практическому труду*. Что же с этим делать? Не всякому дана деятельность, а моя деятельность так ограничена. Если б я был человеком без всяких средств, я б трудился и мог бы занимать какую-нибудь ученую должность, а теперь я и этого не желаю.

Но надо всеми моими мыслями была одна мысль, во всех случаях моей жизни проявлялось одно стремление, которое вам легко будет угадать, если вы прочли внимательно начало моего письма. В одном из моих сочинений я цитировал мысль Жоржа Санда: «Le repos, c'est Dieu» *[32]. С мыслью этою я никогда не расстанусь: много раз она меня выносила из беды и вера моя в нее крепнет с каждым новым случаем.

С тех пор, как я начал сознательно глядеть на жизнь и на мое положение в свете, я убедился, что не играть мне никогда значительной роли, не достигнуть возможности наслаждаться и действовать так, как бы мне хотелось. Слабое мое сложение не допускает упорного труда, хотя в душе у меня много постоянства, но его некуда употребить. Да сверх того, для кого и для чего буду я трудиться и пробивать себе дорогу? Во всем свете нет существа, которым бы я очень дорожил, мои же потребности сумел я ограничить так, что могу удовлетворять их из самых ничтожных средств. Я до того выучился науке наслаждаться пустяками, что довольно равнодушен и к богатству и к славе.

Природа, наградив слабые организмы способностью живее чувствовать горе, наделило их и способностью наслаждаться чаще и с большим

* Отдых — это бог *(франц.)*.

постоянством. Возьмем жизнь человека в мелочах: тот, кто спит, как мешок, без просыпа, не так ценит сон, как человек нервический; человек железного сложения не способен к гастрономии; наш брат засыпает над книгою, а Белинский боится читать на ночь, потому что одна светлая мысль, одна живая картина награждает его сумасшедшим восторгом.

Странно признаться, но в настоящем случае должно говорить откровенно: по восприимчивости и способности наслаждаться я совершенный ребенок и, вероятно, ребенком останусь до конца жизни. Летом я совершенно счастлив, когда вижу зеленое поле или красивое дерево; во время последнего моего отпуска, живши в деревне, я был одним из счастливейших людей на всем свете. Если я вижу перед собою два спокойные дня, в которые я могу располагать собою, делать, что хочу, то есть ничего не делать, я доволен вполне. Вы поймете, что с таким расположением души в самой пустой, мелкой жизни открываются недоступные другим людям удовольствия. При упорных занятиях и большой деятельности невозможны такие удовольствия, но странное дело: горе, как бы оно сильно ни было, наталкивает нас на мысль оторваться от света и искать другой жизни, других радостей внутри самого себя.

Жалеют об людях, гонимых светом, которые вследствие сильных потерь и огорчений с омерзением отшатнулись от общества и живут одиноко, угрюмо. Поверьте, что если такие люди *живут,* значит, они находят в самих себе новые источники жизни. У сильной души дело никогда не станет за горем и радостями, то и другое найдется. Только иной поддается своему горю, другой опять полезет на борьбу, а третий будет думать, как бы устранить от себя горе и возвысить свою способность наслаждаться. Вот три результата, к которым приводит нас уединение, вынужденное враждебными обстоятельствами: *апатия, ожесточение* и *спокойствие.*

Бестолков тот, кто смотрит на спокойствие духа как на апатическое, вялое и вредное состояние. Дело в том, что спокойствие бывает бессознательное и *сознанное.* Нечего толковать об этом различии, довольно припомнить собственную свою жизнь в разные эпохи.

Спокойствие, которое вполне сознано и оценено, есть высокое благо. Оно прорывается везде и во всем, самый огорченный человек может иметь спокойные минуты, а удалившись от света, он обеспечивает себя от горя, если выучился хранить свое спокойствие и пользоваться им. Спокойная жизнь впереди должна утешать и поддерживать нас, молодых людей, для которых еще много жизни впереди,— это пенсия, на которую рассчитывает чиновник и в виду которой часто несет он труд не по силам.

Старайтесь же собрать все ваши силы, бодро встретить армию горестных обстоятельств и завоевать себе спокойствие если не в настоящем, то в будущем. Если б вы разом перевернули себя, перенесли бы с холодностью беду, которая вас постигла, и уверяли бы всех, что вы покойны и счастливы,— я б не порадовался этому. То был бы признак отвращения или апатии. Пусть молодость и раздражительность берут свое, потоскуйте, посердитесь и, высмотрев неприятеля, нападайте на

него прямо. Исследуйте ваш характер, переделайте его в чем можно, не убегайте ничтожнейших развлечений, стройте воздушные замки, а главное, помните, что вы еще очень молоды, что горе пройдет и придет пора пользоваться жизнью.

Вы, может быть, спросите меня: «Отчего же сам проповедник спокойствия и отчуждения от жизни, любитель мелких наслаждений, не ведет той жизни, которую он так расхваливает?» Запрос очень справедлив и заслуживает объяснений. Не взыщите только, что сегодня я расположен говорить притчами и сравнениями, меня так пугает психологический тон моей темы, что я хочу хоть сколько-нибудь его поразнообразить.

Дело в том, что я похож на человека, который выехал в дальнюю, не совсем скучную дорогу. За ним едет его покойный экипаж, путешественник уже несколько устал, несколько раз спотыкался, а все идет себе пешком и не хочет садиться. Почему же он идет пешком: нравятся ли ему места, лень ли ему подозвать карету, боится ли он засидеться в ней до скуки...— кто его знает, да и сам он может ли дать себе отчет во всем этом?

На таких мелких, непонятных сплетениях мыслей вертится бо́льшая часть человеческих поступков. В приведенном примере я разумею не пустого человека, который, обладая средствами жить спокойно, бьется и работает из жалкого интереса,— я разумею самого себя, разумею людей просвещенных, но слабых перед жизнью, которые могут и не умеют воспользоваться одиночеством и спокойствием.

Хитрить я не намерен, я очень знаю, что принявшись за дело с твердостью и постоянством, могу преодолеть разные семейные препятствия и выбрать себе род жизни, который обещает мне спокойствие, тихий труд и возможно большую сумму наслаждения.

Прод<олжение> психол<огических> заметок
<Письмо 1.>

Так как в нашем разговоре, по всей вероятности, будет иметь участие и третье лицо, а может быть, и несколько лиц,— то я удержусь от всякого выражения участия и сочувствия, чтоб выражение это не было перетолковано в худую сторону. Да и кроме того, фразы будут бесполезны, вы хорошо знаете, что я чувствую ваше горе так горячо, насколько позволяет мне моя холодная и эгоистическая натура.

Признаюсь вам откровенно, я боюсь не того, что случилось с вами, несчастие ваше не может быть продолжительно, но меня более тревожит мысль, как перенесете вы это тяжелое время? Не будь вам 21 год, будь ваш характер не так раздражителен, не будь вы так наклонны к мнительности и создаванию воображаемых несчастий,— я был бы совершенно спокоен на ваш счет. Главная опасность находится внутри вас. Вы можете стосковаться, вдаться в праздность и ожесточиться. Вы должны знать, что вам грозит, и, собравши все ваши силы, приготовиться на борьбу с неприятелем, который кроется внутри вас.

Не сравнивая себя с вами, я имею некоторое убеждение, что из моей жизни могу я отыскать один пример, который сходится отчасти с вашим положением, не внешними обстоятельствами, а впечатлением на меня произведенным. Я расскажу вам этот случай, интересный в одном только психологическом отношении. Я знаю, что давать советы или ставить себя в пример вещь иногда пошлая, иногда в высшей степени трудная, но я решаюсь на подобную попытку. Если она неудачна, зачтите мне хотя мое искреннее желание быть вам полезным по мере моих сил.

Натура моя не была постоянно так холодна и сосредоточена, как в настоящее время: темперамент у меня нервический, и вы, может быть, замечали следы этого обстоятельства, во время наших разговоров было одно обстоятельство, чрезвычайно несложное, которое привело меня к тому, что я *сам* изменил свой характер и довел себя в двадцать три года от роду до такой степени, что смело могу сказать: «я застраховал себя от всех несчастий».

С той поры случалось и много горя, и не раз,— и постоянно я превозмогал его до такой степени легко, что мне самому становилось странно. Я ставил себя на ваше место, и внутреннее убеждение сказало мне, что будь я на вашем месте, я бы не смигнувши, не поморщившись, перенес бы то, что с вами случилось.

А между тем, я еще не имею выгод, которыми вы пользуетесь: я беден, я ленив до крайности, я старше вас, и кровь моя двигается медленнее, и я не могу рассчитывать на долгую жизнь впереди. Кроме того у меня есть мать, которую я люблю не шутя, и которая, несмотря на мои старания, до сих пор убеждена, что перед ее сыном открыта блестящая будущность.

Постараюсь вкратце передать вам историю переворотов, которые довели меня до такого спокойного, твердого, хотя очевидно неестественного, состояния духа.

Мне было семнадцать лет, и я кончал курс, когда умер мой отец. Человек он был в высшей степени честный и доверчивый. Я его очень любил, потому что долго жил с ним в семействе, но подобные горести скоро забываются,— забылась бы и эта, если б не случилось одного обстоятельства, которое отзывается надо мною и до сих пор.

Отец имел хорошее имение в СПб. губернии, полагали, что у него есть деньги, кроме того, множество лиц были ему должны. Судя по этому, семейство наше было обеспечено, но дела иначе вышли. Доверчивость погубила состояние моего отца. Имение оказалось все заложенным, денег не было, по векселям затянулись дела, а на нас поступила бездна частных претензий. Прибавьте к этому горе и отчаяние матери, совершенную неспособность к делам мою и моих братьев, советы и несносное участие людей, которые вредили отцу при жизни, и вы поймете приятную жизнь, которая встретила меня при выступлении моем в свет.

Короче сказать, мы более года почитали себя в конец разоренными, жили тесно, сокращали расходы, и все, что ни окружало меня, жаловалось на свою судьбу.

Я был глубоко несчастлив в это время. Был я воспитан на свободе и в полном довольствии, товарищи мои по корпусу были все богачи и аристократы, были все очень глупы, и их счастье кололо меня в самое сердце. Была у меня мысль служить и работать, выучиться делам и приняться за устраивание нашего состояния, но на все это требовались годы и годы, требовалось терпение, а мне было только восемнадцать лет,— а главное, я был совершенно неспособен к практической жизни. Средств у меня было мало, потребности гигантские, и всякое столкновение с действительностью более и более ожесточало и давило меня. Я получил глубокое омерзение к жизни,— причина тому очень ясна.

Ровно четыре года назад, весною, познакомился я с одним замечательным человеком, который заслуживает один целого романа[33]. Это был художник, который никогда не написал да и не напишет ни одной картины. Жил он в отдаленном уголку Петербурга, в крошечном флигеле, посреди запущенного сада. Все состояние его заключалось в двух тысячах ассигнациями годового дохода, я был перед ним богачом. Человек этот был настоящий философ, немного поопрятнее Диогена, много читал, любил музыку и живопись, а в свободное время шатался по улицам безо всякой цели. Ни разу не видел я его угрюмым или просто скучным, разговоры с ним доставляли мне неописанное облегчение. Он видел много горя: женщина, которую он любил, умерла (ему было 22 года во время ее смерти), на службе его пробовали притеснять, да он тотчас же вышел в отставку, и не позаботившись о состоянии своего кармана.

Долго будет описывать вам благотворное влияние человека этого на мой образ мыслей, он дал мне, между прочим, совет готовить себя на литературную дорогу. Я не вполне послушался его и, кроме того, поступил в гражданскую службу, от которой он меня отговаривал. Но более всех разговоров действовал пример. Видя каждый день это спокойное, умно-беззаботное лицо, я дошел до убеждения, что можно посредством размышления и сокращения своих потребностей поставить и себя в такое блаженное состояние нравственного равновесия. Любимый афоризм этого человека был такой: «Не торгуйтесь с жизнью, берите как есть, а потом глядите в оба». Впрочем, к таким отвлеченностям разговоры наши редко подходили.

Первые меры, которые взял я с целью облегчить свою участь, были отчасти глупы, отчасти внушены довольно грубым эгоизмом. Начало поневоле было не совсем ловко сделано, но я был тогда молод. Чтоб избегнуть вида семейных огорчений и нужды, я совсем не жил дома, а если сидел у себя в комнате, то занимался чтением и писаньем всякой ерунды: как все юноши, я был уверен, что из меня выйдет превосходный писатель. Много времени проводил я у моего приятеля, где иногда собирались два человека, подобные ему, и трудно представить себе что-нибудь полезнее, оживленнее этих разговоров. Остальное время я ходил и размышлял; о чем размышлял я, этого совершенно не умею вам сказать,— но знаю только то, что такие прогулки доставляли мне бездну пользы. Время было летнее, мéста и зелени было довольно. В полку я имел должности, которые избавляли меня от тяжелой стороны военной

службы. Нет сомнения, что процесс этого мышления не был нормален, нет сомнения, что я поминутно сам себя обманывал, да что же из всего этого? Тем ли, другим ли путем далось нам счастье,— не все ли равно? К тому же я был молод, я выучился извлекать весь сок из каждого наслаждения, а наслаждения кое-какие были.

Продолж<ение> псих<ологических> статей

Пись<мо> 2.

Если не скучно, станемте продолжать наши рассуждения об одиночестве, спокойствии и об оборонительной тактике против бед практической жизни.

Раздражительно сосредоточенные характеры, к числу которых и мой, и ваш относятся, могут в некоторых случаях сделаться смешными и достойными сожаления. Горестная эта оказия может произойти тогда, если человек ударится в беспричинную мизантропию, вообразит себя непризнанным гением, мучеником общественного устройства и так далее и так далее. Роль эта довольно эффектна, и если ловко надувать самого себя, то можно, к вящему своему удовольствию, выдержать ее надолго. Не мне восставать против надувания себя самого: «тем или другим путем, будьте счастливы и спокойны»,— вот мой совет и вся моя мудрость.

Но такое надувание представляет много неудобств: в основе его лежит мысль, которая способна раздражить самую ленивую натуру, а кроме того, когда придет пора убеждения в этом, что силы наши слабы, что мы не лучше других людей, мы можем горько обвинять себя и прийти к раскаянию, которое, как вам известно, есть большой грех.

Лучше сознаться прямо и просто, что воспитание наше не приготовило нас к жизни практической, что тревожный наш характер не уживается с горькими проделками действительности,— и, сознавшись во всем этом, предаться тихому отчуждению от интересов общества. Ласкать себя мыслями, что я лучше других, что мне-то именно и суждено было сталкиваться на жизненной дороге с людьми недостойными. Думать все это я позволяю сколько угодно, но не надо вполне увлекаться такими мыслями, не следует рисоваться перед самим собою.

Если поставить себя на место человека, который не может удалиться в полное уединение, то легко можно заметить, что такому человеку трудно быть спокойным и удержаться от желчной, порывистой мизантропии. Счастлив тот, у кого есть свой уголок, куда не доходят слухи о возмутительных дрязгах, где можно жить одному с тем обществом, которое мы сами себе составили.

Художник, о котором говорил я вам недавно, составлял блестящее исключение, потому что он ухитрился в Петербурге, центре роскоши и деятельности, отыскать себе спокойный пункт, из которого с насмешкою оглядывал он жизнь, в которую рвутся тысячи людей, чтоб изнемочь, поглупеть и распроститься с человеческим достоинством. Но то был человек закаленный в житейском горе; если б он захотел жить, как живут

другие, он сумел бы пробить себе блестящую дорогу. А мы с вами, если б и выдумали терпеть, мучить себя, усиленно трудиться, все-таки ни до чего б не дошли.

Можно перетолковать мои мысли в худую сторону и подумать, что я выражаю такую доктрину: «Мне не суждено играть роли в жизненной комедии, следовательно я сам удаляюсь со сцены. Прочь от меня всякая деятельность, кроме той, которая ведет к эгоистическому спокойствию».

Я вовсе не враг деятельности, но мы с вами непременно должны действовать на той дороге, где некому нас смущать. Вам предстоит труд устроить ваше большое имение, мне следует возиться с моим, только трудиться надобно без особенных усилий, не огорчаясь хлопотами и неудачами. Нам следует возделывать ту частичку таланта, который мы имеем, с мыслью извлечь из него все, к чему он способен.

З<аписки> х<олерного> в<ремени>.

16 и<юня? июля? 1848 г.> [34]

Я того мнения, что везде, где есть опасность, есть и своего рода удовольствие. Человек так устроен, что всегда частичка его организма расположена к наслаждению: чем слабее организм человека, тем доступнее ему наслаждения, чем более препятствий, тем цель кажется краше. Я видел людей, которые были под пулями и которые непричастны пошлым идеям геройства, что же: люди эти говорили, что день, проведенный посреди опасности, навсегда остается приятным воспоминанием. Лишняя минута покоя ценится только при беспокойной жизни, здоровье ценится, когда человек окружен больными, никогда человек так не выучивается гастрономии, как при лишениях для желудка, во время странствований или военных переходов.

Чем объяснить любовь старых гроньяров [35] к военному ремеслу если не удовольствием, которое сопряжено с опасностями. Род человеческий глуп, это правда, но все же не настолько, чтоб увлекаться одними бестолковыми, высокопарными идеями, которые даже в курсах истории и в газетах сделались пошлыми.

Возьмем игроков, которые любят свое ремесло, неужели одна только страсть ими двигает — жажда прибыли? Тогда бы разбогатевший игрок с отвращением бросал бы карты, тогда каждый из них только бы и помышлял, как устроить свою независимость и навсегда отказаться от игры. Тогда бы игрока одушевляли те же чувства, что и чиновника, мечтающего о пенсии, а между тем игроки смотрят на чиновничью жизнь как на вещь жалкую и презрительную. Нет, игрок имеет другие наслаждения: рискуя каждый день тем, что люди почитают величайшим благом жизни, деньгами, он в самом риске и в опасности лишиться этого блага находит источник живых наслаждений.

Св. Августин сказал: «Приятно быть на корабле в бурю, если знаешь, что корабль останется цел». Я совершенно согласен с этой мыслию, но кажется мне, что для большего удовольствия следует, чтоб при опас-

ности была и часть неизвестности. Если б меня посадить на такой корабль, я бы мог только наблюдать над людьми, зараженными страхом смерти,— собственное же мое сердце не билось бы ни на волос сильнее, потому что я бы знал, что корабль спасется.

Всякая опасность пробуждает в нас новые силы, новые ощущения, об которых не помышляли мы во времена спокойствия. В энергическом человеке напрягаются душевные силы; в нас, людях потасканных, является инерция, которую нелегко преодолеть. Тот, который бы струсил в чистом поле, может с успехом обороняться в крепости, тот, который ни за что в свете не покажет носа в край больной и опасный, спокойно перенесет тяжелое время сидя у себя дома.

Впрочем, развивать этих идей я не намерен в подробности, потому что в другом месте, года два тому назад, наговорил много вещей, которые лень повторять. А потому я прямо приступлю к делу.

Мысль писать коротенькие записки, относящиеся к холерному времени, зародилась в моей голове не далее как вчера. Вечер был несколько сумрачный, но довольно сухой и теплый, мне было ровно нечего делать, то есть я был на службе, где давно уже взял за правило делать как можно менее. В этот день я встречал бездну разного народа, который протрубил мне уши рассказами об эпидемии. Страх, уныние, тяжелое любопытство и нелепые подозрения ясно выражались в поступках всех этих людей, но большая часть из них храбрилась и старалась вовсе не думать о грозе, которая разыгралась над нашею и без того скверною столицею. Я ходил один по большим, пустым комнатам и перебирал в памяти все, что слышал сегодняшний день. Я хотел прибавить «и видел», но кстати не прибавил, потому что ровно ничего не видал.

Много воспоминаний пробудилось в моей голове, и между разными мыслями пришла одна, довольно основательная. Зачем играть комедию и рассказывать, что мы не боимся смерти? Не лучше ли прямо взять свое положение, обсудить его со всех сторон, обругать его от глубины души раз навсегда, а потом помириться с ним и извлечь из него все то, что может быть извлечено.

Я вовсе не хочу умирать и скажу это всем и каждому. Мое положение на свете вовсе не дурно. Я молод и имею способность наслаждаться, имею много привязанностей. В двадцать три года от роду я уже имел успехи, которым не грех завидовать, передо мною открыто широкое литературное поприще, где самый труд доставляет мне удовольствие. Я хорошо изучил самого себя и умею находить добро там, где другие не видят ничего, кроме апатии, праздности и лености.

Я не хочу умирать, потому что меня не баюкают никакие верования. Меня не встретят хорошенькие ангелы и тощие святые мученики, никакой абсолют не выглянет на меня из своей непонятной недосягаемости, стало быть, жизнь моя будет одна, и я вправе желать, чтоб она протянулась подольше.

А обширное поле наблюдений, а удобства жизни, а надежды?

Кроме страха смерти собственно для себя, я боюсь за людей ко мне близких, а это едва ли не тяжелее, чем бояться за свою машину.

Ну, кажется, выписаны все причины страха и смуты. Но чем же все это поправить, не все ли терпят со мною в равной степени? Не примите эту идею за пошлую выходку, которою род человеческий любит утешать себя и других. Мысль о том, что я терплю не по своей вине, утешает меня, потому что для меня нет хуже несчастия, как терпеть по своей глупости, или по притеснению, или от своей робости, и терпевши, знать, что можно поправить дело, и не уметь взяться за это. А в настоящем положении распоряжается за меня судьба; не могу же я, как Прудон, доставить себе невинное удовольствие осыпать проклятиями судьбу и тому подобные вещи.

Итак, будем оборонять свою крепость, радостно провожать день, который прошел без беды, а для пользы и развлечения станем наблюдать за людьми, с которыми суждено нам сталкиваться. До такого времени нескоро доживешь: чинный Петербург затронут за живое, отовсюду слышатся унылые вести, будущность, «чреватая горем», торчит перед его жителями, все это суетится, молится, лечится, трусит, храбрится и хвастается.

Если баталия, так баталия. Я терпеть не могу сражений, одна мысль об крови, об убитых располагает меня к тошноте, поэтому на войне я бы натрусился, а потом соскучился. Но холерное время представляет интерес совершенно в другом роде и более в моем вкусе. Я не вижу неприятеля и всякую минуту воображаю, что он от меня ужасно далеко, я могу делать, что хочу, видеть и говорить все, что мне угодно. От нечего делать примемся за наблюдения. Говорят, не надо думать,— надо думать, но как думать? Here is the question * [36].

<Отрывки конца 1840-х — начала 1850-х гг.> [37]

Раскрывал я сегодня несколько книг и бросил их с отвращением. Сделал визит разным особам, и беседа наша была утомительна, разговор не клеился. Дома дела шли еще хуже: читать ничего я не мог, силы не хватало на труд, план мой не определился. Писать... но тут-то и была загвоздка.

Много сомнений посещало мою голову в короткие годы моей жизни, и, грех сказать, не томили меня очень эти сомнения. Столько есть прибежищ от сомнения на этом свете! Будь эпикурейцем, и философия не станет давить тебя неразрешимыми вопросами, будь оптимистом, политика перестанет мучить тебя, будь дилетантом, и наука явится к тебе в самом обольстительном наряде.

Но есть одно сомнение, от которого ничто не в силах защитить самолюбивого человека: это сомнение в собственных своих силах.

Два дня тому назад я забывал целый свет, сидя за любимою работою. Вымышленные образы порхали около меня, ласкались ко мне, я любовался своим трудом, я дорожил каждою своею мыслью, мне казалось, что она-то именно и назначена пробуждать сочувствие в людях,

---

* вот в чем вопрос *(англ.)*.

вывести меня на единственное поприще деятельности, для меня оставшейся... Я был горд и весел, я боялся не дожить до своей славы, я был счастлив своим трудом, доволен самим собою.

Что же теперь со мною сталось? Отчего у меня нет сил продолжать начатое? Отчего дорогие создания моей фантазии вдруг поблекли с необычайною быстротою? Отчего мысли мои кажутся мне избитыми, вычурными и пошлыми. Два-три дельных замечания, пример товарища, медленность в исполнении не могли же меня так переменить в два дня, что труд целого года кажется мне и противен и ложен?

И если б я знал, что сомнения мои основательны, что я не способен создать ничего нового, не могу пробить себе дороги, сообразной с моими наклонностями, если б я знал все это наверное, я погоревал бы и пошел на новую борьбу. Но справедливы ли мои сомнения, слабы ли мои силы? Кто может отвечать на этот вопрос? И из великих мыслителей, кто по временам не называл себя дураком, не признавал высшими себя существа, уступающие ему во всех отношениях? И мучения их в миллион раз перевышали мое горе: их томила жажда истины, жажда славы, желание заслуженного превосходства.

Зато они, вероятно, не имели моего эгоизма. Меня с детства баюкали похвалами, самолюбие мое раздражено было мелкими огорчениями, неспособность моя к практической жизни указала мне один только путь, на котором могут ожидать меня успехи. В восьмидесяти листках, которые лежат передо мною, изображаются для меня не деньги, не слава,— в них вся моя сила, вся моя карьера, весь мой *будущий ум.*

А между тем время идет,— близко подходит ко мне пора зрелости, та пора, в которую следует сказать: «теперь или никогда». Как приготовился я к ней, что несу я с собою, наградила ли меня природа всем потребным для этого страшного экзамена?

Не опередили ли меня младшие, двигаюсь ли я вперед? Все прежде созданное кажется мне слабым,— хорошо ли это? За порою разрушения придет ли время создавать, или все на теперешнем и кончится? А тут еще и материальная сторона...

Вероятно, я доживу когда-нибудь до таких лет, в которые уже не приходится надеяться на собственные свои силы и ожидать от них бог ведает какого результата. Несколько раз в жизни мне казалось, что я добьюсь до чего-нибудь замечательного и что жизнь моя не пройдет даром. Надежды эти еще не совсем потеряли свою силу и в настоящее время: иногда кажется мне, что я буду отличным писателем, иногда я воображаю, что прославлюсь на поприще администрации,— но не хочу скрывать, что теперь я не доверяю этим воздушным замкам, а даже боюсь их строить.

Я никогда не был дурным человеком и если делал зло кому, то это самому себе. Два-три года тому я не поручился бы за будущее,— тогда я слишком преувеличивал слабость своего характера, но теперь утвердительно могу сказать, что дурным человеком я никогда не буду.

Итак, будущность моя почти что известна мне: несколько лет прохлопочу я посреди должностей скучных и ничтожных, потом мелькнет

счастие,— я добьюсь до места не блестящего, но спокойного, устраню от себя навеки хлопоты и нужду и предамся моему эпикурейскому far niente *. Коли блаженное это время придет скоро,— деятельность моя захочет пробиться и найдет себе полезную дорогу, если же не скоро, то я предамся бездействию. В настоящее же время не сделать мне из себя ничего порядочного.

Под старость, вероятно, захочется мне отдать самому себе отчет в моей жизни, и я непременно напишу для самого себя полное свое жизнеописание. Я странный эгоист: для меня моя жизнь, настоящая и прошлая, интереснее всякого романа и всякой истории. А между тем будущее не так меня увлекает, доказательство тому то, что я с этих пор задумал о спокойном месте и о dolce far niente **. Несколько раз принимался я писать свои записки и столько же раз бросал их. Один раз, еще мальчишкой, я описывал факты, не касаясь никаких рассуждений, и ясно почему, в другой же раз я фантазировал, рефлектерствовал, упустя из виду то, что по фактам то время было самым интересным из моей жизни. Еще одним материалом остались у меня письма une année de folie ***, и письма эти лучшая часть моей истории, по исполнению. Действительность в них слилась с вымыслом, истина с умничаньем,— и все это составило одно целое замечательное по живости и по страсти. До сих пор иные из этих писем волнуют мою кровь и заставляют меня глубоко задумываться. Эти письма, между тем, принадлежат к времени самому тяжелому. В это время, когда я их писал, я был так близок к величайшему в свете блаженству, как, вероятно, никогда более не буду. Надобен был один шаг, одно сильное действие,— и я его не сделал и заплатил за это дорого. Раскаяние грызло меня до тех пор, пока я не убедился в великой истине: нет ничего глупее раскаяния. С этих пор получил я преувеличенное мнение о слабости моего характера.

Когда я буду писать мои воспоминания, я буду врать страшно. И тут не будет ничего дурного. Дурно врать другим: перед самим собою ложь превращается в правду. Да тут и не будет лжи — будут только события, случавшиеся не на деле, а в моем воображении. Ложь будет в таком случае, если моя старческая фантазия наклеплет на время моей молодости. Если же я, описывая факт моей юности, воскрешу в памяти все то, о чем я думал, мечтал, чего страстно и с напряжением желал в ту пору, если воспоминание это не будет анахронизмом, если оно возведено будет в действительность, как я воображал эту действительность в то время,— то это будет правда, на которую сердце мое отзовется горячее, чем на воспоминание о настоящем дне, проведенном посреди людей пустых, хотя и истинных.

С первых минут самосознания жизнь моя распалась на две части: мысли мои разрознились с моими действиями до такой степени, что сходиться начали уже под влиянием науки, опытности и усилий. Начало

* ничего-не-деланию *(итал.)*.
** сладком безделье *(итал.)*.
*** год безумства *(франц.)*.

жизни моей было, стало быть, сделано наизворот, и, может быть, это и к лучшему. Но к лучшему ли это, к худшему ли, судьба сделала меня таким, и я за это не отвечаю. Я спохватился поздно, когда прошло детство, в котором я не знавал бессознательного счастия, когда прошла первая молодость, в которой я не знал ни *истинной* страсти, ни увлечения. Примирит ли во мне зрелый возраст жизнь с мыслию,— бог его знает, но за будущее я должен отвечать,— я знаю свое положение.

А между тем события жизни моей были так расположены, что только требовали деятельности, силы нравственной, и тогда жизнь моя была б завидною для многих. Кто был избавлен от мелочей и одиночества, как я? Кто встречал на пути своем столько любви и привязанности? Кто ставлен был в такую возможность наблюдать и действовать? Перед кем так чисто и ровно расстилалось поле деятельности?

Весь результа́т жизни и опытности привел меня к тому только, что я вполне ощущаю беспутность означенных порывов и до того мало дорожу ими, что ищу только исхода этим чувствованиям. Иначе сказать, я уравниваю чувственность с сентиментальностью и равно согласился бы быть турецким султаном или нежнейшим любовником, осчастливленным взаимною страстью.

Как хороши чувства юношеской привязанности в осьмнадцать лет, так бестолковы они при своем набеге на человека более зрелого.

Как бы ни был холоден человек, как бы эгоистически ни была развита его натура, приходит для него пора, когда потребность привязанности проявляется со всею силою. Жалкие мы люди с нашими теориями: ведут ли они нас к чему-нибудь? не вся ли жизнь состоит из одного постоянного противоречия теориям, на постройку которых тратили мы столько любви и усилия? Человек должен свершить цикл глупостей, к которым только способна его природа, и хорошо, если глупости эти являются своевременно, тешат своим появлением. Подобно государствам по системе Маккиавелли, все мы проходим одни и те же фазисы[38], и напрасна будет борьба, напрасны умствования и упорство. Гордый материалист рано или поздно захочет смотреть на луну и вздыхать у ног какого-нибудь глупого предмета, стоик окажется трусом и дураком, человек, довольный своею судьбою, захочет повеситься и предастся сплину.

И все это глупо, все это не вовремя и бесполезно. Так во мне явилось грустное чувство, что-то похожее на сожаление о «погибшей жизни». Кто губил ее? Отчего она «погибла»? Что называется «непогибшая жизнь»? Кто ответит на вопросы эти — избитые, туманные и хитросплетенные?

Легче ли бы мне было, если б в моих воспоминаниях вместо дряни и чепухи хранились бы истории страстные и трогательные, reminiscence'ы * старых порывов и удовлетворенных потребностей? Или и тут самолюбие, и тут эффектность? Не все ли равно, как ни проведено изве-

---

* воспоминания *(франц.)*.

стное число лет? Сидеть в сумерках и перебирать свои воспоминания не то же ли самое, что читать роман, хорошо написанный?

Как бы то ни было, но потребность привязанности, потребность, заглушенная и давно уже засыпанная насмешками собственного гордого скептицизма, пробуждается, растет, принимает громадные размеры под гнетом зависти, уныния и бесплодных сожалений. К чему послужило мне быть старее своих лет, если на середине жизни встречают меня чувства, которые хороши только во время первой молодости! На что мне они, эти чувства, бессознательные, беспричинные и *беспредметные?*

Истина есть идея, никогда не приводимая в исполнение.

В самую чистую пору молодости люди ищут с горячностью какой-то прототип истины, что-то вроде философского камня. Как философский камень давал не одно золото, а и здоровье и знание, так и наше начало должно было дать нам все, чего только душа требовала.

Я, впрочем, не сильно томился от избытка неразрешенных вопросов, потому что скептицизм мой родился вместе со мной.

Один вопрос, однако, сильно мучил меня и заставлял рваться порою лучше любого немецкого философа. То был вопрос о том, все ли кончается с нами на этом свете? Причина такого любопытства была грубо эгоистическая: я сильно любил жизнь и теперь люблю ее очень горячо. Теперь я уже не имею стремления к неразгаданным вопросам. В то время, когда я гонялся за такими высокими предметами, внутренний голос спросил меня: «Чего ты ищешь?»

Я отвечал очень задорно: «Истины».

«Однако, почтеннейший,— продолжал мой внутренний голос,— ежели бы ты и узнал эту истину, ты бы из нее ровно ничего не сделал. Убеждение важно только по мере его применения к практике».

«Ну, я применю его к своей жизни».

«А, вот тут я тебя поймал. Вспомни, сколько передано тебе истин при воспитании, до скольких дошел ты путем опыта,— и рассчитай, что сделал ты с ними? Caïn, qu'a tu fait de ton frère? [39] Homme, qu'a tu fait de tes convictions?» *

Сначала я хотел еще спорить и стоять за то, что я не знаю истин, не имею убеждений. Однако с самим собою спорить было худо, и я начал делать инспекторский осмотр.

A propos **, истина есть истина,— убеждение есть истина, которая далась мне: Les convictions commencerent a défiler ***.

— Что ты с ними сделал? — спросил внутренний голос.

Я отвечал довольно основательно:

«Я не взял труда выше сил, чтоб не наделать зла другим и еще бо-

* Каин, что ты сделал с своим братом? Человек, что ты сделал с своими убеждениями? *(франц.)*.

** кстати *(франц.)*.

*** Убеждения начинают следовать одно за другим *(франц.)*.

лее себе. Да и даны ли мне средства ввести эти истины в действительность? Руки мои слабы, ум мой шаток и прост, и слова мои, конечно, не поколебают того, что стояло и будет долго еще стоять».

— Все это мы пропустим,— продолжал внутренний голос.— Берите только истины чисто практические, касающиеся до вашей жизни и вашего круга.

Первая истина: Средство быть счастливым *мне* при моих потребностях и средствах?

Внутренний голос завопиял: «Как! у вас есть это драгоценное убеждение, короткий опыт уже подарил вам son idéal du bonheur, et du bonheur réalisable? * Да, я вижу и верю, что вы можете быть счастливым. И вижу, что средство у вас под рукою. Отчего же вы теперь не беретесь за это счастие?».

Я сконфузился и не знал, что отвечать.

— Что сделал ты с этой дорогой истиною? — громогласно орал голос.— Как применил ты ее?

Я что-то бормотал очень глупое: «Я еще молод... можно бросить еще год, два... служба есть представление... надобны деньги... семейство возопиет... жизнь».

Кончится тем, что я буду жить на свете с прямою целью отрешиться от всякой деятельности. Тысячу раз, принимаясь за новое предприятие, уговаривал я сам себя почти в таких выражениях: «Куда ты лезешь, почтеннейший? Долго ли тебе воображать, что ты человек практический? Или тебе не надоело с напряжением добиваться таких вещей, которые в глубине души своей ты пренебрегаешь?»

И все-таки кончалось тем, что я сам лез в ту жизнь, которая казалась мне ничтожна и презрительна, мучил других и самого себя и возвращался с несколькими моральными синяками на душе.

Самые счастливые часы моей жизни были те, когда я мог досыта смотреть и слушать, или, говоря иначе, наблюдать. Наблюдать над кем? Какое мне дело! Давно уже не существует для меня ничего ни высокого, ни совсем подлого, ни хорошего, ни совсем дурного, ни глупого, ни очень дельного, ни малого, ни великого. В деревне смотрю я на песок и вижу, как букашки дерутся с муравьями, в канцелярии смотрю я, как чиновник гадит чиновнику, в маскараде — кстати о маскараде.

Бывают иные балы и вообще собрания народа, которые, несмотря на то, что происходят в Петербурге, а не лишены своего рода веселости. Житель нашей столицы есть современное дитя, несмотря на свою геморроидальную физиономию. Если начальник подал ему руку (редкое по истине событие), житель столицы уже счастлив, если на бале удалось ему рассмешить даму, он доволен на весь вечер, хотя б все остальное время привелось ему стоять около двери,— в силу медвежьей своей натуры, которую ничто пересилить не в состоянии.

* свой идеал счастья и счастья достижимого? *(франц.)*.

Итак, один раз в Дворянском собрании случилось то, что на маскараде все почти веселились. Вожделенная пора ужина еще не наступила, а уже слышался там и сям веселый смех и разговор длинный, длинный, а не из отрывчатых бессвязностей. Живость разливалась между гостями, как зараза. Кавалер, очарованный тем, что долго говорил с маскою и был видим с нею всеми своими приятелями, шел к этим приятелям и отводил душу скандалезными разговорами. Дама, со своей стороны, привязывалась к кому-нибудь из праздношатающихся и осчастливливала и себя и его. Группы отправлялись ужинать, и несколько кавалеров двигали ногами, как бы приготовляясь к канкану, хоть многие из них вовсе не были знакомы с таинствами этого восхитительного танца.

Я ходил по обыкновению один, совершенно один, и скука моя превращалась в досаду, и досада моя росла в одной прогрессии с усиливающимся весельем толпы. Мне было досадно, как школьнику, который в первый раз является в свет и видит, что красивые счастливцы вертятся и ловко скользят по тому самому паркету, по которому он не умеет пройти лишнего шага, чтоб не оступиться. Я был так зол, как бывает зол философ, видя, что хорошенькая женщина хохочет, слушая со вниманием рассказы пустейшего кавалергарда, и не интересуется вовсе глубокомысленною, *энергическою* фигурою ученого, который с таким жаром посвятил бы ее в тайны социализма и абсолюта и осчастливил бы ее на век, подарив ей всю свою любовь.

В самом деле меня преследовало несчастье в этот вечер: только две маски и подходили ко мне, и тут еще я скоро увидел, что их ввело в заблуждение мое сходство с братом. Я плюнул на женский род, достойный слез и смеха [40], и решился только смотреть.

Оно, конечно, приятно наблюдать за веселящейся публикою, но для полного удовольствия при наблюдении потребна своего рода иллюзия, свое очарование юных лет. Что проку наблюдать над людьми тому, который сам себе выстрадал, вымозжил право понимать вполне всю ничтожную сторону горя их и радости? Великое удовольствие мне знать, что этот стройный офицер проспал всю прошлую ночь в вонючем караульном доме и, в лихорадочном ожидании смены, вырезывал на сальном столе имена своих воображаемых любовниц? Очень надобно было мне знать, что эти завитые и холодно насмешливые львы поутру занимались переписыванием бумаг или бранились со своими начальниками отделений при любопытном сборе канцелярской *черни*?

По мере того, как мелькала передо мною наша молодежь, ровно ничего не обещающая в будущем, я узнавал целую толпу прежних моих товарищей по школьной скамье, по детским шалостям или по тем службам, на которые бросался я от времени до времени. Я припоминал, что одних я очень любил, потом завидовал многим из них, слыша про их веселую жизнь, про их интриги с женщинами, которые мне только во сне иногда грезились. Еще несколько лет, и редкий из этих юношей не натыкался на скандал или разорение, или горькую неудачу,— и мне же приходилось жалеть об них. И спустя еще срок являлись передо мною

те же фигуры и с полным убеждением, что они жили на свете, бросались снова в ту жизнь, которая их изогнула и изувечила.

Да к тому же и собрание все было так некрасиво, не считая дам, которых лица и талии скрывались во мраке неизвестности, мужчины были все так желты, так истасканы! Не встречалось даже угловатых физиономий, которые хоть и нехороши, а намекают на какую-то внутреннюю язвительность; все черты были плоские, лица были все или тощие, или безобразно опухшие. Я смотрел на дам, чтоб разглядеть хоть один светлый глазок, одну маленькую ручку,— потому что я малым бываю доволен, и одна симпатическая физиономия может надолго отогнать от меня самую скучную минуту. Я даже внимательно вглядывался в стариков, готовясь удовольствоваться почтенной фигурой, но и ту напрасно искал. Лица эти, когда-то возбуждавшие мое любопытство по причине вышины, на которой стояли, теперь казались мне и скучными, и враждебными, с тех пор как действия этих «сильных мира сего» сделались мне небезызвестны.

Мысль о возвращении восвояси, где ждала меня теплая постель, незаметно и безвременно запала в мою душу. «Зачем было ехать?» — уже начал было я себя спрашивать, когда светлая идея о том, что я еще не ужинал, радостно порхнула в моей голове. Радостно призвал я к себе на помощь гастрономию, винолюбие и, ощупав в кармане не вовсе достойный презрения кошелек, устремился к буфету. Вдруг я остановился, как человек, встретивший на стене трактирного заведения хорошенькую картинку искусного мастера.

Quelque chose entre 1849 et 1851 *.

Schizzi **.

Ничего не может быть милее и оригинальнее хорошенькой женщины, выведенной по необходимости из своей обычной сферы. Иногда подобное положение ведет к грациозному комизму, иногда к драме, причудливой и все-таки прекрасной.

Против либерализма, в страшных размерах развивающегося в каком бы то ни было государстве, есть одно только действительное средство — маккиавеллическая политика, смягченная всевозможною ласкою и примирительными фразами.

Гений может вести рядом практическую жизнь и жизнь идеальную, чуждую фактических впечатлений; талант обыкновенный должен выбрать что-нибудь одно.

Поэт должен добиваться того, чтоб каждый образованный человек, без различия национальности, мог его понимать свободно; критик же должен сам поминутно менять свою национальность. Что угадали б мы из древних, не зная их жизни, какого мнения были б мы о Беранже и Байроне, не зная Англии, Франции и идей нашего столетия?

* Кое-что между 1849 и 1851 *(франц.)*.
** Заметки *(итал.)*.

Изящная словесность может процветать при великом стеснении книгопечатания. Итальянская и фламандская школы живописи поражают однообразием сюжетов и все-таки хороши.

Нет ничего унизительнее, как бояться умных людей и искать себе круга между людьми низшими себя в моральном отношении.

Отсутствие любви, в соединении с потребностью сильной привязанности может довести человека до неимоверных глупостей.

Человек никогда ничем не доволен и беспрестанно стремится к новым наслаждениям. Этот афоризм ничего не доказывает: между достижением цели и новым желанием существует интервал — цвет жизни человеческой. Для иных он короток, для других продолжительнее, но хотя б он длился несколько мгновений, для этих мгновений стоит жить и желать, и трудиться.

Человек, основывающий идею счастия на обилии сильных ощущений, похож на полководца, открывающего кампанию, не имея под рукой ни егерей, ни иррегулярных войск, ни полевой артиллерии, одним словом, ничего, кроме нескольких кирасирских дивизий.

7 janv<ier> *.

Есть смешные люди, с ужасом избегающие мыслей о том, что предмет их любви может родить, есть с аппетитом, иметь понос и так далее. Простодушно разделяя все физические отправления на грязные и сносные, они не помышляют о том, что если б им в угоду было создано существо, не нуждающееся в грязных отправлениях, такая фея походила бы на красивые часы без колес и маятника, следовательно, на часы, годные для игрушки семилетнему мальчику.

Леность есть лекарство от болезненного самолюбия.

При некоторых условиях нам нравится бесстыдство в женщине.

Радость, посылаемая нам, похожа на алмаз в коре: от нашего искусства зависит превратить его в дорогой бриллиант или испортить наполовину. От непонимания этой важной мысли возникают сетования на непостоянство радостных ощущений.

Чтоб украсить ленивую жизнь и не дать ей перейти в ерыжность[41], необходимо играть ею и подстрекать себя на деятельность.

Моя эрудиция портит мою производительную способность. Если б какое-нибудь событие из современной жизни нравилось мне, например, хоть так, как нравится мне легенда о Жанне Д'Арк, я б написал отличную повесть. Извольте быть беллетристом, когда симпатии и антипатии наши в мире ученом и политическом!

---

* 7 января *(франц.).*

9 j<anvier> *.

Говорить человеку, особенно писателю «вы самолюбивы» значит то же, что говорить «у вас есть руки и ноги». Дело в том, что иной не знает, что делать со своими руками и ногами, тогда как другой ловок и приличен.

18 fév<rier> **.

Старость есть моральная чахотка. Меньшая часть страждущих ею тоскуют и судорожно борются с своей болезнью, все же остальные тешат себя пустяками и мечтают о пустяках.

Лекарство от всех бед и несчастий есть привязанность любимой женщины. C'est une panacée universelle ***.

В основании каждого из наших страданий кроется зависть к людям более счастливым.

В первые лета молодости человек влюбляется против воли, потом он может развить в себе привязанность или погасить ее по произволу, потом он уже не способен к привязанности.

Иной хочет и не может, другой (и таких очень мало) может и не хочет, третий не хочет и не может, но *желал* бы иметь *желание* и средства к его исполнению.

25 mars ****.

В любви должен быть элемент комический. Мужчина и женщина, вполне сходные друг с другом, очень скучны — нет столкновений и противоположностей. То ли дело, когда серьезность сходится с резвостью, истасканность с невинностью, обдуманность с простодушием. Для счастия супружества нужно, чтобы муж и жена умели подсмеиваться друг над другом.

Мне не случалось встречать красоту и глупость в одной и той же особе. Ум может переделать физиогномию и из рожера [42], данного нам природою, состряпать приличное рыло.

Ум человеческий одинаков во всех столетиях. Поколения людей не глупеют и не умнеют. Словесности нельзя измерять обилием гениев. Каждый век приносит нам один и тот же капитал, но иногда в слитках золота, иногда в груде мелкой монеты.

Бродячая жизнь хороша, но она разрывает цепь мелких наслаждений, к которым привыкаем мы сидя на одном месте. Если б я не имел в виду материальных и литературных выгод, я бы не помышлял о путешествии.

Семейная жизнь в юности дурна, потому что выказывает нам все дурные стороны того прибежища, о котором следует мечтать каждому пожившему человеку — именно спокойствия. Человек, утративший

* 9 января *(франц.)*.
** 18 февраля *(франц.)*.
*** Это панацея для всех *(франц.)*.
**** 25 марта *(франц.)*.

веру в *могущество спокойствия,* становится существом жалким. Семейная жизнь в юности то же, что брак в осьмнадцать лет, то есть вещь вредная и несвоевременная.

Мы часто смешиваем терпимость с скептицизмом. Говорят, что наше поколение — поколение скептиков. Это значит, что мы мягки и благородны. Лучшие римляне были все из эпикурейцев.

<1851 г.> [43]

Светлые дни.

— Вид Кавказских гор с Елисавет<инской> галереи [44].
— Возвращение в Москву 27—28 сент<ября>.
— Ужин его с<иятельства?> в Москве.
— Вечер в Кисловодске.
— Partie * в Парголове.
— Декабрь и ноябрь 1847.
— Город Нарва в Ильин день.
— Pied-à-terre ** в доме Аверина.
— Форшман и Скирбитьевна. Возвращение в Петербург.
— 28 дней 1847 года в деревне.
— Вечер в казацкой мазанке с J<ulie>.
— День в галерном порту.
— Обед у Сатира [45]. Malibran.
— Обед и танцы у Г. Г. Г.
— Обед в Петергофе и старые друзья.
— Первый счастливый маскарад.
— Красный Кабачок [46] и Кикинка.
— Ужин у Мореля после чернокнижия [47].
— Trio: я, Сатир, Жданович.
— Первые дни дачной жизни.
— Вечера на Каменном Острову.
— Дом на Пятигорском бульваре.
— Дни у А. Н-ва.
— Отдых в Ставрополе.

7 нояб<ря>.
Journée paresseuse, pauvreté ***.

— Два голяка Соляников и старик Михайлов, с шипением.
— Мерка от башмака в бумажнике.
— Jackett **** со светлыми пуговицами.
— Первая езда верхом и первая любовь.

---

* Прогулка или партия в игре *(франц.).*
** Временная квартира *(франц.).*
*** День лени, бедность *(франц.).*
**** жакет *(англ.).*

— Анализ борьбы с леностью. Во время такой борьбы приятно победить, но едва ли не слаще быть побежденным.

— Дневник Сатира. Середович, Ларжаны, Капулетти и Воробьева, Семирамида. Нимфы.

— Вечера у Лизы [48]. Чем беднее, тем веселее.

Гнусная бедность.

— Мои приключения за Невою.
— Обеды из Лондона.
— Фрак и перчатки.
— Надя и ее преданность.
— Дом Кохендорфа.
— <...> и Эсмеральда.
— Подогретый обед от Дюссо.
— Херес в 8 целковых.
— Злостный банкрот.
— Эдикуль.
— Концерты в доме Шумилова.
— La femme la plus magnifique *.
— Способность Кирилина к коньяку.
— Тарасанья свадьба.
— Ревельский форшмак.
— Буря у Скирбитьевны.
— Катя и Катя — полька.
— Девица в чужом платье.

Гнусная бедность.

— Узкие сапоги.
— Безграмотные переводы.
— Кривой Петр.
— Марк.
— Обед, состоящий из закуски.
— Обед из чая.
— Обед из ничего.
— Горничная Саша.
— Танец в одн<ом> сапоге.
— Драка: 13 мая.
— Прадер.
— Фридрих, имеющий быть повешенным.
— Пиры в Новой деревне [49].
— Сладкие коренья.
— Обед Штейна.
— Изабела-бела.
— Лина.
— Полька Людовика.
— Немка-Шаша.
— Мантилия.

---

* Самая великолепная женщина *(франц.)*.

Продолж<ение> впредь.
— Des mariages à la T ...*
— Дурак, имеющий вид делового и деятельного человека.
— Разбитые бутылки за ужином.
— Mais les pleurs sont de l'ame. Les beaux vers naissent de nos pleurs.
— J'étais sorti pour chasser le sanglier et je suis rentré ayant pris beaucoup de cigales **.

15 nov<embre>.

— Дама с длинным подбородком и носом.
— Театральный денди с стеклышком в глазе.
— Посетительница Прасковья Ивановна.
— La petite circassienne.
— Les fiancés byroniens.
— La soeur de Byron Lady Augusta Leigh ***.
— Один из понедельников на моей квартире. Григорович в виде Фиораню.— Смех, доходящий до обморока.
— Красивая дама противного вида и великой вялости.
— Безобразный болван и жена его, непотребная женщина.
— План повести. Привязанность, основанная на самолюбии и тщеславии,— первые минуты пустоты, взаимный стыд и отвращение. С одной стороны, душа, засушенная с детства, с другой — праздность или надежда новизны. Характеры М. и Б. Нечто унылое и довольно злобное.
— Лустгаус, где танцуют отец с сыном. Аполлон и уженье рыбы.
— Физиогномия, будто намазанная медом. Алимпиев.
— Путешествие по оперным ложам.
— Плешивый человек ангельского вида.
— Эмилия, Ольга, спутница моей новой экономки, Вера, маленькая приятельница Сатира. Все женские фигурки.
— Чиновник Гриша.

7 dec<embre>.

— Выражение подштафирить, rafistoler ****.
— Visite à la provinciale с 6-ти до 2-х ночи.
— Cendrillon de St. Petersbourg — К...
— Une aristocrate piquée *****.
— Огоньки за деревьями Летнего Сада.
— Плачевное приключение с Анетой. Грибок и отобранная мебель.

* Свадьба на манер Т. *(франц.).*
** Но слезы идут из души. Самые лучшие стихи рождаются из наших слез. Я вышел на охоту за кабаном, а вернулся, поймав много стрекоз *(франц.).*
*** Маленькая черкешенка. Обрученные по Байрону. Сестра Байрона леди Августа Лей *(франц.).*
**** починить кое-как *(франц.).*
***** Посещение на манер провинциалки... Петербургская Золушка — К... Обидевшаяся аристократка *(франц.).*

— Petite demoiselle et la maigre allemande. Les billets à remettre*.

— Странствование по отдаленным улицам, грабежи и кинжалы.

— Некоторые старые женщины ставят себе в особенную специальность испытывание бедствий всякого рода.

— Спячка и апатия.

— Носорог, с успехом управляющий имением.

— Муж, не пускающий жены в маскарады.

— Цивилизованный лакей Фирег.

— Канканомания. Григорий Д., его поведение, письма, прогулки и рассказы.

— Зеварицкий и Щепин. Метода Леруа. Отравление и так далее.

— Супруг, сбившийся с пути, но еще хранящий остатки супружеской верности.

— Pour les amours comme pour les pommes de terre, il y a 18 maniéres de l'accomoder. J. P. Kutler.

— Texier a propos des voyageurs. Vois vite et juste.

— Dieu est Dieu, mais je ne suis pas persuadé que Mahomet est son prophète **.

11 dec<embre>.

— Средство отделываться от ненавистных особ с помощью грубого права, не обращая на них внимание.

— Un mariage tardif, la mère fiancée et les filles nubiles.

— La polonaise Jeanne, sa manière de s'habiller, etc. ***

— Левый глаз, соловеющий при всяком воззрении на женщину.

— Никто не имеет права иметь ни излишнего доверия, ни совершенного недоверия к своим силам.

— Характер Ивана Травли. Его chef d'oeuvre ****, спор с Львовым в Новой Ладоге.

12 dec<embre>.

— Веселая немочка Лина. Женская неприязнь.

— Le déshérite ***** Карра. Основная мысль произведения. Собиратель дрянных картин.

— Deux bougies d'une granduer inegale preuve qu'on ne les allumait jamais ensemble.

— Marie Stuart. Tout ce qu'il a de plus femme entre les femmes ******.

---

* Маленькая барышня и худощавая немка. Записки для передачи *(франц.)*.

** Для любви, как и для картошки, есть 18 способов приготовления. И. П. Кутлер. Тексье о путешественниках. Смотри быстро и верно. Бог есть бог, но я не уверен, что Магомет его пророк *(франц.)*.

*** Поздняя свадьба, мать помолвлена, а дочери на выдании. Полька Жанна, ее манера одеваться и проч. *(франц.)*.

**** шедевр *(франц.)*.

***** лишение наследства *(франц.)*.

****** Две свечи разной длины указывают, что их никогда не зажигали одновременно. Мария Стюарт — настоящая женщина из всех женщин *(франц.)*.

Презрительное обращение офицерства с женщинами известного класса.

— Elisabeth. Darnlay. Bottswell. Murray. Lord Buthven. Эффектные лица.

29 dec<embre>.

— Периодические вторжения Г. Дан<илевского> в нашу квартиру, его похождения, манера <...> языком, история с Панаевым, посещение квартиры его, миниатюрная мебель, сношения с Гоголем и прочими знаменитостями.

— Аполлон М<айков> и даровитое семейство[50]. Наше с ним путешествие от Выборгской заставы до Парголова. Уженье рыбы.

— Julie malade. L'apres diner et les camélias.

— Encore une rencontre. Soirée et les détails. Départ brusque, Franses *.

— Двое глухих в концерте Серве[51]. Непростительное сплетничество моей персоны. La punition.

— La mère et son fils de 13 ans. M-me -ste qui ressemble a une demoisselle.

— Une lithuanienne paresseuse. Le peignoire blanc et le demi-jour de sa chambre **.

— Ольга, к неописанному рылу присоединяющая наиподлеющие манеры.

— Печальная елка у патриархальных носорогов, и мое бегство оттуда, и вечер в доме Михайлова.

Гаданье в карты и предсказания Эмилии. Обед.

— 18-me anniversaire de la bibliothèque ***[52].

<1852 г.>

12 janvier 1852.

— Отношения легких девиц между собою, гордость Надежды Ивановны. Завтрак с тремя девицами и неожиданная дружба.

— Визит пиголице, и мамà в затрапезном платье.

— Плачевный обед у m-me Julie. Французская драма «Монте-Кристо». Пучина глупости.

— Свидание со старым товарищем. Перемены в положении обоих. Обед и вечер.

— Новое знакомство при содействии одного из носорогов. Обилие

---

* Жюли больна. Послеобеденное время и камелии. Еще одна встреча. Вечер и подробности. Внезапный отъезд. Отчаяние *(франц.)*.

** Наказание. Мать и ее 13-летний сын. Г-жа -ст, похожая на барышню. Ленивая литовка. Белый капот и полумрак в ее комнате *(франц.)*.

*** 18-я годовщина библиотеки *(франц.)*.

девиц гнусного вида. Арфа и русские романсы. Француженка милая, говорящая о любви. Petits jeu * и прочая чепуха.

— Два изобретенных мною разряда маскарадов. Манера интриговать дам, приложенная к практике. Маскарад. Напрасное ожидание. M-lle Dupuis. Проекты женитьбы.

— Семейство, в котором всякий член и гость могут делать все, что угодно.

— Маскарад маленьких детей у Марьи Сергеевны. Маскарад на нашей квартире и путешествие в Эльдорадо. Маскарадная история Сатира и квартального, брошенного в канаву.

— История Попова и его халд-дочерей. Обворожительный policeman **.

— Поздравительное письмо портного. История документов, похищенных Малиновским у одного честного семейства и напечатанных.

— Положение умного мужа avec une femme insignifiante ***, и наоборот.

— Мнение автора о произведениях своей юности (И. И. П<анаев>).

— Похождения Григоровича с Жанетой, двумя девицами (в карликах) с польками, и у Софьи Фед<оровны>.

27 февр<аля>.

— Женщины потому любят бледных и истасканных людей, что люди свежие и вместе с тем умные опытом и мыслью есть невозможность.

— Пир у Жар-Птицы и персонаж Бышевского в пиджаке.

— Врожденная недоверчивость характера в доброй женщине О. И. К<ильдюшевской>.

— Непотребная дама и непотребное ее семейство. Безобразная особа, употребляющая в разговоре литературные обороты.

— Рейслер, заика и ярыган.

— Особенность в характере Некрасова, происходящая ли от болезни, истощения или жизни в подлом кругу и с скверной деятельностью. Привычка обещать на ветер и смотреть даже на все чужие обещания таким образом [53].

— Платон Семенович Воропанов.

— Маскарадный beau ****, Каррик, Кариков или т. п.

— Красивый красавец Крылов.

— Мухортов и выражение девки о нем: «Конечно, во всем можно видеть критику!».

— Монахиня, сестра Ольги, и ее обхождение с сестрой.

— В любви есть много *благодарности* за прошлые наслаждения.

— Другая монахиня, присланная Вревской.

— Вторжение усатого господина из Москвы.

---

* Игры *(франц.)*.
** полицейский *(англ.)*.
*** с незначительной женой *(франц.)*.
**** красавец, щеголь *(франц.)*.

<1853 г.>

Июнь 11, 1853. Нарва, в гостинице с престарелой мебелью после сна и путешествия к водопаду.

Сегодни, едучи в дилижансе где-то за Ямбургом[54], я в первый раз поражен был мыслью о том, что вечно юная природа, о которой, как о книге, изданной казенным ведомством, ничего дурного сказать не позволено,— может наводить уныние и казаться весьма гадкою. Всякая комнатка, меблированная чистенько, право, красивее какой-нибудь лужайки с мелким кустарником или леска, состоящего из ольхи и подобных растений. Если подобного рода пейзаж освещен уже высоко стоящим и пекущим солнцем, от его вида душа стесняется! Или уже я сам стал не тот, или совершенная свобода в моих передвижениях меня изменила! Где то время, когда вид какого-нибудь домика с зелеными ставнями и палисадником перед окнами заставлял мое сердце биться сильнее и когда, выехав как-нибудь за город, я чувствовал потребность бегать и валяться по зеленой траве? Неужели для того, чтоб ценить жизнь с природою, человеку следует служить и сидеть за столом с писарями без всякой надежды на отпуск? А оно почти так — жизнь без стеснения как жизнь без волнения — может *претить!* Я сижу теперь в теплый, но серенький вечер, под окном, в том самом городе, что был мною воспет в прозе[55], сижу и говорю: «О моя юность, о моя свежесть!»[56] Боже мой! Когда я бывало врывался сюда измученный, слабый и полураздавленный стеснениями жизни, как отлегало у меня на сердце, как восторженно бродил я по узким улицам, заглядывал в створчатые окна, из которых веяло такой тишиной, сочинял стихи, веселился душевно!

А впрочем всему свое время — нельзя долго питаться одними и теми же радостями.

Спутниками моими были лица довольно типические и о которых нужно будет при случае вспомнить. Хорошенькая брюнетка, гувернантка из англичанок, другая в трауре, похожая на мою добродетельную пигалицу, француз вояжер по мануфактурной части, потом толстый немец с добродушнейшим лицом, но пьяница изумительный. Он подчивал маленькую трехлетнюю девочку портвейном и кричал вояжеру: «Француз, не спи!» Желая его расшевелить, он собрался поднести табак к носу француза, но вместо того всыпал щепотку ему в рот. Тот все вынес и только смеялся. Немец на всякой станции выпивал по бутылке и нас смешил. Был еще павловский офицер с отдувшимися губами из породы людей, которые всю жизнь остаются *кадетами* да еще какой-то молодой помещик, мой сосед с дутым и ребяческим лицом, глупый довольно резонер. Он между прочим сожалел, что наши мужики живут в курных избах и ездят в двуколкных тележках. Потом были другой помещик и еще студент, люди довольно порядочные.

До дилижанса проводили меня Каменский с Сатиром, после обеда у Луи и дружеской беседы. Оттого я выехал в приятном расположении, только голова начинала болеть от saint-peray.

Есть на свете люди и люди весьма обыкновенные, к которым все мое существо имеет какое-то магнетическое чувство. Таков был покойный Жданович, таков Сатир, из особ более строгих и не развратных могу назвать И. П. Корнилова. С Сатиром, например, я готов ехать на край света, не переставая болтать и веселиться ни на минуту. Если б Сатир ехал со мной в деревню, как предполагалось, я бы всю дорогу был счастлив и журнал мой поражал бы нелепостью. В нем много *чернокнижия*, элемента высокого в жизни! Наедине с лучшими друзьями моего сердца, с Кам<енским>, с Дрент<ельном>, с Маркевичем я не всегда сам свой, но для *сатирических* похождений я бы встал и с одра болезни. Это не похабство, не страсть к увеселениям, а чистое сродство душ. Подобного рода влечение имел я к Федотову, человеку аскетическому. Боже мой, сколько потерь сделано мною за этот год! Двое названных, Соляников, оказавшийся недостойным, преданная Лиза, отнятая у меня надолго. Serrons nos rongs *, да не мешает подумать о замещении выбывших бойцов. Кажется, что я не взыскателен,— но сродство душ мне необходимо.

Надобно уметь пользоваться микроскопическими радостями жизни,— и особенно хранить к ним способность. Эта способность разрушается от избытка важных наслаждений. Так, дерево, зацвевши разом, иногда сохнет от избытка цвета. Счастлив человек, который повеселившись с любимой донной или увеличив свою славу, может вслед за тем потешиться покупкой какой-нибудь фарфоровой чашечки или *пролетариатским* обедом! Одна из причин, по которой я считаю себя счастливым человеком, есть именно уменье тешить себя мелочами. Я отделываю свою комнату con amore **, езжу в хорошей коляске с радостью, выпиваю какой-нибудь бокал шампанского с отрадным чувством. Все катастрофы и радостные события моей жизни, по временам вредя моей способности наслаждаться пустяками, не в силах разрушить ее вполне. В эту минуту я испытываю удовольствие истинного немца, то есть после ужина сижу один-одинешенек в своем номере и занимаюсь чем же — питием пива и курением сигареток, впрочем из гаванского табаку. Все наслаждение стоит несколько копеек. Сравните же теперь мое вечернее занятие с занятием какого-нибудь хлыща, доматывающего свое имущество, которому этот вечер, может быть, стоит черт знает сколько денег и здоровья! И тут и там сумма испытываемого удовольствия невелика, но едва ли перевес не на моей стороне. Я помню блестящие обеды, на которых я тянул драгоценную *влагу* с меньшим вкусом, нежели теперь пью жидкое пиво. А министр, сидящий за бумагами, конечно, втрое меня несчастнее.

Зреют в уме письма о *чернокнижии*. Вступительное послание в трогательном тепло-веселом вкусе нужно посвятить Сатиру. Сколько я — угрюмый и задумчивый человек — смеялся в мою жизнь! Сколько я видел чернокнижия!

---

* Задавим наши терзания *(франц.)*.
** с любовью *(итал.)*.

12 число, <июнь>, перед отъезд<ом>.

Едва начав писание, я уже вижу несомненную пользу журнала.

Je n'ai pas de moments perdus *, этих проклятых минут, от которых рождается бесплодная неусидчивость мысли. Наша голова есть вечная мельница, в которую нужно сыпать зерно, чтоб она не работала даром; ничего не кладешь под жернова, ничего не выходит, между тем стоит только посыпать хотя дрянь, и иногда от дряни выйдет золотой песок. У меня вследствие журнала уже зародились начатки двух стихотворений — «К товарищу веселых дней» и «Поэтическое уединение»: о последнем впрочем я еще подумывал в городе и теперь о нем вспомнил чрез чтение статьи д'Израэли «О гении». Если к этому прибавить еще третье, в котором я обращался к женщине, щеголяющей наивностью и говорящей, *что если б шестилетняя твоя дочь, которой невинность нас тешит, навсегда осталась шестилетней* — то выйдет, кто все эти вещи имеет, какое-то моральное направление.

О, если бы стих давался мне легко! В беседах Валь<тера> Скотта поразил меня его совет сыну о том, *как много можно делать, посвящая в день по получасу на одно и то же занятие.* Решительно я последую этому совету и по два часа в день буду посвящать изящному в стихах и прозе, несмотря ни на какую поденную работу. Ковать стихи есть ремесло: разумеется, не кладу в расчет идеи,— но форма достигается трудом, что б ни говорили наши друзья художественности. Языком идей я владею и знаю, что целые страницы моих сочинений могут быть переложены в стихи, хотя этого не замечал мне ни один из моих хвалителей.

Итак, с богом за работу.

Сны эту ночь мне снились то мрачные, то сладострастные. Я спорил, бранился с Стар<чевским>, изъявлял свое негодование в самых диктаторских оборотах, поражал всех ужасом и благоговением. Это редкая вещь, тем более, что во сне человек является всегда уступчивым и трусливым подлецом. Эротические грезы будут мешать моему спокойствию в деревне. Дрентельн заметил весьма ловко, что много общего в пьянстве запоем и в <...> втихомолку. С этой стороны я пьяница и должен стараться, если не о искоренении порока, то по крайней мере о введении его в должные границы. Потому-то четыре месяца уединенного воздержания не будут для меня лишеньем.

<Замысел драмы>

<13—17 июня.>

(...) происходить где-нибудь в саду или на эспланаде. Прощание. Старый немецкий князь, лицо смешное, вроде барона фон дер Тер Трунка в «Кандиде»[57], ярится и готовится встретить французов со своим войском из сорока человек. Он бил французов при Росбахе[58]. Француз-парикмахер! Он не знает ни про республику, ни про Бонапарта. Принцесса уезжает под прикрытием свиты посланника. Слухи идут о том, что францу-

* У меня нет потерянных мгновений *(франц.).*

зы уже близь города. Начинается смешная сцена,— князь строит свою пехоту, двух гусар, двух драгун, одного трубача и велит ему играть марш. Все потрясают оружием и идут на бой. В это время слышен выстрел, все войско и вся компания разбегается.

Является эскадрон французов, начальник приказывает скакать и ловить невесту наследника британского престола. Прочитав в депеше, что ей 17 лет и что у нее голубые глаза, он сдает начальство старшему и едет сам. Шутки французов, взятие дворца.

Акт второй. Уединенный замок, около Франкфурта на Майне или где-нибудь ближе к морю. Утро занимается. В комнате сидит герцог Аргайльский с обнаженной шпагой и пистолетами, вдали видны английские часовые. На задней двери надпись: комната ее в<ысочества> принц<ессы> Каролины, на другой: фрейлины е<е> в<ысочества>. Путешествие совершенно благополучно, принц уже едет встретить невесту и прислал часть своей свиты, *в ней под каким-нибудь костюмом сам жених.* Сцена между переодетым и герцогом. Посланник влюблен, досадует на окончание путешествия, вспоминает о нем в поэтических чертах. Но опасность еще не кончена, всюду бродят по возмущенным княжествам толпы французов с целью поймать богатую добычу. Солнце всходит. Каролина, выходя из своей комнаты, выслушивает донесение о скором приезде жениха. Она прослезилась. Благодарит герцога. Вздыхает. Посланник благодарит ее и вдруг кидается к ее ногам. Он предлагает ей себя, обещаясь пожалуй, завоевать царство на Тихом океане, рассказывает о своем роде, о подобных авантюрах с своими предками. Каролина плачет.

Является невзначай принц Валлийский и смеясь благодарит невесту за успешную хитрость. «Ты думал,— дружески говорит он герцогу,— учить этикету 17-летнюю принцессу, теперь она тебя проучила».— «Так это была шутка?» — спрашивает герцог. Принц объявляет ему, что получая его письма о missis L., он передал их Каролине с инструкциями. Тогда герцог берет свою шпагу и кидает ее к ногам принца, отказываясь от его дружбы и подданства. Эффект.

Но принц Валл<ийский> великодушен и готов сотворить новый театральный эффект. Он обнажает свою шпагу, поднимает шпагу герцога и подает ему ее, а потом становится в позицию, предлагая всевозможное удовлетворение. «Вы победили, государь!» — отвечает герцог, целуя его руку. Принцесса говорит что-нибудь печальное, ибо сама влюбилась в провожатого своего.

Не правда ли, пьеска именно по средствам и галантности гг. Иевлева, Семихатова, Григорьева и Прусакова. А Жулева, с которой я недавно познакомился на водах, миленькая горничная, была бы славной принцессой Каролиной. Герцога бы покойному Каратыгину, вот вышел бы хлыщ!

Я дивлюсь, где брали великие люди время на свой дневник? Этот сегодняшний лоскут съел у меня более получасу!

Вчера был у нас Томсон с женой и поп Василий. Испортили вечернюю работу. Написал Маслову извещение о приезде.

Четверг. 18 июня.

Какое-то скрытое и острое расстройство желудка — вещь, доселе не бывавшая со мной в деревне. Встал поздно и кисло, но все-таки работал деятельно. Вчера получил приглашение на обед к предводителю, где мне предстоит воззрение на одну из красавиц Гдовского уезда. В одиночестве все принимает необыкновенные размеры, так что она мне может и может очень понравиться. Нас начинает тревожить продолжительное непоявление Вревской,— если что-нибудь случится с мисс Мери, я повергнусь в отчаяние. Прошлый год, летом, мне приснилось, что эта девочка умерла на моих руках, и я решительно рыдал, уже проснувшись. Что со временем выйдет из этого дитяти?

Вчера я пожалел, что здесь нет Григоровича. Наш староста Осип — тип неоцененный. Это смешение добродушия, юмору, глупости и приятной хитрости никем не было изображено. Потом его язык и особые выражения, только ему принадлежащие,— верх совершенства. Хороший также ему сюжет: староста детковский, которого так поразило известие о казенном взыскании, что он сбежал из дому и ждет свою барыню на перекрестке. Он почему-то думает, что его поведут на веревочке и подвергнут сраму. Повестку из суда он всюду с собой носит и третьего дни показывал ее мне с таинственно-отчаянным видом.

Женщина, не способная занять мужа, похожа на скупую маменьку, которая кормит своих детей подло и, когда они не едят, начинает беспокоиться и сокрушаться о том, не больны ли они.

Пошлая, но забавная острота о феномене — сне после обеда.

Пятница, 19 июня.

Вальт<ер>-Скоттова заметка о пользе получаса в день, употребленного на известное занятие, оказалась полезною не относительно стихов, но по поводу чтения. В несколько дней я перечел все комедии Шеридана, сам не зная, как и когда [59]. Живость, свежесть, юношеская грация «Rivals» * удивительны — одну подобную пиесу я знаю только — «Женитьбу Фигаро». Так и видно, что вещь написана под влиянием любви и любви счастливой. «Школу злословия» я еще не дочел снова, начало ее чрезвычайно впадает в карикатуру, но остроумнейших выходок бездна. Однако как художник Шеридан крайне слаб — все его лица или карикатуры, или преувеличения. Островский несравненно выше, а попробуй это написать — возопиют, и пожалуй, цензура подымется! В какое время мы живем, когда нельзя даже хвалить своей русской славы! [60] «Путешествие в Скерборо» весьма замечательно как переделка старой комедии безнравственных времен. Со всеми изменениями, сделанными Шериданом, что за свиньи и мерзавцы все действующие лица! Тут-то начинаешь чувствовать, что значит нравственное начало в произведениях фантазии. Как в темноте ценишь цену света, так при чтении этой мерзостыни начинаешь пони-

---

* «Соперники» *(англ.)*.

мать то, чего в ней нет. В этом отношении можно грянуть таким парадоксом: нет ничего нравственнее чтения безнравственных творений.

Шеридан есть maître d'hotel * гастрономов чтения, как Бомарше. Что б ни говорили наши художники, простота и описание Петров Иванычей не возвысят словесности. Да если б и возвысили, за что же гастрономам сидеть на щах и каше. Я ценю себя, потому что кстати стал подавать публике cotelettes à la poivrade **, которые так любил покойник (в моральном отношении покойник) Соляников у Дюссо. (Эти 20 строк съели полчаса. Извольте вести дневник!)

Суб<бота>. Воскр<есенье>.
*Понедельник (blank days ***). Вторник. 23 июня.*

Три дни болезни, мнительности, даже мечты о том, что у меня горловая чахотка и что я умру во цвете лет. Где мог я простудиться в июне месяце? Обыкновенно во всех моих болезнях реакцию производит лихорадка и исцеляет меня, что со временем может меня заставить сравнить ее с русскими войсками, защищающими турка или австрийца, le remède est aussi grand, que le mal ****. Печально то, что я утратил уменье быть больным и решительно не живу во время страданий, а дни лихорадки решительно равносильны со смертью. Я уверен, что последние минуты человека — то же, что хорошая трясучка. И слабость, и путаница мыслей, и совершеннейшая холодность к радостям жизни. Потому-то умирать, должно быть, скверно, неприятно, но не очень больно и вовсе не грустно. Я даже понимаю, что можно желать смерти, как успокоения, подобно тому, как усталый путник желает постели, хотя бы с клопами. Всем этим истинам, ясно сознанным, хотя на вид и похожим на общие места, выучили меня дни лихорадок.

Вообще я едва ли не старею. Глаза не выдерживают беспощадной работы и иногда к вечеру болят. На этот счет я, однако, не поддаюсь, помня слова одного труженика, хотя и не очень даровитого, И. Ф. Ортенберга. Когда я ему сказал, что у меня глаза иногда утомляются от чтения и прибавил, что я иногда провожу дни не читая ничего, он сказал, что оттого-то они и болят. Это то же, что ходьба, езда верхом и так далее. Если нет органического расстройства и старости и безумных занятий, глаза должны выдерживать работу: выдерживают же они свет солнца и вид стен зимою.

О Вревской нет ни малейшего слуха. Писал в П<етер>б<ург> к Гаевскому, брату и Стремоухову (о высылке Байрона и Джеффри) [61]. Были попы, между прочим, я полюбовался, как у Василия выдержан мальчик. В мою болезнь развлекал меня кот, величиной с крысу, но веселости необъятной. Я в тревожном состоянии немного, будто жду дурной вести. NB о суеверии и поговорить о моих суевериях.

---

* метрдотель *(франц.)*.
** котлеты с острым соусом *(франц.)*.
*** пустые дни *(англ.)*.
**** лекарство столь же велико, как и плохо *(франц.)*.

Среда, 24 июня.

Болезнь покидает меня золотниками, оставляя за собой кислоту и леность, которую я, однако, одолеваю сильной работою. О, как трудно человеку держать себя прямо и бодро, когда он должен всю свою силу брать из себя самого. Когда поймут родители и воспитатели важность нравственного воспитания юношества, то есть воспитания его в бодром и веселом духе, в постановке будущего человека так, чтоб жизненные предметы казались ему все не в розовом свете, а под светлым углом. Мое воспитание в этом отношении было прегадкое или его вовсе не было. Я только видел печаль, недостатки, несогласия и чужое горе. Только избыток житейских неудач и печалей, случившийся рано, рано, заставил меня встряхнуться и с помощью молодости создать себе, бог один знает, с какими усилиями и потерями, мир своих наслаждений и свою собственную жизнь. Away, away! * [62]

В эти дни было много прочитано. Путешествие Мунго Парка, нужное для Скоттовой биографии [63], заняло меня достаточно, личность упрямого шотландца весьма привлекательна, но кой черт тянул его в эту глупую Африку! Que diable allait-il faire dans cette galère! ** [64] Уж лучше бы съездил в Отаити; я думаю, если часто видеть черных людей, то можно приобрести меланхолию. Впрочем М<унго> Парк и был меланхоликом.

Кольриджева «Biographia litteraria» *** занимательна для моих целей: я несколько примирился с Вордсвортом, у него есть славные места. Но что за плащ, сшитый из лоскутьев. Это бедная биография. «Письма сатирана» (я их еще не кончил), вплетенные при конце, плоски и бессмысленны и преувеличениями исполнены [65]. Великий ум, затемненный зернышком безумия, кадка меду с ложкой дегтю! Но кто меня выводит из терпения, это какая-то Сара Кольридж, вдова, не то дочь, не то невестка С. Тэйлора, обогатившая книгу биографией Кольр<идж>а и выносками, редкостью в своем роде. Эта ученая стерьва цитирует греков в оригинале, не удостоивая перевести цитат для нас, профанов, отзывается о Данте очень дурно, Гете считает вредным писателем, а выше обоих, кажется, ставит Вордсворта. Эту госпожу, если она жива, я бы с удовольствием высек, в поучение другим женщинам-писательницам. Хорошо бы, если б ей передали это мнение о ней на далеком Севере [66].

25 июня, четверг.

Пока писать не о чем, сохраним здесь, для грядущих поколений, грубый и неразработанный очерк драмы «Проклятие Данта» [67]. Все имена и события, кроме главного, о котором говорится в одном из комментарий «Рая», вымышлены. Перед работой нужно будет вчитаться в историю средневековой Италии.

Проживает где-то, положим, в Ферраре (нужно выбрать что-нибудь соседнее к Флоренции) свирепый и знатный старик Угуччионе ди Мала-

---

* Прочь, прочь *(англ.)*.

** Кой черт понес его на эту галеру! *(франц.)*.

*** «Литературная биография» *(греч., лат.)*.

теста, поселивший во всех согражданах такой к себе ужас, что они ему повинуются, как родному отцу. Для него зарезать человека ничего не значит, а разграбить соседний город не что иное, как удовольствие. Он имеет дочь, конечно, прелестную,— Джиневру, о которой заботится весьма мало. Все его боятся за гордость и жестокость, как беса. У него был один только друг, добродетельный рыцарь, но тот умер, оставив ему на попечение маленького сына. Малатеста воспитал мальчика по-своему, то есть сделал его волчонком вроде себя, но, к счастию, додержав его лет до 15, дал ему денег, собрал ему роту кондотьеров и пустил его пропитываться по Европе. Чуть выйдя из детства, сохранив красоту и вид дитяти, Гвидо сделался вследствие своей жизни типом юных разбойничьих предводителей, une machine à meurtre*, каким-то существом, для которого кровь, резня и бой были жизнью, а покой — мучением. Более пяти лет он не видал своего воспитателя и Джиневры, воюя во Франции, Испании и Южн<ой> Италии, когда, при начале драмы, он получает от старика приказание явиться в Феррару со своими латниками, для новых подвигов.

П е р в ы й а к т открывается собранием народа на Феррарской площади; вдали виден укрепленный дворец Малатесты. (Вся обстановка должна быть великолепна.) Народ разделен на две партии; одна, узнавши, что этот зверь желает несправедливо объявить войну Флоренции, пугается последствий и ропщет на беспрестанные войны. Другая, боясь Малатесты, вторит ему во всем. Между криком и бранью происходит экспозиция пиесы, и характер старого гордеца очертывается. Его так ненавидят, что даже его домашние не смеют отлучаться из дома,— вчера партия бродяг едва не утащила синьору Джиневру в отплату за своих родственниц, похищенных стариком; девушку защитил только какой-то таинственный пустынник во францисканской одежде, на днях пришедший в Феррару из дальнего пути, вероятно, от гроба господня, и еще не оправившийся от утомления. Народ, сам не зная за что, успел полюбить незнакомца и жалеет, не видя его на площади. Старики хотят, чтоб он пришел помирить несогласных.

После какого-нибудь эффектика для сцены медленно выходит посреди знаков общего почтения величественный странник. Ему не до народных споров, он смотрит холодно на суету, и на робкие спросы обеих сторон отвечает язвительно и небрежно. Но имя Флоренции касается его ушей, и он будто перерождается. Узнав, что предметом споров — набег на Флоренцию, он выпрямляется, глаза его блещут, и он произносит упрек всей Италии за ее вечные несогласия:

Не гордая окрестных стран царица,
Разврата дом, презренная блудница,
Италия, несчастная страна! —

и сравнивает свою любовь к ней с любовью юноши к непотребной женщине. «Утром я тебя ненавижу, в мраке ночи я жажду твоих лобзаний». Нечего и говорить, что это Дант, неукротимый мститель.

* машина для убийства *(франц.)*.

<Приписка>. В пятницу познакомился с Л. А. Блоком и его милой женою[68]. Обедали в Преображенском, пили шампанское и долго беседовали. И имение, и хозяева мне нравятся. Блок лицом и манерою напомнил мне покойного Авенариуса.

Суббота, 27 июня.

Пораженные Дантовыми упреками, граждане Феррары решительно идут против войны. Городские власти с ними соединяются. В это время со свитой, как герцог или подеста, выезжает старый Угуччионе, чтоб ехать в городской совет и принудить его к войне. Народ обступает его и кричит: «Не надо войны», за что получает ругательства и побои. Джиневра хочет увлечь отца с площади, но он ее отталкивает с грубостью и продолжает, обнажив шпагу, вызывать всех на ссору. Но волнение и упреки только вырастают, и правители города приказывают арестовать Угуччионе за злобный нрав и злодеяния. В это время слышна труба, возвещающая о прибытии Гвидо с его воинами. Угуччионе, продолжая ругаться, делает свои распоряжения и окружает площадь беспардонными кондотьерами[69]. В минуту кризиса они являются и начинают убийство, народ хочет бежать и не может, ибо окружен отовсюду. Угуччионе обнимает Гвидо, любуется на сына своего друга и велит бить народ до тех пор, пока он не даст согласия на войну и не выставит войска. Один Дант заступается за народ и велит тирану остановиться. Угуччионе смеется над ним. Дант сказывает свое имя, но с его стороны встречает одну насмешку. Потом они ругаются, Угуччионе велит убить Данта, несмотря на заступничество Джиневры и Гвидо. Со всех сторон окруженный убийцами, Данте говорит народу свое имя, и убийцы не смеют его ударить. Тогда, обернувшись к Угуччионе, поэт проклинает его и пророчит ему беду. Потом идет вон, и весь народ перед ним расступается. Угуччионе сам хочет убить его, но женщины кидаются между ним и Дантом. Он кричит воинам: «Бейте женщин!».

Акт второй. Терраса у городской стены, вблизи замка Малатесты. Ночь, розы, луна, фонтаны и все, что следует. Джиневра одна ходит по террасе с няней и смотрит на отдаленный лагерь. Гвидо уже пошел на Флоренцию, палатки его видны далеко. Джиневра не может идти к себе и чего-то ждет. С няней говорит она о войне, о Данте, и более всего о Гвидо. Характер ее должен быть без всяких тонкостей, просто милой и крайне страстной девушки.

В отдалении показывается всадник в золотой каске, с ним несколько солдат. Гвидо хочет под каким-нибудь предлогом увидеть город и пробирается на террасу. Свидание между любовниками — moonlight-scene *. Чтоб не было сладко и старо, нужно помнить два обстоятельства: горячую натуру Джиневры и полудикий персонаж-Гвидо. Для него женщина есть что-то новое и непонятное; до сих пор все им виденные женщины были какими-то растрепанными заплаканными уродами, и не мудрено, он их видел только в городах, взятых штурмом. Его страсти постоянно

* сцена в лунном свете *(англ.)*.

спали. Это неведение должно придать прелесть сцене et même un peu du napan *; Гвидо может любоваться своей донной, распустить ее волосы, спрашивать, отчего они так длинны, удивляться ее рукам и груди. Все это надо вести осторожно, чтобы не впасть в приторность. Наконец, Гвидо может дать подробности о своей прежней жизни.

Любовники забылись, а им грозит великая беда. Ночью флорентийцы, с помощью какого-то таинственного проводника, окружили лагерь феррарцев, часть воинов заранее уже изменила. Пока Гвидо строит куры, в лагере видно волнение. Маленький отряд его друзей (уезжая из лагеря, он сказал, где будет) является на террасе и говорит, что дело завязалось, что кондотьеры дерутся, но что феррарцы ненадежны. Гвидо разом превращается из дитяти в полководца: вспомнив всю местность, он приказывает занять известные тропинки, а сам с воинами готовится ударить на флорентинцев с одной стороны, о которой они и не думали. «А ты и не думал об этой стороне»,— говорит один из всадников, указывая на террасы и берег, а затем трубит в рог. Отовсюду поднимаются флорентинцы и изменники феррарцы. Путь к лагерю отрезан. Гвидо, однако, спасает Джиневру, приказывает везти ее в замок отца, а сам, прикрывая отступление, попадает в плен. Сцена наполняется сперва беглецами, потом флорентинским войском. Все пропало. Военачальник хочет разграбить Феррару и посылает сказать Угуччионе (зная его любовь к Гвидо), что, если к известному дню он не пришлет какой-то неслыханно огромной суммы, юношу казнят. Сцены и эффекты, упрямство Гвидо.

В эту ночь Дант под видом проводника спас флорентинцев. Начальник обещает ему прощение со стороны Флоренции — тот отказывается, но просит, чтобы заключили мир. Флорентинцы не хотят лишиться случая пограбить и попакостить. Дант оставляет их с презрением. Тут, если понадобится, он может открыть, что Гвидо — сын Беатриче. (Так как драма уже пишется, то изложение содержания останавливается.)

Вторник, 30 июня.

Третьего дни я имел вечер поэзии, поэзии внутренней. В тихой и довольно холодный вечер я возвращался от Томсона, глядя на окрестности, которые довольно красивы, даже очень красивы, обдумывая «Дантово проклятие», ныряя мыслью туда и сюда, скликая разные воспоминания и концентрируя разные поэтические воспоминания, эпизоды и начинания. То была музыка без голоса, и голоса мне недоставало. Я чувствовал, что у меня под руками нет нужного орудия: владей я легкими стихами, у меня вышло бы несколько стихотворений. Планы некоторых были такие. Пятигорск и воспоминание о Лермонтове[70]. Горная дорога между Ессентуками и Кисловодском. Поэзия старинного барского имения в России. Сетование о том, что mi manca la voce **. Так как я говорю сам с собою, то могу передать здесь, что мне по временам кажется странная вещь: мне приходит в голову, qu'il y a dans moi l'étoffe d'un

* и даже немного пикантности *(франц.)*.
** мне не хватает голоса *(итал.)*.

poète du premier ordre *. В голове моей накоплены массы картин и впечатлений новых, живых,— само собой разумеется, пока форма мне не дается, все это пустяки. В каждом развитом и жившем человеке есть огонь поэта, обрывки поэта, у меня все это яснее выяснилось и создалось, чем у других, но я все-таки не поэт. Какой-нибудь необыкновенный случай может переворотить всю мою натуру и поджечь этот костер, а может костер и так простоять, по временам шипя и дымясь. Упорство и прилежание едва ли не лучше катастроф и страстных переворотов, но где взять упорства и прилежания. Ах, зачем мне не девятнадцать лет, что бы я сделал, имея при теперешнем запасе еще десять лет молодости с горячей кровью. Но сокрушаться нечего, жизнь есть лотерея аллегри, где можно выиграть первый выигрыш, но где все-таки не следует сокрушаться и ничего не выигравши.

Бар<онесса> Вревская уже несколько дней как приехала и привезла мне портрет мисс Мери, в черкесском наряде. Все благополучно и все наши здоровы. Вчера у нас был предводитель с женой, Обольяниновы, Томсоновы и поп. Тьма народа. Кстати о портретах, не забыть о коллекции M. R., мисс Мери, брат Андрей, Федотов, Жданович, Лиза. L. A.

Из других: Сатир, Каменский, Маркевич, Дрентельн, Своев, Толстой, брат с женой и детьми, Жуковские
и все любовницы, какие будут, пошли, боже, их две тысячи.

Пятница, 3 июля.

Всякий день гости, но нужно отдать им справедливость, гости умные, то есть прибывающие два часа после моих утренних работ и не ночующие. В среду Кованько с женой, исправник Лужского уезда, толстяк, о котором нельзя сказать ничего ни дурного, ни хорошего. Супруга же его, которую я еще помню в виде цветущей бель-демуазель [71], напоминающей собою имп<ератрицу> Екатерину полнотой и величавостью, ныне сходствует с цыганкой, тощей и загорелой. Из всей их беседы не извлек я ни шиша. Пересуживали бедного Арсеньича и его супругу. Это лица довольно замечательные, о которых когда-нибудь поговорю. Я знаю так много чудаков и интересных людей, что, право, не мешает их изобразить здесь, единственно (по выражению Адлерберга) для освежения в памяти всего виденного и испытанного.

Потом был сосед Я. И. Мейер, коего дом похож на барак и сильно напоминает лагерное время. Это старый гусар, с которым можно отвести душу, толкуя о женщинах всех краев, всякого вида и поведения. Я в деревне не читаю скандальных книг, не имею соблазнительных картин и статуэток, вообще боюсь будить уснувшего змея (оборот весьма поэтический), но как же не потешить гостя нескромными речами? Ко всему этому Мейер, одевающийся стариком (Панаев упал бы в обморок, видя его жилет с голубыми цветочными полосами и пестрый черно-шелковый шарф летом), присоединяет интерес уездной газеты, и сам говорит, что

---

* что у меня данные поэта первого ряда *(франц.)*.

ему знакома скандалезная хроника края. Сообщена история о том, как Бланд<ов> приехал в дворянское собрание, имея на себе сальный сюртук, отчего едва не был выгнан; о развращенных нравах однодворцев села Красного в Орловской губернии, об оригинальной женитьбе помещика Дедюлина и вперед обещано много новых рассказов. В случае великой скуки такой сосед довольно полезен.

Начата «Жизнь Шеридана»; пишется без охоты и холодно. Все лучше, чем строчить неудачную повесть. «Дант» остановился, и стихотворных мыслей в голове нету.

Буду ли я когда-нибудь вставать рано? Девять и самое раннее $8^{1}/_{2}$, раньше не вставал ни разу.

Понедельник, 6 июля.

Чтоб совсем не забывать журнала, выбираю вечернее время после трудов, при закате солнца, когда ветер стихнул и, след<овательно>, нужно гулять. При всем малом количестве внешних и внутренних событий, поневоле пропускаешь многое, не имея времени. Если со временем я удостоюсь того, что мою жизнь опишут, немного найдут материала в этих заметках. Еще вчера, едучи вечером к Обольяниновым (у которых сад напомнил мне дачу и Каменный Остров), я соображал кое-что о самом себе и пришел к тому заключению, что каковы должны быть свиньи все люди — если я, с моими пороками и слабостями, считаюсь хорошим человеком? Потом я спросил сам себя: почему же я не хороший человек? — и не мог дать ясного ответа.

Такая же запутанность видна и в теперешней моей жизни. Что я, работаю или ленюсь, иду вперед или даром трачу время? Если я ленюсь, то куда же идут семь часов или около того, посвящаемые мной на письмо и чтение; если я тружусь, то почему же лучшие мои планы остаются без исполнения? Почему я не тягощусь работой, а между тем сплю после обеда постыдным образом, то есть, наевшись, падаю на диван, как в обморок, и засыпаю? Но эта смесь труда и лености имеет много приятного, не говоря о пользе. В деревне отрадно то, что, ложась спать, знаешь, что следующий день пройдет тихо, без хлопот и беды. В постоянной городской жизни я бы *изныл* от радостей, сомнения, ожидания, а иногда и неприятностей.

Сегодни впрочем я был испуган на одно мгновение дымом от какого-то горевшего лесу, который, с переменившимся ветром, застлал всю окрестность. Я думал, что горит дом или деревня. Сельский пожар не то, что петербургский.

«Roderick Random» Смоллетта очень меня тешит. Я иногда бросаю книгу и хохочу, как дурак. Эти бордельные сцены, обливание из урыльников — необыкновенно живописны. Боулинг и Морган прекрасно очертаны. Жаль, что слишком много бедствий, да и сам Рендом немного каналья. Меня поразили остатки варварских нравов в описании походов и флотских сцен. То, что при Смоллетте было истиной, ныне едва ли может произойти в Камчатке.

T'is well to dissemble our love,
But why kick me down stairs? *[71]

Вот польза изучения чужих литератур: иногда там неожиданно подцепишь такой божественный оборот речи, за которым сто лет пробился б напрасно.

Вторник, 7 июля.

Сегодняшний труд шел вяло, больше занимался *мышлением,* как говорит один лентяй. Ни капли дождя, по сторонам горят леса, и повсюду висят облака дыма. Сад уже украшен белыми и красными розами, георгинами и так далее, так что неизвестно, какие цветы будут цвести к осени. Из Петербурга ни письма, но я очень покоен, тем более, что в прежнее время имел привычку беспокоиться при подобных случаях. Вчера вечер проведен был, как почти всегда, в компании доброй нашей соседки — мисс Мери и маленького серого кота, который, как орган: стоит его только тронуть, и он начинает to purr **, как живописно выражаются англичане. Перед беседой ходил по саду с час, пытаясь сочинить нечто вроде элегии, но при всех усилиях совладал только с четырьмя стихами:

Еще одна и тяжкая утрата!
Еще боец из наших взят рядов,
И грустно мы стоим над прахом брата,
Товарища блистательных годов,
Над другом дней, то светлых, то ненастных
. . . .

Затем есть отрывочки, изображающие характеристику усопшего, его страсть к веселью и юношеским пирам, его коварное оставление всех друзей во время скуки и его понимание веселой бедности. Потом должно идти приглашение сомкнуться и идти вперед бодро и спокойно.

Как лучший воин в тягостную сечу
Без ропота, с холодностью идет! [72]

Нет, sacrebleue! *** если я и не одолею стиха, то зато бой будет выдержан, и я могу утешать себя тем, что я не поэт [73]. Зовут пить чай к Вревской, у которой Томсон. А я думал обдумать простенькую повесть о Нардзане [74]. Неужели же этот лунный свет и гроты и m-me Julie, и горная дорога, и снеговые горы, и ночь в парке, и нардзан, и Лермонтов, и балы на утесе, и вся эта обстановка моя два года тому назад — не сложатся, наконец, во что-нибудь стройное?

Однако хороши должны быть в целом мои деревенские заметки, только и говорится, что о литерат<урных> делах. Оно, впрочем, лучше, ибо чуть заведешь речь о чужих характерах и своих психологических тонкостях — времени не хватит.

---

* Мы скрываем нашу любовь,
Но зачем же пинать меня вниз по ступенькам? *(англ.).*

**мурлыкать *(англ.).*

*** черт возьми! *(франц.).*

Среда, 8 июля.

Вчера был накормлен скверным ужином из плохой яичницы, говядины вроде сапога и простокваши, отчего в желудке началась возня, как у Ноздрева, когда он объелся всякой дряни, но лето меня выручило, и все прошло без дурных последствий. Теплая пора исправляет меня совершенно.

Начал легенду о Нардзане (увы, в который раз) и уже на первом листе отклонился от простоты. Я, без шуток, слишком умен, как все мои герои, оттого многое мне не удается. Нужно всегда немножко сперва поглупеть, принимаясь за беллетристическую вещь. Что мне, между прочим, делать с Чернокнижниковым[75], который лежит, ожидая радостного утра?[76] В основание этого романа положено много моих лучших воспоминаний, веселой бедности, дней melés de pluie et du soleil *, беспутных приключений, святой дружбы и шатанья по черным лестницам. Как-то жаль пустить все это в карикатурный роман, предназначенный для потехи. А делать что-нибудь серьезное из этих блистательных воспоминаний — впадешь во что-нибудь чувствительное, и вся юношеская воздушная сторона улетит навеки.

Изо всего старого и былого мне грустнее всего будет проститься с артистическими шалостями, веселыми и безденежными днями de la vie de Bohême **. Только с началом цыганской жизни начал я жить на свете, и не я оставлю ее первый. Мне всего шесть или семь лет от роду, только шесть или семь лет как я живу на свете, а уж сколько растеряно драгоценных товарищей, сколько пустых мест вокруг меня! Молодость, молодость, мои 24 года, и пуще всего мои верные спутники, чернокнижные сподвижники!

Событий ни малейших. Окрестные сплетники и сплетницы много чешут языки насчет моего приятеля В. А. Семевского и его загадочной супруги, кажется, имеющей некоторое поползновение представлять царицу Гдовского уезда. Но претензия эта не согласна с положением супружеского кармана: трудно более запутаться, живя в деревне и имея около 2 т<ысяч> душ. Щелецкий дворец, который начат уже лет пять, окончен вчерне, но убрать его едва ли кто возьмется, и бедный Арсеньич долго, я думаю, не переедет в него жить. Всюду долги, неудовольствия, сплетни, общее ожесточение. Имение за недоимку отдают в опеку, около Нарвы нанята дача,— и нет денег, чтоб туда поехать. Обстоятельства плачевные, но достойные наблюдения, этюда и, при случае, описания.

Пятница, 10 июля.

Так как событий особенных не имелось, кроме того, что почти весь вчерашний вечер в поле, на дороге и в саду проведен был мною в не совсем удачных попытках тщетного стиходейства, то я продолжаю «Данта», который по лености и тупости отложен в сторону. Не раззадорюсь ли я изложением?

---

* попеременно дождливых и солнечных *(франц.)*.
** богемной жизни *(франц.)*.

Мы остановились на том, что Гвидо (в драме он у меня будет Асканио Строцци) взят в плен и должен быть казненным, если его не выкупят. Тут открывается третий акт. Угуччионе один в своем дворце, он уже распродал свое имущество, чтоб спасти сына своего друга, но как его кредит сильно упал в Ферраре, да еще и город осажден, то все-таки нужной суммы не выходит. Свирепый волк еще пуще предается неслыханному свирепству, эпизоды, которого будут придуманы. Между прочим, он заманивает к себе жида банкира, и по средневековой системе, описанной в «Ивангое»[77], велит сделать ему пытку, чтоб вымучить деньги. Но жид хитер и, конечно, не сунулся в западню без предосторожностей. Он начинает кричать и, открыв окно, указывает дикому рыцарю толпы народа, в негодовании собравшегося пред замком. Со всех сторон беды грозят Угуччионе, но он помнит только одно — необходимость спасти того, кто поручен ему другом умершим. Борьба между единственным благородным побуждением и зверством натуры. Джиневра приносит отцу все свои вещи и платья для выкупа Асканио. Тут будет эффект: Угуччионе берет свою дочь и обещает отдать ее жиду, если тот даст ему денег. Жид колеблется, старый рыцарь начинает умолять его, но еврей, услыхав о количестве нужной суммы, клянется в ужасе, что ее можно достать, только обобравши всю Феррару. Это восклицание, соединенное с кликами негодующего народа, требующего головы Угуччионе, вовлекшего весь город в несчастную войну, подает старому рыцарю ту мысль, за которую Дант поместил его в рай. Он велит вынести на площадь ковер и разложить его на видном месте. Выгнав всех присутствующих, он произносит краткую молитву и твердым шагом идет на площадь.

Сцена переменяется. Площадь, наполненная народом, доведенного до безумия осадой и прочими несчастиями. Угуччионе, при криках проклятия, выходит к народу, со стражей и дочерью, требует слова. Он убит совершенно, но тверд. Общее ожидание.

Кстати, не забыть одной остроты о плохих поэмах какого-то рифмача. «Его вещи будут читаться тогда, когда мир забудет Гомера и Виргилия — but not till then!» *

Понедельник, 13 июля.

Суббота была подлым днем. Я поехал к Мейеру, думая дорогой позавтракать в с. Преображенском у Л. А. Блока, и не застал ни того, ни другого. В Гверезне я отдохнул полчаса, осмотрел сад с великим запасом цветов, покурил и, тщетно подождав, чтоб служитель догадался и чем-нибудь меня покормил, поехал домой по горам и сильному жару, сидя в открытой коляске. Меня растрясло и накалило солнцем, дома я пообедал не очень осторожно, лег спать, не заснул и к вечеру встал с головной болью и тошнотой. Даже в воскресенье я был слаб и только расходился к вечеру. У нас были Томсон с женой и сыном, Е<вфимия> Н<икитична> и мисс Мери. Трудно себе представить что-нибудь влюбчивее

---

* но не до тех пор! *(англ.)*.

этой крошки, она совершенно переконфузила маленького Томсона, кокетничала с ним, как большая, проводила до коляски и потом смотрела в окно ему вслед. Мы много смеялись. Вчера был не очень большой гром и дождь. Сегодня гремит тоже. Жар великий.

Были письма из Петербурга. Старчевский не присылает брату денег[78]. Потешусь же я над «Библиотекой», этим литературным бедламом!

Получил Джеффри и Байрона. Собирался было переводить «Гяура»[79], да не идет!

Пятница, 17 июля.

Работы идут, несмотря на потоп гостей. Во вторник — Вревская, Максимов и поп, причем моя родительница так выбранила бедного заянского помещика за его притеснения отцу Василию, что только моя дипломация несколько примазала ход всего дела. Накануне еще был поп Дмитрий, в распьяном виде уверявший, что в нем сидит бог, и говоривший такую чепуху, что я опасался за его разум. В среду я собрался к Томсону на обед, и перед самым обедом явился ко мне Мейер; мы поболтали и вместе поехали в Радолицы. Там нашли смесь одежд и лиц[80], плохой обед и разную бестолковщину. Я познакомился с Трефортом, отставным полковником Уланского е<го> в<еличества> гвард<ейского> полка, соседом Мейера. После обеда врали похабство, щупали радолицких горничных, из которых две сестры могли бы с большой пользой украсить мое уединение. Потом Мейер ночевал у меня, я спал плохо от жару, утомления и развратных желаний, само собой разумеется, возбужденных не Мейером, а его речами и видом *девчоночек,* как говорит А. Н. С<труговщико>в. Были у Вревской. К вечеру приехал Трефорт и оказался милейшим мнительным чудаком, много видевшим на своем веку. Вот история, самим им рассказанная: у него был доктор, прописывавший ему все то, что тот сам назначал,— один раз он заставил его прописать себе от головной боли *мускусовые порошки,* принял их и стал здоров. На мой вопрос, кто же вам это посоветовал? — он только сделал жест около головы, показывая, что то было делом вдохновения!

Он присутствовал при Варшавском восстании, отступал с в<еликим> к<нязем> Константином Павловичем и обо всем рассказывает недурно. На вид он здоровяк, а все лечится. Вспомнили Щербатского, Нарышкина, Панютина и Кривцова, которого я видал на Кавказе. Чуть они уехали, я вечером, посреди страшного жара, написал от матушки письмо к архиерею, в самом благочестивом духе. Чуть пришел из флигеля в дом, явилась m-me Бландова с дочерью, которой я сегодня же поутру снял схожий портрет, здесь прилагаемый. Они ехали проездом в Лужский уезд и, к счастию, не ночевали. Сегодня гром, дождь и молния, но всетаки жара.

Вот в какой сумятице провел я эти дни. Много забавного, много странного и смешного, но по мне все как-то скользит без следа. Кончил «Рендома» и принялся за «Перегрина Пикля»[81].

Четверг, 23 июля.

Еще пять дней без журнала, из них три, нет, четыре, проведены были на обедах, в Ильин день[82] у Мейера, en petit comité * с Трефортом, оказывающим ко мне самое нежное расположение. Когда я пригласил его к себе на охоту, он сказал: «Какая может быть охота, когда я приеду к вам, в ваше общество!» Le complement est très bien tourné ** и скорее может быть сказан девушке, чем мне. День провели в похабных речах, прогулке по деревне, где был праздник, и в музыке, которая производит на меня в деревне великолепное влияние. Если б я имел старый дом, древнюю залу с резонансом и хорошенькую женщину, которая могла б играть мне разные вещи, я бы много выиграл. Воротясь домой, я застал опять мадам Бландову с ее декламацией и испуганной фигурой.

Накануне Ильина дня обедали у Вревской с Обольян<иновым>, Блоком, его женой, сестрой и Максимовым. День прошел приятно, в щелкании языком. La charmante Ariane ***[83] начинает мне нравиться, особенно по своей стройности и сложению. Весьма замечательное лицо старшая сестра Блока[84], оставшаяся после матери 18 лет и с той поры для всего семейства заступившая место матери. Ее старанием в семействе поддерживается завидное, не приторное согласие, стоящее похвалы и подражания. Через день опять у Вревской, в более скучной кампании m-me — m-lle Бландовых. Ушел рано и лег спать. Предыдущий обед начался в 7 почти часов вечера.

Наконец вчера именинный обед у Обольяниновых, там несколько новых лиц: сестра покойного Николая Петровича, ее воспитанница, царскосельская вдова, толстая и, кажется, одаренная нежным сердцем, из старых Лев Ник<олаевич>[85], его больной брат, жалкий молодой человек, сокрушенный ревматизмами, Вр<евская>, Бибикова с красноносой воспитанницей, старый брат Блока[86], дважды выдержавший холеру и начинавшуюся горловую чахотку, неизбежный Максимов, с которым мы сражались на бильярде. День прошел приятно, даже возвращение домой, при грозных сумерках, дожде и толчках всякого рода, не лишено было приятности.

Несмотря на то, работа поденная идет исправно. Я дал себе слово не опускаться, а на драму о Данте смотреть как на свой opus magnus ****. Кстати, пора кончить изложение драмы, тем более, что его немного.

Мы уж сказали, что Угуччионе, истощив все средства спасти Асканио, выходит перед народ и приказывает разостлать перед собой ковер. Тут излагает он гражданам все свое положение и свою любовь к сыну друга, свою клятву, данную его отцу, насчет покровительства и юноши и заключает свою речь неожиданным воззванием. Он сознается в том, что угнетал Феррару, что злодействовал над городом, и затем *становится на колени посреди площади, на ковер, умоляя каждого про-*

* в узкой компании *(франц.)*.
** Комплимент очень хорошо повернут *(франц.)*.
*** Прекрасная Ариана *(франц.)*.
**** главное произведение *(лат.)*.

хожего бросить на ковер хотя одну монету для выкупа Асканио. Народ, пораженный изумлением, сперва молчит, потом начинает издеваться над рыцарем, потом хочет, в виде мщения, убить его, но кузнец Уго его спасает. Рыцарь все стоит и просит подаяния. Народ начинает стыдиться и волноваться. Наконец одна девушка снимает свои серьги и бросает на ковер.

Это подаяние служит сигналом прощения. Итальянцы, не знающие меры ни в зле, ни в добре, начинают бросать деньги на ковер. Женщины плачут. Уго с товарищами хотят поднять старика, находя его довольно наказанным, но Угуччионе говорит только: «Я не встану». С ним начинается *дрожь,* о которой говорится в Дантовом «Рае». Джиневра приносит все имущество и плачет. Восторг народа превосходит все пределы, ковер засыпан золотом.

Слышится шум сражения, войско бежит на стены, доходит слух о том, что часть войск Асканио, избегших поражения, сбоку теснит осаждающих. Ею предводительствует опять незнакомец во францисканском одеянии, с каской на голове. Угуччионе продолжает стоять на коленях, весь дрожа. Наконец слышатся крики: победа, победа!

На площадь при криках народа вбегает Асканио, и перед ним Дант, с мечом и отбитым знаменем. Войско провозглашает победу над флорентинцами. Дант идет к Угуччионе, прощает его и приглашает его встать. Асканио и Джиневра кидаются к старому рыцарю, но Угуччионе не встает. Он не дрожит больше,— его подвиг кончился смертию, натура гордого воина не перенесла унижения, хотя и святого.

Дант благословляет его и полный восторга прославляет грешника. На небе видит он сонмы ангелов, встречающих воина, который для спасения друга дрожал всем телом. Величественными его терцетами заключается действие.

Дант уходит — народ кидается перед ним на колени и целует края его платья.

— В хозяйке должна соединяться щеголеватость с экономией.
— Воспоминания об ул<ане> Нарышкине.

Пятница, 24 июля.

Перелистывал рукоп<ис>ь Чернокнижникова и расхохотался до того, что тотчас же написал почти лист и решился продолжать роман. Весело писать эту чепуху, и фразы сами летят под перо. Этот genre *, упрощенный и исправленный, может составить мою славу, если у меня будет время. Моя веселость есть какая-то особенная веселость, похожая на нелепую веселость человека несколько пьяного, в кругу нежнейших друзей сердца. Придумал эпизод о любовном письме, из Смоллетта. Это все пойдет в Чернокнижникова. Жаль, что нет достойных сотрудников. Нет, чернокнижие нелегко дается людям, из всех друзей и товарищей — я не могу решить, кто достоин быть моим сотрудником по чернокнижию. Разве Лонгинов, если б его переродить и оторвать от хлыщей, ибо для чернокнижия потребно сердце нежное и любящее.

* жанр *(франц.)*.

Легенда о Нардзане двигается, хотя тихо. Книга Голов<нина?>, взятая мною, не сообщила мне ничего нового[87]. Это не сатира, не правда, ума именно тут настолько, чтоб вся вещь не казалась глупою. Односторонность гибельна во всем. Il ne doit pas exister de *contre* sans le *pour* *. Завтра уезжает Вревская, а нужно заготовить письма.

Суббота, 25 июля.

Целый день один, после обеда не работал, а совершал путешествие через Колодки, обе рощи, яровое поле, до дома. Пользы относительно *мышления* не произошло никакой, голова моя по временам очень похожа на мельницу, не засыпанную зернами,— жернова мелят и стучат понапрасну. Для таких случаев очень хороша полумеханическая работа, как моя биография Скотта, и даже Чернокнижников. Легенда о Нардзане вчера вечером изрядно подвинулась.

Плодом одиночества выходит уже обычный феномен — украшение отдаленных предметов. Уже о Петербурге, Парголове, Островах я думаю с приятным волнением сердца, отсутствующие друзья кажутся еще милее. Живы ли все они, как идут их дела, сохранила ли их мне судьба, крайне невежливо поступившая со мной эти годы или, вернее, один год? Сегодни я с особенной отрадой думал о моих идеальных супругах Жуковских, о их питомце Кузнецове, детях и сером коте. Дай бог им много счастия за всю их любовь, за верность в тяжкие минуты и за все добродетели, почти баснословные в наше время!

Странно, что до сих пор нет писем от Гаевского. Замечательно, что все мои друзья или стары, или хворы, или до крайности истасканы, а иногда и все это вместе.

Воскр<есенье>, 26 <июля>.

Волки появились в лесах, съели барана и корову.

Понед<ельник>, 27 июля.

У Максимова проиграл 4 партии на бильярде.

Вт<орник>, 28 <июля>.

У нас гости, Торопыриха, Мак<симов> и Томсоны. Щелканье языком: за обедом я удачно травил Катерину Петровну, бедную сироту. Очерк легонькой вещицы «Моей дорожной спутнице». Воспоминание о Julie. Где она и не погибла ли в толпе хамов и мерзавцев, составляющих петербургскую aristocratie financière? ** Хорошая, горячая натура, а я дурак.

Среда, 29 июля.

Мой катехизис.

— Против факта совершившегося не иди — с плетью не выступай против обуха.

---

* Не может существовать *против,* если не существует *за (франц.).*
** финансовую аристократию *(франц.).*

— Раскаяние есть глупость — малейший шаг к новой деятельности лучше выкупает проступок.
— Не сердись на то, что на дубах не растут ананасы.
— Люди — наше первое богатство, но умей иногда жить и без богатства.
— Женщина (только не рыло), подарившая тебе один только взгляд, уже имеет право на благодарность.
— Верь, что на свете живут люди удивительных качеств и добродетелей, так же, как бестии, не выкупающие зло ни одним добрым качеством.
— Между достижением желания и зарождением желания нового есть интервал, цвет жизни человеческой. Не верь тому, что нет счастия.
— Здравая леность есть лекарство от жадных стремлений к почестям и наслаждению.
— Высасывай сок из всякого человека: врага, друга и постороннего.
— Не страдавший не наслаждается, не утомившийся не отдыхает, не одиночествующий не знает цены дружбе.
— Давай часть собственных своих качеств любимым людям.
— Бедность имеет свои наслаждения.
— Веди себя в жизни, как посреди лотереи аллегри: принимай выигрыши, но не рассчитывай на первые номера.
— Развивай в себе сознание ощущений. Не верь блаженству первой, бессмысленной юности.

Четверг, 30 июля.

Некоторая скука и утомление. Справив обычные полтора листа В. Скотта, читал Смоллетта и решился вечером сегодни не работать, чтоб не охладеть к работам. Вчера во время вечерней прогулки обдумывал Данта, в прозе, для выяснения характеров. Вместо того чтоб писать журнал, буду писать сегодни приложение к нему, то есть вести вперед поэму, которую начал прошлого года в октавах. Чтоб она не пропала, *октавы будут в прозе.* Мне жаль потерять славный сюжет. Придет муза — хорошо, а нет, так, по крайней мере, план останется. (Смотри лист А и след.).

Пятница, 31 июля.

Скучное посещение станового пристава. Объехал лес. К обеду прибыл Мейер.

Суббота, 1 августа.

Беседовали с Мейером, вечером ездили в Заянье играть на бильярде. Я утомлен очень.

Воскресенье, 2 авг<уста>.

Работал утром и вечером. Вечером Василий с женой. Спрашивал о семинариях и монахах и киновье [88].

Понедельник, 3 авг<уста>.

Эти дни работал не много, но порядочно. Мейер был у меня кстати, потому что я начал было скучать. Сегодни еду к нему и надеюсь застать там Маслова, вероятно, буду и ночевать в Гверезне. В. Скотта я довел до конца 4-й статьи, пора приниматься за Шеридана и обделывать повесть; вообще, результат моих трудов менее чем за два месяца не дурен. Худо то, что нет ничего капитального, но есть планы и зародыши. Вчера получил удовлетворительное письмо от Гаевского, а третьего дни от брата.

Из читанного мною эти дни стòит внимания статья о поэмах Теннисона и еще жизнь Даниеля Дефо. Первая богата выписками, из которых мне понравились идиллия «Виллиам и Дора» да еще баллада «Лорд Бюрлей», размером похожая на гетеву «Баядерку» — один стих женский и один мужской, редкость в английской поэзии. Теннисон есть *умный* поэт, у него parti pris * в каждом слове. Не думаю, чтоб он весь мне понравился. Жизнь Дефо очень занимательна и обильна многими полезными сведениями. Характер Виллиама Оранского великолепен. Это писал если не Маколей, то один из его удачных подражателей.

Не люблю я бесед с глазу на глаз, и потому мой гость эти дни порядочно меня утомил, несмотря на большие свои достоинства. Мейер много видел, много читал, был за границей и хотя во многом отстал, но выкупает все веселостью характера. В небольшом, но и не очень малом кругу он должен быть очень хорош. Вот тем-то и приятна жизнь в больших городах, что там можно быть изысканным на счет приятелей,— но он был бы моим приятелем и в Петербурге. Перед посещением его заеду к Трефорту.

Вторник, 4 авг<уста>.

Начались печальные августовские серенькие деньки, предвестники скорой осени. На полях порядочная скудость, кое-где показывается первый желтый лист, кропит дождь, всегда готовый, когда его не нужно. В такие дни нужно веселиться или работать con amore **, а смешивать два эти ремесла [89] — только мучить самого себя. В эти серые дни ужасно грустно ехать, еще грустнее являться домой и, раз выскользнув из трудолюбивой колеи, нападать на нее сызнова. Путешествие вчерашнее не совсем удалось: во-первых, у меня к вечеру заболела голова, может быть, с дороги, может быть, от водки, которой рюмку я выпил натощак у Трефорта,— во-вторых, Маслова не было, и слухи о нем пропали. Впрочем, вечер прошел приятно, en trois ***, хозяин смешил рассказами о дерптской жизни и студенческих шалостях.

Спать мне было хорошо, но от боли, соединившейся с тошнотой, я провел неприятные полчаса перед усыплением. Со сном все кончилось. Наутро мы гуляли, завтракали, и я поехал домой по скучным полям. Нет, с

* предвзятость *(франц.)*.
** с любовью *(итал.)*.
*** втроем *(франц.)*.

меня довольно деревни, как ни хороша она для работы. На будущее лето нужно выдумать кое-что поразнообразнее. Деревня претит.

Прочел в «Эдинб<ургском> обозр<ении>» любопытный разбор Фейербаховой книги о преступлениях, с изложением двух кровавых процессов: священника Римбауера, убившего свою любовницу, и семейства Клейншрот. Достаточно страшно, а изложено в совершенстве.

Между прочим, моя биография Скотта плоха по слогу. Нужно подумать об этом.

Пятница, 7 авг<уста>.

Вчера гости, Мейер и моя очаровательница, бедная сирота. День прошел приятно, особенно вечерняя беседа. Пока публика болтала, я сидел спокойно, зевал и поддразнивал, и курил, и вообще находился в тихом, светлом настроении духа. На днях получил письмо от Маслова и жду его в скором времени. 15-го числа назначена большая поездка в Гдовскую Швейцарию, 17-го — большой обед у предводителя *, потом имеется *в виду* сельский бал у баронессы. Ни одно лето не было столько гостей и увеселений всякого рода, но зато и работы никогда не шли так регулярно. Со всем тем нельзя сказать, чтоб было очень весело. В деревню хорошо являться избитым, замученным, одурелым и истасканным душевно, а этот год я уехал, только что разгулявшись.

Суб<бота>, 8.

Староста Осип пришел в ужас от изобилия гостей.

Воскр<есенье>, 9.

Вечером Маслов обрадовал меня своим приездом.

Понед<ельник>, 10.

Много ходили по роще и лесу, болела к вечеру голова.

Вторн<ик>, 11.

Письма от Соляникова и Гал<иев>ской. Отправка писем в город.

Среда, 12 авг<уста>.

В четырех строках изложил почти все события этих дней. Погода дождливая и унылая. С Масловым я имел первый день истинно отрадного разговора (я не считаю бесед с Вревскою, которую считаю если не другом, то дорогою соседкой), вспоминали о Григоровиче, Боткине, Некрасове, панаевском бедламе и прочая. Приятно было узнать, что М. утвердился на своем месте и еще в этом году получил более 3 т<ысяч> р<ублей> с<еребром> наградных денег. Что ни говори, а петербургские друзья самые лучшие; когда набалуешься ими, трудно мириться с деревенскими чудаками.

Отправил Соляникову чувствительное, но отчасти резкое письмо:

* Отложен по случаю смерти брата m-me Ариадны.

«День, в который вы явитесь в СПб. спокойным, независимым и свободным от нарекания, будет для меня отрадным днем. Исправляйтесь немедленно и не льстите себя надеждами». Вот смысл моего письма. И я прав, ибо люблю этого человека, хотя и отчаиваюсь в нем[90]. Гаевскому послал 2-ю часть Скотта и любезное письмо. Об Ахматовой я сказал: «Какого рожна я ей напишу?». Это не совсем честно, но если спроситься с совестью, то я должен сознаться, что люблю ее только за то, что она меня любит. Какая разница, например, с Масловой, Жуковской, Вревской. За этих женщин я пойду без штанов по морозу, хотя не люблю их любовью. Только один сумасшедше-самолюбивый человек поднимается на дыбы, узнав, что такая-то женщина к нему привязана. Hel<ène> я вовсе не люблю, а Г<алиев>ская всегда будет рыло, рыло, рыло. Какого черта она меня бомбардирует?

Потом, почему дорожить женской дружбой, если сама женщина не способна нам ничем полюбиться? Наловить себе друзей и подруг легко, если не разбирать. Может быть, Максимов способен быть моим другом, может быть, носорог-заика пылает ко мне преданностью, да я-то их не хочу. Разбирая друзей в мужчинах, для чего же делать исключение для женщин? Вежливостью мы им обязаны, и конечно все.

(Не понимаю, под влиянием какого чувства написано все это! Так ли я думаю о женщине, у которой проводил десятки приятнейших вечеров и к которой сейчас же побегу, чуть она приедет в Россию? Что у ней есть слабость, это правда, но есть бездна добра и преданности. Разгадайте же историю человеческих противоречий! 25 авг<уста>).

Пятница, 14 авг<уста>.

Прочитано много хороших вещей. Рецензия на Amber Witch, прелестную подделку пастора Мейнгариса или Мейндорфа, часть Маколеевой статьи о Б. Гестингсе, разговоры Гете в «Вестминстерском обозрении», эти последние мне чрезвычайно понравились. Как хороши отзывы Гете о причинах его политического равнодушия! Как много тут науки всем нам. Иди вперед, но без шума, действуй в той сфере, где находишься. Сильные меры и стремления к переворотам — одно зло.

Я забыл упоминать о том, что почти всякий вечер читаю Байрона. Как грустно было мне кончить «Дон Жуана», как *сживаешься* с этим творением, несмотря на временами несносное разглагольствование, egotism *. Я нахожусь именно в том возрасте, когда печальная и безотрадная сторона Байронова дарования уже не вредит нисколько. Я гляжу на страдания и сомнения этого великого поэта, как на горе дорогого брата. Лекова биография, приложенная к Полн<ому> собранию, весьма хороша. Описание последних минут Байрона тронуло меня до слез. Что за жизнь, что за человек.

После ветров и дождей сияет солнце, кажется, завтрашняя поездка совершится удачно. Но Мейер в своем письме почти отказывается, а Маслов что-то запоздал. Чтоб не пришлось ехать одному.

---

* самовлюбленность *(англ.)*.

Получили письмо от брата. Подлец Старчевский не присылает-таки денег.

Планы стихотворений: «Вторая молодость», «По прочтении Байрона».

Понедельник, 17 авг<уста>.

Суббота 15 авг<уста> — поездка в Швейцарию.

Воскресенье 16 <августа> — сельский праздник в Завражье.

Два истинно милых и отрадных денька. В пятницу вечером прибыл Маслов; после беседы и ужина я спал немного и встал довольно рано; день оказался совершенно летним, с некоторой прохладой. Запасшись провиантом, мы поехали, и часа через полтора открылась перед нами окрестность озера, которому недостает только дворцов и немножко лесу, чтоб, я думаю, сто̀ить озер Вестморлендских[91]. В село прибыли мы около 11 часов, узрели миллион народа и несколько смазливеньких личик (две ямбургские[92] красавицы в полумонашеском наряде). Около церкви, куда мы и не входили, встретили нас Мейер, старый милейший <...> Трефорт, исправник Стефанович и становой Дмитриев. Побродив немного, проехали в собственную Швейцарию, к часовне. Вся компания восхитилась красотой природы, гуляла, и Маслов составил план на будущий год переманить к этому дню часть наших петербургских приятелей. Трефорт, наш старый улан и казначей, озаботился трапезой и выполнил свое дело отлично. Стол, кресла, складные стулья расставили по берегу речки, под скалой и ореховыми кустами, ели, пели и веселились, угощали проходящих попов и так далее.

По окончании крестного хода (исправник тут ругался с попом) попы села Долотского сделали нам честь приглашением нас на завтрак. Им не было дела до того, что мы сыты, в нас влили по ушату кофе и угощали всякой мерзостыней. Я ожидал бедствий, головной боли, но все прошло благополучно.

Из села проехали мы (за искл<ючением> станового и исправника) к Мейеру, вполне довольные днем, болтали, ужинали, слушали музыку и крепко заснули ночью. На другой день Трефорт пригласил нас обедать, а утром мы у него завтракали, так что я почти объелся. В этот день у Мейера было *пособие,* баб и девок набралось более сотни. Их кормили обедом, водкой и пивом, а после трефортовского обеда, украшенного присутствием одного недоросля, Орлова, сделали для женского пола новое угощение. Пение и танцы продолжались до глубокой ночи. Мы разъехались в темноте, и моих лошадей будто Мейер напоил пивом,— они раза два принимались нести. Все обошлось мило, хорошо, весело и благополучно.

Вторник, 18 авг<уста>.

Обед у Максимова с древним венгерским и липцом[93], украшенный сельским праздником и присутствием дам. Меньшая сестра недурна, особенно по части стройности и бойкости, но заметно, что на нее уже действует известный curse * этой фамилии, вследствие которого все женщины

* проклятие *(англ.).*

дурнеют на 19 и 20 году. А все они были красавицами! Были еще Томсон и Глотов, его родственник, блаженствующий в отставке, под судом за бывшее управление Осьмина. Играли в бильярд, и я покрыл себя бессмертной славой. По всем деревням пение и танцы.

Вревская вернулась из Петербурга, с письмами, новостями и посылками на мое имя.

Среда, 19 авг<уста>.

Утром работал и по примеру Маслова ходил в рощу за грибами, что начинает доставлять мне удовольствие. Заянское пьянство прошло без малейших дурных последствий, но, мало того, даже опьянения не было. Все-таки я кончал обед и с удовольствием помышлял об отдыхе после гулянки, когда подъехал экипаж и явился Мейер с Трефортом. Мой рассказ о венгерском их подзадорил, и они вознамерились съездить в Заянье, куда были приглашены на 18-е. Поехали, смеялись, беседовали — но, увы! ни липца, ни венгерского не было! Назад воротились посреди темноты и ожесточения, но дома застали ужин, баронессу и Машу.

Четверг, 20 авг<уста>.

Обед с пением и танцами у б<аронессы> Вревской, а поутру гулянье, обжорство за завтраком и так далее. Гости уехали засветло, но я еще ужинал в Чертове Пустом. Утомление было так велико, что я заснул, только что добравшись до постели. В субботу надо ехать в Осьмино. Работы мои страдают! Тр<ефорт> рассказывал об отрезании у него яйца Пироговым — очень эффектно.

В пятницу, 21 авг<уста>.

Получил горестное известие о смерти Якова Григорьевича Головнина. Это был человек весьма недалекий, но исполненный доброты и редких семейных качеств. Несмотря на всю мою нелюбовь к родственной патриархальности, я считал его добрым родственником, особенно в последнее время, имевши случай оценить его по достоинству. Дрентельн говорит очень справедливо, что людей любим мы не за ум, а за сердце. Я ехал с Кавказа с тремя спутниками весьма недалеких свойств, но я к ним почти привязался, и мне до сих пор отрадно о них вспомнить. Головин был полон ласковости и родственной нежности, для него праздничный визит родным считался должностью, при болезни, в горе и в радости он всегда являлся добрым и заботливым родственником. К делам он не имел способности, но все-таки он *хотел* трудиться, и его потерю трудно заменить. Я думаю, он в жизнь свою не сделал зла ни одному человеку. Он решительно был лучшим изо всей фамилии Головниных. Над ним вечно подшучивали, и он сам над собой шутил, он любил держать посты и даже детей кормил постным. Ужасное потрясение произойдет во всем семействе. Жена любит его до того, что недели не могла провести с ним в разлуке, но если она перенесет первый удар, то утешится скоро,— это натура крайне неблистательная, хотя добрая тоже. Страшнее всего положение ее матери, Марьи Львовны, уже столько вытерпевшей в эти ле-

та. Но человек так много может вытерпеть! По последним известиям, жена Григория еще не знает о кончине Я<кова> Г<ригорьевича>.

Суббота, 22 августа.
Воскрес<енье>, 23 <августа>.
Понедельник, 24 <августа>.

У Маслова в Осьмине. Болтание, воспоминания, обеды с некоторым пьянством, песни и танцы осьминских красавиц, которые поют пискливыми голосами и носят платья на манер петербургских горничных. Участником наших бесед был доктор Персен, толико ненавистный многим нашим соседям, но ненавистный совершенно понапрасну. Это добрый ипохондрик, и в самом деле хворый человек, когда-то ездивший по Греции, Италии, Сибири, а теперь кончающий свои дни посреди тихого деревенского спокойствия. Подобного рода лица довольно часто выставлялись в старых умных романах, в них есть нечто весьма привлекательное, тихое, как серенький осенний вечер. Такие люди хороши не с глазу на глаз и не в большой компании, а в маленьком сборе близких людей в деревне, посреди небольшой скуки, когда человек, нуждаясь в развлечениях, силится везде и во всех видеть одни хорошие стороны. Дорога к Маслову прошла довольно приятно, я любовался видом нашего Гдовского озера-моря. Едучи назад, однако же, я почувствовал головную боль, но дело шло к вечеру, я лег раньше спать и поправился.

Вторник, 25 августа. Среда, 26 <августа>.
Четверг, 27 <августа>. Пятница, 28 <августа>.

Событий очень мало. Посещение m-lle Бибиковой, Томсонов и Обольяниновых. Обед у Вревской. Родительница моя немного захворала, но скоро поправилась. Прогулка в роще за грибами, которых безмерное количество. Осень двигается, небо хмурится, ночи темны, печи начинают топиться,— но природа еще не поддается осени. Выдаются чудные изумрудные вечера, с резким холодком, укрепляющим силы, листов желтых еще немного. Мои работы идут, Шеридана я полюбил и процесс Гестингса описываю с любовью [94]. Пропустят ли это? Совестно, что повесть лежит не двигаясь. Что-то делается в Петербурге?

Воскрес<енье>, 30 авг<уста>.

Как бы ни были жалки наши пороки, нужно сознаваться в них перед самим собою, а главное, делать шаги к исправлению. У меня есть один великий порок моей жизни. Ему я иногда уступаю, иногда борюсь с успехом, забываю его в шуме и развлечениях, но поддаюсь ему в одиночестве. Как ни был бы страшен неприятель, сколько бы побед он ни одерживал над нами, уступать ему, *толерировать* [95] его, значит падать нравственно. Еще раз я выступаю на борьбу, призывая в помощь Того, Кто дал на мою долю столько радостей, счастия и спокойствия в жизни, кто хранил меня посреди бед и искушений. Amen *.

* Аминь *(лат.)*.

Недавно я смеялся над Трефортом, который прописал себе по вдохновению мускус от головной боли и вылечился. Между прочим, я едва ли не мнительнее его в некоторых случаях. На днях я выдумал сам воздушные ванны вроде тех, что берет бывшая m-me Муравьева, только принимаю их не перед публикой, а у себя наверху. Я почти воображаю, что грудь моя крепнет и расширяется от этих ванн. Начало их произошло таким образом: один раз, проснувшись ночью, я почувствовал нечто вроде спазмов в желудке. В подобных случаях я старался согреть живот и заснуть поскорее, но тут по вдохновению, вероятно, раскрылся и подвергнул нижнюю часть груди и желудок действию довольно холодного утреннего воздуха. К удивлению моему, от наружного холода внутренность согрелась, и мгновенно произошло успокоение. Раз испытавши нововведение, я расширил его и занимаюсь им с большим успехом, почти ежедневно.

Эти дни мы отдыхаем от гостей и вечером беседуем en trois *. Сегодня я послал к Томсону «Повести» Писемского [96], производящие смех и веселие несказанное между здешними читателями. Сам Томсон — истинный герой Писемского. Впрочем, прочтет ли книгу наш *пьянист,* как его недавно мы назвали? Я подозреваю, что он просил книг «для красоты слога».

Вторник, 1 сентября.

Осень открылась довольно теплым сереньким деньком с проблесками солнца. Начал исправлять «Легенду о тяжкой ночи», начатую год тому назад вследствие прочтения Прескотта и рецензии на Прескотта [97]. Отсутствие рифм и испанский размер стиха (немного плясовой) до сих пор мешали мне пустить в ход эту вещицу. Вообще, сегодняшний день отчасти посвящен был музам, которые в сентябре 52 года так неожиданно меня посетили. Так, я окончил сегодня элегию «7 апреля 1853 года», *начатую 7-го июля!* увы! увы! с такой медленностью исполнения не уйти мне далеко. Сорок строк почти в два месяца! Mais, как говорит Луи Бонапарт, au defaut de grandes choses, tachons faire de bonnes choses **. Элегия, или скорее, дифирамб, мне удалась, а я имею претензию быть непреложным судьей своих творений. Во всем произведении есть нечто порывистое и пламенное, конец первой строфы, вторая и четвертая «заключают рыдание в расположении слов». Есть отдельные строки, от которых не отступился бы отличный поэт. Вот как я себя разбираю, основываясь на выражении Рахили Фарнгаген о том, что скромность есть лицемерие. Но что я поэт не по натуре, а poète de parti pris ***, этого я от себя не скрываю. Скудные лавры, но как они ни скудны, а отдыхать на них не следует, может быть, именно потому, что они скудны. На днях я обдумывал маленькую вещицу на акт моего путешествия с m-me Julie.

* втроем *(франц.).*
** Но:.. за невозможностью свершать великие дела, постараемся делать добрые дела *(франц.).*
*** поэт по убеждению *(франц.).*

Вот ее последние два стиха в мадригальном вкусе:

И жизнь тебе мила пусть будет,
Как мне те двадцать чудных дней!

Но об этом после. Теперь у меня на станке вещь, сегодня задуманная — «Молчи и жди». Это мое литературное credo *, протест против холодности нашего общества к изящному. Я твердо уверен, что доживу до реакции, что увижу то время, когда даже Данилевский станет отвергать меценатов, когда фатовство, военщина и модное обезьянство с высших исчезнут, аки воск от лица огня. Я умру, радостно доживши до прекращения клевет на литературу, гонений на литературу. Эту-то реакцию я рад торопить, отчасти с корыстною целью. Мы не хотим никого кусать, pourquoi donc nous traque-t-on comme de bêtes fauves? ** Отрадно будет, без пятна на совести пережив эту грустную эпоху, вспомнить о ней посреди общей симпатии, посреди спокойствия. Свет ветрен, его не сто̀ит проклинать, но сто̀ит немного выбранить. Вот под влиянием каких умозрений создается «Молчи и жди».

Давно нет вестей из Петербурга.

Среда, 2 сентября.

Жизнь без друзей не кажется мне жизнью, хотя я много раз жил без друзей, а в случае нужды могу долго прожить один-одинехонек. Но всюду, куда ни толкала меня судьба, я сходился с цветом людей, меня окружающих, и привязывался к ним головой и сердцем. В двух вещах я завистлив, то есть завидую людям в изобилии друзей и в счастливой любви. Не считая себя бедняком в этом отношении, я все-таки признаю себя немного обделенным судьбою. Без замешательства и труда я мог бы иметь еще двадцать пять пламеннейших приятелей, одну любимую жену и пять любовниц (не знаю, всех ли разом или одну за другою). Несмотря на весь байронизм, бывший модной вещью в моей первой юности, на всех Онегиных, Печориных и простых мерзавцев, каких я только видел,— в этом отношении я сохранил полнейшую самостоятельность. Я не забыл друзей моего детства, не забыл людей, нравившихся мне один или два дня.

Я не делал всего должного для сохранения первых связей, но тому причиной уныло патриархальная обстановка моих первых лет. В ленивом поддерживании связей с отсутствующими я виновнее, по части корреспонденции за мной много грехов. Самый сильный грех — прекращение переписки с Салтыковым, но Салт<ыков> очень умен и, когда явится в Петербург, не будет помнить моей лености. М. К., Ахматова, Силиверский, Ахматов, Ливенцов, Руновский могут также справедливо вопиять против меня. В других нарушениях переписки я себя меньше упрекаю, большею частию вина не на моей стороне. Охлаждение и развращение нашей жизни видно в общем мнении по этому поводу. Я еще помню, когда, прощаясь с лучшим товарищем, в моде было говорить ему

* убеждение *(лат.)*.
** почему же нас травят, как диких зверей? *(франц.)*.

с холодностью: «коли что случится — напиши», а он должен был отвечать: «чему случиться?». Ни одно разумное теплое чувство, чувство, которому поддавались блистательнейшие люди всех времен,— не могло промелькнуть в разговоре, не прикрывшись маской холодной насмешки. Один из лучших людей, мною любимых, сознавался, что по годам ничего не читает и читать не хочет. Еще недавно в кружке истинных приятелей я прочитал две чьи-то вещи в стихах, похабную и непохабную,— первая всех пленила, вторую прослушали из вежливости, а каждый из присутствовавших по сердцу был способен понимать поэзию. Я думаю, что нравственное растление юношества в наше время дошло до крайних пределов. Вот с чем нужно бороться и с чем славно бороться.

Сегодни холодно и ветрено. Занимался мышлением, обдумыванием легенды о Нардзане, перечитыванием старых отрывков и чтением милой вещи Смоллетта «Гомфри Клинкер». Пиккль мне надоел, и я его кинул, не дочитав нескольких глав. «Random» лучше.

Созревает план безделки, рассказца о nostalgie *, с маленькой насмешкой над патриотизмом.

Четверг, 3 сентября.

Все соседи нас бросили, но их последнее время ездило так много, что отдых не мешает. Стоят ясные, холодные, ветреные дни; липы уже желты, и сухие листья осыпаются на голову, когда ходишь по аллеям сада или в роще. Грибы будто посохли, но их все еще много. Я начинаю приводить в порядок свой литературный багаж и сегодня написал с охотой часть новой главы в Легенде о Нардзане. Наработано мной в эти без малого три месяца, я думаю, что целковых на 800 и, может быть, более. С старыми вещами, подготовленными к печати, наберется и более.

Эти вечера, находясь в одиночестве, я прочел, между прочим, глав пятнадцать Брюсова путешествия в Нубию и Абиссинию[98]. Очень умно, очень ново, очень живописно, хотя до сих пор я не понимаю еще, за что это творение так славится и за что Брюса называют Синдбадом. Происшествия очень просты и правдоподобны. У меня вообще слабость к туристам, я люблю себя ставить на их место, голодать, объедаться с аппетитом, ночевать в ожидании волков и гиен где-нибудь в степи или на берегу реки под деревом. На деле же я турист прескверный — был на Кавказе и не видал Закавказья, никогда не встречал восхода солнечного на горах, имея к тому всю возможность, и, проживши много дней около Машука и Бештау, не лазил ни на Машук, ни на Бештау. Тем не менее, я помню, как восхищали меня северо-американские очерки Ирвинга[99] и путешествия Платона Чихачева[100],— этот последний даже сделался моим героем, любимцем моей фантазии. Как турист-товарищ, турист второстепенный и турист по краям образованным — я, однако же, должен быть очень хорош. У меня есть в голове план путевых заметок, из которых «Певица Каццен-Яммер» и «История Одной Картины» суть эпизоды[101].

---

* тоска по родине *(франц.)*.

В этих заметках имеет развиваться поэзия тихой, беззаботной, наблюдательной путевой жизни, с новыми знакомствами и встречами, с отдыхами и импровизированными пирами, с удачами и неудачами всякого рода. В голове зреют следующие другие эпизоды. «Попутчик» (история и характер Малиновского), «Популярная медицина» (доктор — искатель секретов), «Тульский принц Родольф» (основанный на сцене, мною виденной в Туле) и, наконец, «Nostalgie» о которой я писал вчера. Все это не требует больших стараний, чем легче, тем лучше,— но должно еще зреть.

Воскресенье, 6 сентября.

В четверг в сумерки приехал Маслов, хотя я очень был ему рад, но мне все-таки было жаль, что он не выбрал другого дни, мне хотелось на пятницу быть у Томсона, сам не знаю зачем — может быть, затем, чтоб повидаться с Наташей, напоминающей собой персики, или затем, чтоб видеть новые лица. После чаю пришла мисс Мери с tant'Effie [102], ужинали все вместе, беседовали о Петербурге, о Перовском, о глупости нынешних молодых людей и малом образовании разных «сановников», за исключением Уварова и Перовского. Томсон прислал бочку пива, хотя прежнее еще не было допито. Более снотворного напитка я никогда не пивал. Зачем не был я знаком с Томсоном в то время, когда я страдал бессонницей!

В субботу бродили в роще и вернулись домой чрез Колодки, потом пешком же зашли к Вревской. У ней в доме холод и сырость и мрак, сама она больна, что, впрочем, не мешало ей предпринять поездку к Томсону. Проводив ее и матушку, мы с Масловым свершили малороссийский обед с борщом, кукурузой и несколькими сортами наливок,— я же пил только вино и «Томсонов эликсир». Спектакль кончился тем, что мы добрели до постелей и мгновенно уснули — будто упали в обморок. Вслед затем сидели во флигеле, говорили о m-me Ritter, Пиголице, Мине Антоновне, Лизах, Катях и Сашах и о тому подобных делах. Затем бродили по саду часа два при чудном лунном свете, наконец, подъехали и дамы. У Томсона никого не было, сельского праздника тоже не имелось.

Сегодни утром на дрожках поехали к старому полумызку, в лес. Я стал очень любить лес, не мелкий, а хороший. Если я буду жить в деревне в глухую пору, то выстрою себе домик в лесу,— как там все тихо, тепло и сухо! Беседовали о Скобелеве, о чудесах, виденных Масловым во время его секретарства, о Николаеве, Гаврилове, преступниках, убийцах, делателях фальшивых ассигнаций и о прочих ужасных предметах. Пообедавши сильно, расстались. Маслов уехал к себе, я лег спать и, выспавшись, принялся есть наливные яблоки. Пора, пора в город,— это обжорство и спанье поведут к гнусной тучности.

Условились с М<асловым> ехать в Петербург из Осьмина между 15—30 этого м<еся>ца.

Lundi, 7 septembre.
Hélas! hélas! *

Я не могу нахвалиться своей решимостью насчет дневника. Отцы наши и разные великие люди, ведшие свои журналы, понимали тайну жизни. Что вся наша наука, если *не уменье помнить*, и что вся наша жизнь, как бы она ни была проста,— если не лучшая изо всех наук? Мелкие факты, занесенные в протокол, приобретают живость для человека, их испытавшего, простое имя встреченного нового лица, выписанное всеми буквами, освежает память, делает этого человека надолго как бы присутствующим с нами. Из ряда пустых заметок со временем является ряд выводов, то грустных, то утешительных, но благотворных во всяком случае. Что выносил я обыкновенно из моего деревенского уединения, кроме массы смутных воспоминаний, редеющей со всяким напором новых разнообразнейших впечатлений? Вынес ли я все, что мог вынести из лучших эпизодов моей жизни — из кавказской поездки, из похождений в доме Михайлова, из времен артистической бедности парголовской жизни, из моих литературных наблюдений, из прошлого года борьбы. Какая фаланга героев, оригиналов, непотребных особ, женщин всякого рода прошла передо мною в эти шесть или семь лет! Если б я десятую часть их загвоздил в моей памяти как должно — у меня имелся бы вечный запас персонажей естественных, милых, уморительных, не похожих один на другого! А между тем в моей жизни имеются периоды до того забытые, что они теперь кажутся мне сонною грезой! А я еще по временам делал заметки или краткие указания замечательнейших лиц и событий! То же и с книгами, если бы я помнил все, мною прочитанное!

С началом дневника память моя будто оживилась, и голова редко работает, подобно пустой мельнице в ветреную погоду. Как посреди комнаты, в которой все вычищено и прибрано к месту, я могу следить за каждою вещью и видеть всю их массу. Конечно, многое проходит, но, врезавшись в память, весьма многое остается незаписанным, но *метода* есть, метода — половина философской системы! Дни идут яснее и ровнее,— минувшее и давно отжитое начинает выясняться мало-помалу. И я еще не оставляю плана когда-нибудь приступить к истории моей прошлой жизни, к каталогу лиц, имевших влияние на мою жизнь или просто сталкивавшихся со мною. А впереди мой дневник обещает мне много выгод в нравственном и литературном отношениях.

Среда, 9 сентября.

Сегодни, вставши поутру, узрел мужика-яблочника, вернувшегося из Петербурга с двумя письмами, от брата и от Гаевского. Благодаря бога, наши все здоровы, Олинька[103] перенесла печальную новость с твердостью, но о Марье Львовне и вдове Головнина известий нету.

Дни хмурятся, вчера целый день шел дождь и стояло время холодное, ненастное. Переезжая на плоту к баронессе, вечером, с Томсоном и

---

* Понедельник, 7 сентября. Увы! увы! *(франц.)*.

попом, я живо вообразил себе, как отрадно, должно быть, в такую сумрачную погоду сидеть с добрыми друзьями за бутылкой хорошего *кагору*, так называется на гдовском языке нашем венгерское в память 15 августа и обеда у Максимовых.

У Вревской происходил фестень[104] по случаю крестного хода и убиения поросенка — двух событий, случившихся одновременно. Мисс Мери удивляла нас всех, несмотря на то, что мы к ней уже так привыкли. Если которая-нибудь из дам глядела на Володю Томсона или целовала его, Маша принималась плакать, да как еще? — с судорожным напряжением, с выражением истинного отчаяния! Что будет с этой девочкой лет через десять. Я думаю, что баронесса может сказать про нее теперь, как Мери Монтегью про свою воспитанницу: «Я воспитываю очень милое дитя, которое через десять лет убежит с моим буфетчиком». Я начинаю не верить в френологию, но доверять некоторым ее выводам,— у мисс Мери на задней части затылка гигантски развит орган сластолюбия.

Завтра едем с Томсоном к Мейеру и Трефорту. Я думаю, что это будет последняя моя поездка к ним в этом году. Сегодняшний день немного занялся Легендой о Нардзане и гулял в роще, где уже белых грибов мало. Прочел в «Household Words» * биографию Уордсворта. Путешествие Брюса гораздо менее занимательно, нежели я думал. Очень занял меня отчет в «Современнике» о поездке Латкина в Печорский край[105].

К вечеру дождь и сырость. Эти строки дописываю я в темноте почти. Некоторые деревья уже превратились в одну массу желтых листьев. Но охотники и старики пророчат нам долгую осень. Ах! несколько бы добрых приятелей и запас кагору!

Суббота, 12 сентября.

Когда у меня болит хоть кончик пальца, я бедствую так, как будто бы весь организм мой разрушался. Эта плачевная чувствительность натуры, достойная какого-нибудь Эраста Слезкина во фраке мердуа[106] и розовом платочке, отчасти испортила мне последние два дня, обильные *удовольствиями* в сельском вкусе. По условию, заключенному во вторник третьего дня, я ждал к себе Томсона, чтоб ехать вместе к моему бесценному <...> Трефорту. Но на беду во вторник мне подсунули калоши, наполненные водою, отчего у меня приключилась слабая зубная боль с опухолью десен нижней челюсти. Итак, в четверг утром я мазался всякой дрянью, наклал камфоры в уши, отобедал рано и лег спать в кислейшем настроении духа. Но Томсон, всегда имеющий привычку приезжать черт знает в какое время, извлек меня из опочивальни, и мы поехали. Вся дорога совершилась в час, после дождливого, серого дня вечер стоял теплый и солнечный. У Треф<орта> мы застали Мейера и после радостных восклицаний с маленькой прогулкою сели беседовать. Столичный житель не может понять всей прелести осенних

* «Общеупотребительные выражения» *(англ.)*.

деревенских бесед с кагором, в ненастную или холодную ночь, с историями прошлого времени, с этой деревенской leisure *, которой мы не знаем в городе. В столице вечерние дружеские беседы портятся мыслью о разъезде, службе, раннем вставанье,— их, наконец, портит то тревожно-торопливое настроение душ, которого здесь нет. Здесь мы знаем, что можем сидеть сколько хотим, пить и есть сколько хотим, спать сколько хотим. Здесь нет людей, лишних в беседе, здесь всякий высказывается с лучшей стороны. Если б к Гверезне подходило Осьмино, с Масловым и Персеном, это был бы отрадный уголок отдохновения после бурь житейских. Трефорт живет именно так, как следует жить в деревне осенью,— в доме у него такая чистота, такое изобилие! Всюду камины, цветы, мягкие диваны, древняя мебель, везде обстановка доброго, отдыхающего чудака. Ночевал я у Мейера в маленькой комнатке с овальным зеркалом, которую я так люблю, и спал крепко, когда в середине ночи прежняя зубная боль меня разбудила. Я помучился часа с два, потом заснул, успокоивши себя тем, что было под рукой. Поутру явились к нам остальные два собеседника, стали пить чай, завтракать и говорить. В деревне только существуют эти разговоры без цели и arrière-pensée **, которые возможны только при совершенно спокойной жизни и изобилии времени. Какой черт в Петербурге, например, станет говорить о том, как королева Виктория смотрела свой флот и как в старину лорд Россель сделал озеро из пунша? Кому на столичных собраниях, посреди сплетен, matter-of-factness *** и деловых речей придет в голову анализировать чувства человека в первом сражении или обсуждать вопрос о том, как должно быть трудно командовать войсками в военное время? Кто примется там сообщать старые вычитанные анекдоты, полузабытые, скандалезные авантюры юности и так далее? После завтрака у Мейера, испортившего нам обед, пошли бродить по полям и саду, выкапывали червяков из озими, говорили с проезжим мужиком и смотрели хозяйственные постройки Трефорта. Перед обедом я получил письмо от Олиньки, с по возможности утешительными сведениями о ее родственниках. Тр<ефорт> и Томсон жаловались на холерные припадки, говорят, что в деревнях около Наровы холера появилась. Но это не помешало нам сесть за изобильный обед и провести за столом чуть не три часа, пить друг за друга и за отсутствующих. С наступлением сумерек мы отправились и пили с Томс<оном> чай в Мариинском. Тут подошла баронесса с Машей, они ездили в Заянье, где у Миллеровой умер ребенок четырех лет, уже третий. У ней еще больна дочь, и потому она поскакала в Петербург, бросив мертвое дитя. Опять говорят, что холера в Юдине, за семь верст, в окрестных деревнях у крестьян, особенно у детей, желудочные припадки. Все это довольно печально, но отчасти требует подтверждения.

---

* свободой, досугом *(франц.)*.
** задней мысли *(франц.)*.
*** злободневных вопросов *(англ.)*.

Лег спать я рано, сегодня встал несколько кислым и решился провести утро в чтении.

Понедельник, 14 сент<ября>.

Утро субботы и действительно провел я в чтении, хотя довольно бесплодном. «Гомфри Клинкер» меня потешает. Перед обедом, за статьей «Francis Jeffrey» я услыхал стук подъехавшего экипажа и получил сведение о прибытии Арсеньича с женой. Вышел я к ним, не предвидя на весь день ничего доброго, но ожидания мои были обмануты. Софья Александровна решительно, торжественно и несомненно мила. Не говоря уже о ее глазах, удивительнее которых я видал только одни глаза, вскользь, на большом инвалидном бале, она en petit comité* весела, откровенна и разговорчива. Беганье по саду, играние с кошкой и разговоры всякого рода незаметно заняли время до вечера, когда пришла баронесса с мисс Мери. Любопытно следя за здешними сплетнями и стараясь по возможности узнать их причины и значение, я убедился в следующем. Софья Ал<ександровна> если и хочет играть роль гдовской царицы, то не выражает своих претензий обидным для соседей образом, а соседи сами, по своей склонности к пересудам, видят в ней и высокомерие и сухость. *Пункт 2.* С<офья> А<лександровна> вовсе не вертит мужем и хозяйственными делами, а, напротив того, сама терпит от странностей и беспечности Арсеньича. *Пункт 3.* С<офья> А<лександровна> точно дика и молчалива в большой компании, что и подтвердила в воскресенье на опыте. *Пункт 4-й.* С<офья> А<лександровна> вовсе не имеет того резкого склада в уме, при котором женщины предаются высокомерию, в некоторых речах своих она просто выказала наивность и неразвитость, из которых прямо истекают shyness** и необщительность. Но преднамеренным высокомерием, если оно и мелькает при других, она одолжена своей обстановке и своей жизни. Она именно имеет настолько ума и характера, чтоб быть умною под влиянием умного человека, но, увы! умного человека на лицо не оказывается, хотя я и не назову Арсеньича простаком. Вечер тянулся для меня слишком долго, ибо я еще не избавился совсем от зубной боли.

Утро воскресенья прошло очень хорошо. Мы бегали втроем по садам и рощам, говорили о соседних и своих делах, о путешествиях и о прочем. Не удовольствовавшись этой прогулкой, мы по желанию С<офьи> А<лександровны> двинулись в большую рощу, она бежала поднявши юбки, без шляпки и болтала так, как того только желать можно. Я соблюдал достодолжную осторожность, хотя смотрел на ее глаза и ножки не без удовольствия. День был страшно душный, и мы вернулись домой мокрые снизу и отчасти сверху. А дома мы уже застали миллион гостей: Томсонов, Л. А. Блока сам четверт, потом явились баронесса с Машей и Василий с женой. Эта компания едва разместилась в столовой. Сестра

* в узком кругу *(франц.)*.
** робость *(англ.)*.

предводителя, m-lle Adèle, мне не понравилась, я блондинок не люблю, а она уже чересчур блондинка, в немецком вкусе. С Софьей Ал<ександровной> произошло превращение, и она весь почти остаток дня молчала. После обеда курили и беседовали здесь, в моем рабочем флигеле, при громе, дожде и молнии. Часть гостей осталась ужинать, но, к счастию, ночевать никто не остался. От усталости я с час не мог заснуть, все было жарко.

Нет, that will never do! * Эта деревенская жизнь беспокойнее городской!

Сегодни опять довольно тепло, день серенький и не очень приятный. Работать не стоит приниматься, я думаю, к обеду приедет Мейер. Как жаль, что в пятницу не было Маслова,— я ему с злой целью столько говорил про С<офью> А<лександровну>, что он, почти наверное, в нее бы врезался.

Жизнью в Селимеги [107] Семевские недовольны и сообщили о ней довольно много интересных сведений. Там свирепствует эстляндец во всей своей славе,— отцы берут с сыновей по целковому за обед и ночлег, чаем друг друга потчуют только в высокоторжественных случаях.

Гусар Иван не так опасен, как о том думали, но у него отнялась левая рука и левая нога. Тут произошла история предчувствия, которой я не верю.

В Юдине и Заянье умерло за 10 дней около 40 человек.

Среда, 16 сент<ября>.

Вчерашний день прошел неловко и вяло. Остатки ли простуды или просто нерасположение духа, или переход от шума к тишине виноваты,— только я работал до того плохо, что бросил работу с негодованием и чуть не изломал пера на начатом листе, как это бывало прежде. День стоял серый, с ветром. Отовсюду дуло по ногам и по голове, в уши и в голову. Приглашение на блины к Вревской пришло некстати, я чувствовал себя утомленным, слабым, неразговорчивым. До обеда читал и бродил по большой роще, между желтыми листьями, посреди уныния и запустения. Отобедали поздно, я вернулся домой и лежал в темноте, в зале, скучая. К счастию, окончание Брюсова путешествия меня развлекло. Пора, пора в город, хотя первые дни мои там пройдут в хлопотах [по денежным делам]. Сны мои тревожны и безнравственны,— все одно и то же. Пора домой.

«Клинкера» кончил и Брюса кончил. Первая вещь почти годна для перевода, и я ее отрекомендую «Современнику», даже вызовусь прибавить биографию Смоллетта [108]. Брюс мог бы быть лучше,— он не умеет писать и группировать факты. В своем путешествии он будто говорит публике: «я ездил для себя, друзья мои убедили меня описать все, что я видел, и я работаю, проклиная друзей». Но зато эти небрежности, промахи, скучные места придают всей книге колорит истинный, правдивый, а

* так не пойдет! *(англ.)*.

совершенное пренебрежение туриста к эффектам возвышает его личный характер. Описание последнего перехода по степи с самумом и песчаными столбами очень хорошо.

Пятница, 18 сент<ября>.

Вчерашний день был еще сквернее вторника и среды,— перо вываливалось из рук от холода, оттого я и не работал,— мысли не было в голове; на дворе стояла чистейшая осень, с дождем и сильным ветром. Флигель и дом законопачивали, отчего возник стук. Против обыкновения, я до обеда перебрался в залу, там прочел довольно жиденькую биографию По̀па, несколько его эклог и первую песнь знаменитой «Rape of the Lock» *. И перед этим поэтом мог благоговеть Байрон! Правда, в лучших своих местах Pope est un Voltaire condensé **, но самая роль Вольтера в поэзии еще весьма не велика! Бесспорно, как версификатор и реформатор стихотворного языка, Поп стоит уважения англичан, да мы-то не англичане. По началу судя, «Rape of the Lock» чистое ребячество, не знаю, что будет далее, но вчера я бросил поэму с зевотою и обратился к Смоллеттову «Sir Lancelot», который тоже меня не очень занял. Вообще, эти дни для меня главными делами были обед и сон, ужин и сон. Эти дни я прозябал, как говорит Ренненкампф, но это прозябание полезно здоровью, и я молчу.

Однако, чтоб кончить прозябательную жизнь, я с нетерпением жду Маслова и поездки в город; если он не явится сегодня же, то пошлю к нему запрос. Гаевский пишет, что Григорович в Петербурге и на днях выезжает, но для Гр<игоровича> на днях — значит через месяц, если не более. По утрам и после работы у меня болит голова,— может быть, от сна, может быть, от воздержания, но вернее, что от простуды, ибо ветер постоянно дует изо всех щелок.

Сегодни на дворе тихо, идет мелкий дождь вроде тумана, что обещает хорошую погоду.

Воскресенье, 20 сент<ября>.

И точно, вчера день стоял солнечный, холодноватый, здоровый, зато сегодня совершенное безобразие. Вчера принялся опять за Скотта и с охотою писал о Краббе [109]. Поутру, между прочим, я бродил в роще и там рассуждал касательно обещания, данного мне самим собою почти за год назад. Сводя хозяйственные счеты и делая некоторые распоряжения по имению, я был поражен мыслью о том, как много может сделать хороший, благонамеренный человек добра своим крестьянам, проживая в деревне с целью поднять их благосостояние. Я не имею способности к хозяйству и им не занимаюсь, но у меня есть взгляд и желание добра, желание, чуждое всякой сентиментальности, обычной в молодых людях. Прошлого года, бродя по саду и рассуждая обо всем этом, я дал себе слово пожить лентяем еще три года и по истечении этих трех лет поселиться в имении. Наши крестьяне не в дурном положении, но они могут

* «Похищение локона» *(англ.)*.
** Поп — сгущенный Вольтер *(франц.)*.

жить лучше и по своему поведению стоят этого улучшения. Они тихи, трудолюбивы и *преданы,* в этом я убедился на похоронах брата, когда вся толпа, сделав свое дело, пошла поклониться могиле старого барина. Когда им делается угощение, или, по-ихнему, *бал,* они блаженствуют и благодарят за угощение самым забавным образом. Они в нашем семействе более 30 лет. Изо всего этого следует то, что, раз взявшись думать о них, помогать им, я буду иметь перед собою самую благороднейшую деятельность, которую когда-либо имел человек перед собою. Я понимаю два хороших способа управления — или тихое, патриархальное, laisser aller *, как оно происходит при моей родительнице (ибо мужик ужасно не любит, чтоб мешались в его дела, в этом деле он бессознательный последователь Сея [110]), или же постоянное здраво-филантропическое наблюдение, которое может только себе позволить человек независимый, бессемейный, положивший свою отраду в полезной деятельности. Почему же мне не взять со временем на себя этой последней роли? Семейство у меня едва ли будет, деятельности благороднее я себе не найду, а самое дело может возбудить во мне столько полезных побуждений, что я буду благословлять ту минуту, когда о нем в первый раз подумал. При начале моего предприятия мне придется обогнуть два eceuils **— Сциллу и Харибду, то есть *жадность к личному приобретению* и *сентиментальную филантропию.* Но я не жаден, умею довольствоваться малым, а в сентиментальности сам себе замечал редко. Я очень хорошо знаю, что всякое пособие крестьянин должен получить своим трудом, что легко добытые деньги его портят, что избаловать простого человека чрезвычайно легко. Но я знаю также, что можно сделать тьму добра, во-первых, влиянием помещика, во-вторых, разумною системою ссудов и всякого рода законных поддержек. Я знаю, что можно рискнуть небольшими капиталами, подстрекая мужиков к торговле, знаю, что вдов и сирот можно поддерживать, не рискуя поощрить ленивого хозяина, что можно устроить запасный капитал на случай нужды, со временем избавить деревни от рекрутчины, а до того сделать рекрутчину менее тяжкою, хорошо награждая рекрута, если он не мошенник. Улучшения хозяйственные (я разумею улучшения несомненные, а не вычитанные из изданий В<ольного> экономического общества [111]), начавшись у помещика, могут и должны перейти к крестьянам. И так далее, и так далее, но пока довольно об этом.

Вечер провели вчерашний у Вревской, где было довольно холодно. Вчера же Маслов прислал раков, а я послал к нему записку, прося уведомить о дне отъезда. По последним известиям, в Юдине холеры уже нет.

День прошел невесело, нужно признаться. Читать нечего, или, по крайней мере, нет ничего, чтоб меня занимало. Читал, впрочем, с удовольствием статьи лорда Джеффри о Краббе [112], особенно выписки из Краббовых творений. Ветер дул ужасно и к ночи перешел в бурю. Боясь простудиться, я лег спать в зале, предварительно осыпавши диван порошком от блох, напущенных туда котом.

* предоставление идти своим путем *(франц.).*
** подводных камня *(франц.).*

Понедельник, 21 сент<ября>.

Спал хорошо и, проснувшись, был обрадован ясным, морозным солнцем. Цветы побило, но мой дух воспрянул с теплотой и ясным небом. Бродил по саду, кончил одну из глав о Скотте, в которой воспеваю его «Монастырь» [113], затем событий не оказывается ни малейших. Голова опять начинает работать, как мельница без муки. Но поддаваться не надо, сегодняшний же вечер часа два посвящу на сочинение стихов.

Вторник, 22 сент<ября>.

Намерение насчет стихов не исполнилось. Пока я перед обедом, лежа на диване, читал статью Джеффри о Варбуртоне, подъехала коляска, и явились к нам Лев Николаич с сестрой. Осенью гостям человек вдвойне рад, а тем более я рад такому гостю, как Обольянинов. В последнее время этот человек приобрел себе во всем уезде блистательную репутацию неподкупного судьи, искоренителя взяток и злоупотреблений, а его стараниями рекрутский набор нынешнего года был так хорош, как редко бывает и в лучших городах России. Обольянинов когда-то был очень красив собой, но теперь подурнел, и статское платье к нему не идет, он неловок и говорит тяжело от старания выражаться получше,— тем не менее его нельзя не любить и не уважать душевно. Такой сосед и приятель — находка где бы то ни было. Ему, видимо, приятна его добрая слава, но он по своей натуре мнителен, наклонен к хандре и способен принимать к сердцу всякую неприятность, иначе оно и не может быть с благородными, желающими добра лицами. Такие люди — цвет нашего нового поколения, они еще не признаны, многие их не любят и даже боятся, но все-таки все, что есть хорошего в нашей администрации, происходит от них и держится ими. Уже одно согласие Льва Ник<олаевича> взять на себя должность судьи с 300 р. жалованья и работою ежедневною показывает в нем истинно хорошего дворянина. В уезде начинают поговаривать об избрании его предводителем с назначением ему содержания от дворянства, но это вопрос щекотливый и довольно необыкновенный. Отрадно видеть такого человека и замечать в нем к себе расположение. Если бы у меня на близком расстоянии имелись Обольянинов, Трефорт, Маслов с компанией, Мейер и несколько женщин, я охотно решился бы хотя весь год жить в деревне.

К вечеру пришла баронесса. Обыкновенная уездная беседа услаждалась некоторыми рассказами Льва Ник<олаевича> о гдовских и судейских делах, о скряге Коновницыне, о хамах-заседателях и о борьбе с крючкотворством.

Четверг, 24 сент<ября>.

La medaille montre son revers *, и я немного расплачиваюсь за эти три месяца сельских удовольствий и невозмутимого спокойствия. Дни стоят ясные, но холодные, и мои мысли мерзнут в голове, а сам я чувствую себя слабым и дрянным, как осенняя муха из породы тех больших

* Медаль повернулась обратной стороной *(франц.)*.

мух, что не кусаются, а едва летают и выводят из терпения своим бессмысленным поведением. У нас в доме довольно тепло, хотя и дует из разных щелей, но у баронессы дом — настоящая Дантова buca ghiacciata *[114], вчера я провел там вечер, читал газеты и ужинал, а ноги мои мерзли до того, что я вынужден был надеть калоши. Поведение Маслова начинает меня бесить. Вчера вернулись Никита и Осип из Сижна, куда ездили смотреть хозяйство жениха, сватавшего мою крестницу Машу. Осмотр оказался нелишним, ибо юный поселянин, желающий вступить в брак, обременен неоплатными долгами. История их хитростей и рассказ о том, как они *обманили* жениха, несколько меня позабавил.

Легкая зубная боль, на которую я давно уже жаловался, все еще тревожит меня от времени до времени, и я начинаю бояться, не приобрел ли я себе ревматизма в левую щеку. Оно не трудно при таком холоде; здесь-то я понял, почему большая часть помещиков, постоянно живущие в своих имениях, занимаются пьянством. Кажется, что теплых деревянных домов нет на свете.

Вести опять повернулись к войне — к истинной моей горести. Замечательно, что я в один день получил из Петербурга известие о ней и с Кавказа тоже. Ливенцов пишет, что там все готовятся идти под турку. Письмо его я получил с некоторым замиранием сердца, так совестно было мне подумать о своей непростительной небрежности в переписке. Вообще, я Ливенцова очень люблю и считаю его одним из оригинальнейших людей, мною встреченных, талант у него тоже есть и может развиться отличным образом. Как жаль, что до сих пор ему нет удачи на литературном поприще: сперва он связался (и я тут виноват был) с этим мерзавцем Старчевским, который, рассчитывая на отдаление, ему ничего не платит [115], потом он пострадал от Некрасова, взявшего его вторую повесть и не напечатавшего ее до сей поры [116]. Вообще, признавая в Некрасове много хороших качеств и считая его почти другом, я должен сознаться, что, с одной стороны, для литературных дел он чуть не хуже Панаева (хуже которого и быть нельзя человеку). Человек имеет право лениться, но порой апатия Некрасова мутит мою душу. Благодаря мертвечинному складу своей натуры, Некрасов, не желая худого, делает дела чисто непозволительные. То он поддается чужому влиянию, то он доводит неаккуратность в делах до последних пределов, то нарушает он все правила приличия, оставляя письма без ответа, требования без исполнения, дела без движения. По временам он точно гнилое дерево, которое ломается, чуть на него захочешь облокотиться. Я менее других испытал это, но все-таки испытал, и через меня Ливенцов тоже,— но я могу извинять Некрасова, зная его дружбу, между тем как перед Лив<енцовым> ему нет и не может быть оправдания. И что хуже всего — для Некрасова пропадает без пользы и совет и дружеское предостережение и горький опыт: беды и хлопоты не выучивают его ничему. Он смотрит на себя и на жизнь как на истертое платье, о котором не стоит заботиться, но что скажет он, если люди, наиболее к нему расположенные, в свою очередь станут смот-

---

* ледяная яма, ледник *(итал.)*.

реть на него, как на истертое платье? Когда вследствие памятного предательства за «Иногород<него> подписчика» я прекратил сношения с «Современником» [117], я не видал Некрасова целые месяцы, не чувствуя и не видя ни одного пустого места в ряде друзей,— а между тем, если б я по месяцам не видал кого другого, далеко менее мне милого, я почувствовал бы его отсутствие, обратил бы внимание на незанятое место. Если я, при моем характере, после наших сношений, после истинного расположения и месяцев, проведенных под его кровлей, так гляжу на Некрасова, то как глядят на него другие? Есть ли у него хотя один друг, хотя один товарищ юности? Этак испортить себе жизнь и испортить ее добровольно — имея все нужное для любви, добра, веселости и счастия!

Неужели, однако, точно будут воевать с туркою? Когда в доме какая-нибудь ссора и хлопоты — скука и недовольство там поселяются. То же будет и в Петербурге, если на беду опять станут воевать. Прощания, расставания, изнурительные усилия всякого рода, в публике страх и нетерпение, в имениях — наборы — целый ряд туч на нашем и без того нахмуренном горизонте! Разные кометы появились на небе, и публика, кажется, убеждена в неизбежности войны. Спаси нас бог от этой беды, пусть мы будем сидеть спокойно,— спокойствие нам так нужно. Мне скажут, что и прежде были войны, но прежнее время нам не указ. Тогда воевали десятками тысяч, теперь пойдут сотни. Тогда люди не знали отрады покоя. Тогда, наконец, *мы-то* не жили.

Суббота, 26 сент<ября>.

Отныне даю себе слово избегать дел с людьми ленивых наклонностей, а если они малороссийского происхождения, то обязуюсь уклоняться от всяких с ними сношений, кроме увеселительных. Маслов не дает вести и сам не является, еще 15 авг<уста> он мне покаялся, что для него написать записку есть тяжкая работа. Теперь я сижу как рак на мели, но во всяком случае решаюсь, если не будет сегодни известий, в понедельник послать в Нарву за билетом в дилижанс, на четверг. Таким образом, в будущую пятницу я буду в Петербурге, на радость, удовольствия, хлопоты и, вероятно, на неприятности разного рода, о которых успел уже позабыть в течение этих блаженных трех месяцев с хвостиком. Что принесли мне эти три м<еся>ца? Во-первых, совершенный покой; три месяца покоя — это больше чем иному человеку выпадает на всю жизнь. Потом обеспечение себя на несколько месяцев трудом. Потом некоторые увеселения. Потом прибавление здоровья — не знаю, до какой степени. И, наконец, несколько конченных и неконченных литературных вещиц, несметное число планов и т. д. Правда, в этом отношении я ждал большего, но я знаю — для хорошего прыжка всегда нужно рассчитывать прыгнуть как можно далее. Конечно, я мог бы сделать более, даже мог бы быть менее ленивым,— но будем благодарить судьбу и за то, что совершено. Наконец, нужно к этому каталогу прибавить некоторое понимание деревенских дел, некоторый запас наблюдений и некоторые успехи в нравственном отношении.

Вчера я обедал дома один-одинехонек, а вечер провел у Вревской.

Поговорили о доннах, о замужестве и о разных вопросах в этом роде. Маша рассказывала мне сказки про *Грибусу* и *Петруску*.

Получил от Маслова уведомление о невозможности ехать вместе и, рассердившись, послал за билетом в Нарву.

Понедельник, 28 сентября.

Двадцать девять лет! Увы! и через год придется перешагнуть в четвертый десяток. Но так как прошлого не воротишь, то ни ахи, ни увы тут ни к чему не ведут. Будем благодарить бога и за эти 29 лет, melés de pluie et de soleil *, но во всяком случае обильные покоем, радостями, друзьями, трудом и некоторым нравственным усовершенствованием. Будем просить его, столько раз покровительствовавшего мне, столько раз простиравшего мне руку помощи, столько раз дарившего мне покой и счастие,— о том, чтоб благости его продлились и еще продлились. Я не имею набожности, и убеждения мои таковы, каковы они могут быть в нашем веке и при моем развитии, но неблагодарным, сухим и холодным я быть не умею. В моих верованиях, как и во всем другом, я умею быть независимым от моды и жалкого современного воззрения. Вера моя — в жизни моей, в настоящей теплоте сердца, в замыслах будущих дел, добрых и полезных.— Итак, вперед — ich habe geliebt und geleben **.

О поездке в Петербург я по обыкновению помышляю с замиранием сердца, всякий раз оно приходит ко мне, когда дело идет к тому, чтоб снова окунуться в этот океан наслаждений, тревог и смутных ожиданий. Здоровьем своим за эти дни я не мог похвалиться и с обычной мнительностью своей даже предавался плачевным мыслям, но сегодня голова моя в порядке и боль меня оставила. День начал я хлопотами, укладываньем книг и бумаг, наградой лесовщику Василию и с высоты своего красного крыльца держал краткую, но сильную речь мужикам, попортившим лес около полумызка. Нужно было держать себя строже, но во всяком случае этот опыт ораторского красноречия, кажется, прошел удовлетворительно. Вчера обедали у нас девицы Обольяниновы и Вревская с Машей.

Последние три или четыре дня, не имея сил и желания вести свою обычную работу, я развернул Байронова «Гяура» и стал переводить его стихами, не ожидая успеха. К удивлению, в два дни вышло стихов до 50, из которых многие удались. Потом я взял стихи на болезнь леди Байрон и между делом перевел их так (с некоторым изменением в конце), что, приехавши в город, отдам их в «Современник» [118]. Сжатость и энергия стиха у меня несомненные, а потому начатое занятие должно будет продолжать.

По случаю Сергиева дни [119] вся окрестность напивалась пивом и предавалась веселию. Третьего дни до нас дошло известие, что юморист наш, староста Осип, выпив чего-то у попа, остался в Заяньи крайне больным и даже в опасности. Дочь поехала за ним с плачем, и мы предались

* перемежавшиеся дождем и солнцем *(франц.)*.
** я любил и жил *(нем.)*.

горю, но, к счастию, сам Осип явился в надлежащем виде, к общему увеселению.

Крестница моя Маша, фигурой своей (только не лицом) напоминающая Венеру Медицейскую, окончательно сговорена за юношу из Рудного Погоста[120], с маленькой раздвоенной бородкой и весьма красноречивым слогом.

За обедом Маслов прислал извещение о том, что едет со мной в среду.

Среда, 7 октября.

Вот краткий перечень моих деяний в эту обильную приключениями неделю.

Вторник. Приехал в Осьмино, как водится, с головной болью. Нашел там Масл<ова> и доктора, но мало пользовался усладительной беседой, а еще менее ужином. Меня тошнило, а потом я отоспался.

Среда. Утром встал здоровым, а завтрак меня подкрепил. Завтракали втроем и, простясь с Трефортом, выехали в полдень. День был довольно светлый, тарантас покойный и места на пути довольно приятные. Но грязь по дороге стояла ужасная. Около 12 часов мы ехали пятьдесят с небольшим верст и прибыли в Ополье адски голодными. Там мы покушали довольно неосторожно, так что пришлось прибегать к каплям. Ночь дождливая и холодная, но мы закрылись и даже немного спали.

Четверг. В Стрельне пили чай, совсем разбитые. К пище, к вину и сигарам ужасное отвращение. День разъяснился, и мы въехали в СПб. благополучно. Этот год я въезжаю в город без обычного грустно-тревожного чувства. После сна пустился искать С. Неудача. Был у брата, видел всех и там ужинал.

Пятница. Мильон визитов, к ближайшим. У Сенковских, *Ахматовой,* Гаевского, Некрасова (Некр<асова> я застал в очень плохом положении). Обед у Панаева с Лонгин<овым>, Масловым, Брянскими, Ап. Майковым и московским литератором Писемским, оказавшимся сходным с своими сочинениями. Получены деньги. Оттуда к Сатиру, после одного тщетного похождения. Оттуда к брату, где ужинал.

Суббота. Поездка в полк. Своев, Дрентельн, Проск<уряков>, Саван, Смирнов. Все здоровы, все в порядке. У Жуковских был и застал Н<адежду> Д<митриевну>. У Никанора Петровича. Странный обед у его брата. Послеобеденные визиты в Гессен Дармштадт и к Ольге. Известие о Лизе. Вечер у брата. Говорил с канальей Старчевским.

Воскрес<енье>. Утром на выставке с Каменским и Сатиром. Выставка плоха. Завтрак в Rocher de Cancale. Вдвоем с Сатиром, похождения. У Мины Антоновны, в Арестантской, в Эльдорадо. Надя и Эсмеральда. Большой обед у брата, пили мое здоровье. Вечер у Юрия Толстого и потом к Лизавете Николаевне. Расстройство желудка — и не мудрено!

Понедельн<ик>. Пешеходное путешествие к Невзорову, Кильдюшевской, к Наташе и Саше. Обед у Каменского. Бесплодное путешествие в Эльдорадо.

Вторник. Приезд матушки. В коляске к Гаевскому, с ним к Краевскому, оттуда к Некрасову, которому лучше. Оттуда к своим, оттуда к Жуковским. Обед дома,— и сон после обеда, теперь сделавшийся редкостью. Вечер у Своева, где Танечка меня совсем сокрушила. Потом к Маевскому, где, кроме дам, были И. И. и Сократ. Облобызались с Сократом,— много врали. Вернулся домой и проснулся сегодни с спазмами в желудке. Это обстоятельство напомнило мне об осторожности и воздержании.— Погода стоит истинно адская!

Таковы были мои подвиги до сегоднишнего дни. Жить так невозможно, но некоторое время предаться подобной жизни не мешает. Эти радостные встречи, пиры, взбалмошные деяния, все-таки украшенные чистой сердечной симпатией, делают сердцу пользу. Многое я застал не так, как хотел застать, многое я предвидел, но во всяком случае общий результат отраден и утешителен. Из дальнейшего дневника узрятся обстоятельства, особенно интересующие меня в это время.

Сегоднишний день открылся спазмами — то же самое, что и в прошлом году. Встал, дважды принял капли, привел в порядок свою комнату, расставил вещи (за исключением фарфора и драгоценностей), а потом взял с собой 770 р. з<олотом> и отправился вносить их в Опекунский совет. Погода совершенно приличествовала этой печальной операции, экипаж мой тоже, ибо я ехал на похабной «гитаре» [121]. Ни одного хорошенького личика на улице, даже в ломбарде не было донн, которыми он по утрам отличается. Отдавая деньги, встретил я Моисеева, с которым сошелся у Каменского прошлый год, он насказал мне множество чепухи о пишущих столах [122] — чудес, будто бы с ним самим случившихся. Оттуда вернулся я пешком и зашел на выставку [123], где мне почти ничего не понравилось, кроме копии Рафаэля и двух-трех портретцев. На выставке видел Дитмара и Баранова; первый сияет глупостью — какой-то особенной, благонравно-франтовской глупостью. Обедал у нас Дрентельн, а вечером была Наталья Дмитриевна с мужем. Щадя свой желудок, я не выезжал никуда, хотя мысль о Т<аничке> меня сильно занимала.

Четверг, 8 октября.

Ночь спал отлично и встал, как кажется, в добром здоровье. Утро посвящу обделке Вальтер Скотта, как говорено было с Краевским. Должно быть, мне никогда не придется сойтись с человеком, знающим журнальное дело: Кр<аевский> сам не знает, чего ему хочется и чего ему не хочется. Наконец, я решился почти не делать изменений, а сократить конец и, если понадобится, отнести еще ненаписанные вещи в отдельный этюд.

Вслед за этим я дал по аудиенции портному и сапожнику, оделся и пошел к Вревской. Но там застал одну лишь Мери, и свидание было нежное. Но не для Вревской и не для Мери я, забывая свои спазмы, облекся в пиджак. Сердце влекло меня к Т<аничке>.

Наскоро нахлебавшись кислого кофе у Кикши, я сел в карету Невского проспекта и частию в карете, частью на своих ногах добрался к обетованному уголку. По чистенькой лестнице взобрался я в чистенькую ком-

натку. Меня было не приняли, хозяйка одевалась, но, услыхав мой голос, отворила дверь и предстала пред мои очи в юбочке, что-то набросив сверху! Боже! как она мила! — следует воскликнуть, как это водится в романах. Как блестели ее шаловливые глазки, как симпатически-лукаво глядело ее тихое, кроткое личико! Но, увы! тут же сидела другая донна, знакомая мне R., черт бы ее взял. Я должен был шутить скрепя сердце и шутливо высказывать то, что хотел высказать с «пафосом». Ничего верного нельзя сказать ни pro, ни contra * моих успехов, но что мои посещения приятны, в этом нельзя сомневаться.

С горестью оставив милую Т<аничку> кончать свой туалет, я прошел к Сатиру и под влиянием разных чувств предался болтовне, которая вовсе не в моем характере. Сатир указал мне жилище своих соседок, о которых упоминал Каменский, я прошел к ним, сам не зная для чего; был принят ласково, остался недоволен доннами и, наврав им что-то и, не снимая перчаток, ушел. Дорогой все носилось перед мною тихое бледное личико, глазки и ножки. У себя застал я Своева и обедал с ним вместе. Нашел две книги: романы Диккенса и Купера, привезенные Некрасовым для разбора [124].

Вечер сидел дома с целью исправления желудка, читал, качался в кресле, а если не скучал, то зато и вовсе не веселился.

Сатир сказал, что я *Варнер — ложный друг.* Сатир прав, но что же сделать, если мои друзья так постоянны,— а их подруга мила, как ангел во плоти? [125]

Пятница, 9 окт<ября>.

Утром работал над Купером и Диккенсом, работа шла весьма скоро. Едва успел я перед обедом побродить по Острову [126], но печальная погода с дождем и грязью скоро прогнала меня домой. Обедал дома, хотя дом и окружающая меня патриархальность противны мне, как и прежде. Во избежание патриархальности я запираюсь. Утром была Кильдюшевская с маленьким сыном.

Вечер провел я в унылой довольно езде по улицам. Был у Н., у Н., у Евфанова, у Ольги, где не услыхал ничего отрадного о транстеверинке [127], пил чай у Лизаветы Николаевны и вернулся домой к полночи. Прожить подобный день — значит покоптить небо.

Суббота, 10 окт<ября>.

Новое копчение неба, соединенное с небольшою работою. Были поутру оба Капгеры, Фохт и Евфанов, последний остался обедать. Рядом с нами будут жить Федор и Авдотья Глинки, авторы «Таинственной капли» и других мистических творений,— и на беду они еще знакомы с матушкой! Вечером поехали к Григорию, я оттуда прошел к Т<аничке> и не застал ее. Странное дело — я будто к ней холодею, это со мной не новость. Оттуда к Сатиру, чай и приятная беседа. Вечер кончил у брата.

Кончил «Дедушку и внучку» Диккенса. Ерунда, но временами довольно милая.

---

* ни за, ни против *(лат.)*.

Воскресенье, 11 окт<ября>.

Опять плата дани петербургскому климату в виде насморка и опухоли десен. Утром работал, потом сидел и завтракал вместе с Гаевским, а потом сели в карету и поехали на обед к Панаеву. Дорогой я заезжал к Маркусу, Григорьеву и Марье Сергеевне, последнюю застал дома и был принят как всегда по-дружески. Получил приглашение к обеду в среду. Во время моего визита приехал гр. Армфельдт и какая-то донна, кажется, мне незнакомая. К Некрасову,— произвели чтение о леди Байрон и «In memoriam» *[128]. За обедом находились все приятели, офицеров сумрачного вида не имелось. Лонгинов, Мухортов, Милютин, Сократ Воробьев, Аполлинарий Брянский. Сперва обед тянулся так себе, но когда на сцену выступило чернокнижие и планы скандалезных произведений, хохот воздвигся почти гомерический. Предположено продолжать Чернокн<ижникова>, писать классическую трагедию, фантастическую повесть и преложение псалмов в таком роде:

Блажен, кто в то́ннеле Пассажа
С Хотинским речи не держал,
И, выпив водки для куража,
. . . .
Его к <...> не провожал.

Из поэмы о М. Х<отинском>.

И труп Хотинского Матвея
Прияла смрадная волна,
И по Пассажу тихо вея,
Все запах слышался <...>

Досиделись и доболтались до десятого часа. Тут только я заметил, что у меня болит голова и опухоль десен увеличивается. Прошел до Пассажа пешком, но головная боль не прошла. Долго не мог спать, хотя и лежал в постели.

Блажен стократ, кто с Егуновым
На сонм Пикквиков не ходил,
И тот, кто со Струговщиковым
Речей про Гёте не водил.

Блажен, кто в туннеле (зри выше).

Блажен, кто музыку Бартольда
Не в силах вовсе понимать
И рожу Бранта Леопольда
Кто может зреть и не блевать!

Блажен, кто с буйным Вардолетом
Не учинял содомских дел,
И тот, кто с Майковым поэтом
В час зноя рядом не сидел...

Понедельник, 12 окт<ября>.

День открылся кислым расположением духа вследствие насморка. До обеда сидел дома, писал кое-что. Чуть только отобедал, пришел Сократ Воробьев во фраке с просьбою рекомендовать Каменскому Балтазара,

* «В память» *(лат.)*.

которого я видел у Сенковских два раза, или, скорее, Балтазарова брата, которого я ни разу не видал. Написав записку сообразно событию, я простился с Сократиком и лег спать, проснулся же довольно бодрым и даже в эротическом расположении духа. Пил чай у А. П. Евфанова, оттуда к Н... польке. Оттуда к Вревской, у которой пробеседовал весь вечер и даже ужинал. Но, увы, ужин, весьма вкусный, был адски тяжел; в нем, между прочим, играли роль гусь, отлично зажаренный, и пирожки. Оттого я во сне видел Павла Петровича, певицу Лагранж, какие-то путешествия и военные действия, а встал с некоторыми спазмами.

Вторник, 13 окт<ября>.

Сегодни произошло хлопотливейшее утро, которым, однако же, я остался доволен. Одевшись, я ожидал лошади, когда внезапно является ко мне вестник от Капгера звать меня к нему. Слабая мысль о том,— не транстеверинка ли у него, мелькнула в моей голове. Вхожу и действительно вижу мою пышноволосую преданную донну. Несметное количество расспросов, поцалуев и нежностей окончились обещанием свиданий и даже маленького обеда вдвоем. Простившись с Лизой, поехал к Ребиндеру и не застал его; тут я едва ли не впервые видел окрестности Цепного моста [129]; окрестности, мне неизвестные. Оттуда к Ортенбергу, он спал, и я немного побеседовал с Ольгой Ивановной. Оттуда к Зеланду и, по случаю его дежурства, прошел через величавые дворы в лазарет Пажеского корпуса. Cari luoghi! *, где каждое окошко дышит на меня воспоминанием. Оттуда к брату и Марье Львовне, на ее новую квартиру, которая мне весьма понравилась. Одно не нравится старухе — комнаты высоки! Вишь на что жалуется? — хотел я сказать, как Чичиков при жалобе Собакевича на свое здоровье. Оттуда к Марье Ник. Корсаковой, которую застал исхудалою, но весьма любезною. Потом проехал к Н. А. Стремоухову, где нашел одну Катерину Петровну, с рассказами о бесчисленных злоключениях, постигавших их семейство за это лето. Условились насчет обедов. Соображая, что утро и без того потеряно, я велел ехать к канцелярии Военного министерства и по знакомому ходу пробрался в переднюю, где мы столько лет курили, беседовали и пили коньяк. Бренные остатки когда-то блистательной когорты окружили меня: Кирилин, Ноинский, Коведяев,— в отдалении рисовались фигуры Битнера, Попова и писаря Авдеева. Прошли в первое отделение, вспомнили «о былом». Егор Николаич на вопрос о скандальных новостях принял благочестивую мину и сказал, что со смерти жены «он уже не тот»! Пожалев о сем неожиданном перевороте, я простился со всеми и, во мраке встретив фигуру Андриевского с крестом на шее, толкнулся к Струговщикову, но бесплодно. Затем приехал восвояси и после обеда спал как умерщвленный.

Вечер провел у старикашки, с Дрентельном, Ванновским и Таничкой. Ничего не читаю, ничего не работаю, впрочем, работать покуда нечего, а книг нет никаких под рукою. Нужно запастись всем, что следует для чтения, и тогда уже усесться.

* Дорогие места! *(итал.)*.

Среда, 14 окт<ября>.

Раз бросившись в праздношатание, никак нельзя с ним скоро покончить. Приглашения идут следом за приглашениями, и я ангажирован на весь остаток недели, но кстати сегодни в биографии Мура («Quarterly»)[130] я прочел о том, как вредна такая жизнь,— и воспользуюсь поучением. Встал поздно, написал несколько писем и ничего более. Утром были у нас Фома Осипович, m-me Корсакова и О. И. Ортенберг, последняя осталась обедать. От Панаева получил одну книжку английского журнала и несколько времени провел в чтении. От каждого гвард<ейского> полка командируют в Молдавию по 3 офицера, из финляндских едет Ванновский. Дай бог ему здоровья и удач.

Вечером приехал какой-то нелепый юноша, племянник Ортенберга. Я оделся и часам к 9-ти был у Сенковских, где застал Сократа и Балтазара с братом, о которых недавно говорилось. Я поддерживал парадокс о гадости и вреде публичных собраний — опер, *маскарадов* и прочего. В это время с m-me Helêne сделалось дурно и начались истерические припадки, сходные даже с падучей болезнью. Наше положение (гостей) оказалось странным: уехать было невежливо, а сидеть скучно и, как думал я, бесполезно. Но припадок был так силен, что помощь наша оказалась нужною. О многом думал я в течение этих двух часов. Однако мы все-таки не дождались окончания. Нужно отдать справедливость больной: она и в беспамятстве вела себя скромно и грациозно. Сократик, которого я подозреваю в любви безнадежной, изнывал и таял. Когда я воротился домой, на лестнице меня перехватил и увлек к себе Капгер. У него было собрание. Дрентельн, Мейер, Засс, Белокопытов в густых эполетах и какой-то статский, Чочков, мне не понравившийся. С темноты и от худых глаз моих я лысого Сергея принял за Своева и обошелся с ним так, как будто бы мы вчера расстались, потом уже я признал свою ошибку, и мы облобызались. Засс горевал по поводу своего неназначения на турку, Мейер беседовал о девочках. Мне подали ужин, состоявший из весьма невкусных блюд, а разошлись мы в половину второго. Во сне я видел каких-то убийц и кинжалы, а проспал до $10^1/_2$ часа.

Четверг, 15 окт<ября>.

День, против ожидания, открылся весьма удачно. Пока я пересматривал в сотый раз (и с новым удовольствием) федотовскую тетрадь картин Гогарта и, пересматривая ее, ругал вероломную редакцию «Б<иблиотеки> для ч<тения>», явился Старческий и привез половину должных мне денег. По своей отходчивой натуре я принял его ласково, напоил чаем, и хотя вчера не задумавшись послал бы его куда-нибудь в Ботанибей[131], но сегодни обнадежил насчет своего сотрудничества. Таков человек, особенно я. Приезжал П. Н. Стремоухов и m-me Данилова, менее исправная, чем Старчевский. Потом приехал брат, и в его коляске мы отправились к Гамбсу смотреть мебель для кабинета. Магазин очень хорош,— но ничего особенно художественного я там не узрел. Потом Григорий пошел пешком, а я, заехавши к Сенковским и осведомившись о вчерашней больной, проехал к Марье Сергеевне. Обедали с ней, ее му-

жем, Натальей Сергеевной и детьми. Все было очень мило, приятно, но почему-то, выходя от них, я вспомнил о Теккереевом Томе Приг после вечера у леди Ботиболь [132]. Вечер заключили у брата, дома я получил очень милое письмо Ливенцова, с турецкой границы. Ночь спал плохо, может быть от усталости, и кашлял.

Пятница, 16 окт<ября>.

Утро в небольшой работе — чтение и разбор «Крымских цыган» Котляревского [133]. Приходил Невзоров с повесткой об окончании дела Руничевой и принес денег, но немного,— ибо все уже было перебрано. Обед у Н. А. Стремоухова, свидание с Петром Николаичем, в среду условились вместе сражаться на бильярде в Английском клубе. Все, особенно старик, переполнены ласки и любезности. Чай пил там же, я уехал запастись книгами — о Снобах [134], повестями Ирвинга, рассказами Теккерея и романами Сильсфильда. Дома застал Кильдюшевскую и, против ожидания, ужинал с аппетитом.

N. B. Тут случилась со мной стариковская история. Задолго я обещал Гаевскому провести этот вечер у Никитенки, сам писал ему о том вчера и забыл свое обещание, так что другие мне о нем напомнили.

Понедельник, 19 окт<ября>.

В субботу была память брату Андрею, но по случаю дурной погоды я не был на кладбище. Для меня немалое удовольствие бывать там изредка и подходить к могилам когда-то живших друзей, стараясь припоминать себе их образ, их речи и дела, но этот год я еще не был в Смоленском. Вместо этого меланхолического занятия я был у Капгера, целовался с транстеверинкой и прочая. «Спящий в гробе, мирно спи, жизнью пользуйся, живущий» [135], и т. д. Ma Lisette позаботилась подарить мне свой портрет водяными красками, на котором ей чуть не сорок лет отроду. Обедал у нас Дрентельн, как он помнит эти дни, как полна истинной, сердечной деликатности его внимательность в этих случаях. Да, таких мало людей на свете. Вечер провел я сперва у Маевских, потом у Ахматовой,— тут только я вспомнил, что в пятницу хотел быть с Гаевским у Никитенки. Память слабеет!

Утро воскресенья сидел дома и читал, приходили Зиновий Иванович с упомянутым уже Балтазаром; Каменский, как я ожидал, ответил очень ласково, но обещаний никаких не дал. Они опять будут приставать ко мне. Начал повесть Сильсфильда «Courtship of George Howard» *, занимательную картину общества Соедин<енных> Штатов. Снобы очень хороши, история о заслуге, сделанной христианству через перевод непристойной греческой комедии с комментариями Шнупфениуса и Шнапсиуса, очень забавна [136]. Обедал один дома, ожидая Лизетты. Она пришла, но приют мы нашли не у соседа, а у Луи, где нам отвели чистую комнату, дали чаю и шампанского.

---

* «Ухаживание Джорджа Говарда» *(англ.)*.

...Lisette doit paraître
Vive, jolie, avec un frais chapeau,
Déjà sa main a l'étroite fenêtre
Suspend son châle en guise de rideau... * [137]

Мои отношения к ней совершенно принимают вид благородной интриги; by the by **, вчерашний визит обошелся мне в 20 целковых. Месяцев 9 тому назад я не пожалел бы двухсот (если б они были!). Вечер заключил патриархальным ужином у Марьи Львовны, где из чужих были Волконский, Росляков и Крокодил. Сегодни diner fin *** у Григория. Да, еще перед М<арией> Л<ьвовной> я заезжал к Некрасову, застал его и Авд<отью> Яковлевну больными и неразговорчивыми.

Турки перешли Дунай. Ждут парада и манифеста о войне.

Вторник, 20 окт<ября>.

Поутру был Григорьев, и я ему очень обрадовался, и он был весьма тронут моим приемом. Завтракали вместе и беседовали о женитьбе, провинции и разных приятелях. К обеду у брата, с Каменским, Евфановым, Дрентельном, Своевым и Заикой, которого считать нечего. Дети были очень милы. После обеда хотели ехать в русский театр, но не нашли ложи. Вечер заключен был у Ал<ександра> Петровича, очень глупо, однако с пением и музыкой. Сильно мы все постарели, но я далеко моложе всех, в нравственном отношении!

Среда, 21 окт<ября>.

Вместо утренней работы я вознамерился совершить долгую прогулку по Острову, одну из тех прогулок, которые всегда навевают на меня такое отрадное успокоение и так нежат мои мысли. День был серый, холодноватый, но приятный. Я позавтракал у Мишеля и пошел бродить по отдаленным линиям, между чистенькими деревянными домами и новыми каменными строениями, заглядывая <в> окна и не допуская себе в голову никакой определенной цели. Был и на кладбище, где сухо, хорошо и пусто, свежий осенний воздух от деревьев на меня приятно подействовал. Потом ходил прицениться к памятнику для брата Андрея, прошел пустой линией частью известных мне одиноких желтых домов,— деревянный дом, сгоревший три года тому назад, до сих пор даже не разобран и торчит среди поля. Вот каков порядок в отдаленных улицах Петербурга. Проведал Наталью Дмитриевну и опять застал ее под властию бесконечного *тика.* В полку встретил Витязя и Фохта, с последним прошел домой, где нашли Григория. После обеда читал «Путешествие в Китай» Ковалевского,— книга мне не очень полюбилась, но в «относительном»

---

* Лизетта должна появиться
Живая, хорошенькая в новой шляпке,
Уже ее ручка вешает на узкое окно
Шаль вместо занавески *(франц.).*

** между прочим *(англ.).*

*** тонкий обед *(франц.).*

смысле она идет себе и стоит похвалы [138]. Вечером гулял, был у Мейера и у Жуковских. Сегодни предстоит обед или у Николая Алексеича или в Английском клубе.

Четверг, 22 окт<ября>.

Вообще, печальна участь людей, проводящих дни в клубе, хотя бы и Английском; одно только великое неумение распорядиться своей персоной может привлекать туда столько посетителей. Приехали мы туда с Н<иколаем> А<лексеевичем> на его новых лошадях, узрели много незнакомого и полузнакомого народа, между которыми было много хлыщей, отобедали порядочно, но не отлично, потом он играл, а я читал газеты, смотрел бильярд и кегли. Видел Милютина ст<аршего>, Некрасова, Анненкова, Обрезкова (что за сукин сын!) и, вообще, pour rareté de cause * днем остался доволен. Часам к 9 явился Петр Николаич, мы сразились, и я проиграл три партии, особенно последняя шла отчаянно плохо. Наконец, на часах показалось около 11-ти, и я пожалел о убитом остатке вечера. Но это, вероятно, составляет прелесть клуба и радует лиц, не знающих куда деваться со своим временем.

Государь подписал манифест, стало быть войну нужно считать уже объявленною [139].

Пятница, 23 окт<ября>.

Гнусная, скверная, подлая моя натура, особенно насчет женщин. То, что меня приводило в восторг вчера, сегодня мне почти противно, а между тем, я способен на большое постоянство в моих привязанностях. Как прошлый год после разлуки с Л<изетт> я грустил о ней, писал стихи, думая о ней, ездил по отдаленным улицам, желая ее видеть, не мог наговориться о ее преданности, жаждал иметь ее портрет, а вчера почти желал, чтоб она не пришла на свидание. Опять Т<аничка>; на этих самых страницах я еще недавно восхищался ее ножками, глазками и бледным, кротким личиком,— потом не видал ее около двух недель, сегодня заехал к ней и был рад, когда явилась какая-то донна и помешала нашему tête-a-tête **. И лицо показалось не то, и глазки не те, и рука не та,— о ножках ничего не могу сказать! Этак, пожалуй, придется в самый день свадьбы получить отвращение к своей невесте!

Вчера обедал у брата, вечер кончил у m-me Helène. Бедные женщины, как они скучают в своем Бедламе! Сегодни писал о Китае, был у Краевского, у Т<анички>, потом у Сатира застал Анд. Кирилина и был очень рад. Обедали за 50 к<оп>. с<еребром> с рыла у промотавшегося оптика Рейкабен, в доме Марьи Ивановны. Познакомился с флотягой Каморашем и Степаном Струговщиковым, очень милым человеком. Бродили в Пассаже и туннеле, подобно ерыганам. Был у Нади, из Ковенской губернии. Сцена в теньеровском вкусе. Маленькая Ольга. Завтра у меня гости.

---

* ввиду редкости этого *(франц.)*.

** уединению *(франц.)*.

Суббота, 24 окт<ября>.

Поутру пришел вторично вестник от Старчевского, за *оригиналом.* Я отвечал, что я не Александр Дюма, но, прогнавши посланного, присел к статье о Китае и ее покончил. Удивительно, когда я успеваю работать, вставая в половине 11-го, принимая гостей, разъезжая и даже во время работы терпя помехи то от родительницы, то от попа Василия, недавно явившегося со второй просьбой к митрополиту, то от самого себя. А еще в это время я читаю кое-что!

Перед обедом побродил по грязным улицам и выстригся, вспомнив по этому случаю пародию «Сцена в лавке цирюльника — Неразговорчивый гость» [140]. Едва вернулся домой и успел раза два послать к черту гостей за их медленность, как они явились, сперва Каменский, потом Григорьев, потом Сатир. Григорьев п<...>ват до необъятности, боится умереть от холеры и не любит, когда при нем ругают «какао». С ним случился понос перед обедом, и он совсем раскис. Каменский и Сатир были милы. Мы обедали хорошо и пили, но я придерживался одного Ribeiro secco *, оттого и встал из-за стола не отяжелевши. Часов в 9 разъехались, я взял Сатира в карету и всю дорогу мы ругали Григорьева, как следует приятелям, только что с ним отобедавшим. Сойтись условились в будущую субботу в подвальном ресторане, где едят макароны. Простясь с А<лексеем> Д<митриевичем>, я заехал к Гаевскому, и мы вместе поехали к Ахматовой, где кончили вечер, рассказывая скандалезные анекдоты, занимаясь чернокнижием и ругая ближнего.

Я получил от Щербины глупейше-педантическое послание насчет сотрудничества в альманахе «Железная дорога»,— альманахе, что уже издается около 4-х лет и все не выходит к печати. Отвечал ему с вежливостью [141]. Некоторые письма или странные, или поясняющие мое время<пре>провождение, я придумал отныне прилагать к журналу.

Воскресенье, 25 окт<ября>.

Проснулся в 8 часов, со спазмами без причины; нужно отмечать эти дни, чтоб следить за состоянием моего здоровья. Решился не спать так долго, как прежде, и потому, одевшись, пошел бродить по Острову, пил кофе у Мишеля, читал «Пунч» и «Journal de St.P<eters>bourg», из которого почерпнул еще известие о том, что есть надежда на мирное окончание турецкого вопроса. Вернувшись домой, лежал, и глаза мои слипались, но остаток дня я чувствовал себя бодрым.

Приехал к Некрасову и вместе с ним занялся делом, для меня странным: ездкой по Невскому в коляске, без всякой цели. Вернувшись к Панаеву, сели за обед в присутствии многих, более или менее красивых офицеров, Лихачевых, Панаевых и tutti quanti **. Провожали молодого Крон<ида> Пан<аева>, посылаемого в действ<ующую> армию от Уланского е<го> в<еличества> полка. Но наш уголок стола состоял из людей более привлекательных: Сократа, Пан<аева>, Некр<асова> и

* сухого рибейро *(итал.).*
** всех прочих *(итал.).*

Языкова. С половины обеда начались вопиющие остроты: «В Турцию едут по одному с *полка,*— заметил Сократ,— значит, это *банщики?»* — «По одному с полка — отвечал я,— как же банщику быть одному, если он идет с *шайкою?»* — «Их будет двое,— подхватил Языков,— ибо они в *пару».* Все это языкоп<...> сопровождалось рукоплесканиями. Потом пошло сказание о пассажире с железной дороги, который в вагоне сидел и *поседел.* Потом говорили о портрете скупца, похожего на самовар, ибо он сам — avare *. Хохотали до того, что, верно, буженина и пироги, составлявшие часть обеда, пройдут благополучно. Пили тоже немало.

Домой вернулся часам к 11-ти и перед сном пересматривал «Пунч». Кто рисует там такие милые женские головки?

Для памяти. Во вторник вечер у полек, открытых Маевским, в среду фестен у Ольги, в субботу обед в итальянском ресторане. Все это покончу к ноябрю, а ноябрь буду сидеть дома.— Довольно, довольно. Stop!

Понедельник, 26 окт<ября>, post operans **.

Не выдержал характера и спал до 1/2 10-го, утром перебирал «Punch», «Athenaeum» и не принес ни себе, ни отечеству пользы ни на грош. Потом гулял не без удовольствия по набережной, видел Дрентельна и обедал довольно плохо. Перед обедом приехал Григорий с известием, что у него родился сын Михаил, коего я буду крестить. Еще вчера Олинька была на вечере у Марьи Львовны,— доказательство того, как благополучны были роды. Но я сказал, что эта легкость не должна служить поощрением к детопроизводству. Итак довольно трех в три года и один день. Свадьба была 25 октября. В четверг будет прощальный обед Ванновскому.

После обеда получил билет на «Риголетто» в 4-м ряду и поехал. Увидя Каменского в антракте, я повернулся к стороне сцены и пожал плечами. Истинно глаголю: нужно не иметь ни одного знакомого дома и ни одной книги в кабинете для того, чтоб ездить в оперу, особенно в «Риголетто». Впрочем, тут я сам виноват: очень нужно было мне глядеть в ложи, кланяться знакомым, искать взорами хлыщей (которых теперь как будто менее: может быть, они все у Рашели! [142]), а не углубляться в оперу, не переноситься мыслями на место действия! Народу было много, но театр не был полон, и оттого было мало этого подлого, тело накаливающего воздуха, который мне так неприятен. Видел Лонгинова, Строганова, Веревкина, Акимова, Милютина ст<аршего>, видел и разных престарелых мумий в роде Чернышева, Адлерберга и Перовского. Очень хорошеньких женщин не было. В антракте в foyer *** произошло движение, как будто при приезде какого-нибудь великого лица, и толпа хлыщей собралась глядеть на молодого Воронцова с женой. К ним подошел

* скуп *(франц.).*
** после работы *(лат.).*
*** фойе *(франц.).*

молодой Паскевич, вероятно с женой же — crême de la crême *. Я взирал, но не благоговел. В креслах мелькало тоже несколько донн, довольно изрядных. Вообще все увеселение, если его перевести на деньги, не стоило и пятиалтынного.

Вторник, 27 окт<ября>.

Утром ездил: к Олиньке, Росторгуеву, Некрасову; обедал у нас Дрентельн и сообщил кое-что забавное о первом представлении Рашели. После двух первых актов он встал с места и спросил своих соседей: неужели это хорошо, господа? Особенно entourage ** Федры безобразен [143].

Вечером к Маевскому, где был Сократ, проклинаемый стократ, и Калиновский. Поехали в Стремянную улицу и по деревянной, но чистой лестнице взошли в три комнаты, обитаемые польками. Одна из них, Юзя, довольно мила, напоминая собой m-me Viardot, только в изящном виде. Ужинали, пили теплое шампанское, и Сократ доказал, что он не Сократ, а Разврат. Вообще, впрочем, особенного веселия не было,— недоставало согласия в общем концерте. Лег спать в $1^1/_2$, если не позже.

Среда, 28 окт<ября>.

Утро прошло в чтении, гуляньи и беседе с Капгером, который у нас обедал; после обеда спал, изготовляясь к пиршеству Балтазара [144]. В половине 8-го заехали к Викт<ору> П. Гаевскому и застал у него на столе работу о Дельвиге [145] — дурной признак! Скоро явился сам хозяин и объявил, что у него злобный триппер, а сам он не знает, ехать ли на бал. Но явился Николай Семенович, и сердце не выдержало. Мы поехали трое в карете, заезжали в Милютины лавки [146], откуда Амфитрион [147] вышел с фруктами и ананасом. Квартира Ольги, оказавшейся на этот день Прасковьей Ивановной, сияла огнями, в ней находилось дам 12, между ними Лиза, там назыв<аемая> Полковница, Наташа и Саша, приятельницы Каменского. Лиза была всех лучше в розовом шелковом платье, с миллионом браслетов и колец. Кроме ее, две донны могли назваться пышноволосыми, Полковница и еще одна Марья Петровна, совершенно напомнившая собой одну из виньеток Shakespeare's Beauties Images ***, кажется. У одной Маши отличные глазки, ножки и руки, а сама она сложена так, что, переодевшись мальчиком (после жженки) в сюртук Гаевского, она походила на мальчика совершенно. Заварили жженку, и дамы пили исправно, особенно Полковница и одна Софи, весьма бойкая и грациозная донна, прозванная Одалиской. Говорили подлые остроты, экспромты и так далее. Танцовали до того, что Маша, имевшая на себе одни штанишки и сюртучок, совершенно промокла. Виктор Павл<ович> скакал чрез стулья, кувыркался, а потом жаловался, что у него покалывает. Тень Соляникова должна была ликовать в этот вечер. Лиза скоро уеха-

* самые сливки *(франц.).*
** окружение *(франц.).*
*** Образы красавиц у Шекспира *(англ.).*

ла, а Марья Петровна стала героиней вечера. За ужином ей сказали экспромт, оканчивающийся стихами:

Зачем я только что вздыхатель,
Зачем не содержатель твой!

Одним словом, ужин и весь вечер совершенно были достойны Поль де Кока или Ивана Чернокнижникова. Я сидел возле Маши. Из мущин были еще Серапин, Познанский и другие лица, которых не знаю по именам, всего человек 7. Нельзя было сказать глупости, чтоб она не возбудила смеха и рукоплесканий. Все это, однако, было далеко не то, что вечера в доме Бруни или Михайлова, особенно первые вечера с Григоровичем и Ждановичем. Но вообще пир был хорош и вышел бы лучше, если б не было такой роскоши. Вечер с гризетками не должен быть слишком блистателен и богат. Домой я вернулся, proh pudor *— в четыре часа утра и спал до 11.

Четверг, 29 окт<ября>.

Чем нелепее и неистовее идет мое время, тем аккуратнее ведется дневник. И не мудрено, кроме его я ничего не пишу, а пустею, вероятно, с каждым часом. За весь этот месяц ни одной мысли, ни одного плана нового, ни одного шага к осуществлению старых, ни одного начатого труда. Живется весело — это правда, но надобно знать и честь. Еще три дни беспутства, и basta! basta! basta, per pièta!» **

Сегодни опять пир и разврат, довольно гнусный. Подобно Панаеву, я все утро бродил полусонный и не жил, оживился же только в час сумерек. Чтоб протрястись, я прошел до Луи пешком, там в 1 № гостиницы уже стоял стол с фруктами, серебряными вазами и кувертами на 25 персон. Скоро явились гости и сам бенефициант [148]. В этот день я первый раз с приезда видел Фридерихса, Евгена Крылова и нескольких других, кем менее интересуюсь. Сидел я около Дрентельна и Ванновского, имея налево Евгена и *Савона,* коего посадили тут «для возбуждения аппетита», запретив ему говорить о Малороссии. Несмотря на то, аппетита не было, и обед не пришелся по моему вкусу. Есть в обедах эти похабные lieux communs *** (например, филе из говядины и лакс-форель), которые мне ненавистны. По вкусу пришлась фаршированная дичь и fonds d'artichauts glacés ****. Но я удивляюсь и завидую людям, способным после замороженного пунша вести атаку на жареное!

Для любителя можно было нарезаться отлично. Я выпил рюмки две мадеры, рюмку рейнвейну и немного шампанского, наотрез отказавшись от бургонских, бордосских вин и портера. Некоторые из гостей, особенно молодежь, напились, общий крик начался с середины обеда. Пили здо-

* о стыд! *(лат.).*
** довольно! довольно! довольно, ради бога! *(итал.).*
*** общие места *(франц.).*
**** холодные артишоки *(франц.).*

ровье Ванновского, и я прочел ему en petit comité * такое не совсем благопристойное, но из сердца исходящее напутствие:

Иди и <...> нелепого Турчина
<...> его и жди фельдмаршальского чина
<...>
Пусть ранг высокий твой тебе <...> не претит,
Преуспевай во всем и жизнь веди лихую,
Фельдмаршал по душе, но прапорщик по <...>

Все шло живо и хорошо, хотя Витязь, распорядитель фестеня, несколько раз замечал мне, что я не весел. Мое веселье есть веселье особенное, к которому надо присмотреться и примениться, чтоб оно понравилось. Курили, приставали к Савону, потешались над нарезавшимся Чиколенкой, который пел французские романсы. Потом качали на руках Григория, Ванновского и, неизвестно почему, меня. Такое внимание со стороны прежних товарищей (хотя и пьяных) не могло мне не полюбиться.

После кофе, ликеру и коньяку, часов в 9, часть компании надела каски и двинулась за мною — куда? О том говорить нечего. Дети мои (я думаю, не родные, а крестные), которым попадется этот дневник в руки, пожалуй, назовут меня грязным <...>, но пусть они не произносят приговора, не подумавши о нравах нашего времени. Мы развратничаем так, как, например, англичане прошлого столетия пьянствовали en masse **. Тут не столько действует внутренняя испорченность, как обычай, воспитание, остатки удали, праздность (вечер после пира есть вечер, погибший для всего дельного). С переменой общего духа мы будем сами смотреть на эту моду, как на безумие, а дети наши будут наслаждаться и реже, и умнее, и пристойнее. Но довольно морали, тем более, что предмет не совсем морален. При сборах я пожалел о разъединении когда-то блистательных финляндских шалунов,— полковники не пошли с нами, из младших часть раскисла, и со мной остались только Капгер, Смирнов, Чиколенко *мове-тон,* Евген и несравненный Мейер, который мил как нельзя более. Конечно, о Ждановиче вспоминали стократ. У Адольфины нашли сидевших там Засса и Фридрихса. После танцев ушли, ибо дамы не понравились, за исключением одной, Пакиты, представлявшей из себя sainte-nitouche ***. Зато у Виктории Ивановны компания бросила якорь и устроила *кадрель* с портером. Танцовали Пакита, одна Надя (не полька), Ольга и Зельма, на которую я смотрел с удовольствием. Музыканты с завязанными глазами играли удовлетворительно. Каждый из гостей совершил свое дело, но я не соблазнился и уехал домой, выждав окончания увеселения. Дорогой говорили с Капгером о недостатке единодушия в компании. Обед был так невкусен, и я так мало ел, что дома отужинал, и не без аппетита.— Эту ночь я отоспался, а пятницу буду отдыхать,— разве поеду смотреть Рашель, если билет пришлют.

---

* в узком кругу *(франц.).*
** все поголовно *(франц.).*
*** недотрогу *(франц.).*

Пятница, 30 окт<ября>.

Главнейшим событием этого дня было представление «Федры». Я ехал, не ожидая многого, но не ожидая и чего-нибудь скверного. Съезд был так велик, что кареты тянулись до самого дома Крыловой, в ложах сидели рожи, в креслах изобилие хлыщей, а рядом со мной Арапетов, еще более противный, чем когда-либо. Видел Некрасова, Гаевского (Н. С.), Краевского, Мухортова, Милютина, Греча, Ольхина. Пришел я, когда два какие-то хама в хитонах стояли на сцене и излагали начало пиесы. Наконец, при громе рукоплесканий, окруженная женщинами противного вида, явилась знаменитая Рашель в плюшевом пеплуме и газовой тунике, с короной на голове и каким-то всевидящем оком на шее. Она хороша,— но красота ее не шевелит сердца, стройна, с тонкими чертами лица, отличными руками, глазами и бровями, впрочем брови, от привычки хмуриться, лежат как-то странно. Роль свою она начала глупыми и неестественными завываниями, но скоро расходилась и была точно хороша. В любовных сценах она походила на женщину, одержимую бешенством матки. Меня трудно потрясти, и я не потрясался, но публика потрясалась и была права. Восхищенный Арапетов глядел на меня злобно, а я на него с презрительной холодностью. Entourage Рашели плох, но не так худ, как я думал. Тезей, за что-то нелюбимый публикою, не хуже других. Одна Арисия — стерьва, каких мало. Я уехал после Тераменова рассказа. Ужинал у брата.

Поутру были Вревская, Стремоуховы и М. Н. Корсакова. Я гулял немного и заходил к мисс Мэри. Обедал дома и спал днем, отчего ночь провел плохо.

Понедельник, 2 ноября.

В субботу поутру был у меня Н. П. Евфанов, после его ухода я читал Сильсфильда, с особенным вниманием вникая в его аргументы по поводу рабства в Север<ных> Амер<иканских> Штатах. И этот писатель, так умно и ловко защищающий необходимость ладить с фактами совершившимися, становится дерзким дураком, судя о России или Франции. Получено известие о взятии турками Николаевского укрепления,— известие печальное и пророчащее долгую борьбу [149]. Теперь едва ли остается надежда на мирное окончание вопроса!

Из дома пешком к Каменскому, оттуда к Григорьеву, оттуда пешком в итальянскую ресторацию. Непотребный Сатир надул и не пришел, но взамен его явились Сократ, Маевский и Балтазар. Обед прошел очень весело, пели, смеялись, говорили по-итальянски, пили много мадеру, шамбертен и сен-Пере. Оттуда в Эльдорадо, где я провел вечер, как следует *старосте,* ругал немок, поощрял русских и устраивал счастие приятелей, особенно Григорьева.

В воскресенье был у Гаевского утром и застал его почти здоровым. (Начал критическую статью о Писемском [150].) Оттуда к Панаеву, где собрались к обеду Арапетов, Сократ, Н. А. Милютин, Лонгинов, Гамазов и офицеры (здесь под именем офицеров вообще разумеются молчаливые юноши красивого вида). Обед был не так весел, как прежние. С обеда я

с Сократом поехали к Сенковскому и кончили вечер, беседуя с дамами о скандалезных предметах.

Четверг, 5 ноября.

Настоящий intermezzo * в дневнике происходит не от лености и разврата, а от некоторой перемены в образе жизни. В воскресенье я решился положить предел беспутству, работать, сидеть дома побольше и таким образом беречь здравие. Вследствие того была начата давно обещанная рецензия на сочинения Писемского и до сих пор идет довольно быстро и весьма удачно [151]. В понедельник я работал утром и вечером до того, что глаза с непривычки заболели; кроме письма было и чтение: Сильсфильд, новый № «Современника» с славной повестью «Леший» [152], томики «Невского альманаха» [153], данные мне Гаевским. Чтоб рассеять себя, я гулял и часть вечера провел у Жуковских, а на другой день они у нас провели вечер.

В среду работал мало, накопились дела поутру.— Был у Краевского (получил приглашение участвовать в «Петербургских ведомостях» [154]), Сатира, обедал у Григория, а потом имел свидание с Лизой, пил с нею чай и шампанское, домой же вернулся с весьма малым количеством денег, хотя еще поутру в моем портмонне лежало 50 целковых. Четверг же, то есть сегоднишний день, провел почти не выходя из комнаты, только вечерней моей работе помешали Сократик с Маевским. Я их оставил ужинать, и беседа длилась до ночи не без приятности.

Общий результат этих трех или четырех дней — четыре листа исписанной бумаги. Пока я не соберусь с силами для раннего вставания, оно все будет так. Для работы срочной, денежной довольно, чтоб дела шли так, как они идут, но для труда задушевного и приятного этого слишком мало. Впрочем, это истина, уже дознанная мною: петербургская жизнь не для меня создана.

Завтра именинница Головнина, послезавтра обед в клубе, там опять обед у Панаева. Это, наконец, начинает выходить из законов приличия.

Ходят слухи о совершенном поражении турок, но что-то не подтверждаются.

Воскресенье, 8 нояб<ря>.

В пятницу именинный обед у А. И. Головниной, где были брат, маленький Александр Васильевич, доктор Константин Францевич и другие лица, добрые, но немного скучные. После обеда валялись в комнатах Григория Григорьича, а перед обедом заезжали к брату, где дети нас увеселяли. Маша серьезно похожа на А. С. Вяткина.

В субботу немного работал дома, а потом принялся ездить по городу. Заезжал за своими бумагами в контору дилижансов, был в английском магазине, потом с Панаевым в клуб, оставив свою лошадь Некрасову, для приезда туда же. В клубе видел бездну знакомых: Строганова, Анненкова, Обрезкова, Лонгинова, Долгорукова, но Стремоуховых не ви-

* перерыв (*итал.*).

дал, так что и записал меня не Николай Алексеевич, а Анненков. За обедом познакомился с так известным Авдулиным и вместе с ним ругал Арапетова. Тут я сказал отличное bon-mot *, впрочем не имевшее особенного успеха. Говоря о знакомстве Ив<ана> Пав<ловича> с какими-то персиянами, Авдулин заметил, что тут есть arrière-pensée.— «Une derrière pensée plutôt» **,— ответил я на это. После обеда смотрел кегли и читал в журнальной комнате, где не без удовольствия нашел громкие себе похвалы в «Художественном листке»[155]. Вообще, очень приятно, когда нас хвалят,— к этому чувству можно привыкнуть, но оно, я думаю, никогда не может пройти совсем. Обед был мне не совсем по мысли, особенно щи и горошек, тоже и лафит, которого я не люблю, будь он стар как угодно. Денег содрали с меня немало.

Вечер кончил у Лизаветы Николаевны, куда явился и Гаевский. Но я был утомлен, и хотя не было скучно, но мы смеялись менее обыкновенного. Речь шла об Италии, хлыщах и Рашели. Дома ужинал и долго валялся, не имея возможности заснуть,— не знаю почему, думаю, что от чая.

В субботу же получил от Старчевского несколько денег и просьбу о повести, но просьбы этой не исполню.

Хорошо было бы устроить вместо Анг<лийского> клуба клуб ленивых людей, для раннего обеда и спанья после обеда. Игры все, кроме бильярда и, пожалуй, кегель, должны быть воспрещены, напротив того, игра в лепетушку[156] должна поощряться.

Среда, 11 нояб<ря>.

В Петербурге извращаются самые понятия о климате. Для меня серенький осенний денек исполнен прелести и живописности, особенно для гулянья по Острову, между чистыми домиками и старыми садами без листьев. Вчера был такой день, когда я, поездивши по своим делам за Невою, направился во втором часу к жилищу Н. П. Евфанова. Там я и обедал, посреди детей, с тем удовольствием, которое всегда там испытываю. С добрым нашим доктором есть у меня духовное сродство, о котором я здесь же говорил когда-то, сверх того, он столько оказал мне услуг и мы так сошлись, что, конечно, наша приязнь никогда не прекратится. Дома я почувствовал опять признаки легкой простуды в опухоли десен, болезни не тяжкой, но довольно мучительной. В семь часов были у брата, где застали все семейство и ребятишек, пляшущих около купели. Во время крестин их любопытство было возбуждено до невероятной степени, и Маша молилась до того, что, верно, лоб ее должен болеть от земных поклонов. За моим поведением во время процессии наблюдал Яков Иванович и остался мною очень доволен, что и выразил за ужином, а во время поздравления пожелал крестнику походить на восприемника сердцем и умом. Потом мы беседовали с ним о Сибири и о моей предполагаемой поездке в Пермскую губернию.

---

* остроту *(франц.)*.
** задняя мысль.— Мысль о заде *(франц.)*.

А кстати, что я делал в понедельник? Гулял, читал и заходил в полк, к Своеву и Фохту, последнего застал посреди новой попытки вылечиться от своего вечного насморка. Кажется, больше ничего не было. Помышлял ехать к Маевским, но головная боль меня удержала. Вообще, мое здоровье не в цветущем состоянии. О воскресеньи я тоже ничего не писал. Обедал, как водится, у Панаева, где видел В. Милютина, Ап<оллинария> Яковл<евича>, а после обеда — Языкова. Много говорили о Рашель, а потом о прелестях деревенской жизни, на которую нападали Панаев и Милютин, люди совершенно с нею незнакомые и судившие о деле детски превратно.

Суббота, 14 ноября.

Хотя интервалы в дневнике встречаются чаще и чаще, однако, из того не следует, чтоб я занят был какою-нибудь значительною работою. Правда, я сижу дома немало и еще на днях кончил довольно капитальную рецензию сочинений Писемского, но все-таки главные работы лежат не двигаясь. Начало недели было не блистательно, как я писал уже, окончание лучше и насчет здоровья и насчет увеселений. В четверг я имел у себя дома вечерок из самых тихих и милых — были Жуковские, б<аронесса> Вревская и мисс Мери, которая увеселяла нас как нельзя лучше, качаясь в моем кресле и болтая самым грациозным образом. В пятницу я имел свидание с Лизой, пили шампанское, и я довозил ее до Пяти углов[157], а потом проехал к m-me Helénе, где нашел совершенно царство польское: pzor, бржз, пш, и так далее; океан шипящих звуков совсем не в моем вкусе. Но дамы занимались мной и были довольно милы. У Сенковского я забрал книг, большею частию путешествий. На дворе стоит зима парижская, без снегу и грязи, а на Неве уже идет лед. Сегодня поеду к Стремоуховым и буду обедать или у них, либо в клубе.

Защита дендизма. Будьте *львом* по твердости духа, *джентельменом* по безукоризненности нрава, *женоподобным существом* по теплоте и мягкости сердца, высочайшим *денди* по вежливости и приличию обращения.

Среда, 18 ноября.

Сегодни встал в десятом часу, чего давно уж не делал. Едва я продрал глаза, как должен был дать аудиенцию Старчевскому, который поступает в Комиссариатский д<епартамен>т[158] и просил письма к Каменскому. Я думал было написать в письме: «сей человек весьма неисправен в платеже денег». Вообще мне жаль Каменского, на него ляхи совершают решительное нашествие в лице Сенковского, Маевского, Балтазара и так далее — только отбивайся! Приходил старый мой помощник по библиотеке Финляндского полка Макаров.

О прошлых днях, начиная с субботы, которую я провел в клубе, ничего нельзя сказать, чтобы не было сказано прежде. В воскресенье я видел Языкова таким милым, как никогда еще, он острил так отчаянно, бродил на своих коротких ножках так грациозно и после обеда так принял-

ся пить доппель-кюммель, что всех нас очаровал. Вечером мы ездили с Аполлинарием Яковлевичем по доннам, но не видели ничего порядочного.

Когда ведешь журнал, то видишь и однообразие и разнообразие своих дней лучше прежнего. Я человек по натуре своей способный попадать в рутину и составлять привычки; что вне привычки, то уже становится тяжким. Я привык пятницу проводить с Lise, субботу в клубе и у Ахматовой, воскресенье у Панаева и т. д. Поехать в театр или, скорее, посылать за билетом для меня нечто вроде неприятности. А между тем, вполне убитый вечер, как, например, вчера (у Маевского), для меня не ужасен. Нужно переменить место и съездить в Москву.

Остроты Языкова: Общество пос<ещения> бедных, от работ *устав,* сочинило свой устав. Говоря об обеде по случаю бракосочетания Смурова с Елисеевой или, наоборот, он сказал: хозяин, заметив, что не имелось дам высшего круга, велел поскорее достать из лавки *дюшесс* [159]. За это я советовал сослать Языкова на Маркизские острова. Но, вообще, состязаться с ним было невозможно.

Воскресенье, 22 ноября.

Замечательнейшими событиями этой недели были — двойное прощание с Сатиром, которого отправляют с деньгами в Кишинев, прощались с ним у брата на ужине в четверг и у меня на обеде в субботу. Потом petit diner fin * вдвоем у Луи, результатом коего вышло некоторое злоупотребление любви, т. е. невоздержанность, весьма, впрочем, поэтическая. Вчера, наконец, я был на трех вечерах — у Капгера, у Лизаветы Ник<олаевны> и у себя на ужине. Ужинали Жуковские, Капгер, Вревская, без мисс Мери, много смеялись и болтали. Я бы хотел, чтоб мизантропы и угрюмые философы изучили Жуковских, для того, чтоб примириться с родом человеческим. Истинно в этой милой чете соединены все нравственные качества и ни одного недостатка. Еще один вечер я приятно провел с ними и Ольховским, с последним я много говорил о театре,— и тень моей драмы величественно возникла передо мною. О, праздность, праздность! о, петербургская жизнь!

Был у Левицкого и заказал портрет моей донны. Приторговал Крабба и Вордсворта у Киршона. Купил у брил<л>иан<т>щика новейшую цепочку к часам, для донны же. Кончил этюд о Вальтер Скотте с грехом пополам. Погода стоит сырая и теплая, снег не держится. Слухи об общей войне и об удачных делах с турками.

Наконец, я начинаю сердцем убеждаться в необходимости добрых и полезных дел. Почти тридцать лет я прожил на свете, как кажется не бесполезно, трудясь и просвещая публику насколько был в силах,— но, действуя таким образом, я имел в виду только себя самого; если я и делал добро, оно совершалось само собою. Пора возблагодарить бога за многие годы спокойствия и счастья, посвятив себя труду на пользу людей, принявшись за дела деятельного благотворения. Мысль о деревенской жизни и о разумно-благодетельном управлении имением зреет

---

* небольшой изысканный обед *(франц.).*

внутри меня. С нынешнего года 20-й процент моих литературных барышей пойдет на пособия крестьянам в настоящий тяжелый год; о том, как распределить причитающиеся суммы, как употребить их, не поощряя лености и пр., я посоветуюсь с матушкой. На будущий год процент увеличится, а затем на следующий год я или вполне себя посвящу семье, данной нам судьбою, или буду посвящать ей большую часть моего дохода. Лежа в постели ночью, я думал обо всем этом, далеко не в первый раз, а подумать пришлось потому, что на вечере у Л<изаветы> Н<иколаевны> я много говорил о помещиках и добре, которое они могут делать. Карлейль справедливо замечает, что для бога и всей массы людей Наполеон и лорд Абботсфордский равно невелики. Велик тот, кто делает добро в своей сфере. Мы иногда осуждаем издержки правительства, роскошь и т. д., соображая, что деньги можно употребить лучше,— а сами мы, так бойкие на подсматривание чужих ошибок, как ведем себя? Даем ли мы хотя часть наших доходов на людей, их нам доставивших, устраиваем ли мы имения, на которые опирается наше благосостояние? Имея силу на добро, употребляем ли мы в дело эту силу? Мы осуждаем высших, а сами заслуживаем в тысячу раз сильнейшего осуждения. Дай мне бог силы, здоровья, твердости, и я надеюсь показать, что умею ценить благодеяния судьбы, выпавшие на мою долю. За каждую радость моей жизни я отплачу радостью для другого человека, на каждое благодеяние я отвечу делом, может быть, неудачным, но благородным по замыслу. Это не пустые слова, не пустые обещания. Я могу закружиться, на время забыть эти планы, но их частое появление показывает их твердость. Amen.

На днях получил глупейшее письмо от Данилевского (здесь приложенное) и ответил на него вкратце. Еще прилагаю странное письмо от Ольги Ильинишны [160].

Понедельник, 23 ноября.

Вчера весь почти день провел у Некрасова, неожиданно открывши, что то был день его рождения. Он читал мне недавно <написанную> свою сказочку «Филантроп», вещь хорошая, хотя не из лучших его вещей. Я сказал ему, что его талант имеет сродство с Краббом, и по этому случаю вчера принялся рассказывать ему в подробности о духе и содержании краббовой поэзии. (Кстати, у меня скоро будут сочинения Крабба и Вордсворта, а то просто читать нечего — все не по вкусу. Пробовал читать Сл. Левера, такая хлыщеватая офицерщина с претензиею на остроты. Прочел «Castle Rackrent» девицы Эджворт и ее «<Essay on> Irish bulls» *; слабо и слабо, так как может быть слабо дело женское.) Потом я сообщил план моего Данта, сам усиливаясь подстрекнуть себя на работу. К обеду пришли Сократ, Гаевский и Ап<оллинарий> Яковлевич. Незаметным образом я остался и до ужина. Сегодни писал к Персену и Маслову, читал «Путешествие по Тихому Океану», которое недавно взял

* «Замок Рэкрент». «Очерк об абсурдах» *(англ.)*.

у Сенковского («Four Years in the Pacific» *), чтение довольно занимательное, но бесполезное и «для сердца и для разума»[161]. Обедал дома, гулял перед обедом по Острову (встретил Дрентельна, который, кажется мне, помышляет о женитьбе), ел много, спал крепко и проснулся в шесть часов. Вечер оказался совершенно свободным, и я потешил себя, отправившись в русский театр, где не был года три, если не более. Давали «Бедную невесту»[162], «Пансионерку»[163] и «Комедию без названия»[164], и мне удалось, вероятно, благодаря Рашели[165], достать кресло в первом ряду. Я желал увеселяться, знал, что буду увеселяться, и точно увеселялся. Комедия Островского вещь не сценичная, а сверх того, из нее выпущена лучшая часть — эпилог с Дуней[166]. Но несмотря на все это, несмотря на то, что актеры испорчены водевилями, приятно было смотреть. Мартынов лучше всех, хотя немного форсит и представляет Беневоленского пьяницей, но его наружность и некоторые приемы показывают в нем первоклассный талант. Читау очень дурна собой (может быть, еще потому, что похожа на Галиевскую), но и в ней талант немалый, моя любимица Линская прекрасна, но ее роль нехороша, тут уже виноват сам автор. Молодые люди, особенно Мерич, плохи, у Милашина выдавались порядочные минуты. Вообще, в актерах нет умения *вдумываться* в роль, и они страшно испорчены изобилием пустых пиес. Какой славный тип Машиной матери, «сырой, слабой женщины», которая все позабывает, обо всем плачется, и как опошлила его Громова, актриса, по-видимому, неглупая! Вот еще мелочь, которая высказывает многое: горничная Дарья одета в платье чистенько и ведет себя прилично, а между тем, по идее Островского, это должна быть добрая, но шумливая, растрепанная служанка плаксивой барыни, преданная и вечно бранчивая, вечно недовольная и сердитая. В пандан к этой мелочи возьмем другую: в водевиле «Комедия без названия»; лакей — Фалеев, лакей богатого дома, одет, как нищий, и видимо рассчитывает смешить своим нарядом. Вот lieux communs **, на которых можно вывести много заключений. Но нельзя не порадоваться одному: при этой бедности, грязи, пренебрежении, изобилии бездарных пиес, и актеры держатся, и драматические писатели есть. Это отрадно за русское искусство. Каков был бы наш театр, если б его сколько-нибудь облагородить, приголубить и очистить!

В «Комедии без названия» Мартынов плох, и роль его глупа. Актриса Варламова похожа на девицу из заведения, а автор произведения, князь Кугушев (верно сродни князьям Кропоткиным и Мышецким) свинья безусловная. «Пансионерка» тоже очень глупа, и там есть препоганая актриса Орлова, но пиесу оживила хорошенькая Шуберт, о которой я много слышал. Славные глазки, зубки, форма лица несколько сходная с формой лица Варвары Алексеевны, живость, маленький рост,— все это недурно весьма. Вообще, вечер прошел незаметно, и я решился почаще угощать себя русскими спектаклями.

Видел Каменского в антракте. Он не был в своем оперном абонемен-

* «Четыре года в Тихом океане» *(англ.)*.
** общие места *(франц.)*.

те, до того плоха опера Риччи «Il marito e l'amante» *. С будущей субботы, по примеру прошлых лет, назначаю обеденные дни у себя.

Вчера узнал, что у Авдотьи Яковлевны есть дитя, четырех месяцев. Это возможно только в Петербурге,— видеться так часто и не знать, есть ли дети у хозяйки дома!

Среда, 25 нояб<ря>.

Во вторник, Екатеринин день, получил любезное приглашение Катерины Петровны к обеду. Поутру принялся за работу, и написал с лист о последних годах Шеридана[167]. Еще листов 5, и весь этюд окончится, бог с ним! Дрожки мои сломаны, оттого я поехал в безобразной коляске. Заезжал к Киршону, но, увы! неисправный англичанин еще не получил Краббовых сочинений. Оттуда к брату, видел Олиньку, Маша и Саша малы и милы, как всегда. Теперь они в лучшем возрасте — совершенный овес! У Николая Алексеевича нашел небольшое собрание, одна дама величавой бельфамности[168], в куафюрке[169] с цветами, несколько молодых людей: Шидловский, Фридрихс и еще один Давыдов, недавно из Франции приезжий, великий ненавистник Луи Наполеона и прочая. Были Корсаковы со своей малюткой, которая не столько мила, сколько забавна и добра. Никогда не капризничает, не плачет и все старается говорить. Петр Николаевич болен, сидит в натопленной комнате и скучает. У него лихорадка, я так боюсь лихорадок со времени болезни брата Андрея! Но опасаться еще рано, и по всей вероятности тут нет ничего худого. Бедный дедушка Анненков лишился сестры и все плачет, его не было на обеде. Вообще, в их семействе немало горя: сумасшедший Денисьев проматывает состояние, строит дом, palazzo **, откладывая на него по 50 т<ысяч> р. с<еребром> в год, и уже продал тысячу душ, которые должны бы перейти в род Стремоуховых. После обеда и беседы я сказал человеку: «Вели выезжать коляске», а он принял вместо «выезжать» — *уезжать*, и таким образом, состроив каламбур, принудил меня протрястись до дому на гитаре или *пиле*, как гитары иногда именуются.

Оттуда проехал я к Вревской, которая с утра звала меня встретить у нее m-me Бландову (и, вероятно, Mathilde), но ни той, ни другой не оказалось. Побеседовав и поигравши с Машей, я без ужина ушел домой и остаток вечера читал американский журнал актрисы Фанни Кембль (г-жи Ботлер)[170]. Эта женщина, ее слог, ее причуды мне нравятся, я воображаю актрису-поэтиссу милой, стройной персоной, с отличными глазами и маленькими ножками. Если я ошибаюсь, она виновата сама, ибо говорит о себе вроде Джульеты: I looked very nice ***.

Сегодни поутру приехала О. И. Кильдюшевская и подарила мне прелестный коврик, вышитый и обделанный бархатом. Это очень приятно, хотя я и не знаю, чем могу воздать за это внимание.

---

* «Муж и любовник» *(итал.)*.
** дворец *(итал.)*.
*** Я очень мила *(англ.)*.

Четверг, 26 нояб<ря>.

Вчера был счастливый день, или, по крайней мере, я почему-то находился в убеждении, что он счастлив. Ковер, подаренный мне, вероятно сделал первое приятное впечатление. После беседы с О<льгой> И<льинишной> я пошел бродить по Невскому пешком, отнес Левицкому портрет miss Mary, купил издание Фрейлиграта (выписки и отрывки из британских поэтов) и потом купил Крабба там, где не ждал, т. е. у Грефа. Воротясь домой в духе, нашел Дрентельна и обедал с ним вместе. Без меня заходил какой-то Егор Николаич, думаю, что Коведяев. После обеда читал книги, только что купленые, в 1/2 6-го поехал к Луи, пил чай с Lisette. Оттуда к Маевским, где нашел Сократа. Смеялись, показывали фокусы на картах. Домой пришел пешком, ужинал и спал хорошо. Сегодни принялся за изучение Крабба, с наслаждением.

Пятница, 27 нояб<ря>.

Изучение это тянулось все утро, так что я и не гулял до обеда, задержали же меня Григорий с своим киалимским делом и Гаевский, которого я оставил обедать. Обед был хорош и прошел приятно, также и послеобеденная беседа. Жаль, что милый мой Виктор Павлыч любит иногда прикидываться несказанным Дон Жуаном, это одна слабость, в которой я могу его упрекнуть. Вдвоем обдумывали планы «Драм из петербургской жизни» (сегодня я уже написал первую: «Раздумье артиста» и начал вторую: «Опасные соседи») [171]. Вечером прогулялись по Острову, заходили к Александру Михайловичу (сотруднику), где не нашли ничего хорошего. Вечер кончил я, читая Крабба и других поэтов, а перед тем читал газеты и пил ликер в кондитерской. Приехал Григорович, и сегодня вечером будет у меня с Гаевским.

Суббота, 28 н<оября>.

Вечер вчерашний прошел очень приятно в сообществе двух вышепоименованных джентельменов. Григорович очень поправился. Говорили о Шекспире, В. П. Боткине, Борисе Панаеве, Геррике, Прихуновой, Краббе и Ап. Григорьеве! Ужинали, пили мадеру, наливки и разошлись весьма довольные вечером, «покипятившись немного», как выразился Григорович. Условились насчет будущих увеселений и мест, где можно будет видеться. Я, между прочим, не лег спать, а еще читал с час. Сегодни день прошел очень мирно. Были у меня Смирнов, Мейер и Капгер. Обедал у Григорья, дремал после обеда, а вечер патриархально провел у Марьи Сергеевны.

Воскресенье, 29 нояб<ря>.

Турок побили еще два раза — на суше и море [172], сегодни носили по городу отбитые знамена, но я их не видел, узнал же обо всем, заехав к брату перед обедом. Клянусь честью, я не люблю войны и патриот вообще слабый,— но приятно слышать о победе! Я бы хотел, чтоб

со знаменами произошло что-нибудь торжественное, чтоб их носили при страшной пушечной пальбе и колокольном звоне, чтобы на улицах происходила давка, чтоб всякий к ним рвался и теснился поближе! Какой отличный эффект это произвело бы в народе! Наша полиция и военное начальство не имеет духа изящного: какой-нибудь разводишко иногда сопровождается помпой, а ношение отбитых знамен делается невзначай, без приготовлений, без приличной обстановки. Как бы то ни было, известие о победах очень радостно и будет еще радостнее во сто раз, если за ним последует мир. Тогда я обязаюсь проплясать от радости, для самого себя, и миллион народа тоже запляшет от удовольствия. У меня даже в голове составилось нечто вроде гимна (безо всяких корыстных целей):

Пускай раздастся над Невою
Колоколов священный звон,
Несите добытые с бою
Лоскутья вражеских знамен.

(Чтоб пальба происходила страшная и народ кричал, затем:)

Чтоб гром и вопль отважной сечи
Себе представить каждый мог,
Чтоб понял смысл высокой речи:
На начинающего бог!

Затем сцена ношения знамен, их грозный шелест по ветру, соображение о том, как еще недавно окружены они были стройной толпою неприятеля, ныне уже не существующего:

.... снова, снова
Мы видим ряд знамен чужих,
И шепчет радостное слово
По ветру грозный шелест их!

Не для побед и не для боя,
Не для трофеев и знамен,
Во имя общего покоя,
Во имя будущих племен!

Третия строфа — дифирамб против людей, нарушивших наше спокойствие, и угроза дальнейшим попыткам против спокойствия России. Затем опять о том, что в наше время всякий *первым* начавший войну есть враг всего света и что на начинающего бог.

На соблазнителей народа,
На извратителей свободы,
На начинающего бог!

Если б я был Булгариным, как бы я окончил и пустил в ход эти стихи!

Но довольно об этих вещах, не касающихся меня. Вчерашний обед у Панаева украшался присутствием новых лиц: М. П. Боткиной, старой девы не очень приятного вида, Ксеноф<онта> Воробьева и Лихачева Моряка. Были еще Сократ, Гаевский, но Григорович не приехал; потом явился Языков. Обед был беден (увы! ноябрь ныне!), после обеда <...> языком и показывали фокусы. Получил записки от Жемчужникова и Старчевского, приложенные выше[173]. Первое особенно важ-

но, как доказательство того, как безденежье сильно развито в Петербурге. Вот прекрасный и довольно богатый юноша, не имеющий средств целый год отдать мне 25 р. с<еребром> на богоугодное дело[174]. А я-то сам как веду это дело? У меня до сих пор на руках около 60 целковых (номинальных), которыми я еще не распорядился. Так идут дела в городе Петербурге.

Накануне у меня была адская бессонница, и я отсыпался.

Среда, 2 декабря.

Вчера день провел я у Ник. Ал. Стремоухова, почти сплошь в сообществе доброго старого <...> Анненкова, Корсакова и т. д. Более всего говорили о войне и политике, которые начинают уже надоедать. Понедельник весь почти сидел дома, за исключением вечера, проведенного у Савона, в компании Проскурякова и Своева. Опять говорили о войне и политике. Сегодня я на вечере у Лизаветы Николаевны, опять станут говорить о войне и политике. Если в пятницу ma Lisette станет говорить о войне и политике, то значит, на свете ничего нет, кроме войны и политики! К счастию, завтра, в бенефис Бурдина, я буду смотреть комедию «Жених из Ножевой линии», где действуют *Сандараков, Перетычкин* и *Мордоплюев.* Тут уж, кажется, не будет ни войны, ни политики!

В воскресенье приезжал ко мне Ольхин и звал меня к себе сегодни вечером, но я предпочел приглашение Л<изаветы> Н<иколаевны>, тем более, что это день ее рождения.

Четверг, 3 дек<абря>.

Вчера встал ранехонько, в ½ 9-го или еще ранее, затем, чтоб съездить к Ребиндеру. Я умывался со свечой, но когда выехал, уже было светло от белейшего снега, выпавшего эту ночь. В приятном и милом расположении духа я прокатился в карете до Цепного моста, взошел к шоверу[175] юрисконсульту, старому моему сослуживцу и, застав его спящим, проехал на часок к Каменскому. Тот тоже еще дрыхнул; извольте после этого верить «государственным мужам», когда они говорят о раннем вставаньи! Поболтав с К<аменским>, проехал к Ребиндеру вторично и застал его бодрствующим, в славной, но довольно плохо убранной квартире. Старикашка встретил меня ласково и просил доставить записочку о толико надоевшем мне Киалиме. Добрый старый <...>! Отпустив карету у Морского корпуса[176], я прошел пешком в дом Коведяева и не застал его дома. Как странно живет этот человек, истинный циник, и как годится вся его обстановка в повесть! Представьте себе барский дом средней величины, красивый, но обрушившийся и запущенный, большие комнаты с нелощенным паркетом и беднейшей мебелью, огромный образ, похожий на изображение отрубленной головы, прислуга из мужика и кормилицы, а в двух шагах изящная лестница с нишами и статуями! Дома с удовольствием читал лекции Теккерея об английских юмористах[177]. Обедал у нас Дрен-

тельн. У Лизаветы Николаевны нашел я милую Софью Ивановну и еще одну даму средних лет, о которой ничего не могу сказать. Потом явились Никитенко, Сенковский, Гаевский и Мих<аил> Ник<олаевич> из оперы. Беседовали приятно и ужинали не без веселости, по-старому, с венгерским, но все-таки это не был один из старых «афинских» вечеров, на которых тратилось остроумия более, чем на двадцать новых пиес. Над каждым из нас в эти $2^1/_2$ года прошло какое-нибудь горе, волоса начали седеть, и прежний entrain * ослабел! Впрочем, вечер был очень хорош и приятен,— говорили о Рашели, Измайлове, Сергее Глинке, поэме в честь Пассажа и миллион разных несходных между собою предметах, о которых уже не помню.

Сегодня встал поздно, читал Теккерея, гулял и трудился над Шериданом.

Пятница, 4 окт. <декабря>.

Вчерашний день ознаменован представлением первой и последней комедии пьяного провинциального актера Красовского, умершего от холеры, «Жених из Ножевой линии». В цирке нашел я многочисленную публику, рядом со мной сидел Краевский, потом явились Григорович, Ольховский, Данилевский, истасканный Михайлов, Дудышкин, и еще несколько разных физиогномий. Комедия чрезвычайно смешна, отличается же прелестным метким языком, вроде языка лучших вещей Островского, а сверх того, славной игрой актеров. Никогда я не видел, чтоб наши актеры играли так весело, и давно уже театр не доставлял мне такого удовольствия, как этот вечер. Линская в роле торговки, полу-свахи, полу-сводни,— восхитительна. Очень хороши Григорьев 2, Бурдин и Григорьев 1; роль Перетычкина, занятая Марковецким, есть роль несколько неблагодарная. В течение всего 2-го акта я хохотал, как дитя, и веселое настроение духа осталось на всю пиесу. Многое длинно, многое украдено и грязно, кроме того, как, например, финал пиесы, где Мордоплюев, пьяный, ругает свою бывшую невесту и ее родителей, поет и пляшет. Тут есть нечто дикое и неприятно поражающее. Рашель была в театре и рукоплескала Линской. Что ни думай и что ни говори — умная русская комедия во сто крат лучше оперы и французской драмы, или уж я набил себе оскомину на том и другом!

Шуберт, к которой я ощущаю некоторую слабость,— мила по обыкновению, а кроме того, исторгает похвалы своей простой и приятной игрою. Одевается она отлично, но, о ужас! в последнем действии, на сговоре, облеклась в прегнусное желтое платье, подобное желтым платьям, иногда встречающимся в залах благор<одного> танцовального собрания! Пользуясь близостью, я рассмотрел эту донну внимательно, тем более, что она подходила к рампе и, освещенная лампами, будто говорила мне: «ну-ка, погляди и суди!». У ней тонкие, милые и смелые черты лица (Краевский заметил, что она похожа на мальчи-

---

* живость *(франц.)*.

ка), маленький рот и высокий лоб, несколько плоский. Нос отлично выдается вперед, и вообще она не так тоща, как казалась с первого раза. По словам Ольховского, собирающегося нас познакомить, она хорошего поведения. Но у ней четверо детей, говорит Каменский!

Понедельник, 7 дек<абря>.

В субботу утром у меня долго сидели Некрасов и Григорович, а обедали Каменский, брат с женою и Гаевский. Григорович уехал в Царское Село, сопровождаемый проклятиями. Много говорили и смеялись. Получено известие о новом побитии турок князем Бебутовым [178]. Отпустив гостей и не побрившись, я поехал навестить Евфанова, которого думал застать больным в постели. К изумлению, я нашел у него вечер по случаю вчерашней именинницы Варвары,— тестя с тещей и дочерьми, Своева, Дрентельна, Бышевского, еще парголовского доктора и молодого офицера казачка. Я так и оставался в теплом сюртуке, ужинал и смотрел на petits jeux *, впоследствии коих паскудновидного Мартына Павловича заставляли скакать на одной ноге через всю комнату раза по четыре. В воскресенье начал статью о Теккереевых «Юмористах», для «Современника». Вообще, работ накопилось много. Просят продолжать «Письма о журналистике» [179], а мои «Драмы петерб<ург>ской жизни» дали Некрасову мысль об устроении особого отдела «Ералаш». Обедал, как водится, у Панаева, где нашел несколько новых лиц: поэта Фета (верно, un Pro-фета Мейерберова [180] — сказал Языков), коренастого армейского кирасира, говорящего довольно высоким слогом [181], и некоего Арнольда, отчасти хлыщеватого человека, знакомого с Маркевичем. Были еще Сократ, Анненков (которого я люблю, помня, кроме того, его приятное поведение со мной и все добрые отзывы), офицеры и Гамазов, но Гамазов отчего-то не пользуется моим расположением, да как ему и пользоваться,— он (по крайней мере, по наружности) — свинья неоспоримая. Перед обедом Фета вводили в мир парголовских идиллий и поэм, предназначаемых для Карлсруе [182]. Вечер кончил я у Марьи Львовны, а один из ее гостей, юноша довольно противного вида, довез меня до дома на маленьких дрожках, сам сидя чуть не на колесе. Эта заботливость заслуживает похвал.

Кстати, о четверге я и забыл. День был холодный, я поехал к Кильдюшевской в карете, имея на себе пальто. После довольно необыкновенного разговора я пошел по Невскому и так смерз, что должен был, сокращая расстояние, бежать обедать к брату. Оттуда на свидание с Лизой, оттуда домой с головной болью. Лег спать ранехонько. Lise развязалась с французом. Как бы я этому радовался в прошлом году!

Вчера Языков сказал восхитительную остроту о ça plaît **.

---

* игры *(франц.)*.
** это нравится *(франц.)*.

Пятница, 11 дек<абря>.

О том, что происходило до пятницы или, лучше, до четверга, писать не стоит. Из чтения: Крабб, «Юмористы» Теккерея (уже обращаемые в статью), мисс Кембль и пр. Из поездок: обед у брата в среду, у Л<изаветы> Н<иколаевны> в среду же, у m-me Hel<éne> во вторник, где было скучно.

В четверг, немного поработав до часу, проехал на выставку Общества п<осещения> б<едных> для дежурства [183]. Там я нашел все порядочных людей: Очкина, Инсарского (с которым я ближе сошелся), Философова и еще какого-то худого и длинного господина с бакенбардами. Первое дежурство прошло скоро, благодаря беседе, иллюстрированным изданиям (это предупредительность Одоевского), приходу Л<изаветы> Н<иколаевны> и других посетителей. Но посетителей, впрочем, имелось мало, а билетов спущено не более тридцати. От сильного освещения чуть не заболела голова.

Оттуда обедать к Луи с Григорьевым и Lise. Плохой обед, вялая компания, разговоры скучные. Потом пришел Григорович и оживил нас хоть сколько-нибудь. Он просил позволения привезти с собой в субботу истасканного Михайлова.

Суббота, 12 дек<абря>.

Выпадают в жизни дни, обильные неудачами. В эти дни чувствуешь себя желчным, все не клеится, все не по сердцу. Такие дни для меня выдаются рядами. Четверг, пятница, суббота. Нужно переждать эту линию, бороться же с ходом дел невозможно, тем более, что благодаря бога несчастия этих дней не велики. С четверга скучное дежурство, неудавшийся и скверный обед с доннами, головная боль вечером, в пятницу одинокая работа над Теккереем (впрочем, работа шла нехудо), нерегулярный сон, обед в одиночку, вечером мятель и холод, безотрадный вечерок у Фохта с Своевым. В субботу ясный день, но мысли и настроение духа не ясные. Маленькая прогулка и ожидание обеда. Прибыли только Григорович с Михайловым и брат,— ни Гаевский, ни Каменский не пришли, Григорович надоел нам, рассказывая о фарфоре, китайщине, японщине и саксонщине. Истасканный автор «Адам Адамыча» был мил, но поразил всех присутствующих своей наружностью [184]. Вечером прибыла Олинька, а я проехал к Лизавете Николаевне и провел у ней часа полтора, с глазу на глаз, весьма печально. Денег мало, жизнь однообразна, и так далее. Во вторник вечером смотр донн у Михайлова.

Понедельник, 14 дек<абря>.

Дурная линия продолжается. В воскресенье был у Панаева обед, или импровизированный банкет, на котором сошлось человек 20. Сократ с братом, В. А. Милютин, Фет, Григорович, Анненков, Лонгинов, Тургенев (почти вся русская словесность). Тургенев очень мил и приличен, но ему, кажется, сильно хочется играть роль законодателя на русском Парнассе, на что трудно согласиться. Это один из тех членов старой плеяды, которые когда-то остановились на Ж. Санде, художественности,

Париже и русском помещике-звере и с тех пор не двигаются далее. Необходимость ладить с действительностью, покоряться ей и находить в ней прелесть им непонятна. За обедом и после обеда я без нужды зацепил хлыщеватую часть компании, дурно отозвавшись об Арапетове и Милютине, их друзьях. Зачем я это сделал, и сам не знаю, впрочем, о последнем я только сказал, что он не имеет таланту на смешные стихотворения.

Вечером Григорович увлек нас с Сократом в Пассаж, бегал за девочками и уговаривал нас его *окондировать*[185]. Но увы! от неловкого ли сиденья, простуды или чего другого, j'avais un mal assez fort dans un de mes testes *. Ходить было трудно, и оттого расположение духа вышло прегадкое. Вернулся домой, рано лег спать и долго не мог заснуть. Боль не прошла и на утро,— что бы это могло значить?

Вторник, 16 <15> дек<абря>.

Я начинаю видимо *окисляться* от позднего вставанья. В понедельник вечером боль, о которой недавно говорилось, прошла, но я чувствовал себя вяло, гадко, работал без охоты, гулять не ходил по случаю дурной погоды. Утром была Вревская, а вечером явился Данилевский и поднес мне свою книгу «Слобожане». Я перелистовал ее часть и решительно утвердился в том мнении, что Дан<илевский> не так подл и бездарен, как все о нем говорят, даже беседа его мне не противна, хотя я знаю хорошо его босвеллизм[186], его наклонность к сплетням и замечательную способность врать. Но Данилевский есть *характер,* хотя отчасти гнусный, оттого мне с ним веселее, чем, например, со многими моими собратиями по литературе. Отпустив юного поэта, «ученика Гоголева», я писал кой-что о Смоллетте и Гогарте, потом читал Крабба и «Вальполевы похождения в Хили»[187], которых не могу одолеть уже второй месяц. Сегодни не спал часов до трех, встал почти в 11 и, взбешенный кислотою духа, решился во что бы то ни стало вставать ранее. Сегодни обедают у нас Стремоуховы и Корсаковы. С утра я поехал по отличной санной дороге к Старчевскому для получения денег и не застал его (может быть, он спрятался). Завернул в департамент к Каменскому и видел его на минутку. Оттуда к Кильдюшевской, побеседовал с ней немного и получил новое приглашение в Москву. Потом заехал в Академию, чтоб устроить для Тургенева возможность посмотреть на картины Федотова,— но не застал ни секр<етаря> Григоровича, ни Ухтомского. Вообще, все дела идут как-то кисло.

Тем не менее, обед сегоднишний прошел отлично. Все были веселы и расположены смеяться. Дамы шалили, как ребятишки, напились наливки (с супа начиная), играли с котом, бегали по моему кабинету и вообще были милы. Говорили о турке и англичанине, потом я прочел Н<иколаю> А<лексеевичу> несколько стихотворений Лонгинова, «напечатанных в Карлсруе»[188]. Незаметным образом дотянули до 8 часов, тогда все разъехались, а Корсаков довез меня до дома Любомирского, где живет истасканный поэт «Адам Адамыча»[189]. По престранной лестнице

* была довольно сильная боль в одном из моих <...> *(франц.).*

взобрался я в чистенькую квартиру, где, кроме хозяина и немецкого литератора Видемана или Виберга [190] (занимающегося, между прочим, переводом моих повестей «для Германии»), нашел еще трех донн — панну Анелю, недурную собой особу, панну Софию, с которой я познакомился у Юзи (зри октябрь м<еся>ц) и еще русскую девицу, как-то прикосновенную к театру, Александру Николаевну, лицом своим напомнившую мне прошлогоднюю С. К этой последней донне я не без удовольствия пристроился. Явился Григорович, с фарфоровых заводов, с двумя китайскими вазами в руках, весь промерзший. Пошли анекдоты, жженка, пение, представление комедий и водевилей. Григорович врезался в Анелю. Дома очутился я в час и ужинал дома. На вечере участвовал еще уланский поэт Гербель, с которым я познакомился еще прошлого года, человек, как кажется, тихий и добропорядочный. Вообще, увеселение оказалось сносным, насколько может быть сносно увеселение такой полузнакомой и разнохарактерной компании.

Четверг, 18 <17> дек<абря>.

Окисление продолжается. То не разбудят, то сам не встанешь, продрыхнешь до половины одиннадцатого и потом ходишь как приговоренный к смерти до самого обеда. Среды утро прошло так, что и сказать о нем ничего невозможно, знаю только, что было холодно и что снегу нанесены целые горы на улицу. Писал какую-то чертовщину о лекциях Теккерея, вяло, сухо и холодно. Обедал у Панаева, en petit comite * (что очень приятно), с Фетом, истасканным Михайловым и новым цензором Бекетовым, человеком очень милым, не имеющим ничего цензорского и свирепого. От него узнал я, что с Булгариным произошла история за фельетон о новой таксе извозчиков [191], а с Старчевским за обруганные «Пропилеи» [192]. После обеда явился Тургенев, которого я еще видел перед обедом, с Лонгиновым. Читали очень милую вещь Фета «Днепр в половодье» и другую, «Гораций и Лидия» [193]. Но что за нелепый детина сам Фет! Что за допотопные понятия из старых журналов, что за восторги по поводу Санда, Гюго и Бенедиктова, что за охота говорить и говорить ерунду! В один из прошлых разов он объявил, что готов, командуя брандером, поджечь всю Англию и с радостью погибнуть! «Из чего ты орешь!» — хотел я сказать ему на это.

Тургенев был мил так, как я его еще никогда не видал. Мне почти совестно, что я до сих пор с ним сух и даже не облобызал его по возвращении. В нем есть милая черта — откровенность, помогающая ему сходиться с людьми, чего у меня нет. Рассказывали скандалезные анекдотцы, события деревенские, говорили о Поль де-Коке, доннах, сельском управлении и Рашели. Разъехались около 8 часов. Дома застал я Жуковского с печальными известиями о здоровье Натальи Дмитриевны. Тик ее мучит нещадно,— что из этого выйдет? Слышал забавный анекдот о *ликерной конфетке* и припас его для субботы и воскресенья.

---

* в тесном кругу *(франц.)*.

Суббота, 20 <19> дек<абря>.

В четверг встал ранее обыкновенного, немного поработал, получил от Г<алиев>ской глупейшее письмо о пишущем столе и манускрипты [194]. Холод неслыханный. Проехал на выставку, ибо то был мой день,— там застал Криштафовича (при раздаче билетов) и некоего Казнакова, юношу средних лет с какой-то дубовой, коренастой и неприятной наружностью. Почти никто не являлся брать билеты; роздано их было штук 30. Потом на минуту приехал Инсарский, который мне нравится. Но Казнаков мне не нравится вовсе. Зажгли лампы, и народу стало являться несколько более. Дождавшись $3^3/_4$ часов, я вышел на улицу, к удивлению моему, без головной боли. Обедал у Дюссо, дорого и не совсем хорошо, но все лучше, чем у Луи, который неописанная свинья. Со мной сидел Арапетов, и мы довольно много беседовали. Дендизм сокрушает этого человека, но он довольно забавен и даже, я думаю, добр. Но сходиться с ним можно только faute de mieux *. Оттуда к Лизе на ее квартиру, где я никогда не был. Квартира неизящна, хотя в ней много хороших вещей, мебели, есть часы и канделабры. Видел ее тетку и Марью Федоровну, которой пора бы умереть. Оттуда мы поехали, proh pudor! ** к Новому мосту [195]. Вернулся домой довольно поздно, от усталости не мог читать, но голова не болела.

Пятницу провел я в трудах, с небольшой зубной болью, вечером ездил в полк, видел Савона, Мейера, Смирнова и Александра Семеновича, который второй месяц уже в лихорадке. Кажется, что он себя расстроил ужасно.

Сделаем по вчерашнему совету моего портного расчет моим доходам за этот месяц и приблизительно расходам.

		Расход.	
Октябрь. Получено от Некрасова	— 150	Уплата Гр<игорию?>	— 100
от Старчевского	— 200	— М.	— 75
Ноябрь. От Некр<асова>	— 50	— Лангу — 70 или 95, не помню.	
Декабрь. От Старчевского	— 125,35	20 проц.	— 25
		L<isette?> — 40, да 25, да мел<очью?>	— 25
		Пелю	— 13
Всего 560 р. сер.		Около 400	

Стало быть, на menus plaisirs *** вышло около 150 в три м<еся>ца, менее чем в три. Постараемся припомнить, куда.

Дагерротипы — 7. Обеды пол.— 10. Увеселения — 15. Подарки — 10. Вино — 10. Книги и театры — 10.

Вот сколько ушло между рук, рублям 100 следов не отыскивается.

* за неимением лучшего (*франц.*).
** о, стыд! (*лат.*).
*** мелкие удовольствия (*франц.*).

Баланс.

Янв<арь>. От Некрасова пол<учено>	—400	600
Старчевск<ого>	—200	
Долги:		
брату	— 75	в запасе за В. Скотта.
за освещение пол<овина?>	— 25	
за Ванновск<ого> обед	— 10	уже уплачено.
Лангу	— 25	
Каменскому	— 50	
Федотовские	— 50	
Непредвиденные	— 15	
	— 250	

Понедельник, 21 дек<абря>.

В субботу — обед у меня. Дрентельн, Григорович, брат, Михайлов (подаривший мне очень милую свою идиллическую повесть «Святки» [196]) и Каменский. Пили бургонское и madère sercial, рекомендованную мне Раулем. Михайлов оказал весь приапизм [197] своей натуры — чуть заговорили о доннах,— он за шляпу и навострил лыжи. Каменский спал после обеда, Григорович был не очень мил. Вечер у Ахматовой. Я был в духе, видел там Гаевского. Говорили о Галиевской, о Никитенкином вечере, о Гр. Данилевском, за которого я заступался. Л<изавета> Н<иколаевна> совсем похерила ужины, это очень не хорошо,— недурно то, что у меня всегда есть ужин дома. В будущий вторник обедаем с доннами, а в четверг фестен у Краевского. Капгер женится!

В воскресенье обедал у Панаева. Сократ, Фет (этот драгун нестерпим со своими высшими взглядами!), офицеры Панаевы, Лизавета Яковлевна. Я смешил публику, рассказывая о конфетах с ликером. Часов в 7 Сократ пропал, и я вознамерился его накрыть. Я ушел, побродил в Пассаже, тщетно выискивая хорошенькое личико в толпе, наконец в 9 часов очутился у Маевских. Смотрю, Сократ там и покраснел ужасно. Я подсмеивался над ним, рисовал плевелов и совершенно нечаянно сделал схожий портрет Панаева. Дамы любезны, как обыкновенно.— Н. мне опять стала немножко нравиться. Ругали m-me Сенковскую, без этого я жить не могу. Ушел опять без ужина, ужинал дома и ужинал скверно.

Некрасов, дождавшись 21 числа, вдруг взвалил на меня «Письма Иногор<однего> подп<исчи>ка»! «Не диво написать о книге, прочитав ее,— вот напиши о ней не читавши!» [198]. Замечу, кстати, мое суеверие: сегодни понедельник, и я не хочу начинать новой работы. Сегодни поутру писал письма к Персену и Обольянинову. Вчера заезжал я к брату, видел там Своева (его посылают в Москву), детей застал здоровыми, а Олиньку с преужасным флюсом.

Четверг, 24 дек<абря>.

Ай! какой пропуск, и еще пропуск дней, не лишенных интереса. «Письмо Иногород<не>го под<писчи>ка» отняло у меня время, но я кончил его сегодни утром, не утомляя себя и не отказываясь от увеселений. Вче-

ра вечер провели у Маевских с Воробьевым, сегодни зван на елку к Краевскому, но, кажется, не поеду, по случаю холода и еще того, что новый фрак не готов.

Интерес этих дней заключается в романе, который у меня завязывается с хорошенькой Шуберт. Вероятно, что роман обойдется без развязки, но это не беда. В понедельник вечером я сидел в русском театре и видел ее в глупом водевиле «Амишка»[199]. Она показалась мне похуделою, но все-таки милою. (By the bye * — балет «Крестьянская свадьба»[200] наполнил душу мою сладкими помышлениями, а Паркачева, к которой пылает Каменский, лицо замечательное. Представьте себе полную, свежую черноволосую вакханку с немного заспанными глазами и как-то особенно веселой, размашистой улыбкой.) Кроме «Амишки», шли водевили «Мотя»[201], «Чудак Покойник»[202] и «Зачем иные люди женятся»[203]. Я сидел в первом ряду, посреди хамов неслыханных. Знакомых оказалось в театре всего один, Толстой, преображ<ен>ский. Как бы то ни было, этот спектакль оживил во мне воспоминание о Шуберт.

Во вторник произошла штука, обнаруживающая то, что прежде называли симпатиею сердец. Я заехал по условию к Григоровичу, для того чтоб познакомиться с Стефановой и ехать на обед с доннами,— но не застал никого. Оттуда к Лизе и с ней к Михайлову. Пока мы, голодные (из донн явились Полина, у Мин<ны> Ант<оновны>, и еще одна, но уехали без обеда), ждали Григоровича, пришел актер Бурдин, человек, как известно, талантливый, но отчасти хамоватый. Узнав мою фамилию, Б<урдин> объявляет, что одна из театральных дам восхищена мною и даже зовет меня *душкой*! (fi, quel ton! **). Оказывается, что такое лестное название дано мне хорошенькой Шуберт. Вдруг оказывается, что и Михайлов видит Шуберт каждую субботу. Итак, Бурдин передаст ей, что я желаю написать для ней пиесу, а Михайлов пригласит ее в воскресенье в маскарад и познакомит со мною.

Обедали во вторн<ик> у Луи втроем, Григорович пришел после обеда. Я проводил Лизу, она переоделась, и мы двинулись опять к Михайлову чай пить. Туда еще явился какой-то малоизвестный литератор Толбин, нечто вроде Смирнова, преданный пианству и погоне за девками. От несчетного числа папирос, выкуренных Григоровичем, у меня разболелась голова и глаза стало щипать. Отныне Григоровичу будет воспрещено курить более 3 папирос в вечер.

Суббота, 26 дек<абря>.

Против ожидания, провел дома весь четверг, за исключением утреннего визита Вревской (для поднесения браслета мисс Мери на елку) и езды на Невский, для покупки себе новой шляпы. К обеду пришел Дрентельн, и мы втроем ели постный, но вкусный обед. Херес, купленный чрез Жуковского в таможне, оказался отличным. Я самопроизвольно не поехал дежурить по выставке, а оттого успел покончить свой фельетончик. Когда мы отобедали и засели в гостиной, толкуя про полковые и другие

---

* между прочим *(англ.)*.
** фи, какой тон! *(франц.)*.

новости, между прочим, о женитьбе Капгера, вторгнулся к нам сам жених, от хлопот и счастия сделавшийся с рожи похожим на теплую калошу с собачьей опушкой. Пошли поздравления, обыкновенные жениховские возгласы и т. д. Вот что Капгер дарит на елку своей невесте: *стул, стол, этажерку!* ковер, серебряный сервиз, крест и золотую цепь, браслет, мантилию и еще что-то. Мне было завидно его счастию. Что за странная моя жизнь! Посреди женщин и часто любящих меня женщин — без идеи о браке, без прочной привязанности, даже почти без способности привязаться к женщине! Не счастливее ли меня Капгер с своей вечно пылающей душой и нелепо-влюбчивой, доброй натурой? Ему кривобокая plain girl * кажется ангелом! А мне разве не нравились донны-дурняшки? Но Капгер, украшая действительность, украшает ее *вполне,* сходит с ума, восторгается! Он истинно счастлив, и дай бог ему счастия.

Вечер, против ожидания, я сидел дома, не взирая на то, что у Краевского пылала елка, пела m-me Лагранж, Григорович и К^0 увеселяли публику. Сидел же я дома по многим причинам. Во-первых, лошади уже ходили дважды, во-вторых, было холодно, в-третьих, я до сих пор, по остатку старых грехов и по близорукости, не люблю *один* въезжать в большое собрание в малознакомом доме. Сверх всего этого, мой новый фрак не готов. Итак, читал Крабба, подводил к концу записки мисс Кембль, где есть много дельного о театре, наелся рыбы и грибов, лег спать и спал отлично.

Утро Рождества прошло в одинокой работе и в чтении Фильдинговой «Амалии». Нельзя сказать, чтоб героиня с перебитым носом меня очень заинтересовала, но изложение превосходно. Обедал дома, к семи часам был у Марьи Львовны на елке. Присутствовали кн. Волконский, Ал. Вас., француз Дулье, Луиза Ивановна (немножко подурневшая) с сыном и мужем. Публика не представляла ничего привлекательного; дети были гораздо лучше, особенно Саша, милый, кроткий, слабенький ребенок. За ужином пили шампанское и бомбардировали *Крокодила*, представляя Синопское сражение. Домой ехали по страшному морозу долго-долго. Окна кареты замерзли, и я тщетно напрягал зрение, стараясь узнать, где мы. Только на Английской набережной я узнал места. Ложась спать, получил милое письмо от Ливенцова, уже два раза дравшегося с туркой. Славный, умный, храбрый, любезный человек этот Ливенцов!

Воскресенье, 27 дек<абря>.

Только что вчера встал и успел позаняться дневником, Краббом и Фильдингом, как начались посещения и тянулись до ночи, так что я лег спать тотчас же после ужина и ухода гостей. Вот список гостям.

Трефорт, мой милейший <...>, недавно приехавший из деревни, во фраке и с крестами (сверх фрака пальто, а сверх пальто шуба), Василий Николаевич Семевский, тоже недавно явившийся в Петербург. Гусар Иван очень плох. *Щербатский* и Фет, который, как известно, прикомандирован к уланам е<го> в<еличества> Гаевский и Михайлов, Григорий брат, а вечером Жуковские и Э. Капгер.

* простая девочка *(англ.)*.

Трефорт и Сем<евский> уехали без обеда, Фет тоже. Обед прошел довольно весело. Послеобеденная беседа незаметно перешла в вечер, но Щербатский, Мих<айлов> и Гаевский уехали. Неисправность Каменского насчет суббот начинает меня бесить, он действительно ударяется в чиновничество. Что его привлекает к разным служебным хамам, его угощающим? Льстят ли они ему или ему так хочется играть в карты? Вообще, это не хорошо, я бы для обеда с Каменским отказался от многих приглашений.

Щербатский поправился и похорошел. Он совершенное дитя, робкое и странное. Кто мог бы вообразить себе это, видав нас обоих лет 11 назад! Оба мы обещали нечто совсем иное. Я был истинно рад его видеть и видеть здоровым, ибо в свой последний приезд он глядел чахоточным. Трефорту я тоже рад был ужасно.

Вот она — петербургская жизнь, вот корень мерзости, сплина и недовольства! Всех лиц, которых я вчера видел, я люблю несомненно, люблю очень, а многих из них чрезвычайно. А между тем, вот что вышло: с Трефортом я не мог иметь получаса хорошего разговора, с Щербатским не был наедине ни минуты. К Жуковским вышел я утомленный, а Капгер даже меня злил. Когда он с обычной своей нелепостью объявил, что *весь город* говорит о его свадьбе, я возразил очень сухо: *город велик!* и пр. За что я возмутил его мечты? Всего дружнее и умнее имели мы разговор с Гаевским и Михайловым о литературе, о прошлых днях, то есть я был мил для тех именно людей, которых и без того вижу в неделю раза по три! Все эти друзья мешали друг другу. Живи же я на свободе,— я посвятил бы один день Трефорту и Щербатскому, как бы мы вспоминали года детства, старую службу и деревню! Другой вечер я провел бы с Ал. Вас., его женой и еще кем-нибудь третьим, Фета принял бы отдельно и наконец узнал бы, каков его перевод Горация. Неужели эта лихорадочная быстрота разговора, торопливость, толпа — составляют прелесть городской жизни? Черт бы их взял совсем!

Понедельник, 28 дек<абря>.

Утром в воскресенье по неимению других работ и по отвычке от работ капитальных, писал дневник, читал Краббовы «Tales of the Hall» *. Я думаю, что Крабб будет моим последним трудом по части монографий, пора подумать о романах, драмах и т. д. Часов в 12 зашел Сергей Дмитрич, которого я был очень рад видеть. Рассказывал он свою жизнь в драгунском штабе, жизнью этой он недоволен. Часа в три приехал старичок почтамский священник, а я уехал к Панаеву. К обеду явились Тургенев, Григорович, Гаевский, Ап<оллинарий> Яковлевич, Лихачев, юный, похожий на парикмахерскую вывеску и кто еще? — Василий Петрович Боткин, с коим мы облобызались трижды, невзирая на то, что Васинька, сбривши свои усы (вероятно, для придания себе благонравного вида), оказался весьма некрасивым. Сперва разговор не отличался особой веселостью (хотя в числе гостей был и Языков), но когда мы уда-

---

* «Повести усадьбы» *(англ.)*.

лились в кабинет Ивана Ивановича, Григорович пустился всех увеселять неслыханным образом. Я молчал и хохотал, а вообще чувствовал себя немного пьяным, выпивши после двух вин еще стакан пива. Григорович говорил часа два почти не умолкая — о доннах, о похождении в Москве с Боткиным, о Михайлове, о dépravation * и несколько раз повергал нас в пароксизм хохота. Особенно удался ему рассказ о развратной старухе в Париже. Гости, собиравшиеся к Рашели, до того дохохотались, что поехали в театр часом позже. Видя их отъезд, Гр<игорович> жалобно возопил: «Как же я поеду домой? что я буду делать дома? Я лучше готов ехать в трактир и спросить себе бутылку пива!». Услыхав эти горестные слова, я предложил ему ехать к Марье Петровне (зри октябрь), и, сев в мои сани, мы понеслись стрелой по жестокому морозу. Месяца почти не было видно за изморозью, но весь город залит был его светом, так что мы совершили путь отлично. М<ария> П<етровна>, как и следует ожидать, привела моего товарища в восторг, оказалось, что он ее видал прежде — и где же? — у затасканного Михайлова! Михайлов и вновь Михайлов. Машинька мне так пришлась по вкусу, что я вздумал было спровадить Григоровича, но плохое состояние моих финансов меня удержало. D'ailleurs elle a le sein tout déformé — le sein à part, elle est admirablement faite **. От нее к Михайлову, условиться насчет бала в среду. На мою долю пришлись две бутылки сен-пере.

С Тургеневым мы окончательно сошлись, чему я рад очень. У него обед в четверг (не в среду ли) в 5 часов. В четверг бал у Краевского, но я не поеду, там пляшут и сидят до 4-го часа — два обстоятельства, мне немилые. Во вторник Гаевский звал к себе на семейный вечер, но я едва ли поеду. Удерживаясь всеми способами, я все-таки веду жизнь слишком не по себе,— что вышло бы если б я являлся на все эти приглашения?

Вторник, 29 декабря.

Так как я большей частью пишу дневник по утрам, то писанное всегда относится к вчерашнему дню. Таким образом, под фирмою вторника рассказывается о понедельнике, и т. д.

В понедельник провел время «как следует», по мнению многих, «проводить время *в праздники»,* то есть бестолково, шумливо и пустовато. Едучи к Щербатскому, по условиям, завернул к В. П. Боткину и застал его лежащим в постеле и с жалобами на боль в спине, от простуды. Каким образом человек может простудить себе спину — этого я не понимаю. Взаимные любезности задержали меня так, что я опоздал к Щ<ербатскому> и заставил всю компанию (Фета, Трефорта и хозяина) себя дожидаться. До Дюссо дошли пешком, причем мой сосед чуть не потерял перчаток, а в своей подлой шубе и теплой шапке представил из себя любопытное зрелище. Обед был недурен, и это время прошло весело в тихой беседе, школьных и деревенских воспоминаниях и т. д. Я уехал домой и выспался перед маскарадом.

---

* развращенности, испорченности *(франц.).*

** К тому же, у нее, опавшая грудь, но, не касаясь этого, в остальном она великолепно сложена *(франц.).*

В то самое время, когда я пил чай, явился ко мне Данилевский и привез альбом Степанова, имея в виду доставление мне удовольствия. За это я ему очень благодарен. В альбоме очень хороша история Булгарина, особенно Булгарина младенца. Причесавшись и видя, что до бала остается время, заехал к Ахматовой и провел часок с ней и с Гаевским. Оттуда в маскарад, видел тьму народа знакомого, масок или, скорее, *мазок* встречал немало, но интересного ровнехонько ничего не произошло. Михайлов и друг его Бурдэнь большей частью ходили в презренном одиночестве, так что вера моя в их посредничество по части Шуберт начала слабеть. В шуме и тумане, кажется, мелькнуло личико Julie — увы! увы! hélas! hélas! oime! *. Мужа ее я по крайней мере различил с ясностью, ходящего одиноким. Несмотря на увещания братьев Кирилиных и одной донны, Юлиньки, я не остался ужинать и уехал в $2^{1}/_{2}$ часа. Результат маскарада=0, результат весьма мне известный, к сожалению!

Из лиц особенно интересных встретился с Альбединским, получил от него миллион дружеских уверений, приглашение к себе и, наконец, просьбу о позволении приехать ко мне. Товарищ юных лет мне всегда дорог, хотя я уверен, что Альбединский произведет большой disparate ** в круге моих знакомых. Впрочем, мы не сойдемся очень близко, а только будем любезны друг к другу, долг вежливости того требует. А сверх того я еще скажу то, что Альбединский мне нравится и всегда нравился. Во мне самом есть элемент Альбединского,— только обстоятельства жизни, воспитание и моя жизнь не дали ему хода. Я люблю умных и даже хитрых, но притом гордых людей, которые лезут вперед, давят толпу, продираются на первые места и радуются тому, что они первые. У них во всем глаз, расчет, сознание своей силы, энергия умственная. Они не будут хлыщами и фатами, ибо сознают бесполезность этого и сверх того всегда хотят большего, стало быть, не имеют должной доли глупого самодовольствия. Альбединский будет стоять высоко и стоит этого. В его сапоге больше ума, чем во всей первой Гвардейской кирасирской дивизии.

Четверг, 31 дек<абря>. 11 часов вечера.

Трудно сказать что-нибудь интересное о последних двух днях 1853 года. С одной стороны, они были шумны и веселы, с другой — утомительно однообразны. В среду начались посещения с самых 12 часов утра, были А. В. Жуковский, Вревская, а потом Ю. Толстой, весьма меня обрадовавший. Он несколько поправился с лица. Обедал я у Григория с женихом Капгером, пили шампанское, брат говорил Капгеру, что, не имея по крайней мере 6 т<ысяч> р. с<еребром> в год с женою,— он будет в нищете; это так сконфузило бедного жениха, что он прибегнул ко мне за утешением, и я его утешил, что не мешало мне, отяжелев после обеда, лежать в полуобмороке и пыхтеть. Этот феномен отяжеления стоит того, чтоб о нем подумать и посоветоваться. До сих пор мой желудок своею

* увы! увы! горе мне! *(франц., греч.).*
** диссонанс *(франц.).*

деревенскою натурой меня спасал и поддерживал, но он же может погубить меня.

Вечер у Михайлова, с Фетом, Григоровичем, казанским профессором Буличем (очень скромным и приличным юношей), Лизой, Полковницей и Пашей. Шумели, смеялись, пили, ели котлеты и рябчики, говорили о поэзии и скандальных историях, увеселение тянулось почти до трех часов,— но, со всем тем, я не был очень доволен. Мне хотелось иных интересов и иных увеселений. Я набил себе оскомину на гризетках и «кликах юности безумной» [204]. С вечера Григорович и Михайлов, имея в карманах менее полтинника, уехали на бал, увлекши с собой и профессора, но я наотрез отказался им сопутствовать. У Григоровича запретили невиннейшую повесть [205],— опять terror, опять позорные нелепости! Но он сносит неудачу бодро и весело. В пятницу бал у Паши (на той неделе).

Сегодни я встал поздно, видел Наталью Дмитриевну, проехал на выставку и провел время довольно приятно в сообществе отставного преображенского Казина (товарища Симанского, Реннекамфа и пр.), наружностью немножко сходного с Казнаковым, но несравненно порядочнейшего. Потом ко мне на выставку же зашел Щербатский, и мы, закрыв заседание в $3^{1}/_{2}$ часа, пошли вдвоем обедать у Луи. Обед вышел сносен, не пили ничего, кроме эля и хересу, говорили о старине, потом я уехал и лег спать. К чаю приехали Григорий с Олинькой, явился поп и отслужил молебен. Брат уехал, и я остался один дома, к Краевскому не хочется ехать. Сижу в кабинете, solus *, ни в скучном, ни в веселом расположении духа, а сейчас возьму Крабба и, читая его, встречу новый

1854 год.

<1854 г.>

января 1.

Английский судья, говоривший обо всем — могло б быть и хуже! — был истинно умный человек. Что сказать о прошлом 1853 годе? Мог бы он быть гораздо лучше, а мог бы пройти и несравненно хуже. Ешь, пей, спи, веселись, будь порядочным человеком и не рассчитывай на что-нибудь великолепное впереди. А прийдет оно само — тем приятнее. Опускаю руку и беру свой билет на жизненную loterie-tombola **.

1 января.

Лежа в постели, между $12^{1}/_{2}$ и $1^{1}/_{2}$ часами, обдумал план невинной маленькой повести, основанной на оскорбленном женском самолюбии. Юный помещик, человек очень хороший, приехавши в свое имение, вдруг делается львом всего края и начинает «играть женщинами», подобно Печорину. Одна девушка, которую он особенно оскорбил, встретив дурно ее приязнь, приносит большие жертвы затем, чтоб отплатить за себя.

---

* один (*лат.*).

** лотерею (*франц., итал.*).

Пользуясь несомненной к себе любовью юноши, она раздражает страсть до последних крайностей и ведет своего жениха чрез целый ряд рабских нелепостей. Только наконец, когда его терпение истощено и юноша приходит в чистое отчаяние, героиня объясняет ему причины своих странностей и, победивши врага, сама просит у него прощения.

Отныне, ложась спать, я буду обдумывать планы повестей и рассказов в ужасающем количестве, затем чтоб приучить свою фантазию к работе и находчивости.

От часу до 4 были: Дрентельн, Головнин, Ортенберги 1 и 2, Корсаков, Григорий, Каменский, Евфанов, Трефорт, Золотов, Львов, Шмиты 1 и 2, Н. А. Блок и Иван Ганецкий. Слухи в городе об окончательном разрыве с Францией и Англией,— говорят, что на днях будет манифест.

Весь день чувствовал себя кислым, спал после обеда, зато потом работал усердно, а в постели обдумал план небольшого рассказа «Старый дом», скорее замечательного по обстановке, чем по интриге. Тут главное лицо — ветхий и зловещий дом, так сильно поражавший меня во время моих островских прогулок. В повести действует скряга, ростовщик еврейского происхождения, хорошенькая девушка, его воспитанница, ее любовник и сам рассказчик, юный Ловлас, которого к концу истории надувают со всех сторон.

Перед обедом заезжали Трефорт и П. Н. Стремоухов. Проводивши их, я проехал к Николаю Алексеичу, застал все семейство в сборе (кроме Корсаковых) и с неизбежными речами о политике. «На каком-то вечере все бегали от лорда Сеймура, как от чумы»,— на эту тему я импровизировал, говоря, что подобный поступок невежлив, тем более, что не лорд Сеймур объявляет нам войну. Оттуда к Ольхиной, где видел Армфельдта с хорошенькой какой-то донной. У Тургенева я нашел Фета, Григоровича, Видерта и помещика Лаврова, плешивого отставного кирасира. Между литераторами очень редки разговоры об искусстве (впрочем, это оттого, что большая их часть не смыслит ни аза в этом деле), но к чести Тургенева нужно сказать, что он любит искусство и говорит о нем дельно. Рассуждали о Гете, гр. Сальяс, Бальзаке и так далее. Обед был хорош, хотя и прост. Квартира у Т<ургенева> преподлая, с мебелью, но с холодом и чадом. Разошлись довольные беседой, я с Григоровичем проехал к себе, где застал брата с женой, Головнину и Жуковскую. Потом явились Вревская, miss Mary, Михайлов и Капгер. Григорович простудился и скоро уехал; я боюсь, чтоб ему не захворать шибко. Вечерок, особенно ужин, удались отлично. Спал чрезвычайно хорошо всю ночь.

4 января, понед<ельник>.

Вчера поутру хотел было работать, но увы! Едва раскрыл Теккерея, явился Ланг, за ним Н. А. Блок, имеющий до меня просьбу. (На этом месте прервал меня Боткин, с которым я, побеседовав, проехал к Маслову в дом Замятнина на Дворцовой набережной. Там мы пили кофе, говорили о войне и доннах. От Маслова я проехал к этому самому Бло-

ку, о котором здесь говорится, видел его довольно миленькую жену. Обедал сегодни дома, был у Лизы, а вечер покончил дома за работой — вот и весь понедельник.) Блок желает поступить в Осьмино [206], если Маслов тому не противится, а я вызвался узнать его мнение по этому случаю. *Странный разговор о картинах.* После Блока приезжал П. Н. Стремоухов, говорили о литературных трудах, и я обещался содействовать ему всеми средствами. Так как Григорович в субботу оказался очень больным, то я заехал его проведать, но, по обыкновению, хозяина и след простыл. Зато я его встретил у Панаева, где собрались: Краснокутский, Сократ, Апол<линарий> Як<овлевич>, Фет, Гаевский и московский или, скорее, костромской литератор Потехин, юноша довольно красивый, но очень неловкий. За обедом Григорович рассказывал о своих соседях и о помещике, который вообразил себя черкесом (историю, накануне слышанную от брата). После обеда пришли Языков и Тургенев, а Потехин стал читать комедию Иванова «Терпи, казак». Комедия оказалась слаба и неудобна по цензуре, но одно лицо — барышня Раида, бессознательно удалась автору. Это неслыханная стерьва, стерьва по воспитанию и среде, в которой она обращается,— но, впрочем, благонравная и добрая девочка. Тургенев мне все более и более нравится: у него ум — необыкновенный ум, сверх того также чутье, способность к анализу, уменье хорошо подступиться ко всякой вещи. Вслед за тем Фет прочел свою вещь «Пчелы» [207], какую-то грезу в майский день при виде пчел, вползающих в цветы. Никогда сладострастное влияние весны не было передано лучше, стихотворение всех нас обворожило. Затем Тургенев прочел мне многие мне неизвестные вещи Фета. Потом мы пили здоровье Аркадия Панаева, который, состоя при кн. Меншикове, отправляется к нему в Севастополь. Незаметно досиделись до ночи, и я не успел, по прежнему предположению, заехать к Марье Львовне.

Новая такса на извощиков производит в городе бесконечные толки, а на улицах смятение, а в полиции расправы. Что до меня, я держусь старого порядка, и не имею духа платить бедному, смиренному ваньке по гривеннику. Я думаю, подобных мне нежных сердец много, и ваньки получают с них обильную жатву.

Но война поглотила даже толки о таксе. Что-то будет! что-то будет!

5 янв<аря>, вторник.

Как-то недавно, едучи в санях с Григоровичем и потом беседуя с Боткиным, мы открыли ту великую истину, что русские литераторы, во-первых, очень хорошие люди, а во-вторых, живут между собой в примерном или, скорее, беспримерном согласии. Действительно, между нами недавно было так много крошечных недоразумений и миниатюрных споров и сплетен, распускаемых людьми враждебными посреди нашего круга, что мы не шутя были убеждены в нашей неуживчивости и зловредности. Чуть мы сошлись поближе и приучились глядеть снисходительнее на собратий и рассчитывать на снисходительность с их стороны,— туман рассеялся и мы увидели друг друга в свете весьма

привлекательном. Пусть это согласие и благородное настроение продолжаются долго!

Получена 1-я книжка «Современника» в зеленой обертке: мне почти жаль прежней бледнолиловой, воспоминания о которой тесно связаны с первым временем моей (как надеюсь, не бесполезной) деятельности. Как в прежнее время интересовали меня эти светлолиловые книжки! Пересмотрел свои вещи: фельетон недурен, а по направлению очень хорош, Теккерей сносен, Шеридан плох. Повесть Тургенева «Два приятеля» читается с удовольствием, есть выходки хорошие, но вся вещь как-то робка, бледна, а характеры неясны. Нет! Тургеневу нужно бы быть критиком и историком словесности. Авдотья Яковлевна в прологе своего нового романа [208] громит львов и фатов: какой контраст с январем 1852 г. и началом «Львов в провинции» [209]! Я за это ей благодарен. Стихи есть хорошие; боюсь за Музу Некрасова [210], да и Гаевский [?] [211].

6 янв<аря>, среда.

Два дни скучных и почти грустных, хотя сегоднишний оживлен был неожиданным обедом у меня с Каменским и прибывшим Сатиром, а вчерашний — двумя меланхолическими вечерами у Сенковских и у Лизаветы Николаевны. Двух вещей недостает мне: прочной привязанности и правильного труда. В возможности первой я начинаю отчаиваться, хотя и не жалуюсь: «Могло бы быть и хуже» — говорил достойный судья. Труд дело другое,— но я тружусь так же, как живу: не без удовольствия, но без всякого азарта. Но труд все еще ничего: ежели судить относительно — я тружусь довольно много и довольно дельно. Мне хочется привязанности, способной расшевелить мою натуру, взбаламутить ее и помочь выйти наверх всему тому, что кроется на дне моей души. Если не ошибаюсь, там есть кое-что порядочное. А впрочем это корыстная цель. Я скорее ищу привязанности для того, чтоб не проводить вперед двух таких гнусно-скучных вечеров, как сегоднишний и вчерашний.

Суббота, 9 янв<аря>.

Дни нездоровья, не совсем окончившиеся и сегодни, ибо я встал с какой-то леностью и ненормальным расслаблением. В среду, когда я сидел один и читал фильдингова «Andrews» [212] (между прочим, я кончил эту вещь и весьма ей доволен), явились Каменский с Сатиром, уже несколько дней как вернувшимся из своей поездки. Сатирово путешествие не могло назваться счастливым: он схватил на пути воспаление легких и много дней находился в опасности; впрочем, по его настоящему виду нельзя сделать никакого печального заключения. Мы отобедали дома, выпили s-t peray и разошлись часов в 8, я прошел пешком в полк, где не видал никого, кроме Савона и Александра Семеныча, уже обросшего бородой и в постоянной лихорадке. Простудил ли я себя этим переходом или холодным вином, или деяниями предыдущих дней,— только наутро четверга проснулся с расстройством желудка. Несмотря на то,

обедали у Григорья, где были Каменский, Сатир, Григорович, А. П. Головнина и заика. За обедом я ел хорошо и пил шампанское, а через два часа должен был принимать капли. В пятницу наутро проснулся с новой болью, которая возобновилась после обеда, хотя и не ел ничего. Таким образом я лишил себя: в четверг вечера у Краевского и маскарада, а в пятницу — собрания приятелей у Паши (впрочем, являлся Михайлов и сообщил, что сказанный вечер отлагается).

Умственные занятия в эти дни были не совсем ничтожны. Я откопал в своих бумагах все начатые повести, числом около 10, и выбрал из них две маленькие, к которым придумал окончание. Это, во-1) Путевой рассказ о городе Н. и о скучнейшей усадьбе, 2) Жених и невеста, то есть история энтузиаста и девицы, испорченной светскою жизнью. Но все еще работа идет как-то вяло.

Из Турции пришло известие о кровопролитном деле Б<а>умгартена (Кирилин называл его *факелом*) и отбитии у турок 6 орудий. Но потеря ужасна,— если это правда, то убито одних офицеров до 40, в том числе 4 гвардейских[213]. Жив ли мой добрый, милый Ванновский? Мне почему-то кажется, что ему досталось в этом деле, впрочем, то следствие моей любви к нему; то же думал я о Ливенцове, по получении известия о подвигах и потерях его полка. Опять начинают поговаривать о спокойном решении войны, без Франции и Англии.

В четверг утро провел на выставке, где видел Казина (достойного уважения за его скандалезность), Криштафовича и Инсарского. Билетов роздали штук пять, и погода стояла адская. Обедали у Григорья, как сказано. В пятницу вечер у Паши не состоялся, чему я очень рад. Вечер субботы прошел с непривычки сидеть дома, отчаянно скучно, такой скуки я давно не запомню.

Вторник, 12 янв<аря>.

Все эти дни не мог привести желудка в порядок, принимал капли и порошки, унывал духом, сидел покинутый почти целым светом, однако читал и трудился, обдумывая и двигая вперед несколько повестей разом. Приапизм немало одолевал меня в моем одиночестве. Вообще, об этих печальных днях нельзя многого сказать.

Четверг, 14 янв<аря>.

Попривыкнув к дому и водворив порядок в работах, скучать перестал. Во вторник ездил к Лизе, и то был мой единственный выезд. Она меня смешила, рассказывая о непотребствах Михайлова, который в пятницу, получив 100 целковых, ухлопал их в один день, напился с Бурдиным и вел себя непотребно. В среду явился и сам Михайлов, весь зеленый, приезжала еще Вревская, так что утро прошло приятно. Одно худо, что я окисляюсь от долгого спанья. Вечером думал ехать к Маевским, но, узнав что у меня будет Тургенев, остался и провел с ним вечер очень приятно. Тургенев отличный человек, но немножко чересчур умен, его разговор есть гастрономия своего рода. Или он хотел быть особенно умным для меня, только его беседа несколько напо-

минает лучшие вещи Верди — хорошо, но не просто. В пятницу я обедаю у него.

Фельетон двигается, «Вражда и Любовь» дошла до 4-й главы, начало «Приключений мертвеца» отправил к Краевскому. Как-то обедал у меня Дрентельн и сообщил о Капгере смешные, но вместе с тем печальные сведения.

Пятница, 15 янв<аря>.

Я очень рад, что вчера вечером съездил к Краевскому на его четверг. Публики было не очень много, но все большей частью люди, которых приятно видеть. Фет, Тургенев, Гаевский, Михайлов (с которым мы и прибыли), Дудышкин, Корш, Левицкий с женой и давно не виданный В. Зотов с супругой. Были еще лица менее знакомые, между прочим московский мудрец Грановский с женой. Нос этого мудреца сильно посинел, а лысина расширилась с тех пор, как мы с ним виделись во время моей ожесточенной борьбы с московскими пророками. Много времени прошло с той поры, не бесславного для меня времени, смею думать. Левицкий, сидевший за ужином возле меня, восхищался апостольскою наружностью Грановского и говорил мне: «Вот звезда первой величины». П... первой величины,— хотел я ответить. Положим, что Гр<ановский> умен, добр, но я не вижу причины, почему ему быть авторитетом и повелителем. Литературная деятельность его ничтожна. Более я ничего не знаю и знать не хочу. В. Зотов более сделал для словесности, чем Грановский[214]. Ох, эта Москва и дипломы на звание мудреца! Играл в бильярд с Тургеневым и Дудышкиным, проиграл две партии, Лизавета Яковлевна была весьма любезна, Краевский равномерно. Ужинали вовремя, и в начале второго я уже находился дома. Видел Григоровича на короткое время. Дамы были недурны, но если б пошло на торг, ни за одну не дал бы я и пяти целковых.

Суббота, 16 янв<аря>.

Наконец удалось встать пораньше (в пятницу, тоже и сегодни). Со всем тем вчерашнее утро прошло не совсем плодотворно: кончил только письмо о журналах[215], не читал же, кажется, ничего. В третьем часу сел в сани и поехал с Острова по снегу, истершемуся в песок и оттого получившему couleur feuille morte*, весьма неприятную глазу. Прежде всего выполнил свое намерение насчет Альбединского, заехал в казармы Конного полка и, не застав его дома, оставил записочку. Теперь я отплатил за любезность любезностью, дальнейшая дружба от него зависит,— с этими *какао* нельзя действовать иначе. От Альб<единского> к Панаеву, где нашел Фета, Анненкова, Грановского и Кетчера, веселого господина с непотребнейшими московскими манерами. Фет прочел две своих вещи: «В парке»[216] и «В саду», первое великолепно. Некрасов плох и опять начал хрипеть. В четыре часа пошел к Тургеневу, обедали с нами Краевский и Видерт, к которому я не-

* окраску опавшей листвы (*франц.*).

множко приставал, подшучивая над Германиею и его отзывами (будущими) о русских писателях. У Видерта такая добродушно-немецкая рожа, что его вечно хочется щипать и поддразнивать. Обед был недурен, но прислуга Тургенева до того избалована, небрежна и неопрятна, что в моей рюмке и в стакане оказалось по нескольку тараканчиков. И это у такого хорошего, изящного человека! Не кроется ли тут своего тайного смысла о том, что «тургеневское направление» не совсем применимо к русскому человеку. Я ничего не пил и хорошо поступил. После обеда явился Панаев,— оба редактора, нечаянно встретясь, вели себя, как поссорившиеся пажи в старое время[217], как, например, я с К-м. Фет начал переделывать на немецкий мое «Подражание Данту», повергавшее его в восторг.

Проводив гостей, мы поехали с Тургеневым к Лизе, дорогой беседуя о Лонгинове, Герцене и о прочем. Донна приняла нас, одевшись в шелковое платьице gris de perle * и оправив свои волосы с косой, обвитой вокруг головы. Она была очень мила и произвела должное впечатление. Напившись чаю, Тург<енев> поехал к Одоевскому, кажется, для столописания, я же остался у Лизы часа до двенадцатого.

Тургенев смотрел черты на моей руке и сказал следующую вещь, которой первая часть поразительно верна: *«У вас счастие зависит от ровного характера. Ровен ли у вас он?* (Я отвечал: «не всегда», ибо мой характер есть *мое* создание). Вы проживете не очень долго, однако ж не мало. Будете счастливы или, скорее, не будете несчастливы». Все это ужасно похоже на то, чего я могу ждать и <на> то, что со мною уж есть.

Хорошая жена есть такая роскошь, для которой можно отказаться от многих излишеств.

Воскресенье, 17 янв<аря>.

Вчерашнее утро прошло в незначительной работе: чуть я начинаю выезжать и принимать гостей, мое вдохновение пресекается. Часа в три явились Григорович, Фет, Каменский и брат с Олинькой. Хорошо, что некоторые из моих друзей не пришли: в столовой было тесно, и я, пожалуй, мог сказать им, как вчера Тургенев двум его друзьям: «Надеюсь, господа, что вы у меня не обедаете?». Фет был весьма мил, читал свои стихи и начало «Подражания Данту», где, между прочим, рифмуют codex и podex **,— мысль весьма счастливая. Каменский был очарован «Пчелами» и «Голубем»[218]. Фет очень сносен в дамском обществе, он не конфузится, говорит довольно много и не требует, чтоб его занимали. Но героем дня, конечно, был Григорович, он смешил нас вплоть до 7 часов, когда приехали Жуковские. Чтоб не было накурено в гостиной, я увел мужчин в кабинет, и там-то автор «Деревни» покрыл себя неувядаемою славою, представляя Каратыгина и совер-

---

* жемчужного цвета *(франц.)*.
** кодекс... зад *(лат.)*.

шая описание живописного путешествия по черным лестницам, где стоят кадки с серой водой, по которой плавают рыбий пузырь, яичная скорлупа и угли (вероятно, из самовара). К девяти часам Гр<игорович> и Фет уехали. На время приезжали Смирнова с дочерью, но ужинали только мы вшестером и доврались до того, что Наталья Дмитриевна коснулась заутрени и Calendrier des vieillards *. Являлся Каппер, кислый и нелепый,— его теща будущая чуть не умерла от воспаления. Холера увеличивается в городе. Ждут ответа на нашу ноту из Англии и Франции. 37 чужих кораблей стоят в Черном море, между ними 6 турецких. Это уж очень подло,— но я все-таки желал бы мира и спокойствия.

Вторник, 19 янв<аря>.

В воскресенье не произошло ничего порядочного, но день нескучно прошел. Обедал у Панаева с Фетом, Тургеневым, Григоровичем, Анненковым, Языковым, Краснокутским и давно невиданным Лонгиновым. Были еще Кетчер, новое лицо Ушинский и Лизав<ета> Яковлевна. От великого изобилия гостей в беседе не имелось согласия, Григорович же, сидевший около меня, жаловался на мигрень. После обеда замечательны были рассказы Григор<овича> и Лонгинова о театральном чернокнижии, особенно врезался мне в память вечер у Леонидова, где у одного гостя разодрали рот, другого топтали сапогами и т. д. Когда часть гостей, испуганная такими делами, обратилась в бегство, хозяин пошел догонять их в одной рубашке, по морозу. Se non e vero, e ben trovato **. По части чернокнижия весьма недурны «Досуги Козьмы Пруткова», нелепое творение братьев Жемчужниковых и Толстого. От Панаева...

Понедельник, 25 янв<аря>.

Работа шла из рук вон плохо, или лучше сказать, вовсе не шла: написал строки три, побродил по своему кабинету и, не зная что делать, пошел обедать к Н. П. Евфанову. Там мы обедали с ним, его братом и приезжим медиком Быстровым, недавно назначенным в действующую армию начальником всех подвижных госпиталей. Этот господин — чучело порядочное. За обедом разговор шел довольно чернокнижный: сравнивали Рашель с лейб-медиком Мандтом,— черт знает что такое? Впрочем, утро прошло недурно, вечер тоже. Я поехал в оперу и достал кресло в 5 ряду. Давали мою незабвенную «Сомнамбулу» [219], в которой каждая нота влечет за собой миллион воспоминаний. Может быть, я один из всего народа, наполнявшего залу, видел и слышал де Лагранж в первый раз. Как певица, она не произвела на меня сильного впечатления, как женщина, она мне очень понравилась, особенно en face ***, профиль у ней как-то угловат. Какая-то сидевшая воз-

* Календаря стариков *(франц.)*.
** Если это и неправда, то хорошо придумано *(итал.)*.
*** прямо *(франц.)*.

ле меня в бенуаре хорошенькая дама все время глядела на меня так пристально, что я почти повержен был в конфузию. Сперва я вообразил себе, что это Аннонсиада, которой лицо я уже успел забыть, но то была Челищева, персона решительно мне неизвестная. Вероятно, тут какое-нибудь сходство физиогномии. Видел Н<иколая> Алексеича, Строганова, Каменского, брата, Анненкова, Пальчикова, Сергея Дмитрича, Долгорукова, Обрескова, Акимова, Милютина Н. А. и разных других особ. Кончился спектакль рано, и я, не зная куда деваться, ибо был небрит, проехал домой и лег спать рано. Утро стояло солнечное, и мои пешеходные прогулки произошли с приятностью. Что за миленькая актриса играла Лизу в «Сомнамбуле»,— кажется, то была m-me Тальяфико. Толстенькая, беленькая коротконожка, со вздернутым веселым носиком. В ложах мало было хорошеньких дам. У Лагранж очень приятный взгляд и улыбка. Черт знает! хоть бы влюбиться в какую-нибудь певицу!

Вторник, 26 янв<аря>.

Еще день гнусного праздношатания, впрочем, не совсем бесплодного для ума и сердца. Частных дел накопилось много, и я пустился их распутывать, начиная с двух часов. Заехал к юрисконсульту и передал ему киалимскую записку,— добрый старикашка принял меня как нельзя любезнее. От него по снегу и ветру чуть не за 8 верст к Лонгинову, в Бассейную, по делу Коведяева. Лонгинова не застал, но записку с комментарием оставил. Потом к Григоровичу и, о чудо! застал его дома, за работой, на столе стояли язык и вино. Показывались мне по этому случаю новые покупки: un bahut *, китайские чашки и мумия из камня, за которую я не дам и гроша. Обедал у брата, дети нас утешали. Вечером проехал к Михайлову, по условию, не нашел у него никого и думал уже уехать, когда явились сперва Григорович, потом Кони, действительно похожий на склянку с касторовым маслом, и Бурдень. Кони великий говорун, говорит недурно и, вообще, менее гнусен, нежели я его себе воображал,— обычное дело со всеми людьми. Кони держал речь о французских театрах, о науке эффектов, об обстановке, и так как это был его задушевный предмет, то говорил нехудо, хотя длинно. В разгаре беседы пришло известие о том, что Марья Емельяновна *(Мери)* имянинница и просит всех нас к себе. Григорович вздрогнул, подобно боевому коню, и мы все поехали к Большому Театру в дом Штенгера. Оказывается, что М<арья> Е<мельяновна> имеет фамилию Полынцовой и родная сестра известной Л. Е<мельяновны>. Компания имянинницы была не совсем блестяща: один казак, один юноша, одна старуха и еще Анеля, которая мне почти понравилась. Но было невесело, выпив две бутылки шампанского, мы ушли и заключили вечер, шатаясь по разным Эльдорадо. Вопрос о Шуберт снова принимает некоторое движение.

---

* сундучок *(франц.)*.

Пятница, 29 янв<аря>.

Солнце светит, дни становятся длиннее, весна близится, и моя кратковременная, но обычная весенняя хандра делает ко мне подступы. Сегодни я проснулся слабым и грустным. Боже мой, если б мне теперь дали тишины, зелени, берег моря, небольшое число добрых друзей et une femme pour aimer *. Хотя этот вопль души очень сантиментален, но надо признаться, предыдущие два дни были не совсем сантиментальны. В среду я обедал дома один и вечер провел у Сенковских, где дамы были как нельзя любезнее, и потом в маскараде. Это последнее увеселение прошло недурно, знакомых и масок оказывалось много, некоторые из сих последних меня интересовали, особенно одна маленькая дама с веером, в которой я подозреваю... но кого, не умею сказать. Из мужчин видел Дурново, об остальных, кроме Тургенева и Каменского, вспоминать не стоит. Панаев и Мухортов были весьма хлыщеваты.

Утром в четверг я чувствовал себя бодрым, несмотря на геморроидальное расстройство желудка. Le lendemain du bal masque ** и даже печальный процесс возвращения из маскарада не принесли с собой знакомого мне уныния. Утром был у меня Гаевский, он опять страдает биением сердца и даже лежал в постели. В 7 часов явился по приглашению Григорович, и мы, запасшись окороком, ростбифом, пикулями и оливками, пустились на давно жданный вечерок у Паши. Там нашли мы одну хозяйку, потом прибыл Николай Семенович и за ним другие гости и гостьи. Толстая Лиза, Соничка (бывшая царицей вечера), Надинька (которую я где-то видел), Прасковья Яковлевна, девица уже не первой юности, еще какая-то донна и позже всех Марья Петровна. Явился еще Серапин, в котором я нахожу большое сходство с Густавом Каппером. За сим на все происходившее опускается завеса. Вечер был очень мил, хотя Григорович не мог с нами ужинать. Я не пил и не ел почти ничего.

Вторник, 2 февр<аля>.

Несколько приключений и увеселений, не лишенных интереса. Пятницу я хворал и надел на грудь клеенку; отвыкши сидеть дома, скучал весь день, ибо читать было нечего. В субботу обедали у нас Сатир, Дрентельн, Своев, брат с женой, Григорович и Михайлов. Григорович купил для брата картину Брёгеля, а мне статуэтку, но статуэтка оказалась плоха. Много шумели, смеялись и спорили, особенно с Сатиром, на этот день преисполненным духа противоречия. В воскресенье по обыкновению у Панаева societé peu nombreuse, mais bien choisis ***, Тургенев, Григорович, Фет, Анненков, Лонгинов и т. д. К вечеру беседа о чернокнижии была охлаждена приходом Милютина (В.) и Арапетова. Вечер кончил у Лизы. L'amour s'en va encore une fois ****. В понедельник великолеп-

* и женщину, которую мог бы любить *(франц.)*.
** На другой день после маскарада *(франц.)*.
*** общество малочисленное, но хорошо подобранное *(франц.)*.
**** Любовь еще раз уходит *(франц.)*.

ный обед у Тургенева вшестером с тремя лоретками — танцы, пение, представление акробатических штук, вечер кончил у Лизаветы Николаевны с Гаевским. С канальей Старчевским произвел нечто вроде шкандала, за сто целковых, но это один предлог. Мерзкая душа этого мелкого подлеца вызвала меня на дерзость и горькие истины. Сегодни отправил ему письмо, где высказываю всю его гнусность, а вечером поеду к Сенковскому, чтоб совещаться о мерах для ведения дел помимо этого отвратительного создания, сборища всех презренных пороков и гадостей.

Видел эти дни много разного народа: Коведяева, М. Н. Корсакову, Л. Д. Стремоухову, бар. Вревскую, Машу, усатого любовника Марьи Петровны, панну Зосю, Языкова, Лизавету Яковлевну и т. д.

Среда, 3 февр<аля>.

Если б я был очень велик и очень силен, я б с особенным удовольствием посвящал бы несколько часов дня на казнь (только не смертную) разных мерзавцов. Мало наслаждений выше того наслаждения, какое мы испытываем, делая зло злому человеку, вводя скрягу в расходы, унижая гордеца, позоря фата, и так далее. Самый дурной и порочный изо всех людей, мною когда-либо встреченных, был Малиновский: впечатление, оставленное им во мне, до того сильно, что я способен сейчас поехать за сто верст, для того чтоб как-нибудь предать его в руки злой судьбе. Старчевский тоже очень гадок, но он имеет в себе нечто жалкое и презренное, так что делать ему зло не очень весело. Во вторник я начал переговоры об устранении его от дел со мною, а сегодни послал Маевскому письмо по этому поводу. Любопытно будет узнать, как примет это Сенковский. Утро вторника прошло почти все в приеме визитов: были Семевские, Пальчиков, брат с женой. M-me Sophie очень бледна и желта, но глаза!.. Василий Арсеньич глуп, как пуп,— и к тому же черти его дернули завести спор о Рашели, о трагедии, кончившийся тем, что «Жуковский перевел Илиаду, а Гнедич Одиссею»[220]. Хорошо, что Софья Александровна не совсем сведуща сама по этой части; однако, если не ошибаюсь, она в течение беседы немного страдала за своего супруга. Пальчиков остался обедать, говорили о лицеистах 12 курса[221], после обеда я его заставил рассказать кой-что о войске и о доннах Парижа и Лондона. Начало вечера я чувствовал себя кислым, но потом ожил понемногу. С 9 до 12 просидел у m-me Héléne, где нашел доброго Сократа и других обычных лиц. Рисовали портреты друг друга, смеялись и не скучали. Домой проехал по неслыханной метели. Увы! увы! сегодни предстоит вечер у Ольхиных — на Фурштатской[222], и такой вечер, на который должно ехать хотя бы полумертвым!

Четверг, 4 февр<аля>.

Вчера был день праздности непотребной! Si l'enfer est pavé de bonnes intentions» *[223], моего материала так много, много! Утром почитал «Аме-

* Если ад вымощен добрыми намерениями *(франц.)*.

лию» Фильдинга, которая мне понадоела изрядно, приелся также и Крабб. Приезд старой нашей знакомой М. К. Клименки помешал мне заниматься, к великому моему удовольствию. Побеседовали с нею,— она предлагает нанять у ней в доме большую квартиру, но просит дорого. Видно, то был день квартир: вместе с Григорием поехал в дом Дайнези, а оттуда в дом моего старого товарища Илиньки Ростовцева, тоже глядели квартиры. Самого Ростовцева мы встретили у подъезда, с «Современником» под мышкой; он нас водил по бельэтажу. Его еще легко узнать, хотя, по выражению брата, моль его порядочно подъела. Оттуда обедать к Григорию, дети были милы удивительно, особенно Маша. Выспавшись и напившись чаю, проехал на Фурштадтскую. Любезностям не имелось числа, гостей было не очень много. Ужинали в гостиной, близ спальни хозяйки: я, Наталья Сергеевна и Миша Ростовцов, кирасирский. Подсмеивались над страстью Н<атальи> С<ергеевны> к Тургеневу, затем я ее подвез весьма скромно в Галерную, а сам домой, спать.

Суббота, 6 февр<аля>.

Если верить российским литераторам, в высшей петербургской публике возрождается страсть к русской словесности. Самые высокие особы читают наши журналы, интересуются их ходом и досадуют на неуместную придирчивость цензуры. Дай бог им за это всякого счастия. Насчет русской литературы я какой-то герой любви и преданности. Я согласен на многие пожертвования, лишь бы она цвела и пользовалась общим почетом. Теперь-то и надо нам вести себя благородно, чтить достоинство писателя и платить благодарностью за сочувствие публики. Так как я живу в тиши и вдали, то еще лично не видел проявлений этого сочувствия, но оно должно существовать и теперь ему время высказаться. А то несомненно, что мы стоим сочувствия и внимания. Даже как частные люди, многие из наших товарищей заткнут за пояс любезнейших людей остального круга. Где, хотел бы я знать,— можно встретить рассказчика и весельчака милее Григоровича, доброго дилетанта лучше Тургенева, наконец, даже хлыща, которому бы прощалось от души более, чем от души прощается Панаеву? Нас всех портили, злили, воздвигали друг против друга, избаловывали, топтали в грязь,— и мы все-таки остались порядочными людьми. Выдержи-ка другой кружок людей то, что мы выдержали!

Это предисловие ведет к тому, что вечер четверга у Краевского прошел очень приятно, хотя, по-видимому, без особых признаков веселия. Видел там Дудышкина и играл с ним в бильярд, Фета, Рубинштейна (хлыщ), Левицкого, Струговщикова, Тургенева (который приносил мне великую благодарность за Lisette), Гаевского. Смеялись, играли в пирамиду (при игре в бильярд Григорович представляет нечто единственное в своем роде), ужинали, пили шампанское и беседовали. Из лиц более чуждых, имелись Алфераки, Мундт, Геннади и еще два или три загадочных индивидуума. Пятницу провел я странным образом: сперва у Прасковьи Ивановны, потом у А. П. Евфанова с Бышевским и Банна-

ни-фон-дер-Кейтом, потом шатаясь по разным заведениям и сам не зная для чего шатаясь.

Понедельник, 8 февр<аля>.

С утра гости, все дамы: К. П. Стремоухова и М. Н. Корсакова, Ольга Иван<овна> Ор-чь и бар. Вревская, а ко мне Lisette, огорченная тем, что я ее не видал с прошлого понедельника. Потом Григорий, с которым боже упаси иметь какие-нибудь серьезные дела, вроде киалимского. Теперь ему надо, чтоб блажиевская старуха сделала кой-какие распоряжения по делу о перезалоге нашего имения, и он гонит меня к ней на почтовых. Нечего делать, предвидя результат заранее, я проехал к Аничкину мосту, пробрался в бедную квартиру с вонью и запыленными картинами, нашел старуху в состоянии идиотизма и уехал ни с чем, только на стенах видел две прелестные картины: Мадонну и мальчика,— того самого, что срисован Кипренским для Эрмитажа. Это может быть дублет, но никак не простая копия. Оттуда к Тургеневу и не застал его. Дома буду обедать, в вечеру предстоит опера и, может быть, маскарад. Суббота и воскресенье прошли шумно и хлопотливо, но не без примеси сплина и нездоровья. В субботу обедали у меня обычные посетители с прибавлением Гаевского, за столом спорили о политике и коснулись черт знает каких утонченных вопросов. Ужинать остались только брат с женою. В воскресенье, едва продрав глаза, двинулся в оперу на бенефис Риччи, «Пророка» уже не застал, но слышал сцены из «Нормы», с этой безобразной Медори, сцены из «Вильгельма Телля», отличные, из «Зора̀» (то есть «Моисея») нечто похожее на ржание разъяренных лошадей и второй акт «Севильского цирюльника», где Лагранж перещеголяла самих птиц, но не тронула меня ни на грош[224]. Обедал у Панаева с Григоровичем (еще приобревшим себе картину), Гаевским, Лизаветой Яковлевной и Бекетовым. После обеда долго беседовал с дамами и, напившись чаю, направился к Сенковскому по делу. У Маевской застал неотразимого Сократа на одном диване с нею — grand bien leurs fasse! * Цель моя состояла в беседе с Сенковским о денежных делах. Проку из этой беседы извлек мало, а только убедился в совершенной неспособности Сенк<овского> по этой части. Однако он обещал прислать ко мне Печаткина, заведывающего хозяйственными сношениями журнала. Посмотрим, что-то из всего этого выйдет?

Скучен и душен становится Петербург. Хотя бы какая-нибудь перемена! Что выходит изо всей этой суматохи! К чему ведут меня эти разъезды, хлопоты, визиты, обеды и спектакли? Только что не скучаю, но сплин грозит по временам. Я так мало читал все это время и читал такую дрянь, что совестно о ней говорить. В «Современнике» хороши стихи Фета и кой-что в «Библиографии» и в «Смеси»[225]. Роман Авдотьи Яковлевны я отправляю к Стиксу[226], статья Н. М. о Гоголе верх сухости[227]. Из старого прочел наконец chef d'oeuvre ** Михайлова «Адам Адамыч» и остался им недоволен.

* на здоровье! *(франц.)*.
** шедевр *(франц.)*.

Среда, 10 февр<аля>.

Вчера имел свиданье с S., у которой увы! <...> Вследствие этого я в некоторых трансах и буду трепетать за свое благосостояние еще несколько дней. Вечер кончил у Лизаветы Николаевны с Гаевским. А сегодня поутру вдруг получаю, здесь прилагаемое, письмо от Сенковского[228], без сомнения произошедшее от сплетен Старчевского. Надо отдать справедливость Осипу Ивановичу, он мастер писать письма — кажется, какой чертовщины тут ни насказано! Есть и колкости и просто невежливости, а между тем, я прочел его не рассердясь и ответил хотя с достоинством, но кротко и также вежливо. Впрочем, то печальное и истрепанное положение, в котором Сенковский находится, много вело к обузданию моего гнева — извольте гневаться на эту хворую, всеми покинутую развалину! Нет ничего грустнее, как затмение ума и таланта. Когда-то грозный барон Брамбеус — ныне игрушка глупого книгопродавца и дрянного полячишки![229] Helàs! helàs! * то же будет и с нами, может быть! Итак, придется покончить с «Библиотекой», причем мне, конечно, не заплатят рублей двухсот, но по крайней мере за эти деньги я приобретаю себе спокойствие. Во всем этом есть свой небольшой, хотя и довольно мизерный интерес.

Понедельник прошел шумно и бестолково. С утра гости, обедали у нас Дрентельн и Ольга Ивановна, после обеда, полежав немного, я отправился в оперу. Давали один акт «Зорà», не произведший на меня особенного впечатления, затем последний акт «Лукреции»[230], нечто вроде рвотного порошка. Это глупое il segreto per esse felice ** мутит мою душу. Ноден умирал так, что публика хохотала. Но увертюра и третий акт «Вильгельма Телля» (на берегу озера) повергли меня в некоторое восхищение. Тамберлик очарователен, Де-Бассини и Дидо, певшие с ним, очень хороши. Однако мейерберовское dieu le veut, dieu l'ordonne *** мне более по вкусу. Видел много разного рода; Каменский, между прочим, увлекал меня в маскарад, однако я удержался.

Четверг, 11 февр<аля>.

Как бы ни окончились мои частные проделки с литературным Бедламом, т. е. редакцией «Библиотеки для чтения», главный пункт выигран. Сегодни, когда я, отобедав втроем с моей родительницей и Э. Каппером, дрыхнул на своем диване, явился «честный Беккер» и принес мне 214 р. с<еребром>, за что и получил два целковых. Прияв сию манну, я воспрянул духом, и сплин мой меня покинул, и мало того, мне стало как будто жаль Старчевского и совестно за мой *грубый нрав!* Если после этого у меня не голубиное сердце, то я уже ничего сказать не могу! Сегодни ночью, вернувшись от Краевского, получаю второе письмо от Сенковского с новыми нотациями и просьбой «прекратить наш спор»! К этому он добавляет, что моего письма не распечатал[231].

* Увы! увы! *(франц.).*
** секрет быть счастливым *(итал.).*
*** бог это хочет, бог велит *(франц.).*

Если б я имел талант карикатуриста, какую бы сценку нарисовал бы я из этого. Представьте себе, что какой-то господин, вообразивши в потемках, что сосед его наступил ему на ногу, начинает ругаться изо всей силы. Сосед, пораженный удивлением, отвечает ему вежливо, но коротко и резко. Тогда разъяренный господин, вдруг утихая почти совсем, величественно говорит ему: Прекратим наш спор! Совершенно таковы же теперь отношения Сенковского ко мне. Спор прекратить я готов и записку оставлю без ответа, но сближаться с человеком, способным попусту яриться, я более не намерен.

Воскресенье, 14 февр<аля>.

Все дни эти прошли приятно, и я чувствовал себя здоровым. Общий приятный колорит на мое расположение духа набросил счастливый результат моего свидания с S. (или, скорее, *отсутствие дурного результата*). Насчет S. я был в среду у Никанора Петровича и услыхал, что <...> у женщины, особенно порядочной, не могут произвести заразы. Однако, я более не друг почтенной донне! В четверг вечером заехал к Михайлову на новую квартиру, взял его с собою, положил в сани для себя «Reisebilder» *[232] и «Tableau de Paris» Mercier **[233], а потом покатили к Краевскому, по ветру и непогоде. По обыкновению у Андрея Ал<ександровича> было весело; — добродушная Лизавета Яковлевна, Григорович, Мей, Станкевич, муж m-me Lagrange, хлыщ или нечто хуже хлыща, бильярдный джентльмен. Из новых были Аполлон Майков с отцом, старающимся походить на Ван Дика, и матерью, довольно стервозной по виду[234]. Игра в пирамиду шла вяло, ибо Григорович был чем-то озабочен.

Перехожу к пятнице. Перед обедом я сидел в гостиной с братом, когда вдруг докладывают о приезде Ахматова. Я ожидал увидеть брата Лизаветы Ник<олаевны>, вошел в кабинет и вдруг узрел кого же,— Ивана Федоров<ича> Ахма<то>ва, моего кисловодского приятеля и сожителя! Я был выше меры рад, оставил его обедать и беседовал с ним от всего сердца, с великим удовольствием. Моя кавказская поездка возникла передо мною — и Филимонов, и Тиньков, и Гаршин, и Топорнин, и Julie, и Марья Мардарьевна, иначе зовомая Мандарьевной, и грузинка Катя, и Ливенцов! Проводив гостя часов в 6, я полежал немного, и вечер кончился сперва у Lisette, потом у Вревской, где видел людей милых, а именно: А. Н. Вульфа и юного Алешу Шенейха. Имелись еще Саша Вревский и Траскина. Ужинал с удовольствием.

В субботу были у нас Дрент<ельн>, Своев, брат с женой, Григорович, а вечером Евфимия Никитишна. Утром ездил к Левицкому брать портрет Лизы, но он не удался, и его будут перерисовывать.

---

* «Путевые картины» *(нем.)*.
** «Картина Парижа», Мерсье *(франц.)*.

19—21 февраля.

На масленой в пятницу 1 утра, перед отъездом на блины.

Уследить за масленицей невозможно, plantons du moins les jalons *, чтоб потом припомнить.

Воскресенье, 14 февр<аля>. Утренние визиты к нам. Обед у Панаева. Чернокнижие изустное и практическое. Я, Лонгинов и Григорович. Банк<овский> мост, Виктория Ивановна. Новый родственный дом. Фанни и Катя. 12-летний паж в кадрили. Серое пальто. La marquise de XVIII siècle **. Вечер у Михайлова.

Понедельник, 15 февр<аля>. Утром на базаре Общ<ества> пос<ещения> бед<ных> в зале Юсуповой. Взял четыре билета и совершил 4 выигрыша (их принесли недавно, и что за гадость!). Между делом с Языковым сходил поглядеть картинную галерею Юсуповых, видел мраморы и оригинал Кановы «Амур и Психея». Визит к Мею, видел знаменитую горничную Машу, более замечательную по свежести, чем по красоте. Обед у Краевского и слушание Меевой драмы «Сервилия», которую я назвал «Стервилией». Впрочем, драма так себе. Вечер в Михайловском театре, где много смеялся. «Folies Dramatiques» ***[235]. Видел Фелиси.

Вторник, 16 февр<аля>. Небольшая работа утром, чтение журналов, Калифорния Ротчева [236] и Ольга Н. [237] Ахматов помешал работать. Ездил к Клокачеву и в компанию продажи сухарей понапрасну. Вечер с Гаевским у Юрия Толстого. M-me Толстая, Фишер. Чтобы я сделал, если б мне подарили Пассаж. Наемные убийцы в тоннеле.

Среда, <17 февраля>. Не помню, в чем прошло утро. С Григоровичем к Палацци, бедному продавцу редкостей. Видели вещи порядочные, но особенно мне ничто не полюбилось. Обедали у Григорья очень весело. Вечером с Григоровичем в Театр, опять «Folies Dramatiques» и «Don César de Bazan» [238]. Ужинали у Григория.

Четверг, <18 февраля>. Не знаю, что делалось до вечера,— впрочем припоминаю, что обедали у брата, потом я спал, утомясь от треволнений, а проснувшись, держал корректуру статьи о В. Скотте. Оттуда к Краевскому, где собралось миллион народа, m-me Lagrange, Монигетти и Очкин с дочерьми, из замечательнейших. Видел много литературных чудаков. Была музыка и танцы, разъехались не очень поздно.

Пятница, <19 февраля>. Ничего не помню, кроме маскарада, скорее похожего на Содом и Гоморр, чем на маскарад. Ко мне подходили какие-то маски чуть не в рубищах. Одна из масок потеряла башмак, он так и лежал на полу очень долго. Во мраке видел Каменского во образе глиста, прикрытого шляпою, так он истаскался. Знакомых имелось много. Утром был на блинах у М. А. Смирновой.

Суббота <20 февраля>. Утром на горах [239] с Григоровичем смотрели пляшущих девок, паясов и заходили в балаган к Легату, где ви-

---

* поставим по крайней мере вехи *(франц.)*.
** Маркиза XVIII столетия *(франц.)*.
*** «Драматические шалости» *(франц.)*.

дели плачевную арлекинаду и Синопское сражение. Потом домой; обедали у меня Гаевский, Дрентельн, Своев и пр. Вечером пришел Ахматов, явились Марья Львовна и Александра Петровна. Я передал гостей брату и сам лег спать с жестокой головной болью и насморком.

Воскресенье <21 февраля>. Весь город будто сошел с ума. Площадь запружена экипажами, пьяные суются лошадям под ноги. Обедал у Панаева, ужинал у Марьи Львовны. После обеда мы имели приятную беседу втроем: я, Некрасов и Тургенев. Лонгинов пишет скандалезную поэму, мне посвященную.

Среда, 24 февраля. Великий пост.

Дни отдыха, не лишенные приятности, хотя и сопровождаемые насморком, с одной стороны, и постной гастрономиею, с другой. В понедельник имел сеанс у Степанова для моей статуэтки: плод лавров, мною приобретенных семилетней работою[240]. От него заехал к Тургеневу и взял у него читать «Villette» К. Белля[241] и еще страшную, престрашную книжицу «Manuscrit trouvé à Saragosse» *[242], книжицу вроде Льюизова «Монаха»[243], но едва ли не увлекательнее составленную. Начало вечера был у Лизы, потом сидел и читал, что продолжалось и весь вторник, за исключением краткой работы над «Письмом Ин<огороднего> подп<исчика>» и корректурами Скотта, над которыми Фрейганг порядочно потешился и потешился без всякой причины. Есть что-то отрадное в этом чтении запоем: — вчера, например, я отвалял великую часть Теккереева «Эсмонда», кончил «Manuscrit...» и, не утомясь, перешел к Коррер Беллю,— первые главы «Villette» превосходны. Что за сила у этой писательницы, но по временам как неискусно владеет она своей силою! Маленькая Полли прелестна, лучше Павла Домби[244], но сама героиня плоха.

Суббота, 27 февр<аля>.

Весна близится несомненно — оттепель, солнце и приятный воздух, наделивший меня, однако, насморком, зубной и головной болью. Всю эту неделю у меня пропадает каждое утро через Степанова, который лепит статуэтку с убийственною медленностью. Хорошо, однако, что я там бываю почти всегда в одно время с Тургеневым, а вчера сверх того были Некрасов и Григорович, так что составилась блистательная беседа. В четверг обедал я у Тургенева с Панаевым, Лонгиновым и некиим Вакселем, человеком хорошим, но более всего заметным по своей странной наружности: у него седая борода чуть не до «чресл». Причиной этого обеда было чтение поэмы «Матвей Хотинский», которая лежит здесь, до ее перемещения в «Чернокнижие», особый альбом, сооружаемый мною для помещения в нем стихов и прозы нелепого содержания. Вечером все собирались ехать к Языкову, но я не мог ехать по причине головной боли, кажется, приключившейся от хохота во время чтения поэмы. Со всем тем мой вкус таков, что, по моему мнению, поэма выиграла бы, если б *она была грязнее.*

---

* «Рукопись, найденную в Сарагоссе» *(франц.).*

Читал запоем, то мало, то много, а то и по целым вечерам. Во-первых, почти кончил «Вильет» — много силы и много неуменья справляться со своей силой. Кой-где видел повторения: эти учителя, классные дамы и т. д. мне знакомы. Но есть лица отличные, особенно Полина, Мэри и Джон Грагам. Затем идет «M-lle Maupin»[245], которую дал мне Лонгинов,— вещь неистовая, quel'que chose de fortement epice*, потом «Эсмонд». Хотя мои занятия и чтения еще далеко не пришли в порядок, хотя я еще не вернулся к старой моей системе кратких выписок, но я доволен и тем, что не имею скучных минут бездействия. Вчера был у Своева, лобызал Таничку, видел Савона, Сергея Дмитрича и их злополучного сожителя. Все говорит о войне и походах — печальный предмет разговора!

Воскресенье, 28 февр<аля>.

Вчера день прошел хлопотливо и посреди большой компании. Едва вставши, проехал к Степанову для предпоследнего сеанса и так как застал его совершенно одного, то время прошло скучно. По Неве, метели и снегу вернулся домой еще до прихода гостей, кое-что прочел, лежа на диване и не рассчитывая на большую публику по случаю дурной погоды. Явились Григорович, Михайлов и брат с женой. После обеда пришли Ахматов и Пальчиков, но часов в 8 я должен был покинуть компанию и устремиться к Лизавете Николаевне по поводу какого-то необыкновенного вечера. Особенно меня туда влекло желание встретить молодую Тургеневу, о которой я много слышал, но, к сожалению, вместо нее явилась только добрая, седовласая Еропкина. Была еще некая Хвостова, une belle sur le retour**, мне не полюбившаяся; она слишком много говорила о своей родне и о Лермонтове, который, как гласит хроника, был в нее влюблен[246]. Пришло несколько приятных людей: Никитенко, Гаевский, Тургенев и Некрасов, хлыщеобразный Стасов, которому тут не было хода, и наконец Сенковский, с которым мы встретились дружелюбно, по крайней мере, я ровно ничего против него <не> имею, хотя бывать у него и не стану. Ужинали и покончили вечер сносно, хотя не блистательно.

Понедельник, 1 марта.

После метелей и снегов утро вчерашнего дни открылось отлично, а сам я против обыкновения встал не кислым. Почитал «Villette», занялся довольно грустным делом, то есть разборкой ревизской сказки[247] по случаю поставки рекрута, а занимаясь им, почувствовал истинное угрызение совести. Так мало заниматься своим имением, так мало вести порядка в списках и счетах есть вещь непозволительная! И подобные мне люди смеют говорить о политике, о государственных делах — не имея дарования вести оброчных списков в порядке! Пора вести дела по имению в порядке, женское хозяйство очень хорошо и мягко и ценится как следует, но ему всегда не будет доставать аккуратности. Говорил с ма-

* нечто очень острое *(франц.)*.
** красавица на возрасте *(франц.)*.

тушкой о порядке рекрутчины и предлагал ей, чтоб предоставлять *миру* назначение рекрут, оставляя за собой право выбирать из выбранных им. Кажется, как умно и просто! а между тем оно неудобоисполнимо: рекруты, зная заранее свое назначение, будут повесничать и прятаться. Вот что значит знание практической стороны в хозяйстве! Часа в три велел давать лошадь и поехал проведать В. Н. Семевского, которого застал не совсем в хорошем положении, в жару и с жалобами на ревматические боли в животе и груди. Видел Малевича и его супругу. Это очень добрые люди, но они, кажется, способны навеять тоску, если их посещать часто. Еще был какой-то красивенький хлыщик, похожий на Евгена, en beau *. От Малевича не без удовольствия проехал до Панаева, где я бросил якорь. Компания опять собралась превосходная: Тургенев, Анненков, Григорович (вновь успевший купить одну картину), Фет, Лизавета Яковлевна, Краснокутский, а после обеда Гаевский и Лонгинов. После обеда произошло *чернокнижие и* <...> *словие,* т. е. чтение сладенького письма В. П. Боткина, поэмы «Хотинской» и статьи о Литературных гномах [248]. Потом устраивали живые картины: в одной участвовали Григорович (в виде китайца) и Авд<отья> Яковлевна — Одалиской, а в другой Гаевский под покрывалом, в образе девушки, молящейся богу. Все это было мило, но, несмотря на то, мы с Григор<овичем>, Лонгиновым и Анненковым поехали к Лизе и пили у ней чай. Она была крайне мила. Ах, если б Лонгинов или Анненков пристроили ее как-нибудь, а то моя petite soeur, petite Lisette ** становится мне чем-то вроде камня на шее!

Решено ехать в Москву на этой неделе. Михайлов к нам пристраивается, и много чернокнижных планов вертится в голове нашей.

Среда, 3 марта.

Вчера обедал у Григорья с Алекс<андрой> Петровной и Григоровичем, который нас услаждал немало. Но главное услаждение подберег он к сегоднишнему утру. Когда я сидел у Степанова, кончая сеанс для статуэтки и беседуя с Некрасовым, достопочтенный автор Рыбаков вбежал к нам и, усадив меня особо на кресле, сообщил мне две приятные новости. Вчера он был на домашнем спектакле Театральной школы и устроил два дела: завтра он везет меня к Шуберт, а в пятницу вечером на репетицию школьных пиес и балета, так что театральный мир будет для меня отверзт. Думая о таких соблазнах, я почти теряю охоту ехать из Петербурга. Если все устроится по желанию, то сколько приключений, наблюдений и чернокнижия извлеку я из всего этого мира! Искренно поблагодарив Григоровича и собрав еще кой-какие утешительные сведения, я проехал с ним к Тургеневу, которого застал в печальном состоянии. У него сильный припадок боли в спинной кости, такой припадок, что он не может ни лечь, ни двинуть рукой, ни прислониться к чему бы то ни было. У него были еще при мне Ваксель, еще его двоюродный

---

* но лучше *(франц.)*.
** сестренка Лизочка *(франц.)*.

брат, кажется, кавалергардский полковник, и еще граф Толстой, коего физиогномия не пришлась мне по вкусу. Обедал я сегодни у Вревской по особому приглашению, часов в шесть, и обедал не очень хорошо, по крайней мере, вставши из-за стола, почувствовал страшную тяжесть. Из собеседников доставил мне большое удовольствие А. Н. Вульф, остальные же посетители были Саша Вревский, С. С. Траскина с воспитанницей своей и чудовищная m-lle Вульф. Всех дам милее вышла мисс Мери, но гувернантка ее мисс Пирс также довольно чудовищна. Вечер окончил я, ужиная у Григорья с Н. В. Пальчиковым.

Четверг, 5 <4> марта.

Среда прошла недурно: утром гулял по солнцу в пальто, обедал дома один, а к семи часам явился к Тургеневу, где с великой радостью нашел Болеслава Маркевича и почерпнул от него много известий о нашем Маркевиче. Мы будем видеться: Болеслав, несомненно, умный человек, а кроме того, его лицо живо напоминает мне брата,— я к таким мелочам довольно чувствителен. Тургенев оказался слабым после болезни, тем не менее он поехал со мной и с Григоровичем на обещанный вечер. Нас встретили как нельзя милее и ласковее. Что сказать о Шуберт? Helàs, helàs! она мила и неглупа, и жива, и весела, но не нравится мне настолько, чтоб стоило предпринять волокитство. Я не понимаю, что я за человек! Любя женщин ужасно, я не могу найти ни одной женщины, которая бы меня хотя немного пошевелила! Чего я жду и кого мне надобно? Бездна юношей дали бы вчера многое, чтоб быть на моем месте, и я, пожалуй, охотно уступил бы им свое место и все шансы в мою пользу. Однако я стану бывать у Шуберт и познакомлюсь с ней поближе[249]. Живет она с сестрой на манер небогатых чиновниц, скромно и чисто. Вообще, вечер прошел недурно, нас кормили постным ужином, а разговор все более шел «об искусстве»!

31 марта.
Памятный листок поездки в Московию.

Среда, 10 марта. Приезд на железную дорогу. Григорович и его донна. Дубельт. Изобилие хорошеньких женщин. М-me Корсакова № 2. Проводы юнкера. Офицеры в солдатских шинелях. Возня с саками и тургеневским мешком. Наши соседи в вагоне. Une dame acariâtre portant sur sa figure les septs pechés capitaux *. Танцовщица Смирнова и ее провинциалка-подруга, avec la pourriture dans la bouche **. Lazzi *** Григоровича. *Просвира,* рассказ о m-lle Annette. Je voudrais bien lui couler la main... **** Новая игра и стрельба в цель, изобретенная им же. Жесты во время рассказа. Знакомство завязывается. Разговоры с Смирновой, театральные воспоминания. Наивная дама. Розальон Со-

---

* Сварливая дама, в облике которой отразились семь смертных грехов *(франц.).*
** с гнилыми зубами *(франц.).*
*** Шутки *(итал.).*
**** Я хотел бы запустить ей руку... *(франц.).*

шальский, песня про un coglione di qualità *. Обед. Новые знакомства и лица. Генерал Смецкой, два француза. Компания, играющая в карты всю дорогу. Прощание с соседками. Два или три ужина. Усилия заснуть. На рассвете появление двух глупейших помещиков. Девица-немка с лицом мадонны. Сочинение немецких стихов и французской бравурной арии.

Четверг, 11 <марта>. Ожидание на embarcadère **. Шествие в Москву на двух извощиках с поклажей и на третьем с нашими персонами. Неудача у ворот «Яра»[250]. «Лейпциг»[251]. Печальный вид комнат. Минутное уныние. Недостаточный отдых. Обед в Троицком трактире[252]. Гебетация[253] после лампопо[254]. Пешеходное фланерство — картинки, книги, лавки. Кузнецкий Мост и café Гунгера. Новые знакомства и *часы чернокнижия неслыханного!* Наташа и Поля. Horror! horror! horror! ***

Пятница, 12 <марта>. Дурной сон. Начало визитов в коляске. Магазин Базунова и получение денег[255]. К В. П. Боткину[256] и ласковая встреча. Воспоминания о вчерашнем вечере. Весть о Соляникове. Продолжение визитов. У П<авла> Н<иколаевича>, Корнилова, Яхонтова, обед в «Hôtel de France»[257], свидание с Петром Лукичем. Вечер у Ольги Ильинишны Кильдюшевской.

Суббота, <13 марта>. Переселение к Соляникову. Григорович и Сошальский. Пешеходное фланерство. Магазин Волкова и знакомство с молодым Волковым. Осмотр церкви. Кремль. Беседа с Григоровичем. Обед у Василия Петровича. Дружеская беседа. Игра на бильярде.

Воскресенье, <14 марта>. Бессонница. Начало визитов. С Иваном П. Корниловым к Козловой, Вельтману, Бартеневу и Ростопчиной. Я дружусь с Ростопчиной и, вероятно, навсегда буду с ней дружен. Ряд приглашений. Обед у Павла Николаича Кильдюшевского. Вечер сходился у Боткина. *Чернокнижие самое неистовое.* Превосходнейший ужин и дружеская беседа у Мореля. От утомления сплю отлично.

Понедельник, 15 <марта>. Переезжаю к П. Н. Кильдюшевскому. Коляска ломается на дороге, и я спасаюсь от бед, за что и приношу благодарение богу. Обед у Павла Николаича. Вечер начинается у Ростопчиной, кончается же у m-me Энгельгарт. Новые лица и новые знакомства: девицы Новожильцовы, Берг, Щербина. Рассказывание игривых анекдотов. Я был в духе. Но вечер прошел без ужина.

Вторник, 16 <марта>. Поездка в немецкую Слободу, к Анюте Евфановой. M-lle Delcalle. Пишу письма в Петербург. Семейные дела. Обед у Анны Николаевны Козловой. Новые лица. Визит к А. С. Дружинину. Плохое известие о Яковлевском деле. Вечер не помню где и с кем.

Среда, 17 <марта>. Утренняя работа. Обед у Ростопчиной. Ее дети и прочая. Григорович и Корнилов.

---

* отменного дурака *(итал.)*.
** перроне *(франц.)*.
*** Ужас! ужас! ужас! *(лат.)*.

Четверг, 18 <марта>. Утро за Яузой у Добровольского. Обед у В. П. Боткина. Les bouzins *. Чтение газет и бильярд в клубе.

Пятница, 19 <марта>. Новые знакомства утром. Обед у П<авла> Николаевича, m-me Карнович и ее супруг. Новая m-me Жадимировская. О Соляникове. Патриотический концерт. Контские, Чиорди, триста посетителей[258],— c'est bien triste **. С Корниловым на раут к Сушкову. Ростопчина, m-lle Тютчев, Кублицкий, Берг. Неслыханное количество народа. Мы с Григоровичем производим сенсацию. Рассказы игривых анекдотов. Petit mot *** Ростопчиной о Вигеле.

Суббота, 20 <марта>. Куда-то утром ездил, и много. Обед у Мореля, данный Соляниковым. Комната, похожая на каюту. Я, Боткин, Григорович. Приятная дремота в 16 номере «Hôtel de France». На вечер к Ростопчиной. M-me Энгельгарт и графиня Сальяс. Господа, уподобляющиеся тараканам. Берг, Кублицкий, Щербина и Алмазов, несколько напомнивший мне Маркуса. Фламандские картины и собор. Картины у Ростопчиной. Прощание с Григоровичем.

Воскресенье, 21 <марта>. А. Н. Струговщиков. Обед дома. Утренние визитеры; Страхов и Правдин. Обедали И. П. Корнилов и Погорельский. По гнуснейшей дороге к Корнилову, оттуда с ним на вечер к Анне Николаевне, где было скучновато.

Понедельник, 22 <марта>. Чудеснейший весенний день, но дорога худа. Ездил в карете. Смотрел галерею Мосоловых[259]. Из картин полюбились мне берег моря Клод Лоррена и несколько фламандских вещиц. Завтракал у Мореля и читал газеты. У Струговщиковых и у m-me Карнович. Обедали с Боткиным у него, вдвоем. Были у Депре за сигарами, прокатились до клуба с великим удовольствием и играли в бильярд. Вечер у Сушкова. M-lle Тютчева очень мила, нельзя сказать того же о гостях. Речь о Тургеневе и хлыщеватый Колошин. Генерал Мендт или Вендт. Кублицкий. О Филарете. Я был скучноват и даже глуповат. Старая знакомая княгиня Манвелова.

Вторник, 23 <марта>. Утро дома. Погода адская. Обед в Купеческом собрании[260] и знаменитая уха. Впрочем, только и было хорошего, что уха — обед плох и дорог. Ча<а>даев. Молодой Волков. С нами обедал Соляников. Вечер у Струговщикова. Встреча с Галаховым. Разные сенсации. Слухи о морском сражении.

Среда, 24 <марта>. Визиты. Мы сходимся с Юрием Н. Бартеневым[261]. Полчаса у Ростопчиной. Обед в Англ<ийском> клубе[262] с Бартеневым и Павлом Николаичем. Встреча с Шереметевым и Погодиным. Дашкевич. Краткий отдых в «Hôtel de France» и вечер у m-me Энгельгарт. Вообще днем я доволен.

Четверг, 25 <марта>. Благовещение. Визит А. Н. Струговщикова. Отправился в гости с утра. У П. П. Корнилова познакомился с его женою. У Ростопчиной на утренних увеселениях. Легенда о Беатриксе.

---

* веселые дома *(франц.)*.
** это очень грустно *(франц.)*.
*** словечко *(франц.)*.

Гвебры. Из гостей были сперва Видерт, потом la charmante musicienne * m-me Неведомская, еще одна дама Гордеева (рыло), потом m-me Сушкова с племянницей. Обедал у Ольги Ильинишны с несколькими новыми лицами. Потом к Боткину и с ним к Соляникову на похождения, но они отложены до пятницы. Вместо них приятная беседа с Василием Петровичем, большею частию о чернокнижии. Потом к m-me Карнович, cette femme est bell, comme tous les anges **, но что за ужасная обстановка. Играли в лото. Гости, находившиеся у ней, были: m-lle Нина, которую я дважды видел, m-me Александрович, очень миленькая, и мужчины, о которых чем скорей умолчать, тем лучше. Ночи сплю превосходно, но начинаю тревожиться, не получая вестей из дома. Боже, что у меня за характер!

Пятница, 26 <марта>. Езда по Москве в прекраснейшую погоду, покупка мыла и перчаток для убития времени. Визиты к Анне Николаевне и Сушкову. Обед у Боткина с Соляниковым и Галаховым. Игривость и приапизм сего последнего. Поутру были еще напрасные визиты Галахову и Шереметеву. Чтение поэмы. Разговоры скандальные и о политике. Неудачная поездка к доннам Соляникова. Знакомство с Аспазией Москвы, Верой Михайловной и ее рассказ о молодом купце-раскольнике.

Суббота, 27 <марта>. Почти до часу дома, и по неимению занятий время тянулось долго. К Бартеневу, где застал генерала Мента. В Английский клуб, обедали с Барт<еневым> и И. П. Корниловым. Ladresse ***. Видел нескольких знакомых. Бильярд и чтение. Обед был весьма недурен и дешев. После отдыха в 16 № к Ростопчиной, там нашел между прочим Щепкина, Софью Владимировну, Алмазова, Щербину, Родиславского, Берга и т. д. Беседы о чернокнижии и переход от него к clique Грановского. Я высказываю свое мнение о пророках. Приветствие от Алмазова. Днем я доволен.

Воскресенье, 28 <марта>. Утром почти никуда. Осмотр Шереметевской больницы, прогулка пешком. Обед у Кильдюшевских с М. и m-me Карнович, много смеялись и даже говорили друг другу нежности. Вечер у Боткина, к которому приехал брат из Кяхты [263]. Иностранец Пирлинг. Путешествие по бузеням. Эсмеральда. Великий разврат Василия Петровича.

Понедельник, 29 <марта>. Последний день. Прощание с Москвою и визиты. Общее дружелюбие. Обещание переписываться с Бартеневым, Ростопчиной и Энгельгарт. Обед дома, из гостей были три брата Корниловых. Много пили за здоровье друг друга. Вечер с Боткиным у Приапа Галахова. M-me G. est assez gentille ****. Утром последний взгляд на Карнович.

Вторник, <30 марта>. Отъезд и тревожное утро. Провожали меня на железную дорогу О<льга> И<льинишна> и верный Петр Лукич,

---

* очаровательная музыкантша *(франц.)*.
** эта женщина прекрасна, как все ангелы, вместе взятые *(франц.)*.
*** Прокаженная, скаредная *(франц.)*.
**** М-м Ж. довольно мила *(франц.)*.

а на станции встретился еще П. П. Корнилов. Поезд трогается. Дорога весьма печальна сравнительно с вторником за три недели. Компания плохая, читающая патр<иотические> стихотворения,— дамы все рожи, только в первом вагоне прежняя madame Корсакова. В Твери села к нам прежняя спутница танцовщица Смирнова, а я свел знакомство с порядочным человеком, еще не старым, кажется, медиком. Вся дорога сокращена была чтением книги Monnier «Scénes Populaires» *[264]. Беспокойная ночь вследствие происков одной дамы, завладевшей моим местом.

Среда, 31 <марта>. Благополучный въезд домой по славной дороге и в славную погоду. Карета ждала меня на амбаркадере. Все мои опасения за своих оказались дрянью,— все здоровы и все в порядке, только две не совсем хорошие вести — о смерти Проскурякова и матери Юрия Толстого. Полная сладость отдыха дома, в своей комнате.

Вторник, 6 апреля. СПб.

Причина некоторых пропусков и неисправностей в дневнике весьма понятна. Я имею завидную способность любить все то, что отдалено от меня, и оттого всегда возвращаюсь из моих поездок в Петербург с замиранием сердца. Если б кто меня видел в тот час, когда вагоны двигались на последнем переезде до города,— от Колпина, тот счел бы меня эмигрантом поневоле, едущим после долгих бурь, на любимую родину. Оттого все дни, начиная с приезда, были чрезвычайно полны, шумны и приятны.

Первый день я отдыхал, ездил только к L<isette>. 1 апреля на имянинах матушки видел тьму народа: Вревскую, Своева, Дрентельна, генерала Офросимова, все семейство Стремоуховых, Корсаковых и мн. др. Обед прошел весело, я поддразнивал Стр<емоухова> насчет патриотизма. Вечером, едучи к Марье Львовне на имянины же, заехал к Краевскому, думая найти там близких знакомых, но кроме хозяина, Дудышкина и моего друга, Лиз<аветы> Яковлевны, узрел тьму малоинтересных лиц,— Гербелей, Майковых, Меев и tutti quanti **. У Марьи Львовны была скука невыносимая, я же еще был утомлен.

Петербург после Москвы кажется чем-то *феерическим!* По всему пути от железной дороги до дому нет ни снега, ни грязи, между тем как Москва плавает в грязи. По тротуарам хоть танцуй. От этого на меня напала страсть ходить пешком, и я каждый день откалываю верст по десяти (тем более, что нет дрожек). В пятницу был у Тургенева, Гаевского, Панаева, завтракал у Доминика[265] с Василько-Петровым, обедал у Тургенева с недавно прибывшим Боткиным, Анненковым, Катковым (московским бывшим профессором), Вакселем и Некрасовым. Говорили такие скандальные речи, что Катков находился в ужасе. Вплоть до ночи ходили по бузеням с Васей и Анненковым. Встретили Арапетова,

* Монье. «Народные сценки» *(франц.)*.
** им подобных *(итал.)*.

на коего сочинены отличные стихи: «Художества любитель»,— и прочая[266].

В субботу обедали у меня Васинька, Панаев и Тургенев и Григорий. Обед удался и врали много. Вечер думал я провести у Ахматовой, но она поразила меня такой кислотой и скукой, что я бежал. Дуется ли она за Сенковского или за то, что я не явился к ней тотчас же по приезде,— этого я не знаю, да и знать не желаю. От нее прошел я к Толстому и хорошо сделал. Его положение я вполне понимаю и знаю, что мое посещение не было лишним. У него забрал Фишера.

В воскресенье обедал у Евфанова с ним и его братом, на холостую ногу. Дома спал после обеда, а вечер просидел у Вревской. В понедельник видел Михайлова, Ольгу Ивановну, толкнулся к Машиньке, обедал же у Каменского с Катковым. Бедный Кам<енский> завален работою, и не предвидится ей окончания. Ходят печальные слухи насчет разрыва с Австрией и Пруссией. О. И. Кильдюшевская в Петербурге и заезжала к нам третьего дни, ее дела устроились благополучно.

В понедельник много ходил пешком и ходил в одном пальто, с наслаждением. Был у Михайлова, Сократа, Машиньки, у Ольги, а потом обедал у Каменского с Катковым, кой мне не очень нравится. Молчаливая, моложавая белокурая фигура с явным поползновением к пророчеству. Ели постный стол и после обеда спали. Во вторник обедал у Григория, а перед тем заезжал к Кильдюшевской и к Степанову для статуэтки. Маша встретила меня самым любезным образом, и я играл с детьми так, как можно играть только со своими.

С среды начал я говеть, а окончил все дело в четверг не без удовольствия. Я дитя во многих отношениях, и многие предания моей юности для меня святыня. Старое время, старые друзья, ныне весьма уменьшенные числом, возникли в моей памяти при виде той церкви, где я говел 11 лет кряду с Ждановичем и прочими. И, наконец, самая поэзия религии мне доступна, хотя я мало имею времени о ней думать. На днях я читал о последних годах Гоголя и его набожности. Вера, и слезы, и ночные молитвы в пустой церкви для меня понятны, но при всех усилиях я не могу разгадать и уважать Гоголевой страсти к грязным попам, монастырям и посту!

Суббота, 10 апреля.

Все эти дни я весел и счастлив моим тихим, по-видимому безосновательным счастием. Я отлично ленюсь, отлично гуляю, сегодни сделал себе подарок, купив у Палацци фарфоровую кружку, завтракаю по кондитерским, вытоптываю в день верст 10 по петербургским улицам, знать не хочу англичан и лорда Непира[267], пока над душою моей проносится весна. Сплю превосходно и чувствую себя молодым,— зато ровно ничего не делаю, кроме небольшого чтения. Давно не было для меня такой ясной весны, и причиною моего светлого настроения, конечно, московская поездка, с ее утомлениями и хлопотами.

В четверг приобщался, обедал у Краевского, вечер же провел у Некрасова с Лонгиновым, Анненковым, Тургеневым, Панаевым, Вакселем

и Мухортовым. В пятницу много гулял, был у Лизы, вечером читал «Три поры жизни», данные мне для разбора[268]. Книга не так гадка, как я о ней думал. В субботу шлялся по улицам, купил себе у Палацци фарфоровую кружку, завтракал у Доминика с довольно скандальным Моисеевым, а вечер провел у Григория и, скромно поужинав у Дюссо, лег спать в ту пору, когда весь Петербург предавался порывам набожности[269].

Четверг на Святой неделе, <15 апреля>.

До сих пор время проходит недурно, и прежнее весеннее расположение духа не прекращается. В первый день у нас было много гостей, но из числа их не было никого особенно интересного, за исключением нескольких ближайших лиц и Ивана Ганецкого, который вторгнулся ко мне в шестом часу и помешал спать. В понедельник обедал у Евфанова с компанией, видел между прочими там Тизенгаузена, который мне противен за свою московскую невежливость. Вечером сотворили чернокнижие с А<лександром> Петровичем и скандалезным Бышевским, посетив Александра Михайловича (так называемого *Сотрудника*) и открывши у него довольно милую девушку, вроде прошлогодней Берты.

Во вторник обедал у Вревской с разными лицами — во ужас сердце приводящими,— я давно уже заметил, что, если всю эту компанию срисовать в точности, живописца назовут карикатуристом. Исключить из этого числа надо хозяйку, Машу и Алексея Шенейха, очень милого юношу. В среду обедал в Английском клубе с Н. А. Стремоуховым, там видел Арапетова, Краснокутского, Котомина, Анненкова и Лонгинова, который сообщил о моем помещении в число кандидатов клуба[270]. Сыграл 6 партий в бильярд с Петром Николаичем и проиграл всё, ибо он мастер немалый. Остаток вечера, не зная куда деваться, весь провел в клубе за мороженым, журналами и газетами.

Воскресенье, 18 апреля.

Четверг прошел тихо и весело. Начал подвигать для «Б<иблиотеки> д<ля> ч<тения>» рассказ «Две встречи»[271], вследствие того, что Старчевский на днях приезжал ко мне с извинениями и выгодными предложениями. Написал письма к Григоровичу, Ростопчиной и Бартеневу. Читал «Galignani's Messenger», доставляемый ко мне после смерти Виллье, чрез Евфанова. Обедал у Григория, чувствуя, однако, некоторую хилость в желудке после клубных шалостей. От него к А. П. Евфанову, коего не застал, и прошел к Михайлову, а с ним к Краевскому. Это шатанье по улицам в теплые вечера меня увеселяет. Мало из всех лиц, бродящих по Петербургу, бродят по нем с таким удовольствием. Я как-то чувствую, что способен к шатанью и беззаботной жизни. Долгов у меня нет, денег хватает, горя и забот не имеется, многих людей я люблю, и они меня любят, на душе моей нет ничего тяжкого и недоброго. С таким настроением мне почти везде хорошо и везде приятно. Краевский умеет сделать, чтоб его гостям было весело, и делает это очень просто — ничего не делая и предоставляя гостям полную волю. Кажет-

ся, задача легкая, но она не всякому дается. M-me Левицкая мне несколько понравилась; я несколько времени сидел около дам, и они мне гадали на картах. Были Дудышкин, Зотов с женой, Мей, Гербель и т. д. После ужина долго играли в пирамиду и в à la guerre *, что весьма затянуло вечер, и домой пришел я часа в три. Утром в пятницу было много гостей, в том числе Маслов И<ван> Ильич. Заходил еще Палацци, расхваливший многие из наших картин: Мадонна с 7-ю шпагами, по его мнению, писана Гарофало, «Порок с добродетелью» тоже заслужил похвалы. Заказал несколько рам на картины.

Вечер в пятницу сначала прошел в шатании, у L<isette> и под балаганами, где я смотрел взятие турецкой крепости [272]. Балаганные представления идут все хуже и хуже: большей бедности обстановки, большей нелепости пиесы, кажется, никогда не было. Испанский принц волочится за турчанкой, и прибытие русских войск устраивает его счастие. Ни толку, ни эффекту, ни проблеска дарования в исполнителях, ни тени забавного в клоуне. «Смерть принца Наваррского» по крайней мере прежде смешила меня, а теперь мне было грустно. Особенно жалок был бедный актер в комиссариатском сюртуке, в грязных перчатках, изображавший русского полковника. Он говорил так сипло и вяло, что три солдата, изображающие его войско, будто жалели о нем, тем более, что у него кроткое лицо, и он будто сам стыдился своей роли, жалкой и почти обидной для народного чувства. Музыканты, сидевшие близ меня, играли без конца «del pescatore ignobile» **; и вдруг под их музыку, посреди этого холода, грязи и жалкого гаэрства, на меня набежала священная минута поэтического чувства. Под сладкий мотив Доницетти моя мысль унеслась в какое-то душе моей знакомое Эльдорадо, под южное солнце, в фантастические дворцы на берегу моря, под колоннады и густую зелень роскошных садов. Я более чем когда-нибудь стал думать о мире не испытанной мной поэзии и, отправляясь пешком домой, строил теории особой метампсихозы, которой основания когда-нибудь разовью на досуге [273]. Дома застал я Жуковских и ужинал с ними вместе.

В субботу утром заезжал к Орловой и нашел ее пополневшею и даже похорошевшею. От нее к Гаевскому, все еще больному, у него застал Гербеля и Мея. Юный Виктор начинает сильно трусить, чему, впрочем, есть некоторое основание: у него грудь болит и голос пропадает. Оттуда к Марье Сергеевне, которая тоже пополнела, похорошела, зарумянилась и стала интересна. У ней нашел графа Армфельта и генерала Девитта. Сам Ольхин в Финляндии, начальствует какими-то береговыми батареями. Обедали у меня брат с женой, Маслов, Дрентельн и Своев, много болтали, смеялись и говорили о политике, или, скорее, о войне. Англичане бомбардируют Одессу, и драма еще не кончена с этим городом [274]. Я сообщал мой фантастический идеал войны и общего замирения. В семь часов я с Масловым пошли к Одоевскому, по приглашению, касательно поверки лотерейных билетов, и сидели там до полуночи за скучным сче-

---

* войну *(франц.)* <партия на бильярде в два шара>.

** «Недостойного рыбака» *(итал.)*.

том номеров. Одоевский мил и любезен, он начинает мне очень нравиться. Пили чай, были и дамы, недурные, видел еще Инсарского, Шустова и других лиц, вовсе непривлекательных. Лотерея идет плохо, меня упекли для присутствия при розыгрыше.

Понедельник, 19 апр<еля>.

Опять стал спать долго, что̀ завтра кончится, je le veux *. Потому и поутру работал вяло. Являлся Данилевский и совершенно испортил работу, рассказывая о своих произведениях — о Тимоне Афинском, и так далее. Заехал обедать к Панаеву и обрел там компанию людей, сердцу милых: Маслова, Анненкова, Лонгинова, Языкова. Некрасов продал мне игрушечный штуцер для стрельбы в комнатах, что меня очень радует,— причина этой продажи заключалась в бедности редакции, а еще более трусости, которая на них напала вследствие убыли подписчиков. Главным предметом разговоров и спора на этот день было чернокнижие и Арапетов, за которого Лонгинов вступался. Часов в 8 я повез четверых из компании к Паше, где нас приняли «как родных» и где находилась еще незнакомая Марья Ивановна (полненькая и недурная особа), Авдотья Михайловна и еще кто-то. Пили шампанское, празднословили и сквернословили. Я уехал часов в 12, оставив всю компанию с дамами.

«Большая часть дурных людей таковы, что от них всего лучше отвернуться и пойти своей дорогою. Но есть такие, от которых отвернуться недостаточно: нужно при том плюнуть!».

Пятница, 23 апр<еля>.

Вчера утром был с удовольствием у Л., дома хорошо пообедал, спал и вечер с приятностью провел у Краевского. Autant de pris sur Charles Napier **.

В среду обедал в клубе, видел много знакомого народа, а во вторник обедал, кажется, у Григория. «Одних обедов длинный ряд» [275],— впрочем, обеды эти довольно вкусны. Один вечерок провел у Лизаветы Николаевны, твердо решась перед приездом, что брошу ее, если она будет так же кисла, как в прошлый раз. Однако же, она была добропорядочна, будто чувствуя мои злые замыслы.

С тех пор, как стал поздно вставать, дни пошли скучнее. В понедельник был у Своева на его новой квартире, с Дрентельном и Таничкой; во вторник, кажется, были у нас Жуковские; в среду обедал в Английском клубе и после обеда предавался <...> языком вместе с Лонгиновым, Арапетовым, Н. А. Милютиным и другими особами, из которых, впрочем, ни одна не обратила на себя моего особенного внимания. По чрезвычайной беспорядочности и décousu *** этих заметок вижу, что дневник меня утомляет.

---

* я так хочу *(франц.)*.
** За счет <чтения> о Чарльзе Непире *(франц.)*.
*** несвязанности *(франц.)*.

Пятница, 30 апр<еля>.

Последний день лености перед началом работ летнего сезона. На верфи находится «Легенда о Кислых водах» [276], повесть «Любовь и Вражда» [277], да роман из моей vie de Bohême *[278], куда вольется часть Чернокнижникова. Дела на целый год, дай бог сил и удачи. Эту ночь, вследствие бесконечных толков о войне, видел сон, оставивший на мне довольно сильное впечатление. Я смотрел будто бы с толпой народа сражение под Кронштатом, стоя на Смоленском поле около дома Михайлова. До нас доносилась пальба, и потом мы увидели столбы дыма будто от горящих неприятельских кораблей. За дымом произошел взрыв, как будто хлопнула ракета, и искры посыпались на нас, а один дом в городе загорелся, но его погасили, и дом этот, как теперь помню, стоял недалеко от Благовещенского моста, почти против Бореля [279]. Как же могли мы это видеть со Смоленского поля? Вообще дичь снится ужасная.

Из целой тетради писем, приложенных к этому листу, видно, до какой степени меня эту неделю одолевала корреспонденция, а тут еще не приложены мелкие записочки, не стоющие внимания. Всем отвечал я на разных диалектах, а к иным написал сам. Кончил рассказец «Две встречи» и послал его Старчевскому. Читал мало: всего кое-какие статейки из «Вестминстерского обозрения», да еще много времени уносит у меня чтение политической газеты «Galignani», которую получаю чрез А. П. Евфанова.

Из увеселений были замечательны: в прошлую субботу вечер у Шуберт с Краевским и Щепкиным, маленький «чертенок» опять начинает мне нравиться, тем более что для успешного хода дела нужно преодолеть трудности, еще неизвестно кем воздвигаемые. На Григоровича ей наговорили бездну ужасов, то же, может быть, и на меня. Чем более всматриваешься в наш театральный мир, тем более открываешь в нем мерзости, самолюбия и недоброжелательства. Щепкин был мил и оживлял беседу анакреонтическими выходками.

В воскресенье на большом обеде у Николая Алексеича Стремоухова, где были из лиц приятных: старик Анненков, Бегер Ал. Фед., остальное общество состояло из своих же, еще Замятнина, человека средних лет, с противной физиогномией и гордящегося — а чем, неизвестно, и многих молодых хлыщиков вздыхателей, между коими встретил конногвардейского Стремоухова, никогда не бывшего красивым, а нынче напоминающим Михайлова. К Михайлову поехал я около 8 часов и застал его одного, в подлейшей бедности, без папирос и чая. Дал ему четвертак! (о дружба, это ты!) и написал ему в альбом стихотворение, которое мои будущие Босвели и Муры [280] могут, если потребуется, отыскать в его книге, за моей подписью. С ним пошли мы к Рахмановой, которая мне достаточно понравилась, и еще у Марьи Емельяновны, от которой ничего не добились. Я безжалостно смеялся над бедностью Михайлова; идя с ним рядом и любуясь на его пальто, я повторял: «Думает ли публика о том, что у такого щеголя нет ни копейки!». Покинув Марью Ем<ель-

---

* богемной жизни *(франц.).*

яновну> часу в одиннадцатом, мы сказали: «Нет! в Петербурге напиться чаю не так легко, как оно кажется!». Это пойдет в мой роман, при случае.

Во вторник была репетиция розыгрыша серебряной лотереи, а в среду сам розыгрыш. Видел бесконечное число приятелей, в том числе милого юношу Закревского, Философова, Мухортова, Языкова, Инсарского, испортил себе аппетит завтраком и потому в клубе обедал дурно, но пил много. Играл в бильярд с Петром Николаичем, выиграл две партии, проиграл три и потом, утомившись, читал газеты. Случайно взглянув на балкон, узрел там Долгорукова, Мухортова и Авдулина, они сидели и наслаждались прохладой после дождя, ибо жары стоят адские. Я присоединился к ним, мы беседовали приятно, пили пунш ананасный, от которого у меня заболела голова, и разошлись поздно. В этот день видел мильоны знакомых.

У Григория был вечер во вторник или в понедельник, где собралась хорошая компания: Арсеньич с женой, Дрентельн, Своев, Золотов и Каменский, а из лиц слабоватых два носорога, Марья Ивановна Крылова и обол [281] Сталь с сестрою, весьма похудевшею и возбуждающею общее участие. В субботу у меня, кроме всегдашних субботников и верных посетителей, имелись Каменский и Панаев.

Кажется все,— но выходит еще не все. Вчера я ехал в Невской карете, окруженный недурными доннами, *ви·ейн зультан ин дер серайль* *. У Пассажа я вышел, смотрел вещи старинные в магазине, где их распродажа, и нашел цены непомерными. Обедал у Григория, играл с детьми, avant soirée ** провел у Григорьева, предавшегося плачевной мнительности, и день кончил у Краевского с обычным бильярдом и ужином. Гостей имелось немного, но скучно не было. Цензор Пейкер задержал «Приключения мертвеца», но я к этому холоден.

Среда, 5 мая.

За отличный апрель приходится платиться грустным началом мая не потому, чтоб время было дурное, напротив того, все расцвело, все благоухает и зовет к увеселениям, но оттого, что реакция в расположении духа приходит сама, не спросясь, а теперь она оправдывается всем, что около нас совершается. Брат ушел с полком в Петергоф, мне скоро приходится ехать в деревню, а кто может сказать, что произойдет в нашем семействе и в круге близких лиц до моего возвращения? Что ни говори и как ни ободряй себя, но то достоверно, что со всяким днем может произойти морская потасовка, что тысяч шесть вражеских пушек все лето будут находиться почти в виду Петербурга и что немец может отплатить нам войной за то, что мы выручали из беды немца, и не один раз. Хотя вчера в театре актер Григорьев твердо уверял в водевильном куплете, что и французы и англичане будут побиты, но уверения подобного рода не могут утешить тех, кто посылает на войну своих сыновей, друзей и братьев: им мало одного того, чтоб неприятеля побили,— нуж-

---

* как султан в серале *(нем., искаж.)*.

** начало вечера *(франц.)*.

но, чтоб и дорогие нам люди остались целы. Нет слова о том, что всякое испытание вроде настоящего нужно сносить с веселостью и твердостью, но все-таки посреди спокойствия и увеселений сердце по временам болит и сжимается. Как бы то ни было, надо отдать справедливость Петербургу в том, что его жители ведут себя прилично и благородно, без трусости и малодушия и без копеечного энтузиазма, который хорош только на минуту, а потом остывает с быстротою. Все вокруг нас спокойно, делает свое дело, веселится, где может, и даже родственники лиц, находящихся перед неприятелем в Азии или на Дунае, тревожатся настолько, насколько оно обусловливается необходимой силой привязанности. Эта твердая покорность необходимости лучше всех возгласов говорит о силе России.

Вернемся, однако, к очередным событиям. Несмотря на обещание и желание работать, я все еще предаюсь лености, не двигая вперед ни романов, ни повестей; вероятно, леность продлится еще несколько времени, ибо мне хочется пожить немного в Петергофе, где, конечно, будет не до занятий. Остановлюсь я у брата, а приютов буду иметь повсюду немало, как, например, у Панаева, у Тургенева, который, впрочем, еще не вернулся из деревни. На днях была у нас Е. Н. Вревская и сообщила известие о том, что она по случаю дел, незанятых квартир и продажи дома, вероятно, почти не будет жить в деревне. Это очень горестно, не столько для меня, сколько для матушки. В вознаграждение за то к нам, может быть, приедет М. Н. Корсакова, и сверх того прибавился один хороший сосед, именно Рейц, наконец, оставивший для сельских наслаждений свое место инспектора в Училище правоведения. На милейшего Трефорта и Мейера я тоже немало рассчитываю. Даже у меня есть отдаленный расчет на *донн,* с помощию Маслова, тем или другим путем.

Вчера, не имея ни малейшего дела вечером, я отправлялся в русский театр [282] смотреть драму Потехина «Суд людской, не божий». Драма имеет эффекты и нравится публике, но насчет потехинского таланта я остаюсь при своем мнении: на Парнас встащил Потехина Писемский, а сам Потехин — великая посредственность. Вот уж в этой драме нет ни одного *нового* словечка, хотя нет и слова устарелого или очень глупого. Концепция всех характеров хороша настолько, насколько она хороша у всякого умного человека, но выполнены они без всякой артистической живости. У Мен<ь>шикова, автора «Шутки», и т. д., более уменья подмечать живую сторону русской жизни и русской речи. Потехин будто изучал крестьян чрез посредство хороших литераторов вроде Тургенева и Григоровича. Но он очень молод, и из него может что-нибудь выйти; может быть, это что-нибудь окажется совершенно противоположным его настоящему направлению. Все-таки он выше многих playwright'ов *.

Разыграли пиесу недурно, хотя нельзя не заметить было, насколько десятков лет отстали понятия наших актеров от литературы в ее теперешнем развитии. Всюду проглядывает идиллия, аффектация, умничанье, работа *от себя,* как говорил Брюллов, а иногда и просто отсутствие всякой работы над ролью. Та актриса, представляя крестьянку, оделась как

* драматургов (*англ.*).

для bal costumé * (на Песках [283] где-нибудь), другая, заплетя косу, s'est fait creper les cheveaux autour des tempes **, не говоря уже о том, что все актеры, даже из лучших, нарядились в пух, забывая о том, что мужик разве может так одеться на светло христово воскресенье. Я готов держать пари, что в дирекции нет холщевых рубах даже или лаптей, или порток пестрядинных; но если уже плохие актеры обязаны наряжаться нарядно, то кто мешает лучшим-то одеваться сообразно истине? Леонидов только в одной сцене оделся прилично, в синюю рубаху, но вслед за тем он явился с дороги, на постоялом дворе, в тонком синем кафтане и цветном кушаке. И что за декорации? что за фигурные избы?

Леонидов, несмотря на плачевные истории, сообщаемые про него Григоровичем и Лонгиновым, актер, несомненно, даровитый и сверх того напитавшийся натуральностью в Москве,— что делает и ей и ему честь. Когда он вышел на сцену, я забыл про существование Леонидова и долго не мог сообразить, кто сей хороший актер. Самойлов больше похож на цыгана или кучера, чем на мужика, однако с его умом он вывернулся, а в последнем акте, в сцене разговора с глупым барином, был весьма хорош. Роль Читау, эффектная, но неблагодарная, не примирила меня с этой госпожой: фигура ее кажется мне неблагообразною и попрежнему напоминает мне Галиевскую.

Шау подарил мне свою историю словесности [284], которая гораздо лучше, нежели я ожидал, и может служить отличною справочною книгою (я заметил в ней кой-какие промахи, говорю это не без гордости!).

Воскресенье, 9 мая.

Несмотря на увеселения всякого рода, Полиньку Рахманову, получение денег из «Отечест<венных> записок», покупку книг и хорошую погоду, все на сердце не совсем светло. Анненков предложил мне скорей ехать с ним в деревню, ко мне и к Маслову, но еще сыро, и надо дождаться ответа Маслова о том, проходи́м ли путь, по которому мы поедем. И в Петергоф нельзя уехать для встречи весны,— брат еще не приискал себе удобного помещения. Третьего дни мы обедали у Луи с Краевским, Дудышкиным и Полинькой, вслед за тем я ее возил по Островам [285], где все еще пусто и довольно печально. Она болтала и веселяла меня всю дорогу, что, однако же, не мешало мне приметить, что сия юная донна лжет ужасно, хотя и не от злонамеренности. Когда мы приехали к ней и я посоветовал ей снять промоченные башмачки, чтоб надеть туфли, она сказала жалобно, что у ней нет ни калош, ни туфлей. Этот переход от болтовни и веселости к тихой жалобе был так трогателен, что я готов был в эту минуту многим пожертвовать для благосостояния промотавшейся вертушки. Вот еще факт, доказывающий мое страшное мягкосердечие: в один из этих дней, у Григория на вечере, Маша раскапризничалась и хотела оцарапать бабушку; мать ее за то взяла розгу и с помощью угрозы принудила просить прощения, поцаловать

---

* костюмированного бала *(франц.)*.
** завила свои волосы на висках *(франц.)*.

у бабушки руку и подать ей скамейку для ног. Когда я увидел ребенка, смирившегося и сквозь горькие слезы произносящего приветствие и усиливающегося притащить скамеечку, у меня чуть не пошли слезы и сердце сжалось и нежность к дитяти разрослась до болезненности. Я очень хорошо знал, что это горе минутное и полезное, что Олинька делает свое дело, что пора исправлять избалованное дитя,— но со всем тем, вообразив себе эту сцену, я и до настоящей поры чувствую слезы на глазах.

Вчера получал я деньги от Краевского, и чуть было мы оба не пропустили ста целковых, что, однако, было замечено в Гостином дворе и повергло меня в тревогу, и заставило съездить в Грязную [286], где счет был и поправлен. Потом запасся я бумагой, фуражкой, перьями, косметическими снадобьями и проехал домой к обеду, обедали у нас Дрентельн, Олинька и Павел В. Анненков. Беседа шла хорошо и согласно, обед оказался недурен, я показывал Ан<ненко>ву свои картины и редкости, обещаясь, что у меня со временем выдет нечто похожее на музей абботсфордский [287]. После обеда беседовали и перебирали общих знакомых, однако же, не ругая их; явился Гаевский, узнавший о том, что я скоро еду. Он долго хворал грудью и теперь себя худо чувствует, но доктор, его пользующий, говорит, что серьезного расстройства еще нет, однако может оно произойти при его образе жизни. Я вновь приглашал Гаевского к себе в деревню с полной готовностью и очень буду рад, если он соберется. Часу в восьмом я простился с гостями и пошел вдвоем с Анненковым по образу нашего хождения, беседуя об *абберации половых побуждений* (кажется, речь началась с Арапетова). Он прошел в клуб, а я к Дюфуру, бывшему Беллизару, где истратил около 20 целковых на французские и английские книги. Остаток вечера провел дома и вспомнил старое время библиомании, просматривая, разрезывая, щупая и нюхая приобретенные волюмы [288].

Понедельник, 10 мая.

Поэзия должна быть во всякой жизни, как цветок на каждом растении. Разница в том, что цветок всегда виден, но требуется зоркость и гений для открытия поэзии там, где она еще не указана.

Встреча с двумя женщинами. Поворот плеча, повергнувший меня в восхищение. Маленькие ножки под коротким шелковым платьем.

П<онедельник>, 10 м<ая>.

Вчера в половине 12-го с обычной своей пунктуальностью Краевский явился, по условию, увлекать меня для кронштатской поездки. Я же, с обычной своей аккуратностью, уже сидел без штанов, приготовляясь переодеваться. День казался немного холоден и ветрен, так что мы оба, имея на себе пальты, захватили в руки шинели, впоследствии оказавшиеся «ненужной посудой», как гласит либретто «Роберта». У самого Нового моста сели мы на пароход, уже преисполненный народом и, заплатив за места, еще имели случай видеть открытие новой часовни на мосту. Не обладая хорошим зрением и не взяв из дома трубки, я видел

только, как упал халат, окутывавший часовню, и под ним открылось нечто весьма изящное. «Народу-то, народу,... твою мать!» — как говорил мужичок. Народу же было довольно и на пароходе, ни знакомых, <н>и полузнакомых мы сперва не открыли никого, а потом в течение всей экскурсии я встретил генерала Броневского, братьев Бегеров, Маркевича Болеслава, Очкина и Баранова. Давка на пароходе и в буфете была такая, что нельзя было достать ничего есть, и, несмотря на голод, терзавший мои внутренности, я ничего не проглотил (кроме табачного дыма в изобилии) до 4-х часов. Петергоф еще довольно жалок с моря, зелень жидка, и все как-то бедно. Повозившись на пристани, на ветру и на солнце, мы вновь сели на пароход и с музыкой (впрочем, почти не игравшей) двинулись к Кронштадту. Прежде всего открылся вблизи рейд с чинно расставленным флотом; равняясь с каждым кораблем, мы кричали ура, на что офицеры и добрые матросики отвечали нам тем же. Происходило махание шляп, поднятие весел, и вся эта картина дружественного обмена чувств производила на души отрадное впечатление. За главными силами флота пошли форты и кронштатская *стенка,* унизанные пушками; пройдя передовой форт Александр, мы повернули и снова пошли мимо военных судов и укреплений,— и те и другие были усыпаны военным народом, приветствия гремели отовсюду и махания шляпами тянулись до бесконечности. Это была самая братская, милая минута переезда. Затем мы обедали в вокзале довольно плохо, пили какой-то сандаран [289] братьев Иконниковых, и я вернулся в Петербург с отчаянной головной болью, вероятно, от солнца или долгого гляденья в лорнет, что мне вредно.

Вторник, 11 мая.

— — — — — , поел и завалился спать.

И так пройдет вся жизнь — — — — — — — — — !

Оно, впрочем, сказано более для красоты слога. Вечером брошены были в огонь пять целковых для бенефиса стервеца Леонова, который и гроша не стоит. Давали «Влюбленную баядерку» и какую-то оперетку «Нюрембергская кукла», от которой я уехал с первых сцен [290]. Видел Кирилина, Краснокутского, Бегера, В. Петрова и еще кого-то. Оттого ли, что я сидел почти воткнувши нос в сцену, или в глазах у меня рябило после утреннего безобразия, только танцовщицы и хористки казались мне крайне плохи. Суровщикова, о которой теперь кричат все, даже благороднейший Андрей [291],— не только не хороша, но даже дурна, неправильность ее лица имеет в себе нечто глупое, но сложена сия персона приятно. Ришард, игравшая главную женскую роль, имеет в лице нечто похожее на Наталью Дмитриевну,— очень мила и ловка, но худа и мала, а я с некоторых пор терпеть не могу маленьких женщин. Булахов (тенор) красив собой, но голос у него *тонок и не чист.* Танцовали все как-то вяло, какие-то индийские танцы, все стоящие одной порядочной мазурки. Вообще, танец всегда одинаков, если он не национален, то он глуп. Из головы сочинить хорошего танца, особенно без групп, невозможно.

Пробираясь домой в ясную летнюю ночь, я встретил несколько баядерок, уже слишком привязчивых,— этого давно не было: изменение в их нравах должно быть приписано изобилию армейского войска и молоденьких офицеров, никогда не бывавших в Петербурге. По Невскому совершенное гулянье, продолжающееся до поздней ночи. Покинув эту вавилонскую улицу и выйдя на бульвар, я предался прозаическим размышлениям о том, что у меня деньги текут, как вода между пальцев... «Ликуй же еще несколько времени, увеселяй себя дрянью и чепухой, держи донн на пенсии, угощай разных m-lles Zélmas и поощряй теноров вроде Леонова — все, что ты теперь делаешь, должно было делаться назад тому лет десять!».

Придя домой, я, застав Жуковских, очень обрадовался и вечер закончил приятным ужином.

Суббота, 16 <15> мая.

Торжественно снаряжаюсь в деревню, заготовляя сигары, книги и прочая, но погода стоит такая ветреная и печальная, что нет особенных порывов к отъезду. Увы! Увы! oime! * что делать мне с моим несчастным сердцем и с моей мнительностью! Как завидую я хлыщам, весело бродящим по Невскому в час ночной и помышляющим только о собственном своем веселии. И у них братья, друзья стоят против неприятеля, но им и горя мало. У меня брат в Петергофе и, по всей вероятности, не увидит врага, но я не могу подумать о нем без болезненного сжатия сердца. Воспоминание о том, как мы расставались при начале венгерской кампании [292], живет во мне с неслыханной ясностью. Все прошло, все минуло благополучно, а между тем, я все тот же при всяком отъезде, при всякой недолгой разлуке с близкими лицами. Даже в прошлый четверг мне было как-то тоскливо на вечере у Краевского в последний раз до осени; мне было жаль этих четвергов, где всякий делал, что ему было угодно, и где не скучал никто. С Лизаветой Николаевной я прощался в среду, но ее мне не было жаль: она имеет особенное дарование быть до того неразговорчивою и сухою, что на нее сердишься, хотя и без причины.

Вчера весь день я чувствовал себя не то чтобы грустно,— этого со мной не бывает,— но как-то невесело. Читал повесть Бернара «La femme de 40 ans» ** и остался ею доволен, хотя не столько, сколько бывал доволен другими его вещами. Может быть, я изменился, может быть, повесть слабее. За тем последовала статья Шаля: «Lord Jeffrey» ***[293], не столь пустозвонная, сколько можно думать, судя по имени автора, которого я когда-то сравнил с Буйновидовым. Впрочем, труд кажется сносным оттого, что он скрашен выписками из писем Джеффри и превосходными выписками, собственно же Шаль, как подобает этому мерзавцу (Буйновидов c'est trop bon pour lui ****), от себя

* увы! *(греч.)*.
** «Сорокалетняя женщина» *(франц.)*.
*** «Лорд Джеффри» *(франц.)*.
**** это слишком хорошо для него *(франц.)*.

не сказал ничего. Его сведения в одно время велики и жидки, а крайняя их жидкость заставляет заподозрить огромность их. По-видимому, Шаль читал все, но я думаю, что он читал только заголовки книг и рецензии на них, так его отзывы темны и увертливы. Нынче есть эрудиция своего рода, о которой еще никто не говорил,— эрудиция на рецензии, фельетоны и объявления. Из этих трех источников можно нахватать огромный фонд и при ловкости пускать его в дело с успехом. Все мы немного шарлатаны, но Шаль шарлатан бесстыдный и вдобавок плаксивый! У него второе слово: décadence. Сам он чистейший décadence историка словесности. Смело скажу, что с самыми незначительными материалами я в неделю могу написать во сто крат лучшую биографию Джеффри.

Среда, 19 мая.

Анненкова задерживает в городе его Пушкин [294], а я, как всегда водится, в то время, когда мне предстоит собираться в дорогу,— не делаю решительно ничего. А между тем время идет без работы, голова трудится подобно мельнице без зерен, и дни проходят в городе, когда бы их следовало проводить в деревне. Всякое дуновение ветра, приносящее запах березовых листьев с Большого проспекта, приносит мне вместе с тем и укоризну. Одна только дождливая погода меня укрощает и то не совсем,— как хорошо было бы писать и читать под этот дождь, между цветами и зеленью!

В прошлую субботу встретил С. и возобновил наши чернокнижные отношения. Эта встреча меня повергла на сутки почти в лихорадку, такое влияние еще производят на меня женщины! Хорошо, что на второе свидание я себя хорошо замучил и тем успокоил. Никогда еще подобная дурняшка не действовала на меня так! Но подобные истории видим мы каждодневно: qu'importe la pièce, si elle m'emeut *.

Работать ничего не могу, но читаю довольно. Взял у Фохта «Nouvelles italiennes» par Musset ** и пробежал их в день с великой приятностью. Трудно иметь талант милее и художественнее, хотя у него очевидно l'echeveau se brouille ***, чуть дело доходит до чего-нибудь серьезного. Как обворожительны его женщины: Цита, Джиованни и Берениче (прачки), Пагота Дижиа и, наконец, актриса Мария, тиролька! Да и итальянцы очень хороши: сводник Джузеппе, плут Чиччио и воришка Нино, а parlessa **** истории Чиччио и Нико, с пляской и буфонством — верх совершенства! Вот что значит любить страну и понять ее народ. Боже! когда я увижу Италию? Или нет,— пусть увижу я ее, изнурясь в силах, нуждаясь в обновлении. Gardons ça pour la bonne bouche, pour le remède suprême *****.

Pensées detachées ******.

---

* не все ли равно кто, раз она меня возбуждает *(франц.)*.
** «Итальянские рассказы» Мюссе *(франц.)*.
*** моток запутывается *(франц.)*.
**** болтливый рассказ *(итал.)*.
***** Оставим это напоследок, как самое сильное лекарство *(франц.)*.
****** Отдельные мысли *(франц.)*.

Mai 1854.

Мое положение сходно с положением сабинянок, между римлянами и родителями [295].

— Педант сходен с хорошо надутым пузырем, от которого отскакивает камень и по которому скользит пуля. Но он не выдерживает удара булавкою.

— Сюжет. Провинциальное тщеславие. Х<отинск>ий.

— Характеристика нравственно-гнилого человека.

— La maison de campagne d'un bourgeois cossu *. (Острова).

— План героической пиесы: «Две женщины».

По крови мне родня, но духом мне чужая.

— Многие люди сходны с испорченным барометром, показывающим *ясно* при хорошей погоде и *дождь* при дожде. Предугадывать — не их дело.

— Обстановка Фердинанда Вейнерта на Крестовском Острову.

— Зотов, имеющий способность в конце апреля выкупаться и найти первый гриб.

— Il ma faut des sensationes violentes,— dissait une demoiselle petite et faible de santé (M. M-de) **.

— Редкая молодая немочка, из образованных, не пишет стихов.

— Разговор о помещиках, не носящих ничего кроме халата.

— Нельзя ограничиваться одною простотой в словесности. Новые, несколько изысканные слова и обороты иногда полезны, зацепляя внимание читателя там, где нужно.

— Lorsqu' Auguste buvait... etc. Arrogance ***.

— Отольются волку овечкины слезы.

2 июня, сельцо Мариинское, в моем рабочем флигеле.
2 часа пополудни. Среда.

Обычный мой год кончился; истинно и тепло благодарю за него бога. Что бы ни ждало меня впереди,— autant de pris sur l'ennemi ****. Дружба, труд, наслаждения и пиры, спокойствие и благосостояние,— все, кроме любви, а как бы нужно немножко и этого ингредиента. Mais assez d'abstractions *****. Наскучив ждать Анненкова, я выехал с матушкой в прошлый четверг и хорошо сделал, хотя сильное имел искушение прожить в Петергофе до 15-го. Последние дни в городе ознаменованы были парадной встречей Сатира (обеды у меня и Каменского), двухкратной поездкой на Острова, к Краевскому, Гаевскому и на Минеральные воды [296] с Сатиром, да сверх того, трехдневным пребыванием в Петергофе, где Григорий занял чистенький и просторный домик. Начало

---

* Деревенский дом зажиточного буржуа *(франц.)*.

** Мне нужны сильные ощущения,— говорила одна маленькая и слабенькая девица (М. М-д) *(франц.)*.

*** Когда Огюст пил... и т. д. Дерзость *(франц.)*.

**** это уже взято у врага *(франц.)*.

***** Но достаточно отвлеченностей *(франц.)*.

поездки было плачевное, меня адски (да и всех почти) закачало на пароходе боковой качкой,— если б еще час езды, мои внутренности выскочили бы за борт. Все дни погода стояла сырая, а во второй — дождь лил не переставая, что не помешало мне осматривать все петергофские чудеса и выхаживать в день верст по 15. Компания у брата собиралась самая отрадная и несколько *новая* (отчасти потому, что она хорошо забыта): Ребиндер, Саша, Вельяминов заяц, князь Волхонский, Шульгин, которого я видал в Английском клубе; он оказывается милейшим добряком, любящим попить и покушать. Старые пажи были ласковы и внимательны до крайности, многое мы припомнили и о многом беседовали. Впечатление Петергоф оставил во мне не прежнее поэтическое по случаю серых дней и грязи. Ни баснословно богатые острова (Ольгин и Царицын), ни Новый парк не могут равняться с Нижним, старым, Екатерининским садом, где я был дважды, дважды любуясь на пирамидальный[297] фонтан[298], так подло, так неудачно воспетый мною в прозе[299]. Мне было стыдно смотреть на эту поэтическую лужайку, мною опозоренную. Но я еще вернусь к этому фонтану и прославлю его достойно.

У Монплезира в серый вечер встретил Краснокутского и гулял с ним довольно долго, почерпая интересные сведения о его вечерах в интимном круге царской фамилии. К Тургеневу не заехал по незнанию его дачи, Лонгинов переходит в Москву на службу и жительство. Дрентельна отправляют командовать запасной бригадой в Золотоношу, тяжко расстаться с этим золотым человеком, верным другом и превосходным собеседником,— мы будем переписываться. По крайней мере он будет вдалеке от пуль вражеских, что ему не по нутру, но всем его любящим (а его все любят) приятно. На днях я видел Ванновского во сне, будто вернувшимся из-под Силистрии[300], плешивым и попавшимся мне у Луи, где мы расстались в последний раз. Сколько разбросано дорогих людей, и где найти новых! Помню, что во сне я со слезами целовал Ванновского. Финляндцев ведут в окрестности Систербека[301], где боятся нападений. Чарльз Непир уже прошел тремя эскадрами мимо Ревеля, Краснокутский говорит, что бомбардирование Кронштадта может случиться, но, вероятно, издали. По всей дороге к Нарве расположены войска, но у нас в Гдовском уезде ни одного солдата, спокойствие адское, тишина невозмутимая: здесь только жить людям, измученным душою. Самая большая забота об урожае, и, кажется, урожай будет хороший.

Переезд до деревни был не дурен, у Бландовой слушал музыку, видел хорошенькую Mathilde, познакомился с девицей Кизевицкой, типом лифляндки, по-старому приходил в восторг от древнего дома и состроил планы для приобретения дубового шкапа и одного знакомого мне женского портрета в овальной раме.

Воскресенье, 6 июня. С. Мар<иин>ское.

Журнал почти прекращен на время по весьма понятной причине. То, что я делал прошлый год в деревне, то я делаю теперь и еще буду делать в течение нескольких месяцев. Те же удовольствия, те же тревоги (их несколько прибавилось), те же соседи и те же развлечения. Разница в неважном. Не для увеселения и событий приезжаю я в свою лабораторию, вся задача в том, чтоб трудиться не скучая, наработать поболее и запастись здоровьем. Об роскоши жизненной помышлять нечего.

Лето стоит превосходное, и, что замечательно,— у нас будет урожай всего, вещь редкая в этом крае. Еще одна особенность, это необыкновенное спокойствие дворян и народа, о делах войны говорят редко, и все убеждены не только в счастливом, но и скором ее окончании. Какая-то особенная атмосфера тишины нас облекает. Мейер, если не врет, говорит, что слышал своими ушами пальбу в день гангеудского дела[302], а мы здесь и покойны и отдалены от тревог, будто живем на Лене.

Работы мои изменились радикально против прошлого года. Вместо скучных этюдов по части истории литературы пишу (с охотой и, кажется, успехом) «Легенду о Кислых водах», деревенский рассказ[303] и пылаю желанием приступить к другим созданиям фантазии чистой. В день исписываю листов около трех голландской бумаги и работаю упорно, хотя иногда глаза возмущаются. Видел эти дни Томсонов и Мейера, они опустились за год и как будто позагрязнились, по крайней мере, второй явился страшным неряхой.

Воскресенье, 13 июня.

Сегодни ровно год, как я начал писать журнал. Вчера вечером, ровно через год после моего прошлогоднего появления в деревню, я окончил «Легенду о Кислых водах», из которой вышла большая повесть, объемом с «Жюли». Внимательно обозрев эту новую вещь, произношу о ней следующее суждение. Она очень занимательна и будет иметь успех, если ее не изуродуют в цензуре. Интрига сплетена отлично, завязывается и развязывается самым непринужденным образом, раззадоривая интерес читателя всеми средствами. Прогресса *отрицательного* весьма много, иначе, впрочем, и быть не может: все, что года могут дать, мне дано. Нет неровностей, бесцветных лиц в виде Фифа или Германа, лиц идеально эффектных на добро и зло, вроде Армгольда[304], нет злодеев, имеющих вид общего места. Иные лица новы, например Давид, Койхосро, отчасти Барсуков, другие подправлены и подмазаны тщательно, ни от одного не отошел я, махнувши рукой и говоря: «оставайся тенью, из тебя нечего сделать». Картины природы хороши, но не знаю, понравятся ли они людям, не видавшим Кавказа. В этих картинах есть частица излишней яркости и шарлатанства. Зато пламени меньше и женское главное лицо выезжает только на одной своей красоте и занимательном положении. У Лиди нет предан-

ности и boyishness * Жюли, Полинькиной неразвитости, энергии Лолы и чувственности Жанеты[305]. Создана она головой, а не сердцем, но создана довольно умно и ловко, только строгий критик приметит ее слабости. В слоге, я думаю, нет прежней сильной жилки. Мне, кажется, ловко удалось перепутать манеру рассказа сухого с изложением сцен и тем облегчить себе работу. Однако медленность исполнения показывает, что работа не могла назваться легкой. Вообще «Легенда», принимая в соображение ее объем, есть самая правильная из моих вещей. Все, что можно было изгнать с помощью анализа и ума, я изгнал безжалостно, оградив тем весь труд от приторности, однообразия и аффектации. Шлифовка подробностей займет около недели, ее надо выполнить с добросовестностью, и потом приступить к повести «Любовь и вражда», отличной по замыслу.

Среда, 16 июня.

Сегодни проводили баронессу Вревскую, Машу и мисс *Пирс,* которая мне очень нравится. Была буря, дождь и ветер, прежний сирокко перестал дуть, и, кажется, жар поспадет, а то эту и прошлую неделю термометр в $8^1/_2$ часов утра в комнате показывал 30 градусов, у Обольяниновых на солнце было 39. В воскресенье обедали у нас Аграфена Федоровна с Марьей Николаевной, Вревская и m-me Блок Ариадна Александровна, которая сложена восхитительно. Я давно уже потерял вкус к маленьким женщинам, на опыте убедясь в их дурной конструкции. С воскресенья глаза стали болеть менее, может быть, оттого, что работаю я с меньшим остервенением. Писал к Григорию, Гаевскому и Некрасову, к Григоровичу и Ростопчиной. В газетах читал описание сшибки при Гамле-Карлеби, история баркаса, облитого кровью, и лейтенанта, перебитого ядром пополам, глубоко меня зацепила. Вот как добывается слава, и надо видеть, с какой любовию какой-то Барановский[306] из Гельсингфорса описывал все эти сцены! Какие еще звери мы — люди XIX столетия, и как тяжко жить человеку, с чего-то думавш<ему> всю жизнь, что время войн и убийств прошло для нас! Сожжение безвинных и безоружных городов, грабежи на море, ожесточение, ложь и ругательства со всех сторон, клеветы на Россию,— все это грустно и обидно. С удовольствием прочел о последнем долге, отданном в Одессе умершему капитану Тайгери[307]. Наше правительство ведет себя отлично, и даже газеты наши, сравнительно говоря, не так подлы. Но все-таки грустно. 6, 7, 8, 9 и 11 Мейер слышал пальбу вдали, и баронесса сегодни слышала что-то похожее на выстрелы,— неужели отсюда можно слышать канонаду, это мы узнаем, получив газеты. Флот Непира перед Гельсингфорсом, и, может быть, пока я пишу эти строки, сотни, тысячи отличных и добрых людей, не сделавших ничего друг другу, валяются перебитые пополам, как тот лейтенант, о котором писал кровожадный Барановский. Не хочется верить,

---

* ребячества *(англ.).*

что все это делается вблизи нас, в наше время, в двух днях езды от моего уединения.

Пятница, 25 июня.

В эти дни двинута немного маленькая «Любовь и вражда», почти кончено «Первое письмо И<ногороднего> п<одписчика>» о поэзии в стихах и прозе, с разбором «Вильет». За «Вильет» пойдет scènes de la Bohême *, а потом уже и не знаю что [308]. Немножко выезжал, видел милого <...> Трефорта, в среду обедал у Обольяниновой, где видел Рейцову с двумя немками падчерицами (из них одна за бар. Будбергом), Льва Николаевича, Бибикову и Н. А. Блок с его довольно миленькой женой. Получил несколько приглашений в гости, между прочим от Маслова на 26-е, но когда поеду на большие выезды — не знаю: боюсь длинных дорог и головной боли, которой зародыш, кажется, в воздержании моем. Действительно, в деревне мужики могут поставить мне монумент: не трогал я и не трогаю их жен и дочерей, отчасти из принципа, отчасти по отсутствию искушения, сверх того, в нашем патриархальном уголку такие дела трудно совершать; пример тому Маслов, не стесненный обязанностью помещика. Вчера обедал у нас Н. А. Блок, а сегодни Бибикова. Письма и газеты приходят из Петербурга с исправностью, английские газеты тоже. Непир близко Кронштата, но из всего доселе случившегося можно убедиться, что против гранита никакой флот ничего не сделает.— Стал работать поумереннее и купаться, что, кажется, приносит пользу, однако, вчера и третьего дни посетила меня давно не бывалая скорбутическая [309] опухоль десен. Затем все обстоит благополучно, dans le meilleur des mondes possibles **.

Среда, 30 июня.

Вместо описания того, что я эти дни делал, лучше будет припомнить вещи, прочитанные и читаемые мною с приезда в деревню. Их довольно, и я могу сказать по справедливости, что заглаживаю прошлую праздность всеми мерами. И мешают мне мало, вообще, я пишу и читаю в день часов до 7, средним числом. Глаза поуспокоились, из привычки или вследствие купанья.

Итак, начнем с 1) *История английской литературы*, подаренная мне Шо [310], очень полезна и даже занимательна, особенно первая ее половина. Она пространна и оттого не суха, для справок неоцененна, имеет множество выписок и заметок в британском вкусе, снисходительно пропущенных доброй цензурой 40-х годов. Во второй части мало для меня нового, mais tout l'ouvrage est un fil solide pour mon propre chapelet ***.

2) «Le livre posthume» par M. du Camp **** [311], прочитана не вполне,

* сцены из <жизни> богемы *(франц.)*.
** в лучшем из возможных миров *(франц.)*.
*** Но весь труд дает прочную основу для меня лично *(франц.)*.
**** «Посмертная книга» М. Дюкана *(франц.)*.

по обилию философски-сентиментальной ерунды. Это arcadie * Рене и Обермана [312], однако, имеющее в себе несколько умных мыслей и хороших описаний. Идея о переселении душ смешна, но то, что говорится о *труде и праздности*, в наш век стоит внимания. Тут тронута струна довольно новая. Вообще, «Revue de Paris» и «Revue contemporaine», которые я теперь перечитываю, отчасти помирили меня с новой франц<узской> журналистикой.

3) «Les promenades dans Rome» ** Стендаля книга умная, странная, дурно написанная, но привлекательная для лакомок и любителей of a desultory but still a fruitful reading ***. Много милых анекдотов и взглядов на искусство. Есть парадоксы и странные приговоры, но все это наводит на мысль. Идея наслаждаться одним городом без устали мне очень нравится, даже и не Рим может дать умному человеку пищу на всю его жизнь. Есть скучнейшие места об архитектуре и номенклатуре редкостей,— в этом нельзя винить автора, он думал сделать из своей книги Guide des Artistes ****. Я рекомендовал ее Григоровичу.

4) Скоттовы биографии: Фильдинга, Ричардсона, Смоллетта [313]. Наука писать биографические этюды так шагнула вперед, что все это кажется детской работой. Но манера рассказа, рассуждения и блестки прикрывают бедность содержания. Я утвердился в мысли писать о Смоллетте, но прежде надо перечитать многое. Я стыжусь своего Гольдсмита и Ричардсона, которые когда-то нравились читателям. «Скотт» и еще более «Джонсон», утопленный в «Библиотеке», отчасти выкупают этот грех моей юности [314].

5) «Les petits fils de Lovelace» ***** А. Ашара [315]. Сносный роман, в котором есть довольно удачное лицо — дон Жуан XIX века, подлец, фат и мошенник. Рассказ хорош по частностям, но есть слезливость и избитые пружины. Вещицы Бернара (А.): «Scylle et Charibde» и «Un terrible modèle» ****** читаются без отвращения, особенно последняя, в которой очень смешон буржуа, торговавший красками.

6) «Souvenir des Jardies» ******* L. Гозлана [316], драгоценная штучка без окончания, о жизни и обстановке Бальзака, великого из великих. Рассказ отличный, причудливый, блестящий.

7) «Le Nil» par M. du Camp [317] и «Voyage aux villes Maudites» ******** Делессера [318], две книги, имевшие успех. Читаются туговато, может быть, потому что не способен я находить прелести в песчаных пустынях и африканской духоте. Я поминутно спрашивал сам себя: да чем же восхищаются эти господа и неужели близость скорпионов и змей не повергает их в отчаяние?

---

* аркадия *(франц.)*.

** «Прогулки по Риму» *(франц.)*.

*** отрывочного, но всегда плодотворного чтения *(англ.)*.

**** Путеводитель для художников *(франц.)*.

***** «Внуки Ловеласа» *(франц.)*.

****** «Сцилла и Харибда»... «Ужасный образец» *(франц.)*.

******* «Подарок Жардье» *(франц.)*.

******** «Нил» М. Дюкана... «Путешествие в прóклятые города» *(франц.)*.

8) Из рецензий и мелочей стоят упоминания — статья Делора[319] (Т.) о записках Верона, шутки Тексье[320] над записками Дюма, Понсар, чья-то статья, au démeurant *, очень вялая и недобросовестная, заметки Дерминье о новых писателях, милые фельетончики Тексье и фельетоны Сирано, полезные для того, что показывают, как *не надо* писать фельетонов.

9) A. Nettement, разбор Маколеевой Истории[321], большой эпизод, ожививший в моей памяти это превосходное творение. Взгляд автора на Карла I и Иакова II очень хорош, но принадлежит ли он ему? Говоря об эпохе, до такой степени разработанной, и имея под рукой рецензии противников Маколея, пожалуй, и я сочиню что-нибудь подобное, не будучи историком. Об артистическом значении разбираемого сочинения господин Nettement не говорит почти ничего.

10) «La Mort de Danton» ** Мишле[322] (этюд из его новой истории). Как Франция портит и хвалит этого ученого мужа, пляшущего если не на фразе, то на междометиях! Я читал много о «И<стории> Ф<ранцузской> р<еволюции>» Мишле, но самой книги не читал, а потому боюсь отдаваться вполне своему чувству, глубоко возмущенному фокусами этого странного пророка. Эпизод, про который я тут говорю, сух, написан изломанными жирарденовскими оборотами[323], производит впечатление крайне тягостное. Мы так привыкли видеть в историке спокойствие, что эти конвульсии сибиллы[324] мутят нашу душу. Уж если вам нужна фантасмагория, берите «Революцию» Карлейля[325], хотя и она когда-то сердила меня немало.

11) «St. Marc Girardin» Мигниельса[326]. Отличная, бойкая, смелая вещь, как все писанное этим критиком, бесспорно первым во Франции. Как глубоко всматривается он во все вопросы и как славно ругает подлецов профессоров французских! Сила анализа, безжалостная логичность выводов для француза изумительны. И об этом совсем я ни разу не читал ни доброго, ни дурного отзыва! Его боятся и хотят замять, это ясно. Дай бог ему поскорей дожить до славы, так заслуженной. Статья грешит тем, что коротка: начавши трепать С. М. Жирардена, следовало бы опозорить весь его взгляд на литературу псевдоклассическую, времен Людовика XIV. Я помню его книгу «Histoire des passions dramatique» *** она истинно подла, однако не так скучна, как говорит Мигниельс.

12) «William Hogarth» par Wey[327]. Уморительно ребяческая штука, полная промахами, которые я вижу на всякой строке. Странная и не новая идея передавать историю искусства в виде повести! Здесь Джонсон анализирует свое литературное значение в духе XIX столетия, и Севедж угощает нас тирадами из своей биографии. Начитанность автора так жидка, что становится за него совестно. Читать подобные вещи полезно: все-таки увидишь кое-что незнакомое и поучишься, чего надо избегать в своих этюдах.

* впрочем *(франц.)*.
** «Смерть Дантона» *(франц.)*.
*** «История драматических страстей» *(франц.)*.

13) В газете отличнейшие записки б<арона> Дистерло о пароходе «Колхида» [328]. Вот как надо писать военные заметки. Ни одной фразы, ни тени пустозвонства!

Суббота, 11 июля.

Почти две недели интервала, которого нечем *восполнить,* как говорят журнальные любители высокого слога. Работа, чтение, прогулка, сон и некоторая скука по неимению людей и по причине воздержной жизни, вот вся моя летняя история. Уже вторую неделю я не пишу ничего, кроме Чернокнижникова: грустно думать, что, может быть, труд всех этих дней прошел напрасно, но, наконец, надо же решить — применится ли чернокнижие к литературе или нет. Еще впереди много работы, тем более что я хочу украсить забавно-карикатурный роман одним трогательным эпизодом. Нужно попробовать,— а коли не удастся, все-таки хоть материала много останется.

Дни два или три чувствовал себя кисло и даже был нездоров ревматической болью левого виска, зуба с левой стороны и вообще левой стороны головы. Вообще, если я начну погибать, смерть моя начнется с левой моей стороны: она у меня вдвойне работает и вдвойне живет. Странно, что простуда ко мне скорей подступает летом, чем в холода; правда, что лето прежаркое, не без ветра, а дом наш и мой флигель рабочий имеют кое-что общее с решетом. Глаза приходят в порядок, хотя нельзя и думать о каких-нибудь hauts faits *, вроде часов пятнадцати непрестанного чтения. Оттого при всех моих занятиях и развлечениях иногда выпадает полчаса или даже час без всякого дела поневоле. Дурно, что моя *мысль* иcприхотничалась и не хочет упорно работать, так на вечерних прогулках я не обдумываю и не выдумываю ничего дельного, а брожу как полусонный.

Грустнейшее событие этих дней — письмо от Григория с известием, что их полк идет к Западной границе 12 июля, на другой день именин Олиньки. Натурально, это обстоятельство не радостное, хотя 1-я Гв<ардейская> дивизия, по всей вероятности, едва ли пойдет далее Вильны. Судя по его письму, видно, что в Петербурге все говорят о мире, отрадно было бы, если оно так, но мне кажется, что идея о мире есть теперь одна иллюзия. Этому также мудрено поверить, как, например, известию о том, что, положим дом Белосельской [329] продан за 10 000 ассигнациями. Сравнение странное, но не пустое: союзники, почти ничем не ослабив Россию и имея о ней неверное понятие, предложат ей мир на условиях самых обидных и невозможных, а она, конечно, их не примет. Дай бог мне быть в этом деле ложным пророком, но, по моему убеждению, еще много крови прольется, пока о мире подумают серьезно. Здесь-то можно сказать с Карлейлем: all battle (was) is a Mis-understanding **.

По всей вероятности, долго не увижусь я с братом, а впрочем, могу

* подвигах *(франц.).*
** вся битва (была) есть недоразумение *(англ.).*

зимой к нему съездить. Из соседей не видал почти что никого: два раза была m-me Томсон, наводящая уныние, и Мейер на минутку. Все это лето до сих пор никто еще ни разу у нас не ночевал: вещь небывалая. Писем получаю очень мало, но газеты доходят исправно, а книг много, что теперь весьма кстати.

Пятница, июля 18.

Несколько мелких происшествий, несколько новых лиц, несколько чужих людей и увеселений. Во вторник поехал к Мейеру, наперед поработавши достаточно, проехался не без удовольствия, любуясь красивой лощиной, где течет река Руя; если это место некрасиво, то я уже ровно ничего не понимаю в природе и вся Петербургская губерния действительно скверна. Пусть здесь будет город со старым замком, сад и дворец, тогда всякий бы считал за радость иметь у себя пейзаж, писанный с этой местности. Вечер провел с Мейером и добрым <...> [330], на следующий день позвавшим нас к себе обедать.

У Трефорта полон дом народа. Сестра его, больная, очень добрая особа, две ее дочки недурны, стройны достаточно, а вторая, Генриэтта по имени, довольно мила в разговоре. Я много говорил с ней про Смольный [331] и подшучивал над нравами бывших ее подруг, сообщая некоторые секреты, узнанные мною по этой части зимой от Е. К. К. и Корсаковой. Она порадовала меня немало, сообщая о том, что я пользуюсь некоторой популярностью между девицами и даже поступил в их курс русской словесности, вероятно, по протекции доброго Никитенки [332], над которым девчоночки смеются порядочно. Но главною, star * всего дня была отдаленная соседка наша Надежда Дмитриевна Мусина-Пушкина, сильно понравившаяся мне, тем более что я почти умираю от воздержания и сластолюбивых помыслов, которым сия милая донна может служить отличным олицетворением. Представьте себе ловкую, отлично сложенную, полненькую, но не толстую женщину лет 25, беленькую, с выражением лица ленивым, слегка утомленным и ясно говорящим о всем пламени натуры: ленивые женщины — кто не знает их качеств? Она умна достаточно, ловка, проста в обращении и кокетка насколько оно нужно, на правой щеке имеет глубокую ямочку самого оригинального вида, особенно привлекательную во время улыбки. Она решительно лучше всех гдовских красавиц, лучше Ariane B<lock>, Матильды и m-me Софи, от которых всех я бы не отказался в настоящую минуту. Такая женщина будет нравиться все более и более, чем ближе с ней сойдешься, и хотя ум едва ли может занять очень, но все остальное удовлетворить способна в совершенстве. Здесь я едва ли ее встречу,— расстояние между нашими имениями слишком велико,— но мне почему-то кажется, что мы еще свидимся в Петербурге. В тот день мы сошлись так, как можно было сойтись в такое короткое время. Хозяин наш <...> милейший, говоря о Н<адежде> Д<митриевне> выразился почти так: и я, с моим единственным <...>, готов был погрешить с нею! Окончание дня было не

* звездою (*англ.*).

совсем очаровательно, ибо, едучи к себе вдвоем с Мейером, я чувствовал боль головы, тошноту и, проклиная эти ужасные последствия каждой моей поездки, должен был, покинув коляску, облегчить себя посредством friedrich heraus *.

В четверг утро гулял с Мейером и ничего не работал, а на обед поехал с ним же к Томсону, праздновавшему день рождения своего сына. Все прошло так же, как в прошлом году, не скучно и довольно оригинально, с подлым вином и странною компаниею. Очень был рад найти там семейство попа Василия, который чрезвычайно доволен своим новым местом в мызе министра Брока и привез мне поклон от его сына, будто бы когда-то бывшего у меня под начальством, вероятно, в Пажеском корпусе. Томсон ухаживал за мной, как за Великим Моголом [333], даже в ущерб всей обедавшей у него компании, и взял с меня слово, что я буду крестить его будущего ребенка! Все это довольно чернокнижно, и дом его чернокнижен, но день прошел не скучно. Был еще у него полячок Покульский, сосед Маслова, человек довольно приличный.

Сегодни ходил с Мейером около ржи, которую уже начали жать, вещь небывалая в эту пору за прежние годы. После завтрака гость мой начал мне надоедать своей словоохотливостью, так что я в глаза сравнил его с Марьей Никол<аевной> Р., чем он, впрочем, не оскорбился. По отъезде его читал взятое у него же сочинение о России, и по случаю обеда, поданного почему-то часом позже обыкновенного, чуть не вошел в азард. Так действует деревня на человека. Обедали священник Василий с женою.

Суббота, 31 июля.

Несколько часов тому назад проводил я от себя петербургских гостей, Тургенева и Некрасова, с которыми провел время, начиная с прошлой пятницы, сперва в Осьмине у Маслова, а потом у себя. Они охотились удачно; и слабые их телеса несколько починились в нашем крае, и я развлекся с людьми, но по правде сказать, если бы не Маслов и другие посетители (как-то: Арсеньич с женой и вчера Томсон), я бы не очень много извлек отрады от товарищей литераторов. Эти два господина жили в лесу и в болоте, так что иной день нам и часу не приходилось вместе беседовать. В свободные минуты занимались чернокнижной словесностью, как-то: сочинением послания к Лонгинову [334] и ответа на оное, Гимном Боткину и так далее в том же роде. Результатом труда вышла небольшая тетрадка, исполненная сквернословия. Обе поездки — в Осьмино и обратно — совершил я без тошноты и головной боли, что меня порадовало и успокоило насчет моей натуры, которая не так слаба, как оно кажется.

От Григория имел письмо об отмене похода на неопределенное время. Доктор Персин не говорит ничего утешительного о состоянии здоровья Некрасова. Софья Александровна была крайне весела и мила,— мы приглашены к ним на 8 августа, а 15-го предстоит вместе с Масловым поездка в Долотский погост.

---

* рвоты *(нем.)*.

Тургенев есть, бесспорно, один из приятнейших собеседников из числа всех мне известных лиц. Когда присмотришься к недостаткам его манеры, которая вредит ему ужасно, и сойдешься с ним поближе, его оценишь по достоинству и начнешь искренно с ним сходиться. Горестно видеть, что он позволяет себе опускаться нравственно, как это делает весь почти наш кружок. Он от души думает, что его молодость кончена, что его душа истрепалась, что жизнь не сулит ему впереди ничего, кроме спанья и охоты, наконец, что в России жить очень скучно. С одной стороны, оно извинительно в человеке, юность свою распределившем очень изящно и долго жившем в красивейших странах Европы, но следует ли поддаваться этому чувству, и разумен ли человек, требующий или *Всего*, или *Ничего* от жизни? Счастливая и обильная ощущениями молодость не должна и не может вести к таким следствиям; если б она вела к ним, она была бы бедой, а не счастием. Но так мне нравится Тургенев, что я искренне желал бы, получив над ним влияние, передать ему хотя часть той нехитрой философии, которая дает смысл всей моей жизни и делает меня, бесспорно, одним из замечательно-счастливых людей на этом свете. Другого человека переделать трудно, и, вообще, наше частное *миросозерцание* не ко всякому прививается, но Тургенев, по восприимчивости своей натуры и по тонкому складу ума, очень способен покоряться той или другой идее и даже соображать жизнь свою с нею. Он часто бывал под влиянием различных особ, всегда умных, но не всегда разумных, и теперь, имея более 35 лет и не находясь ни под чьим влиянием, отчасти походит на юношу еще не сформировавшегося. На одном часу он вас восхитит и рассердит, возбудит в вас симпатию и неудовольствие. Дай бог ему скорей сделаться самим собою и уже не ощупывать дороги впереди себя, а идти по ней смело и бодро.

Завтра опять принимаюсь за работу. С чего бы начать?

5 августа, четверг.

Сегодни по случаю невыносимого зноя (жары продолжаются около трех недель, и самые адские) я дал себе еще один день отдыха, читал, сидел у озера под елями и смотрел на купающихся девчонок. В этом последнем занятии нет ничего безнравственного, ибо через озеро фигуры кажутся с муху. Замечательны, между прочим, последствия, производимые на меня моим воздержанием поневоле. Уже рожи перестают мне казаться рожами, а сколько-нибудь привлекательные физиогномии очаровоют меня. У Трефорта есть тринадцатилетняя девчонка Катя, миленький ребенок в той поре, когда все в женщине как-то странно и жидко; на эту Катю я смотрю с чувством нежнейшего старикашки и щиплю ее за щеку с особенным тонким удовольствием. Потом, сегодни, из отдаленной группы женщин, ловивших рыбу в озере и по всей вероятности гнусных, как большинство женщин нашего края, слышал я смех, о котором не могу вспомнить без особенного чувства. Этот смех казался мне таким гармоническим, тихим, свежим, un petit peu nonchalant * и девствен-

* немного небрежным *(франц.)*.

ным, что я его заслушался. Недостает только отыскивать персону, смеявшуюся таким смехом! Все это приятно шевелит мою натуру и показывает, что бы могло из меня выйти в поэтическом отношении, если б я вел себя благонравно и употреблял на пользу искусства все нежные и страстные инстинкты, данные мне природою. Истинно сказал так автор, которого Арапетов читает под пальмовым листом [335]: les grands faiseurs etaient tous chastes!» *

Вечер вторника и среду провел вместе с Томсоном у Мейера и <...> Трефорта. Дорогу совершил благополучно, спал восхитительно, ел с аппетитом и, вообще, предавался тем увеселениям, которые, как давно мною замечено, возможны только в деревне и в одной деревне. Надо знать сельскую жизнь, чтоб оценить то удовольствие, с которым мы пили и болтали, слегка подтрунивали над Томсоном и держали диспуты о самых странных предметах. Мне дана от бога способность наслаждаться малым и находить поэзию в мелочах жизни, в этом отношении я, бесспорно, пошел далее самого Василия Петровича. Сверх того я люблю хорошую помещичью жизнь, начиная от жизни блистательно обставленной, поэзия которой несомненна и видна глазу, до простого быта скромных и опрятных помещиков. Вот почему я читал раз десять «Постоялый двор» Степанова, книгу, по моему мнению, превосходную и у нас неоцененную [336]. По тому пути, на который я намекаю, должен идти не один русский поэт в будущем, и, даст бог, еще в наше время мы увидим такого поэта. Тургенев, между прочим, что-то говорил о сценах из помещичьей жизни. Но, описывая эти сцены, не надо быть ядовитым,— не то можно выбрести на Гоголеву дорогу и стать подражателем подражателей.

Пересмотрим вещи, мною читанные в это время:

1) Сувестра, «Philosophie sous les toits» ** [337]. Идея этой книги, увенчанной Академией, заключается в признаниях практического философа, голяка, умеющего довольствоваться малым и создать себе микроскопическую Фиваиду [338] где-то под кровлей, посреди жадного и тревожного Парижа. Есть главы хорошие, мысли великолепные, но книга грешит одним тяжким грехом: она писана с дидактической целью, а не вырвалась из души счастливого человека. Оттого в ней есть плоская мораль и нравственный сахар. Подобные вещи хотя и поучают людей отлично, но не могут быть писаны по заказу: истины, в них высказанные, *надо прочувствовать*. Лет 9 тому назад я находился в настройстве ума (которое мне принесло бездну пользы в жизни), в настройстве, под влиянием которого можно было приниматься за труд такого рода. Я заблуждался во многом, но был счастлив своим заблуждением и ему верил,— все это возможно при первой молодости или вследствие всей жизни, жизни философа. Сувестр сделал из себя не энтузиаста, не убежденного философа, а просто расточителя эффектных и дельных истин. Книга пахнет общим местом.

Иной напал бы и на идею ее, но я того не сделаю. Эта идея, при всех своих несовершенствах, обошла мир, осушила реки слез и всегда будет

* великие деятели все были целомудренными! *(франц.)*.
** «Философия под крышами» *(франц.)*.

великой идеей. Нравственная positiveness * и цинизм, что властвуют нынче, пройдут и пройдут скоро, но идея Эпиктета и Попа, Вольтера и Локка всегда будет жить и производить добро.

2) Сочинение Кюстина о России, с рецензиею на него Греча [339]. Эта рецензия далеко не так подла, как заставляет предполагать имя Греча, моего бывшего наставника в русской словесности. Греч исполнил свое дело не вполне, но деликатно, и с меткостью указал на главный промах Кюстина, т. е. излишнюю страсть к *обобщениям* (généralisation), погубившую многих писателей более даровитых и создавшую целую когорту авторов-чудищ, в роде Кине, Мишле и Леру. Кюстин по своему *фонду* и предрассудкам, истинное старое дитя, как большая часть легитимистов и неокатоликов — он не так глуп, как, например, Вальш, утверждавший, что *французская революция устроена была богом с той целью, дабы несколько английских семейств приняли католическую веру,* но он склонен к аберрациям более вредным, ибо он разумнее. Книга его, столь известная и так часто издаваемая,— очень скучна, но представляет полезное чтение с положительной, а еще более с отрицательной точки зрения. Гнев, ею возбужденный в России, далеко не так велик, как о том думают и говорят из понятных причин, ибо, читая сочинение, сердишься на автора не за его дурные отзывы о России, а за его собственную шаткость и неуменье сладить с своей темой.

Одно в Кюстине хорошее качество: он не лжец. Он *три месяца* посвятил на изучение края, которого не изучишь и в три года, и покинул Россию в то время, когда голова его от тьмы собранных и противоречащих фактов пошла вверх дном. Не скрывая этой путаницы своего рассудка, он силится водворить порядок посредством обобщений и кое-где нахватанных общих мест, а оттого становится пуст, жалок и даже слеп. Говорят, что первые минуты рассвета от смешения тьмы с светом темнее ночи, то же и со впечатлениями Кюстина: покидая Россию, он меньше знает о ней, чем перед отъездом в Петербург. Становится тяжело и неловко за самого путешественника,— тем тяжеле и неловче, что его искренность и желание узнать истину угадываются с первого раза. Злонамеренности в нем нету, в этом он гораздо выше д'Арленкура, книга которого, с ее преувеличенными и глупыми похвалами [340], может оставить о России гораздо худшую идею, чем книга Кюстина. Изобилие черных теней никогда не повредит картине так, как изобилие глупо-ярких красок и нелепых бликов. Но, однако, все-таки Кюстин сочинил безобразное произведение. Иностранцы поняли ее навыворот,— русские осудили, не читавши. А я думаю, что для умного и любящего свое отечество русского это сочинение может быть полезным чтением, ибо автор иногда зорок посреди слепоты и рассказом нелепости родит мысль дельную.

Вообще, на свете есть сотни путешествий во сто крат лживее, бесплоднее и безобразнее, чем Кюстин, так часто ругаемый. Нет книги, которая могла бы служить лучшей пародией на подражателя манеры Монтескьё [341], — как его «Russie en 1839».

---

* положительность *(англ.)*.

3) Рецензия Дюфаи на Мемуары Мармонтеля[342]. Боги! что за поэзия это XVIII столетие! Я читал статью, будто припоминая восхитительный сон! Несмотря на иезуитов и госпожу Помпадур, несмотря на Палиссо, Сорбонну, классиков и Фрерона, я желал бы жить во времена Гольбаха, д'Аржанталя, Вольтера, m-me Tencin и tutti quanti. Обстановка их быта повергает меня в очарование. За один из вечеров в замке m-me d'Aine (см. корреспонденцию Дидро) я бы отдал все на свете! У всякого свой век,— иной желал бы жить во время Рафаэля, другой мечтает о средневековой Германии, третий хочет слушать Платона под оливковым деревом и ужинать у гетер, как Щербина[343]. Эдем моего воображения: век Лудовика XV, Фридриха Второго и наше <время?> великой Екатерины. Лучший пейзаж в мире для меня сад Ленотра[344], и Отель[345] в стиле того времени для меня лучше Петра и Павла в Риме[346]. Дюфаи недурно пишет о Мармонтеле, но, сидя за его статьей, я читал себя самого и работал не умом, а воображением.

4) «De Paris à Montenegro» * Мармье[347]. Факты интересны и слог легок, но что за плоский господин этот Мармье! Он подобен тощему клопу, которого по причине его плоскости и раздавить трудно. Так много видеть и не стряхнуть с себя своей тупости! Человек вроде Мармье может служить персонажем для какого-нибудь забавного романа в чернокнижном вкусе. В Кюстине, с его нелепостями и причудами, и расстроенными нервами, и с страхом шпионов, мы все-таки видим живого человека и читаем его как человека. А Мармье чистейший чурбан, вояжирующий для того, чтоб со всяким годом ссыхаться и тяжелеть более и более. Я читал почти все, писанное г. Мармье, и забыл все так, что сам тому удивляюсь. Странное впечатление <от> его сочинений!

Вторник, 10 августа.

Занятия почти прекращены по случаю великих жаров и некоторого умственного расслабления. Мыслей и картин в голове мало. Зато выезжаю и принимаю гостей и еще третьего дни видел несколько новых лиц и Н. Д. М<усину>-Пушкину, которая мила как ангел, которому хочется... цаловаться. Вследствие свидания с нею и других мелких обстоятельств, с этим свиданием сопряженных, я вернулся от Василия Арсеньича довольным и счастливым. Пятнадцатого числа мне опять будет предстоять удовольствие видеть хорошенькую Надежду Дмитриевну, бесспорно первую красавицу нашего края. Вообще, если погода не испортится, то в Долонтском погосте съедется почти весь Гдовский уезд, только едва ли все будут веселиться, что-то уже чересчур рассчитывают на сей день.

Пиршество у Василия Арсеньича удалось, и мне было бы отлично и на первый день, если б адская головная боль, обычная летняя моя казнь, не помешала бы многим увеселениям. Новый дом Семевского и вся окрестность отдаленно (весьма отдаленно) приближается к тому идеалу помещичьего помещения, о котором я имею понятие в своей го-

---

* «Из Парижа в Черногорию» *(франц.)*.

лове. Нужны огромные капиталы, чтобы хорошо убрать и отделать этот палаццо, и долго ему стоять в неотделанном виде, но и то, что есть уже, не лишено приятности. Террасы, старые деревья, площадки у прудов — все это удовлетворительно. Хозяин и милая маленькая хозяйка были как нельзя добрее и приветливее. Решительно Гдовский уезд неправ относительно Софьи Александровны: в настоящее время она держит себя отлично и исполняет обязанности хозяйки как нельзя безукоризненнее. В доме, конечно, могло бы быть поболее порядка, исправности в людях, изящества, но всякому ли даются такие вещи и насколько они редки и в столице и в опытных, даже немолодых семействах!

Приехали мы в Щепец в воскресенье, около 3 часов, совершив переезд втроем в карете, посреди духоты и ослепляющего солнечного сияния. Я находился не на розах, утомление же и жар переносил гораздо хуже, чем их переносила матушка. Из гостей застали мы Вас. Ал. Сталя, Надежду Дмитриевну, семейство Шиц и Берендса, высокого белокурого немца, имеющего вид честный, приятный и даже изящный. Все остзейские господа делятся на отличных и подлых,— оба класса имеют свой тип, к которому приближается каждый. Так Берендс живо напомнил мне милейшего Густава, с которым, по-видимому, не сходен наружностью. Но манера говорить по-русски, *постановка* фигуры, любовь к черному платью, сухощавость стана и цвет волос — одинаковы. Явился граф Коновницын, новый наш предводитель, возбуждающий такие толки в крае; сей сановник имеет вид толстого степного помещика, когда-то жившего в порядочном круге, хорошо образованного и потому не способного на то, чтоб опуститься очень, по крайней мере наружностью. Обращение его чересчур уже сладко и предупредительно, что не мешает ему быть неловким отчасти: по-французски, например, говорит он уже неверно и, говоря с человеком, осыпая его любезностями, вдруг задает ему вопрос чисто неловкий или щекотливый. Меня, например, он с первых слов спросил, отчего я не в военной службе,— вопрос всегда нескромный, иногда глупый, а при настоящем ходе дел неуместный. Я ответил порядочною глупостью, потому что не объяснять же незнакомому человеку причину своих действий и свои взгляды с первого свидания! Оно, впрочем, можно видеть, что подобного рода проделки надо приписать неловкости, но никак не нахальству или тону командования. Но кажется мне, что если этому господину дать ход и не обрезать у него крил, то он со временем будет способен насолить своим электерам [348] и даже серьезно вообразить себя командиром нашим. Безмерная предупредительность сего господина относительно матушки меня, однако, задобрила, и до тех пор, пока Коновницын не сделает чего-нибудь несомненно подлого,— я не приступлю к общей массе его обвинителей.

За обед сели поздно. Обедали еще Островский с семейством, попы и безобразнейшее нелепое чучело *Деметер* Кошкаров, бывший beau fils * князя Шихматова. Чуть было не забыл я добродушнейшего чудака Николая Блока, походившего в своем фраке и серой фуражке с носиком

* зять *(франц.)*.

на толстенького кулика с веселым нравом. Ели, пили, лежали, курили, играли в бильярд и так далее. Я лег спать без ужина, как сказано,— больным, и оттого второй день прошел веселее первого. Во второй день я чувствовал себя здоровым, был весел и добропорядочен, а самый кружок по отъезде гостей составился как-то теснее и лучше. Меня убеждали пробыть в Щепце до 15, и Н<адежда> Д<митриевна> должна была там остаться на несколько дней, но я — новый Сципион Африканский [349] — уехал домой, предпочитая свое Чертово и лежанье на солнце такой приятной компании. Ночь я спал отлично, а сегодни все утро провел в праздности, лежа под елями у озера. Надо насладиться последними днями лета на полной свободе.

Четверг или пятница [350]*, 13 августа*

Странный день и вообще странные дни! Неспособность к работе, вещь со мной довольно редкая, дошла сегодни до небывалой степени. Передо мной свободный месяц, бумага, перо, начатые вещи, и при этом внутри меня что-то сухое, безжизненное, отдаленное от творчества на неслыханное расстояние. Сто̀ит прочесть эти четыре строки и дневник за 10 число, чтоб убедиться, до какой степени я стал плохо писать самые простые вещи, как у меня мысль не вяжется с мыслью, как мой слог делается неестественен, вял и запутан! А в то же время рассудок приказывает заниматься, повторяет Джонсонову фразу — all is possible to he, who sits himself to work doggedly *. Другие расчеты тоже нудят к труду,— но перо как-то не пишет, фантазия ничего не вымышляет, на место быстрого, ровного и хорошего рассказа едва льются тягучие, глупые периоды! А между тем дни идут не скучно. Вчера провел вечер с Ар<иадной> Ал<ександровной>, она крайне мила, домой ехал в сумрачную ночь, по лесу и, сам не зная почему, чувствовал как будто суеверный и во всяком случае ребяческий страх.

Вчера же начал читать Шекспира и сегодни кончил «Merry Wives of Windsor» **. Из всех великих — Шекспир мне не дается, в том надо признаться с сокрушенным сердцем. О том, как мне претят его метафоры, я говорил где-то в печати и, если придется, готов опять говорить. Гомер дался мне, странное дело, почти без труда, к Данту я прилепился на первый же месяц чтения, Рабле оставил на мне вечные следы, но Шекспира я знаю уж как давно и чту его скорее головой, чем сердцем. Так и теперь, отдавая справедливость «M<erry> W<ives> of Windsor» и с приятным чувством читая многие места комедии,— я вовсе бы не удивился, если б кто из наших современников сочинил вещь совершенно такого же сорта. Конечно, страшно подумать о том, что все мастерство в этой комедии заметное досталось человеку, *жившему во время Елисаветы,* но для искусства чистого этого мало. Аристофан в жалком французском переводе повергал меня в пароксизмы хохота, а лучшая из Шекспировых комедий едва заставила меня раза три, четыре

* Все возможно тому, кто заставляет себя упорно работать *(англ.)*.
** «Виндзорские проказницы» *(англ.)*.

улыбнуться при ее чтении. Из всего этого следует, что моя способность понимать поэзию не ладит с поэзиею Шекспира,— так иной порядочный художник не понимает Рафаэля. Поработаем еще над собою и в случае неудачи отойдем от труда по крайней мере с сознанием того, что нами было немало сделано для его понимания.

17 августа, вторник.

14-го числа по условию ждал гостей, для того чтоб по примеру прошлого года съездить компаниею в Долотский погост. Но Маслов не явился, не взирая на свои многократные уверения, приехали же Софья Александровна с мужем и Сталь. Вечерняя беседа была очень приятна, и наутро все мы встали довольно рано, Томсон же с супругой явился по своему необыкновенному обыкновению в то время, когда весь дом еще спал. В половине одиннадцатого двинулись все в дорогу в трех колясках и, как погода стояла добропорядочная, так совершили путь недурно. Ни Мейера, ни <...> Трефорта, ни Обольяниновых, ни Н. Блока на торжестве не было, а к нашей компании пристроились только Покульский и хлыщичко Максимов. Надежды Дмитриевны — увы! — не было; по словам ее бабушки, она совсем собралась ехать и захворала. Oime! * где-то я ее опять увижу?

Несмотря на все это, увеселение прошло как следует, дамам весьма понравились и местность, и завтрак на траве. Гости от нас уехали вчера после обеда, и так как я именно нахожусь в том положении, когда мне бывает нужно находиться с людьми во что бы ни стало,— то их пребыванием я весьма доволен. Нечего говорить о том, что работы мои страдают.

Наблюдал за Сталем, иначе оболом. Это *характер,* и чисто петербургский характер, в том нет сомнения. Нам всем его жалко после семейной катастрофы, с ним случившейся, и я от души готов содействовать его планам насчет получения места, но все-таки этот человек — дурной человек чуть ли не во всех отношениях. Представьте себе бодливую корову, которой не дано рог и которая изредка все-таки старается боднуть кого-нибудь. Завистливый и недоброжелательный, он любит портить чужое веселье, чужое спокойствие и с Семевским, оказавшим ему столько услуг, обходится весьма обидно. Он по характеру немного родня Малиновскому и также не глуп умом сухим, крючковатым, цепким, но неострым. Тщеславие и поклонение аристократии в нем развито с большой силой,— но бедному «чтителю знатностей» в свою жизнь приходилось получать столько щелчков от всех нас, что теперь два последние недостатка кое-как прикрыты и потеряли свою очень гнусную сторону. Вообще Сталь — маленькая змейка, которую очень отогревать не следует, пусть она век остается в полузамерзшем состоянии.

14-го числа читал опять Шекспира и с успехом. Hotspur и последняя речь Ричмонда [351] перед битвой меня восхитили. Я чувствую, что наконец одолею Шекспира. Кончаю «Жизнь Драйдена», соч. В. Скотта. Это

* Увы! *(греч.).*

книга плохая, писанная вяло, но довольно обильная фактами. Как жалка и ничтожна названная монография после статей в том же роде Карлейля и Маколея, даже лорда Джеффри.

19 августа, четверг.

Давно нет известий из города, что меня отчасти тревожит, но я в жизнь свою столько тревожился понапрасну, что наконец выучился обуздывать свою мнительность и свое сердце, qui est des plus visionnaires *. Теперь работаю над новыми фельетонами по новой системе, для «СПб. ведомостей» [352], такими фельетонами, которые бы могли нравиться публике, давать мне в год целковых с тысячу, открывать некоторый простор сатирическому настроению и со всем тем составить отдельное и замкнутое творение, как, например, «Опыты Эдисона» или «Заметки Карра». Вообще, я фельетонист по призванию и готов строчить импровизации à la J. J<anin> когда угодно; если первые десять строк будут плохи, зато на одиннадцатой я расшевеливаю себя в совершенстве.

17 числа был на обеде у Блока, Льва Александрыча, где нашел Н. А. Блока с женой, Треф<орта>, Мейера, всех Обольяниновых, m-lles Sophie и Adèle, из которых вторая весьма нехороша и прегадко чешет свои желтинькие волосы, Томсонов, Максимова и попа Илью. Из новых лиц были: Лебедева, жена знакомого мне полковника, особа, о которой ничего не могу сказать, Богдановичева, особа довольно приятной наружности, но манеры кислой, да еще один мужчина, Афанасьев, ныне теснимый Коновницыным. Все было хорошо и довольно весело: ели, пили, играли в бильярд, смотрели на танцы и праздник крестьян. Разъехались поздно, и у кого были кучера пьяны, тому пришлось плохо. Максимова завезли в канаву, а Лев Н. Обольянинов должен был в темноте и под проливным дождем сесть за кучера.

18-е число, после молебна в деревенской часовне, поехали к Максимову, по приглашению, обедать. Там был еще Томсон и две его сестры, из которых одна моя прошлогодняя знакомая. Обед был весьма хорош, а венгерское выше всех похвал! Впрочем, мне было весело не по причине одного венгерского. Максимов не любим в уезде и во многих отношениях справедливо, но он неглуп, имеет много хороших сторон и вообще общество его мне приятно, Томсоново тоже. Люди, как сапоги: что нужды, что иной сапог не изящен и даже, может быть, непрочен, когда в нем ноге покойно? Подобно тому, как иные без ума от покойных сапог, я от души отдаюсь приятности быть с людьми, у которых и с которыми мне спокойно. Отчего я любил Евгена, С. Д. Дейбнера, например, и бесчисленное число лиц, им подобных? Не один ум и даже не одни нравственные качества привязывают нас к человеку. Тут есть своя тайна и своя магия.

Ночь спал худо. Начались дожди, холод и ветер.

---

* которое слишком полно предчувствий *(франц.)*.

28 августа.

Я недавно говорил, что j'ai un coeur visionnaire *. До третьего дни не было писем из Петербурга, и я два дни страдал, как мальчишка. Мнительность, робость, даже *суеверие* меня одолевали! Подвода запоздала дня три, и я ждал ее прибытия с трепетом. Наконец явились письма и газеты, все оказалось хорошим, и я за дни тревоги получил дни отрады, которая и поныне еще не остыла. Так все вознаграждается на свете,— иногда хорошо быть и мнительным.

Начались северные ветры и холода, да еще какие! Но я усердно читаю, работаю над Чернокнижниковым и фельетонами, а иногда делаю нашествия на Шекспира. Еще несколько недель изучения, и передо мной откроется храм поэзии, сделается мне доступен поэт, доныне недоступный. Уже головой я понимаю Шекспира,— уже последние сцены Лира я читал с невольными криками изумления. Впечатление от Шекспира сходно с тем, что рассказывают туристы о церкви Петра в Риме. Сперва одно бессилие, конфуз, путаница ощущений. Потом набрасываешься на частности, но общего все еще не понимаешь или понимаешь не вполне. Относительно Шекспира я во втором периоде.

Прочел из него «Tempest» **, Гамлета, начало «Twelfth Night» *** (которое совсем мне не по вкусу) и теперь изучаю «Юлия Кесаря». Громадность, необъятность таланта ясны мне, хотя и давят меня,— но многое меня не шевелит еще. Я принял методу подчеркиванья лучших мест, эта метода мне много сделала добра,— теперь же я сверх того выписываю подчеркнутые места. И тут-то оказывается величие Шекспира! Пишешь, пишешь и утомляешься,— все ново, все глубоко-изящно и глубоко-мудро! Так, говорят, статуи на миланском duomo **** сперва не оставляют в зрителе особенного впечатления, но вдруг, взобравшись наверх, он видит, что этих статуй целая армия!

Суббота, 4 сентября, в новом флигеле,
где можно сидеть и в холод.

Настала осень, *несомненная,* печальная, водянистая осень, с ветром и неперестающим ненастьем. Я переселился в новое помещение, не столь просторное и щеголеватое, как мой рабочий флигель, но более теплое. В нем я кончил уже Чернокнижникова, вчера написав последнюю главу сего дивнего романа, где так много моей жизни, моей крови и моей философии! Полюбит ли публика все это? Vague la galère *****.

С прошлого воскресенья, когда у нас обедала Обольянинова с дочерью (причем я получил подарок: древнюю турецкую чернильницу для моей коллекции), у нас не было никого, никого, кроме новой попадьи довольно гнусного вида. Я уже послал в Нарву за билетом в дилижанс,

---

* у меня сердце мистическое (мечтательное, мнительное) *(франц.).*
** «Буря» *(англ.).*
*** «Двенадцатая ночь» *(англ.).*
**** соборе *(итал.).*
***** будь, что будет *(франц.).*

а в последних числах сего м<еся>ца надеюсь быть в объятиях прелестных донн и беседовать с добрыми друзьями.

Успех моих работ, чтение Шекспира утешают меня в настоящем довольно безотрадном и безобразном уединении. Теперь истинное время для vie de chateau *; осень в деревне имеет свою поэзию, но у меня нет такой жизни, и наши соседи слишком от нас далеки. Эти дни я чувствовал биение сердца и слабую, едва приметную боль в горле,— того было довольно, чтоб дать добрую пищу моей мнительности. Мне самому себя совестно, но нечего делать, надо сознаться, что долгое одиночество, принося мне множество пользы, имеет на меня и пагубное влияние.

Из Шекспира прочел «Twelfth Night», «Henry IV» (1 и 2), «Кесаря»[353], «Кориолана», «Лира». Обо всех этих чудесах на днях поговорю подробнее.

Пятница, 10 сент<ября>.

Вечер субботы, воскресенье и в особенности вечер воскресенья и понедельник до вечера были хорошими, светлыми днями. Только в такую скверную темную осень и в вечернюю непогоду знаешь, что значит соседи, и оттого зловредных мизантропов полезно было бы отправлять на осеннюю пору в деревню. В субботу, когда я печально сидел за книгою, вечером, при свечах, и имея впереди себя бесконечно длинный вечер, подъехал посреди мрака к подъезду экипаж, даже и вида которого нельзя было различить за темнотою. Оттуда вылез Маслов, он не очень давно вернулся из Петербурга и привез оттуда несколько свежих новостей; к сожалению, из лиц, которыми я особенно интересуюсь, он не видал почти никого. Ужинали, спали в одной комнате и болтали чуть не <до> двух часов,— вещь редкая со мною! На другой день все наши увеселения отличались патриархальностью и украинским спокойствием: обедали долго, перед тем ходили за грибами, а после обеда, не торопясь и выспавшись по-деревенски, поехали к Мейеру; дорога прошла незаметно, однако, если бы мы промедлили еще полчаса, нам пришлось бы ехать по тьме кромешной. Хозяина застали мы в постеле, утомленного удачной охотой, на коей было умерщвлено 27 зайцев, но он вскочил, накормил нас ужином и сам лег спать позже всех, то есть гораздо после полуночи. Завалившись в свежую и мягкую постель, в углу моей любимой угловой комнаты с овальным зеркалом, я имел более часу особенного наслаждения, наслаждения опять-таки понятного только в деревне. Маслов спал в зале и попросил хозяина, чтоб тот после ужина сыграл что-нибудь из «Севильского цирюльника». За «Barbièr» (почти сполна) последовало «Somnambula», и я, ворочаясь с бока на бок, имел удовольствие и лежать, и полудремать, и слушать давно не слышанную мной музыку. Наутро явился Трефорт с мужем своей сестры, который накануне только приехал в отпуск и наслаждается 28 днями свободы так, как я бывало ими наслаждался. Обедали у Трефорта, болтали,

* жизни в деревне (*франц.*).

смеялись, пили и даже пили более, чем бы нужно, расстались совершенно довольные друг другом, условившись съехаться всем у меня 10-го числа, и еще в добавок я увез к себе новое приобретение — старинный охотничий нож, подаренный мне Мейером.

За светлые дни пришлось поплатиться днями плохой погоды и одной дурной новостью, впрочем, не неожиданною. Гвардия выступает в Литву и теперь, вероятно, уже выступила. Письма Григория и Олиньки очень грустны. Вообще эту зиму я буду порядочным сиротой в Петербурге, а если не заключат мира, то бог один знает, когда и как увижусь я с братом. Съездить к нему на время я могу, и он может посетить Петербург, но такие временные свидания мало радуют, особенно когда сообразишь, что за ними опять должна быть разлука. Людей мне любимых я желаю иметь около себя, иначе их почти нет. Впрочем, «могло б быть и хуже!» — как говорил мудрец-судья, освободивший преступника, зарезавшего отца и обесчестившего свою родительницу!

Из занятий — писал письма, дополнял и исправлял «Легенду о Кислых водах», из Шекспира читал «Much Ado about Nothing» * и, диво! одну немецкую книгу с отзывами о характерах Шекспира! То, что там писано о Юлии и особенно Корделии, стоит внимания. Сравнение Корделии с мадоннами Рафаэля я вполне одобряю.

«Much Ado» не нравится, комедии Шекспира, по-моему, не то, что драмы! «Сознавайся в своих впечатлениях, хотя бы ты не понимал Рафаэля»,— говорит Стендаль. Беатриче и Бенедикта, столь превозносимых,— по моему мнению, способен создать ловкий писатель вроде Скриба; они хороши, но шекспировского я в них не вижу.

Прочел «Ecueil» ** Бернара[354]; некоторые повести, особенно «Innocence d'un forçat» *** поразили меня неприятно. И, вообще, старого моего восторга к Бернару я уже в себе не нахожу. Мне даже кажутся (mirabile dictu!) **** несколько безнравственными все его вещи, основанные на надувании мужей и на прелюбодеянии. Стар ли я делаюсь, или действительно свет умнее умных людей и с его законами невозможно вести продолжительной и успешной борьбы? Впрочем, на этот счет я никогда не был полным жорж-сандистом, хотя пуританством никогда не отличался. Если нам нравится чужая жена (это по моей теории), то могут быть следующие казусы:

1) отчаянная страсть — тут нет ни препятствий, ни законов.

2) простое волокитство — вещь гадкая, трудная, многосложная, вредная для женщины, гибельная для всех. «Much Ado about Nothing».

3) волокитство при особенных условиях — например, если муж дает carte blanche ***** своей жене или если и муж, и жена смотрят на все дело с философской точки зрения. Нечего и говорить, что тогда все дело

---

* «Много шума из ничего» *(англ.)*.
** «Подводный камень» *(франц.)*.
*** «Невиновность каторжника» *(франц.)*.
**** удивительно! *(лат.)*.
***** полную свободу *(франц.)*.

становится дозволенною забавою,— однако забавою все-таки хлопотливою и очень связывающею человека.

Одним словом, я допускаю волокитство за чужой женою только или в случае неодолимой страсти (которая весьма редко на нас находит) или в случае, если женщина по своему положению и понятиям готова на шалость. Склонять же ее к этому, изменять направление ее мыслей, делать марши и контрмарши с дурной целью может только или подлец, или фат, или человек нерасчетливый.

12 сентября, воскресенье.

День (или, вернее, начало дня) принадлежит к дням весьма радостным. От брата пришло письмо о том, что он остается в Петербурге с запасными войсками. При получении этого известия внутри меня просияло солнце,— а то я еще вчера бродил по саду в угрюмых мыслях, сетуя на слишком теплое свое сердце и склоняя себя ко всевозможным эгоистическим побуждениям, pour faire un contrepoid à mon coeur visionnaire *. Теперь мне не горько ехать из деревни, и последние часы моего уединения пройдут приятно. В пятницу и в субботу были у меня Мейер, Эллиот и Трефорт, которого чем больше узнаешь, тем больше любишь. Много ели, болтали и пили, вытянули, между прочим, бутылку бургонского, стоявшую в нашем погребу около 15 лет. Вечером, оставшись один, читал «Contes et voyages» ** Тексье. Я очень люблю Тексье, как фельетониста, но, увы, как плох он в беллетристике! Его большая повесть о Калифорнии живо напомнила мне роман «Le Coureur de bois» ***, которым так осрамился Габриэль Ферри, турист истинно даровитый и умный.

В свободные часы утра украшаю и сглаживаю «Легенду о Кислых водах», которая, впрочем, по моему мнению, ничто пред недавно оконченным Чернокнижниковым. Что сказать об этом странном романе? Я сознаю ясно все то, что хотел в нем сказать,— но хорошо ли оно выражено? Понравится ли вся вещь читателю так, как она мне нравится, проникнет ли он в доктрину, скрывающуюся под этими странными сценами и эпизодами. Мысль нова и прекрасна, о, мои будущие ценители,— в ней есть почти что *новое слово!* Из характера я доволен Сатиром, Ниной Александровной, Антоновичем, Оленинским, Буйновидовым, Веретенниковым, Брандахлыстовыми супругами. Халдеев, Щелкоперов и несколько мелких лиц весьма недурны. Мне радостно то, что глав слабых и писанных без охоты в романе может быть всего одна или две — из этого следует, что если я и буду побежден и если Чернокнижников падет с бесчестием, то мне останется утешительное сознание: *сделано все, что я мог и желал сделать!* За это лето Чернокнижников сделался совсем иным, округлился, стал смешнее и серьезнее, а наконец, замкнулся сам в себе по всем правилам. Это нелепое произведение (странно сказать)

* в противовес моему мнительному сердцу *(франц.)*.
** «Рассказы и путешествия» *(франц.)*.
*** «Гуляка из рощи» *(франц.)*.

вышло у меня сто раз сообразнее с законами искусства чистого, нежели все мои повести. В настоящую минуту я не отдам трех глав романа моего за всю «Vie de Bohême» * Мюргера[35b], так знаменитую «Vie de Bohême»! Может быть, я ошибаюсь, может быть, Черно<нижнико>в не что иное, как польдекоковщина, но до сих пор я им доволен, весьма доволен,— а я судья строгий и редко хвалю свои вещи. Advienne que pourra! **

28 сентября, вторник. С. Петербург.

Вторая половина моей жизни открывается светлым осенним деньком, одним из таких дней, в которые даже Михайлов должен чувствовать себя свежим и бодрым. Уже с 17-го числа я в городе, где все состоит благополучно и где я нашел своих донн и своих приятелей всех в вожделенном здравии. Со всем тем не могу сказать, чтобы эти полторы недели прошли особенно приятно или хотя шумливо, как проходили всегда мои первые недели по возвращении в город. Никуда меня особенно не тянет, никто меня особливо не интересует. Бо̀льшую часть времени я провожу у брата и часто там ночую, вечера посвящаю прелестным девам, без особенного, впрочем, азарта. В деревне я обленился на выезды, и оно простительно Посмотрим, что будет далее; не все то хорошо, что блистательно начинается.

Не читаю ничего дельного, работать еще не принимался,— много брожу пешком, что мне теперь особенно полезно.

4 октября, понедельник.

Много ходил и ездил, и хлопотал, а сверх всего этого нахожусь в несколько затруднительном положении по денежной части. Некрасов еще не вернулся из деревни, а Краевский не мог мне дать денег вперед, что обещает мне около месяца гнусной бедности: положение, в котором, однако же, имеется и своя сладость. Из увеселений этого времени замечательны: 1) Ужин у Дюссо с Сатиром, Каменским и новой донной Каменского, маленькой госпожой, которая мне не очень нравится. 2) Обед у брата в день моих именин, где были Кам<енский>, Сатир, Марья Львовна и кн. Волконский. 3) Обед у Краевского с Гаевским и милейшей Лизаветой Яковлевной. 4) Folie journée *** с Сатиром и С. Струговщиковым, в течение коей было три завтрака и ни одного обеда. *Играли в кегли в тоннеле Пассажа!* Потом бились на бильярде под облаками, потом романсовали у новой госпожи Анны Ивановны, в Офицерской, с панной Еленой, панной Надей и Терезой, новыми особами довольно приятного вида. 5) Вечер у Л<изаветы> Н<иколаевны>, где были Сенковский, Софья Ивановна, Никитенко, Стасов, гр. Хвостова, Краевский и Виктор Павлович. Ужинали и пили венгерское, я был очень утомлен после моей поездки в Гатчино, о которой стоит вспомнить при случае.

* «Жизнь богемы» *(франц.)*.
** пусть будет, что будет *(франц.)*.
*** сумасшедший день *(франц.)*.

Прибавив к этому обед у брата в день приезда матушки, с Арсéньичем и Сталем, вечер у Никитенки и два обеда у Марьи Львовны, да еще вечером у Панаева — можно видеть мое время<пре>провождение.

Утром все дни ничего не делал и чувствую себя отлично, по причине славных дней и ходьбы пешком. По делам бывал в Опекунском совете, много бродил по Невскому, бывал у Жуковских, у М. Н., а вчера заходил к покинутой Ариадне, В. Н. З. Это истинно христианское дело принесло мне счастие, ибо все утро я был бодр и счастлив духом. Октябрь стоит несравненный и удивительный!

Пятница, 8 окт<ября>.

Всех бесстыдных мерзавцев, толкующих о трофеях, военной славе и прочем в таком роде, я посадил бы в мою кожу за эти дни. Была сдача рекрут, и я убил все утро в Казенной палате и ее окрестностях. Хотя <в> этот набор пошли с рук порядочные негодяи, но мне было так жалко, грустно и странно, что я готов был бы на это время провалиться сквозь землю. Все это так тяжко, печально, так несогласно с моими понятиями, что я и теперь будто брожу во сне. Староста, бывший при сдаче рекрут, дрожал как лист, всюду мелькали бледные, убитые фигуры! Horrible, most horrible! * А выбор, назначение, предварительные хлопоты, мысль о плаче и вое родных? Я сделал почти все, что мог, дал рекрутам денег, дам им еще на дорогу, велю им к себе писать и, когда их пристроят к своим частям, положу на их имя деньги в артель. Это буду я делать всегда и для всех, даже для негодяев, и такой расход будет для меня священным расходом.

Надо отдать справедливость чиновникам Палаты, они так вежливы и предупредительны, что составляют великий контраст с грязными столами, неровным полом и душным воздухом своего гадкого помещения.

Третьего дни я имел забавный обед у Ал. Пет. Евфанова, «с похождениями», а вчера обедал у Краевского с Степаном Семен<овичем>. Вечером пили у Гаевского венгерское, оказавшееся плохим, если не ошибаюсь.

Понедельник, 11 окт<ября>.

Вообще летние и осенние месяцы были мне не бесполезны по части изучения женских характеров. Очаровательная Н. Д. М<усина>-П<ушкина>, по всей вероятности, даст мне со временем пищу по этой части, сверх того, возвращаясь в Петербург, я случайно набрел на одну юную и привлекательную особу, о которой до сей минуты вспоминаю с удовольствием. Дело происходило в нарвском дилижансе, я сел в него с головной болью и не предугадывал ничего доброго, когда внезапно села рядом со мной свеженькая девушка лет 18, одетая чисто и небогато и говорившая хорошо по-немецки. Отвращение мое к немкам таково, что я с состраданием взирал на ее умненькое личико, с продолговатым носиком и щеками couleur de pomme **. На переезде к первой станции

---

* Ужасно, более чем ужасно! *(англ.)*.
** румяными, как яблоко *(франц.)*.

мы вступили в разговор, и я узнал, что моя соседка русская, хотя живет в Нарве и воспитывалась в немецком пансионе. В короткое время девица рассказала мне многое о себе, о своих родных, о месте жительства и хотя, говоря по-русски, употребляла довольно мещанские обороты речи, но показала в себе нечто особенное, *чистенькое,* смелое и благородное. Мне кажется, она с своей осанкой и личиком d'un garçon d'une bonne maison * отыгралась бы от десяти волокит. В карете ее знали многие, но она равно была любезна с приятелями и незнакомцами, сидела тихо, спала спокойно, одним словом, вела себя так, как может вести себя самая изящная, благовоспитанная и привычная к людям девочка. На ней был темненький салоп и белая шляпка, сделанная со вкусом, рука у ней была маленькая, белая и «без перчатки». Чтоб понять всю привлекательность этого врожденного изящества посреди небогатой обстановки, стоило сравнить девочку с ее визави — полной, богато одетой и пышно развитой веселой стерьвы немецкого происхождения, с изобилием браслетов на руках. Эта последняя приобрела мою ненависть и в течение дороги же была наказана за одну гадость, ею мне устроенную. Такова, одним словом, была нарвская девчоночка, о которой здесь идет речь, что я истинно от души при прощаньи пожелал ей всего лучшего в жизни и теперь благодарен ей за материал для будущих произведений фантазии [356].

Октября 18, понедельник.

Вчера была память покойному брату, и я весь почти день сидел дома, а сегодни поутру сходил на кладбище, причем были посещены отец, Федотов и Павлинька Жданович. Вчера у нас обедали брат с Олинькой и Жуковские, они же сидели и вечером, поутру же были Корсаковы, Каменский, чудак Коведяев и таким образом день прошел приятно, intra muros **. Бродил по выставке Академической. Петербург, как мною давно примечено, имеет одну особенность. Стоит в нем хотя что-нибудь показывать *даром:* медный таз, шпринцовку, драные сапоги, и он сполна прикатит людей посмотреть и себя показать. Вчера, например, на выставке были мильоны народа, так что я, стоя у ворот боковых, высматривал девчонок десятками! А между тем, смотреть решительно нечего в залах Академии! Даже *надежд на будущее* очень мало! Ге и Жемчужников, мои знакомые, художники, несомненно, умные и, что редкость, образованные,— выставили дрянь совершенную. У Ге еще есть мысль, хотя слабо выполненная, а Жемчужников погряз в каком-то псевдореализме — от его картины до изображения убитых клопов и навоза один шаг. Нигде нет вымысла, грации, поэзии нет ни на обол [357], правду воспел Глинка: «Не стало у людей поэзии!». Действительно поэзия прячется и скрывается. Возьмите лучших пейзажистов,— их картины почти бессмысленны. Почему они не пишут великолепных барских садов, или запущенных парков, или закат солнца посреди тихой сель-

* мальчика из хорошего дома *(франц.).*
** среди своих *(лат.).*

ской, чисто русской местности, или час меж «рассветом и утренней мглой», или что-нибудь вроде озера, воспетого Ламартином? Отчего их портреты обставлены пошлыми аксессуарами? Какую идею поэзии вынесешь из созерцания картины Сорокина «Вулкан, кующий стрелы Юпитеру»? Нет живительного духа, нет идеи, связующей все эти этюды и картины! Не стало у людей поэзии! Все это довольно печально.

Видел приготовления к аукциону у Негри[358]. Мало картин отличных, фарфор же и белиндрясы[359] очень хороши.

Воскресенье, 24 окт<ября>.

Все эти дни, кроме вчерашнего, терзаем я был некоторою скукою, причиненною мне давнишней моей болезнью — безлюдьем. Случались вечера, в которые я ровно не мог никуда ездить и не делал ничего. В строгом смысле слова, знакомых у меня много, но друзей или женщин, которые бы меня теперь интересовали, почти нет. Честью уверяю всякого, что мои потребности невелики, я не ищу идеальных пиров и приключений, но какая-то злая судьба именно удаляет меня от того, что мне нужно. Ни в Петербурге, ни в Москве, ни в деревне, ни на Кавказе не отыскивал я тех семейств, к которым холостяки привязываются и прилепляются, не нашел я себе оазисов среди пустоты и до сих пор не имею дома, в который бы меня тянуло вечером. Обзор множества друзей моих и даже женщин, которые мне нравились, ясно покажет мне, чего мне недостает и недоставало. Конечно, в ином виноват я сам. Во-первых, мой вкус слишком утончен, а во-вторых, я нахожусь в исключительном положении именно вследствие своей малой требовательности. Я хочу любить людей для них собственно и, не имея в виду никаких посторонних расчетов, поневоле становлюсь взыскательным. У меня нет начальников, стало быть, мои выгоды в покое, я не ищу связей, не лезу в чужой круг, между тем как все эти обстоятельства, питая самолюбие и расчеты петерб<ург>ского жителя, способствуют к его увеселению или, по крайней мере, развлечению. Я никогда не бываю утомлен службой или делами, потому *отдыха* для меня не существует. Но все-таки судьба зла ко мне: отчего из тысячи близких людей никто не подходит ко мне по жизни и требованиям, отчего во всякой связи отыскиваю я свое mais *, от которого нет сил отделаться.

Думая обо всем этом, я решился увеселять сам себя философским способом и до новых, лучших дней сделаться, на один день в каждую неделю, *туристом по Петербургу*. Начнем с будущего вторника и сообщим о результатах.

Вчера был на аукционе Негри, брат накупил там несколько картин и фарфора. Обедал у М Н. К., где было довольно весело. Вечера у Лиз<аветы> Ник<олаевны> не мог досидеть по случаю головной боли. Зима все еще не началась. В Крыму идет к развязке[360], но, вообще, наш горизонт все еще уныл и мрачен.

---

* но *(франц.)*.

Вторник, 9 ноября.

Вот интервал — так интервал! Собственно со мной это время не произошло ничего особенного, и время шло ни скучно, ни весело. В Крыму происходят сражения, осень превратилась в зиму. Капгер женился, но моя особа не двинулась ни на шаг ни в каком отношении и заседает в своем зеленом кабинете или шатается по городу, сама не зная для чего и зачем. Сегодни хотели обедать у меня Каменский, Сатир, Коведяев и А. Я. Брянский, боюсь только, чтоб непогода и вьюга их не задержали. Глядя на общий ход моих занятий, сперва выходит *ничего*, а потом довольно много. Несколько вечеров и обедов, новая начатая повесть «Пашинька»[361], довольно плохое состояние финансов, некоторое прибавление по части редкостей и картин, вот главные черты. К этому надо прибавить несколько новых знакомств, из которых иные могут оказаться приятными. Чтение газет, особенно «Galignani's Messenger», поглощает у меня много времени. Но довольно об общем, лучше при времени перейти к подробностям, которые лучше обрисовывают и человека и его занятия.

Из театральных удовольствий пользовался весьма немногим, к опере получил какое-то безграничное презрение, а видел эти дни «Фауста»[362] и «Бедность не порок» Островского. Балет мне понравился, хотя и не произвел на меня того поэтического впечатления, с которым я бывало покидал все хорошие балеты. В этом, смело могу сказать, не столько виноват я сам, сколько пиеса и ее постановка. В таких неуловимых вещах, каковы балетные, дело не может идти хорошо при действительных ст<атских> советниках, престарелых декораторах и дряхлом управлении труппы[363]. Ум, глаза могут быть удовлетворены, но чувство поэзии едва ли будет пробуждено. Во всем есть какая-то matter of factness *, чиновничество, излишняя положительность, недостаток фантазии. Роллер, которого часть так здесь важна, есть рутинер, невзирая на все свои достоинства. В «Фаусте» могла бы быть бездна труда поэту-декоратору, особенно в первой половине, но передал ли нам Роллер с помощниками вид древненемецкого города, Броккена, наконец, волшебного замка? Все это как-то сухо и избито, иногда *богато*, но никогда не художественно. *У этих людей нет волшебных замков и старой Германии в сердце!* Они трудятся хорошо, но не тепло. Это аточия, это непонимание поэзии в пиесах сообщилось и кордебалету и актерам. Одна Иелла (произведшая на меня впечатление, несмотря на то, что дурна собою) выдается из общего уровня и потому всегда будет лучше наших танцовщиц, хорошеньких и хорошо танцующих. Впрочем, хороши ли они, о том один аллах и Гедеонов знают! Прихунова подурнела, Амосова глядит халдою, Суровщикова есть тип любимой петербургской танцовщицы — бельфамистый херувимчик, с лицом, на котором глупость яснее дня. Танцует она не дурно, но ни живости, ни фантазии, ни вымысла! On danse, on danse, on se demène, on suffoque, on travaille consciensieusement et l'on ne sait pas pourquoi on se disloque les jambes! ** Народу было мало, и публика походила на оглашенных.

---

* сухость *(англ.)*.

** Танцуют, танцуют, хлопочут, задыхаются, работают добросовестно и неизвестно для чего портят себе ноги! *(франц.)*.

В Михайловск<ом> театре при представлении «Бедности не порок» [364] публики собралось достаточно, и она была внимательна. Пиеса, как известно, слаба, но должна нравиться на сцене и составлена дельным человеком. Разыграли ее сносно, но как-то не живо и будто ощупью; хорош был один Самойлов, вот у этого человека есть поэзия и разумение поэзии! О Читау я уже сказал свое мнение, оно же пойдет и к Бурдину: есть пределы физическим неспособностям, пределы, за которыми и талант почти бесполезен. С рожей Бурдина и чуть ли не со столько же противной фигурой Читау подобных ролей не играют! Этого нельзя, нельзя! — как говорит Васинька Боткин. Талант же есть у обоих, хотя неразвитый и однообразный. Орлова весьма хорошо сыграла роль веселой купчихи. В предшествовавшем водевиле «Покойник муж» [365] я много смеялся. Между хористками есть одна прехорошенькая, сильно смахивающая на m-me Лизу, с которой я лет шесть тому назад познакомился у Jeannette. Может быть, это она. Бурдень, увидавший меня у Краевского, хотел нас познакомить.

Пятница, 24 декабря. Вечер перед Рождеством.

Вот какой интервал в моих беседах с самим собою! Причин ему немного, или, лучше сказать, всего одна — именно, огромное сходство моей жизни теперешней с жизнью прошлого года. Те же развлечения, те же привязанности, по временам то же разочарование и та же неопределенная Sehnsucht *. Чего-то хочется, чего-то ждется, чего-то ищется, на что-то еще я не отвык надеяться. Были дни удачной работы, случались иногда дни, не лишенные приятности. Итак, вместо того, чтоб сызнова рассказывать одно и то же, решился я отмечать только дни, чем-нибудь замечательные, остальные же затем пробелы замещать разными мыслями и суждениями, зародыш которых бывает часто в самых неприметных событиях жизни нашей.

Давно уже я не сидел дома по вечерам и теперь нахожусь один за моим письменным столом в тот час, когда город молится и дети ждут подарков. Можно поехать в три места: к Лизавете Яковлевне, Л<изавете> Н<иколаевне> и Настасье Дмитриевне, возлюбленной Григоровича. Не знаю, поеду ли куда-нибудь; не могу сказать, чтоб мне не до того было, но в такой вечер какие-то другие мысли наполняют голову; часть их высказана в первой главе моей маленькой повести «Прошлогодний рассказ». Есть дни, вечера, которые совестно проводить у людей неблизких, а близких где доищешься! Лучше сесть хлопотать около Чернокнижникова, который, как козьи рога, никак в мех нейдет.

Вчера часть вечера (avant-soirée **) была мной проведена у Каменского в сообществе моего нового знакомого Титова и новой донны, для которой Д<митрий> И<ванович>, отделил уже часть своей квартиры. Так как сие неразумное дело уже было решено, то я и не высказал своего неодобрения.

---

* тоска (*нем.*).
** начало вечера (*франц.*).

Из новых знакомств и новых лиц надо упомянуть: о семействе А. М. Тургенева, с которым сошелся я чрез И. С. Тургенева, о Писемском, совсем переселившемся в Петербург и оказавшимся милейшим господином, о бароне Дистерло, добром немце, благодарившем меня за статью о его храбром брате[366], и о нескольких маскарадных знакомствах. По части донн мало нового. Из работ кончил повесть «Пашинька» и напечатал рассказец «Две встречи»[367], доставивший мне отличный сюрприз. Я мечтал только о том, чтоб этот грешок, наскоро набросанный, не принес мне срама, а между тем все, даже свирепые судьи, как-то — Дудышкин и А<вдотья> Я<ковлевна> его хвалят чрезвычайно. А что если примутся ругать вещи, которые я считаю хорошими?

Происходят приятные собрания у Тургенева, Жуковский произведен в подполковники, что заставило меня провести в этом идеальном семействе один из приятнейших вечерков.

Пятница, 31 декабря, вечером.

Сижу с расстроенным желудком, вследствие многих похождений сего неистового времени, и принимаю капли; из этого, однако, не следует, чтоб я считал себя нездоровым. В виде поздравления с Новым годом получил я от таинственной незнакомки отличный букет, и, таким образом, сей для многих печальный 1854 год для меня оканчивается цветами. Опыт показал, что поэтам и художникам присылают букеты не кто иной, как старые девы с нежными сердцами и физиогномиями более или менее гнусными, впрочем для меня это все равно. Из всех женщин сего мира чувствую я нечто к одной только, и сия лукавая дама обманула мои ожидания в двух маскарадах, но сердце мое говорит, что наши дела еще не кончились. Вообще, 1854 год был беднейшим по части привязанностей.

Что ждет меня и всех нас ровно через год, 31 дек<абря> 1855 года? Много ли еще бед наделают штуцера Минье и не прекратится ли убийство хорошего и славного народа? Не придется ли нам быть зрителями великих зрелищ и бранной эпохи? Сбережем ли мы всех друзей наших и самих себя? Не кончится ли вся эта кровавая история благополучным миром? Поймут ли люди, наконец, что на свете и без войны жить довольно трудно, а с войною для многих невыносимо? Но к чему ведут все умозрения? Поблагодарим бога за прошлое и станем доверчиво глядеть на будущее.

Конец 1854 года.

<1855 г.>

4 янв<аря>, вторник.

По необходимости возвращаюсь на короткое время к своему дневнику. Вторгнулись в мой кабинет исчадия m-me Б. в количестве трех персон довольно гнусного вида, рассматривают оружие, мешают мне спать и, несмотря на все мои усилия, никак не хотят отправиться в другие ком-

наты. Это то, что мы с Дрентельном когда-то называли *сечением,* в полном смысле слова, к тому еще надо присовокупить, что негоция насчет покупки древнего шкапа не удалась, да сверх того маменька сих вышесказанных чижей взвалила на меня одно глупейшее поручение. К спасению остался всего один путь — ехать слушать «Осаду Гента» [368], что я и сделаю,— в довершение бедствий спектакль начинается не в 7, а в $7^1/_2$.

Началом года я отчасти доволен, хотя вследствие давно не бывшего со мной желудочного расстройства много сидел дома. Сегодни сделал несколько визитов, а вчера был на вечере у П. С. Золотова, вечере довольно чернокнижном.

17 янв<аря>, понедельник.

Вот-с как идет журнал и какова моя исправность! Истинно умен был человек, говоривший что для *занятого человека* на все найдется время, между тем как для праздного иногда нет и минуты свободной! Маскарады, иногда театр, обеды и прочие увеселения, а пуще всего позднее вставанье довели меня до того, что я ничего не работаю, кроме фельетонов, даже на письма отвечаю лениво, а о дневнике позабыл совершенно. И жаль этого, потому что за сказанное время пришлось познакомиться с несколькими новыми лицами, встретить кое-каких оригиналов и даже быть довольным собою. Но насиловать себя я не умею, а потому *подождем другой линии.*

Вообще, сей журнал ознаменован рядом не сдержанных обещаний. так что если меня судить по смыслу буквы, то я окажусь слабохарактернейшим фетюком. А между тем, я не совсем фетюк, хотя поминутно даю себе слово делать то-то и то-то, убегать праздности, но слова не держу. Но воззри благосклонно, будущий мой читатель, на следующее умозрение. Для чего мы спорим с человеком? Разве мы надеемся, что истины, нами высказанные, разом изменят его убеждения? Нет, но спор может мало-помалу изменить воззрения противника. Для чего сатирик показывает нравы,— или он думает, что свет тотчас же станет идти на иной лад и сделается совершенный? Человек партии разве рассчитывает на немедленное торжество над противником? Такова и моя история. Если б я выполнял все свои планы, я бы уже давно был бы добродетельнейшим, честнейшим, трудолюбивейшим и счастливейшим из смертных, достойным унестись на небо из дольнего мира. Само собой разумеется, до идеала я не достигаю, но по временам делаю шаг-другой по избранному пути, и то недурно.

Например, я решаюсь с завтрашнего дни вставать ранее, работать дельнее и совершать изредка утренние экскурсии с наблюдательною целью, путешествия по улицам и магазинам, мною так любимые. Я уже заготовил листы бумаги, на которых буду записывать черты, идеи и чужие достойные внимания мысли. Я еду и накуплю книг. Я энергически примусь за повести: «Новый свет», «Любовь и вражда» и т. д. По возвращении из гостей я буду отмечать все стоящее внимания и, таким образом, подзадоривать себя к наблюдениям и деятельности. Программа

хороша, но в исполнении ее будет много неохоты, лени и т. п., но зато будет что-нибудь и лучшее. Сегодня я вполне убежден в своей непогрешимости, забывая, что за листа два назад подобные же обещания красуются. И все-таки я иду, хотя слабым шагом, и лучше бороться с волной, нежели падать ко дну без сопротивления.

Я начал дурно выписывать буквы и писать с торопливостью. Кто пишет так, тот не напишет ничего доброго. Надо обуздать себя и на этот счет.

Среда, 19 янв<аря>.

По возможности вчера трудился, окончил фельетон о собирателях редкостей [369], но читал мало по неимению книги, которая бы меня занимала, а ехать покупать книги не хочется по причине холода. Вообще, на моих глазах петербургский климат значительно изменился: я помню, что бывало 25-градусный мороз никого не приводил в изумление, а теперь все кричат, когда на улице 10 и 13. В прошлую субботу, например, я не был на двух вечерах: у Очкина и Гаевского, а оттого провел довольно безотрадный вечер у брата с нашим бывшим сослуживцем Шенетковским, глухим господином, недавно прикатившим из города Красноярска в Петербург на две недели. Благодаря холоду, у меня насморк à l'ordre du jour *.

«Заметки Петерб<ургско>го туриста» (фельетоны для «СПб. ведомостей») довольно сильно меня занимают, и не в одном денежном отношении. Эти фельетоны не пропадут, и кажется мне, что из них может потом выйти недурная книга нравоописательного содержания. Сверх того мне кажется (и я это выскажу при случае), что роль фельетона в нашей словесности и вообще для русского языка не так пуста, как о том думают. Фельетон должен окончательно сблизить речь разговорную с писаной речью и, может быть, со временем сделает возможным то, что нам давно надобно — разговор на русском языке в обществе. До сих пор патриоты наши, проповедуя необходимость говорить по-русски, основывались на патриотических чувствах, и мы видели, что их пропаганда успеха не имела. Сами патриоты эти, войдя в гостиную, резали по-французски и по-французски советовали всем говорить на родном наречии. Все это пустяки, мода, тщеславие человеческое. Заставлять общество говорить по-русски нельзя было в то время, когда изящнейшим и легчайшим образцом родной речи была «Бедная Лиза» Карамзина! Надо не так действовать. Разработайте русскую речь разговорную, покажите ее гибкость и легкость, заставьте публику, чтоб она ее предпочла речи французской, и дело будет выиграно. Поэтому у нас, современных писателей, язык есть не последнее дело, как думают многие. Мы должны начеканить монету, которая войдет в общее употребление и вытеснит иностранную. Есть в русском языке великие ресурсы для разговора, ресурсы крайне оригинальные. Наша острота не есть острота французская, наша меткость принадлежит нам собственно. И вот почему тот, кто пишет для «легкого чтения», должен иметь в виду кое-что поважнее.

* в порядке дня *(франц.)*.

Пятница, 21 янв<аря>.

Вчера слышал рассказы Заблоцкого и Краевского о московском юбилее [370] и московских наших приятелях. Вообще, мне уж давно кажется, что московская жизнь именно для меня создана, я всегда вкушаю ее с удовольствием, да еще сверх того уверен, что когда-нибудь (если не опоздаю) найду в городе Москве свое счастие, если оно для меня возможно. То, что составляет удобство и красу Петербурга, трогает меня лишь в очень слабой степени,— здешние театры могут погибнуть в пламени, меня не огорчивши, гулянье по Невскому, Летний Сад, вообще все points de réunion * публики меня мало занимают. В связях я не нуждаюсь, служебные интересы мне чужды,— я не столько жаден до новостей, чтоб дорожить их быстрым приходом ко мне. На блистательных балах фигуры примечательной я не могу представить, впрочем, хорошие вечерние собрания могут быть и в Москве. Итак, все, собственно составляющее выгоду Петербурга, меня мало трогает, тогда как некоторые неудобства древней столицы выкупаются тем, что там меня многие любят и во мне нуждаются. В Москве, т. е. в лучших ее кругах, если я не ошибаюсь, довольно силен дух светской независимости, без которой нельзя жить на свете. У нас всякий служит и оттого портится для общежития,— возьмем в пример отличных здешних людей: Каменского, Пейкера, Юрия Толстого. Что можно извлечь при всем желании из этих господ, не имеющих одного вечера свободным? В Москве, напротив, добрые люди теряют от праздности и коснеют в лености,— но расшевелить их можно почти всегда, тогда как человека, заваленного бумагами, не растревожишь. Насчет женщин опять в Москве лучше: здесь женщины страдают болезнями своих мужей — их честолюбием, их затруднительными финансами, их бешеным стремлением к первенству, между тем как там женщины откровенно скучают и всегда благодарны тому, что их развлечет хотя немного.

Скоро должен приехать Тургенев и сообщить мне несколько сведений о лицах, меня занимающих.

18 янв<аря> [371].

— Галерная улица, лестница с трапом. Interieur ** Г<аев>ской.

— Гость из Екатеринбурга, обедающий в два часа. Les parents du mauvais ton ***.

— Васильчиков и Чернокнижие.

— Поездки на стеклянный завод. *Женни* и Маша.

— Фотографико-электрические сеансы Комарова. Les succés au stéreoscope ****.

— Новая квартира Михайлова у Казанской церкви. Его же старая квартира с брусничными обоями. Разводитель клопов.

---

* места встречи *(франц.)*.

** Внутренность квартиры *(франц.)*.

*** Родственники дурного тона *(франц.)*.

**** Успехи стереоскопа *(франц.)*.

— Мей и его история у Штакеншнейдера. О новом журнале.
— Вечер у танцовщицы. А. И. Шуберт и таинственный monsieur.
— Братья Жемчужниковы и Толстой.
— Волокитства старого генерала И. Ф. О.
— Мад. Вадим и ее сродники. Красная комната и зеленая мебель. Погасающиеся лампы и девка с курительными карточками. Ужин.
— Собрания у Галиопа. Покровский, Кадаев, Чубинский. Донны. Тоня и ее друг-немец.
— А. Ф. Писемский. Его рассказы. «Таинственная капля»[372]. Наспринцованный иеродиакон. Похороненный кот и убитый медведь.
— Преображенские офицеры. Дистерло, Талызин, Гадон, Янковский.
— Раут у Тургеневых. Патриархальное семейство.

19 янв<аря>.

— Скучнейшие avant soirée * у Л<изаветы> Н<иколаевны>.— Печальная и холодная квартира.
— Океан чернокнижия у С-ских.
— Поведения Панаева дяди на вечере у чиновников.
— Упорство в делах любви. Сегодня четвертый маскарад. Н. Д. М<усина>-П<ушкина>.
— Типы деятельных и озабоченных дураков. М., Т-в и др.
— Поведение отвратительного офицера в желтой шапке (о Фете).
— Неудавшийся обед в Ан<глийском> клубе.— Борель.
— Неудачный вечер у Пашиньки. Дамы большого роста.
— *La colombe amoureuse* ** (Маскарад Д<ворянского> соб<рания>).
— Встреча с Бертой или ее подругой.
— Языков на итальянском обеде у Кавоса.
— Скрывающийся от врагов Щербина.
— Сладострастный Гелиодор.
— Пульки на бильярде. Анненков. Авдеев. Бурдень. Галахов. Краевские père et fils ***. Панаев. Языков. Ман.
— Детские вечера. Крапочка и маленькая гречанка.
— Рисунок бегемота. Надувательство Анненкова.
— Une demoiselle, qui fera de grandes passions ****.

20 янв<аря>.

— Больной Саша и горчица. Ужасное впечатление вид больного ребенка.
— Прапорщик А. Н. М. и его деяния. Кабинет. Маскарадные дела. Споры.
— M-me Граве. Зависть. J'ai du guignon *****.

---

* начало вечера *(франц.)*.
** Влюбленная голубка *(франц.)*.
*** отец и сын *(франц.)*.
**** Девица, которая будет возбуждать страсти *(франц.)*.
***** Мне не везет *(франц.)*.

— Дамы, дурно замаскированные. Молчаливая высокая дама с дебошем.

— Бедный Авдулин. Его фигура, мое с ним знакомство.

— Одинокая беседа с Ал<ександ>ром Михайловичем.

— Оригинальный обед у А. П. Евфанова.

— Персонаж В. Н. Сталя. В. Н. С<таль>, кидающийся в танцы на старости.

— Предположение об интриговании Михайлова.

— Всеобъемлющий Гаевский.

— Чернокнижие и таинственные слухи о Сократе.

— Помещик Свечин. Приятели Тургенева — Колбасин и так далее. Ваксель.

— Pucelle * Анна Романовна. Анна Дмитриевна.

— Карцов. Пейкер. Титов. Обломки канцелярии.

— Конкубинат Д. И. Эльдорадо и Монплезир.

— Rendez-vous в Пашковском клубе.

21 янв<аря>

— Особенности стареющейся красавицы. Sharpness ** в линиях лица. Что-то неприветливое и решительное.

— Архитектор Пецольд. Пульки на бильярде. К. И. Черняев. С. И. Черняев. Иг. Ман. Бурдень.

— Чернокнижие с профессором Буличем.

— *Совсем* хороша. *Совсем* рыло.

— Помада, придуманная Григоровичем. Маска в виде аспида.

— M-me Valerien Panaeff и общее пламенение к сей особе. Чувствия Григоровича. Муж ее Валериан.

— Персонаж и женитьба Мухортова. Спичи.

— Савон во всех подробностях. Кулачество. Парголово. Счеты наши. Папиросы. История с Евфановым и тетенькой. Светские выезды.

— В. С. Сахаров, *генерал.*

— Исправление строптивого Арапетова.

— Вид палаццо и окрестности в Щепце.

— Переписка моя с Катер<иной> Матвеевной насчет шкапа.

— Семейство критика Галахова.

— Статский генерал Заблоцкий.

— Рассказы о московском юбилее[373].

— Проект юбилея Михайлову.

22 янв<аря>.

— Обед у В. И. Евфановой. Обидчивая дама и визиты.

Щепетильная Petronille или <...>, как говорил Ванновский.

— Interieur Каменского и его маленькая донна.

— Дом Решеткина с тонкими стенами. Влияние квартиры на смертного.

---

* Девственница *(франц.)*.

** заостренность *(англ.)*.

— M-me de Лагранж, похожая на длинного мертвеца. *Белуга.*

— Лаблаш и знакомство с Лаблашем. Вид и манеры Станкевича.

— Стахович, его рассказы о Матвее Хотинском.

— Производство А. В. Жуковского и вечер у него.

— Человек *партии.* История с Чернокнижниковым. Цукат.

— Женщина без задницы. Женщина, всегда имеющая вид беременной особы. Dentelles de coton *.

— C'est la carabine Mignié entre les bavards **.

— Моя поездка в Гатчино. Вид окрестностей железной дороги.

23 янв<аря>.

— Сон и сражение. Трусость.

— Пьяная Дарья Ивановна.

— День, проведенный подобно крепостным людям.

— Семейство Т<ургеневых?>, наводящее уныние.

— Хлыщеватость Ванички в маскараде.

— Сравнение рыжего господина с *факелом.*

— Маскарадное поведение Павла Сергеевича.

— Debut de l'aristocratie ***. Скучные обеды.

24 янв<аря>.

— Разговор с Анненковым о Тургеневе.

— О санктпетербургских розанчиках. Минна Антоновна и Фитингоф.

— *Аристократов чтители.*

— Нападения друзей на Мухортова. Выкушенная бакенбарда.

— Михайлов и вердепомовое письмо [374].

— Ответ Майкова авторам «Послания к Лонгинову» [375].

— Гаевский и женщины писательницы.

— Гаевский на похоронах Фуса и на концерте студента, играющего на свирели. О *всеобъемлющих* людях.

— Новый журнал Мея и все, к нему относящееся [376].

— Характеристика деятельных дураков. Старчевский, Телепнев.

— Озлобление А<вдотьи> Я<ковлевны> против рода человеческого.

— Поведение Буткова относительно юбилея Греча.

— Кокетство своими пороками в сем же государственном муже.

— Свидание в Пашковском собрании, на кое я не пришел.

26 янв<аря>.

— (Пьяные Пиквики). *Not wine, but salmon* **** (пьяный человек никогда на вино не жалуется).

— Ушел спать, простясь с своим семейством так, как будто бы ему предстояло идти на казнь.

---

* бумажные (дешевые) кружева *(франц.).*

** это карабин Минье среди болтунов *(франц.).*

*** Дебют аристократии *(франц.).*

**** Не вино, а семга *(англ.).*

— Вечер у Михайлова, вечер благочинный. Моллер. Споры с Анненковым.

— В литературном направлении, и в злом и в добром, есть своя рутина.

— Замечательная теория о *пользе онанизма* на развитие юношества. Безумные медицинские теории.

— Татуировавшаяся Полинька Р.

— Захлебываться от желчи.

— Французские пиесы с эффектами. «La citerne» * [377] M-me Volnys.

— Мрачный господин Бабет.

— Bonnes fortunes ** Бурденя.

— О том, что демагоги — первые чтители блеска и аристократизма.

— «Constantinople» par Gautier. Поездка за книгой. Нравы разных магазинов. Приветливость и грубость. Распадающийся магазин Лури.

— Рассказы Хотинского о его браке с девушкой кафрского племени.

— Горбатый де Поллен в маскарадах.

29 янв<аря>.

— Всякий поляк сделает подлость из горсти золота, а потом выкинет ее за окно (Фридр<их> Велик<ий>).

— Чтение нового романа Писемского [378]. Добрый смотритель училищ, генеральша, злая исправница. Масон почтмейстер.

— А. П. Евфанов, двоекратно запираемый в нужник.

— Характер отчаянного козака Грекова.

— Пророческие замашки Анненкова.

— Пропадающий и заматывающийся прапорщик.

— Великолепно ярыжная мелодрама: «Citerne» d'Alby... Жесты и манера Вольнис.

— Мнение И. В. Анненкова о сей мелодраме и в особенности о поступках убийцы.

— Предпоследний маскарад Дворянского собрания. Юлинька, m-me Граве, Colombe, француженка Olga и ее мать.

— Господа, угощающие А. И. Савинову.

— А. Н. Силанский и венчанная сочинительница Зражевская.

— Средство кончать споры, поклонясь друг другу.

— Атмосфера и вид комнат, где есть больной в доме.

— Фома Осипович и политические новости.

С. Мариинское, 28 июня, вторник, наверху.

Принимаюсь за давно заброшенный дневник не без отрадного чувства. Более двух месяцев, сладких, дружественных и полных разнообразия месяцев промелькнули с быстротой, освежив мои силы и давши мне много материала во всех родах. Немногие люди в теперешнюю тревожную пору могут похвастаться такими двумя месяцами. Теперь я от-

* «Водоем» *(франц.)*.
** Удача *(франц.)*.

дыхаю и припоминаю, а между тем, понемногу начинаю свои работы. Со мной в деревне Григорович, и он тоже работает, его присутствие спасает меня от некоторой тоски и облегчает переход от слишком шумной жизни к одиночеству[379]. Что бы ни ждало меня впереди, поблагодарим судьбу за отрадное время, не омраченное ни одним облаком, за теплые беседы, независимость, веселье и все прочее. Постараюсь для памяти между делом набрасывать очерк моего путешествия. Может быть, я буду ошибаться в числах, но это не важно.

28 апреля и 29. Утро. Прощание и некотор<ая> грусть. Железная дорога. Вагоны 2 класса, простор. Н. А. Стремоухов и проводы. Становится тепло. Поля голые и деревья без зелени, однако дорога красива. Плохой обед и гадкое вино. Знакомых нет. Ополченные. Полковник вроде Ивана. Перемена температуры и местности. За Тверью густая зелень и цветы. Красота станций. Полное лето. Москва. Безобразная карета и мошенник извозчик. «Дрезден»[380]. Морель. Круглая комната, все окна настеж, жара. Соляников. Рассказ о бедственном сватовстве. Галахов и Струговщ<ико>вы. Забавная история сватовства. Выспавшись, делаю поездки, по-пустому. Красота Москвы. Гулянье около Трубы[381]. Встречи. Тихий ужин вдвоем и ночь. (Проводы m-me Карнович. Дамы).

30 апр<еля>. Человек от Софьи Влад<имировны>[382]. Боткин. Коляска. Корниловы. Бартенев. Wide, wide world*. У Кильдюшевских, у Соф<ьи> Влад<имировны>. Встречи и переезд. Обед и шампанское. Беседы. Гулянье по Шерем<етьевскому> саду[383]. К Ростопчиной. Шатанье неизвестно где.

1 мая. Езда. У Базунова. Хлопоты с «Современником». Ярость. К Лонгинову. Его супруга, дом и обстановка. Холодность сей дамы. Ростопчина и приглашение в Вороново. Обед у Боткина. Галахов. К Кильдюшевским, там нахожу Соляникова, и с хозяйкой в Сокольники. Пыль, превращающая Сокольники в Севастополь. Сцены на лужках. Цыганки. Бедность на хорошеньких. Возвращение и поездка к Гучковым. Необыкновенная компания. Угощение. Жандарм музыкант. Убранство дома. Марья Павловна. Миллионная невеста. Чудеса. Бегство.

2 мая. У Козловых. Князья Гагарины. Старик Кротков. С Боткиным и Соляниковым в Петровский парк. Дождь и град. Спасение в клуб. Бильярд. Знакомство с Аполлоном Григорьевым. Приглашения.

3 мая. Приезд Григоровича. У Боткина обед. Перед обедом у Струговщикова. За обедом Лохвицкий, Селиванов, оказывающийся милым, и Феоктистов! Уморительно скандалезная беседа, восторги Селиванова. Пешком к Красным воротам. Вечер у Софьи Владимировны. Графиня Сальяс с дочерью. Оригиналы. Павлов, Жеребцов, Северцов, Алмазов. Сестры хозяйки. Ужин. Боткин и Григор<ович> провожают меня до дома, восхищаясь маленькой Сальяс.

4 мая. Утро в саду. К Корнилову. Грановитая Палата. Софья Петровна и Маша К. Дворец, терема. Обед у Павла Николаевича, Соляников и Григорович. Появление Марьи Александровны и ее брата. Пение,

* Большой, большой мир *(англ.)*.

восторги. Гулянье в саду; знакомство с Софьей Ал<ексее>вной и Идой Алек<сее>вной. Очарование. Монблан из фарфоровых миниатюров.

5 мая. Отвожу М<арию> А<лександровну> домой. Пение и беседа. Домик в немецкой слободе. Куда-то все езжу. Обед у Софьи Влад<имировны> и пикник в Останкино. Павлов, Мельгунов, тухнущие свечи. Приключения в дороге. Осмотр дома. Беседа в саду. Северцов и Жеребцов. Разговор о скабрезных предметах. Бузени. Приключения в *Пильниковом. Тигр.*

6 мая. Не знаю где, что и как,— до вечера. Вечером гулянье в Шереметьевском саду. Очарованный замок. Дружба. Ида, Marie и Sophie. Улетаем от них с Григоровичем к Аполлону Григорьеву. Замоскворечье. Дома без занавесей. Спас в Наливках[384]. Новая Жюли. Старичок в балконе. Островский. Беседа, поездка по бузеням и прочая.

7 мая. Письма от Панаева и Некрасова. Получение денег. Разъезды. У Рачинских. У Лонгинова, у Эсмеральды и в соседних bousingots *. Обед у Боткина. Поездка с Гр<игоровичем> на чернокнижие. Адская жара. Дуняша и Лиза. Nudissimo horror **.

8 мая. Не помню, что и как. Поездка к художникам. Atelier Рамазанова. Мастерская Скотти. Рисунки. Мастерская скульпторов. Старые картины. Несение креста. Письмо к Солдатенкову. Везу Григоровича на Самотеку[385]. Обед не знаю где. Поездка в Петровский парк. Особы, воскресшие из мертвых. Кушелев. Шувалов. Лонгинова жена обрисовывается. Матильда Михайловна. Луиза с дочерью. Вечер у Матильды в Москве.

9 мая. Утро у Толстого. Вести из Петербурга. Поездка в Бронную улицу. Приобретение пальто. Обед большой у Кильдюшевских. Корнилов, Сол<яников>, Боткин, Григорович. Великолепное гулянье в саду; девицы всех очаровывают. Толстой. Прощание. Переезд до Боткина. Новое помещение. Жара. Беспокойная ночь.

10 мая. Приезд Николая Петровича. Вести. Сборы. Огромный обед и питие. Грановский, Кетчер, Щепкин, Пикулин[386]. Сближение с пророками[387]. Обоюдные любезности. Успех статей о Пушкине[388]. Пьянство проходит безнаказанно. Вечернее шатанье вдвоем. Мясницкий бульвар. Мое целомудрие. Минуты бездействия перед отъездом. Вас<илий> Петрович является после полночи. Лежание на диванах. Сборы и отъезд[389].

11 мая. Туманное утро. Поле. Телеграф. Рассвет. Первая станция и ерыга с девками. Город Подольск. Собака с оторванной ногой из-под Севастополя. Гусар. Вообще тарантас и наше устройство. Стихи Григоровича. Первая мысль о «Пантеоне» Веронез и прочая. Серпухов. Наиподлейший обед. Начало пожара по соседству. Ока. Перевоз. Вечер восхитительный. Рассказы Боткина об Испании[390]. Литературная беседа. Соловьи. Вид местности. Липы и дубы. Перед Тулой Григорович нагоняет на нас ужас. Содержательница Мариинской станции. Ожи-

* заведениях *(франц.)*.
** голый ужас *(лат.)*.

дание смертоубийств. Все проходит благополучно [391]. Въезд в Тулу. Физиогномия города. Воспоминания о Юлии Викторовне.

12 мая. Хорошее утро. Начало степных мест. «Пантеон» принимает величавые размеры. Кокосовый кубок. Орнаменты. Вид здания. Имение Гагариных. Сомнение в существовании Спасского. Спросы о Тургеневе. Городок Чернь, имеющий нечто кавказское. Человек Языкова. Постоялые дворы. Сворачиваем с дороги. Нетерпение. Встреча с Тургеневым. Объятия. Он нас сопровождает. Приезд в Спасское. Дом, сад, бильярд, библиотека. Дядя Николай Николаич. Елисей Колбасин. Доктор Порфирий. Поздний обед. Отрадная беседа, гулянье у пруда, уженье. Григорович отличается. Нас ведут наверх, спим как убитые.

29 июня, среда.

Крабб идет удовлетворительно. Повесть «Новый свет» слагается в голове. Работаем усердно и купаемся дважды в день, но сегодни ветрено и потому купанье отложено. Григорович трудится как каторжный. Отправлено много писем в город. Чувствуется потребность в книгах. Третьего дни видел вдову застрелившегося Томсона. Его жаль, но при таком положении дел хорошо, что он с собой кончил.

Продолж<ение> поездки.

13 мая. Гулянье порознь. Обзор окрестностей дома. Церковь. Оранжерея. Пруд и опять уженье. Бильярдные партии, Порфирий начинает высказываться. Начало обжорств. Завтрак вроде обеда. Обзор библиотеки. Устройство кегель. Обед и дамы: Лизавета Семеновна, Анна Семен<овна>, Вера Степанова. Речи о графине Толстой [392]. Замысел домашнего спектакля [393]. Шахматы и вечерняя беседа. Гулянье по полям. Таинственные места. Суеверные рассказы. Тургенева посвящают в тайны «Пантеона». Приезд Ржевского, знакомого мне по публичному экзамену в год моего выпуска.

14 мая. Все едем к соседу Лаврову, знаменитому <...> и хозяину, на сельский праздник, в трех экипажах. Я с Тургеневым, Григор<ович> с Ржевским, Боткин с Колбасиным. Виды окрестностей. Завадский, однодворцы, Кутлеровское имение, проигранный дом. Ока. Имение Бахметевых. Великолепное имение Лаврова. Дом и службы. Картины в комнатах. Радостный прием. Гости. Веревкин и немец-музыкант. Другие соседи хлыщеватого вида, имена коих забыты. Об ополчении. Обед. Девочка-воспитанница. Реформы в крестьянских нарядах. Пляски и пение. Кички и сарафаны. Матреша, Дуняша и Катя. Игры с завязанными глазами. Призы за пляску и пение. Воздушный шар и его эффект. Вечер в саду. Зимний сад и флигель. Ночлег в одной комнате, обилие урильников. Постель Вас<илия> Петр<овича> разрушается. Григорович требует хлеба. Хохот и усыпление.

15 мая. Утро после пира. Отъезд. Я еду с Боткиным и Колбасиным.

Остановка в поле и лорнет. Беседа с кучером Никанором о Лаврове. Заключение о том, что дома лучше нежели в гостях. Григорович и Тургенев задумывают пиесу для домашнего театра. Приготовления.

16 мая. Пиеса набрасывается и почти оканчивается. Разбор ролей. Игра в кегли, чтение «Илиады» вслух. Приезд Толстых и Дельвигов. Знаменитая Марья Николаевна. Первое чтение пиесы. Гулянье, обед с шампанским. Бар. Дельвиг, его сестра и прочая.

17 мая. Отъезд гостей на короткое время. Приход газет и журналов. Письмо Анненкова. Кулебяка за завтраком и обед, причиняющий расстройство желудка. Неузнавание друг друга. Протест Ник<олая> Ник<олаевича> против уничтожения завтраков. Милейший Василий Каратеев. Раздача ролей. Чтение мемуаров m-me D'Epinay. Альманахи и старые журналы. Сосед, похожий на сырника. Начало милых вечерних бесед о поэзии, привидениях, <...>, политике и путешествиях.

18 мая. Вас<илий> Петр<ович> обертывается мокрыми простынями. Прислуга Тургенева: Захар, старик Антон, маленький Никита, Василий и глухонемой Андрей [394]. Вид нашего помещения. Чудеса Порфирия за бильярдом. Я обыгрываю всех. Поездка в Чаплыгино. Великолепная долина с лесом. Фантастический дворец на вершине горы. Григорович заводит нас в чащу. Злоба и умиление Боткина [395]. Обжорство. Мухи, ходящие по животу. Присылка комедии от Толстых.

19 мая. Утренняя прогулка по саду, в уединении. Липовые аллеи. Соловьи. Розы уже цветут. Шпанские мухи. Я, Боткин и Тургенев идем в лес около дома. О Тютчеве. О многом говорится. Точим язык по поводу друзей и «Пантеона». Приезд Толстых. Первая репетиция пиесы. Боткин великолепен, Колбасин плох. Зрители довольны.

20 мая. Роспись ролей, добавки к роли моей. Театр и декорации устроиваются. Репетиции идут, пиеса двигается стройно, но Колбасин все портит. Роль (дублетом) дают Дельвигу, для состязания артистов. Чтение «Илиады» идет crescendo *, даже при дамах. По вечерам Боткин и Тургенев рассказывают о своих путешествиях. Ольга Александровна часто составляет предмет наших бесед. Насчет женщин полное воздержание — l'entourage *ne laisse rien à desirer* **.

21 мая до 25-го. Гостят Толстые и Дельвиги. «Илиада». Огромная ладия на пруде. Приключения с Колбасиным. Нежное сердце и слабый организм. Дельвигу отдают роль Луковицына. Огорчения. Сны. Меня приглашают писать об альманахах. Чтение старых журналов. Порфирия Тургенев обыгрывает палкой на бильярде. Николай Николаич Толстой. Шахматы — *толстый срамник.* Воспоминания о m-me Виардо. Поездки утром по ореховым и дубовым лесам. Ревнивец Порфирий. Вечер с гитарой. Я начинаю спать после обеда. Споры о Гоголе и Бальзаке. Пахнущий клопами. Боткин и повесть Леонтьева. Зеленый яд. Писун. Анчар, древо яда [396]. Театр наш волнует умы соседей. Получение газет.

---

* усиленно *(итал.).*

** окружение заставляет ничего не желать *(франц.).*

Меня угрызает совесть и тоска по своих. Моя мнительность. Pietri duri * [397].

25 мая. Генеральная репетиция в костюмах. Двое неизвестных путников. Касаткин и круглолицый полячок. Каратеев. О, Василий! Любовные его похождения. Утром Тургенев видит Боткина, обернувшегося в простыню; Василий Петрович — весь мед. Решаемся ехать к Григоровичу и от него ко мне в деревню. Репетиция увенчивается успехом. В Орел мы посылаем за шампанским. Некоторое пьянство.

26 мая. Четверг. Торжественный день. Утром кегли, в коих Боткин не принимает участия по болезни руки. Весь дом в движении. Гости: Шеншин, два брата Карпова, из которых один виртуоз бильярда, Каратеев, а других не знают. Порядочая бестолочь. Большой обед. Спектакль. Поэтические минуты. Foyer **. Ощущения. Успех. Анна Семеновна покрывает себя славою. Недоразумение по поводу занавеса. Вызовы. Эдип и Антигона. Конец.

27 мая до 2-го июня. Нам так хорошо вместе, что разъезд гостей нас нимало не огорчает. Григорович оказывается портретистом. Советы о переселенцах [398]. Явление ополченного старичка. Изба с раскрытой кровлей. Осиновые избы. Запущенный сад Порфирия. Пейзажи. Боткин и Григ<орович> поминутно ругают русских пейзажистов. Ночные наши беседы делаются превосходны. О любви, о женитьбе. Тургенев поведывает нам про Пашиньку. Похвалы О<льге> А<лександровне>. Романсы Гуно. Вечера муз и граций. Прощальное гулянье. Гречиха. Чаплыгино. Сборы. Расставанье и проводы.

До 4 июня. Ночь в дороге. Гнусные разговоры. «Пантеон» опять на сцене. Ржевский. Въезд в Тулу. Чернокнижие. Настя. Поля. Гостиница. Земляника. Рассказы В<асилия> П<етровича> об Остенде. Замысел фельетонов. Ока. Вечер. Серпухов. Дамы на балконе. Чай. Наем ямщиков. Проселок. Ямщик плакса. Берега Оки, Луга. Ароматы. Сон. Рыбалья деревня. Пешеходное странствие. Григорович усыпает нам путь розами. Зной. Город Кашира. Монастырь. Старая Кашира. Опустелый дом Ильиных. Хозяин дома. Картины и вся обстановка. Модель. Утомительная езда до Любени. Переезд через Оку и подъем в гору. Смедовская долина. Виды. Приезд в Дулебино [399]. Адский голод. Бабушка. Домик в саду. Река Смедва. Сладчайший отдых.

5 июня. Кабинет редкостей. Родники и каскады. Дубовые и сосновые рощи. Дом, похожий на дачу. Розы и жасмины. Купанье. Купающие<ся> девушки. Феня и Анисья. Матушка Д<митрия> В<асильевича> и Маша. Разнежившийся Боткин. Библиотека. Обед под липами. Водянки и наливки. Прогулка вечерняя до Ильиных. Поминутное взбеганье на чердак. Наблюдения. Вас<илий> Петр<ович> читает статьи о Пушкине.

6 июня. Устройство купальни. Чердак играет важную роль в истории дня. Неслыханный зной. Охота вдоль реки за девушками. Мельница.

---

* Твердые камни *(итал.)*.

** фойе *(франц.)*.

Маша Черемисинова. Письмо к Тургеневу. Обломовка. Отсутствие газет, но обилие журналов. Похвальная статья «Б<иблиотеки> д<ля> ч<тения>» [400]. Мрачное состояние хозяина. Вечер около дома Ильиных и падающего родника. Ополченец Литвинов, его энтузиазм. Боткин мешает мне спать, читая «La comedie des comediens», Гозлана. О собирателях.

7 июня и 8 до отъезда. Затишье полное. Чердак. Трансы после тульской экспедиции. После двух дней ожидания все кончается хорошо. Я начинаю задумываться о своих. Любовь Маши к Василию Петровичу. Оригинальная девочка Оля, любительница похорон. Обеды с женской прислугой. Французский язык начинает меня сердить. Прогулки по дебрям. «Ключ», стихи Державина. Прогулка по берегам Смедвы. Стрижи по берегу. О пейзажистах.

Сборы к отъезду. Последнее посещение чердака. Прощание и отъезд, или, скорее, выход, ибо версты две пошли пешком.

Опять в дороге. Луга у Оки. Люди на пароме. Пиво. Вид имения Горы. Ночь. Странные речи о любви. Тихая езда. Спор о Китае, с озлоблением. Голод. Коломна. Гнусная гостиница, наем лошадей. Печальная весть о взятии редутов [401]. Утро. Город Бронницы. Зной. Село Коломенское. Пригородные села. Лошади выбиваются из сил. Пешая ходьба до Маросейки [402].

Купанье. Обед у В<асилия> П<етровича>. Отдых. Вечер в чернокнижии. Юлия и Надя. Кремлевский сад. Картины во вкусе древности. Теплейшая ночь.

Москва.

10 июня. Приятно видеть деятельность большого города после деревни. Н. П. Боткин. Известия о персонажах «Пантеона». Рассказ о двух парижских девушках. Я с Григоровичем еду к Некрасову у Шевалье [403]. Плохие стихи к русскому писателю [404]. Продажа стихотворений Некрасова. Солдатенков [405]. К Корнилову в Шереметевскую больницу. Сад, приближающаяся гроза, поэтическое гулянье в одиночку. Буря и град. Обедаем дома. Соляников. Поездка втроем в Петровский парк [406]. Встреча. Светлые часы. Вечер у Матильды. Оставляем у ней Ботк<ина> и возвращаемся вдвоем. Слухи о подругах. Московские дамы высшего круга. Хастатова, Корсакова, соблазны. Рассказ Соляникова о Булгаковой. Софи — невеста.

11 июня. Отъезд Григоровича. Условие насчет письма. Бесплодно проведенное утро. Waiting * у гостиного двора. Наблюдения на улицах. Обеды и контр-ordre **. Обедаю для couleur locale *** в Троицком трактире. Обед плох. Известие об отбитии штурма [407]. Старый генерал, его сын и prince ****. Сон после обеда. Еду на свидание у Петровского монастыря [408]. Прогулка. Вас<илий> Пет<рович> с обеда у Пикулина.

* ожидание *(англ.)*.
** отмена (отказ) *(франц.)*.
*** местного колорита *(франц.)*.
**** князь *(франц.)*.

В Петровский парк. Беседа вдвоем. Игра на бильярде и ужин у Ш<е>-валье. Мирзаев.

12 июня. Утром является Некрасов. Полезные толки о журнальном деле. Милютин и Арапетов, их вредное влияние на Панаева. За обедом Кетчер и Забелин. Об «Илиаде» Гомера. Вечером в Шереметевский сад. П. Н. Кильдюшевский. Лялин. Все три девицы налицо. Возобновление старого. Les picotements *. Чернокнижие в одиночку, с Юлией.

13 июня. Беседа с Некрасовым. Витт. Корнилова. Идем в лавку Родионова. Виды Москвы, портрет Наполеона. Гуляю пешком по бульварам. Привольно и весело. Обедают Некр<асов> и Соляников. Втроем в *Эрмитаж*[409]. Корсаковский сад. Кублицкий. Шувалов. Несколько хорошеньких женщин. Опасения дождя. Carnaval des Venise **. Возвращение пешком. Соляников в припадке веселия des hervorragenden Bauch ***.

14 июня. Последний день у Вас<илия> Петр<овича>. Тщетная езда для летнего платья. Покупки. Магазин русских изделий. Кремлевский сад. Прощальный обед. И. П. Корнилов, Соляников, Некрасов. Прощание. Мы развращаем Ив<ана> Пет<ровича>. С Боткиным едем к Марье Алекс-вне, оттуда в сад Шереметева. Поэзия. Софи в фуражке. Гром и неслыханная буря. Смоченные плечи. Adieu! adieu! **** бессонная ночь.

15 июня. Отъезд на железную дорогу. Провожает Соляников. Вагоны 1-го класса. Дождь. Пустота вагона. Н. С. Гаевский. Малозначительная публика. Плохие дамы. Читаю «Путешествие» Готье в Константинополь. Перед отъездом получаю утешительное письмо. Все наши здоровы. Портер. Слабая головная боль. Путейский штаб-офицер. Полонский в арабском бурнусе. Ночь на диване.

16 июня. Опять в Петербурге. Серенький денек с мелким дождем. СПб. дружина. Дома. Отдых и сон. К брату. К Каменскому. Карцов. К донне. Плохой обед у Луи, дождь. На Петербургскую сторону. Свидание. К Григоровичу. У Луи с донной в особом номере. Домой. К Жуковским и Корсаковой. Встреча с Ольховским, жена его подурнела. Набережная, Нева и город меня увеселяют.

17 июня. В 11 часов в Петергоф. Небольшая качка. Фельетонист Петров. Много публики. Пристань. Дача Шарубина. С братом. Восторженно любуюсь Петергофом в одиночку. В Александрии[410] и прочая. Обед. Вечернее гулянье. Известия о домашних.

18 июня. Еду обратно в город. Мердеры. Струговщиков. Веревкин. Голицын. Время идет быстро. К Каменскому на дачу. Сатир с нами обедает. Радостная встреча. Варинька. Мизантропия Сатира. Вилла Боргезе. Мина Антоновна. Василий Николаевич. Титов с сыном. Слепой Строганов. Бюст Кошки. Элькан. Пляшущий гуляка. Григорович. Прогулка по

---

* покалывания *(франц.).*

** Венецианский карнавал *(франц.).*

*** огромного живота *(нем.).*

**** прощай! прощай! *(франц.).*

Кам<енному> Острову. Ужин. Я еду к С<офи?>. Результат поездки.

19 июня. Билеты взяты в Нарву на 22. Заказы платья, покупка книг. Альбертина. О Верочке. Обедаю на Крестовском[411] у Краевского. Гулянье с дамами и детьми. Café на Кам<енном> Острову. Захожу к Гаевскому. У Жуковских.

20 июня. С братом у Луи. Едем на дачу. Петергофская дорога. Перемена колясок. Дача и все наши. Ребятишки. Моисей. Лото. Гулянье по бывшим дачам Нарышкина. Сплю отлично в огромной комнате.

20 июня. Утро на даче. Саша и Миша. Дача Велеурских. Castle life *. Обед и сон. Отличная поездка в Петергоф. Пет<ерго>ф ночью.

21 июня. Ночная тревога. Пальба. Сенсации. По Петергофу. Пристань. Переезд. Разгадка тревоги[412]. Приготовления к дороге. У L<isette?>. Обедаю у Краевского с Самойловым. Вечер у Каменского с Коведяевым и Сатиром. Ботанический сад. Споры и ужин.

22 июня. Делаю покупки. У Панаева. У Вревской. Собираю вещи. Обедаю у Мишеля, довольно сносно. Контора дилижансов. Григорович с супругой. Минута отъезда. Соседи. Жена Фердинанда, которой я жму ножки и колени. Сам Фердинанд. Соседка справа. Vis-a-vis Григоровича серб-Калибан[413]. Окрестности. Стрельна. Бессонная, но не скучная ночь.

23 июня. Приезд в Нарву. Все по-старому. Hôtel de St.-Petersbourg. Григорович восхищается воротами домов. Дом коменданта. Обед у m-me Тиле. Поездка на водопад. Чувствуем себя вполне счастливыми. Вечер на валу. Огни Иванова дня. Гулянье по дальним улицам. Нас принимают за англичан. Тихое окончание дня и скверный ужин.

24 июня. Продолжение прежних удовольствий. Нарва очаровывает моего спутника. Погоня за редкостями. Я играю в алагер с гг. Блинниковыми и К°, хотя я привык к *дурному* тону, но их тон начинает меня ужасать. Выезжаем в 10 часов вечера. Ночью Плюса, луга и огни по лугам кажутся очень красивы. Два часа спим на сеннике около Сижна.

25 июня. В 6 часов утра у Мейера. Застаем его спящим. Является Трефорт. Несмотря на бессонную ночь, не могу спать. I luogni ameni **. Обед у Трефорта. Мы озадачиваем его дам. Отъезд, приезд в Мариинское, возвращение блудного сына и конец всей поездки.

12 июля, среда[414].

Работа идет неутомимо — двигаются фронтом Крабб и «Поездка по литерат<урным> знаменитостям»[415]. Жара, я думаю, доходит до 40°. Более сказать нечего.

16, 17, 18, 19 июля.

Отвоз Григоровича в Нарву. Ночлег у Трефорта. Утро. Жары. Жницы и купальщицы. Купальня. Обед. Головная боль. План «Записок» Фаддея Булгарина. Отличная ночь в Никольском. Туман. Нарва. Поездка.

---

* Жизнь в замке *(англ.)*.
** Приятные места *(итал.)*.

Луиза. Проводы. Отъезд и ночная дорога. Мейер и Трефорт. Возвращение домой. Размышления о Григоровиче. Письмо от Боткина [416].

20 июля.

Первый день полного одиночества после 12 мая. Дурные вести о здоровьи в д. Васильевской.

Начинается дождливая погода.

У меня три недели болит шея — что бы это значило?

Schemes of the moral progress *. Принимаюсь за Крабба, работаю вяло.

Balzac par Baschet [417]. Le décousu **.

Раздача пряников ребятишкам.

25 июля.

Накануне приехал Трефорт, для того чтоб ехать к Рейцу.

Несчастие с билетом старой девы О. П.

Мой благородный друг.

Отъезд баронессы Вревской.

28 июля и мистрис Пирс.

Получение газет и писем от Кр<аевского> и Тургенева [418].

Путешествие во Хтины. Окрестности Хтин<ского> озера. Плавание по озеру. Марья Александровна Рейц. Передача поклонов от Шеффер. Старый дерптский профессор. Земляные постройки. Разговор о юриспруденции. Приметы близоруких женщин.

1 августа, понедельник.

Нельзя сказать, чтоб за это время читал много. Сперва мешала отчаянная работа над Краббом, потом жары и разъезды, а теперь приобретенная от Трефорта зрительная труба, с помощью коей совершаю любопытные наблюдения над окрестностью (особенно над озером!). О том, что было прочитано, сообщаю теперь.

Прочел со вниманием «Пенденниса», которого года за два назад должен был бросить на первом томе, по причине скуки. Теккерей принадлежит к людям, которых начинаешь любить не скоро, но от которых не оторвешься, раз их полюбивши. В нем очень много карлейлевского, и манера его есть совершенство для эпикурейцев нашего времени: тут есть все — и фельетон, и поэзия, и заметки, и чернокнижие, и философия. Со всем тем, есть в «Пенденнисе» что-то рутинное и, что еще хуже, т. е. рутина, прикрытая самостоятельностью. Погнавшись за двумя зайцами, Теккерей иногда промахивается по обоим. История Лауры, материнская любовь и в особенности финальное возвращение Пена к тихой девушке (сокровищу, находившемуся под рукой),— все это старо. Рутинны также уступки *Канту* и чинности — история с Фанни, жалкая пряничная история произошла из этой причины. Читая все это, мы, русские киники [419], гото-

* Схемы морального прогресса *(англ.)*.
** Баше о Бальзаке. Отрывочность *(франц.)*.

вы спросить: «да наконец же ходил хотя к девкам Артур Пенденнис?». Контраст этой физической чистоты и нравственного растления весьма тягостен. А Фанни мизерна и непривлекательна.

Далее теперь насчет самостоятельности. Автор берет героем Артура, человека не блистательного, не великого, даже не вполне хорошего, и называет его «братом читателя». Все это нас не удивит, мы и Чичикова видали героем (и любим его больше, чем Пена?). И стараясь держать своего героя на таком плохом уровне, Теккерей делает его тем, чем непростительно быть герою, то есть бесхарактерным и непоследовательным. Теккерей упрекает Фильдинга за безнравственность Т. Джонса, но во сколько раз грубый, веселый, буйный Том выше душой Пенденниса. Том не денди, не фат, в Томе не *белая кровь,* он грешит от избытка энергии и худого развития в юности, и в упрек Теккерею, своему обвинителю, герой Фильдинга есть герой, а его собственный Пен — плохая личность, славный портрет с ничтожного лица, герой, которого читатель терпит потому, что он обставлен отлично.

Частности романа превосходны, но в «Newcomes» больше теплоты и прелести. Вообще я знаю, что *враг рутины* должен смотреть за собой вдвое строже всякого другого, чтобы не впасть в рутину. Что за лица у Теккерея: эта *святая* Эллен, пряничная Фанни да и сама Лаура? То ли дело Амори Бланш, Фотрингэ, Костиган, Варрингтон и драгоценный Майор Пенденнис?

Потом прочитал я «Lutèce» Гейне, сборник из его писем о парижской жизни при Лудовике Фил<иппе> в 40-х годах. Во многих местах Г<ейне> смотрит совершенно прозревателем будущего,— но кто не прозревал будущего в то время. Ясно было одно — во Франции будет переворот или его не будет, во всяком случае одна из сторон права, что бы ни случилось. Цель Гейне — сближение Франции с Германией, высоко благородная цель, только метода не хороша: он стоит на коленях перед Францией, а о своей Германии отзывается с снисходительной шутливостью. Этим грешны и многие, кроме Гейне, и моя персона между прочим. На человека, глядящего со стороны, такая система производит большое отвращение. Нельзя не подивиться уму и смелости многих отзывов — «меланхолический шут Шатобриан» восхитителен. Хороши статьи о театре и музыке, но неужели серьезно Гейне считает нелепейшего из смертных, Эдгара Кине, за умного человека?

8 августа, понедельник.

Calme plat *, но зато работы идут и в голове волнуются мысли. Вчера вечером обдумывал я будущую статью о Гоголе с жаром, который напомнил мне истинно благословенный период 1847 г., с которого я жить начал. Неужели во мне сидит критик? По крайней мере, разбирая идею «искусства для искусства», я сам себя озадачил глубиной и новизной некоторых выводов. Оно уже случилось со мной недавно, когда я ехал от Трефорта и обдумывал то, что мог бы сказать я Тургеневу по поводу

---

* Полный покой *(франц.)*.

Гоголя. Около десяти лет копились во мне эти мысли, и довольно понятно, что при первой оказии они рвутся все наружу, представляя из себя молодой дремучий лес, в котором надо прорубать дорогу, как говорил кто-то. Впрочем, статья о Гоголе, по причине других работ, пишется только в голове, и это жаль, ибо моя память уже не прежняя, и многое позабудется при настоящей работе. Память уже не прежняя — как это звучит странно. Когда я не думаю о своих годах, мне все кажется, что я юноша первой юности!

На днях была некоторая работа моей мнительности, но впрочем все идет благополучно. Дней шесть стояли сильные холода, а сегодни солнце стало печь, но как-то по-осеннему. Крабба я отложил на время, написав по крайней мере две статьи, и теперь тружусь над повестями «Любовь и Вражда» и «Русский черкес»[420]. Есть еще на наковальне одна блюетка[421], как говорит «Пантеон», и много фельетонов, которые набрасываю перед сумерками. Это чистейшее <...> Из гостей никого нету, пустыня меня объемлет, приапизм мой утих вследствие боязни. Вынул моего милейшего Рабле и читаю его с наслаждением. Пробовал раскрыть Шекспира, начал «Антония и Клеопатру», отложил с зевотою. Почему мне всегда так трудно подступать к Шекспиру? Так ли я раскрываю Гомера? Нужно ли мне вчитываться в «Илиаду»? Отталкивает ли меня старый язык «Пантагрюеля»? Не будет, кажется, Шекспир моей настольною книгою.

16 августа, вторник.

Два дни с небольшим гостила у нас М. А. Рейц с дочерью, вчера ездили мы по подлейшей дороге в Долотский погост, я по обыкновению вернулся с головной болью (но довольно слабою), сегодни возил дам через озеро и вообще эти дни ближе познакомился с mademoiselle Marie, к которой питал естественный, хотя не сильный интерес оттого, что она чуть ли не единственная невеста в соседстве. В ней есть какие-то affinités * со мною; она высока, близорука, лоб у ней высокий, и она неглупа. В одно время и весела, и диковата. Она хороша собою и даже пленила старика Трефорта, но особенного влечения к ней я не чувствую. Ей пятнадцать лет, она не сложилась и еще вся в будущем, как выражался Лермонтов о России[422]. Во всяком случае присутствие свеженькой резвой девочки меня заняло.

Третьего дни получили газеты с кратким известием о деле 4 августа у Федюхиной горы[423] и вместе с тем записку Вревской о том, что барон Павел Вревский убит. С Вревским связано у меня много воспоминаний, и худых и хороших, но хороших более. Через него я служил в канц<елярии> В<оенного> м<инистерства>, приобрел многих друзей, пригляделся к машине нашей администрации, и хотя моя служебная карьера была несветла, но для моей жизни радостна и полезна. Личность Вревского мне всегда нравилась. С него писан барон Реццель в повести «Алексей Дмитрич». Он был *чужестранец,* как и я. Но в последнее время видались мы с ним редко и, конечно, никогда бы очень не сблизились.

---

* сходства *(франц.).*

За эти дни работы шли крайне удовлетворительно, конечно, кроме вчерашнего и сегоднишнего дни.

22 авг<уста>, понед<ельник>.

Давно нет газет и писем от своих, оттого я по обыкновению в мнительном настроении духа. Наработал я за эти два месяца столько, что нечего почти делать более, и я полениваюсь. После ненастья и холодов, при которых я делаюсь похожим на вялую огромную осеннюю муху, наступила ясная погода, и сегоднишнее утро с маленьким туманом было пленительно. Написал на днях два письма, к Некрасову и Боткину, последнее с довольно горячей диссертацией о гоголевском направлении [424]. Пишут, что *все* сочинения Гоголя вышли в свет [425]— царствование Александра Николаевича начинается блистательно для литературы. Теперь нам самим надо держать ухо востро и вести себя благоразумно, не давая воли резкому юношеству, которое всегда готово шагнуть на сажень, чуть ему дадут на вершок простора.

Просыпаюсь в 7 часов, но валяюсь в постели до 8, отчасти по лености, отчасти не желая тревожить людей. Четырехдневный деревенский праздник прошел благополучно — даже без ссор и расквaски носов. Одиночество продолжается полное. Начал набрасывать заметки о Гоголе, ибо, вероятно, «Б<иблиотека> для чт<ения>» приступит ко мне с рецензиею.

Из книг прочитано было:

1) «L'Allemagne» par Heine *. Странное сочинение и странный человек! Последней главой второго тома Гейне разрушает все, до того им построенное, но возвращение к деизму и спиритуализму так понятно в его положении! Он еще силится шутить наперекор болезни и падению своему,— эти шутки печальны и производят тягостное впечатление. Обзор философии и литературы до Гете весьма ясен и полезен мне в особенности, хотя его глушит *дидактическое,* неогерманское направление. Но вторая часть труда, этот сброд легенд, песней, ни с чем не вяжущихся эпизодов есть что-то вроде непоследовательной дрянной болтовни. К чему нам письмо к Лумсею, обзор балета «Фауст», «Les Dieux en exil»? ** Жалкое окончание полезного дела! Книга гаснет так пошло и так презренно, как гаснет новогерманская поэтическая школа. Уж лучше бы эту школу познакомил с нами Гейне; и что за переход от Гете к празднословию второго тома. Дельная книга заключена рядом отрывистых длинных фельетонов, и, что еще хуже, фельетонов в немецком вкусе! Очень жаль бедного Гейне, жаль и всей школы его товарищей! Чем более думаю я обо всем этом, тем яснее вижу, как был прав Гете, насколько идея «искусства для искусства» выше всевозможных прямых домогательств на пророчество политическое и социальное. Полезный урок, о котором стоит думать, особенно у нас теперь, когда наступает время борьбы между пушкинскими и гоголевскими последователями.

---

* «Германия» Гейне *(франц.).*

** «Боги в изгнании» *(франц.).*

2) «Dichtung und Wahrheit» * Гете, до его путешествия в Италию. Гете есть целая система, целая философия, целый мир. В раздробленном виде его произведения (не из первоклассных) производят странное впечатление. Все требует пояснений, все неполно, все отрывисто. Нельзя читать по одному томику Гете наряду с другими книгами. Не скажу, чтоб эта вещь, за исключением некоторых частностей, произвела на меня светлое впечатление. Для меня ясно, что Гете родился не очень хорошим человеком, но впоследствии только выработал себя и стал умственным Наполеоном нашего века. Есть еще одна странность, и я поговорю о ней с знатоками немецкой жизни. Il y a des grains de folie dans chaque tableau de la vie intime en Allemagne **. Отчего подобного не видим мы нигде, кроме как у немцев? Возьмем книгу, про которую я говорю (не говорю уже о Беттине, о Рахели, о Новалисе, о Шарл<отте> Штиглиц, о Вернере и Гофмане). Что такое делает сам Гете в свою юность, и в каком мире живет он? Старики не выходят по годам из своих комнат, отец Гете свирепствует за то, что в его доме читают Клопштока, юноши пишут эпиталамы за деньги, кое-кто видит видения, иной предсказывает будущее, сам Гете питает отвращение к гостиницам и живет в чужом городе у сапожника. Для чего все это, на каком основании? Гердер, возвращая занятые деньги, грубит кредитору, из пустой истории Гретхен возникает чуть не криминальное дело. Наконец, сам поэт как ведет себя с женщинами? Что за глупый сюрприз делает он Фридерике, переодевшись лакеем, отчего он не женится на Лили? Он называет Штольбергов эксцентриками, а сам что делает? Конечно, в Германии позволяется быть немцем, но Гете имеет право быть поразумнее своих чернокнижных сограждан?

25 авг<уста>, четверг.

Два дни гостил Мейер и был весьма занимателен, за исключением бесконечных рассказов о неистовствах Коновницына, предмет неистощимый для Гдовского уезда, но для меня довольно однообразный. Дни стояли плохие, тем приятнее был приезд словоохотного гостя. Его рассказы о зимних увеселениях во Гдове, о пальце, сломанном во время польки, и девице, запертой в нужник «под видом грациозной шутки»,— очень хороши. В один холодный вечер был у Обольянинова, которого нельзя не любить всей душою. Это один из тех практических людей, глядя на которых ощущаешь всю тщету философских теорий и трансцендентально либеральных теорий. Обольянинов имеет полное право сказать: «Человек, живущий, как я, правящий свою должность, как я и как я занимающийся своим имением, не только прав перед своим поколением, но и может сказать, что всякий действующий иначе есть свинья, как бы возвышенны не были его идеи». Побольше подобных практиков, и вся наша мудрость окажется гнилью. Сомнения мои и колебания разрушились при получении двойной почты из Петербурга. Духом я спокоен и светел, работы идут добропорядочно. Взят билет в дилижансе на 15-е сент<ября>, и 16-го,

---

* «Поэзия и правда» *(нем.)*.
** В каждой картине интимной жизни Германии есть немного безумия *(франц.)*.

если что не помешает, буду я в объятиях милых нимф, без которых жизнь не в жизнь, как они ни легкомысленны!

26 авг<уста>, пятница.

Есть что-то милое и великое в начале осени. Давно бы следовало бы мне это приметить на себе. Каков я бываю в Петербурге в первый месяц моего туда приезда. Мне опять становится 17 лет. Здесь, в деревне, может быть, оттого, что перед осенью я расшевеливаю себя постоянной работой, голова моя светлеет, и хотя по жизни я не имею больших наслаждений, но наслаждения умственные и поэтические растут с каждым часом. Сегодни я сделал это замечание, бродя по холоду в роще. Все лучшие мои замыслы произошли осенью. Правда, ненастье обращает меня в муху, но эта муха, с солнцем и холодком оживая, летит прямо в небо. Надо когда-нибудь до дна испить то, что дает мне осень в деревне. Ah! c'est le cas d'avoir un chateau, un parc, un vieux salon, une femme près de soi, à la rigueur je me passerais même de cette dernière jouissance *. Вчера вечером я читал «Campagne de France» Гёте. На сцене была пудра, зàмки, люди XVIII столетия. Ma vie entière pour un vieux chateau ou pour quelque chose qui lui ressemble! **

Принялся опять за Крабба, оставив себе повести на пути к окончанию. Выписываю кое-что из Шекспира. Сегодни дул холоднейший северный ветер, но вечер тих, холодноват и светло зеленоват. Кладу перо и отправляюсь бродить за сад, в поле. Еще половина осьмого, а уже писать нельзя, так стемнело.

27 авг<уста>, суббота.

Вчера вечером от чая до ужина, не вставая с кресла, в один присест прочел шекспирову «All's well that ends well» ***. Должен сознаться без лицемерия, что комедия эта мне не пришлась по вкусу. Даже шекспировского духа в ней так мало, что я прочитывал по страницам, не подчеркивая ни одного выражения, ни одной мысли. Клоун просто нестерпим, а Парольс есть слабая копия Фальстафа, бледная, хилая копия, хотя сцена, когда его изобличают, очень хороша. Трогательны и взяты из жизни отношения Елены к Бертраму и сам граф Русильонский, привлекательный несмотря на свои пороки и свое гнусное поведение с Дианой. На одну минуту комедия принимает величие размеров, это когда Бертрам отвергает Елену и злится на нее, а та надеется смягчить его покорностью. Тут поэт заглянул в сердце человеческое. Увы, бедные женщины! любовное упорство мужчины часто очаровывает, любовное упорство женщины и ее домагательства перед мужчиной, к ней холодным, всегда почти возбуждают злость и досаду в двуногом петухе без перьев! Заключение комедии скомкано и вертится на пошлых театральных стратагемах старого времени.

---

* А! Нужно было бы иметь зáмок, парк, старую гостиную, женщину около себя, в крайнем случае я обошелся бы без этой последней утехи *(франц.)*.

** «Кампания во Франции». ...Всю жизнь отдал бы за старый зáмок или за что-либо на него похожее *(франц.)*.

*** «Все хорошо, что хорошо кончается» *(англ.)*.

31 авг<уста>.

Вчера прочел «Winter's Tale» * и опять остался недоволен. Тут уж нет ничего живого и поэтического, не верю, чтоб Шекспир писал эту пиесу, вернее всего, что он только поправил ее, ибо искорки Шекспировой поэзии во многих местах блистают. В памяти остается только характер Автолика и идиллия между Флоризелем и Пердитой, ревность и раскаяние короля Сицилии, вероятно, принадлежат Шекспиру. В пиесе множество *чернокнижия* — корабли, пристающие в Богемии, Друлио Романо и дельфийский оракул, Гермиона, дочь русского императора, живая статуя и бог знает что еще. Комедия, сознаюсь чистосердечно, не доставила мне никакого удовольствия.

Время стоит теплое, но серое и унылое. Ночью видел я глупые сны и самого себя в разных бедственных и презренных положениях, так что утро еще нахожусь под неприятным впечатлением.

2 сент<ября>.

Сентябрь открылся мерзкими, сырыми, сумрачными днями; надо иметь много спокойствия духа и способностей быть счастливым, для того чтоб в такие дни не желать провалиться сквозь землю. Не могу сказать, однако же, чтоб я чувствовал себя мизерабельным, занятия сокращают день, и кроме того я часто видаю Л. Н. О<больянинова>, к которому ощущаю более и более привязанности. Это один из тех людей, с которыми можно прожить всю жизнь, никогда не соскучившись, все равно что с братьями. Пишу я менее обыкновенного, читаю более прежнего. Почти на всякий день приходится одна пиеса Шекспира, глава Рабле, несколько страниц гетевых путешествий, которые гораздо лучше его мемуаров. «Campagne de France» ** и «Поездка в Италию» — совершенство в своем роде, перед этими книгами меркнут новейшие туристы.

Прочитал «Ричарда III», вот это так драма. На последних актах я, лежа на диване, кричал от восторга, перечитывал громко многие сцены и упивался шекспировской поэзиею. Это не то, что «Winter's Tale» или подобные комедии! Что за великолепный бездельник этот Ричард III, хотя в начале пиесы он говорит о своих злодеяниях совершенно, как классический тиран! И потом — три королевы, их сцена перед дворцом, плач Елисаветы, упреки Маргариты и проклятие герцогини Глостерской! Видения между двумя палатками — стратагема смелая, даже чересчур смелая, но гениальная. Речи Ричарда и особенно Ричмонда своему войску действуют на читателя, как ряд электрических ударов. И вся пиеса полна поэзии, великих мыслей, поэтических выражений. Большая часть ее мною подчеркнута. Я более и более убеждаюсь, что значительная часть пиес, признаваемых за Шекспировы, им только переправлены. Нет и сто раз нет! поэт «Ричарда III» не сочинит «Зимней сказки» и подобных сочинений!

---

* «Зимняя сказка» *(англ.)*.
** «Кампания во Франции» *(франц.)*.

5 сент<ября>; понедельник.

В пятницу вечером поехал с Обольяниновым к Мейеру и провел там в обществе всех гверезнинских обитателей два дни из разряда тех милых дней, которые для меня составляют особую гдовскую прелесть. Мы примирили враждовавших соседей, и к нашему обществу еще присоединился Эллиот, приехавший в отпуск. Мы все условились последние дни моего пребывания в деревне провести друг у друга, тем более что 15 сентября будет последним днем отдыха и для Льва Николаевича. Трудно определить, в чем именно состоит приятность дней моих в Гверезне, а между тем эти дни, не взирая на их великую простоту, составляют светлые точки в моей жизни. И место мне нравится, и дом тоже, и люди мне по вкусу, и музыка как-то приходится по сердцу, и беседы веселы. Чувствуя, что любим всеми, сам всех любишь. От этих дней далеко до афинских наших вечеров в Спасском, вечеров, обильных умственною гастрономиею и поистине единственных во всей России, но все хорошо и все привлекательно в своем роде. И сколько я ел эти дни!

Вчера, воротясь домой по скверной дороге, пообедав и выспавшись, весь вечер посвятил на чтение Шекспирова «King John» *. Три часа пролетели с быстротою, большую часть драмы я подчеркнул. Это торжество Шекспирова *ума*, хотя теплоты и жара здесь менее, чем в других первоклассных его вещах. Дивных мыслей рассыпано едва ли не столько же, сколько в «Гамлете». Это поэзия истории! Сцена с папским легатом — совершенство по драматизму. Есть кое-где напыщенность, но она не бьет в глаза, как в «Гамлете».

2-го сентября донеслось к нам с необычайной быстротой тяжкое известие о взятии Севастополя [426]. Описывать моих ощущений не берусь. Может быть, через много лет, глядя на эти листы дневника, вспомню я то, что я передумал, перечувствовал и *видел во сне* за эти дни с той минуты, когда Мейер подал мне письмо его родственника и отрывок газеты с печальным известием. Я не разделяю мнения господ, утверждающих, что Россия потерпела позор и что за взятием Севастополя должна следовать кровавая и мстительная война. По моему мнению обе стороны, если они понимают свои выгоды, ближе к примирению, чем когда-либо. Обе выучились ценить одна другую, обе желают спокойствия. Защита Севастополя для нас славнее Лейпцига, Кульма [427], а Бородина и подавно. Потеря денег велика, частные скорби неисчислимы, но слава наша нимало не пострадала. Мало того, когда заключится мир и раны заживут, война принесет нам неисчислимые выгоды. Правительство сблизилось с народом, народ наш, так долго ненавистный Европе, навеки будет ею уважаем, недостатки наши, выказавшиеся наружу, будут исправлены и вредная самонадеянность исчезнет. Военное сословие разовьется и возвысится, все общество, сближенное и сдружившееся за года испытаний, утратит свои угловатые стороны. И главное, воспоминания о кровавой войне заставят всех ценить блаженство спокойствия. Как человек радостно про-

* «Король Иоанн» *(англ.)*.

буждается после давящего кошмара, так и вся Европа, на время не ценившая было благ тишины, весело встретит эту тишину и надолго не будет соваться в драку. Обо всем этом утешительно думать, только дай бог, чтоб нам недолго пришлось ждать дня примирения!

Сентября 10, суббота.

Нельзя сказать, чтоб последние дни моей вилледжиатуры [428] проходили очень интересно: ветер завывает, небо пасмурно, и, вообще, до сих пор, за исключением одного вечера, осень является в самых суровых красках. Уединение мое, сперва сделавшееся было крайне подлым от гнусной зубной и головной боли, впоследствии было украшено получением разных писем, и на один день приездом Мейера, Трефорта, Эллиота и моей очаровательницы Катерины Петровны Т. В этот день Мейер покрыл себя бессмертною славою, ухаживая за сей милой особой и на прощанье с чувством поцеловав у ней руку. Но никто из вышепрописанных персон не ночевал, так что длинный сентябрьский вечер мне пришлось провести с книгою. Читаю довольно много, перечитываю «Tales of the Hall» * Крабба, драмы Шекспира и по клочкам Рабле. Кончил вторую часть Записок Гёте и удовлетворен ею чрезвычайно. «Путешествие в Италию» очень хорошо, но «Кампания во Франции» еще лучше. Это сок занимательности, и за подобные сочинения не возьму я ста томов новейшего изделия. Все более и более убеждаюсь я, что Гёте — умственный Наполеон наших дней, изучение его жизни есть целая благотворная наука. Жаль, что у нас совсем бросили немецкую словесность: мастерская и подробная книга о жизни Гёте была бы для нас всех манною, трудом распренаиполезнейшим! Я предлагал Васиньке Боткину заняться подобным трудом, но вотще. Зимой стану раззадоривать Тургенева на подобную работу, но он по складу своей натуры недостаточно проникнется *гетизмом.* По своему взгляду на жизнь Васинька один способен писать этюд о Гёте.

Прочел вчера «King Henry VIII» ** и, дивясь Шекспиру как поэту-историку, не остался вполне доволен ходом пиесы. Джонсон прав, дивясь характеру Королевы Катерины, но в драме есть многое и кроме этого персонажа. Кардинал Вольсей хорош и Анна Болейн недурна, хотя ей немного дано действовать. Пророчество Кранмера о Елисавете весьма поэтично,— такая лесть может выходить только из сердца.

С. Петербург. Октября 27-го, четверг.

Наша литературная колония опять собралась в Петербурге, исполненная дружелюбия и веселости, несмотря на грустное время. Занятия пошли обычным чередом, и колеса жизни, как говорил покойный Милютин, смазываются исправно. Третьего дни я, Панаев, Ребиндер и Языков обедали у Струговщикова, после обеда происходило чтение хозяйских стихов, прерываемое циническим смехом двух сатиров — Языкова и Пан<аева>. «Странные стихи я слышу»,— говорил Языков и тут же по по-

* «Повести усадьбы» *(англ.).*
** «Король Генрих VIII» *(англ.).*

воду стихотворения из Гейне, где описывалась дева у колодца[429], сочинил двустишие:

Дева у колодца
Может уколоться.

Его же двустишие:

Хотя народам всем казался он Ахилл,
Но был он не силен, а хил.

Вечер заключен был у брата, в воспоминание пятилетия его свадьбы. Видел С. А. Семевскую, ее мужа, М. И. Крылову и ее рыжеватого сына. Узнал о смерти милой, очаровательной болтуньи, красавицы Варвары Алексеевны, которой и я, и многие мне близкие люди обязаны столькими светлыми часами веселости и дружбы. Я не был никогда в нее влюблен, но мне радостно было глядеть на нее.

26-го октября проведено в разъездах и увеселениях. Утром был у Ребиндера Н. Р., которого ужасно люблю. Познакомился с его женою. Обедал у Некрасова с Тургеневым и Боткиным. Вечером облачился во фрак и отправился на вечер к О. Народу собралось человек шестьдесят, дочери хозяина очень милы, были и другие хорошенькие девчоночки. С удовольствием взирал на танцующее юношество. Видел Гаевского, Андреаса, кн. Одоевского, Пецольта, Мана, Лиз<авету> Як<овлевну>, Данилевского, Василька Гебгарда. Не ужинал, лег спать с насморком и щекотанием в горле.

Для памяти запишем события с 10 сент<ября> по сие время.

Выехал из деревни 12-го с<ентября> с первым морозом. Ночевал у Мейера, а утром застал его на охоте. Обедали у Трефорта, дружески беседовали,— конечно, Севастополь составлял главнейший предмет разговоров. Л. Н. Обольянинов обрадовал нас, приехавши проститься вечером, Мейер оставил его ночевать. Жаль мне было наутро покинуть этих добрых людей и проститься с ними на год. Но приапизм меня одолевал.

Погода была сносная и переезд до Нарвы не очень утомителен. Но думать в дороге о чем-нибудь дельном я не в силах. Приехал в Нарву без головной боли и очень был тому рад. Долог оказался дождливый вечер. Читал газеты в кондитерской. *Маленький город в ненастную ночь.* 14-го числа обедал у В. А. С<емевского>. Жена его похудела и находится в интересном положении. Дети весьма милы. Сам хозяин в восторге от ополчения и жаждет быть ротным командиром. Услыхавши про эту каторгу, возблагодарил судьбу, спасшую меня от ополчения. Конец обеда прошел торопливо, ибо боялся опоздать в дилижанс.

Я предчувствовал, что переезд до П<етер>бурга не будет интересен, так и сбылось. Со мной сидели две госпожи зрелых лет, одна из них с прегадким малиновым румянцем, не только на щеках, но на лбу и на подбородке. В Ямбурге видел некоего глупого юношу, убежденного в том, что на него нападали разбойники. Сидеть было просторно, хотя ночью вторгнулись в кареты полупьяные господа — какой-то мальчишка

и чиновник Военного министерства в дубленке; чиновник издавал запах водки. Ночную беседу их я слушал не без любопытства. Ехал еще со мной молодой человек Шиц, из нашего уезда. Между Кипенью и Стрельной лошади сбили и ушибли форейтора, мы брели несколько времени по скверной грязи. Но наконец путешествие кончилось, как кончается все на свете.

День провел я в поездке по доннам, обедал у Григория, узнал всевозможные новости, вечером же, кажется, был у Жуковских, но Надежды Дмитриевны не видал. Она тоже в интересном положении. Беседовал с А. Д. и услаждался новостями, в которых, правду сказать, не было ничего сладкого.

31 октября, понедельник.

В пятницу был на довольно безобразном ужине у Тургенева по случаю его рождения. Ужинала обычная наша компания, с прибавлением Гончарова, Михайлова и Писемского. Тургенев пел, городил идеальные речи, рассказывал, что жаждет любви, и вообще вел себя как немец-студент, загулявший *по принципу.* Михайлов толковал о разных высоких предметах, Языков снял рубашку и прославлял прогресс, все это было глупо и тем более скучно, что действующие лица все были людьми более или менее мне любезными. Разошлись в четвертом часу, по крайней мере, я с Гончаровым в это время вырвались из Капернаума[430]. Мне было скучно, когда я ехал домой.

Дни стоят серейшие и печальнейшие — привык я к прелестям пет<ербург>ского климата, но такой осени я не запомню. Кашель и насморки у меня не прекращаются почти что с приезда в город, но духом я бодр и вовсе не падаю. До сих пор метеорологические причины на меня не действуют нисколько. Если б мне удалось вставать поранее и водворить порядок в своих занятиях, я бы был очень доволен, а то вот уж две недели, как не могу кончить «Ньюкомов». Теннисона тоже читаю лениво, странный писатель Теннисон!

В субботу вечер провел у Т<ургене>вых. Милое и ласковое личико Ольги Александровны я созерцал с увеличивающимся удовольствием. Странно судьба играет людьми, и от странных причин зависит будущность человека. Я бы мог иметь шанс на величайшее благо жизни, если б в этом редком и чистом существе имелось нечто, способное возбудить меня к привязанности физической. Счастлив будет человек, которому в жизненной лотерее достанется le gros lot * с именем О. А. А я все это знаю и даже не могу думать о том, чтобы брать билет в эту лотерею. Дурняшки мне нравились, а эта привлекательная женщина ничего не говорит моему телу. Я ее люблю как сестру, и, кажется, это чувство всегда останется в одном положении.

Воскрес<енье>, 6 нояб<ря>.

Вообще я сильно погрузился в литературный круг и в литературную компанию, в особенности по случаю возвращения Тургенева и приезда

* Главный выигрыш *(франц.).*

Боткина, в четверг обедал у Некрасова, в пятницу вечер был у Никитенки, вчера провел вечер у Надежды Михайловны, но и тут литература явилась во образе «Лира», читанного Боткиным. Все приедается на свете, и хотя наш круг очень хорош, но и он как-то окисляет человека. А лучшего в виду не имеется, да и где оно?

Вообще уже около недели, как я как-то вял и уныл. Насморк у меня à l'état de permanence *, к тому же осень до крайности холодна, сумрачна и угрюма.

Возвращаюсь к очерку моего возвращения в П<етер>бург. Отыскал Каменского, обедал у него с Сатиром и день провел приятно. Много наслаждения (и трепета) доставила мне прелестная С<аша> Ж<укова>, у которой был я и провел весь вечер. Что за волосы, что за глазки и что за милое личико, на которое весело глядеть! Повидался с Некрасовым на новой квартире [431], был у Гаевского, у Андреаса. Михайлова застал по обыкновению в подлой бедности, но с выстриженными волосами и чистой нравственностью. Бурдин уведомил меня, что ставят на Ал<ександринский> театр мою пиеску «Не всякому слуху верь» [432]. Заходил к Гончарову, Вревской, Ивану Ганецкому и Капгеру. Много-много шатался по улицам и, шатаясь, был счастлив.

Было несколько забавных обедов и собраний у Александра Петровича Ев<фанова>. Но, по правде сказать, если б меня теперь спросили, где я бывал и где проводил время с половины сентября по ноябрь, того бы не умел я сказать. Великий насморк, не без кашля, который напал на меня, немало портил мою жизнь, ибо длился долго-долго. Денежные дела мои зато были в блистательном положении, подобных периодов давно со мной не бывало.

Вообще, однако, первый месяц в Петербурге, после долгого заточенья, есть медовый месяц своего рода.

В октябре, с приездом Васиньки и Тургенева, наш обычный кружок принял свое обычное развитие. Об остальных знакомых что скажешь? Л<изавета> Н<иколаевна>так же убийственно скучна, Старчевский так же глуп, Андреас так же любезен и приятен, и так далее и так далее. Очкин давал пир неслыханный и танцы, Василий Петрович давал пиры без танцев, московский Крез Солдатенков [433] (новое лицо) устроил обед у Сен Жоржа [434] со всякими прихотями, Яков Иванович делал завтрак, от которого я сделался нездоров. Все как следует,— то, что хорошо, хорошо и теперь, чего недоставало, того недостает и доселе.

23 ноября, среда.

На прошлой неделе познакомился с Рюминым и купил английских книг у г-жи Введенской. Percy, Makintosh, Hazlitt, «Half hours with the best authors» **. За неделю до того было чтение «Лира» у Тургеневых. Я решился переводить «Лира».

Дрентельн переводится из Очакова и, быть может, к нам.

---

* в состоянии непрерывном *(франц.)*.
** «Полчаса с лучшими авторами» *(англ.)*.

Васинька уехал, как Иоанн на Остров Патмос [435].

Крабб мой имеет успех [436], un succès d'éstime *, как я полагаю.

Купил у Палацци старого серебра.

Пиеса моя «Не всякому слуху верь» имела успех на театре. Я ее видел, актерами недоволен, но поднимать голоса не стоит.

Составляется план великолепный о литературном клубе.

Вчера обедал у Некрасова с новыми весьма интересными лицами: туристом Ковалевским и Л. Н. Толстым [437]. Оба из Севастополя. I like both **.

— Шахматный клуб [438].

— Приехали Ростопчина и Кильдюшевская.

— Ужин у Гр<игория?> с преображенскими: m-mes Мердер и Вельяминова.

— Рассказы Арк. Панаева о Крыме. Убитые арапы. Нечувствительность и апатия.

— Статуэтка Торвальдсена.

— Чернокнижный вечер у Марьи Ивановны. Growing Фединька. Саша. Убранство залы. Картины. *Гипсы,* Блюдечки и вилки. Кильки с головами. Ерыжность. Хорошенькая Олинька.

24 ноября, четверг.

Надо вести записки ежедневно, хотя бы в стиле Погодина [439]. Вчера встал поздно. Работал мало. Был поутру Тургенев. Палацци принес две серебряные кружки и медальон. Обедал дома. Спал, чему мешала топившаяся печь. Потом у Саши до 8 ½ часов. Потом к Тургеневу. Совещание о юбилее Щепкина! [440] Публика огромна. Новые лица — поэт Тютчев, Бенедиктов. Бахметев. Остальные более или менее известны. Корш и «Русский вестник» [441]. Выгоды фуражек. Ермил Костров [442] в приапизме. Гончаров и Никитенко. О вечерах у министра Норова [443].

25 ноября, пятница.

Утром являлась Пашинька и подала письмо с приглашением на бал в субботу. Вечером был у нее, узнал об условиях и плане, а на вечере у Краевского завербовал охотников. Утром не ездил никуда, переводил «Лира»,— дело идет медленно и не скажу, чтоб удовлетворительно. Обедал дома, перед обедом была у нас б<аронесса> Вревская. Ей кто-то наговорил об убийствах каких-то в городе, и она трусит до нелепости. Серг. Ф. Арсеньев в Петербурге и здоров, чему я рад очень.

Конец дня у Краевского, где было народу немного. Зотов с женою, скрипач Афанасьев idem ***, Тургенев, Дудышкин, Заблоцкий и другие. Играл в бильярд очень хорошо. Приступлено к проделкам насчет Шахматного клуба [444]. Известие о Марье Александровне Л. Буду у ней во вторник.

* успех из уважения к автору *(франц.)*.
** Мне нравятся оба *(англ.)*.
*** то же *(лат.)*.

Суббота, 26 нояб<ря>.

Сегодни, как кажется, будет день, обильный приключениями — приятными или неприятными, о том поведаю завтра. Сегодни обед у меня и бал у Паши. А вчера день был глупый — визиты, дремота и вечер без пользы. Был утром у Вельяминова, Некрасова, О. И. К<ильдюшевской>. Обедал у брата, дети его хворают. С нами обедал доктор Фома Осипович. Отлично и сладко дремал после обеда. А. П. Евфанов заставил меня потерять вечер, знакомя меня с какой-то стерьвой Марьей Давыдовной и другими непривлекательными особами, Ольгой Федоровной, Прасковьей Петровной и т. д. Как следует хорошему охотнику, я не роптал на неудачу, хотя дома нашел приглашение от графини Ростопчиной, где мне было бы, конечно, веселее.

Воскр<есенье>, 27 нояб<ря>.

Как ни стараюсь я противустать урагану обедов, собраний и вечеров с мотовством — ничего не выходит. Сегодни обед у Краевского и вечер у Плетнева, послезавтра обед у Некрасова, завтра раут у Паши с избранными доннами.

Вчерашний день был чернокнижен, разнообразен и, надо прибавить,— счастлив. Утром получил я письмо от Ливенцова, который здоров и невредим. Потом делал визиты, видел Сатира и Карцова. Узнал насчет бала. Обедали у меня Панаев, Языков, Григорий, Тургенев и Каменский. Все были веселы. Узнал о назначении Дрентельна командиром Литовского полка — вторая радость. К 9 часам съехались приглашенные на дачу Галлер: Толстой (Лев), Краевский, Тург<енев> и Дудышкин. После долгих хлопот с экипажами — выехали. Болтали всю дорогу. Дача недалеко от заставы. Бал весьма хорош. Нас приняли как родных. Лиза, Соня, Авд<отья> Мих<айловна>, Саша Жукова (Марья Петровна приехала под конец). Мои старцы разгулялись, chacun a choisi sa chacune*. Тург<енев> врезался в милую польку Надежду Николаевну. Дудыш<кин> в Луизу Ивановну, причем стал похожим на влюбленного медведя. Краевский и Толстой пленены Ал. Ник. Едва мог я их извлечь с бала. Все были довольны. Было много ерыг и хлыщей — Мацнев, Соломка, гусары, кавалергарды. Залы были чисты и вино хорошее. Домой пришел я в 4 часа и долго не мог заснуть.

История с литер<атурным> клубом двинута отлично. 16 человек, в том числе и я, выбраны членами Шахматного клуба.

Понед<ельник>, 28 нояб<ря>.

Вчера спал долго. Не работал почти ничего. Никто не был поутру. В 4 часа выехал из дома, причесывался, покупал перчатки, был у Некрасова и все-таки явился рано. Глупейшая привычка поздно обедать! и как она не подходит ни к нашему климату, ни к нашему образу жизни! Ермил явился первый. Пришли потом сам хозяин, Тургенев и Толстой, Дудышкин и еще кн. Долгорукий, известный тем, что был медиком

* каждый выбрал себе пару *(франц.)*.

в Севастополе. Обедали хорошо и пили много. Было весело. Рассказы Долгорукова занимательны, хотя печальны. Севастопольские bon mots * просто прелесть. Когда Долгорукий рассказывал, как государь нынешний заплакал, узнав о неустройствах в Крыму и страданиях солдат (по неимению медиков), мы единодушно и восторженно выпили здоровье Александра Николаевича. Дай бог ему долго царствовать и хранить свои теплые чувства, принесшие столько отрады и облегчения всем нам за этот год. Никто более его не имеет шансов быть любимейшим и популярнейшим государем. Война пройдет, говорит поэт, но хлеб и правда вечно нужны! И милосердие, и человечность, и доброта духа,— прибавлю я от себя.

После обеда было пение и музыка. Долгорукий хорошо пел французские и цыганские песни. Он мне нравится, но я еще ему не доверяю — все разнообразно-блистательные люди, каких я знал, оказывались с каким-нибудь грешком. Сол<л>огуб, Булгаков, Самойлов. От души желаю ошибиться. Было уже около 9 и поздно идти к Плетневу, оттого прошел пешком к Марье Львовне. Были Семевские, Луиза Федоровна и т. д. Известие о m-me Граве и Надежде Ивановне, ее сестре. Неизбежное лото, ужин и опять шампанское,— вероятно, по случаю приезда персидского посланника. Отыскался домой во 2 часу, тотчас заснул и крепко спал до 9.

Вторн<ик>, 29 нояб<ря>.

Утро вчерашнего дня провел в работе, но сделал мало. Гончаров не поддается разбору, и статья о «Русских в Японии» идет вяло[445]. Около 2 часов еще мне помешала О. И. К<ильдюшевская>. Она уезжает, и я не мог не провести некоторого времени в беседе с нею. От переплетчика принесли портреты и *Чернокнижие,* пустой великолепный футляр в виде книги, с замком. Туда будут вкладываться нелепые стихи, смешные письма и проч.

Обедал дома и на этот раз нехорошо, что со мной бывает редко. Обед не был по вкусу. Зато выспался днем и отдохнул от треволнений. Написал письмо Ливенцову. Краевский заехал за мной позже 9 часов, и мы, взявши вино у Рауля, заехали к П. И. Там были уже Писемский, Дудышкин, Алекс<андра> Ник<олае>вна, Соня, Лиза, новое лицо Варвара Михайловна, и Надежда Николаевна, царица всего вечера. Пили, варили жжонку, пели, целовались. Явились Тургенев, Ковалевский, Долгорукий, Толстой. Ужинали. Было недурно. Вечер заключили у Долгорукова — я, Надя и Тург<енев>. Ермил напился, как сапожник. Все почти разъехались парами, я же один не опарился. Долгорукий пошел dans un bouzin **. Я промотался дотла. Вообще, в подобных собраниях кошелек мой страдает сильней, чем у других. Пашинька получила особый гонорарий за хлопоты.

---

* остроты *(франц.).*
** в злачное место *(франц.).*

Четверг, 1 декабря.

Во вторник было несколько гостей поутру, и помеха в работе. М. К. Кл<именко> с дочерью, довольно миленькою. В. Н. Семевский. Весьма ерыжен В. Н. Семевский! Обедал у Некрасова с Каменским, Тург<еневым>, Толстым и Языковым. Толстой занемог и остается в Петербурге, болезнь его внушает нам опасения за него и за одну юную особу. После обеда мы с Языковым дремали, остальной народ играл в карты. По беспутству Тургенева, совсем отуманенного Надей, мы не могли ехать к Марье Ал<ександро>вне, Тургеневых (где хотели провести вечер) не застали, и день мой я кончил у Григория, с Софьей Николаевной, Золотовым и прочими.

Вчера поутру работал и, кажется, хорошо. Мне удалось поймать за хвост сущность таланта в Гончарове — статья будет ему полезна, как я думаю. До обеда никого не видал у себя и сам никуда не ездил. До 4 часов выехал, думал покупать теплые перчатки, но не нашел себе на руку. К Тургеневу, и обедал у него с Надей, Толстым и Долгоруким, после явились Фредро, довольно милый юродивый, и Иславин, менее мне полюбившийся. Пели, врали, слушали рассказы о Севастополе и засиделись до полночи. Надя очень мила, но мало меня возбуждает. В субботу она дает нам вечер.

2 декабря, пятница.

Утром в четверг встал ранее, а около 10 часов уже был за работою. Написал, однако, не очень много (о фламандских художниках по поводу Гончарова [446]). Потом читал «Athenaeum Français», журнал недурной, но отчасти бесхарактерный. Обедал дома и отсыпался за прошлые дни. Вечер у Краевского, и игра на бильярде. Народу было мало. Слышал, что по цензуре большие преобразования и что Гончаров поступает в цензора. Одному из первых русских писателей не следовало бы брать должности такого рода. Я не считаю ее позорною, но, во-первых, она отбивает время у литератора, а во-вторых, не нравится общественному мнению, а в-третьих, ... в-третьих то, что писателю не следует быть цензором [447].

Бурдин, или Bourdin, сообщал подробности о юбилее Щепкину. Приятно было их слышать от очевидца, хотя я давно заметил, что актеры — с их пафосом и амфазом [448] — прегадкие рассказчики. И что за глупая рожа у Бурдина. Зубров мне несравненно более нравится,— в его фигуре есть нечто тихое, умное и упорное, говорит он мало и не лезет в глаза подобно мухе.

Воскресенье, 4 декаб<ря>.

В пятницу был обед в Шахматном клубе[449],— первый опыт литературных обедов и вечеров. До половины пятого, начиная с трех, я скитался по своей комнате, пробовал работать при свечах. Было скучно, не могу я примениться к поздним обедам. Наконец, по великому морозу, заехав к Краевскому в контору, там посидел и с ним вместе двинулся в клуб. Народу было еще мало, мы осмотрели помещение. Могло бы быть лучше и удобнее, но недурно. Мало мягкой мебели, и все бедновато. За обед съе-

халось много наших — Панаев, Гончаров, Полонский, Тургенев, Толстой, Долгорукий и Языков, одним из первых, чего и надо было ожидать. Присутствие новых гостей в клубе, по-видимому, было приятно его членам и старшинам. Я сидел между Дудышкиным и Андреасом, против меня Толстой, Иславин, Одоевский и Заблоцкий. Краснокутский привез известие о взятии Карса[450]. Обедать сели позже пяти, обед ничего, хотя мог быть вкуснее. Познакомился с Посиетом, спутником Гончарова во время плавания. Выпили шампанского. После обеда читали описание юбилея Щепкину, привезенное Краевским. Баллотировали Каменского, Гр. Дружинина, Лоде и еще кого-то,— вероятно, все выбраны благополучно. Потом я играл в бильярд с Языковым, Панаевым и певцом Петровым. Вечер кончил у Лизаветы Николаевны, где были Панаевы, Софья Ивановна, Стасовы и, вдобавок, большая скука. Голова моя разболелась, так что я едва живой доехал до дома и уснул мертвейшим сном.

В субботу же день прошел тише и спокойнее. Работал нехудо, потом, думая обедать у Григория, вместо того попал к Тургеневу. Обедал еще бородатый Ваксель, а после обеда Толстой читал очень хорошие главы из своей «Юности». Лиза приезжала с билетами на бал в четверг. Вечером я свез Толстого к А. М. Тургеневу, и до половины первого мы предавались тихой беседе.

Понед<ельник>, 5 дек<абря>.

Утром происходила пушечная пальба вследствие взятия Карса. День провел уединенно, вечером ездил к Ж<уковой> и, не застав ее, сперва побыл у Тургенева, а потом кончил день у Марьи Львовны. Тургенев заставил посмотреть на свой чирей, принимаемый им за карбункул, а Толстой представил мне мальчика-поэта Апухтина, из училища правоведения. Дал брату Григорью билет на обед Тотлебену.

Вторник, 6 дек<абря>.

Был на обеде вышесказанном, то есть не знал, что делать с 3 до 5, а от 5 до 7 сидел за столом и ел прескверно. Нераспорядительность прислуги, скудость провианта, теснота и безобразие были беспредельны. Но все-таки я доволен, ибо видел многое и слышал многое. Видел разных героев — Тотлебена, Васильчикова, Шварца, Жерве и других. Физиогномия Тотлебена мне весьма понравилась, хотя в ней есть кое-что общегенеральное — портрет Тимма, идеальный и изящный, не похож вовсе. Броневский говорил мою речь, verbatum*, зато Одоевский был <...>, глуп, пускал нелепые цветы красноречия и даже упомянул о том, что «враги утучнили своею кровию и без того плодоносный Крым». Майков читал славные стихи[451],— их я слышал еще поутру у Некрасова. Они удались отлично. Были еще другие речи, большей частью глупые,— кроме речи Карпова, уже после обеда. Тотлебена качали, а химик Якоби чуть ли не подрался с каким-то уланом. Народу знакомого был миллион — Каменский, Жуковский <Вл.>, Граве, Ольховский, Заблоцкий,

* дословно (*лат.*).

Дудышкин, Михайлов, Долгорукий, Серапин, Эвальд, Познанский, Краевский, Полонский, Майков, Ковалевский, Языков, Панаев, Иславин, не упоминаю о шапочных знакомых. Вечер кончил у Тургенева с Толстым, Иславиным, Панаевым и кн. Оболенским, новым лицом, играющим довольно заметную роль по административно-литературной части.

Среда, 7 дек<абря>.

Вторник был днем получения денег и некоторого нравственного безобразия. Утром работал. Были брат с женой и моя няня Лукерья Ивановна, все собирающаяся умирать и жалующаяся на дороговизну жизни, к чему надо прибавить,— несмотря на свой капиталец, вполне обеспечивающий эту жизнь. Поехал к Некрасову на извозчике по 23-град<усному> морозу. Новая моя шуба оказывается великолепною,— никакой мороз ее не прошибает. Кончили счеты с «Совр<еменни>ком».

Обедали у Некр<асова>. Гелеодор, сильно свирепствовавший в пользу Клейнмихеля[452] и потому названный avocat des causes perdues *, Толстой, Бекетов, Иван Иванович с супругой. Перед обедом был Гончаров, он поступает в цензора. Толстой вел себя милейшим троглодитом, баши-бузуком и редифом[453]. Он не знал, например, что значит цензурный комитет и какого он министерства, затем объявил, что не считает себя литератором и т. д. Мы проехали к больному Тургеневу, и там сей лаз[454] объявил, что удивляться Шекспиру и Гомеру может лишь человек, пропитанный фразою. К ночи мы с ним странствовали по девочкам, но не видали ничего особенного. Анжелина.

Пятница, 9 дек<абря>.

Третьего дня целые сутки просидел дома, обвязавшись подушечками по случаю опухоли десен; ее давно у меня не было, и она прошла скоро. Вечером были Олинька и Ал<ександра> Петровна. А вчера утром ездил, получал деньги из конторы «СПб. ведомостей», был у Палацци и у портного, заезжал к Тургеневу, вечером я, Панаев и Толстой поехали на дачу Галлера. Но бал был плачевен, *звезд* не было ни одной, и при самом разгаре полиция велела тушить свечи, а музыку прогнала. Подобно спутнику Буянова[455], мы поспешили уехать, невзирая на уверения хозяек, что все пройдет хорошо и танцы снова возобновятся.

Меня начинает сокрушать поведение Саши Жуковой, но сокрушать пленяя. Это особый тип русской гризетки, о котором стоит подумать. Толстой тоже пленен ею до крайности.

Суббота, 10 дек<абря>.

Пятница была проведена таким образом: утром набрасывал фельетон и исправлял статью о Гончарове, которой я доволен. Обедал у брата, перед обедом заказывал себе жилет и штаны. Обед был весьма хорош. Олинька что-то не очень здорова. По условию, надо было обедать в клубе, но с поздним часом обеда не могу я ладить. Выспавшись в совер-

* Адвокат безнадежных процессов *(франц.)*.

шенстве, пошел в клуб, там нашел Андреаса, Дудышкина, Майкова, Заблоцкого и Безобразова. Беседовали до 9 часов, конец вечера, то есть до 1 $^{1}/_{2}$ провел у Тургенева, где по случаю болезни хозяина происходят отличные рауты. Были Надя, Краснокутский, Фредро, Маркевич, Жемчужников, а потом Иславин и Толстой и Панаев. Речи держались развратные, был спор о Саше и Наде, однако и изящному посвятили несколько времени, читая сцены из комедий Островского «Не так живи, как хочется». *Груша* в комедии всех пленила. Во вторник сочиняется общее увеселение за городом.

Краснокутский говорил об обеде Васильчикову и звал меня участвовать, как старого пажа[456]. Довольно и обеда шахматного клуба. Не заманят меня на официальные обеды!

Воскрес<енье>, 11 дек<абря>.

Как ни краток этот перечень каждодневных занятий и увеселений, но в нем есть свое достоинство и только для одного меня. При чтении имен и кратчайшего упоминания о событиях, самый прожитый день возникает весь в моей памяти.

Весь субботний день состоял из одних увеселений. Работал поутру мало и то лишь над Чернокнижниковым. Перед обедом заехал к Некрасову, нашел его в хорошем состоянии, прослушал стихи и узнал о том, что Анненков в Москве. С этой вестью нарочно сделал крюк и заехал к Тургеневу, with the glorious news *. Там нашел Краевского, Мея и Пахнущего клопами. Оттуда к брату на обед. Обедали Самсонов (преобр<аженец>), Гартонг и Бушен, старый, седой и добродушнейший генерал. Оттуда в Михайл<овский> театр, смотреть «L'amour qu'est-ce que ça» и «Trains de plaisir». Спектакль был сносен, хотя «Les mystères de l'été» ** гораздо лучше по мысли и чернокнижию. Ужинал у Клея с Толстым и Иславиным. В театре сидел я, как человек дурного тона, в первом ряду, имея на себе сюртук и серые перчатки. Мила подурнела, зато Мальвина пополнела и похорошела. Была еще на сцене высокая блондинка Варламова, весьма привлекательная по наружности.

Понед<ельник>, 12 декабря.

Воскресенье — день истинно баши-бузукский, дикий и глупый. Из дома выехал я в 7 часов, к Иславину. Ждем Толстого до 9 — вотще. Заезжаем к нему, нам говорят что он, Тургенев, Сол<л>огуб и другие лица в Hôtel Napoléon. Что бы это значило? Едем туда (предварительно побывав у Черновой), и дело объясняется. Баши-бузук закутил и дает вечер у цыган на последние свои деньги. С ним Тургенев, в виде скелета на египетском пире, Долгорукий и Горбунов. Пение, танцы, вино и прочее. Цыганки цалуются и садятся на колена. Все это хорошо бы на полчаса, но, к сожалению, оно тянулось до 12 почти часов. С трудом отговорил я беседу от ужина с цыганами и увлек ее к Черновой, более для

* с славными новостями *(англ.)*.
** «Что такое любовь»... «Увеселительные поездки»... «Летние тайны» *(франц.)*.

ее спасения. Там были донны, старые и новые, Настя, Леля, Иоганна, Ольга Федоровна. Слухи о Жуковой. Вернулся домой к 2 часам, истратив рублей около 25 и не ощутив удовольствия на двугривенный.

Поутру был у меня Фохт, в новой форме, с вестями из полка. Скоро съедется в Петербург много финляндцев[457].

Вторник, 13 дек<абря>.

Утро понедельника прошло в безмятежной работе. К обеду пришел Фохт, а Ванновский не мог быть. Мы беседовали с ним до 8 часов, не переставая ни на минуту. Вообще дельный и умный малый этот Фохт, хотя он то, что называется себе на уме. Припомнили наши споры и предположения на вечере в его квартире, до выступления в поход Финляндского полка. Сколько воды утекло в эти два года!

Думал было ехать в «Вильг<ельма> Телля» или к А. М. Тургеневу, но Золотов приглашал к себе на крестины. Вечер был так себе, с игрой в лото и обзором картин. Много всяких редкостей у Золотова, но все это теряет<ся> посреди *буржуазной* квартиры. Имелось на вечере несколько новых лиц, но крайне непривлекательных, особенно дамы имели гнусный вид, все без исключения. Драгоценным даром юмора обладает Прасковья Николаевна,— это лицо стоит изучения. От мороженого пахло рыбой, и ужин был невкусен. Мы с Иваном Николаевичем за ужином рассказывали неблагопристойные анекдоты. Спал мертвым сном.

Среда, 14 дек<абря>.

Вчера работа шла изрядно, и надо так ее вести с неделю, в одном роде, чтобы запасти «Заметок туриста», освободившись, перейти к другим работам. А тут еще сидит на шее окончание Крабба. Впрочем, Краббом я доволен весьма, сверх того всем нравится. С разных, иногда неожиданных путей идут за него мне приветствия.

Прокатился по всему Невскому благодаря отличной, почти весенней погоде и, взявши у Тургенева забытую сигарочницу, остановился для обеда у Некрасова. Явился вчера приехавший Васинька Боткин, а за ним Гончаров. Беседовали, сообщали новости, любезничали, вслед за тем автор «Обыкн<овенной> истории» подвернул правую ножку и заснул на диване, выставивши на показ свою лысину. Пришли Языков, Панаев и Тургенев с обеда у Ковалевского, Тургенев в великом озлоблении на баши-бузука за его мотовство и нравственное безобразие. Побеседовали еще с час, и я должен был уехать к Ал<ександру> Петровичу. Там, после компании литераторов и тонко развитых людей, узрел я Покровского, Эмилию и сводню, обещавшую доставить мне свидание с Г. П. Оттуда к Григорию, там нашел Золотова, Сталя, Ивана С. Малевича с женой, Фохта и преображ<енского> офицера Васильчикова. Играли в лото, курили и ужинали тонко, как сказал бы Григорович.

Носятся сильные слухи о мирных переговорах и о новом пре<д>приятии сближений со стороны Австрии.

Четверг, 15 дек<абря>.

Обед у Некрасова. Были Тург<енев>, Толстой, Дудышкин, Иславин и Васинька. Говорено было о русских критиках, о каком-то Реймерсе, ухитрившемся растолстеть, сидя на 4 бастионе Севастополя. От 7 до 9 у Казанского моста, где я ждал увидеть мою *Черкесенку,* но, увы, ее не было. Иславин и Толстой показывали, как баши-бузуки беспутствуют в Адрианополе. Ольга и Русалочка. Галстух Иславина. Я приобрел расположение Ольги Федоровны.

Затем, что-то съев в кондитерской Пассажа, прошли к Ивану Сергеичу. Там были Айвазовский, Каменский, Маркевич, Фредро, Огарев, Долгорукий, Горбунов и Эдельсон, рыжий господин не очень привлекательного вида. Огарев читал свой «Зимний путь», поэму, всех восхитившую, кроме меня. Она на одну десятую долю вершка от истинной поэзии и сверх того пропитана какой-то опошленной иронией старых времен. Все-таки произведение недюжинное[458]. Ужинали и разъехались поздно.

Пятница, 16 дек<абря>.

Был вчера в маскараде, после вечера у Краевского. Маскарад был как большая часть моих маскарадов. Отыскал С<ашу> Ж<укову>, но она была со мной очень холодна, не знаю, что-то будет сегодни. Две дамы изливали передо мной свои чувствия и, кажется, были не прочь от благородной интриги, в одной подозреваю я m-me Л<яр>скую, другая же меня действительно заинтриговала, сама о том не ведая. Она подошла ко мне как к знакомому и думала, что я ее узнал сразу. А между тем, хоть убей, я и теперь ее не знаю[459]. Странно то, что она видала меня у брата, знает мои комнаты и мои похождения в demi-monde*. И невзирая на мою память, на чуткость моего уха к женскому голосу,— и теперь я не знаю, кто она. Под маской она мила, но, увы! у Григория так мало бывает хорошеньких женщин, и все они наперечет! Вообще, я сам не знаю, зачем езжу я в маскарад. Из всех встречаемых мною женщин (я разумею порядочных) ни одна не возбуждает меня нимало. А возня с незнакомыми хороша только 18-летнему мальчику.

Воскрес<енье>, 18 дек<абря>.

Наконец наш литературный круг так сблизился, что мы все почти не проводим дня, не повидавшись. В пятницу обедали в Шахматном клубе, там были — Иславин, Долгорукий, Дудышкин, я, Андреас и т. д. Оттуда к Ч., где Черкешенка, или, как ее называют,— Черкесенка, меня постыдно обманула. По ее милости теперь для меня женщин не существует. Дайте мне ее — и никого более! Вечер заключили у Некрасова. A propos ** — Иславин оказывается милейшим господином,— история с его галстухом есть нечто дивное. Панаев ухитрился дать обед в пятницу, отбил многих членов от клуба и тем лишил их превосходнейшего обеда. Надо дивиться, как кормит клуб за 1 р. 50 к. сер.!

---

* полусвете *(франц.).*
** кстати *(франц.).*

В субботу же обед у Тургенева. Были Краевский, Боткин, я, Толстой и Иславин, после обеда пришла Над<ежда> Ник<олаевна>. Я вздумал испытать ее и улегся на диване, не обращая на нее особенного внимания. И что же, это случайное обстоятельство, совершившееся без всякой аффектации, ее сконфузило. Через полчаса она уже сидела возле меня и кокетничала, не обращая внимания на тающего Иславина. Боткина мы ей представили, как дона Алонза де Гусман, танцора испанских танцев. Вообще Надя мила, но ее для меня не существует! Кончил вечер у Надежды Михайловны, Ольга Александровна была умна и мила, и хороша в своем сереньком шелковом платье. C'est une belle chose que le parfum d'une honnête et douce demoiselle! *

Мизерия и decadence ** Панаева. Слухи об Анненкове. Толки о мире.

Понед<ельник>, 19 дек<абря>.

Я знаю, что Фанни Черрито стара, знаю, что она нехороша вблизи, знаю, что на мой черный бинокль нельзя вполне положиться,— но, совсем тем, давно не видел я женщины, которая бы меня пленила более Фанни Черрито. Давали «Армиду» [460] и я, просидев весь день дома, отправился в балет в каком-то редко со мной случающемся, болезненно-озлобленном состоянии. Балет был глуп, более глуп, чем все балеты сего мира. Но как хороша была Черрито Армидою! Все, начиная от ее прически до ножек, действительно маленьких, как у дитяти,— меня пленяло, но более всего ее рот и выражение лица — ласковое, веселое, приличное и вместе с тем страстное. При ней все наши танцовщицы, кроме маленькой Муравьевой, казались палками, глупыми девками, ходячими циркулями. Et puis cet air si caressant, si ingenu, si gentil dans son ingenuité ***. Я знаю, что благодаря третьему ряду и трубке, я любуюсь не на г-жу Черрито, а скорее на произведение собственной своей фантазии, но надо же вызвать эту фантазию, а того не делал никто из танцовщиц до сей поры, даже К. Гризи.

Видел разных людей подземного царства, или, как говорится, «являющихся лишь по бурным ночам»,— Кирилина Андрея и Григорьева (triple) ****. Была и она, то есть Черкесенка, балет ей, конечно, показался любезнее оперы. Григорьев зовет меня сегодни обедать, но это пока в руках Олимпийца и зависит от Черкесенки, которая милее, чем когда-либо!

Вторник, 20 дек<абря>.

Обедал с Черкесенкой вдвоем у Луи, был весьма счастлив и безумен. Это особенный тип и настоящий характер. Вечная веселость, страстность, беззаботность, ласковость, жизнь минутою, безалаберность,— все это делает ее несравненно выше и во всяком случае занимательнее ты-

* Прекрасная вещь аромат честной и милой девушки *(франц.)*.
** упадок *(франц.)*.
*** И затем этот облик, ласковый простосердечный и милый в своей простоте и искренности *(франц.)*.
**** (тройной) *(франц.)*.

сячи женщин с претензиями и вечным *князем Голицыным.* Ввечеру Толстой читал начало «Севастополя в августе»[461]. Этот милейший товарищ, кажется, остается в Петербурге, чему мы все весьма рады.

Среда, 21 декабря.

Вчера после обеда, данного Васинькой у Некрасова, прочел Тургеневу первые сцены моего перевода «Лира»[462]. Дни за два я читал их Некрасову, который приветствовал их с восхищением, но надо было знать мнение человека, хорошо знакомого с Шакеспиром. Вообще, я до крайности ценю вкус Тургенева, невзирая на его способность к увлечению и страсть к <...> Но и он произнес отзыв в высшей степени одобрительный. Итак, перевод «Лира» будет продолжаться с усердием. От чтения сделалась у меня головная боль, сперва слабая, а потом, при конце вечера у Григория, почти невыносимая. Это факт любопытный.

Утром ездил в коляске по дурной дороге в крепость получать пенсию матушке. Видел немало свиных и кувшинных рыл, но вообще чиновники были услужливы и даже любезны.

Четверг, 22 дек<абря>.

Всю среду провел в некотором трепете, опасаясь, чтобы после ужасов понедельника что-нибудь не отозвалось, но до сих пор all right *. Вечером колебался между оперой и поездкой к Софье Ивановне. Решился на последнее и рад. После четырех лет увидал М. И., ныне итальянскую синьору, с ребенком. Вечер прошел почти незаметно. Она похорошела и очень поумнела, понагляделась. Та же ласковость и то же добродушие. Буду видеться с ней и ее сестрою почаще.

Суббота, 24 дек<абря>.

Скромность приказывает набросить завесу на события в пятницу, разумея тут вечер после обеда в Шахм<атном> клубе, обеда, совершившегося блистательно. Участвовали в вечерних похождениях: Долгорукий, В. Петров, Потехин, Горбунов, а из новых лиц Булгаков, Мацнев, Гауф, Маркевич и Свечин, кирасирский офицерик, представлявший из себя тип, ныне изчезающий,— дрянного и заносчивого кавалериста, с какими-то непонятными претензиями. Говорят, что он в трезвом виде совсем не таков, надеюсь, что не увижу его более ни в трезвом, ни в нетрезвом состоянии. Впрочем, было довольно весело.

Приехал Анненков. Мы с ним встретились и облобызались на лестнице у Некрасова.

Читал «Лира» Боткину, Полонскому и Михайлову, которые у меня сошлись утром в пятницу. Они остались довольны.

25 дек<абря>. Рождество.

Кто из людей не любит подарков? Но такого подарка, который я получил вчера, не всякому получить придется. В контору «Петер<бургских> ведомостей» принесена для передачи мне от неизвестного сереб-

* все в порядке *(англ.)*.

ряная кружка с надписью: «Да здравствует Петерб<ургский> Турист Ив. Ал. Ч<е>р<нокнижни>ков! 1824/XII 55 г.». На моей памяти не было примера подобным изъявлениям сочувствия в литературе! Тут можно смело сказать — не дорог подарок, а дорога любовь! Чернокнижников, мною созданный и мной вынесенный на свет, наперекор укорам холодности, критике и советам,— идет все вперед и вперед! Упорство хорошая вещь, и все-таки я сам себе лучший судья. Вообще, эта кружка веселит меня уже два дня сряду — от души желаю всего лучшего неизвестному читателю.

Вчера avant soirée * у Тургенева, где познакомился с отличным и знаменитым старикашкой Лажечниковым. Были еще Ермил, Анненков и Сол<л>огуб, на сей вечер ведший себя пристойно. До $12^1/_2$ у Надежды Михайловны. Много вестей об изюминке и о прочем. О мире все говорят сильно. Боже мой, если бы так! Несмотря на мою воздержанность, напьюсь как свинья в день заключения мира! В самом деле, золотой век ждет нас по окончании войны. Отдых, согласие, покровительство просвещению, кроткий и милосердный государь, пора сознания и обращения к честности в свете, а для меня собственно — путешествия, Италия и что еще!! Отчего же и не быть золотому веку? — Еду на елку к Марье Львовне.

Среда, 28 дек<абря>.

Елка была хороша, и дети веселились на славу,— особенно утешал их баран, бегающий по комнате помощью хитрозданного механизма. Мне же было не очень весело, ибо на вечере имелось мало гостей, да и то незанимательных. В понедельник виделся с Сашей у П. И., потом глядел пожар в доме Энгельгарта и обедал у Тургенева с Ковалевским, Анненковым, Толстым и пр. Анненков был забавен, а Толстой и Тургенев спорили чуть не до слез [463]. Домой вернулся рано, в страшном утомлении от утренних беспутств. Во вторник не обедал у Некрасова, не потому чтобы нельзя было, но оттого, что желал выспаться перед маскарадом. На вечере у Некрасова видел братьев Жемчужниковых и слышал еще частичку «Севастополя в августе». Наш милейший баши-бузук Толстой есть талант первоклассный [464]. В маскараде ходил с одной только женщиной, почти не разлучаясь. Незнакомка сия крайне умна и элегантна, и занимательна, но сама сознается, что ей за 30 лет. Это не по моей части. Спрашивается, для чего же я ходил с ней? А еще бы нужнее спросить, для чего я был в маскараде, не имея во всем Петербурге одной женщины, с которой хотел бы встретиться наедине?

31 дек<абря>, суббота.

В четверг, как водится, был у Краевского с многолюдной компанией и играл в бильярд с непомерным искусством. Вечер же среды провел странным образом. Обедал у брата и отсыпался после маскарада, потом же задал себе увеселение дурного тона, то есть поехал в Пассаж слу-

---

* начало вечера *(франц.)*.

шать цыган. Во всей зале, говоря буквально, не имелось <ни> одной души знакомой. И вдруг после первой половины концерта я встретил одну особу, давно мною утраченную. Тут произошло чернокнижие, а после поехал я к Некрасову, где нашел Боткина, Толстого и Тургенева. Было очень весело — нечто похожее на наши вечерние беседы в Спасском. Читали стихи Тютчева, рассказывали любовные истории. *Бодиско в Риме. Живописец Галле.*

В пятницу в Шахматном клубе. Из наших были Тургенев, Андреас, Михайлов и Маслов, приехавший из деревни. Перед обедом видел Анненкова в безобразно-забавном виде. На вечере был у Малевича, где играли в лото, где не было ничего замечательного и где я говорил с директором Лихониным о воспитании юношества.

Старый наш Платон умер. В последние два года он не жил уже и находился в безнадежном состоянии. Это был старый и верный слуга покойного отца, иногда запивавший, но оказывавшийся драгоценным в деревне, вдали от искушений.

<1856 г.>

По пробитии, 12 часов.

Встретил Новый год как следует честному российскому литератору,— за работой. Переводил «Короля Лира» (сцены во время бури). Вечер провел так, как все вечера за последние года,— дома, в малом кругу нашего семейства, состоящего из четырех человек. Отказался от детского бала, так что весь день 31 декабря я носу не показал из своей квартиры. 1855 год, печальный и горький для многих, для меня был почти счастливым годом, а если откинуть фантастические требования, то и очень счастливым. Благодарю бога за себя и за других. Если бы даже меня впереди ждало горе, я обязан принять его с тихой покорностью, ибо на мою долю выпало больше радостей, чем я когда-либо мог рассчитывать.

Что принесет с собой настоящий год? Не один миллион людей дает себе подобный вопрос в эту самую минуту. Ровно через год, если буду жив, взгляну на эти строки и припомню и дам ответ на вопрос, о котором теперь говорилось. Где буду я через год, и с каким чувством возьмусь я за дневник этот?

3-е янв<аря>, вторник.

Длинный ряд обедов и ужинов, начиная с первого числа. Сперва артистический пир у Васиньки, с утонченными блюдами. Обедало 14 человек, между прочими Маслов, Ребиндер и Панаев, последнее время невидимый. После обеда читали стихи Огарева и Пушкина, Тургенев спорил с Толстым, по обыкновению. Вечер у М<арьи> Л<вовны> с ужином и тостами.

А вчера ехал в «Трубадура» [465], по неимению же билетов попал на вечер к Каменскому, опять с ужином и шампанским. Были Титов, Дестюд, брат Воропанова, дядя его же и какой-то Осип Иванович, старик

добродушнейшего, но атлетического вида. Беседа шла весьма живо,— большего и не требовалось.

4 янв<аря>, среда.

Работал за Крабба «Сельскими сказками». Вообще от позднего вставания работы мои не страдают, но читаю я весьма мало или, сказать по правде, ничего не читаю, кроме газет. Утром заезжал к Пашиньке, потом к Некрасову обедать и с ним вместе написал эпиграмму: «За то, что он ходил в фуражке...» [466]. Явился Анненков и изрек нечто неслыханное — позвал к себе обедать в воскресенье. Так и не сбылось сказание:

И будем ждать мы с прежним нетерпеньем,
Чтоб ты нам дал обед.

Обедали еще Ковалевский, Тург<енев> и новый милейший господин Бодиско, из Калифорнии. Беседа была крайне оригинальна,— Ков<алевский> рассказывал об Африке, а тот об Америке. Читал Тург<еневу> и Некр<асову> продолжение «Лира»,— оба весьма довольны. Кончил вечер у брата, где была компания разнокалиберная — Зотовы, Меллер, Толстой, Мердеры, Александра Петровна, Иван Николаевич и так далее.

Самая среда проведена странно. Едва покончил я утренние работы, как получил послание от моей настоящей нимфы, Черкешенки. Она ждала меня у П<расковьи> И<вановны> и прислала в знак того милейшее, но безграмотнейшее послание. Я думал обедать с ней у Луи, но это не удалось, почти что к моему удовольствию, ибо первый жар привязанности моей несомненно погас. Все-таки я пробыл с ней от $2^{1}/_{2}$ до 4. Обедал дома и после обеда поехал в Нижний Новгород, то есть к Софье Ивановне и ее сестрице. С этими двумя добрыми до бесконечности персонами закончил я день, городя всякий вздор.

В городе много больных, и я уже дня два не могу сладить с небольшой болью горла.

Пятница, 6 янв<аря>.

Вчера заехал к Тургеневу и велел его Захару повязать себе на шею красную шерстинку [467]. Едва доехал я от него к Краевскому, как горловая боль унялась совсем. «Есть многое в природе, друг Горацио!» [468] и пр. У Краевского четверги хороши по многим причинам,— одна из них та, что на них всегда бывает несколько нового народа. Так и тут видел я Алибера, открывшего графитные прииски в Сибири. Разглядывали его альбом, штуку весьма замечательную. Из редких гостей были Гаевский, Волков и Щербина. Греческий поэт [469] ко мне не подходит что-то, а по мне — хотя бы его не существовало в мире.

По утрам окончательно двигаю Крабба и, кажется, скоро с ним разделаюсь.

Воскресенье, 8 янв<аря>.

Вчера с криками вторгнулся ко мне милейший и неожиданный гость, то есть Григорович, в знаменитом своем носопряте, столь же знаменитой шляпе и еще более исторической шубе. Первый день намерен он посвятить семейным радостям и сплошь сидеть дома, вследствие чего успел быть у меня, Некрасова, Тургенева и, может быть, еще местах в трех. Он умирал со скуки в деревне и хорошо сделал, что приехал. Со стороны Краевского будет безжалостно еще его мучить.

Был на двух вечерах — у В. В. Жуковского и у И. Н. Семевского. На первый приехал с Алексеем Владимировичем и там видел сестру Карновича, женатого брата Жуковских и еще кой-кого. Н. И. мне очень нравится,— в ее лице есть что-то весьма привлекательное. У Ивана Николаевича происходило нечто вроде бала писарей; офицеры в новой форме, без эполет, были весьма некрасивы. Мелькнуло два-три недурных личика. Ужин был мне не по вкусу, а шампанское тепло, отчего в животе к утру свершилась революция.

В пятницу обедал в Шахматном клубе, сводил Василия Петровича к Пашиньке, а сам проехал к *дурняшке,* под мокрым снегом. В клубе из наших были Тург<енев>, Анненков, Петров, Андреас, Боткин, Гончаров и я. Иславин и Долгорукий куда-то пропали без вести.

Обед Анненкова прошел блистательно, тем более, что газетное объявление о начале мирных переговоров наполнило всех нас сладкими надеждами. Обед был таков: уха, расстегаи — cotelettes de mouton * с горохом и оливками, соте из рябчиков с трюфелями. Спаржа и macedoine **. Пили в меру. Писемский потешал рассказом о вчерашнем вечере у Старчевского. Вечер кончил я у Марьи Львовны.

Понед<ельник>, 10 <9> янв<аря>.

С тех пор, как явились надежды на мир, жить как-то веселее и дышать легче. Вчера утром работал над фельетоном, потом ездил довольно много. Получал деньги от «СПб. вед<омо>стей» и от Печаткина. Обедал у Тургенева и привез ему бутылку шампанского для проводов Ермила и Потехина [470]. Из числа званых не явились Григорович и Анненков. Обедали, кроме туристов, бородатый Ваксель и милейший давно не виданный Иславин, его мы встретили с криками. Ермил был мил и забавен. Потом были у Нади, потом у Прасковьи Ивановны, взяли Черкесенку и Лизу и проехали к больному Василию Петровичу. День закончился нецеломудренно.

Среда, <11 января>.

Во вторник, к огорчению моему, снова увидел друга моего Ивана Сергеича в нравственно-безобразном виде, вроде того, в каком он был на ужине в день своего рождения. По поводу старого <...> Тютчева, бе-

* бараньи котлеты *(франц.)*.
** македонский *(франц.)* <салат из овощей или фруктов>.

седовавшего с ним утром, наш Тургенев начал отпускать такие фразы, выражаться с таким мальчишеством, излагать мнения до того затхлые, узкие и непрактические, да сверх того накинул на себя такой фальшивый мрак, что испортил весь обед и нарушил общее увеселение. А компания собралась было хорошая! Анненков, российский Катон [471], был гораздо благоразумнее, хотя тоже городил вздор ни к чему не пригодный. Words! words! words! * Я было с досады принимался спорить, но потом умолк, махнувши рукою!

Ездил с Гаевским к Марье Алекс<андро>вне, но она была в балете, а вместо нее нас приняла чета Волянских, люди, как кажется, хорошие и только. У брата ужинал при собрании многочисленной публики, но из нее понравился мне только преображенский Козен, молодой человек весьма порядочный, ловкий на язык и вообще почему-то очень привлекательный.

Если бы Тургенев произвел на меня впечатление человека, искренно и от души городящего чепуху, я бы очень тому радовался,— кто не городит вздора и не ошибается? У всякого человека свои идеи, как свой нос, никто не имеет права резать этого носа. Но прикладным носам не надо давать пощады! А мне, к сожалению, кажется, что во всех вчерашних дифирамбах 9—10 фраз. Мне становятся понятны вечные споры Толстого с Тургеневым. Сам Тург<енев> сознается, что в нем живет фраза [472]. И кажется мне,— он не знает сам, до какой степени порабощен он гнилою, состаревшеюся фразою! Нет в нем серьезной строгости, практичности духа, и спокойной широты в убеждениях. И все-таки я люблю его ужасно, за то и сержусь.

Четверг, <12 января>.

Должно быть со мной осуществится басня о белке и орехах [473]. Вчера в маскараде, начиная с половины первого (до маскарада же я обедал у брата с Григоровичем, вечер же провел у Над<ежды> Мих<айловны>) я был занят до крайности, интриговал до истощения сил и получил приглашение любить от двух женщин. И все это доставило мне развлечение, некоторую обычную утеху самолюбию, сердца же не расшевелило, хотя у m-me Catherine, таинственной леди, зубы, губы и смех прекрасны, сама же она очень элегантна. Была и крошечная колдунья, знающая мои семейные дела и рядом с ними, proh pudor! ** авантюры с Надеждой Николаевной. В этой крошечной особе таится несомненный гений для маскарадных проделок, ясно, что я ее не знаю близко, что подробности обо мне знает она понаслышке, но сколько ума и такта нужно, чтоб их выведать, а выведавши, воспользоваться ими так ловко! Едва вырвался я около 4-х часов, одним из последних. Видел из мужчин Тург<енева>, Булгакова, Альбединского и с особенной радостью Долгорукова. А очень милый, откровенный, какой-то раздражающий смех у моей леди!

---

* Слова, слова! слова! *(англ.)*.
** о стыд! *(лат.)*.

Поутру видел Некрасова. Гончаров ужасно доволен моей статьею о «Русских в Японии». А я вдвое.

Увы! из разговоро̀в можно судить, что предстоящий мир не так еще верен, как говорили!

Пятница, <13 января>.

Утром был у Некрасова, видел Боткина, Чернышевского и познакомился с товарищем Толстого Столыпиным, литературным флигель-адъютантом. Пускай будет их побольше. Вообще, тон этих придворных господ страшно изменился за последнее время. Сообщено мне о том, как я ублажил Гончарова и Тургенева, одного статьей, а другого запискою. В статье о Гончарове есть две или три страницы à la Macaulay * о фламандцах. Эти заметки пишу я для себя, а оттого скромничать нечего.

А обед в клубе прошел великолепно: клуб, очевидно, всем нравится и становится тем, чем должно быть. Обедали из наших Кр<аевский?>, Иславин, Гаевский, Долгорукий, Зотов, Языков, Петров. Пили мое здоровье по предложению Языкова. Говорили за столом о новой пиесе Сухонина [474], о театре и актрисах, о Горбунове и вещи, для него написанной Соллогубом [475]. Потом был алагер из 11 персон, выиграли я с Долгоруковым.

Вечер покончил я некоторым чернокнижием.

Суббота, <14 января>.

Происходил у меня обед, довольно веселый, по случаю приезда Григоровича. Вечером он и я были у Пашиньки, кончили же у Некрасова. Гаевский и Марья Александровна напрасно прождали нас в этот день.

Воскр<есенье>, <15 января>.

В 7 часов вечера, когда я собирался за неимением лучшего к Марье Львовне, является какой-то господин, вида мне совершенно неизвестного. Оказалось, что это Салтыков, милейший мой товарищ [476], 8 лет проживавший в Вятке и ныне возвращенный из изгнания. Он женится — одним словом, разговор наш преисполнен был изумительными вещами. Я был рад страшно. Заезжали к Каменскому.

Понед<ельник>, <16 января>.

Сделал визит Юрию Толстому и не застал. Обедал у брата, вечер провел у Тургенева с многочисленной компанией и славянофилом Хомяковым в славянской одежде. Было скучновато на вечере. Взбесил меня вечером Каменский своею запискою. Мы согласились с Салтыковым быть у него во вторник, он просит переменить день, ибо играет в карты у Самсоновых. Если бы это был отдельный факт, оно бы ничего не значило,— но я (дай бог мне ошибаться) давно уже подмечаю в Каменском нечто неладное. Вот до чего доводит служба, чиновничество, конкубинат [477] и в особенности постоянная страсть к компании людей низшего с

---

* в духе Маколея *(франц.)*

нами образования, людей, от нас зависящих и стало быть нам поклоняющихся! Вот и плод от компании Титова и разных чиновников. Товарища, 8 лет не виданного, меняют на карточный вечер. И почем знать, может быть, ссылка в Вятку уже скорей вредит Салтыкову в глазах Каменского? Увы! увы! а впрочем не увы! я благословляю судьбу, исторгшую меня из службы и дозволившую мне жить независимо.

17 января, <вторник>.

К удовольствию моему, я отчасти ошибся насчет Каменского,— дело устроилось, в среду обедают у меня, а в четверг вечер у Каменского. По обыкновению обедал у Некрасова, были там, кроме Боткина, Тургенев, Ковалевский, Гончаров и Чичерин, и Анненков. После обеда я немного спал под общий говор, спал и Гончаров, перед тем услаждавший нас рассказом о приезде провинциального племянника. А в понедельник вечером был раут у Тургенева по случаю приезда Хомякова. Народу набралось такое число, что от курения стоял столб дыма. Я ушел без ужина. Хомяков не произвел на меня ни дурного, ни хорошего впечатления. Одет он глупо, но говорит довольно умно, только черт знает о чем — о русских князьях, гласных и грамотах[478]. Чичерин, как специалист, ловил его неоднократно в поверхностных показаниях. Вечер же вторника кончен был у Григория с неизбежным лото, m-me Мердер, Назимовым и так далее. Софья Николаевна дарит мне две китайские чаши, с уговором написать кое-что для нее собственно. Условия не тягостные, но мне хочется подарить ей альбомчик с произведениями разных писателей.

<18 января>, среда.

В среду утром ездил много! Вчера на вечере Самсонов, Гадон и разные преображенцы упросили меня съездить к Тимму. Дело в том, что у них домашний театр в пользу приютов, и по хлыщеватости, свойственной всему человечеству вообще и Преобр<аженскому> полку в особенности, им желательно видеть свой фестиваль описанным и нарисованным. Отчего же не потешить человечество? Тимма застал я больного, но встречен был по-товарищески. Говорили о Берге и его картинках. От него к Лажечникову — не застал. Оттуда к Раулю, оттуда в компанию громоздких движимостей, где Росляков рекомендовал японскую вазу. Ваза не очень мне понравилась. Обедали у меня обломки нашей канцелярии — Салтыков, Толстой, Сатир и Каменский. Было весело,— пили здоровье Салтыкова и Толстого, как нового супруга. Болтали и смеялись до 9 часов, потом я с Юрием кончил вечер у Тургеневых. Ольга Александровна что-то бледна.

< 19 января>, четверг.

Вчера кончил Крабба, около 8 месяцев заняла эта работа. Переводил «Лира», дело двигается, хотя не с великой быстротою. Обедали у нас брат с женой, Саша и Маша. Дети были очень хороши и веселы. Был на двух вечерах — сперва у Краевского, потом у Каменского. Ужинали

и вновь пили здоровье Салтыкова. Были, кроме нас 4, еще Титов и Коведяев, с годами все становящийся скандалезнее.

Понедельник, 30 января.

Журнал запущен более чем за полторы недели. Начнем по дням.

Пятница, <20 января>. Обед в Шахматном клубе с малым количеством гостей. Играли в кегли с Маркевичем, Гаевским и Заблоцким. Вечер кончил на чердаке, у одной старой подруги по чернокнижию.

Субботы и следующих дней до четверга хорошенько не помню. В четверг увидал Фета у Краевского (впрочем в субботу, припоминаю, был у Краевского премиленький детский вечер), оттуда поехал я в маскарад. Там было много моих знакомых и незнакомых. Catherine Шереметева. Развязка по поводу маленькой таинственной маски. Михайлов и Полонский. Я чувствую себя совершенно неспособным влюбляться.

Пятница, 27 янв<аря>. Боткин уехал в Москву, невзначай. (Припоминаю прошлый понедельник — был в театре русском. «Ревизор» выполняется нехорошо и даже местами отвратительно. «Русские святки» [479] не что иное, как пастиш [480], весьма слабый. Знаменитая Владимирова мне не полюбилась, она чересчур походит на картинку из кипсека [481]. Обед в Шахматном клубе был из самых великолепных. Фет, Тургенев, брат Григорий, Языков, Иславин, Майков 2, Гончаров, Краевский. После обеда Горбунов производил свои рассказы, учиняющие большое впечатление. В Горбунове есть что-то доброе и ласковое, заставляющее им интересоваться. Видел еще Ростовского-Долгорукова и др.

Суббота, <28 января>. Полное разъяснение маленькой таинственной маски и истории влюбленного Михайлова [482]. Обедали у меня Трефорт, Михайлов и Григорович. После обеда сей последний муж морил меня со смеху, рассказывая свои авантюры в Пассаже. Потом с Михайловым поехали на вечер к Штакеншнейдеру, где происходило нечто чернокнижное. Представьте себе великолепный дом, наполненный престранным сбродом из художников, писателей второго разряда, разных дам более или менее приличного вида, любителей домашнего спектакля и т. д., дом, где хозяев почти не существует и где никто о них не заботится. Обещал для домашнего спектакля нашу «Школу гостеприимства» [483]. Видел черт знает кого — Греча, Щербину, Кожевникова, Ф. Глинку, А. Брюлова, Моллера, Горавского, Гебгарта. Уехал домой без ужина.

Тургенев сообщил мне под секретом, что Велеурский поручает Григоровичу надзор за своими имениями около Тулы. Тут только остается поставить ряд знаков восклицания!!!!!

Воскрес<енье> <29 января>. Утром набрасывал на память «Школу гостеприимства». Были у меня Михайлов и милейший старичок Лажечников. Обедали у Некрасова с вернувшимся баши-бузуком Толстым [484], Тургеневым, Гончаровым и Григоровичем. После обеда читали предполагаемое собрание очищенных творений Фета [485]. Впечатление осталось отличное. Il y a là de la grande poésie *. Вечер кончил у Марьи Львовны.

* Тут есть от высокой поэзии *(франц.)*.

<2 февраля.>

Во вторник <31 января> после обеда у Некрасова читал в ареопаге все, что было готово из «Короля Лира». В начале чтения расхолодил меня приход строптивого Ивана Павлова Арапетова, а впоследствии появление какого-то псевдолитератора Станкевича, плешивого господина не очень приятной наружности. Тем не менее результатом чтения я остался весьма доволен. Вот мои слушатели: Толстой, Майков, Некрасов, Анненков, Гончаров, Фет, Панаев, Григорович. Самым пламенным оказался Павел Васильич. Теперь дело о «Лире» есть дело решенное. Вечером я и Тургенев сидели у Толстого, вразумляя его насчет Шекспира [486].

В четверг, <2 февраля>, был домашний спектакль в Преображ<енском> полку. Все шло очень хорошо, особенно искусными оказались m-me Мердер и так называемый Гондон. Видел там Ребиндера, недавно приехавшего в Петербург. Из дам особенно поразила меня одна девица, Майкова, должно быть, дочь артиллерийского генерала. М-me Гельфрейх вовсе не хороша собой, она, однако, может нравиться и очень напоминает Наталью Дмитриевну. М-me Лярской я не дождался. Видел еще Грейга и разных более или менее хлыщеватых мужей и дам.

<13 февраля.>

Во вторник, 7 февраля, был великолепный домашний спектакль у Штакеншнейдера; не помню, писал ли я уже о знакомстве моем с этим домом. Там играли несколько пиес, собралось много народа, и между прочим в конце спектакля шла наша «Школа гостеприимства». Разница между летней «Школой г<остеприимства>» и теперешней та же, что между летом и зимою. Во-первых, мы играли лучше, и нас, и зрителей одушевляла веселость самая детская. Тут же все было скомкано, сделано без entrain * и к концу совершенно непонятно. Зрители не были довольны, пламенное воображение Тургенева превратило все дело в fiasco **, в позор и тем доставило нам всем много смеха и бесконечный источник толков. Роль Щепетильникова была изгажена, а Таратаев явился на сцену пьяным! По рассказам Полонского оказалось, что актеры точно подгуляли, и даже с Михайловым произошла полускандалезная история [487]. Пиеса «Соль супружества» прошла отлично. В 12 часов, после спектакля, я поспел к брату, где ужинал вместе с многочисленной компанией.

В среду, 8 числа, был день, исполненный многих происшествий. Утром я ничего не работал, а читал «Современник» и «Athenaeum». «Рудин» Тургенева понравился мне, но менее, чем я ждал. Точно, как говорит Писемский, *объективности дара* в Тург<еневе> нет, но сам субъект прекрасен, симпатичен и поэтичен. Обедал у Тургенева с Анненковым и новым московским гостем, Островским. Островского я уже встречал летом. I like him ***, а еще более его талант. Эта натура не то,

* увлечения *(франц.)*.
** неудача *(франц.)*.
*** Он мне нравится *(англ.)*.

что какой-нибудь Ермил,— тут сидят и сила, и дружелюбие, и нежность сердца, хотя все это в формах, не очень изысканных. Но ни грязности, ни затхлости, ни юдаитизма нет в этих неизысканных формах. Мы остались очень довольны и Островским и его беседою.

Потом были с Тург<еневым> у Некрасова, потом у Александра Михайловича, потом я до 4-х почти часов вертелся по маскараду. Маленькой феи, ныне нарушившей свое инкогнито, не было, но вместо нее ходила со мной ее подруга, полненькая, высокая и аппетитная девочка, не очень далекая, но резвая. Была еще одна новая маска, немолодая и встреченная мною крайне сухо. Шереметева была умна, бойка и возбудительна,— она объявила себя верующею в мистицизм и привидения, что к ней шло. Вообще она меня заняла и во всяком случае может быть моей доброй приятельницею. Еще видел Черкешенку, Над<ежду> Ник<олаевну>, Пашиньку и разных литературных масок! Альбединский едет в Париж, в первый раз в мою жизнь я позавидовал флигель-адъютанту.

Четверг, 9 февр<аля>. Вечером у нас были гости — Семевские, Золотовы, Марья Львовна и прочие, но я застал их только при отъезде, ибо вечер по обыкновению провел у Краевского. Был алагер, и Островский обыграл нас всех на бильярде. Он всем нравится, да иначе и быть не может.

В пятницу, 10 февр<аля>, заехал к Салтыкову и взял его с собой в Шахматный клуб. С нами был еще Безобразов, с которым мы сошлись. Он звал к себе, говорят, что у него жена прехорошенькая. За обедом было около 40 человек, из новых Левицкий, Майков, Ламанский, с которым я познакомился очень давно у Гаевского и на бывалых вечеринках у Паши. Обед был хорош и весел. С обеда проехал к Гаевскому, чтобы вместе катить на пикник, даваемый Пашинькой и Лизой. Пришли еще Николай Семеныч, Познанский и Александров. Хотя я немного заснул у Гаевского, но голова у меня была тяжела и предвещала недоброе. Никогда мне не следует пить бургонского! Поехали в больших санях на дачу Вейцлера. Пикник был так себе, но помещение грязновато. Потом съехалось поболее народу, хорошеньких донн имелось немало, была Черкешенка, Полинька Рахманова и Марья Петровна в блистательном туалете, с жемчугом в волосах. Черкешенка всех сводила с ума, и мои спутники не хотели ехать прочь до 4 часов, что мне не пришлось по сердцу, ибо у меня голова разболелась. Наконец, кое-как добрался до дома, поздно-поздно.

Суббота, 11 февр<аля>. А на следующий день пришлось лечь еще позднее. Был на двух вечерах — сперва у Тургенева, где Островский великолепно читал первую свою комедию [488], оттуда же должен был, не дослушав, пуститься на вечер к Влад. Жуковскому. Там нашел много знакомых мужчин и дам — Софью Николаевну, m-me Граве, еще, кажется, мою прошлогоднюю маску, Карновича, Каменского, Петра и Ал. Вл. Жуковских, генерала Самарского, Карцова и т. д. Познакомился с одним севастопольским героем. Были еще две хорошенькие девушки Коврайские, из Симбирска. Танцы продолжались до 3, ужин до 4, все мои по-

пытки уйти без ужина не повели ни к чему. Да и совестно было, глядя на радушие хозяев, даже несколько непонятное.

Воскресенье <12 февраля>. Отдыхал и ничего не делал. Вечер провел сперва у Некрасова с Тургеневым, потом у Марьи Львовны. Поутру были все приезжие — Капгер с женой и Евфанов, которому я крайне обрадовался. Вечер понедельника прошел в чернокнижии в мрачном доме Ч.

Вторник, 14 февр<аля>.

Генеральный обед у Некрасова. Пили здоровье Островского. Потом Толстой и Григорович передали мне какой-то странный план о составлении журнальной компании, исключительного сотрудничества в «Современнике»[489] с контрактом, дивидендами, and what not *. В субботу обо всем этом будет говорено серьезнее, но я не вполне одобряю весь замысел. Вечером поздним я и Григорович пошли к брату Григорию, где нашли огромную компанию. Были Евфанов с женою, Мердер idem **, Лярский idem, Гадон idem, Гельфрейх id<em>, Семевский idem, сверх того кн. Волконские, Марья Львовна с семьей, из холостых Дохтуров, Ребиндер Ал., безобразный юноша гр. Клейнмихель, Козен и другие, имена коих я забыл. Все было великолепно, даже слишком роскошно.

Среда, 15 февр<аля>.

Утром по плану Толстого сошлись у Левицкого я, Тургенев, Григорович, Толстой, Островский, Гончаров, а перед нами Ковалевский. Сняли фотографиями наши лица. Утро в павильоне фотографическом, под кровлей, имело нечто интересное. Пересматривали портреты свои и чужие, смеялись, беседовали и убивали время. Общая группа долго не давалась, наконец удалась по желанию[490]. По случаю желудочного расстройства я обедал дома. Вечером был у Тургеневых, с Анненковым и Тургеневым Ив. Серг. Кажется, никакого веселья у нас не случилось, но мы засиделись, не думая о времени, и, когда поглядели на часы, оказалось так поздно, что мы удивились.

Четверг, 16 февр<аля>.

Худо я себя чувствую, да и не может быть иначе. My life is out of joint ***. Я ем больше, чем следует, не хожу пешком, голова ничем не занята, вообще нужна перемена места. И в образе жизни идет все одно и то же. Не стоит и говорить о четверге, хотя вечером я имел минутку удовольствия, слушая, как Островский читал «Картины семейного счастия»[491].

* и так далее *(англ.)*.
** тоже *(лат.)*.
*** Моя жизнь выбита из колеи *(англ.)*.

Понедельник, 27 февр<аля>.
Немец<кая> масленица.

Мир, мир и мир! [492] Вчера принесли мне прибавление к газете с радостным известием. Оно пришло кстати, ибо в городе начинали ходить плачевные слухи, и я сам тревожился, тем более что Ковалевский держал со мной пари не в пользу мира. Соображая, что сей генерал знает гораздо более, чем я знаю, я не мог не колебаться. Но теперь, кажется, все кончено,— прошло время кровопролития. Мы пережили европейскую войну, видели многое, выучились многому и имеем право на отдых. Я очень рад и хотя не наклонен к особенному оптимизму, но гляжу вперед с надеждой и доверием.

Относительно моей жизни не могу сказать ничего хорошего. Я начинаю скучать, как, кажется, оно всегда бывает перед весною. Масленицей я не наслаждался вовсе — вся она состояла для меня из 9 блинов, полутора часу в театре (для свидания с Ш<елгуно>вой), нескольких званых обедов, на которых я ничего не ел по расстройству желудка, и всяком другом праздношатании. Помню, что мне особенно скучно было в среду на большом обеде, данном Гончаровым в квартире Языкова. Народу съехалось до 25, и этот вид черных сюртуков, с прибавлением Сол<л>огуба, навел на меня хандру. Евфанов приехал из Сувалок, а Своев из Финляндии, мы обедали вместе и не раз. Оба они, особенно первый, отчасти постарели. Своев одну ночь ночевал у меня, а теперь, вероятно, предается Морфею в объятиях Татьяны Николаевны.

В субботу предпрошлую справляли новоселье у Толстого. Тут был один любезный человек, кавказский герой Кутлер. С ним мы познакомились и сошлись накануне в Шахматном клубе, где я по нездоровью провел лишь часть вечера. Кстати о Шахм<атном> клубе,— он меня потешил на масленой в пятницу. Я забрел туда на минуту вечером и думал уйти скоро, но у нас в газетной комнате невзначай составилась импровизированная беседа и протянулась почти до полночи. Были: я, Языков, Храповицкий, некий молодой Михайлов и ополченный Сабуров, человек весьма дельный и недавно прибывший из Очакова. Потом играли в алагер. Положено сходиться по средам ввечеру и ужинать. Я думаю, эти вечера будут приятны. Григорович has made some slips *. Вчера, однако, обедал он у меня, потом часть вечера сидели у Некрасова. Гр<игорович> был мрачен, но крайне забавен, что в нем редко совмещается.

На днях были у меня Салтыков с Безобразовым — толковали об устройстве нового журнала. Я советовал им приобрести «Библ<иотеку> для чтения». В четверг мы обедаем у Безобразова. Он, кажется, отличный человек.

Граве звал на бал в субботу, но я не был, в субботу же обедал с братьями Евфановыми, вечер же был посвящен чернокнижию. Француженка и новая донна Лиза, похожая на И. А. Шеффер.

---

* сделал несколько промахов *(англ.)*.

Среда, 29 февр<аля>.

Колебания политические еще не пришли к концу. Газеты поторопились объявить мир уже подписанным. Сегодни газеты имели в себе опровержение и, вообще, не сияли отрадным светом.

Вчера не работал ничего. Около 12 часов утра по сильному морозу проехал в кондитерскую Пасети, там позавтракал, встретил В. Жуковского и дождался остальной компании, id est * Григоровича, Панаева, Майкова-отца, Краевского и Боткина. Собравшись, пошли осматривать дом Лазарева и его редкости [493]. Хозяин к нам вышел, угостил нас шоколатом и скоро ушел, к нашему удовольствию. Я еще никогда не видал дома, отделанного лучше и более изобильного хорошими вещами. Особенно милы: лестница, столовая, галлерея картин, salon en boiseries ** и комната перед гостиной, откуда видна лестница. Еще хорош зеленый коридорчик, весь увешанный пастелями и уставленный фарфором. По краткости времени ничто не поразило меня с особенной силой, да и вообще chef d'oeuvr'ов *** очень важных я не видел. При всем изяществе и богатстве, я не вполне доволен и если б был страшно богат, то устроил бы себе дом иначе.

Обедали у Вас<илия> Петровича. Были Толстой, Чернышевский, Бодиско, Анненков, Тургенев и Карпов. Вечер чувствовал утомление.

Вторник, 13 марта.

До этого дни стоит упомянуть о 1) осмотре дворца М<арии> Н<иколаевны> [494], 2) плохом состоянии моего здоровья, 3) приапизме, 4) истории с новой компанией по части «Совр<еменни>ка», 5) обеде у Безобразова, 4 <6>) увеселении с Левицким и другими, 5 <7>) раздаче снимка портретов наших, 6 <8>) отъезде Григоровича, 7 <9>) приезде Своева, его ночлеге у меня и исчезновении, 8 <10>) возвращ<ении> Иславина. Новые лица знакомые: Рюль (его проделки в Шахм<атном> клубе и на вечере у Краевского), графиня Толстая, Энтговен. The governess and my fame **** Безобразова. Ник. Ап. Майков. Кутлер. Шумов. Сабуров. Михайлов.

Деяния Бодиско и Селиванова. Чтение «Обломовщины» [495]. Бури в душе Гончарова.

Вчера был вечер в пользу Горбунова; замысел его, признаюсь с удовольствием, принадлежит мне. Думали было составить подписку в его пользу, но по моему предложению положили устроить вечер, что дало возможность соединить otium cum dignitate ***** (надпись под колпаком нового фасона). Кушелев дал свою залу и 100 рублей, и вообще Горбунов собрал до 800. Компания была отборная. Из дома Кушелева съехались в Шахм<атном> клубе Краевский, Языков, Рюль, Левицкий, Мар-

* то есть *(лат.)*.
** гостиная, отделанная деревом *(франц.)*.
*** шедевров *(франц.)*.
**** Гувернантка и моя репутация *(англ.)*.
***** веселье и достоинство *(лат.)*.

кевич и другие. После алагера и раута было чернокнижие в доме Тулубьева.

У брата Саша болен скарлатиною, но не опасно. Я проведывал его часто.

Среда, 14 м<арта>.

Ночь с понедельника на вторник провел почти без сна, сам не знаю по какой причине: может быть, оттого, что в клубе пил чай чуть не в 11 часов. Однако утро был бодр, как всегда в подобных случаях. До сей поры бессонная ночь меня скорей оживляет, чем туманит. Утром был Н. А. Блок, сидел долго, мешал работать и надоел отчасти.

К семи часам двинулся я в Театральную школу на спектакль, к которому допускаются лишь литераторы и старцы развратного свойства, как то: Дубельт, Потемкин, Бутков, Панаев, Тирсис и т. п. Зала тесна и грязна, стульев всего три ряда,— сзади их воспитанницы, все маленькие. Возле меня села Шуберт, мы беседовали, и я узнал, что она замужем за Яновским. Очень рад ее счастию, хотя Яновский имеет вид ярыги. Были еще Краевский, Гончаров, Жихарев, Бурдень, Петров (распорядитель), Зубров, а из женщин Владимирова, Снеткова, Федорова и т. д. Играли сперва сцены из «Мертвых душ», где Чернышов недурно прочел рассказ Копейкина, потом шла моя пиеса [496], я ее смотрел не с удовольствием. Маленькая Снеткова в роли Женни выказала положительный талант, у нее приятное и умное личико. Букетом вечера был дивертисмент для старцев. Танцовали Муравьева, Радина и маленькие девчоночки смешного вида, в худо натянутом трико и больших башмаках. Зала огласилась рукоплесканиями. Личико Радиной понравилось мне страшно, это одно из лиц в моем вкусе, доброе, ласковое, веселое и возбудительное. Нижняя часть лица напомнила мне Надежду Ивановну Ж<уков>скую. В заключение дня Федоров как начальник школы, пригласил к себе пить чай,— тут я познакомился с его женой, веселой дамой дурного тона, восхищающейся творениями Чернокнижникова. Были еще Потемкин, Сол<л>огуб, Гончаров, Петров, Жихарев. Ужинал у брата.

Пятница, 16 марта.

В четверг ничего не работал, а много ездил. (В среду был раут в Шахматном клубе, но весьма неудачный, не съехалось и 8 человек.) И так с часу по страшному морозу, необыкновенному в теперешнюю пору, проехал на аукцион к Энтговену. Там народу было мало — из знакомых Палацци и Руднев, остальные покупатели имели вид самый неартистический. Хотя бы мне и не следовало тратить денег, имея в виду Москву, Кунцово и отдаленный план поездки в чужие края, но я купил одну картинку фон Остада и одну Кальфа, а сегодни опять поеду торговаться. Портрет школы Фан-Дика, и отличный, пошел за 30 р. с чем-то; жаль было его пропустить,— но всего не купишь. В 7 часов, после обеда был у Ал<ександра> Петр<овича>, где познакомился с одной вдовушкой недурного вида, а потом у Краевского. Там были все свои, человек 12. Иг-

рал в бильярд великолепно,— поразил Гончарова, Бурденя, но сам поражен был Зубровым.

Суббота, 17 м<арта>.

Пятница же была днем хлопот, разъездов, праздности и отчасти нежных ощущений. Не работал ничего, а поехал к Некрасову, устроить по просьбе брата одно денежное дело. Там застал Панаева и Чернышевского, да еще Колбасина, моего летнего сожителя. Общество посещ<ения> бедн<ых> пропекает издателей «Соврем<енника>» за невзнос сумм. Устроив дело, за которым приехал, двинулся на аукцион Энтговена. Там нашел Палацци и Пушкиных-братьев, да еще разное изобилие кулаков. С трепетом торговался на картину Моленера «Зима» и приобрел ее рублей за 30. Обедал дома, ел мало и, оставшись один, не спал. Беда, в ком заведется жилка коллекторства!

<Январь — начало мая 1856 г.> [497]

— Дайте этому человеку все блага мира, но велите ему носить камешек в сапоге.

— Кургузый медведь ловко ускользает из капкана.

— Капкан — pic-nick.

— His stick trembled as it fell on the pavement.

— Brief words of kindness, such as men speak when strongly moved.

— L'amour — c'est une tuile qui vous tombe sur la tête *.

— Революция 1848 года — война 1855 г. Дело, начатое без идей и орудия, и запасов, и генералов.

— Hearts that vibrate deepest pleasure
Shrill the deepest notes of voice **.

— Едучи по столбовой дороге к счастию, не сворачивай для краткости пути на проселки. (Бейль).

— I require some cubical feet of new dens, as the steamboat requires coal ***.

— Герцог Лоран преследовал кого-то — как пытавшегося его уморить со скуки.

— Посуда министра. How many toads were eaten off from these plates ****.

— A fleshimental man *****.

— Общество нашего времени. Комната, в которой воняет лаком, где стучат рабочие. Они не виноваты,— но они мне мешают. Зачем я не жил в этой комнате до их прихода?

---

* Пикник.
Его трость, дрожа, упала на тротуар.
Краткие слова сочувствия, которые говорят глубоко тронутые люди *(англ.)*.
Любовь — черепица, внезапно падающая вам на голову *(франц.)*.

** Сердца, волнуемые глубоким удовольствием, испускают глубокие ноты *(англ.)*.

*** Мне необходимы несколько кубических футов новых притонов, как пароходу необходим уголь *(англ.)*.

**** Сколько жаб было поглощено с этих тарелок *(англ.)* (каламбур: toad eat значит также «подлизоваться»).

***** Чувственный человек *(англ.)* (каламбур).

— The beauty is the lov's gift *.

— Слова Бюлова об Англии. Три недели — думал писать о ней. Три месяца — трудно. Три года — невозможно.

— Сравнение Англии с лесом и с usine **.

— Крушение фрегата «Birnenhead» и полк на фрегате.

— Актеры и актрисы: Каратыгин 2, Григорьев.

— Владимирова и ее мамаша.

— Маленькие девочки — Зайцова, Лядова, Фабр.

— Танцовщики Богданов и Волков.

— Союз в «Современнике» и ожесточенный Андреас [498].

— Здравомысл и Добросерд — Остров<ский> и Толстой, Панаев — *Фривол.* Бодиско — Разврат. Тургенев — Слабосерд. Некрасов — Крутон. Боткин — Зломин. Долгорукий — Милон, Анненков — Себялюб.

— Марья Николаевна и живые картины.

— Живые картины у Струговщикова.

— Приезд петербургских друзей (1854) [499]. Флюс. Вести о Лонгинове. Купальня. Послание.

— Исследования осьминского оврага. Жницы. Древняя церковь. Наташа и девушка, похожая на Полиньку Р.

— Панаев во образе Торквата.

— Конфуз Арапетова. Коварство Анненкова.

— Умиление Тютчева и Кавелина. Пустынка.

— Дивная речь Анненкова в суде. Обещания его насчет приезда. Les airs pénetrés ***.

— Битва — штурм — неблаговидный.

— Ночлег близ зерцала. Вечер со страшными рассказами. Тургенев духовидцом.

— Свинья, лезущая в чужие дела. Толки о Кетчере.

— Чернокнижный роман из истории наполеоновского сенатора.

— *О хлыщеватости женщин.* Великая тема.

— Ссылка Арапетова в Пустынку.

— Физиогномия Маслова при сквернословии.

— Жена, краснеющая за невежество мужа.

— Запивающий помещик. Последняя катастрофа Томсона.

— Чтобы жить в дружбе с людьми, надо не только не соваться в чужие дела, но <не> позволять всякому соваться в свои.

— Сходство между возрастами человека и временами года. *Начало осени.*

— М-в и билеты на шпец-бал. Характеристика дам, устраивающих пикники.

— Отнятые у жильца тюфяки с клопами. Мои статуи и старый Михайлов.

— История хереса и индейки.

---

* Красота есть дар любви *(англ.).*

** заводом *(франц.).*

*** Проникновенный вид *(франц.).*

— Рассказы Натальи Дмитриевны о своем замужестве.

— *Цхра,* род Макао, Авель Ракелыч.

— День с Сатиром и Ст. Струговщиковым. Тоннель Пассажа. Панна Элена. Итальянка.

— Выставка Академии. Скучные вечера Л. Н. А<хматовой>.

— <...>

— Английский лорд М. Дофен.

— Люди похожи на сапоги.

— Момон. Сельский бал в Заливе. Харчевник с папиросой.

— Мадонны Рафаэля. Джемисон.

— В комнатах старого холостяка пахнет мышью, а у старой девы гнилым черносливом.

— О. П. Е <...>ва. Мнение в пансионе. Оля дурна, как смертный грех, зато как умна! Резкие отзывы. Волоса.

— M-lle Henriette. Une bonne, grasse blonde aux bras bruns et au nez retroussé *.

— Отход дилижанса с Григоровичем в Нарве[500]. Задорный немчик в синей фуражке. Знакомство с писателем Скептиковым.

— Сенники. Три ночи на сене.

— Горничная у m-me Тиле, в Нарве.

— Соседские распри в Гверезне.

— Дом Мауне. Семейство Берендса и Кошкарова З. Слухи о Коновницыне.

— M-me Бландова и пьяный офицер-попутчик.

— Кадренные войска в Гдовском уезде.

— Постой старого времени. Соймонов и доктор Виноградов.

— Поездка по нарвскому и ивановскому форштату.

— Разговор с ополченцем гнусного вида, принявшим нас с Гр<игоровичем> за англичан.

— Если попугай тебя обругает, станешь ли ты беситься?

— Отношения журнала и сотрудников. Предполагаемое письмо по поводу рассказа.

— Сходство двух братьев Пал-вых.

— Марианна. Макароны. Любезный Андреас. Le chantonnement **.

— Жизнь левой стороны тела.

— Глупая статья Wey о Гогарте[501]. Филар<ет> Шаль. Его последователи.

— Великое уныние при ничтожной болезни.

— Физиогномия летних дней. Тишь. Жар с ветром. Уныние наводящий ветер, ожидание дождя. *Le midi* ***. Купанье при неожиданном ветре. Овод над водою.

— Купальня из хвороста у Трефорта.

---

* М-ль Генриетта. Добрая и толстая блондинка с смуглыми руками и вздернутым носом *(франц.)*.

** Мурлыкание *(франц.)*.

*** полдень *(франц.)*.

— Купающиеся женщины. Пятигорск, Кисловодск, Дулебино.
— Верочка.
— Коллекция Верне. *Гогарта картины.*
— Самоуверенность француза и особенно француза петербургского.
— Афины по пятницам у А. П. Евф<анова>. Генерал Василий Сергеич.
— Анализ поэтической лихорадки.
— Григорович и буйный поп.
— Консистория. Оправдание старопольского попа.
— Споры о Сол<л>огубе, о товариществе и о кастах.
— Лейб-пферд. Лейб-дядя. Вассер. Придворные физиогномии. Осенняя поездка в Гатчино. Подлая немка и Карель.
— Патриотические чувства С-ских, избранных в ополчение.
— Миловидный хлыщик Грот.
— Клубные лица. Братья Анненковы. Ольхин.
— Уваров. Греч. Бартенев. Обрезков. Авдулин, его кончина. Кондрашка.
— Неистовства прапорщика Михалинского.
— О Тите Поликарпыче.
— Чувства читателя при описании таверн, в романах из средних веков.
— Похождения Михайлова и замысел отъезда в Уфу.
— Смотрины Анны Романовны.
— Московские люди: Феоктистов, Колошин, Лохвицкий. История Соляникова.
— Корректуры после обеда. Обожравшийся <...> Павел Васильевич.
— Спор о военных у А. М. Тургенева.
— Фофа. Une laide qui fera les passions *.
— Умирающая рыба. П<авел> В<асильевич>.
— Циник Варрингтон. «Bluebeard» **. Характер.
— Чего ты хочешь? Истины или того, чтоб твой противник замолчал?
— Страсть к курсиву во Львове и в барышнях.
— Характеристика книжных лавчонок. Промотанная. Вежливая.
— Грубый купец Ратьков. *Нож и нос.*
— Разговор Тургенева с мужиками. Пир в риге.
— Чиновники и вид Уголовной палаты.
— Ополчение и носорог Головнин.
— *Бибиковы, Муравьевы, Челищевы* 1/2 аристокр<аты>.
— Light hairs and black eyes ***.
— Глафира Петровна. Семеновский полк. Дом Меншикова.
— Из тех людей, которых хочется бить по носу.
— Когда встретишь в санях хорошенькую женщину, то внимательно глядишь на следующие сани.

---

* Дурнушка, которая возбуждает страсти *(франц.)*.
** «Синяя борода» *(англ.)*.
*** Светлые волосы и черные глаза *(англ.)*.

— А. И. Граве. Маскарадное знакомство. Визиты. Аферы. Тощая нимфа. Вечера и концерты.

— Обед в честь Анненкова[502]. Закуска. Стихи Языкова. Брудершафт. Speech *. Арапетов. Послание Гончарову:

как некий ярый зверь,
Наклюкамшись на тризне.

— Вечер. Сапоги. Корженевский. Выправление спинного мозга.

— Выборы. La nuit fièvreuse **. Услуга Трефорта. Арсеньич опаснее врага. Избавление.

— Роман Писемского. Годнев. Калинович. Настенька[503].

— Болезнь Тургенева и Васиньки. Жемчужниковы, Толстой, Васильчиков.

— Хлыщеватый, но довольно любезный Стасов.

— Присяга по «Общ<еству> пос<ещения> б<едных>». Блумберг.

— Распри Михайлова и Краевского. Lettre anonyme ***.

— Авдеев. Intervention ****.

— Рассказы Ливенцова о турках. Орбельян и Мухринский. Каре из двух лошадей. Битва в Духанах. Кавказские зуавы.

— Отец и мать Ливенцова. Воспоминания о Кавказе. *Евстифейка* юнкер. История с бар. Вревским, жидовка Сара.

— Свирепства цензора Пейкера. Кризис цензурный. Добрые вести. Подвиги Норова. Ловушка Фрейгангу[504].

— Intérieur Каменского в СПб. и на даче.

— Бильярдные игроки *Пекинской* и *Палкинской* школы.

— Рассказы Горбунова. Квартальный. Фабричные. Памятник Пожарского. Простота часто вредит актеру.

— Улан Гербель. Игорь. Переводы Рахманова. *Вопросы*. Тупоумие. Толстая физиогномия.

— Старик Жихарев. Его наружность и antecedents *****.

— Альбом Данилевского[505]. Потрясать ствол.

— Мей, которому будто сто блох насыпали за воротник. Издание журнала. Штакендендер. Таинственный вид. Новость о Гангуде. Обидчивость.

— *Мокрый* сюртук. *Мухоморовое* платье.

— Chantonnement dans un <...> (<...> japonais) ******.

— Письмо Сергея Григ<орьевича>. Из Севастополя. Его участь.

— Рассказы носорога о своей деревенской жизни.

— О револьверах. Рей доказывает, что Америка все покорит.

— Илинька Р. Юноша, подточенный молью.

---

* Спич *(англ.)*.
** Лихорадочная ночь *(франц.)*.
*** Анонимное письмо *(франц.)*.
**** Вмешательство *(франц.)*.
***** прошлая жизнь *(франц.)*.
****** Пение в <...> (японские <...>) *(франц.)*.

— Великолепное семейство Степановых, Даргомыжский. Делание статуэтки. Патриотизм.

— Вид и характер Пецольта.

— С. И. и К. И. Черняевы. Вечный флюс. Танцы.

— Католическая церковь. Flanerie *. Луиза.

— Квартира Н. С. Г<алиевск>ой. Trappes et cages **. Lise <...> Напрасное ожидание. Глупая баба.

— J'ai l'air d'un filou. Escarpe. Costumes a vil prix. ***.

— Алагерр с пантомимой и танцами.

— Мрачный купец Ратьков. Контора «СПб. ведом<о>стей».

— Поездка на гитаре с моряком Костенковым.

— У Ольхиной. Julie Meissner.

— Чтения романа Писемского[506]. «Плотничья артель»[507]. Хлыщи. Повесть Михайлова[508]. Роман Тургенева[509]. Стервелия Мея[510]. «Запут<анное> дело» Салтыкова[511].

— Чернокнижие у С-ских. Пантикапея[512]. История 1852 года. Вечера и ночи. Мицкевич[513]. Сигаретки. Pantoufles. Je suis Joseph ****[514].

— *Оттепель*. Отрадные слухи. Никитенко. Выговоры Пейкеру и Фрейгангу. Поведение Норова. Ловушка Фрейгангу. Les censeurs s'humanisent *****[515].

— M-me Volkoff et son mari. Ambassadeurs persans ******. Книжный слог. Поэма о будочнике. Череп.

— Амосовы. Ухабы. Что значит *ухаб*.

— Les femmes-humoristes *******. Несравненная Пр. Николаевна.

— Как Надежда Ник<олае>вна смеется.

— Поздние часы обеда и ожесточение. Обеды у Вревской в деревне и в Петербурге. Обеды у М. Хотинского. Обеды Трефорта. Обеды у Панаева. Обеды у Б-га. А<неразб.> у Ольхиной.

— О том, насколько можно быть невежливыми с женщинами.

— Девическая шутка. О Василий![516]

— Тургенев и М<арья> Николаевна[517]. Разочарование. Отречения.

— Маленький Никита. Лягушка вам ничего не сделает.

— В Москве от скуки любят торжественно встречать приезжих и провожать уезжающих.

— Марья Петровна К-ва. Petite blonde aux yeux gris. Quelque chose de nonchalant, d'agaçant et d'etrange ********.

— Полусумасшедший мистик Львов.

---

* бесцельные прогулки *(франц.)*.
** западни и клетки *(франц.)*.
*** У меня вид жулика. Грабитель. Костюмы подешевле *(франц.)*.
**** Туфли. Я Иосиф *(франц.)*.
***** Цензоры становятся гуманнее *(франц.)*.
****** М-м Волкова и ее муж. Персидские послы *(франц.)*.
******* Женщины юмористки *(франц.)*.
******** Маленькая блондинка с серыми глазами. Что-то небрежное, раздражающее и странное *(франц.)*.

— Сашинька-каприз. Исчезновение Розалии Ивановны. Искания. Дворник поляк. Уехали. Дом Миллера, Маллера и Меллера Закомельского.
— Гнусные деяния В. Петрова. Отношения к театру. Раболепство. Airs lamartiniens *.
— Ожесточение на масок, оказывающихся безобразными. Le domino bleu **.
— Atelier Нетельгорста. Портрет Сатира.
— О прозябании растений. *Оно прозябло*[518].
— Анекдот с сестр<ой> милосердия под Севастополем.
— *Конец давящего кошмара. 1855.*
— Печальная Итальянская улица[519].
— Баши-бузук Ливенцов и его семья.
— Номера Михайлова. Рахманова в блеске.
— Удачное сравнение m-me Lagrange с белугой.
— Слухи о жене Му́хортова. Русалка.
— Семейство Писемского. Enfant terrible ***.
— Бегемотство Анненкова. Вечер на лестнице.
— Гавр. Попов. Бард ополчения. Брошюра об утонувших лицеистах[520]. Долги. Непотребства. Стихи.
— Никитенко в гостиной, у ног дам. Иван Карл. Гебгарт. Обед у Струговщикова. Наташенька.
— *Сладко<...> денди.* Раздраженный поэт Ж<емчужни>ков.
— Необыкновенное письмо Соляникова о женитьбе и пр.
— Стасов. Лестница Л. Н. Господа в халате, со свечами.
Женя и Краночка. Petit bibi ****. Вербы. Языков и Гончаров.
— Стасов. Донжуанства Гаевского. Удивления Григоровича. Селадонства Михайлова. Восторги. Панаев и армянка.
— Vomen are worshippers *****. Выбор мужей.
— Совет начинающему: что в твоем сочинении кажется тебе *особенно прекрасным,* то вычеркивай.
— Shunning the church, but not hostile to it.
— Five years of constant punch have passed.
— Hay coloured hair ******.
— Шаркать ногой. As if the legs were bitten by dogs.
— Several rapid bows.
— Your geniuses are somewhat flat and moody at homes *******.
— Повар, игравший на рояле пред составлением *menu.*

---

* Песни в духе Ламартина *(франц.).*
** Голубое домино *(франц.).*
*** ужасное дитя *(франц.).*
**** Маленькая шляпка *(франц.).*
***** Женщины-обожательницы *(англ.).*
****** Избегая церковь, но не будучи враждебным ей. Пять лет постоянного пунша прошли. Волосы цвета сена *(англ.).*
******* Как будто его ноги кусают собаки. Различные быстрые поклоны. Ваши гениальные люди бывают иногда плоски и скучны дома *(англ.).*

— Дружба девиц растет в сутки, как турец<кие> бобы.

— Every house has its skeleton somewhere *.

— Слезы и водяная (Horace). Чем больше плачешь, т<ем> б<олее> плачется.

— Nobody cares about being accused of wickedness.

— A good man, but despising poverty.

— Looking so pale as a lemon-ice **.

— Написал более, чем прочел.

— *О языке и мысли.* Заметка Гольдсмита, приписываемая Талейрану [521].

— *В потускнелой картине не видать промахов, но вычистите ее...*

— Some healed in part,— some never to be cured Wounds.

— Some fall so hard that they rebound again.

— Too pround to be vain ***.

— Многие нелепые юноши делаются красавцами в средн<их> годах.

— Life as tedious as a twice told tale ****.

— Hermite *****, никогда не видавший пера и чернил.

— How agreeable is to be a bad-tempered person ******. Все уступают от робости и лености.

— Ethel the rebellious girl. (Type).

— Didactic countenance *******.

— Il n'y a pas d'adolescents. George Sand sur son père.

— Tout est histoire.

— Les vives emotions nous font une autre santé ********.

— Напрягая слух при волнении, ничего не слышишь.

— Des chartres в записках Ж<орж> С<анд>. Les hommes ne sachant pas par ou ils sont grands.

— Польщенный портрет. Je la prefère à l'huile.

— Est-ce qu'on vient t'arracher une dent?

— Dead men, burst guns of yesterday's battle. (Остатки пира).

— Your confounded hairy face *********.

---

* У каждого дома есть своя мрачная тайна *(англ.)*.

** Никого не волнует обвинение в безнравственности. Хороший, но презирающий бедность человек. Выглядит бледным, как лимонное мороженое *(англ.)*.

*** Раны, частью залеченные, частью неизлечимые. Иногда при падении толчок бывает так силен, что снова подымает упавшего. Слишком горд, чтобы быть тщеславным *(англ.)*.

**** Жизнь скучна, как дважды повторенная сказка *(англ.)*.

***** Отшельник *(англ.)*.

****** Как приятно быть человеком с дурным характером *(англ.)*.

******* Этель мятежная девушка. (Тип). Дидактическое выражение лица *(англ.)*.

******** Нет подростков. Жорж-Санд о своем отце. Все есть <предмет> истории. Сильные страсти изменяют наше здоровье *(франц.)*.

********* Жители <монахи> Шартра *(франц.)*.
Люди не знают, в чем их величие *(франц.)*.
Я предпочитаю ее написанную масляными красками. У тебя вырвали зуб? *(франц.)*.
Мертвые люди, ломайте ружья вчерашней битвы... Ваше проклятое волосатое лицо *(англ.)*.

— Свирепый господин, плешивый с черными бакенами, глядящий на всех, будто говоря: «вы хотите меня подкузьмить, да не удастся».

— Бесконечные улицы, какие видишь во сне.

— Whist-like appearance *.

— Получение письма, неизвестно от кого. Смотрение на адрес. Не лучше ли его вскрыть?

— His heart was born 25 years after his body.

— Captivatung freedom of manner, acquired at billiard-tables.

— Rousseau se fait appeler citoyen, parce qu'il ne peut se faire appeler monseigneur.

— Un homme qui excelle a mettre de l'encre noire sur le drap noir.

— Like cherry in brandy **. (Веселый пьяница).

— Cameleon coat ***.

— Он бледен, зато его нос красен.

— A bottle or two. A bottle or six ****.

— Белки, или, скорей, желтки глаз.

— Large houses and windows like dim eyes.

— Drank himself into a fever and got his head shaved. This agreeable and pleasant history.

— A mysterious power of skimming out of rooms.

— Smoke and rain. No courage to rise, no spirit to pour *****.

— It was to be — as the old lady said, after marrying her foot man.

— The first *gigman* was Phaeton (Carlyle).

— The back is made for the burden. *The burden is made for the back.*

— Gold mountains are a *tomb,* or a *throne* ******.

— Излишество учения. Костер сырых дров.

— Politic is not the life, but the house where our life is led.

— Le type du touriste admiratif.

— Impartialité nationale. Nonchalance, paresse, manque de patriotisme *******. Мысль Дрентельна.

---

* Вид (игрока в) вист *(англ.).*
Его сердце родилось на 25 лет позже его тела. Пленительная свобода манер, приобретенная около бильярдов *(англ.).*
Руссо велит называть себя гражданином, так как он не может заставить называть себя господином. Человек, превосходно умеющий писать черными чернилами на черном сукне *(франц.).*

** Подобно вишне в водке *(англ.).*

*** Хамелеон *(англ.).*

**** Бутылку или две. Бутылку или шесть *(англ.).*

***** Большие дома с окнами, похожими на тусклые глаза. Допился до горячки и до бритья головы. Эта приятная и милая история. Мистическая способность ускользать из комнат. Дым и дождь. Нет силы, чтобы вознестись, нет духа, чтобы низвергнуться *(англ.).*

****** Так должно было быть,— как говорила старая леди, выйдя замуж за своего лакея. Первым гонщиком был Фаэтон (Карлейль). Спина сделана для ноши. Ноша сделана для спины. Золотые горы <золото> или могила, или трон *(англ.).*
Политика — не жизнь, но дом, где проходит наша жизнь *(англ.).*

******* Тип восхищающегося туриста. Национальная беспристрастность. Небрежность, лень, недостаток патриотизма *(франц.).*

— Критик, пахнущий клопами. Злоба. Походка. Золотые очки. Пищание. Презрение ко всему. Зол, да не силен. Толчки.

— Кто во многом нуждается, тот многое знает.

— *Сила сказывается не при спазме, но при несении ноши.*

— Симпатия к людям. Брань есть знак симпатии.

— Steam-engine would not be insulted. Philosopher and his wife.

— Pilgrim to the shrine with no saint of all.

— The first product of love is imitation *.

— Печальный кирпичный дом. Окна с корнишами [522].

— Великолепные заметки Тург<енева> об экспатриации. Жизнь Бакунина и Герцена. Нельзя отрываться от своей земли [523].

— Алексей-Парк при начале зимы, без зелени. Дом Кислицына. Луна над Мраморным дворцом [524]. Переезд по Неве.

— Сладковидный хлыщик Грот. Похоронная процессия. Маршалы Мухортов и Струговщиков. Умные остроты Гавр. Попова.

— Подаренный череп. Семейство Волковых. Поэма о будочнике.

— Варвара Владимировна, Сатир и полк<овник> Титов. Характер Сатира портится.

— Кат. Степ. Шах, Глафира Петровна, ее intérieur. Саша Жукова. Трансы. «Спасен сей муж в плаще».

— Bleak summer days ** в Петербурге.

— Альбертина. Маленькая блондинка.

— M-lles Gogol. Воспоминания о Кавказе.

— Высечь Б. по физиогномии.

— Кондитерская Посети 20 апреля. La crapule hideuse comme remède aux maux de l'âme ***.

— Долгая злоба. Ямб:

«Как смрадный лист и — бумаги и пр.».

— Proverbe **** С. В. Энгельгарт. План кровавой статьи об искренности в критике [525]. Ненависть, возбужденная пахнущим клопами.

— Хорошенькая девушка на мосту и немец.

— Приют в доме Кушелева. Две Саши. Волкова.

Что такое *черный* дом в Петербурге.

— Маленькие гниющие печенки. Злоба Григоровича на Чернышевского. Пародии.

— Ма́шина spelling book *****. 476 издание.

— Новый поп Иван и его неистовые подвиги. Величавый вид.

— Переметные суммы из числа людей и соседей.

— Ополчение. Хрущов. В. Арсеньич. Каратеев. Ротный командир у

---

* Не нужно обижать паровую машину. Философ и его жена.
Паломник к святилищу, в котором совсем нет святыни.
Первый результат любви — подражание *(англ.)*.

** Хмурые летние дни *(англ.)*.

*** Отвратительное беспутство, как лекарство от душевной боли *(франц.)*.

**** Пословица *(франц.)*.

***** грамматика *(англ.)*.

Тургенева. Молодой Кошкаров. Берендс. Литвинов. Денди в Нарве на кровных лошадях. Гдовцы и ямбургцы.

— Подьячие, способные украсть платок (Лук. Ив.).

— Юноша, похожий на стерлядку.

— М. Н. Толстая. Нос, запачканный смолою, во время водяного путешествия. Барон Дельвиг.

— Застрельщик должен стрелять в ближайшего врага.

— Есть что-то безумное в признаниях лучшего немца. Виолончель и темные глаза. Беттина. Мужское платье. В. Мейстер. Лили. «Dichtung und Wahrheit» <Гёте>. Жизнь Вернера. Письма Гейне.

— Характер графа Торина в записках Гёте, француз и немцы.

— Гете и его сестра, читающие «Мессиаду» за печкой [526].

— Marmier et Chasles. Deux misérables qui prennent leur propre impotence pour la caducité du Monde *.

— Идея философской биографии императора Николая I.

1 июля, воскресенье.

Вчера приехал в Мариинское к ночи, под дождем и грязью. Сегодни стоит великолепный летний день. Более 2-х месяцев не вел я своего дневника. Много вещей произошло в эти два месяца. Горизонт мой недурен. Сегодни устроился во флигеле и сидел за статьею о Штейне [527] для *своего* журнала [528]. Работе помешал Трефорт, приехавший с сестрою. Впрочем, это лучше, чем в другой день,— пока я написал только один лист и разработаться не успел. Завтра пойдет работа бешеная, по моему летнему обыкновению. Завтра же буду набрасывать resumé моих двух месяцев. В эти два месяца, благодарение богу, судьба меня лелеяла.

<2 июля>.

Поездка в Москву, Кунцово, СПб. и Марьинское.

8 мая. Отъезд. Хлопоты с аттестатом [529]. Накануне в канцелярии В<оенного> м<инистерства>. Выезжаю. День ясный, но зелени мало. Страх опоздать. Купил у Клюзеля рассказы Гило, как оказалось в вагоне, глупые. Станция. Огромный поезд, медленная выдача билетов. Григорий приехал на дебаркадер. В нашем первом вагоне хорошеньких женщин одна — девочка лет 15. Я занял место на диване, в углу. Соседи — Гринев, адъютант, какой-то хлыщик, едущий в Константинополь, артиллерист из болгар или сербов. Ополченный Аксаков. M-me Смирнова, похожая на сводню, ее семья. Дорога идет ни скучно, ни весело, ем много и обед не худ. Одна станция убрана цветами. Ночью сплю несколько часов.

9 мая. Все мои вещи со мной, оттого при выходе о чемоданах не хлопочу. Нанимаю извощика — и к Васиньке. День ясный и хороший, Мо-

---

* Мармье и Шаль. Двое несчастных, принимающие свое собственное бессилие за дряхлость мира *(франц.)*.

сква красива и бела. Васинька уже на даче, но будет к обеду. У него гостит Ребиндер Ник. Ром. По случаю именин Ребиндера у него обед. Является Васинька, Бодиско, Зиновьич, Петр Петрович Боткин. Беседа идет отличная, обед превосходен, но среди обеда я чувствую себя худо. Принимаю капли и кончаю обед. К вечеру все проходит. Едем на какой-то бульвар. Бодиско, сводня и юная особа неприятного вида.

10 мая. Езда по Москве, большею частью по пустым квартирам. Шеремет<евская> больница и сад. M-me Карнович, Корниловы. У Софьи Владимировны. У Галахова. У Ростопчиной. Обедаю дома. После обеда собрание у В. П. Бодиско, Ребиндер и еще кто-то. Мне отпущена гнусная коляска за 5 р. с<еребром>. Это предчувствие коронации [530].

11 мая. И солнце, и дождь, но дождь преобладает. По счастию, я в карете. У Каткова. Кабинет «Русского вестника». Толки и известия. В Сокольники. Дача Корша в готическом вкусе. Прогулка с Софьей Карловной. Дети. Кудрявцев и его жена. Вечер дома. Прощание с Бодиско. Милейший американец [531] дивит нас своим детством. Он хочет ехать в дорогу без шинели, за 8 000 верст, коли не далее.

12 мая. Прощание с Ребиндером. Зиновьич. Обед у Петра Петровича. Странные письма от Тургенева. Пишем к Григоровичу. Шлем записки к Григорьеву и Селиванову (в стихах). Едем в Кунцово. Дорогомиловский мост. Воспоминания о Козлове. Бойня. Луга и окрестности. Кунцово. Наша дача [532].

13 мая. Утренняя прогулка, при которой я чуть не заблудился. Вид окрестности. При всей красоте своей Кунцово как место меня мало пленяет. Повар Филипп и его искусство. Вечерние беседы и чтение. Карлейль. «История» Маколея [533], разные обозрения.

14 мая. Начинается плохая погода, но на даче всегда бывают свободные часы для гулянья. Девочка — Агаша. Убранство балкона. Садовники. Дом *Сергия.* Соседи: греки, девушка с темными волосами, зачесанными назад, Вогау, нас посетивший. Вечерние беседы о старой критике, о значении поэзии, о поэтических ощущениях юности. Мои рассказы о первых моих литературных подвигах. Комары.

16 мая. Приход Григорьева. Беседы. Чтение «Короля Лира». Толки о «Библиотеке <для чтения>». Мы провожаем Григоровича до Мазилова и далее. Славянский костюм и речи о славянах.

17 мая. Чтение, окончательная обделка «Лира». Мысли об этюдах из истории Маколея. Обед и спанье, завернувшись в шинель. Поездка в Москву. Остановка *около Большого театра.* Чернокнижие. Моя прошлогодняя приятельница, Юлия.

18 мая. Краткое гулянье по Москве, завтрак у Мореля. Страшный дождь и выжидание под воротами. Покупка гнусных сигар, рубашек, запонок. Картины на Кузнецком мосту. Василий Петрович и его экзамен в училище, коего он директор [534]. Пешеходное странствие к Селиванову. Бульвары. Цепная собака. Предупредительность домовладельца, предостерегающего меня от собаки. Розовый дом. Великое чернокнижие и новые донны. Разврат и раскаяние Василия Петровича. Вечер у Григорьева. Дрианский, Стахович, Хомяков, Вердеревский, Железнов.

19 мая. Обратная поездка в Кунцово. Декокт. Оханье Василия Петровича. Чтения и начало занятий. «Король Лир». Русская критика гоголевского периода [535]. Журнальные статьи. «Князь Луповицкий» [536]. «Русская беседа». «Athenaeum». Переписка Сент Арно. Сидней Смит. Разбор «Признаний Санда». Обедает у нас Иван Петрович Корнилов и привозит мне аттестат. На даче холодно.

20 мая, 21 и 22, наудачу. Продолжение дачной жизни. Появление Толстого на нашем горизонте [537]. Гуляния около прудов. Великолепие вечера у маленького пруда. Строится купальня. Рассказы Толстого о Петербурге. Его планы. Григорьев ночует у нас. *Культ народной сущности* [538]. Религиозные стихи. Он читает нам «Сон в летнюю ночь» [539].

23 мая. Едем в Москву читать «Лира». Вечер у Григорьева. Садовский, Хомяков, Филиппов, Шаповалов, вся «Русская беседа». Стахович читает свои стихи и свою драму [540]. Я приобретаю драму для «Библ<иотеки для чтения>», равно и повесть Дрианского [541]. Вообще, в славянах вижу я подмогу и радушие. Чтение «Лира», эффект, им произведенный. Возвращение. Кремль. Лампа у Спасских ворот.

24 мая. Зиновьич и китайские вазы. Шатанье по Москве. Обед у Петра Петровича, его супруга, свояченица Лизавета Васильевна, напоминающая madame Н. Возвращение на дачу. Толстой опять на нашем горизонте. Великая бутыль померанцовой водки.

> **И оставляя «Современник»,**
> **Подписчик обратился вспять.**

Любуемся картинами природы. Рассказы Толстого о Троицкой лавре [542]: *батюшка, старец* и т. д. Толстой, начинающий влюбляться [543]. Прощание.

25 мая. Кажется, праздник. Кунцовская вода производит худое действие. В<асилий> П<етрович> все пьет декокт. Обедает у нас какой-то чиновник с сыном, особа не занимательная. Во время гулянья видим Буслаева с дамами гнусного вида. Отправляемся гулять. Видим сцены гулянья в Кунцове,— самовары, дам под деревьями. Одна компания нас привлекает. Две резвые девушки. Катя, моя будущая приятельница.

26 мая. Чтение. Письма от своих, от Анненкова и Панаева и Григоровича. Он хочет быть ко 2 июню. Во время гулянья встречаю студентика с письмом от Софьи Владимировны. Статья химического содержания. Оставляем юношу обедать. Имя его Розенблат, он неглупый малый, любитель дам. Жил долго за границей. Говорим о Германии. Вечером Василий Петрович объясняет мне отрывки из Гегеля. Наши беседы принимают прошлогодний афинский колорит.

27 мая. Тружусь над «Лиром». Обедать, кажется, приходит Григорьев, а может быть, и нет. Действительно он приходит вечером и сообщает мне о результате «Лира» и о том, что Хомяков меня очень любит. Я очень рад. Мы оставляем Григорьева ночевать, но он не остается. Приглашает меня по монастырям и соборам, я отклоняю предложение. Переговоры о «Биб<лиотеке> для чтения». По случаю Монталамбера

речи об Англии, дидактике, просвещении и пр. Вас<илий> Петр<ович> намеревается издать мои этюды об английской словесности.

28 мая. Едем в Москву после утреннего гулянья. Солнце и любовь В<асилия> Петр<овича> к солнцу. Гоголь, Кольцов, Пушкин, русская триада. Поклонная гора. Гостиный двор и бедственные остановки у Гостиного двора. Я иду пешком. Обед дома и сон. Вечернее чернокнижие. Мои кунцовские знакомки. Мои восторги. Позднее возвращение. Боткин думает, что меня убили, я поведываю ему мои приключения. Утром «Лир» кончен.

29 мая. Спать нехорошо в круглой гостиной, на огромной подушке. Путешествие по Москве. Я совершенно веду себя свиньей относительно всех знакомых, не захожу ни к кому. Покупаю зрительную трубку и заказываю платье. Едем в Кунцово мимо Красной церкви. Фили. Дачи. Чудная ночь.

30 мая. Начинается небольшой ряд теплых дней. Но их портит одно — великое расстройство моего желудка, доводящее меня до исступления. У нас обедает Розенблат. Гулянье, разговоры о доннах, о московской литературе и проч. Вечером являются Григорьев и Эдельсон. Глубокомысленные беседы и водка. Сила воли. Деизм, атеизм и православие [544]. *«Нюхание высокого».* Славяне у нас ночуют. Гулянье. Проклятое место.

31 мая. Утром они уходят домой. Я набрасываю листки «О критике гоголева периода» и «Этюд» к «Лиру» [545]. Боткин меня поощряет. Письма из-за границы его брата Владимира и другого, доктора [546]. Жизнь в Вирцбурге. Я читаю «Sartor Resartus» [547]. Желудок в бедственном состоянии. Гулянье. Стрелковый офицер. Гусарево.

1 июня. Начинаю помышлять об отъезде. Предчувствие о том, что Григорович надует. Способ лечения солнцем. Гулянье по аллее из крошечных кленов, без тени. Его результат. Диэта. Воробьи за обедом. Читаю Жоржа Санда и Сент Арно в «Атенеуме».

2 июня. Григорович не является. Происходит какая-то путаница в числах. Является Розенблат, и я возвращаю ему рукопись. Носятся слухи о музыке в Кунцово. Подписка. Удивительные вечера и ночи.

3 июня. Опять в Москву. В<асилий> П<етрович> кончает декокт и светлеет духом. Толки о Кенте, Лире, Корделии и прочая. Приезд. Обедаем дома, я надеваю летнее серое облачение. После сна в Леонтьевский переулок [548]. Дом Крюкова. Катерина Николаевна. Маша. Алена. Питье чая. Странствование пешком и чернокнижие. Вечером Селиванов.

4 июня. Утром пишу характеристику «Лира». Обедает у нас милейший чудак Селиванов. *Альвина.* Беседа за обедом. Ужасное <...> после обеда. Рассказы о доннах. У меня страшно заболевает зуб. Несмотря на то, еду к Григорьеву, по условию. Жена Григорьева, Эдельсон, еще господин, коего я забыл фамилию. Мне показывают Москву чернокнижную. Иван Васильевич, цыган [549], Дрианский. Купец Матвей. Погребки. Поездка в Пегов трактир [550]. Шуты. Перлов. Князь Трубецкой.

5 июня. Досада на Григоровича. После вчерашней зубной боли чувствую себя слабым. Большая прогулка. Покупка телескопа. Московский Пассаж. Бедный извощик. Крутизны у Большого театра. Василий Петрович на экзамене. Вечером хочу ехать один в Кунцово и нанимаю *шармантку.* Но приходит хозяин и после довольно долгих сборов едем вместе. Чудная ночь. Сильный запах цветов. Не спим долго.

6 июня. Обычные утренние занятия. «Лир» и «Критика» сильно подвигаются, а я вследствие того становлюсь спокойнее. Тонкие обеды, пулярки на вертеле, малага,— но при всем том некоторая осторожность. Уединенные гулянья по липовой роще. Беседка, надписи, прейскурант. Валентин Корш и Феоктистов. Сплетни Феоктистова на мой счет, раскрытые Григорьевым.

7 июня. Отчаявшись в Григоровиче, помышляю об отъезде на 11-е. Письмо от Панаева. Вечернее сиденье на гульбище. Картины Московской веселости. Самоварницы. Девочки с цветами. Мальчишки с хлопушками. Беседы с В<асилием> П<етровичем> о пантеизме, материализме и т. д. Его речи о моем значении и влиянии в нашем литературном круге. Приходят Железнов и Дрианский. Их вид и речи. Чтение «Паныча» [551]. Прогулки к стороне Гусарева. Рассказы о киргизских делах. Мои переговоры с Дрианским. Рассказы о малороссийских поверьях. Впечатление после «Паныча».

8 июня. Музыка в Кунцове. Приготовления к ней. Я брожу около дома, где обитает Сергий. На днях получены письма от Печаткина и Потехина. Выспавшись, идем на музыку. Знакомство с греками. Разговоры. Музыка оказывается слабою, но все она не лишняя.

9 или 10 июня, а может быть, оба вместе. Приезд Григоровича. Общая веселость. Рассказы. Открытие купальни. Прогулки. Колоссальный обед. Приапические разговоры. Вследствие их поездка в Москву на лошадях хозяина. Леонтьевский переулок и чернокнижие. Поля. Цыганские песни. Последнее свидание с моей нимфой. К ночи на тех же лошадях опять в Кунцово.

11 июня. День посвящается сельским радостям. Один из светлейших дней. Питие шоколада. Приходит рыба в подарок от Солодовникова. Рассказы о вчерашнем дне. Гулянье. Сижу за статьей о Толстом[552] и вижу вдруг будто из-под земли выросшего Соляникова, в сереньком покупном пальтишке. Наследство. Фантастическая тетка на необитаемом острове. Споры о Каткове. Антагонизм Григоровича и Соляникова. Некоторая шаткость Василия Петровича. Прогулка с Сол<яниковым>. Статья «О женщине». Рассказы о Софье Ал<ексее>вне и сестре ее Иде. Обед пантагрюелистический. Перед обедом купанье. Тревога нашего гостя о том, как ехать в Москву. Его увозят на телеге.

12 июня. Работа не идет. Гуляем, наблюдаем гречанок и т. д. Василий Петрович получает известие о назначении его заседателем. Гнев. Отъезд его в Москву. Мы остаемся с Григоровичем, обедаем без него и едем на другой день.

13 июня, после обеда, в Москву, на телеге. Прощаясь с Кунцовым, я испытываю грустное чувство. Жаль этого угла. Всю дорогу нам грозит

дождь, но до заставы доезжаем благополучно и там берем извощика. Странствование вечером. Москва вечером. У Василия Петр<овича> находим Селиванова. Дело о заседательстве улаживается. Рассказы Селиванова об уголовных делах. Две сестры: убийство. На завтра имеет быть большой обед, перед прощаньем.

14 июня. Последний день в Москве. Григорович едет в пансион, за дочерью. Я брожу по Москве с В<асилием> П<етровичем>. Покупка несессера, магазины, стрижка волос. У Пикулина. Дом и сад Пикулина. Я обещаю ему статью [553]. На квартире находим Селиванова, Григорьева, Григоровича и Машу, которая похорошела. Узнаем, что Островский в Москве и сейчас приедет. Появление Островского. Рассказы. Осташков. Новый № «Современника». Безобразие по поводу Филиппова. Протесты [554]. Игра в бильярд. Я читаю одну из характеристик «Лира». Соляников. Гости уходят. Мы трое идем гулять. Леонтьевский переулок. Кати нет дома. Вечер. Кремлевский сад. Пожар в Замоскворечьи. Вид с террасы. Ужин в Троицком трактире. Сладко-меланхолическое наше настроение.

15 июня. Подымаюсь ранехонько. Григорович подумал в 4 часа, что пора на машину, и произвел тревогу. Он уезжает. Сборы. Последняя беседа с хозяином. Степан меня торопит. Trauende Augen *. Отъезд. Вскачь до станции железной дороги. Остановка, однако приезжаю во время. Конногвардеец Стремоухов. Соляникова нет. Садимся. Мои соседи. Генерал Смецкой. Теодольф Иванович. Американец Стон и его жена. Откупщик Кузин. Ненастье. Хорошеньких дам вовсе нет. Кузин производит скандалы и чуть не падает на дорогу. Я читаю записки Гримма, купленные накануне. На Бологовской станции встречаем Дудышкина. Сплю, но очень мало. Огромный ночной скандал с Кузиным. Его выводят.

16 июня. Утро довольно хорошее. Я лечу пассажиров каплями. Полевой. Бедный старый генерал. Генерал Рындин. Еще Кузин, но уже спящий. Приезд в Петербург. Жерард меня довозит в своей коляске. Сплю и еду на дачу к брату. Все благополучно. Маленькая Саша. Общий вид и характер дачи. Гости, Мердер с женой, князь Волконский. Григорий Григорьич. Уезжаю без ужина по причине утомления на дрожках брата. Белая, холодная, фантастическая петербургская ночь с ветром.

26 августа.

Прерываю на время этот отчет, чтоб рассказать о вечере вчерашнего дни, вечере безо всяких внешних событий, но оставившем глубокий след в моей памяти. Вообще осень, как я это уже замечал в дневнике прошлых годов, есть для меня время силы и живых поэтических ощущений. К радости моей, ее влияние не слабеет, а растет с годами. У нас после долгого ненастья пошли светлые дни, зелень свежа, воздух пахуч и приятен. Вчера, в $6\frac{1}{2}$ часов, проводив Эллиота и Трефорта, обедавших у меня,

---

* Доверчивые глаза *(нем.)*.

я вышел гулять один, по дороге в Заянье. Солнце садилось великолепно, окна изб горели в искорках, чисто русская красота местности поразила меня так, как еще никогда не поражала. Я понял, какой нерушимой связью привязан я к своему углу, к своей родной земле, к месту, где свершилось мое развитие, с добром и злом. Выразить спокойного, радостного, благодарственного состояния моего духа в эти минуты я не берусь. Я стоял на одном месте, глядел в одну сторону, чувствовал слезы на глазах и всею душой возносился к той неведомой силе, которая не покидала меня никогда до сего времени. Я радовался тому, что могу глядеть зорким глазом и жить, и наслаждаться, и порываться к свету так, как это возможно лишь в первой юности. А я далеко не юноша, великая часть моей жизни прошла — отрадно думать, что (при всем зле и всех пороках) небесплодно. Я мог веселиться духом, как путник, легко и приятно совершивший великую половину дороги. Но всего не перескажешь, что я чувствовал, в особенности не передашь того, к чему дух мой стремился смутно. Я молился о *силе* и *свете* и радостно изготовлял себя на новый путь, на новые соприкосновения с жизнью. Давно в душе моей не было так светло и радостно.

К ночи крайняя чуткость моих нервов сказалась в другом, пустом и забавном явлении. Глупая повесть Эдгара По «House of Usher» * нагнала на меня великий ужас, такой ужас, какого я давно не испытывал. Надо однако признаться, что талант этого писателя, при всей его узкости и уродливости,— громаден.

Были у меня в этом месяце еще светлейшие дни,— и опять светлые без причин. 10, 11, 12 и, кажется, 13 августа я ночевал у Мейера, в непогоду и ненастье. Были собеседники, нехитрые, но занимательные. В эти дни у меня были часы ребяческого настроения.

<29 августа.>

Теперь опять можно вернуться к поездке и заключить ее немногими словами, что необходимо, потому что за разными делами ее краткой истории я не могу кончить в два месяца времени. В Петер<бурге> я нашел дела редакции не в дурном положении, был у Майкова на Кушелевке, там прочел Гончарову и Печаткину проект объявления [555], обедал и был на музыке в Тиволи [556], где, между прочим, видел Баумгартена и Очкина. Было несколько хороших дней,— невзирая на то, что погода была подлая, я немного страдал от нее, ибо нанимал карету. Вообще довольно денег просадил я на разъезды и увеселения, на дачу ездил всякий день и гулял под сению Излера в зимнем пальто. Из донн<...> я двух старых: Жукову и дурняшку, новых искать было некогда. Видался всего чаще с семейством брата, Евфановым и людьми по редакции «Библиотеки». Проводил Фета за границу, он мне дал стихов, и Некрасов тоже [557]. Видел Стремоухова в Петербурге, на пороге Минеральных вод сошелся с Альбединским и Шуваловым, на самых водах зрел Гор-

---

* «Дом Эшеров» *(англ.)*.

бунова, Жуковских В. и И., Долгорукова и «tutti quanti» *. Обедал на даче у Каменского сладчайшим образом, водил его Вариньку гулять по Аптекарскому саду [558]. Имел свидание с Сенковским в его городском саду и любовался на его горничную. Крестил маленькую Сашу и пил шампанское в изобилии. Наконец, наскучив тасканьем, уехал в Нарву, на пути не было ни хороших соседей, ни приключений. В Нарве не нашел своих лошадей и испугался, по моей мнительности, не случилось ли чего дома. Нанял телеграф и вскачь до Мейера. Там дело разъяснилось,— почта доставила письма не в Поля, а в Ополье. Довольный всем и всеми, снова попавши в уголок, где мне рады и где живется легко, я переночевал сладко, пообедал у Трефорта и 30 июня к ночи был дома, где нахожусь и теперь, 29-го августа.

Пятница, 19 окт<ября>.

Произведен был сейчас окончательный обзор новой квартиры [559], ибо мы решительно переезжаем во вторник. Я доволен так, как генерал, командующий полком, после удачного смотра. Николай Иванович оказался услужливейшим и милейшим хозяином, а матушка довольна квартирою больше, чем я когда-либо мог предположить. Кабинет мой — загляденье, только обои темноваты. Вся хозяйственная часть устроена отлично. Под влиянием самого приятного чувства остались мы оба. Вчера *иногюриваны* [560] вечера у Андреаса. Там был Пецольд (вернувшийся из-за границы и похожий на Роберта Блума), Гончаров, Горбунов, Ман, Петров, Дудышкин и фон Видерт. Ужинали, играли в бильярд и болтали весьма весело.

Среда, 31 окт<ября>.

Наконец, ровно неделю тому назад, я перебрался на новую квартиру и теперь сижу в моем кабинете, из которого только вчера вынесли чугунную печку. Во многих отношениях я еще пребываю в Содоме и Гоморе, отчасти оттого, что мой хозяин, при его любезных качествах, не очень деятелен, отчасти и оттого, что мои домочадцы бестолковы. При переезде происходили ужасы, неудовольствия, претензии, потом, когда все гости стали восхищаться квартирой, это пропало. Вообще, у моего хвоста нет ни умения прилаживаться к обстоятельствам, ни терпимости, ни терпения, ни опытности, а так как во всей семье много старых людей, привыкших к рутине, то иногда их взгляды и деяния ужасны. Я по возможности стараюсь удалять себя от дрязг, и это мне удается. Нескоро еще муравейник, навязанный на меня велением судеб, совершенно успокоится.

Вчера был обед у Панаева, с питием за мое здоровье и чувствительными речами. Видел там Анненкова, Языкова и Бекетова, сообщавшего любопытные новости по своему ведомству [561]. Потом был у Тургенева, потом у брата, где Сталь (или так называемый *обол*) лгал без милосердия. Уехал без ужина, с небольшой головной болью.

---

* всех *(итал.)*.

Пятница, 9 ноября.

В субботу вечером, в счастливый день, вышла первая книжка «Библ<иотеки>» под моей редакцией, состав ее недурен, хотя мог бы быть лучше, но контраст ее с прежними книгами так велик, что, кажется, впечатление, ею произведенное, принадлежит к самым благоприятным. В то же время явился «Современник» с похвальной речью и фимиамом, который был мне крайне приятен,— в виде аттестата за мою почти десятилетнюю службу [562].

Квартира моя украсилась, обогатилась мебелью и имеет, в особенности кабинет, вид в высшей степени благообразный. Остается повесить драпри и расставить драгоценности. Последним делом я занимался все сегодняшнее утро и хотя устал, но еще не дошел до старого серебра и фарфора. Приехал Толстой, к великой моей радости, и мы с ним были два дня почти неразлучно.

Вот очерк хлопотливого, но разнообразного вчерашнего дня. Встал около 10, немного поработал над разбором Некрасова [563]. Явились Толстой, потом Полонский, потом Гончаров, с извинением от гр. Кушелева, намеревавшегося быть у меня в тот день, для толков о своем новом предприятии [564]. Потом с Ив<аном> Ал<ександровичем>к Кушелеву. Потом в гостин<ицу> Клея, обедали втроем. После обеда явились Панаев и милейший генерал Ковалевский. Потом я, Толстой и Ковал<евский> были у Краевского,— там я много говорил с Галаховым и Жихаревым.

Среда, 14 ноября.

Вчера получил первую половину корректур «Лира». Его же в прошлую субботу читали и единогласно приняли (с подобающей славой) в Театральном комитете [565]. В понедельник я был в русском театре и приглядывался к актерам, но кроме Мартынова в «Незнакомых знакомцах» [566] глядеть было не на кого. Вчера я, Гончаров, Анненков, Льховский и Кроль обедали у Кушелева. Говорили о его издании, а я высказал свою мысль о literary fund * [567]. Кто знает, может быть этой мысли еще суждена большая будущность.

Кушелев оказался гораздо дельнее, чем я думал после первого свидания. Ночью вдруг на меня напала дрожь, так что я перепугался. К утру явилась испарина. Но теперь здоров.

«Библиотека», как кажется, начинает производить порядочный шум, особенно в кругах, прикосновенных к артистической жизни.

Пятница, 23 нояб<ря>.

Квартира моя приходит в порядок, вчера привешены занавеси, что отняло у меня много света. Во вторник происходил у меня небольшой фестень [568], на который с небывалой исправностью съехалась почти вся наша петербургская литература.

---

* Литературном фонде *(англ.)*.

Вторник, 18 декабря.

Что происходило в этот обширный интервал времени — скрыто непроницаемым туманом, по неимению времени на дневник. А это жалко, потому что было бы о чем писать. Выход декабрьской книжки, успех моего журнала, «Лир» и отзывы о «Лире», планы заграничной поездки, дела по цензуре, вечера у Щербатова, новые знакомства и предприятия,— все это, сливаясь в одно запутанное целое, весьма разнообразит мою жизнь. Наш литературный cénacle *, вопреки всем ожиданиям, не потерпел нисколько от отъезда некоторых товарищей и отделения «Библиотеки» от «Совр<еменни>ка». Боткин, Анненков, я и Толстой составляем зерно союза, к которому примыкают Панаев, Майковы, Писемский, Гончаров и т. д. Разные новые лица к нам присовокупляются и придают разнообразие беседам.

Жизнь моя идет празднее, чем когда-либо, хотя знакомые изумляются моей деятельности. Опять я принялся вставать около одиннадцати, а иногда находящая на меня бессонница часто делает меня вялым. Утро все почти проходит в приеме сотрудников и гостей, в мелкой журнальной работе, выправке статей и так далее. Писем я получаю много, и пусть хоть они заменяют собою мой несчастный дневник. Вчера обедали у меня Корсакова с мужем, а вечером я читал «Лира» у Ольги Алекс<андровны>. Потом я, Толстой, Анненков и Полонский ужинали у Вольфа, причем Толстой не только сам по себе ел ужасно, но съел все остатки с чужих тарелок, при общем изумлении.

Среда, 19 декаб<ря>.

Вчера был на двух вечерах — у Толстого с Боткиным, Анненковым, Ал. Толстым, Столыпиным, Панаевым и Жемчужниковым,— и у брата, где собрался весь Преображенский полк, с дамами. М-me Васильчикова очень мила, но я все сидел около Софьи Александровны и с ней не сошелся. Ужин был удачен и великолепен. А граф Клейнмихель, ужинавший напротив меня, на утро был найден мертвым в постели. Все остальные гости живы и чувствуют себя превосходно, что снимает с хозяина всякое нарекание.

Ермил и Стахович затевают великолепный спектакль [569]. Я говорил о том Гадону и преобр<аженцу> Ушакову.

Пятница, 21 декабря.

Одна из живых и хороших сторон, не заглохших и не погибших во мне, есть чувство благодарности и теплоты душевной. Ни одна радость не пропускается мною без помысла о причине, ее пославшей, о людях, ее причинивших, о Великой незнаемой мною Силе, ведущей меня к пользе и доброй деятельности и добрым наслаждениям жизнью. Благодарю тебя, таинственная и могучая Причина светлых минут моего существования, к которой посреди скептицизма и мрака взывал я во все тяжелые кризисы, у которой наперекор светской ветрености просил я благослове-

* союз *(франц.)*.

ния при всех моих начинаниях. За честную и широкую деятельность, раскрывающуюся передо мною, за преданных друзей, за сохранение существ, близких моему сердцу, за мимолетные радости, так великие на весах жизни, за преданных друзей и товарищей, за труд и за известность, им данную,— из глубины души благодарю моего бога и руководителя. Пусть он даст мне новых сил на новое служение идеям Добра и Красоты, пусть он навеки поддержит во мне и жизнь, и мысль, и уменье благодарить его за все и про все.

31 декабря, 11 часов вечера.

Год оканчивается. Священник ушел, брат с женой и Майковы, бывшие при богослужении, разошлись тоже. Как всегда за все эти годы, провожаю я истекший год за своим письменным бюро, при двух нагоревших свечах. Несмотря на все заботы последних чисел и безалаберность дневника, меня тянет поговорить с самим собою.

Для многих был счастлив этот 56 год, хотя и високосный. И для меня он был счастливым, весьма счастливым годом. Ни одного серьезного недуга, ни одного большого огорчения не произошло со мною. Твердая и ласковая рука вела меня по-прежнему, и путь мой стал заметно шире. В полном разгаре сил и деятельности я стал на дорогу, где тому и другому много работы. Предприятия мои удавались и удаются, я ни на минуту не ослабевал к своему делу и не видал от него ничего, кроме отрадного.

«Королем Лиром» я сделал большой шаг для своей славы. Георг Крабб был кончен в этом году, вместе с рядом критических статей, всеми замеченных. Целый журнал перешел в мои руки и в короткое время из журнала погибавшего стал изданием, имеющим успех. Назад я не смотрю, на прошлом отдыхать не намерен,— и впереди дела много.

Материальные дела мои устроились, как кажется, довольно прочно. Бюджет мой возрос вдвое против прошлогоднего. Поездка за границу, давнишний мой замысел, вечно отдалявшийся от меня, теперь становится делом близким и возможным.

Итак, пойдем с благодарностью и доверием навстречу будущему. Никогда еще я не был так готов к труду, никогда еще сознание того, что мой труд полезен для просвещения и добрых идей, не посещало меня с такой отчетливостью.

Да будет же воля твоя, и остави нам долги наши!

Позволяю себе ребячество: беру «Короля Лира» в моем переводе и встречу новый 1857 год за этим чтением!

<1857 г.>

3 января, четверг.

По возвращении из одного из самых безотрадных маскарадов в моей жизни.

Невзирая на безотрадный маскарад, первые дни нового года прошли не худо. Накануне 1-го числа я был дважды в Александр<о-Невской> лавре, познакомился с отличным архимандритом Кириллом и по его ми-

лости печатаю «Савонароллу» Майкова почти без изменений [570]. 1-е января был день холодный и мрачный, как всегда первое января бывает.

Вчера утром явился так давно не виданный мною Ванновский, мы пили чай и беседовали. Вечером на моем рауте было уже слишком много народа. Как я ни стараюсь, чтобы мои вечера были неизобильны числом гостей, всегда набираются лишние люди. Так и тут неизвестно отколе явился Щербина и Безобразов, оказывающийся добродетельным, но крайне не занимательным смертным. Были еще Гадон и Ушаков для совещаний по части театра,— но это дело как-то не идет.

Написаны основания литер<атурного> фонда и пито за его благоденствие.

23 янв<аря>, среда.

Увы! вот как он ведется, мой бедный дневник, в то самое время, когда событий так много, когда новые лица выходят на сцену десятками и все вокруг меня кипит и волнуется! Одно дело идет вперед, другое готовится, третье обрывается, четвертое зарождается в голове, а я ни о чем не упоминаю. Нечего делать, пускай хоть собрание писем, приложенных к дневнику, говорит за меня.

Январский № «Библиот<еки> д<ля> ч<тения>» вышел 8-го и, как кажется, всем понравился. А февральский будет еще лучше. Была некоторая цензурная возня с «Старой барыней» Писемского, но все дело уладилось как нельзя лучше. Сам бедный Ермил ведет себя нехорошо и, несомненно, принадлежит к числу наиболее нетрезвых людей, когда-либо мною встреченных.

Был обед у гр. Куш<елева>-Безбородко для положения основания литер<атурному> фонду. Но сей юноша, одушевленный добрыми намерениями, жертвует в пользу фонда лишь несуществующий доход с несуществующего журнала, а потому вся история на том покуда села. Равным образом идея о благородном спектакле пока еще не получила должного хода.

Андреас ведет себя, как сапожник,— если б его не обуздывали Галахов и Дудышкин, он наделал бы скандалов в литературе. Говорят, что «Отеч<ественные> записки» потеряли часть подписчиков, а он вместо того, чтобы помириться с необходимостью, рвет и мечет, по народному выражению. В своей газете он опять завел разных журнальных bravo *.

Л. Толстой уехал [571], к большому нашему сожалению, и когда я его увижу, никто сказать не может.

У издателя «Библиотеки» был на прошлой неделе обед для сотрудников, с тостами и приветствиями. И Фрейганг был там же, но героем пира оказался Щербина, читавший свои эпиграммы и рассказывавший удивительные анекдоты.

Вчера я, Андрей и Гончаров сидели рядом на обеде у Меншикова, причем совершалось великое обжорство. Вообще, Меншиков — лицо очень оригинальное, и весь дом его тоже.

---

* наемников (наемных убийц) *(франц.)*.

30 января, среда.

Сегодни был большой завтрак по случаю открытия мозаического отделения при стеклянном заводе. Милейший Языков уже за несколько недель походил на новобрачного, составлял menu, сочинял речи и ужасно гордился тем, что в числе гостей будут, может быть в первый раз за долгое время les rèpresentants du journalisme en Russie *, т. е. я и Андрей. Надевши белый галстух, я поехал, не без удовольствия глядя на снеговые поля по дороге, но опасаясь опоздать. Однако я приехал минуты за две перед Адлербергом. Все было хорошо и прилично, хотя завтрак показался мне нельзя сказать, чтоб очень вкусным. Со стороны художников чрезвычайно много дружелюбия и уважения. Познакомился, между прочим, с Ф. А. Бруни, Иорданом, Джустиниани и возобновил знакомство с Штейнбоком, как кажется, милым весьма господином.

Третьего дня ездил к Палацци с А. П. Стороженко и, как водится с давних времен, разорился так, что взял 100 р. из числа неприкосновенных денег, отложенных для заграничной поездки. Зато купил часы и две вазы (garniture de cheminée) **. Вообще, с осени начиная, накупил я брик-а-брака [572] на большие суммы. Пускай эти вещи останутся мне в память моего редакторства.

А Толстой пишет из Москвы к Боткину преумные и славные письма. Теперь уже он на пути за границу. Григорович должен явиться не сегодня, так завтра.

Воскресенье, 2 февр<аля>.

Григорович приехал третьего дни, а вчера явился ко мне, худой, бледный и довольно плачевный. Мы съездили к Васиньке, потом отправились к Негри и глядели картины, недавно им полученные из-за границы. День вчерашний я кончил в комитете, где читали глупую драму «Георгиевский крест» и странную, но довольно веселую комедию «Уголовное дело, или Обстриженный маркер» [573].

Вообще, этот месяц я сбился с толку и, как оно всегда бывает со мною, чувствую печаль и угрызения. Работаю мало и худо, сплю, или, лучше сказать, валяюсь очень много, не читаю ничего, сам нездоров от простуды и периодических завалов (как в сентябре),— одним словом, дело не ладно. Вот, например, обращик сегоднишнего бесплодного дня. Встал в 11, едва сел за статью о Тургеневе [574], пришли два господина по поводу статей — Николаев и молодой Ершов, из севастопольских героев [575]. Потом явился Печаткин. Подписчиков оказывается у нас до 600 лишних против прошлогоднего. Это все недурно, но болтовня тянулась до двух часов. Потом к Д. Ф. Харламовой, с ней беседовал с полчаса. Потом (после долгой езды, хлопот и треволнений) обедал у Дюссо с новым моим предметом, Алекс<андрой> Петровной. Потом домой, переоделся во фрак, поехал к Л. А. Блоку, там говорил по делу Обольянинова. Оттуда к Щербатову, но там сегодни нет приема. Оттуда домой, зайдя по дороге к В. Майкову (от него узнал, что вся февральская книж-

---

* представители журналистики в России *(франц.)*.
** гарнитур для камина *(франц.)*.

ка прошла уже цензуру). Дома разделся и успел написать полстранички Критики. Что же это за жизнь, смею спросить? Что тут ладного и умного или хоть забавного? Это ерундища, и дней, обильных такой ерундою, к сожалению, у меня немало.

Четверги у Кушелева очень хороши, чего я, признаюсь, не ожидал.

Понедельник, 18 февр<аля>.

С наступлением великого поста я считаю зимний сезон конченным, и хотя на дворе холодно и нет ничего весеннего, но никто меня не уверит, что весна не началась. Много небывалого сулит мне эта весна, считая тут и лето. Заграничная поездка с Васинькой и Григоровичем решена, план ее утвержден, деньги припасены почти сполна, и завтра же еду я в концелярию генер<ал>-губерн<атора> наводить справки о подаче прошения. К 1 апреля я уже должен иметь паспорт в кармане. И странно, и страшно, и жалко что-то отрываться от всего, к чему прилепился я в течение стольких лет. Что значут четыре месяца путешествия? А тяжко будет уезжать, очень тяжко. Для чего я не могу иногда быть гнусным эгоистом?

Будет еще дело в посту — выборы[576], поднесение кубка Обольянинову, наконец, изготовление статей на время моего отсутствия. До сих пор все дела идут ровно и неутомительно. Кажется, я работаю немного, а весь результат такой, какого можно ожидать лишь от ужасного труда.

Масляницу провел я так тихо, как никогда. Помню, что в старое время я всегда бывал без денег в эту пору. Теперь у меня лежало свободных до тысячи рублей, и я не имел никакого желания ими пользоваться. Утром работал над критикою (о Тургеневе), принимал гостей, а вечер или сидел у Боткина (он уехал в пятницу) или распутствовал с Григоровичем; в среду на моем вечере было много хорошего народа, Ковалевский между прочим.

Вчера был обед с великолепной ухой у Марьи Львовны. После обеда спал в комнате Григ<ория> Григ<орьевича>, где так хорошо спится, а вечер окончил у Щербатова, с Григоровичем, кн. Вяземским 2, Никитенкой, Лажечниковым и Краснокутским.

Вторник, на св<ятой> неделе, апреля 9.

Послезавтра еду за границу, чрез Москву и Варшаву. Сегодни ночью видел во сне что-то вроде Венеции и далекие горы, а за несколько дней назад тоже спал и видел Италию. До этой поры я не постарел нимало, я чувствую себя 17-летним человеком и не могу представить, что станется со мной в тот день, когда я действительно увижу итальянскую землю. Из всех дел и помыслов, меня занимавших всю жизнь, теперь во мне живут лишь две мысли: радость путешествия и некоторая тоска разлуки. С моим нравом последнее ощущение много значит и сулит мне немало внутренних тревог. Но что ж делать: я еду, еду и еду! Обильны впечатлениями будут для меня эти четыре месяца! Постараюсь вести журнал свой поаккуратнее, а теперь прекращаю его — надолго. Боже мой! неужели же я не во сне, а в самом деле еду в Европу![577]

<1858 г.>

Воскрес<енье>, 16 февр<аля>.

Сон хороший, но расположение духа худое. После обеда трепетание сердца и почти истерическое состояние. Вечером у М<арьи> Л<ьвовны>. Состояние духа, как в худшие дни болезни. Слабые лихорадочные ощущения. Дурное известие утром.

Понедельник, 17 ф<евраля>.

Сон очень хороший, около 8 часов, коли не более. Утром обыкновенный кашель, мокрот<ные> отделения значительные. Расположение духа лучше вчерашнего, но хуже, чем бы следовало при такой покойной ночи. И аппетит слабее, чем за неделю назад. После обеда спал. Вечером были Остр<овский> и А. Н. Р. Весь вечер проведен хорошо и спокойно, кашлянул раз десять.

Вторник, 18 ф<евраля>.

Сон хороший (между 6 и 7 $^{1}/_{2}$). Стараюсь кашлять менее и действительно кашляю немного. Опять расположение духа, хотя и далекое от хандры, но не хорошее. Больше всего заботят меня кашель и состояние сердца. По случаю холода давно уже не хожу пешком. Катался в карете и был у Писемского, больного гриппом. После обеда спал много, вечер провел хорошо, хотя и в одиночестве, но без хандры.

Среда, 19 ф<евраля>.

Une nuit blanche* — в буквальном смысле. Лежал тихо, без лихорадочных ощущений и даже без тревожного состояния. Встал в 9 $^{1}/_{2}$, с неприятным чувством, но менее кислым, чем после 1 и 1 $^{1}/_{2}$ часов сна. Кашляю мало, может быть, оттого, что мокрота отделялась ночью без усилий. Утро скверное, биение сердца — тоскливо безнадежное состояние духа, аппетит слабый. После обеда спал 1 $^{1}/_{4}$, но крепко. Вечером были брат с женой, Н. А. Блок, Благовещенский и Водовозов.

Четверг, 20 ф<евраля>.

Спал хорошо, от 1 $^{1}/_{2}$ до 10 $^{1}/_{2}$, почти не просыпаясь. После вчерашнего усталость, хандры почти нет. Кашля почти нет, при пробуждении груди хорошо и легко. Не гулял все эти дни по причине холода. Аппетит сносный, после обеда не мог заснуть. Вечер у Краевского, совещание о литер<атурном> фонде[578]. По случаю четверга лег спать очень поздно.

Пятница, 21 ф<евраля>.

Не спал до 5, потом спал нехудо до 10. Встал бодро, кашлял мало, и мокроты было не много. Говорил с Ф<омой> О<сиповичем> о своей болезни,— он доволен ее ходом и уверяет, что нет ничего сколько-нибудь серьезного. Хандры нет, но нет и бодрости духа. Обедал мало, после обе-

---

* Бессонная ночь *(франц.)*.

да спал более обыкновенного — от 4 $^1/_2$ до 6 $^1/_2$. Принял порошок лектукария. Вечер провел спокойно,— у меня был Гедеонов.

Суббота, 22 ф<евраля>.

Заснул поздно, зато и встал поздно, спал не менее 8 часов. Голова тяжела, кашель сильнее вчерашнего и много мокроты. Хандра значительно видоизменилась, вместо ипохондрического и временами безнадежного состояния — расположение духа скорее *боязливое*. Аппетит малый, после обеда не спал. Слабое лихорад<очное> ощущение.

Воскрес<енье>, 23 февр<аля>.

Неделя открывается худо. Злая бессонница. Спал около $^1/_2$ часу во всю ночь. Но состояние духа не худое и мысли возвышенные. Огорченье в одном, порадован другим. Кашлю почти нет, мокроты мало, груди легко, усталости на утро нет. Аппетит менее обыкновенного, но далеко не такой ничтожный, как при прежних бессонницах. После обеда спал около 1 $^1/_2$ <часов> крепко. Вечер провел одиноко и хорошо.

Понедельник, 24 ф<евраля>.

Спал хорошо и крепко, заснул между 12 и 1 часом, что для меня великая редкость. Проснулся в 8, и хорошо бы было встать, но все в доме спало, я проворочался с час и заснул опять. Кашлял более вчерашнего. Был у меня Обломьевский, и прописал metal albi в гомеопатических порошках. Вечером были Писемский и Анненков. Все хорошо.

Воскресенье, 9 марта.

Спал скверно, или, лучше, не спал вовсе — около часу, коли не менее. Но силы прибывают, кашлю не было, состояние духа хорошее. После обеда не спал, вечером не чувствовал ничего худого.

Среда, <26 февраля>.

Спал отлично, часов около 9. Был кашель, мокрота уменьшается. Аппетит хороший, спал после обеда и гулял, пока было светло. Вечером были Соляников, Анненков, Писемск<ий>, Гончаров, Салтыков, Безобразов, Панаев, брат и Олинька. Чувствовал себя хорошо и спокойно, без всяких дурных симптомов.

Четверг, 27 ф<евраля>.

Спал тревожно, но не менее 7 часов. Я ждал бессонницы, примирился с мыслью о хорошем сне *через день* — оттого был спокоен и заснул. Кашлю мало и мокроты мало. Состояние духа здоровое. Аппетит отличный. После обеда спал или не спал, сказать не могу. Вечер у брата, ужинал очень хорошо, лег спать в 3-м часу.

Пятница, 28 ф<евраля>.

Опять думал, что не засну, и, к счастию, ошибся. Спал часов 6, коли не более. Кашлю немного, но большого уменьшения в нем не вижу. Ханд-

ры нет и следов, хотя нет веселой бодрости, как у выздоравливающих. Аппетит хорош, после обеда спал, вечером сидел один, читал «Хронику» Аксакова[579].

Суббота, 1 марта.

Спал хорошо, часов 8 или 9. Остальное так же, как вчера. Гулял долго, и погода была славная. Обедал хорошо, спал ли после, не знаю. Делал гимнастику вечером. От 7 $^1/_2$ у Гончарова, слушал его новый роман[580]. Ужинал дома. Геморрой весьма силен, почти как было в декабре.

Воскресенье, 2 марта.

Заснул очень скоро после того, как лег, зато проснулся в 6 и около трех часов валялся. Потом заснул опять и проспал очень долго. Кашлю мало, но мокроты много. Все остальное, как прежде. Перемен нет.

Понед<ельник>, 3 марта.

Спал мало и заснул после 6 часов, так что проспал часа четыре, с перерывами. Гулял очень много и с удовольствием, день ясный, теплый, весенний. Вечером Гончаров был и читал «Обломова». Были еще В. Майков, Анненков и Печаткин. Перемен нет, все, как в прежние дни. Перед вечером 10 минут гимнастики.

Вторник, 4 м<арта>.

Спал отлично, часов 9, не просыпаясь почти. Мокрота как прежде, кашлю очень мало. Аппетит нехорош, некоторое расстройство желудка. После обеда спал более 2 часов, ужасно крепко. Вечером был А. Д. Гущин. Ничего особенного. Гимн<астика?>.

Среда, 5 марта.

Выспавшись так жестоко после обеда,—думал, что не буду спать ночью, однако спал часов 6, тревожно, видел во сне Севастополь и всякую дрянь. Погода ужасная, состояние духа не ипохондрическое, но печальное. Ездил в Опекунский совет. Узнал о смерти О. И. Сенковского[581]. Часов в 8 утра кашлял. Вечером слушал «Обломова» у Печаткина. Воротясь домой, нашел наших и Н. А. Блока. Ужинал хорошо, но лег позже 1 часу.

Четверг, 6 м<арта>.

Пересидевши свой час, долго не мог заснуть, потом спал от 5 до 9, крепко и хорошо. Утро все сидел дома, читал «Blackwood<'s Magazine>». Обедал нехудо, после обеда спал или не спал, не знаю — признак возбужд<енного> состояния нервов. Вечером у брата, не хандрил, но скучал. За ужином бес меня дернул много говорить, оттого приехал домой, чувствуя, что буду спать худо, и лег в 3-м часу.

Пятница, 7 м<арта>.

И действительно, не спал до осьми, метался, злился. С 8 до 11 спал, просыпаясь раза три. Несмотря на такую подлую ночь, гулял много и с удовольствием, ел хорошо. После обеда не спал, вечером сидел один дома, лег рано.

Суббота, 8 м<арта>.

Спал очень хорошо и очень много. Утром были Ф<ома> О<сипович> и Д<митрий> Ф<едорович>, оба мои эскулапа. Беседа с ними. Опять гулял весьма хорошо и много. Вечером ездил к Михайлову. Ни хандры, ни ощущений озноба давно нет и следа.

Воскресенье, 9 марта.

Спал не чрезвычайно хорошо, но много. Желудок не совсем в порядке, вероятно, от сливок. Кашель и мокрота по-прежнему, ни лучше, ни хуже. Было много народа поутру. Погода нехороша, идет снег, оттого не гулял. После обеда не спал и в 7-м часу поехал к Некрасову, где был прощ<альный> обед Анненкову[582]. Видел Гончарова, Новосильского, П<авла> В<асильевича> и Салтыкова. Часов в 9 домой. Было расстройство желудка.

Понедельник, 10 м<арта>.

Спал много, часов 8, хотя довольно часто просыпался. Встал с тяжелой головой и дурным расположением духа. Хандра опять montre le bout de l'oreille *. Остальное как прежде.

Вторник, 11 м<арта>.

Спал хорошо; нового ничего нет.

Среда, 12 м<арта>.

Спал скверно и мало, безо всякой причины, часа два, не более. Вечером было много народу, и Толстой между прочим. От разговора, вероятно, я чувствовал к ночи нервное состояние.

Четверг, 13 м<арта>.

Спал скверно, но немного лучше, чем вчера, т. е. часа 3 с небольшим. Ночь проведена в тоске и уныло-тревожном настроении. Утром ничего, все, как прежде. И весь день тоже. Вечер дома.

Пятница, 14 м<арта>.

Спал хорошо. Были оба доктора порознь. Мнение Обломьевского. Спал после обеда. Вечером был Гущин. А перед тем гулял.

---

* проявляет себя (*букв.:* показывает кончик уха; *франц.*).

Суббота, 15 м<арта>.

На ночь вымазал ноги салом и, к удивлению, не кашлял, а мокроты было мало. Ночь спал хорошо и много. Своев и Колбасин, бывшие поутру, нашли во мне перемену к лучшему. Послание от кн. Щербатова, приглашение к кн. Долгорукову[583]. Можно представить, как оно на меня подействовало при расстроенных нервах и привычке во всем видеть худую сторону. Хорошо то, что не будет долгого мучительного ожидания,— сегодни вечером будет развязка истории с глупым фельетоном Толбина. За неимением других развлечений, буду наблюдать, как подействует эта неприятность на мое здоровье. Может быть, нервам моим нужен сильный толчок.

Воскрес<енье>, 16 м<арта>.

По благополучном окончании дела вернулся домой к ночи и, невзирая на великую усталость, долго не мог спать. Однако, наконец сомкнул вежды и спал часов 5, тревожно. Утром кашлял, не очень много, но больше, чем накануне. Остальное все хорошо. Гулял, но не утром, а после 6 часов.

Понедельник, 17 м<арта>.

Спал превосходно и заснул ранее, чем в 1 час. Встал в $9\frac{1}{4}$. Кашлял немного. Начал говеть, в церкви стоял без усталости.

Вторн<ик>, 18 м<арта>.

Спал отлично, весь день провел очень хорошо. Сила прибывает.

Среда, 19 м<арта>.

Спал очень хорошо, но был утомлен разъездами и вечером у Кокорева, с новыми людьми. Дни стоят гнилые и сырые.

Четв<ерг>, 20 м<арта>.

Бессонница, *nuit blanche* *, но ни ночью, ни на утро никаких неприятных ощущений. Долгую службу перед приобщением выстоял без усталости[584].

Пятн<ица>, 21 м<арта>.
Суббота, 22 м<арта>.

Спал хорошо.

Воскрес<енье>, 23 м<арта>.

Спал немного, но больше, чем думал, т. е. часов около 6. Вечером чувствовал себя как-то слабо.

Понедельник, 24 м<арта>.

Спал очень хорошо, хотя заснул поздно, около 2 часов.

---

* бессонная ночь *(франц.)*.

Втор<ник>, 25
Среда, 26.
Четв<ерг>, 27.

Ночи проведены хорошо. Заметил, что количество мокроты уменьшается.

Пятн<ица>, 28.

Ночь проведена не очень хорошо, но все-таки спал довольно.

Суббота, 29

Спал очень хорошо. Вообще симптомы выздоровления показываются. Ни одной ночи бессонной, 1 посредств<енная>.

Воскресенье, 30 марта.

Ночь проведена порядочно.

Понедельник, 31 м<арта>.

Хорошо.

Вторник, 1 апреля.

Хорошо.

Среда, 2 апреля.

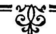
Не хорошо, спал около 4 часов, заснул после 6.

Четверг, 3 апр<еля>.

Отлично.

Пятница, 4 апр<еля>.

Не хорошо, <спал около>5<часов>, заснул ранее 6[585].



ДОПОЛНЕНИЯ

<ЗАМЫСЕЛ ДРАМЫ О СЕМЬЕ САКСОВ.>

Успех «Жены игрока» [1] долго еще действовал на меня. Мысли, взволнованные произведением, вылившемся быстро и с любовию из души, долго еще не давали мне покоя. Я хлопотал до этого времени, не зная, что начать, по недостатку сюжетов, теперь их была бесчисленная куча, и я все-таки чувствовал, что не в силах написать второго драматического произведения.

В это время я вполне сознал, как недостаточны мертвые книжные сведения, не оживленные опытностью. Односторонность моей жизни высказалась чрезвычайно резко: я так отдалился от интересов нашего петербургского вседневного круга, что решительно не чувствовал к нему ни симпатии, ни ненависти, и поэтому не мог описывать его как бы желал. Особенно женщины, предмет, без которого не обойтись писателю,— были для меня вещью совершенно неизвестною.

Первая драма моя основана была на истинном происшествии, истинные лица подали мне идею второго драматического произведения. Но так как оно пережило то время, пока еще мне нравилось, то, вероятно, никогда и не будет окончено, ни даже начато. А так как оно не будет ни кончено, ни начато, то план его складывается навеки в архив.

Вот план произведения. Молодой человек, много испытавший и видевший в своей жизни, женится на девушке, в которую он, против всякого ожидания, страстно влюбился. Он никогда не был враг женитьбы, но имел свою цель для брака. Давно уже привык он смотреть на жизнь, как на комедию, презирал людей, не отвергая в них занимательности, и открыто враждовал с обществом, от глубины души желая ему преобразования. С этим направлением духа он хотел бы соединить участь свою с женщиною характера и твердого, и грациозного — которой образование и образ мыслей не противоречили бы его взгляду на вещи и порой смягчали б его несколько раздраженную душу. Но главное: он хотел иметь товарища, чтоб грустить о том, что грустно на свете, и смеяться над смешными сторонами этого света.

Таких женщин мало, даже в творениях знаменитых писателей. Женщины Жоржа Санда даже часто смешны идеальным своим взглядом на жизнь и исключительностью своих чувств в пользу одной страсти. Но на долю моего героя выпала женщина не поэтическая, ни даже светская,

он женился на одной из тех существ, которые когда-то до смерти нравились русской публике и которые теперь еще находят поклонников: он женился на институтке с полным запасом детских ужимок и самой совершенной невинности.

Связавшись навек с этим уродливым порождением русского публичного воспитания, герой мой был счастлив — не только оттого, что обладал предметом, в который влюблен был без памяти — но и потому, что ему приятно улыбалась мысль: перевоспитать свою жену. Невинность ее не тешила его нисколько,— он признавал всю смешную сторону этого детского, а не женского достоинства. Но она давала ему надежду напечатлеть на этой юной душе все то, что ему хотелось, возвысить ее в уровень с собою, передать страстно любимому ребенку свои понятия и свои возвышенные убеждения, приучить его к вражде со злом, к любви к высокому, к шутке над судьбою и над бедами.

Он ревностно приступил к ее образованию, сначала окружил ее вещами, пластически прекрасными, и старался внушить ей любовь к изящным искусствам. В долгие вечера, в очаровательные tête-a-tête * со своей женою он передавал ей, сообразуясь с ее понятиями, события своей бурной и разнообразной жизни. Пользуясь насмешливостью, врожденною женщине, он старался поселять в ней легкую, философскую иронию, которая так помогает нам встречать бедствия и неудачи жизни. Он старался приучить ее к чтению и знакомил ее с небольшим числом женщин-писательниц, творения которых так ясно говорят женскому сердцу.

Но, против всякого ожидания, муж-философ встречает на всяком шагу препятствия и не от внешних обстоятельств, а от своей жены, своего страстно любимого ребенка, которого он так порывался поставить в уровень с собою и с веком. Не говоря уже о труднейшей части перевоспитания, он встретил препятствия в самом начале.

В самом деле, все его усилия приходятся не по нутру институтской невинности: жена его не любит музыки, могущественной двигательницы сердец на все доброе. В институте она была из лучших певиц: теперь она пренебрегает музыкою, не умея ее никогда понимать. Произведения живописи и ваяния пробуждают в ней только то удовольствие, с которым смотрим на иллюстрированные загадки; поэтические произведения ей чисто не нравятся, она не понимает их, благодаря тесной рамке, в которую ум ее был вдвинут семейным и институтским воспитанием, которое во сто раз глупее семейного.

Глубоко рассчитанные беседы ее мужа не нравятся ей: она прерывает их своими ребячествами, многого не понимает и не интересуется истолкованием,— зевает, если предмет разговора касается чего-нибудь [серьезного и] требующего умственного напряжения.

Видя бесплодность своих усилий, молодой человек предается грусти и досаде. Его тревожит мысль: не глупа ли его жена? Сто раз в день

---

* наедине *(франц.)*.

разуверяется он в этом и снова впадает в сомнение. Вследствие этого, он жадно следит за ее поступками и часто употребляет принуждение, чтоб удостовериться в ее способностях и хотя насильно развить их. Он старается на время удалить ее от общества и ее семейства, чтоб без помехи предаться [женскому воспитанию] раз начатому труду. Но общество и семейство не оставляют его в покое. Герой мой давно прославлен чудаком, либералом и мучителем своей жены. Отдаление его от света приписано скупости, жестокости к жене, ревности. Мало-помалу все это передано бедной институтке, которая серьезно вообразила себя несчастною жертвою беззаконника и ревнивца.

Однако она все-таки любит мужа,— частое его присутствие дома не тяготит ее. Но муж ее не богат: обстоятельства доставили ему значительное место, требующее долгой работы и частых отсутствий. Эту перемену жизни ей тяжелее всего было перенести: чуждая всех интересов практической жизни, она не могла и не хотела понять, что муж ее должен трудиться, и причиною его отлучек предполагала охлаждение.

Между кругом избранных приятелей, посещавших дом моего героя, был один его школьный товарищ, офицер самого блестящего из полков и член весьма высокого общества. В этом лице будет показан человек души весьма подлой и ума весьма обыкновенного, но которого обстоятельства до того взлелеяли, что он сделался существом, которого никто и не думал считать пустым и вредным [человеком]. Жизнь его была цепью удач и блеска,— и постоянно ласкаемое самолюбие дало ему и энергию, и остроумие и ловкость — все, кроме души. Характер этот труден, но интересен, потому что влияние тщеславия на жизнь человека есть предмет неисчерпаемый.

В свете он имел великий успех, потому что умел ловко его морочить. Во времена бейронизма и разочарования он смотрел прямым Печориным, потом представлял из себя un roué des plus ébouriffants *, потом сделался человеком с мощною волею и энергическими наклонностями, а в настоящее время «Вечного жида» и «Найденыша» он был страшный социалист и друг всех несчастных. Так действовали почти все, но этот человек имел большую выгоду перед остальною светскою молодежью. Он сам читал и знал много молодых людей, которые учились и горячо следили за современными вопросами. От них-то узнавал он эссенцию тех чувств, которые доходили в неясных отражениях от светского общества. Оттого те роли, которые он разыгрывал, разыгрывались гораздо искуснее, тем более, что он, как часто случается с шарлатанами, шарлатанствовал с истинным увлечением.

Этот-то человек, введенный как друг в семейство героя моего, прельстился необыкновенною красотою его жены. Он только на словах любил женщин с высокою и твердою душою, на деле его сводила с ума грациозная невинность хорошенького ребенка. Он предпочел ее весьма светским героиням, и страсть его к бедной институтке походила на страсть Людовика Пятнадцатого к двенадцатилетним девочкам.

* одного из самых потрясающих повес *(франц.)*.

План его действий был прост и ясен. Передать жене удовольствия светской жизни, возбудить ее детское тщеславие, представить ей мужа ревнивым медведем, смешным чудаком и нелепым ученым. Представиться человеком, который уже не гоняется за женщинами, а единственно из участия к ней решившимся делить часы ее уединения. Мало-помалу тактика эта удалась ему до того, что бедная женщина получила к нему какое-то ослепленное влечение, а мужа своего начала бояться и почти ненавидеть. Не сознавая нисколько неприличия своих действий, она писала к этому молодому человеку записки, в которых приглашала его к себе, и вообще говорила неуважительно о своем муже. Записки эти хранились на всякий случай хитрым Ловеласом, как доказательство преступления, хотя еще дело не доходило до преступления.

В таком положении находятся дела при начале первого акта пиесы. Первая сцена заключается в разговоре жены моего героя с ее преследователем. В этой сцене обрисовываются их характеры и дается изложение идеи пиесы.

Молоденькая женщина в горе. День для нее самый несчастный: собачка ее больна, платье ее испорчено, муж уходя объявил, что он долго не придет домой. Она слушает рассказы своего обожателя с каким-то невниманием, ее тревожат частые отлучки мужа, в беспокойстве об нем она ясно выказывает, что еще его сильно любит. Обожатель выказывает свою досаду, употребляет все средства, чтоб уничтожить эту симпатию, с жалостью говорит о ее муже, смеется над его занятиями, мало-помалу говорит про свою страсть. Но он худо выбрал время, все не по душе институтке. Даже она вспоминает о своих записках: кто-то сказал ей, что неприлично так писать к мужчине, и потому она требует их назад. Ловелас отговаривается. В это время приходит муж, говорит, что он развязался с связывающей его должностию и будет уже работать дома. Жена не в силах скрыть своей радости, но обожатель крайне недоволен. Муж, не подозревая ничего, зовет его обедать, и тот покуда уходит, решась не отлагать долее исполнения своих предприятий.

Следует семейная сцена, которая должна быть написана с великим старанием и некоторым образом составлять основу пиесы. Она представилась моему уму первая из всех, была отделана тщательно, и так как она свежа в моей памяти, то я обрисую ее немногими словами. Первый разговор их нежен, муж, довольный, что снова может посвящать все время любимому своему дитяти, забывает несколько предыдущие неудачи. Он слепо высказывает свои планы, расспрашивает жену о ее утренних занятиях. Но этим он затрагивает ее огорчения, и начинается разлад. Сначала он подшучивает над модисткой, испортившей платье, над болезнью собачки, но потом ирония его становится жестче и раздражает институтку. Ссора, которая на время оканчивается кротостью жены. Она хочет угодить мужу, она будет учиться, будет продолжать музыку. Она даже предлагает ему, что выучит наизусть первые страницы сочинений Жоржа Санда, на действие которых с такою любовию рассчитывал бедный муж. Последнее предложение, чересчур уже наивное, выводит его из себя, он сердится не шутя, сильно выражает свое огорчение и толка-

ет ногою больную собачонку. La glace est rompue * — следует совершенная ссора, за которой жена уходит.

Оставшись один, муж горюет о своих погибших планах в сильных выражениях, в которых просветится моя давнишняя ненависть к фамилизму. Привыкши к борьбе с обстоятельствами серьезными, умея встречать насмешкою каждый удар судьбы, он изнемогает перед грязною мелочностию семейных огорчений. Грустное раздумье его прервано двумя посетительницами, старшими институтскими подругами его жены. Одна из них будет женщина мечтательная и смешно идеальная, а в другой изобразится тип оригинальный и весьма мне известный: тип скандальной дамы.

Обе почтенные гостьи, оставшись одни со своею подругою, раззадоривают ее до такой степени, что она изъявляет открытую вражду к своему мужу и хлопочет только о том, скоро ли придется выказать эту вражду. Составляется план борьбы и сопротивления: милые подруги обещают свое содействие. Им известно, что Сакс (имя супруга) желает скоро ехать в свою деревню, чтоб заняться крестьянами, и рассчитывает взять с собою жену. Предлог найден, причина законная и разительная. Когда муж является, они сами наводят его на этот разговор, начинается разногласие. Взбешенный новою сценою, и еще при свидетелях, муж говорит, что он едет завтра же с женою, и дает заметить приятельницам, что присутствие их ему неприятно и постоянно служит источником всех возможных неудовольствий. Оставшись один, он получает уведомление о связи жены своей с своим лучшим приятелем. Не желая оставаться в неизвестности, он объявляет жене, что не остается дома, советует ей собираться к завтрему в дорогу и просит принять приятеля к обеду без него.

Следует сцена между любовниками, оканчивающаяся намерением уехать вместе, во избежание разлуки, а потом поцелуями и объятиями. Потребны большие усилия, чтоб не сделать эту сцену вялою, интерес будет заключаться в подробностях, о которых я умалчиваю. Муж, как подобает по сценическому порядку, приходит именно к самым лобызаниям,— он удостоверился во всем, и решение его готово.

Прежде всего он требует от любовника отчета, давно ли началась их связь и любит ли его жена. Оскорбясь его твердым тоном, тот отвечает так же резко. Спор их прерывает жена. Тон мужа оскорбил ее и дал ей энергию, она отвечает утвердительно и берет на себя преступление.

Сакс подходит к соблазнителю и говорит, что он уступает ему жену. Но,— продолжает он,— взявши ее от меня, вы берете на себя великую ответственность. Я люблю ее, и поэтому буду целые года следить за вами шаг за шагом. Вы должны дать ей имя и положение в обществе, должны любить ее, как я, и сделать ее счастливее, нежели я мог это сделать. При малейшем неисполнении одного из этих условий я вызову вас на такой поединок, с которого ни мне ни вам не вернуться живому. Теперь

* Лед сломан *(франц.)*.

устраивайтесь как удобнее; пока дела ваши будут идти хорошо, я не буду мешать вам ни на волос и вы меня не увидите.

На этом месте я остановлюсь, потому что надо обдумать дальнейший ход пиесы. Пойдет ли институтка за любовником — или останется при муже?

Благородный поступок мужа подействовал на заблудшуюся женщину сильнее всех философских проповедей и эмансипированных теорий. Там, где ожидала она услышать упреки и воззвания к общественным правам, увидела она душу, глубоко оскорбленную, но не желающую идти наперекор женской страсти. Действие слов его подобно громовому удару: она кидается на колени перед мужем, просит простить ее, простить то, что она до сих пор не могла понять его, и возвратить ей прежнюю любовь. Муж колеблется, но в это время страсть вспыхивает во всей силе в сердце ее любовника, до того так холодном, он бросается на колени перед нею, молит ее не отвергать даруемого им счастья и клянется в точности исполнить все, о чем говорил Сакс. Пламенные речи его, красота его снова начинают увлекать влюбленного ребенка: он хочет жизни, хочет блеска и света. Заметив первый признак нерешимости, муж оставляет их, говоря что все высказанные им намерения остаются в полной своей силе.

Ловелас превращается в Грандисона [2], успокоивает свою избранную, повторяет клятвы вечной любви и уводит ее от мужа.

Второй акт начинается по прошествии нескольких лет. Пользуясь разводом, Ловелас давно уже обвенчался с женою Сакса, принявшего всю вину на свою сторону. В состоянии действующих лиц произошли изменения. Ловелас уже молодой генерал, дом его из самых блестящих в столице, жена считается первою аристократическою красавицею, по службе ему везет. Сакс ведет жизнь одинокую и угрюмую, он бросился на службу и дослужился до значительных чинов. Скандальная барыня овдовела и пользуется великим кредитом в обществе, за нею волочится главный начальник Ловеласа, и сам Ловелас сильно на нее посматривает, хотя верный своей любви и обещанию, ухаживает за женою как нельзя более.

Но молодая красавица далеко не может назвать себя счастливою в новом своем положении. Чем более развивается ее ум под влиянием практической и блестящей жизни, тем с большею резкостью выступает из общей пустоты энергическая фигура непонятого мужа. Она еще не вполне отдает себе отчет в своих чувствах, еще, по-видимому, вполне предана своему новому избранному, но со всяким шагом вперед, со всякой ступенью в жизни и опытности, разгорается в ней страсть к человеку когда-то детски любимому, теперь покинутому и сделавшемуся невидимкой.

Первая сцена этого акта будет состоять из разговора скандальной дамы с бывшею m-me Сакс. Тут будет сделана экспозиция времени, которое прошло между актами. Бывшая институтка по старой привычке передает свои чувства хитрой приятельнице, которая, имея виды на ее мужа, выпытывает все, что надобно ей знать, и помогает ей уразуметь

новые отношения свои к потерянному мужу. В это время является Ловелас. Уже несколько времени, как ему предлагают откомандировку на Кавказ, и теперь он хочет дать решительный ответ. Место это должно открыть ему поприще нового блеска, выгод и славы. Он ждет его с радостью, но жена его тужит об этом и просит его отказаться от этого места. Она смутно чувствует, что, оставшись одна, не в силах будет противиться развивающейся в ней страсти. Она дает мужу чувствовать, что присутствие его необходимо для нее, просит не оставлять ее одну посреди света, все еще враждующего с ней. Тот отказывается: слава и почести привлекают его. При отказе этом жена хочет следовать за ним, он прямо ей отказывает. Не в силах удержать своего волнения, она заливается слезами и уходит. Через минуту человек приносит генералу записку, в которой написано: «Откажитесь от места, пока еще время. С.» Генерал читает ее и с бешенством бросает на пол.

Побуждаемый желанием высказать кому-нибудь свое негодование, он рассказывает все преследования, которые вытерпел он неизвестно как, ка<ки>ми путями, но причина которым, без сомнения, был Сакс. В первый год женитьбы он думал ехать за границу. Тогда принесли такую же записку, там написано было: «Деритесь или миритесь со светом, но не спасайтесь бегством. Жена ваша стоит борьбы». Его ужасала эта борьба, он хотел ввести жену в свет понемногу, и оттого-то хотелось ехать ему за границу. Он не послушался записки, ждал дуэли, дуэли не было, но ему не дали паспорта для выезда из России.

В другой раз он ожидал большого покровительства важного лица, бывавшего у него в доме. Опять пришла лаконическая записка: «Князь*** имеет виды на вашу жену, о повышениях ваших дурно говорят». Он опять пренебрег запискою, опять ждал дуэли — но дуэли опять не было — только его переместили от князя, и князь перестал у него бывать.

И вот после ряда этих и подобных оскорблений является опять записка, опять препятствие, приковывающее его к жене, хотя и любимой, но все-таки жене. Явный признак шпионского враждебного взгляда, неотразимого и могучего влияния. И враг его не хочет даже скрываться — роковое С. в конце записки ясно говорит, от кого она получена. Скандальная дама пользуется минутой раздражения и ловко передает генералу все, что высказала ей по секрету его супруга. Для нее теперь (...)

Сцена переменяется и представляет квартиру Сакса. В характере его произошло много перемен: он не ропщет на судьбу и не обвиняет никого, но чувствует, что в жизни ему многого недостает и что жизнь эта вечно будет несчастлива. Служба доставила ему великую силу и блеск, но не дала ему ни утешения, ни даже успокоения. Он думает о своей страсти как о деле прошлом, только убранство комнаты, расстановка вещей показывают, что ему дорого воспоминание женатой жизни. Эпикуреизм его и снисходительная философия хороши были, пока жизнь была красна, а главное, пока сам был моложе. После же одиночества философия эта перешла в чувство желчное, не враждебное людям, но взыскательное

и насмешливое. Мы застаем его в беседе со своим секретарем, который рассказывает ему скандальные события. Речь идет о муже бывшей его жены. Секретарь, забыв или не зная отношений их к Саксу, рассказывает, что между Ловеласом, скандальною дамою и ее любовником учрежден новый тройственный союз. Любовник скандальной дамы уступает ее Ловеласу и обещает ему свое всесильное покровительство. Но за это он требует, чтоб жена его, предмет давнишних помышлений старого вельможи, досталась на его долю. Понятно, с каким чувством слушает все это Сакс,— теперь ему ясны причины, отчего муж его бывшей жены только и думает о том, чтоб оставить ее одну в столице.

Слышится звонок, Сакс поспешно отпускает секретаря. Входит Гиршбейн, друг и поверенный графа Галицкого (имя Ловеласа). Человек этот куплен Саксом. Через него он знает подноготную того семейства, за которым следит шаг за шагом уже около девяти лет. Гиршбейн рассказывает об происшествиях утра. Граф Галицкий являлся к министру с уверенностью, но только что он сказал, что принимает предлагаемое ему место на Кавказе, как получил ответ, что место это не может быть ему дано. В руках министра увидел он записку и догадался, чье это дело. Сакс смеется. Гиршбейн говорит ему, что Галицкий не в силах более удерживать бешенства и хотел сам объясниться с Саксом. Гиршбейн следовал за его экипажем, желая предупредить горячие объяснения, но Галицкий заехал зачем-то в министерство иностранных дел. «Ему хочется убить двух зайцев,— говорит Сакс,— и он просил двух мест. Результат одной просьбы вы видели — вот кое-что о второй».— «Отказ?» — говорит Гиршбейн.— «Хуже»,— отвечает Сакс и подает ему бумагу. Тот читает и говорит: «Вы не человек, а извините меня — черт». Подъезжает экипаж Галицкого. Гиршбейн уходит.

Оставшись на время один, Сакс дает волю своим чувствам: он ненавидит Галицкого с тех пор, как он убедился в том, что тот не понял его жены и не дал ей счастия,— он желает одного мщения. Но он припоминает, что бывшая жена его любит Галицкого со всею страстью,— и превозмогает свой гнев.

Свидание между двумя мужами — бывшим и настоящим. Галицкий взбешен, но не скрывает внутреннего удовольствия от неизвестной причины. Он спрашивает Сакса, он ли помешал ему получить то место, которого добивался, и какая тому причина? Сакс не скрывает, что то был он, а причина, говорит он, была та, что перемещение не нравилось вашей жене. Следуют жаркие объяснения со стороны Галицкого,— он утомлен и выведен из терпения беспрестанными преследованиями. Но, говорит он, мы, наконец, развязались с вами. Сегодня я получил поручение, по которому я должен ехать в Италию, а именно в Неаполь. Впрочем,— с насмешкою говорит он,— вы можете на этот раз быть спокойны,— жена моя идет со мною. Сакс ему читает уведомление из газет, где сказано, что едет в Неаполь князь Г* (важное лицо) и скандальная дама. «За этим вы везете туда вашу жену?» — спрашивает он.— «Я не даю вам отчета»,— говорит Гал<иц>кий.— «Так вы точно едете в Неаполь? — спрашивает Сакс.— В таком случае нам предстоит провести вместе много приятных вечеров».

Он подает бумагу Галицкому. В этой бумаге означено назначение Сакса на важное дипломатическое место, открывшееся в Неаполе. «Вы видите, что мы не расстанемся»,— говорит он ему холодно. «Я уеду в другую часть Италии»,— говорит граф.— «И я могу путешествовать для своего удовольствия»,— замечает на это Сакс. «Я уеду в свое имение».— «Я попрошусь губернатором в вашу губернию».

Эта упорная и непреклонная воля повергает Галицкого в короткий период отчаяния. «Чего вы хотите? — спрашивает он неумолимого Сакса. — Зачем вы преследуете нас — или вы не видите, что вы сами разрушаете счастие когда-то любимой вами женщины? Или вы думаете насильно заставить меня полюбить ее, если б я ее и не любил?»

«Если б я наблюдал за вами из одной жажды вреда и мщения,— отвечает ему Сакс,— то оставил ли бы я спокойными первые годы вашего брака? Когда вы были достойны жены вашей, разве я вас тревожил? Разве я надоедал вам тогда усиленными наблюдениями? Вы были свободны,— скрепя сердце я желал даже вам счастия и значительно помог вам, приняв всю вину развода на мою сторону. Но то, что я делал для вас, не было оценено вами, граф. Жена ваша всегда была и будет ангелом. При мне она была несчастлива, но то была не моя вина. При вас она несчастлива,— в этом вина ваша и чисто ваша. Повторяю вам мое давнишнее обещание, и теперь, более, чем когда-либо, я буду следить за каждым шагом вашим. Всю мою силу, все мои способности я употребил на то, чтоб возвыситься. Возвышение мое есть средство, цель моя — постоянно стоять на страже счастия той, которую я когда-то любил. Счастие ее теперь в большой опасности,— и потому я буду, если можно, еще бдительнее прежнего».

При этом страшном приговоре отчаяние графа переходит в ожесточение. Самолюбие его задето пагубным образом,— он видит, что все планы его падают и разрушаются. Остается одно средство: он вызывает Сакса на дуэль.

Сакс отказывается. «Пока еще мои надежды не потеряны,— говорит он.— Вы можете забыть ваши теперешние поступки и полюбить жену вашу и дать ей счастие. Первые годы вашего брака заставляют еще меня так думать».

Но Галицкий, не владея собою, высказывает Саксу, что любовь его к жене переходит более и более в ненависть: «Может ли жена, бросившая одного мужа, быть верна другому?».

При этой мысли Сакс вспыхивает. Этот черный, узкий, светский силлогизм показывает ему вполне ничтожную и мелкую душу того человека, которому уступил он свое лучшее сокровище. Он пытается вразумить его, но Галицкий продолжает свои обвинения и упоминает, что подозревает жену свою в тайных сношениях с бывшим ее мужем и что видел даже ее экипаж у его дома.

«После этого,— говорит Сакс,— пора стреляться. Вот два пистолета, заряжайте их. Чтоб дело было без последствий, сойдем в садик. (Дело идет на даче). Этот сад принадлежал моей жене, и потому теперь никто

не смеет даже подходить к нему. Идемте же, и пусть бог нас рассудит».

Соперники выходят, комната остается пуста. Слышен один выстрел, и Галицкий вбегает в комнату, бледный. Он ищет другого выхода и говорит: «Наконец, мы кончили». Улыбка показывается на его лице, он хочет отворить дверь, но в это время у входа в сад является Сакс, слабый, держа руку у груди. «Граф,— говорит он,— если все кончено — берегите вашу жену... Если же я останусь жив — помните, что выстрел за мною». С этим словом он падает, и акт заканчивается.

Une variante. Я писал план 2-го акта, не думая о третьем, но теперь вижу, что надобно ввести на арену m-me Галицкую. Она приходит к Саксу между посещениями Гиршбейна и мужа. Оскорбленная до глубины души подозрениями своего мужа, не видя в нем защиты от самой себя, она явно презирает <его> и горько раскаивается в прошлом. Она тайно приезжает к Саксу и умоляет его оставить преследования (ожесточение мужа заставляет ее бояться за Сакса, но она скрывает это), которые только раздражают ее мужа. Она притворяется страстно любящею женою Галицкого, говорит, что она вполне счастлива, что муж ее ищет мест с ее согласия. Но Сакс не верит, он знает все. Тогда m-me Галицкая просит его не заботиться об ней более, как о женщине преступной и недостойной его участия. Из этих речей Сакс видит настоящее положение ее души,— он обещает ей восстановить ее отношение к мужу и утешает ее. Она выходит, несколько успокоенная, но уходя, слышит голос входящего мужа и остается тайно в другой комнате, опасаясь последствий.

Между вторым и третьим актом интервал времени невелик. Действие начинается ночью, в кабинете Сакса. Он чувствует облегчение и смутно припоминает время своего беспамятства. Ему кажется, что за ним ходила прекрасная женщина, предмет последней его любви, жена его, для которой он пожертвовал всем лучшим в своей жизни. Душа его наполнена сладким воспоминанием давнишней страсти, которое так сильно показывается в человеке или умирающем или оправляющемся от тяжелой болезни. Ему кажется возможным воротить прошлое,— но скоро мысль эта исчезает. Прошлые события сделали его недоверчивым, он убежден, что бывшая жена его страстно любит графа Галицкого и что причиною их раздоров и несчастий было не что иное, как преследование Сакса, преследование пагубное, хотя и основанное на благородном побуждении. В расслаблении он закрывает глаза, и в это время является его жена, которая не покидала его с той самой поры, как была свидетельницею дуэли его с Галицким.

Она думает, что Сакс в беспамятстве, осматривает его рану, поверяет заботливость его прислуги и доктора; в это время он узнает ее. Следует сцена, которая будет обдумана при исполнении. Возвращение прежней страсти со стороны героини. Но Сакс верен недоверчивому своему взгляду на вещи. Он уговаривает ее остаться при муже, обещает кончить свои преследования и умереть для них. Она умоляет его воротить ей старую любовь. Тогда в Саксе происходит необыкновенная перемена: раздраженным голосом он проклинает несчастную, укоряет ее во всех своих бед-

ствиях, отвергает мысль примирения и признается в вечной своей ненависти. Изнеможенный от усилий, он умирает. Но дело в том, что он не умирает, а притворяется мертвым для последнего испытания.— Для соблюдения интереса и вероятности войдет сюда аксессуарная сцена.

<АВТОБИОГРАФИЯ>

Александр Васильевич Дружинин родился в 1825 году [1] в С. Петербурге. Отец его, действ<ительный> ст<атский> сов<етник> Василий Федорович Дружинин, служил при императрице Екатерине в л<ейб>-г<вардии> Измайловском полку, при императоре Павле перешел в армию, был с отрядом Римского-Корсакова под Цюрихом, где и ранен [2]. Рана заставила его перейти в гражд<анскую> службу, на которой он и оставался до своей смерти. Родом он из дворян Смоленской губернии.

Александр Дружинин воспитывался дома до 16 лет, потом поступил в Пажеский корпус, через год после того произведен в камер-пажи [3], а еще через год выпущен из корпуса в гвардию, в л<ейб>-гв<ардии> Финляндский полк, где уже служили его два брата. Из числа товарищей его по полку был самым замечательным покойный Павел Андреевич Федотов, впоследствии знаменитый русский художник.

В 1846 году Алек<сандр> Др<ужинин> поступил из полка в канцелярию Военного министерства, где занимал разные должности до 1851 г., в который вышел в отставку. В 1847 г. напечатал он свое первое произведение, повесть «Полинька Сакс» в журнале «Современник». Вслед за этой повестью в разных периодических изданиях напечатал он несколько других — между ними могу припомнить «Рассказ Алексея Дмитрича» (1848), «Жюли» (1849) и т. д. Были статьи под разными псевдонимами. По 1857 г., т. е. до принятия на себя редакции «Библиотеки для чтения» был деятельным сотрудником «Современника».

В 1851 г. стал писать статьи об английской литературе, между которыми помню «Босвелль и Джонсон» («Библ<иотека> для чтения»), «Шеридан» («Современник»), «Сир Вальтер Скотт и его эпоха» («Отеч<ественные> записки»), «Георг Крабб и его произведения» («Соврем<енник>»).

Переводы драм Шекспира «Король Лир» («Совр<еменник>», 1856 г.) и «Кориолан» («Б<иблиотека> для чтения», 1858).

На театре давались и даются до сих пор перевод «Короля Лира» и комедия «Не всякому слуху верь».

Из критических статей, в которых наиболее выражаются взгляды и убеждения автора, должно назвать «О сочинениях Пушкина» («Библ<иотека> для чтения»), «Критика сороковых годов» (там же), разбор сочинений Гончарова в «Современнике» и сочинений Тургенева (в «Библ<иотеке> д<ля> чтения») [4].

В конце 1856 г. принял на себя редакцию журнала «Библиотека для чтения».

В 1851 г. шатался по Кавказу.

В 1857 г. путешествовал по Италии, Франции, Германии и Швейцарии.

Имеет имение в Петербургской губернии.

Полного собрания сочинений своих не издавал, списка им не имеет.

Кажется, больше сказать нечего.

В. Г. Дружинин

А. В. ДРУЖИНИН (1824—1864) И ЕГО ДНЕВНИК.

(По семейным воспоминаниям).

А. В. Дружинин родился в 1824 г. Родителями его были: Василий Федорович и Мария Павловна, которая первым браком была за офицером Ширяем, получившим рану в Итальянском походе Суворова, вскоре после этого умершим и оставившим вдове своей сына, который тоже был военным, но рано умер. Как была урожденной Мария Павловна, из документов не видно. Она родилась в 1774 г., была с первым мужем в Итальянском походе[1]. Овдовев, Мария Павловна вышла вторично замуж за Василия Федоровича, служившего в Московском почтамте экзекутором[2]. Сведения о рождении и службе Василия Федоровича имеются в его формуляре, сохранившемся в бумагах Ал<ександра> Вас<ильевича>. Во время службы Василий Федорович был оклеветан, арестован, отставлен от службы и находился некоторое время в заключении. В чем он был оклеветан, не видно из его документов. Но ему удалось оправиться, и он вновь был принят на службу. Они жили в Москве, где их застал 1812 г. При бегстве из Москвы Василию Федоровичу удалось спасти денежный ящик Почтамта со значительной суммой денег и представить его по принадлежности. В Москве они потеряли все движимое имущество. Впоследствии Василий Федорович перевелся в Петербургский почтамт чиновником особых поручений с чином действительного статского советника. За доставление денежного ящика ему было пожаловано имение в 1100 десятин в Гдовском уезде Петербургской губернии, в 80 верстах на юг от г. Нарвы, в 5 верстах от с. Заянья по дороге от деревни Малафьевки, именовавшееся Чертово Жилье, с некоторым количеством крестьян и переименованное им в сельцо Мариинское. Мыза была построена им рядом с деревней на берегу озера, имевшего около одной версты в длину и около полуверсты в ширину, без имени.

По озеру шла граница с соседним имением, принадлежавшим баронессе Е. П. Вревской, урожд<енной> Шмит, которое именовалось Чер-

тово Пустое, оба эти названия происходили от уездной черты, т. е. границы, шедшей в давние времена мимо этих деревень. На возвышенном берегу озера Василий Федорович построил усадьбу, хозяйственные постройки — скотный двор, службы и проч., развел два фруктовых сада, построил грунтовые сараи для вишен и слив. В усадьбе были три постройки: двухэтажный дом, рядом с ним поодаль кухня и далее еще флигель, все построено было в одну линию. В этом-то последнем флигеле любил проводить лето Александр Васильевич. Во флигеле была одна большая комната, сбоку было крыльцо, в нем лестница, рядом с комнатой был коридор с печью, а за коридором две небольшие комнаты. Из коридора был также ход во двор. В большой комнате было три окна с двух сторон. Кругом стен были диваны, на которых можно было спать. При жизни Василия Федоровича случился в деревне пожар, после которого из деревни были сделаны два выселка, в 2-х верстах расстояния от Марьинской: на север — Лотохово и на юг — Васильевская.

Жили Дружинины на Васильевском острове. В 1824 г. их постигло наводнение, и они опять потеряли всю движимость. После этого они переехали на Владимирскую улицу. У них было три сына: Андрей, Григорий (мой отец, родившийся в 1818 г.) и Александр. Василий Федорович и Мария Павловна обладали достаточными средствами и дали сыновьям хорошую домашнюю подготовку. Старшие два брата поступили в Первый кадетский корпус, хотя имели вакансии в Пажеский корпус, но не хотели воспользоваться привилегированным учебным заведением. По окончании курса они вышли в л<ейб>-гв<ардии> Финляндский полк. Ал<ександр> Вас<ильевич> поступил в Пажеский корпус и тоже вышел в тот же полк. Он учился хорошо, знал языки. Ко времени пребывания в Пажеском корпусе относятся первые наброски дневника на французском языке, которые имеются в его бумагах: они писаны на листах синей бумаги.

А<лександр> В<асильевич> недолго оставался в полку: служба его не удовлетворяла, и, выйдя в отставку, он поступил чиновником в канцелярию Военного министра. Будучи офицером, А<лександр> В<асильевич> много читал и быстро. С тех пор он вошел в соглашение с книгопродавцем известным М. О. Вольфом, который давал ему читать все новинки по русской и иностранной литературе. Ал<ександр> В<асильевич> заслужил название «книжной мыши». Нужно заметить, что в то время полковые библиотеки гвардейских полков обладали прекрасным подбором книг, и, по рассказам моего отца, в них были новейшие сочинения на иностранных языках по политической экономии и др. наукам, хотя и были запрещены к обращению в публике, но благодаря содействию того же М. О. Вольфа поступали без цензуры в библиотеки. Этим способом офицеры получали возможность пополнять скудное образование, полученное в корпусах. Но и чиновничья служба не удовлетворила Ал<ександра> В<асильевича>; он вышел в отставку. Связь с Финляндским полком, однако, не прекратилась. Он бывал в офицерском собрании полка, и многие из его однополчан остались его друзьями на всю жизнь. В полку он познакомился с художни-

ком Федотовым, которого поддерживал. Сохранились писанные Федотовым масляной краской портрет М<арии> Павловны, сидящей в кресле во весь рост; эскиз, на котором изображен А<лександр> В<асильевич>, идущий зимой по 11 линии Васильевского острова, и акварель: портреты Ан<дрея>, Гр<игория> и Ал<ександра> Вас<ильевича> сидящих за столом, исполненная по выходе А<лександра> В<асильевича> из полка, так как он уже в штатском платье. Кроме того, рисунки Федотова,— все это находится теперь в Русском музее, в Ленинграде. Акварель же издана в красках в истории Финляндского полка[3]. По смерти отца Ал<ександр> В<асильевич> поселился с матерью до своей смерти, жил в одной с ней квартире. В это время А<лександр> В<асильевич> стяжал себе имя в литературе, и его посещали литераторы, которые любили обедать у него и Марии Павловны, которую тоже почитали и любили.

В 1850 г. женился его брат Григорий и А<лександр> В<асильевич> любил бывать у него, часто обедал. С его женой, а моей матерью, Ольгой Петровной они были друзьями. Он звал ее «Олинькой» (см. Дневник). Нас, детей, он также любил. Мне было всего 5 лет, когда он скончался но мне рассказывали родители, что он любил над нами подшучивать. Так, когда меня остригли под гребенку, он научил меня говорить, когда спрашивали: «Для чего тебя так коротко остригли?» Я должен был отвечать: «Чтобы вша не завелась».

Вторая шутка была следующая. Он спрашивал: «Что ты делаешь?» Я должен был отвечать: «Пишу письма за границу».— «Кому?» — «Герцену».— «О чем?» — «О том, что наш царь помешался». Приходит к нам как-то Д. В. Григорович, и вот ему говорят, чтобы он спросил меня, чем я занят. Он спросил, а я ответил по-заученному. Он замахал руками, запрещая, чтобы я никогда так не говорил, потому что за это могут посадить в тюрьму. Этим и закончилась «политическая» шутка.

Дневник свой, на листах писчей бумаги, не сшитых между собой, А<лександр> В<асильевич> начал писать в половине 40-х гг. Каждую весну М<ария> П<авловна> и Ал<ександр> Вас<ильевич> уезжали на лето в Марьинское. М<ария> П<авловна> хозяйничала в имении, а А<лександр> В<асильевич> поселялся в своем флигеле и там продолжал заниматься литературой, редакцией «Библиотеки для чтения»; книги же получал из Петербурга, продолжал ведение своего дневника, в который вносил впечатления деревенской жизни, о посещении соседей, о приезжавших к нему и к матери его гостях. В хозяйство он не входил, только по освобождении крестьян он увеличил им земельные наделы против положенной нормы.

К нему приезжали Григорович, Некрасов и Тургенев — последние два ярые охотники. Они помещались в большой комнате флигеля, но бывали дома только утром и вечером, а весь день (кроме Григоровича) пропадали на охоте. Об этих посещениях есть сведения в Дневнике. Вечером они беседовали и занимались «чернокнижием», т. е. сочинением нецензурных стихотворений порнографического характера, писанных рукой Некрасова и Тургенева. В некоторых из них упоминают-

ся приятели их: В. П. Боткин, Д. В. Григорович, М. Н. Лонгинов и др.[4] Есть предание, что Григорович написал в Марьинском часть своих «Рыбаков»[5].

В 1853 г. Григорович нарисовал карандашом портрет А<лександра> В<асильевича>, Тургенева и Боткина. Этот рисунок находится теперь в Толстовском музее в Москве.

Нужно заметить, что А<лександр> В<асильевич> очень любил Марьинское. По этому поводу острил Григорович, что летом в Марьинском растут мох и богородицына травка, но зато зимой цветут на воздухе розы.

Поздней осенью в начале октября М<ария> П<авловна> и А<лександр> В<асильевич> возвращались в город, но ехали отдельно. М<ария> П<авловна> — в большой карете, запряженной четверкой, в которой помещалась она сама и три ее прислуги; на козлах сидел ее лакей. В карету складывался разный домашний скарб. Ехала М<ария> П<авловна> через усадьбы знакомых ей помещиков и останавливалась на день — на два в каждой усадьбе.

А<лександр> В<асильевич> прожил с матерью до своей смерти. У него была небольшая библиотека, которая погибла после его смерти и только впоследствии жалкие ее остатки, по преимуществу отдельные номера французских и английских журналов попали к моему отцу. После смерти А<лександра> В<асильевича> мой отец поместил М<арию> Пав<ловну> в тот же дом, где жил сам с семьей, на Моховую, в д. № 8. У ней была отдельная квартира, сообщавшаяся с квартирой отца через чистую черную лестницу. Она продолжала жить своим хозяйством и ездила каждую весну в Марьинское. В 1870 г. пришлось переменить квартиры, и отец купил дом № 23 по Сергиевской улице и в нижнем этаже поселил М<арию> П<авловну>. Ее квартира сообщалась внутренней винтовой лестницей. В декабре 1871 г. М<ария> П<авловна> тихо скончалась на 97 г. жизни. Она заснула.

После смерти А<лександра> В<асильевича> все его бумаги и Дневник были переданы моему отцу. При издании сочинений А<лександра> В<асильевича> архив с Дневником были переданы для чего-то Гаевскому, в бумагах которого случайно остались первые листы Дневника[6]. Теперь они находятся в б<ывшем> Пушкинском Доме в бумагах В. П. Гаевского. Потом архив и Дневник вернулись к отцу моему, и он сохранял их у себя в кабинете до своей смерти (1889 г.), но никому их не давал. Только при 25-летнем юбилее Литературного фонда он дал Л. Н. Майкову письма В. П. Боткина. Кое-какие из этих писем были им изданы в юбилейном сборнике[7]. После смерти отца я нашел весь этот архив, но тоже не разрабатывал его, занятый другими делами и литературными работами. Незадолго до своей кончины академик Л. Н. Майков просил меня разрешить ему ознакомиться с архивом А<лександра> В<асильевича>, чтобы издать его. Я передал ему бумаги, но без права снятия с них копий. Но он вскоре умер, ничего не сделав, и я получил архив уже после его смерти от его вдовы. С тех

пор прошло несколько лет. Акад. Н. А. Котляревский и Б. Л. Модзалевский задумали издать бумаги и Дневник А<лександра> В<асильевича> в изданиях Академии наук. Издание, как и предполагалось, должно было занять до 40 печатных листов. Но это издание тоже не состоялось. Я только дал для печати письма И. А. Гончарова — в собрание Пушкинского Дома [8] и письма Щедрина — в собрание писем последнего [9]. На выставке «Пушкин и его современники» в Академии наук были выставлены: литературная группа и листы Дневника, на которых о ней говорится. Когда был юбилей Л. Н. Толстого, К. И. Чуковский купил для «Красной газеты» право использовать письма Толстого к А<лександру> В<асильевичу>, но самих писем не опубликовал [10]. В то же время Цявловский получил от меня разрешение ознакомиться с теми листами дневника, где говорится о Толстом, но выкопировать эти листы я не позволил. Я принес Дневник в Археографическую комиссию, и там Цявловский читал эти листы. Никакой речи о втором экземпляре дневника не было. К. И. Чуковский, которому я разрешил ознакомиться с дневником для доклада в Пушкинском Доме о литературной деятельности А<лександра> В<асильевича>, тоже ничего о втором экземпляре Дневника не упоминал. Доклад остался ненапечатанным.

В 1916—1917 гг. редактор-издатель журнала «Библиография» [11] Соловьева-Трефилова через проф. Шляпкина предложила издать архив А<лександра> В<асильевича>, в том числе и Дневник при журнале под редакцией проф. Шляпкина. Было об этом напечатано объявление в журнале и заключено условие. Живя у меня, пр<офессор> Шляпкин написал введение к бумагам биографического характера, я ему помогал, сообщая сведения о лицах, которых знал. Введение было сдано в типографию «Скорпион», где и пропало в 1917 г. при закрытии типографии. Несколько листов (два-три) Дневника были уже скопированы на машинке. Издание не осуществилось.

Несколько лет спустя московский издатель Сабашников тоже хотел предпринять издание бумаг, выпросил у меня копию с листов (двух-трех), сделанную для «Библиофила», чтобы ознакомиться с содержанием Дневника, обещая вернуть ее. Я послал ему эту копию, но, несмотря на повторные напоминания, почтенный издатель копии мне не вернул. После этой попытки бумаги А<лександра> В<асильевича> оставались у меня, а теперь перешли к моему сыну, тоже Александру Васильевичу. Из наследия А<лександра> В<асильевича> я продал в Толстовский музей в Москву подлинную группу литераторов, поясной фотографический портрет А<лександра> В<асильевича> работы Деньера, с которого сделан гравированный снимок, приложенный к изданию сочинений А<лександра> В<асильевича> (значительно уменьшенный), рисунок карандашом Григоровича, изображающий А<лександра> В<асильевича>, Тургенева и В. П. Боткина, сделанный в Марьинском в 1853 г.[12] Письма В. П. Боткина были мною переданы И. А. Шляпкину в Белоостров, где он постоянно жил, для работы по

введению. Он забыл мне их вернуть, а в архиве его я их не нашел, очевидно, опытная рука извлекла их оттуда [13].

В. Дружинин.

Ростов, май, 29 число, 1933 г.

Умер А<лександр> В<асильевич> в 1864 г. и похоронен на Смоленском кладбище, рядом с ним похоронена его мать Мария Павловна. Могила окружена цоколем; над каждым положена плита из черного гранита и между ними такой же крест.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Б. Ф. Егоров

ПРОЗА А. В. ДРУЖИНИНА

В русскую литературную жизнь конца сороковых годов Дружинин вошел как автор «Полиньки Сакс». В следующем десятилетии наиболее известными стали фельетоны Дружинина и его критические статьи. Меньшее впечатление произвели на критику и публику его переводы шекспировских трагедий («Король Лир», «Кориолан», «Король Ричард III», «Жизнь и смерть короля Джона»), хотя они сохраняют свое художественное значение и в наши дни. Посмертно в литературном сознании многих поколений Дружинин остался как либеральный критик, «англоман», защитник «чистого искусства» [1]. Правда, исследованиями и публикациями последних десятилетий [2] репутация эта несколько поколеблена. Дружинин оказался значительно более сложным и иногда более демократичным. К тому же, смеем надеяться, публикация многолетнего Дневника писателя, впервые осуществленная в настоящем издании, достаточно основательно раскроет читателю идейные и художественные интересы автора. Дневник позволяет понять противоречивую натуру Дружинина и не менее противоречивое его мировоззрение, вводит в творческую лабораторию писателя, в новом свете обрисовывает известные художественные произведения Дружинина, а главное, является своеобразной летописью русской литературной и журналистской жизни пятидесятых годов, «справочником» не менее важным, чем

---

[1] См.: *Чуковский К. И.* Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934.

[2] *Герштейн Э.* Новый источник для биографии Лермонтова: Неизвестная рукопись А. В. Дружинина.— Лит. наследство, 1959, т. 67; *Демченко А. А.* Из истории полемики Чернышевского с А. В. Дружининым.— В кн.: Н. Г. Чернышевский: Статьи, исследования и материалы 4. Саратов, 1966; *Зельдович М. Г.* Неопубликованная статья А. В. Дружинина о Некрасове.—Некрасовский сб., 4. Л., 1967; *Штейнгольд А. М.* Дружинин, а не Михайлов.— Русская литература, 1970; № 4; *Ямпольский И. Г.* Заметки о Чернышевском: (К полемике Н. Г. Чернышевского с А. В. Дружининым).— В кн.: Н. Г. Чернышевский: Статьи, исследования и материалы, 8. Саратов, 1978; *Мещеряков В. П.* Чернышевский, Дружинин и Григорович.— В кн.: Н. Г. Чернышевский: Эстетика. Литература. Критика. Л., 1979; *Рябцева Т. Ф.* А. В. Дружинин-писатель: Канд. дис. Л., 1980; *Она же.* О «литературности» и «театральности» в прозе и критике А. В. Дружинина.— Науч. тр. Курского пед. ин-та, 1981, т. 216; *Зельдович М. Г.* А. Дружинин или А. Рыжов? (Об авторе отклика «Библиотеки для чтения» на эстетическую концепцию Чернышевского).— Русская литература, 1980, № 3; *Осповат А.* Короткий день русского «эстетизма» (В. П. Боткин и А. В. Дружинин).— Лит. учеба, 1981, № 3; *Егоров Б. Ф.* Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л., 1982; *Скатов Н. Н.* А. В. Дружинин — литературный критик.— Русская литература, 1982, № 4; *Осповат А.* А. В. Дружинин о молодом Достоевском.— В кн.: Достоевский: Материалы и исследования, 5. Л., 1983; *Дружинин А. В.* Литературная критика/ Вступ. ст. Н. Н. Скатова, примеч. В. А. Котельникова. М., 1983.

другие произведения этого рода (скажем, чем Дневник А. В. Никитенко).

Александр Васильевич Дружинин родился 8 октября 1824 г. в семье видного петербургского чиновника почтового ведомства. Отец, Василий Федорович, отличался большим трудолюбием и исключительной честностью (в трудные недели отступления из Москвы в 1812 г. он спас и сохранил денежный ящик Московского почтамта, за что был награжден большим имением Мариинское в Гдовском уезде Петербургской губернии). Трудолюбие и честность — отличительные качества и Александра Васильевича. Будущий писатель получил хорошее домашнее воспитание. В 1840 г. он поступил сразу во 2-й класс Пажеского корпуса, одного из самых привилегированных учебных заведений России. Здесь началась литературная деятельность Дружинина, главным образом как поэта-сатирика, высмеивающего начальство и товарищей.

В августе 1843 г. Дружинин был выпущен из корпуса и произведен прапорщиком лейб-гвардии Финляндского полка, где уже служили его два старших брата. Самое важное событие той поры — дружба будущего писателя с П. А. Федотовым, тогда офицером Финляндского полка, уже получившим известность художником. Дружинин оставил о нем ценную статью «Воспоминания о русском художнике Павле Андреевиче Федотове», опубликованную в «Современнике» (1853).

Слабое здоровье, недостаточность средств (отец умер к этому времени), а главное, все большая тяга к литературе отдалили Дружинина от интересов офицерской среды. Правда, товарищи единогласно избрали его полковым библиотекарем, и Дружинин много сил положил на приобретение серьезных книг и журналов. Но все же в январе 1846 г. он выходит в отставку в чине подпоручика и поступает на службу в канцелярию военного министерства, где трудился до января 1851 г., когда окончательно вышел в отставку в чине коллежского асессора. В эти годы Дружинин полностью уже погрузился в литературную работу.

Вторая половина сороковых годов в русской литературе была переломной. Относительная замороженность общественной жизни, своеобразная неподвижность, закостенелость ее сказывались и в некотором равнодушии общества к поэзии и драматургии, неизменным спутникам интенсивных эпох. На первый план выдвигалась аналитическая проза. Громадный успех имели альманахи, изданные Н. А. Некрасовым: «Физиология Петербурга» (1845) и «Петербургский сборник» (1846), с повестями и очерками Белинского, Тургенева, Герцена, Григоровича, Достоевского, Даля, Панаева и других авторов. Это были своеобразные манифесты «натуральной школы», реалистической школы, возглавляемой и пропагандируемой В. Г. Белинским. Усваивая великие достижения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, она опиралась на социальный анализ, особенно выделяя типизацию (даже «массовость») образов и демократизацию типов и сюжетов. На первых порах такие принципы приводили к некоторой статичности и внешней описательности, но даже на ранних этапах становления «натуральной школы» заметно стремление наибо-

лее талантливых писателей углубиться в подробности жизни героев, показать движение мыслей и чувств персонажей (повесть Ф. М. Достоевского «Бедные люди», 1846). Социальная типизация и психологизм, динамическое движение событий, расширение области художественного изображения характерны для первых цельносюжетных романов «натуральной школы» — «Кто виноват?» А. И. Герцена и «Обыкновенная история» И. А. Гончарова, появившихся в 1847 г.

В сороковых годах в условиях общественно-политической консервации обильно расцвели разного рода утопии. Мы видим конструирование идеалов социальных, этических, педагогико-воспитательных и т. п. Возникают общественные утопии самых разных видов — от крайне социалистических (идеи петрашевцев) до крайне реакционных (славянофильские концепции). Возродился и новый вариант романтизма в литературе, метод, где должное вытесняет сущее, идеал торжествует над реальностью (философские повести В. Ф. Одоевского, романы А. Ф. Вельтмана, рассказы и повести Ап. Григорьева). Большое впечатление производили на русского читателя ранние романы и рассказы Ч. Диккенса, где причудливо смешивались реалистическая сатира и романтическая сказка, трезвый критический взгляд на современный мир и сентиментальные настроения. Колоссальный успех имели в сороковых годах романтические романы Жорж Санд, в центре которых стояла главенствующая проблема западноевропейской и русской мысли той поры: освобождение личности (особенно женщины) от общественных пут, от традиционной морали. Этот вопрос в совокупности с больной русской проблемой — судьбами крепостного крестьянства — был главным и для «натуральной школы», а некоторая расплывчатость в постановке и решении его вносила романтическую «дымку» и в реалистический метод.

Все это отложило отпечаток на творчество Дружинина.

От ранней поры его литературной деятельности почти ничего не сохранилось. Дошедшие до нас наброски и замыслы содержатся в папке Дневника и публикуются в настоящем томе. Как видно, это все наброски повестей, рассказов, очерков. Среди них несколько особняком выглядят включенные в Дневник разработки планов пьес из истории Европы начала XIX в. и Италии эпохи раннего Возрождения. Однако обнаруженный в архиве Дружинина набросок краткого содержания драмы о семье Саксов (он публикуется в разделе «Дополнения») свидетельствует, что молодой литератор скорее готовил себя к поприщу драматурга, чем к роли прозаика,— мы узнаем об успехе первой пьесы юного автора «Жена игрока» (на какой-то любительской сцене? в полку? на домашнем спектакле у родных? — сведений нет; ни в каких репертуарных списках известных театров эта пьеса не числится).

Будущая «Полинька Сакс», оказывается, мыслилась тоже в виде драмы. Подробный план этой драмы, к сожалению, или не дописанный, или не сохранившийся полностью, многое раскрывает в творческой истории самой знаменитой из повестей Дружинина. Основная сюжетная канва да и основные черты характера всех трех главных персонажей были задуманы в основном так же, как и в окончательном прозаиче-

ском варианте 1847 г. Интересны, однако, некоторые оттенки, которые показательны именно для первоначального плана. Прежде всего это отчетливое стремление к творческой полемике с Жорж Санд, ибо совершенно ясно, что Дружинин задумал сюжет с прямой проекцией на роман Жорж Санд «Жак» (1834), и любой читатель, помнивший французский образец, видел это невооруженным глазом (тем более что с романом можно было познакомиться не только по-французски: он был переведен и опубликован в 1844 г. в «Отечественных записках», хотя и в очень урезанном цензурой виде).

Сюжет «Жака» как будто бы точно предваряет замысел «Полиньки Сакс»: честный, умный, немолодой Жак женится на юной и недалекой Фернанде, вскоре влюбляющейся в красивого, пустоватого Октава; Жак, не желая препятствовать их взаимной любви, добровольно устраняется. Многие детали сюжета дружининской повести также напоминают роман Жорж Санд: отъезд Жака из дому, откровенности в переписке Фернанды с подругой-наперсницей Клеманс и т. п., не говоря уже об эпистолярной форме обоих произведений, изредка нарушаемой вставками от автора-издателя писем (однако следует учесть, что эпистолярная форма повествования вообще широко применялась в западноевропейской и русской литературе, особенно в периоды сентиментализма и романтизма).

Все эти совпадения давали повод чуть ли не всем исследователям подчеркнуть вторичность, подражательность «Полиньки Сакс»: «...юный Дружинин целиком взял сюжет и основные мотивы своей повести из Жорж-Зандовского „Жака“»[3]; «Написанная под сильным влиянием повести Жорж Санд „Жак“, „Полинька Сакс“ не отличалась художественной самостоятельностью»[4]; «Дружинин пытался прямо скопировать Ж. Санд в «Полиньке Сакс», но произведение получилось слабое, искусственное»[5]. Правда, есть статьи о Дружинине, в которых разделы о «Полиньке Сакс» вообще обходятся без упоминания Жорж Санд, как будто бы «Жака» и на свете не существовало[6], но это уже исключение, а не правило. Был и случай, когда подчеркивалось, что на «Полиньку Сакс» «повлияли не лучшие, наиболее острые в социальном отношении произведения французской писательницы, а ее незначительная повесть „Вальведр“, к которой „Полинька Сакс“ близка даже в деталях»[7]. Но повесть «Вальведр» относится к значительно более позднему периоду творчества Жорж Санд (1861), поэтому ни о каком воздействии ее на «Полиньку Сакс» не может быть и речи.

---

[3] *Венгеров С. А.* Собр. соч. СПб., 1911, т. 5, с. 21.

[4] *Цейтлин А. Г.* Русская литература первой половины XIX века. М., 1940, с. 391.

[5] *Кулешов В. И.* Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке (первая половина). 2-е изд. М., 1977, с. 176.

[6] *Кирпичников А.* Забытый талант.— Ист. вестник, 1884, № 4, с. 37—38; *Мейлах Б.* Русская повесть 40—50-х годов XIX века — В кн.: Русские повести 40—50-х годов. М., 1952, т. 1, с. XLII—XLIII.

[7] *Вердеревская Н. А.* Становление типа разночинца в русской реалистической литературе 40—60-х годов XIX века. Казань, 1975, с. 123.

Как бы то ни было, конечно же, Дружинин ориентировался на романы Жорж Санд и на «Жака» в особенности. Но, оказывается, уже на раннем этапе работы над сюжетом, в конспекте драмы он спорит с писательницей, видя в ее женских образах неестественную, нарочитую экзальтацию: «Женщины Жорж Занда даже часто смешны идеальным своим взглядом на жизнь и исключительностью своих чувств в пользу одной страсти». Удивительно точно сказано! Идеализация женских образов, женской любви имела место и в русской литературе. Но что же касается «исключительности чувств в пользу одной страсти», и именно страсти любовной,— это в самом деле своеобразие Жорж Санд. Хотя сходные женские образы мы найдем в новейшей французской литературе той поры (и у Стендаля, и у Мериме), Жорж Санд довела эти особенности до гиперболизма, до болезненности.

Герои жорж-сандовского «Жака» на протяжении всего повествования погружены в атмосферу любви, упоительно купаются в ней, сказочно преодолевают все препятствия (например, Октав, окруженный в доме разгневанными офицерами, все же умудряется каким-то образом по крышам убежать от своих караульщиков). Все персонажи, за исключением отвратительной мадам де Терсан, идеальны, возвышенны, благородны и своей жизнью как бы искупают и преодолевают грязные, греховные связи предшествующих поколений (например, чистейшая и честнейшая Сильвия — плод прелюбодейства; по матери она сводная сестра Фернанды, по отцу — Жака). Даже эгоистичный в своей страсти Октав полон благородства и самопожертвования.

Хотя любовь — основное побуждение героев, однако сквозь весь роман проходит лейтмотивом мысль, что любовь временна, что она непостоянное чувство и что заранее любящим уготован печальный финал. Жак требует уничтожить брак, взаимную обязательную связанность, как «одно из самых варварских установлений, которые создала цивилизация»; необходимо лишь обеспечить «существование детей, рожденных от союза мужчины и женщины, не сковывающего навсегда их свободу» (письмо 6-е, от Жака к Сильвии). Некоторые персонажи предаются свободной любви, не будучи в браке (Сильвия, Октав).

Романтический максимализм, гипертрофия личного, индивидуалистического начала во многом объясняются стремлением противостоять прозаической действительности, что особенно сказывалось в женских образах и характерах, отгороженных от общественной деятельности, в которых усиливались и углублялись именно любовные страсти.

В русском же быту, в общественном сознании, отражаемом, естественно, и в литературе, поведение женщины и изображение женской страсти предполагало известные границы; во многих произведениях ощущаются жесткие нравственные запреты (образ Веры в «Герое нашего времени») или сила традиционных нравственных идеалов (пушкинская Татьяна). В сороковых годах чрезмерность страсти воспринималась уже как искусственная душевная распущенность (любовные переживания юного Адуева в «Обыкновенной истории» Гончарова) и все больше проступает трезвое, даже ироническое, отношение к романти-

ческим страстям и героям, как правило применительно к мужским персонажам.

Женские образы в русской литературе традиционно разрабатывались с особым вниманием к высшим духовным ценностям, противопоставленным «низменным» страстям. Вообще «страсти» были отданы лирике и опоэтизированы в творчестве Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Фета. В прозе лишь Тургенев в середине века новаторски стал разрабатывать соответствующие темы.

Пройдя сложный путь, пережив в шестидесятых годах своеобразный схематизм и даже «нигилизм» по отношению к любовным темам (рационализм разночинной интеллигенции противостоял темам «идеальной» любви у дворянских писателей), русская проза лишь позднее, в семидесятых годах, вновь пристально разрабатывает эти мотивы и глубоко, всесторонне, детально раскрывает любовные чувства героев (романы Достоевского, Л. Толстого, драмы Островского). Произведения Жорж Санд в сороковых годах восполняли недостаток романтических настроений в русских повестях и романах, с одной стороны, и живо соответствовали наметившемуся тогда интересу к проблемам эмансипации женщины — с другой. При этом ситуации, придуманные французской писательницей, получали подчас неожиданное наполнение под пером русского автора. Так, главный персонаж Дружинина — при сохранении его той же сюжетной функции — приобретает черты, характерные именно для русского общества середины XIX в.

В романе Жорж Санд Жак нигде не служит, жизнь офицера, пережившего «поход» 1812 г. в Россию, осталась позади, во время действия романа Жак по целым дням лежит на ковре и курит. Ничего подобного нет у Дружинина. Главный его герой, Сакс, не меньше, если не больше, чем семейной жизнью, занят своей служебной деятельностью[8]. Уже в раннем плане драмы он получил свою фамилию, явно намекающую на его немецкое (прибалтийское?) происхождение. Это и понятно: деятельный мир петербургского чиновничества был густо насыщен немецкими семьями, и недаром петербургские персонажи русской прозы, отличавшиеся активностью, жизненной энергией, получали немецкие имена — от пушкинского Германна из «Пиковой дамы» до гончаровского Штольца (Гоголь в «Мертвых душах» избрал греческую фамилию для подобного персонажа — Костанжогло, но там действие перенесено в одну из южных губерний).

В отличие от будущей повести в первоначальном драматическом замысле Сакс направлял свою незаурядную энергию не на служебные дела или улучшение жизни своих крестьян (в повести он намеревался даже освободить их от крепостной неволи), а на борьбу с соперником графом Галицким, ставшим мужем его бывшей жены. Правда, Галицкий, по контексту драмы,— ничтожный человек, достоин презрения, он легковесен,

---

[8] См.: *Кийко Е. И.* Сюжеты и герои повестей натуральной школы.— В кн.: Русская повесть XIX в. Под ред. Б. С. Мейлаха. Л., 1973, с. 325—327.

подл, готов в угоду всесильному вельможе князю *** взять в любовницы «скандальную даму», к которой охладел князь, и способствовать сближению князя с собственной женой. Сакс раннего варианта отнюдь не идеальный герой, и он подкупает Гиршбейна, поверенного Галицкого, чтобы знать намерения соперника, и мстит подметными письмами, доносами... Этот сюжет дает возможность достаточно правдиво показать характер озлобленного чиновника в реальности николаевской эпохи. Месть его ограничена тоже чиновничьими сферами и идеалами, хотя возможности Сакса, свободно распоряжающегося должностями и связями, явно преувеличены автором[9].

Бесспорно, на замысел Дружинина влияла романтическая драма, особенно лермонтовский «Маскарад» с его магистральными темами страдания и мести.

Озлобленная душа Сакса в какой-то степени также отдаленное предвестье будущих персонажей Достоевского, первые шаги русской реалистической литературы в разработке подобных характеров.

Некоторые сходные черты проявляются и в других ранних повестях и рассказах Дружинина, например в «Лоле Монтес», отданной в 1848 г. в некрасовский «Иллюстрированный альманах» (повесть и альманах в целом были запрещены цензурой). Вынужденная дать согласие на брак с противным стариком, героиня жаждет опутать его своими лицемерными ласками, разорить, обесчестить, «покрыть срамом» его имя...

Подобные черты характера, несомненно реально существовавшие в жизни, в литературном изображении казались весьма необычными, отсутствие прямого авторского осуждения воспринималось как недостаток. Гармоничный П. В. Анненков в обзорной статье «Заметки о русской литературе прошлого года» («Современник», 1849) недоумевает по поводу ситуации, изображенной в повести М. М. Достоевского «Господин Светелкин», когда Наташе, героине повести, может быть приятно находить пороки в женихе, «чтоб надеждой на будущие страдания возвратить себе утраченное право по-прежнему гордо смотреть на жалкую, всепорабощающую посредственность»[10].

Сближают раннего Сакса с будущими персонажами Достоевского и непредсказуемые повороты чувств и поступков, совсем не в духе размеренного существования петербургского чиновника немецкого происхождения. Твердо решивший было уклониться от дуэли, навязываемой ему Галицким, он взрывается, когда тот подозревает жену «в тайных сношениях с бывшим ее мужем», и принимает вызов; полный любви к своей бывшей жене, он в ответ на ее любовные признания вдруг приходит в ярость, «проклинает несчастную, укоряет ее во всех своих бедствиях, от-

---

[9] Сакс считает, например, что ему ничего не стоит получить место губернатора в нужной губернии. Ср. продолжение «Анны Карениной», придуманное К. Леонтьевым для обуздания ненавистных ему либералов: Вронский назначается губернатором в ту местность, где экспериментирует Левин; Вронский ссылает Левина в монастырь. См.: *Леонтьев К.* Собр. соч. СПб., 1913, т. 7, с. 276.

[10] *Анненков П. В.* Воспоминания и критические очерки. СПб., 1879, т. 2, с. 36.

вергает мысль примирения и признается в вечной своей ненависти» — и все же намеревается симулировать умирание, чтобы подсмотреть реакцию измученной женщины...

На этом рукопись Дружинина обрывается, мы так и не узнаем, каков был первоначальный замысел развязки. Однако все отмеченные «достоевские» черты персонажей ненаписанной драмы отличают ранний вариант произведения как от романа «Жак», так и от журнального текста «Полиньки Сакс». В повести будут совершенно убраны все гнусности Галицкого, он остается просто легкомысленным светским шалопаем, вместо титула графа он получит княжеский титул (впрочем, уже в замысле драмы, видимо, Дружинин в одном месте написал вместо «граф» «князь»); исчезает вельможа князь *** вместе со «скандальной дамой», исчезнут и все мстительные выходки Сакса. Константин Сакс приобретает лишь одни положительные черты, тем самым как бы приближаясь к персонажам «Жака», прежде всего к его главному герою, но лишь в самой общей интонации, возвышающей образ в противовес сентиментальной неглубокой героине. Персонаж Дружинина — предчувствие активной личности, деятельность которой соответствовала бы общественным потребностям страны.

Образ Полиньки по сравнению с первоначальным замыслом рядом с главным героем станет значительно менее схематичным. Ранняя полемика Дружинина с Жорж Санд, недовольство ходульной идеальностью ее героинь углубится в повести. Полинька в отличие от Фернанды, жадно учившейся у Жака и Сильвии, равнодушна к знаниям и навыкам, которые ей в изобилии настойчиво предлагает Сакс. Дружинин сильнее, чем Жорж Санд, подчеркивает последствия воспитания в закрытых пансионах. Полинька, руководствуясь ограниченными вкусами и представлениями, привитыми пансионом, совершенно не понимает, не ценит ни ума, ни нравственных достоинств Сакса. Но перед смертью наступает прозрение, и она запоздало страстно в него влюбляется и гибнет.

Проблема развода у Дружинина очень скомкана, вынесена за пределы сюжета: ведь в условиях николаевского времени бракоразводный процесс был чрезвычайно трудным, почти невозможным в реальной жизни делом. Дружинин предпочел здесь по аналогии с некоторыми сюжетными ходами раннего драматического варианта сказочно-романтическое разрешение ситуации; как удалось Саксу добиться развода, мы не знаем.

Дружинин вообще весьма романтичен в описании всех служебных подвигов Сакса: герой безукоризненно честен, демократичен, разоблачает махинации весьма «почтенных особ», и не он, а они летят со своих должностей и т. п. [11]

Зато более реалистической по сравнению с романом Жорж Санд вы-

---

[11] Белинский в письме к К. Д. Кавелину от 7 декабря 1847 г., как будто бы прямо метя в повесть Дружинина, раскрывает разницу между романтическим («реторическим»

глядит развязка повести. Там сильный, мужественный Жак все берет на себя и уходит из жизни, освобождая влюбленную в Октава свою жену, Фернанду. А у Дружинина главная нравственная, психологическая тяжесть последствий развода легла на женщину, и слабый организм Полиньки не смог сопротивляться скоротечной чахотке.

Злободневный в общеевропейском масштабе женский вопрос, уже становившийся актуальным в России (наиболее остро борьба за женское равноправие разгорится в шестидесятых годах), явная симпатия автора к образу Полиньки, великодушие и благородство героя, подробные психологические очерки характеров благодаря самораскрытию персонажей в их письмах, динамический сюжет, живой разговорный язык — все это принесло «Полиньке Сакс» заслуженный успех.

Недоброжелательный к Дружинину А. В. Старчевский в своих воспоминаниях о писателе (корыстный, скупой журналист, фактический хозяин «Библиотеки для чтения» начала пятидесятых годов, до смерти не мог забыть презрения, которое к нему питал Дружинин) тем не менее должен был признать: «После того, как „Полинька Сакс“ облетела всю Россию, после того, как не было русского семейства, где бы и матери и дочки не засыпали с этой повестью в руках, не старались всеми путями и средствами собрать справки: кто такой этот симпатичный адвокат и защитник всякой увлекшейся неопытной девушки и женщины <...>— Дружинину открыты были двери всех гостиных, салонов и будуаров... Каждая дама того времени считала за счастье увидеть Дружинина, хотя украдкой взглянуть на этого милого человека» [12].

В архиве Дружинина хранится письмо переводчицы Н. М. Латкиной от 12 марта 1857 г.: «... я никогда не смела бы и мечтать, чтоб ко мне написал автор „Полиньки Сакс“ (*Письма*, с. 10). Но не только женщины, мужская половина русских читателей тоже отнеслась к молодому прозаику весьма одобрительно. В 1862 г. известный романист Г. П. Данилевский вспоминал в письме к Дружинину, какое впечатление на него, студента, произвел дебют адресата (Данилевский пишет о себе в третьем лице): «Студентом он очумел от прелестей Полиньки Сакс <...> Ему указывали Вас на улице; он, как некий тать, следил Вас однажды от былого Исаакиевского моста, по Кадетской улице, до рынка, что на Большом проспекте. Бледноватый джентльмен в долгополом пальто и

по Белинскому) и реалистическим («натуральным») методами в литературе: «Вот, например, честный секретарь уездного суда. Писатель реторической школы, изобразив его гражданские и юридические подвиги, кончит тем, <что> за его добродетель он получает большой чин и делается губернатором, а там и сенатором. Это цензура пропустит со всею охотою, какими бы негодяями ни был обставлен этот идеальный герой повести, ибо он один выкупает с лихвою наши общественные недостатки. Но писатель натуральной школы, для которого всего дороже истина, под конец повести представит, что героя опутали со всех сторон и запутали, засудили, отрешили с бесчестием от места, которое он *портил,* и пустили с семьею по миру, если не сослали в Сибирь...» (*Белинский,* XII, 460).

[12] *Старчевский А.* Александр Васильевич Дружинин.— Наблюдатель, 1885, № 4, с. 115.

с портфелью под мышкой шествовал тогда пред ним по безобразным дырявым тротуарчикам, не поднимая глаз. А глупый студент, с румяными выпуклыми щеками, шествовал сзади, затаивши невиннейшее дыхание!» (*Письма*, с. 115).

И скупой на похвалы Некрасов писал Тургеневу в Париж 11 декабря 1847 г.: «Читайте в 12 № „Совр<еменника>“ „Полиньку Сакс“, автор — небывалый прежде, а каков — увидите» (*Некрасов*, X, 94).

Печатные отзывы крупнейших литературных критиков того времени о «Полиньке Сакс» были также положительными. Даже в ревниво соперничающих с «Современником» «Отечественных записках» появилась хотя и краткая, но вполне сочувственная характеристика — в обзоре А. Д. Галахова «Русская литература в 1847 году»[13]: „Полинька Сакс“ Дружинина обещает в будущих трудах автора — если он в первый раз является в литературе — нечто отменно хорошее»[14].

Наиболее разносторонние и объективные отзывы о «Полиньке Сакс» принадлежат Белинскому. Один из них, более откровенный, содержится в частном письме к В. П. Боткину от 2—6 декабря 1847 г.: «Эта повесть мне очень понравилась. Герой черезчур идеализирован и уж слишком напоминает сандовского Жака, есть положения довольно натянутые, местами пахнет мелодрамою, все юно и незрело,— и, несмотря на то, хорошо, дельно, да еще как! Некр<асов> давал мне читать в рукописи. Прочтя, я сказал: если это произведение молодого человека, от него можно многого надеяться, но если зрелого — ничего или почти ничего» (*Белинский,* XII, 444).

Второй известный нам отзыв Белинского — в последней обзорной статье критика «Взгляд на русскую литературу 1847 года»: «Многое в этой повести отзывается незрелостью мысли, преувеличением, лицо Сакса немножко идеально; несмотря на то, в повести так много истины, так много душевной теплоты и верного сознательного понимания действительности, так много таланта, и в таланте так много самобытности, что повесть тотчас же обратила на себя общее внимание. Особенно хорошо в ней выдержан характер героини повести — видно, что автор хорошо знает русскую женщину» (*Белинский*, X, 347). Показательно, что критик подчеркивает понимание писателем действительности, самобытность таланта, удачно обрисованный характер «русской женщины», а не подражательность и идеализацию героев.

«Полинька Сакс» оказала воздействие на литературу. Подробное, свободное, хотя и сентиментальное, описание женской любви вошло в русскую прозу как предвестие женских образов Тургенева и Достоевского. Но для настроений того времени примечательно, что особый успех имел образ Сакса: видимо, в переломную эпоху, когда начиналась в России буржуазная эра, когда в жизнь все интенсивнее входили силь-

---

[13] Общий анализ этой статьи см. в кн.: *Кулешов В. И.* «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. М., 1959, с. 246—252.

[14] Отечественные записки, 1848, № 1, отд. V, с. 24.

ные личности и энергичные деятели-практики, образ Константина Сакса стал важным литературным открытием.

Явились и прямые подражатели, например удивительно переимчивый М. В. Авдеев, который в своем романе «Тамарин» (1850) следовал не только за Лермонтовым (Тамарин — ухудшенная и сниженная копия Печорина), но и за Дружининым: бесстрашный борец за правду в служебном, чиновничьем мире, Иванов чуть ли не пародийная копия с Сакса. Об этом ядовито писал в рецензии на сочинения М. В. Авдеева молодой Чернышевский (1854): «... гораздо легче браться за переделку, правда, не колоссальных, а просто очень хороших произведений, например, хоть за переделку „Полиньки Сакс", превосходный снимок с которой заканчивает „Тамарина" [15].

Несомненно воздействие дружининской повести и на значительные произведения русской литературы, на гончаровского «Обломова» (образ Штольца) и в особенности на роман А. Ф. Писемского «Тысяча душ» (1858), где образ Калиновича — усложненное и углубленное продолжение типа Сакса. Писемский работал над романом в тесном общении с Дружининым, будучи его помощником по редактированию «Библиотеки для чтения». Интересно, что герой романа Калинович сочиняет повесть — в подражание «Жаку» Жорж Санд, как отмечает другой персонаж романа, критик Зыков, прототипом которого для Писемского послужил Белинский.

Заметим, что ситуация самоустранения мужа, узнавшего о любви жены к другому, ставшая особенно известной у нас благодаря роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1863), усвоена через Дружинина и существовала в отечественной литературе вплоть до начала XX в., когда появилась драма Л. Толстого «Живой труп» (1900).

Вторым произведением Дружинина, опубликованным в «Современнике» (февраль 1848 г.), была повесть «Рассказ Алексея Дмитрича». Она существенно отличалась от «Полиньки Сакс». Для этого произведения характерен несколько неожиданный для русской прозы той поры диапазон тем и образов. Прежде всего поражает своеобразное предчувствие мотивов зрелого Достоевского.

Напряжены и покрыты тайной семейные отношения в детстве Алексея Дмитрича. Бедность, неустроенность немалого семейства отмечена каким-то глубоким разладом между отцом и матерью. Мать в чем-то виновата перед своим мужем, но в чем был ее «грех» и обманули ли отца или он сам пошел на компромисс ради приданого? — читателю неизвестно.

«Достоевская» стилистика просматривается в образе изломанного и издерганного Кости: он вполне вписался бы в круг «мальчиков» из «Братьев Карамазовых». Болезненная амбиция, максимализм чувств и поступков, молниеносные перемены настроения, инфантильная наивность и честность делают Костю собратом Коли Красоткина, Смурова,

---

[15] *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15-ти т. М., 1949, т. 2, с. 215.

Илюши Снегирева... Вероятно, Костя имел своего реального прототипа среди товарищей Дружинина. В дневниковом наброске (1845) повести из жизни светских юношей заметны сходные черты характера героя (в том же Дневнике прямо сказано, что барон Реццель списан с соседа по имению, с барона П. А. Вревского. См. запись 16 августа 1855 г.).

Одна из главных идей второй повести Дружинина — тема напрасного, гибельного самопожертвования. Подобный круг идей основательно занимал молодого Дружинина, он несколько раз писал об этом в Дневнике. Характер Веры Николаевны, главной героини повести,— цельный, непоколебимый, закрытый для читателя и для Алексея Дмитрича в своих душевных переживаниях. Мы видим только непреклонную готовность жертвовать собой ради близких. Ясно, что Вера, молодая, полная сил, зачахнет, погибнет в атмосфере мелких и отвратительных семейных дрязг. Однако Алексей Дмитрич, выражая мысль автора повести, пытается бунтовать против такой нелепой жертвенности, ратует за свободное и достойное человека существование. В этом чувствовался общий дух «западничества» сороковых годов, борьба за освобождение личности от бытовых, унижающих его пут.

В дальнейшем у революционных демократов-шестидесятников (Чернышевский, Добролюбов, Писарев) этот протест против любых форм навязанной жертвенности, принужденных обязательств выльется в пропаганду разумного и гармоничного сочетания в человеке личных интересов и альтруистического отношения к ближним. В другом кругу сходный протест мог носить и бунтарски-анархический оттенок. В своих крайних индивидуалистических проявлениях он приобретал весьма острые и даже грубые формы, отразившись, например, в душевных взрывах героев и героинь позднего Достоевского. В XX в. он получит в оправдание экзистенциалистский лозунг: «Неблагодарность — это вынужденное проявление свободы» (Ролан Барт).

Мы обнаруживаем подобный мотив и в сороковых годах прошлого века. Добродетельная Варенька в повести Достоевского «Бедные люди» перед свадьбой с господином Быковым вдруг начинает немилосердно мучить Макара Девушкина «вздорными поручениями», унизительными посылками в магазины для закупок разных мелочей к свадьбе, хотя Варенька не может не понимать, какие жестокие раны наносит она сердцу бедного Макара.

Достоевский эти эпизоды не подчеркивает, не объясняет, но за него это сделал проницательный критик Вал. Майков в обзорной статье «Нечто о русской литературе в 1846 году» («Отечественные записки», 1847), истолковавший жестокость Вареньки как своеобразную месть, как «неблагодарность» освобожденного от унизительной опеки: «...едва ли есть на свете что-нибудь тягостнее необходимости удерживать свое нерасположение к человеку, которому мы чем-нибудь обязаны и который — сохрани боже! — еще нас любит! Кто потрудится пошевелить свои воспоминания, тот наверное вспомнит, что величайшую антипатию чувствовал он никак не к врагам, а к тем лицам, которые были ему преданы до

самоотвержения, но которым он не мог платить тем же в глубине души»[16].

Аналогичный пассаж встречается в повести А. И. Герцена «Долг прежде всего» (1851): «Быть близким только из благодарности, из сострадания, из того, что этот человек мой брат, что этот другой меня вытащил из воды, а этот третий упадет сам без меня в воду,— один из тягчайших крестов, которые могут пасть на плечи»[17]. Интересно, что сходные ситуации возникали и в произведениях писателей предшествующих поколений, но там заметно стремление смягчить конфликт. Так, В. К. Кюхельбекер в романе «Последний Колонна» (1830-е гг.) подобную коллизию переводит в великодушный план: «Он спас мне жизнь, и с той поры он меня не чуждается: он понимает, как тягостна одолженному благодарность, когда тот, кому хочешь принесть ее, от нее отказывается»[18].

Юный Станкевич в письме к Я. М. Неверову от 2 декабря 1835 г. жалуется, что ему «так обидно, так унизительно» после «великодушного упрека» девушки[19]. Любопытно, как комментирует этот порыв «неблагодарности» литератор, близкий к кругу «Современника», к Герцену и Дружинину,— П. В. Анненков. Он в книге «Николай Владимирович Станкевич» (М., 1857), невольно модернизируя побуждения Станкевича, подтягивает смысл его письма к новым трактовкам: «Он начинает понимать все, что есть оскорбительного в непрошенных жертвах, неделикатность их и посягательство на самостоятельность человека»[20].

Алексей Дмитрич у Дружинина видит ограниченность отца героини, генерала Надежина и разнузданную грубость ее мачехи, поэтому он вряд ли думает о неделикатности со стороны Веры, но его заботит разрушение души девушки. Он считает, что ненужной жертвенностью, добровольно лишая себя радостей жизни, она оскорбляет свое достоинство. Ее поведение противостоит идеалу свободного развития человека. Дружинин, правда, не исключает и другой трактовки поведения Веры: «... в бесплодном самопожертвовании женщины есть своя святая, высокая заслуга — это поддержание веры в возможность чистейших побуждений на земле...». Но все же Алексей Дмитрич, по воле автора, «не хотел остановиться» на этой мысли. Он проклинает бессмысленную самоотверженность героини, проклинает то, что он называет «фамилизмом»: «...это семейство, которое раздавило меня в детстве и хочет еще губить мою молодость!..». Любовь к героине сменяется раздражением и даже ненавистью, и Алексей Дмитрич навсегда покидает ее дом.

Тема семейного гнета тоже характерная особенность русской литературы и публицистики (Белинский, Островский, Добролюбов, Писарев, Щедрин и т. д.). Дружинин один из первых начал ее разрабатывать.

---

[16] *Майков В. Н.* Соч: В 2-х т. Киев, 1901, т. 1, с. 208.
[17] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1955, т. 6, с. 299.
[18] *Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979, с. 524.
[19] *Станкевич Н. В.* Переписка. М., 1914, с. 342.
[20] *Анненков П. В.* Воспоминания и критические очерки. СПб., 1881, т. 3, с. 341.

Проблема «непрошенных жертв» и «неблагодарного» раздраженного протеста против них («комплекс Майкова», как можно условно это назвать), впервые описанная русским критиком, объясняет отчасти и эгоистическое отталкивание Алексея Дмитрича от бед ближнего, нарочитое нежелание помогать ближнему, что приводит к жестокой мысли: «... чужое горе не трогает, а ожесточает мою душу». В какой-то степени здесь доведены до крайности черты гордых жорж-сандовских героев. Например, Жак в одноименном романе не выносит благодарности, которую ему пытаются изъявлять многие облагодетельствованные им люди, сам он «никогда не просит о малейшем одолжении». Но — подчеркнем — в ясной и четкой фразе Дружинина чувствуется стилистика лермонтовской прозы.

Алексей Дмитрич полагает, что достойный человек сам должен строить свою жизнь и, следовательно, со своими бедами человек должен справиться один. И тем не менее Алексей Дмитрич — благородная натура, и ему свойственны самоотверженные поступки. Он героически защищает раненого Костю и затем не менее героически вытаскивает его с поля боя. Но силы души, считает он, нельзя расточать по пустякам. Крупных же деяний он не смог совершить, так как не нашел достойной цели. В конце повести он ведет жизнь отшельника, дворянского бирюка. Дружинин почувствовал ситуацию, характерную для России XIX в. Общественная жизнь не давала возможностей для выражения способностей человека. Узость деятельности, пустота — вот удел героя Дружинина. Его можно поставить в ряд «лишних» людей, персонажей многих русских повестей и романов.

В русской литературе сороковых годов уже появлялся тип «лишнего» человека. В нескольких повестях Ап. Григорьева показан любопытный характер Александра Ивановича Браги, в некоторых чертах напоминающий Алексея Дмитрича. В повести «Один из многих» (1846) Брага прямо говорит о себе: «...я не литератор, не служащий, я человек вовсе лишний на свете» [21]. Кажется, это определение, столь важное в контексте русской общественной жизни, впервые появилось здесь. Четыре года спустя понятие «лишний» станет благодаря тургеневской повести «Дневник лишнего человека» известным всем русским читателям.

Образ Алексея Дмитрича в ряду «лишних» людей занимает особое место. В главных своих свойствах, подчеркнутых и истолкованных публицистами и критиками (особенно Герценом и Добролюбовым), «лишние» люди — жертвы николаевского времени, дворянские интеллигенты, не приспособившиеся к официальному служебному миру и потому вынужденные томиться в безделье, страдающие от отсутствия поприща, но бессильные изменить свою жизнь. Конечно, судьбу и черты Алексея Дмитрича можно легко вписать в такую трактовку. Однако у Дружинина смещены акценты: ослаблена тема социально-политического неустройства и усилен мотив сознательного стремления героя к обособленности, к уходу от общества, что, впрочем, не выдается за идеал и не вы-

[21] *Григорьев Ап.* Воспоминания. Л., 1980, с. 211.

зывает одобрения автора. Хотя Алексей Дмитрич заявляет в конце повести, что деревенское уединение — это мечта человека «в минуты злого огорчения и душевной усталости», но раньше он утверждал: «Должно быть, русское уединение особенно вредно перед другими: чуть человек засядет в деревню, как начинает или глупить или пакостить».

В чертах героя второй повести, в изображении Дружининым детства и пансионной юности немало есть личного, автобиографического, заветного. Мысли о стремлении к уединению и независимости мы найдем в Дневнике писателя. Несомненно, и свое отрицательное отношение к войне на Кавказе, вообще к милитаризму (характерная гуманистическая тема русской классической литературы от Лермонтова до Л. Толстого) Дружинин перенес в мировоззренческие декларации Алексея Дмитрича, как и типичные идеи школы Белинского о громадном значении окружающей среды в детстве человека. Но любопытны и собственные оригинальные представления писателя о ребенке и о женщине. «...Всякий ребенок эгоист, и эгоист самый неумолимый. Согласие, гармония, веселье — это воздух для ребенка, и если вокруг него нет этих атрибутов, ребенку дела нет, отчего это происходит; он возмущается против всех и каждого, не добираясь до того, кто виноват в нарушении гармонии. Нужда раздражает его: может ли он рассуждать о причинах этой нужды? Оттого-то и большая часть браков несчастны,— женщины те же дети, и для брака богатство есть залог согласия» — так совсем по-дружинински излагает свои взгляды Алексей Дмитрич.

Автор и не скрывает своей идеологической и психологической близости к герою. Точнее было бы говорить о близости к герою и повествователя, т. е. того лица, от имени которого начинается «Рассказ Алексея Дмитрича», но собеседник героя не отделен от реального автора ни мировоззренческими, ни характерологическими, ни речевыми признаками. А между автором и героем имеются наряду со сходными чертами и существенные отличия. Дружинин мало походил на сибарита, не имеющего жизненной цели, он прежде всего труженик. А его герой, Алексей Дмитрич, погруженный в свой эгоистический мир,— лежебока, «лишний» человек, упорный труд чужд ему.

В целом Дружинин создал оригинальный образ «лишнего» человека. Этот вариант не получит дальнейшего развития в русской литературе, может быть, именно благодаря некоторой автобиографичности и прикрепленности к эпохе сороковых годов. Однако разработка типа «лишнего» человека, как и отмеченные выше абрисы, наметки «достоевских» персонажей и ситуаций находились на магистральной линии развития литературы.

Продолжались и поиски Дружининым новых методов изображения человеческой души, что тоже готовило почву для психологической прозы, для молодого Льва Толстого, который через несколько лет войдет со своими повестями в русскую литературу. Отказавшись во второй повести от эпистолярной формы, Дружинин тем не менее сохранил исповедальный принцип. Рассказ почти на протяжении всей повести ведется от первого лица, от имени самого Алексея Дмитрича. Правда, этот ме-

тод сужает возможности — мы узнаем о душевных побуждениях одного героя, о переживаниях Кости и Веры Дружинин не повествует, да и Алексей Дмитрич у него говорит далеко не обо всем, многие его мысли и чувства остаются нарочито скрытыми, об этом откровенно признается сам герой («я не могу вспоминать об этом предмете»,— говорит он, например, когда речь заходит об отношениях между его родителями). Но дело даже не в этом. Главное, что Дружинин вообще показывает душевные состояния и переходы между ними относительно скупо, схематично. В сравнении с этим не только будущие анализы Толстого, но и уже имевшие место психологические описания Достоевского или Гончарова значительно богаче, сложнее и разнообразнее. Однако своеобразные «конспекты» душевных движений в повестях у Дружинина могут быть сопоставлены с будущими романами Тургенева.

Многозначность и новаторство «Рассказа Алексея Дмитрича» были не всеми поняты. С. С. Дудышкин, критик «Отечественных записок», в обзорной статье «Русская литература в 1848 году» посвятил несколько страниц разбору повести. Он отметил развитие таланта Дружинина по сравнению с первой повестью: «...мы видели, что автор пошел вперед после «Полиньки Сакс»; по крайней мере, в этом рассказе он задал себе вопросы и гораздо серьезнее и гораздо многосложнее, чем в первой повести»[22]. Но критик упрекает Дружинина за неясность причин, породивших необычный характер Алексея Дмитрича. Сам герой этот оценивается весьма негативно за равнодушие к чужому горю, за пренебрежение к природе, к судьбе Веры и т. д. И в конце всех этих сетований следует вывод, что Дружинин не осветил истоки и обстоятельства, создавшие характер героя, что абрис среды в повести слишком «общ», что автор обманул надежды, родившиеся при чтении «Полиньки Сакс».

Зато совершенно безоговорочно положительными были отзывы Белинского. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», законченной печатанием в марте 1848 г., он отметил не только «Полиньку Сакс», но и «Рассказ Алексея Дмитрича»: «Вторая повесть г. Дружинина, появившаяся в нынешнем году, подтверждает поданное первою повестью мнение о самостоятельности таланта автора и позволяет многого ожидать от него в будущем» (*Белинский,* X, 347). Еще более горячо отозвался Белинский в письме к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г.: «А какую Дружинин написал повесть новую — чудо! 30 лет разницы от „Полиньки Сакс“! Он для женщин будет то же, что Герцен для мужчин». А ниже следует интересное добавление: «Но повесть Дружинина не для всех писана, так же как и „Записки Крупова“» (*Белинский,* XII, 467).

Зная художественную требовательность критика и его неприязнь к пассивным, рефлектирующим типам в литературе (в последние годы и месяцы жизни — а он скончался в мае 1848 г.— Белинский отрицательно отзывался о «слабых» людях, о явно распространившемся типе «лиш-

[22] Отечественные записки, 1849, № 1, отд. V, с. 32. Статья анонимна; авторство Дудышкина раскрыто в статье: *Егоров Б. Ф.* С. С. Дудышкин — критик.— Учен. зап. Тарт. ун-та, 1962, вып. 119, с. 223.

него» человека), можно было бы предположить значительно более суровый отзыв о произведении, где в центр повествования поставлена именно неактивная личность. Но, во-первых, Белинский, очевидно, был очень доволен образом Веры, обрисованным несравненно более реалистично, чем образ Полиньки Сакс, а во-вторых, критик, наверное, понимал всю сложность поставленных в повести проблем; фраза «не для всех писана» и сравнение с повестью Герцена о докторе Крупове усиливают уверенность в таком предположении.

После успешного дебюта двумя повестями Дружинин вошел в редакционный кружок «Современника» как желанный автор и как добрый товарищ. Он становится постоянным сотрудником журнала. Некрасов в письме к И. С. Тургеневу в Париж от 12 сентября 1848 г. дает такую характеристику новому литератору: «Дружинин малый очень милый и не то, что Иван Александр<ович> (Гончаров.— *Б. Е.*): все читает, за всем следит и умно говорит. Росту он высокого, тощ, рус и волосы редки, лицо продолговатое, не очень красивое, но приятное; глаза, как у поросенка» (*Некрасов*, X, 116).

В первые месяцы сотрудничества в «Современнике» Дружинин стремился в художественных произведениях (рассказы «Фрейлейн Вильгельмина» и «Художник», 1848) ставить сложные психологические проблемы, решая их достаточно драматически. Правда, после ранних двух повестей все больше чувствовались нарочитость, авторская заданность, неоправданность сюжетных поворотов. А с 1849 г. наметилась и откровенная установка на «хэппи-энд», на благополучную развязку.

Первый свой роман, «Жюли» («Современник», 1849, № 1), Дружинин заканчивает явно неправдоподобно и тут же, на последней странице, оправдывается и поясняет: «Смею сказать, что такой бессовестно счастливой развязки надо поискать да поискать в какой угодно литературе. Одному только Диккенсу отдам я пальму первенства за его „Сверчка“, где величайший злодей, под конец повести, разом исправляется... Много раз читательницы делали мне строгий выговор за то, что повести мои нестерпимо дурно кончаются. Я это сам замечал, потому что имею слабость привязываться к моим героям, особенно же к героиням. Крошечная Полинька, грустная Вера Николаевна, вспыльчивая Леля («Лола Монтес».— *Б. Е.*), сантиментальная фрейлейн Вильгельмина и даже Костя (его тоже приходится причислить к героиням) по многим причинам весьма близки к моему сердцу. Мне очень совестно, что по милости моей фантазии на эти маленькие головки обрушилась такая буря бед и горестных приключений, причем иные из них даже и погибли. Но погубить Юлиньку я решительно не в силах. В голове моей уже было составлено грустное и более близкое к действительности окончание ее приключений; но бог с ней, с действительностью,— прочь начатые главы! Юлинька должна быть совершенно счастлива. Если и читатели согласятся, что губить мою Жюли было бы слишком жестоко, я не стану жалеть о грустном окончании» (*Дружинин*, I, 379).

Последующие художественные произведения Дружинина, печатавшиеся в «Современнике»,— комедии «Маленький братец» (1849) и «Не вся-

кому слуху верь» (1850),— были по самому жанру легкие и «благополучные».

В основе повести «Шарлотта Ш-ц» (1849), имевшей подзаголовок «Истинное происшествие», лежала реальная история: жена немецкого поэта Генриха Штиглица покончила с собой, уповая, что ее смерть будет для мужа, переживающего гибель любимой, творческим побуждением. Но повествование воспринимается как оригинальный романтический анекдот, не более того, хотя сюжет под пером большого художника мог бы приобрести глубокий, многогранный, общечеловеческий смысл.

Дружинин чем дальше, тем настойчивее стремился как в собственной жизни, так и в творчестве уходить от сложности и трудности бытия в светлый, изящный, веселый мир интимного кружка друзей, в мир творчества, игры, шуток... Мотивы такого рода заметны уже по ранним записям в Дневнике. Эти настроения усиленно стимулировались периодом «мрачного семилетия» 1848—1855 гг., когда серьезные и злободневные проблемы, как правило, были запретны в литературе. В области развлекательной беллетристики Дружинин не был оригинальным. Так называемые «светские» романы и повести, к которым можно отнести и «Жюли», в то время часто публиковались в «Современнике». Им отдали дань и сам редактор И. И. Панаев, и Д. В. Григорович, и М. В. Авдеев, и Евгения Тур. Да и объемистые романы Некрасова, написанные совместно с А. Я. Панаевой (ее псевдоним — Н. Станицкий): «Три страны света» (1848—1849) и «Мертвое озеро» (1851), если и не были «светскими», то уж, во всяком случае, весьма развлекательными и не претендующими на глубину.

Однако в жанре фельетонной прозы Дружинин явился новатором, хотя он и использовал опыт французской и английской периодики и отечественного журнала «Библиотека для чтения», где редактор О. И. Сенковский много лет вел обозрения современной литературы явно в фельетонном духе. Недаром Дружинин в отличие от многих своих коллег достаточно положительно относился к Сенковскому, с удовольствием познакомился с ним, с удовольствием принял приглашение сотрудничать в «Библиотеке для чтения» и т. п.

В «толстых» журналах сороковых годов ведущим критическим жанром, оценивавшим и даже во многом определявшим и общее состояние литературы, развитие ее методов и господство определенных родов и видов (например, поэзии или, наоборот, прозы), дальнейшее развитие художественной литературы, был жанр годового критического обзора. Его твердо и последовательно утверждал Белинский — вначале в «Отечественных записках», а с 1847 г. в обновленном «Современнике». Но после смерти Белинского и сменившего его в первом журнале Вал. Майкова жанр годового обзора выродился, превратился в россыпь отдельных характеристик, лишенных общего стержня. Попытка Ап. Григорьева возродить идейный и обобщенный обзор в журнале «Москвитянин» оказалась мало удачной, молодому критику не хватило концептуальной целостности. Годовые обозрения вовсе утратили свой смысл при отсутствии критиков масштаба Белинского. Как верно заметил Дружинин в

одном своем обзоре 1852 г., «из всех лохмотьев самые жалкие те, которые состоят из дорогой материи» (*Дружинин*, VI, 596).

Дружинин стал создателем нового жанра, ибо в противовес серьезным и обобщающим годовым обзорам ввел ежемесячные фельетонные обозрения. Дебютируя в январе 1849 г. с новым циклом «Письма Иногороднего подписчика в редакцию „Современника" о русской журналистике», он выступал затем под этой рубрикой ежемесячно (исключая летние перерывы) в течение двух с лишним лет до апреля 1851 г. включительно, опубликовав 25 соответствующих «Писем». А когда у автора возникли некоторые разногласия с руководителями «Современника», недовольными чрезмерной «фамильярностью» фельетониста по отношению к «серьезным» темам, и он был приглашен сотрудничать в «Библиотеку для чтения», то он продолжил и там публикацию своих обозрений под сокращенным названием «Письма Иногороднего подписчика о русской журналистике» (начав не с новой нумерации, а продолжая старую, с письма 26-го. Не касаемся здесь некоторых деталей: отдельные «Письма» были написаны другими лицами, не всегда обозначался порядковый номер, иногда нумерация путалась и т. п.).

Но связи с «Современником» сохранились. Там стали печататься фельетоны Дружинина «Письма Иногороднего подписчика об английской литературе и журналистике» (1852—1853), а в 1854 г. автор вернул в «Современник» и «Письма... о русской журналистике». И вослед Дружинину все журналы той поры рано или поздно ввели подобные обозрения, и даже многие газеты стали печатать месячные или ежеквартальные обзоры.

Вот как объяснял Дружинин современное господство обозрения-фельетона в одном из своих «Писем» (1852): «Без прочной, строгой, ясно и подробно развитой эстетической теории не может быть критики, и до сих пор у нас нет критики, были только фельетоны, иногда по десяти листов печатных; фельетоны пламенные и изящные, шутливые и скучные, высокопарные и озлобленные, задорные, скучные и забавные, одним словом, фельетоны всех возможных сортов и разрядов. Одно время публика любила так называемую критику, усердно читала отчеты, разборы старых писателей и даже библиографию; теперь она очень расположена к ежемесячным обзорам журналистики; ей нравится фельетонная манера изложения, и будет нравиться до тех пор, пока не настанет время строгой критики» (*Дружинин*, VI, 597—598).

Автор признает ограниченность жанра фельетона по сравнению с серьезным литературным обзором. Но фельетон позволял говорить о многом и разном, позволял избегать нежелательных конфликтов, полемики, литературных споров (*Дружинин*, VI, 13), а во-вторых, автор стремился к устранению всего «скучного», тяжелого, дисгармоничного, тревожного: «...беритесь за перо не иначе, как в минуту довольства собою и шутливости» (*Дружинин*, VI, 580). Дружинин преуспел в таком фельетоне, превращенном в живой рассказ о чем угодно: о погоде, о психологии, о событиях европейской и русской жизни главным образом анекдотического характера; в непринужденный разговор вкрапливался и ана-

лиз художественных произведений, проведенный со вкусом, воспитанным сороковыми годами, идеями Белинского.

От фельетонов литературно-критических был естествен переход Дружинина к чисто развлекательным фельетонам, к своеобразной смеси очерка, фельетона, детективной повести, юмористического рассказа... В свое время они принесли автору широкую известность. Начал он этот жанр циклом «Сантиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам» («Современник», 1850) [23]. Фамилия героя произведена от слова «чернокнижие» — так в кругу «Современника» называли праздное времяпрепровождение, с изрядной дозой фривольности и т. п., друзья Дружинина, петербургские литераторы. Хотя в круг «чернокнижников» в разное время входили Некрасов, Д. В. Григорович, М. Н. Лонгинов, В. П. Боткин, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой и др., но инициатором и вдохновителем «чернокнижных» занятий и развлечений был Дружинин, что отразилось и в его очерках-фельетонах.

Уже многократно отмечалось в исследовательской литературе, что «мрачное семилетие» 1848—1855 гг. отпугивало писателей разного рода репрессиями от серьезных социальных проблем, от обобщенных выводов и прогнозов. Это так. Но не следует забывать о каких-то внутренних побуждениях, душевных потребностях Дружинина, искренне тянувшегося к эксцентричному веселью в кругу друзей и активно вводившего в литературу элемент буффонады и шуточного гротеска (об этом еще будет у нас идти речь в связи с Дневником). «Чернокнижный» жанр был всегда дорог автору, он в разных вариантах продолжал его потом много лет, когда страна уже далеко ушла от «мрачного семилетия»: «Заметки Петербургского туриста» («Санкт-Петербургские ведомости», 1855—1856), «Заметки и увеселительные очерки Петербургского туриста» («Библиотека для чтения», 1856—1857), «Заметки Петербургского туриста» («Искра», 1860), «Новые заметки Петербургского туриста» («Век», 1861), «Увеселительно-философские очерки Петербургского туриста» («Северная пчела», 1862—1863).

Попутно с ранних лет участия в «Современнике» и в «Библиотеке для чтения» Дружинин писал много статей о зарубежной литературе, современной и классической. Не отказывался он и от чисто художественного творчества; романы, повести, рассказы, драмы он продолжал печатать на страницах близких ему двух журналов. Следует еще вспомнить и переводческую деятельность Дружинина: с 1856 по 1865 г. были опубликованы его добротные переводы четырех трагедий Шекспира: «Король Лир», «Кориолан», «Король Ричард III», «Жизнь и смерть короля Джона».

Дружинин был очень трудолюбив и очень разносторонен в своих ин-

[23] Никем еще не был отмечен анонимный предшественник Дружинина. В петербургском журнале «Репертуар и пантеон» за 1845 г. (кн. 9) было напечатано «Фантастическое путешествие по петербургским дачам (из записок чертовидца)», где автор с помощью черта (сравни друга Чернокнижникова по фамилии Шайтанов) посещает столичные пригороды и наблюдает разные комические сценки. Обилие совпадений наводит на мысль, что это ранний вариант «Чернокнижникова», принадлежащий молодому Дружинину.

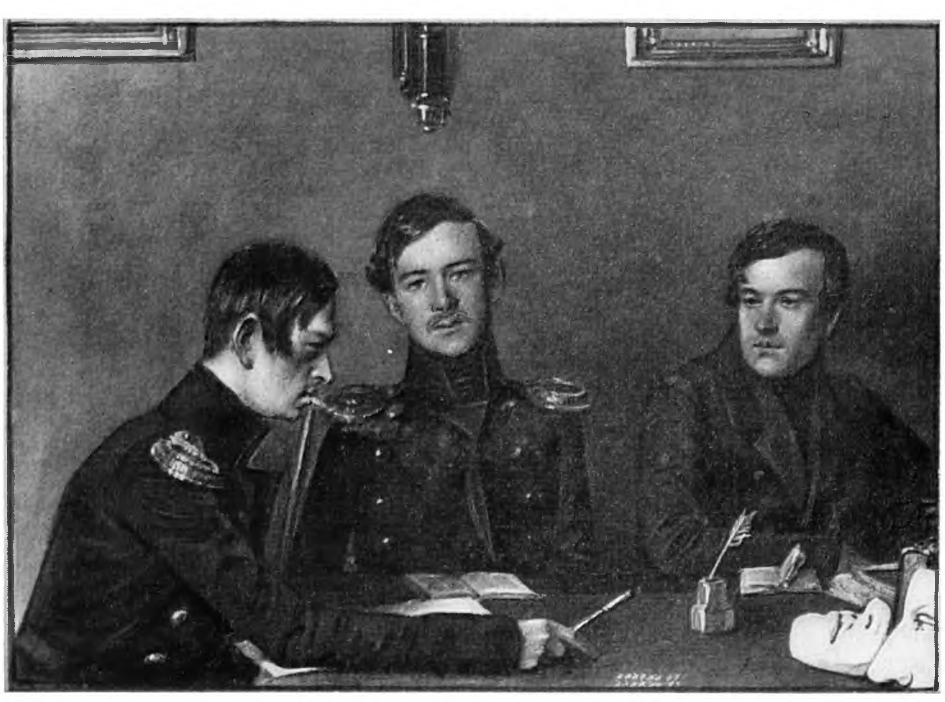
М. П. ДРУЖИНИНА.
Мать писателя.

Портрет работы
П. А. Федотова.
Около 1848 г. Холст, масло.
Гос. Русский музей
в Ленинграде



БРАТЬЯ ДРУЖИНИНЫ
(слева направо):
Андрей, Григорий, Александр.

Рисунок П. А. Федотова.
1840-е годы. Акварель.
Гос. Русский музей
в Ленинграде





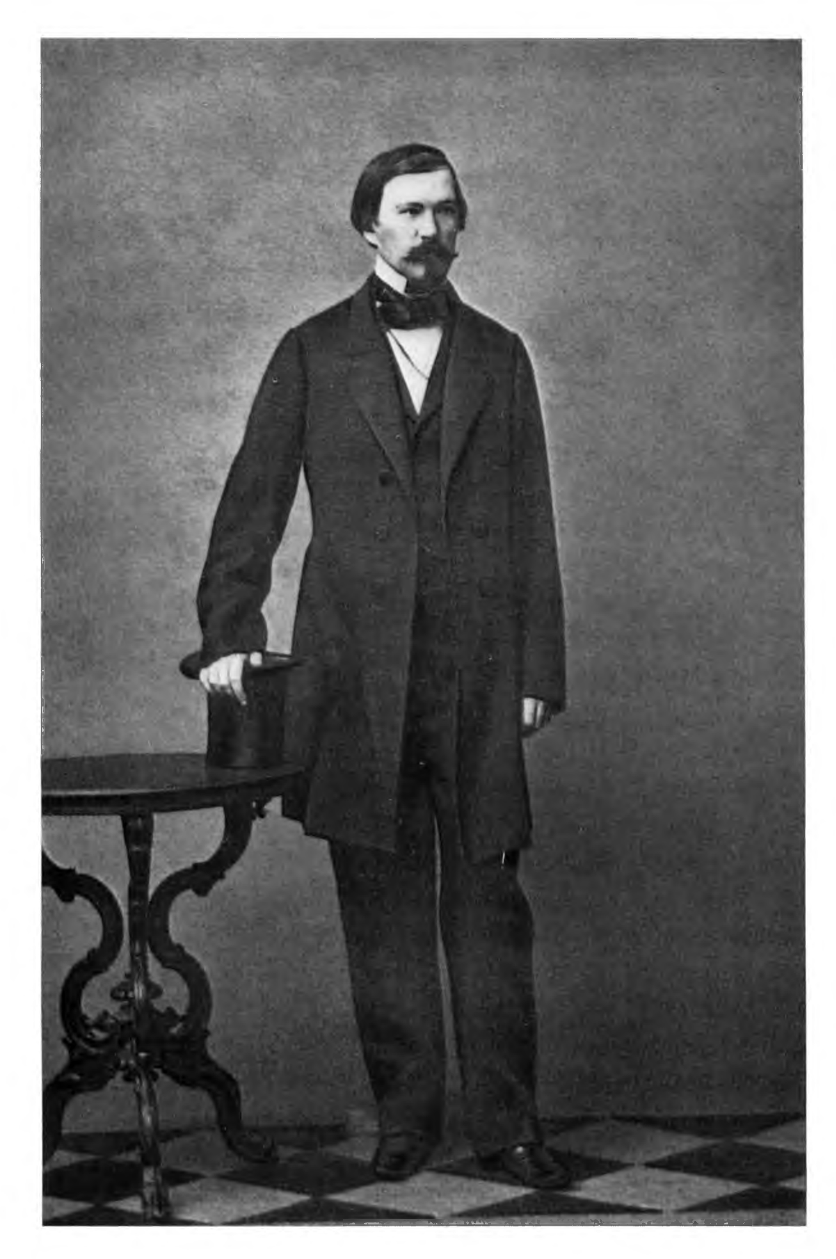
В. П. БОТКИН, И. С. ТУРГЕНЕВ, А. В. ДРУЖИНИН.

Рисунок Д. В. Григоровича. Село Марьинское, 16 июля 1855 г.
Гос. Музей Л. Н. Толстого в Москве



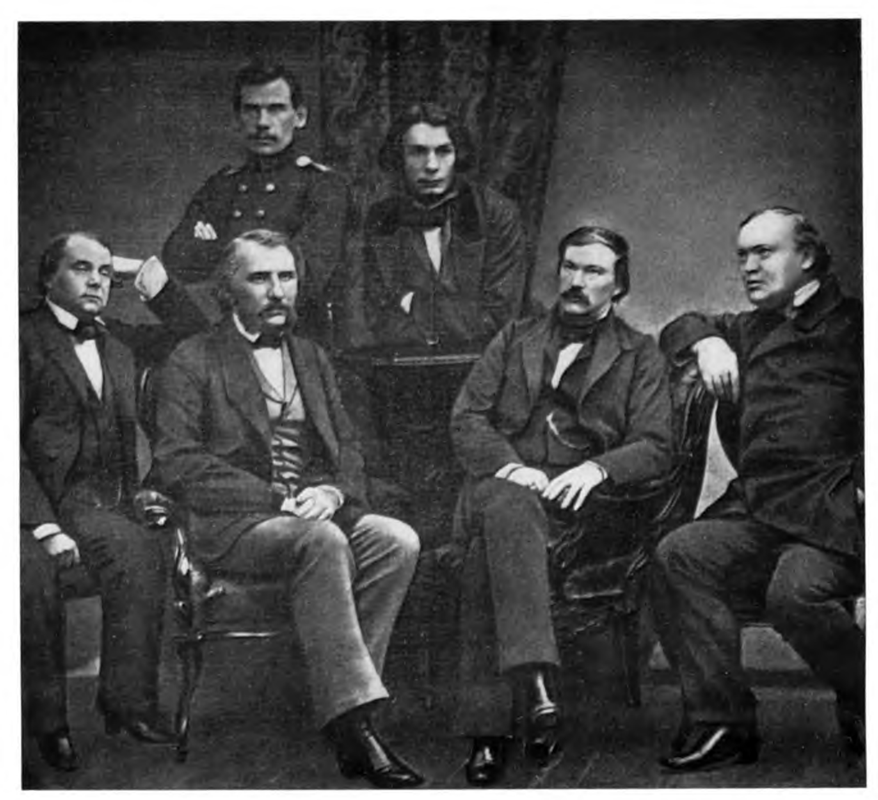
Дом М. И. Капгер на Васильевском острове Петербурга,
где Дружинин жил в 1853—1856 гг.

Фотография 1985 г.



А. В. ДРУЖИНИН

Фотография Шпаковского. СПб., 1850-годы.
Музей ИРЛИ





СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННИК».
Сидят (слева направо): И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский; стоят: Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович.

Фотография С. Л. Левицкого. СПб., 1856 г. Музей ИРЛИ

А. В. ДРУЖИНИН — редактор журнала «Библиотека для чтения». Карикатура из альбома «Знакомые. Рисунки Н. А. Степанова». СПб., 1857, л. 26. Музей ИРЛИ

тересах, поэтому он всегда и выручал редакции журналов, особенно в трудные годы «мрачного семилетия». В некрологе на смерть писателя («Современник», 1864, № 1) Некрасов прежде всего подчеркнул именно это: «Дружинин обладал, между прочим, удивительною силою воли и замечательным характером. Услышав о затруднении к появлению в свет статьи, только что оконченной, он тотчас же принимался писать другую. Если и эту постигала та же участь, он, не разгибая спины, начинал и оканчивал третью. Кто помнит блеск, живость, занимательность тогдашних фельетонов Дружинина, которые во всей журналистике того времени одни только носили на себе печать жизни,— тот согласится, что такой человек в данное время в редакции журнала мог ломаться сколько душе угодно. Дружинин был выше этого ломанья» (*Некрасов*, XI, 430).

Мгновенный всероссийский успех первых повестей Дружинина нисколько не вскружил ему голову, и хотя он был явно преувеличенного мнения о своих художественных и юмористических способностях (это особенно видно по Дневнику), но слава не ослабила его трудолюбия, ответственности и — важного спутника всякого истинного таланта — постоянной требовательности к себе.

К середине пятидесятых годов, когда явно рушились старые формы жизни и ощущалось веяние новой эпохи, зарождались новые и светлые надежды (смерть Николая I в 1855 г., поражение России в Крымской войне с Англией и Францией, обещания реформ, данные Александром II), окончательно сформировались социально-политические убеждения Дружинина. Он принадлежал к либеральному лагерю, ратовавшему за реформы, в том числе и за отмену крепостного права. И решительностью некоторых своих суждений он смыкался с демократами, а иногда и прямо выражая демократические тенденции русской жизни. Но он стоял за реформы мирным путем, ибо либералы решительно противились революционным акциям, не доверяя народу и стремясь сохранить status quo.

Способности Дружинина как литератора, критика, журналиста получили более весомые и перспективные возможности, когда издатель В. П. Печаткин в 1856 г. предложил ему возглавить «Библиотеку для чтения». Уставший и постаревший О. И. Сенковский уже давно фактически не руководил журналом. Дружинин согласился и с осени 1856 г. стал редактором «Библиотеки...» Он, несомненно, уже накопил необходимый опыт для общей эстетической теории, к которой он несколько легкомысленно относился четыре года назад. Его переход к руководству «Библиотекой для чтения» совпал с прочным утверждением в критическом отделе «Современника» нового сотрудника — Н. Г. Чернышевского. Можно думать, что Дружинину, скорее всего, пришлось перейти в другой журнал, ибо Некрасов явно предпочел ему Чернышевского. Хотя Дружинин соглашался с некоторыми суждениями молодого критика, можно найти даже прямые параллели между оценками обоими критиками творчества современных писателей (например, Л. Толстого), но в

целом позиции этих писателей были не только различны, а во многом и противоположны[24].

Крайности теоретических концепций Чернышевского, проявившиеся в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855): «принижение» искусства перед жизнью (искусство — «суррогат» жизни), акцентирование утилитарной, познавательной, логической, «объяснительной» функций искусства в ущерб художественной — вызывали решительные возражения Дружинина, как и некоторое предпочтение Гоголя и гоголевской («натуральной») школы Пушкину, высказанное Чернышевским в ряде его статей. На страницах «Библиотеки для чтения» Дружинин выступил с программными статьями «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений» (1855) и «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» (1856). Автор противопоставляет Пушкина как идеально гармоничного и «светлого» писателя гоголевской школе в литературе, акцентирующей будто бы лишь грязные и темные стороны жизни. Эту школу и связанную с ней критику, от Белинского до Чернышевского, якобы защитницу «дидактического» искусства, Дружинин противопоставляет критике и искусству «свободному», «артистическому», опирающемуся не на злобу дня, а на «вечные» ценности и цели.

Свои идеи Дружинин реализует и в более частных статьях-рецензиях «Библиотека для чтения»: на «Стихотворения А. Фета», на повести Л. Толстого, на «Губернские очерки» Щедрина, «Очерки из крестьянского быта» А. Ф. Писемского, «Повести и рассказы» И. С. Тургенева и др. (1856—1857). Но критик в этих статьях ратует и за правду жизни, за знание быта, поэтому особенно высоко оценивает творчество Толстого, Писемского, Щедрина.

Дружинин был всегда очень чуток к веяниям времени. Под давлением общего духа эпохи, литературно-критических статей Добролюбова Дружинин в конце пятидесятых годов стал значительно больше внимания обращать на этические проблемы. В рецензии на роман Гончарова «Обломов» («Библиотека для чтения», 1859) он хотя и полемизирует с радикальной трактовкой Добролюбова, но в этом споре выдвигает на первый план не эстетические, а этические начала: подчеркивает нравственную чистоту Обломова и его превосходство перед Ольгой и Штольцем. В рецензии на «Сочинения В. Белинского» (Там же, 1860), как бы корректируя свои прежние упреки Белинскому в «дидактизме», Дружинин высоко оценивает его значение для литературы и критики.

Дружинин чувствовал, что он как бы виноват перед памятью Белинского. Он, видимо, задумал написать специальную статью о деятельности замечательного критика, от которой в архиве сохранился, к сожалению, лишь небольшой срединный отрывок: «Такова была безграничная, великая любовь Белинского к русскому слову и русскому искусству. Нужно ли теперь распространяться о том, как повезло и как благотвор-

[24] Помимо указанной выше литературы, см.: *Егоров Б. Ф.* Дополнение к теме «Чернышевский и Л. Толстой».— В кн.: Н. Г. Чернышевский: Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1962, 3, с. 313—316.

но было это свойство даровитого критика в пору его начинаний? Мы теперь далеко ушли от тридцатых годов, литературы нашей никто не презирает, всякое удачное произведение находит себе сочувствие во всех слоях общества, в литературе беспрепятственно высказываются идеи разумного прогресса — а несмотря на то, кто из нас, самых расположенных к ней лиц, не чувствует, до какой степени нам еще нужны люди, с любовью к литературе, хотя бы сколько-нибудь подходящей к любви Белинского. Взглянем хотя <бы> на современную журналистику, даже откинув от нее все издания, предпринятые для спекуляции или почему-нибудь не достойные внимания — разве...»[25]. Подобными идеями автор снова вписывался в ряд ведущих критиков.

С другой стороны, чуткий Дружинин осознавал, что в целом его время прошло, наступала другая эпоха, и он прекратил с 1861 г. критическую деятельность в области русской литературы. В 1864 г. его не стало.

Многолетний Дневник Дружинина отразил все этапы его жизни и творчества. В сохранившейся части он охватывает 1843—1858 гг. Дневник этого писателя, впервые публикуемый в настоящем издании, помимо его общекультурной, исторической ценности, важен тем, что по-новому раскрывает мировоззрение, внутреннее состояние, неповторимую индивидуальность автора. Конечно, необходимо делать коррективы на авторские установки относительно «чужого глаза», т. е. сознательные установки на возможность чтения дневника другими лицами, а кроме того, следует осторожно относиться к саморазоблачающим откровенностям автора. Например, он пишет о своей лености, эгоизме и т. п. Даже в художественных набросках Дружинин, со свойственным ему обостренным вниманием к неверному звуку и неприятием фальши, может усмотреть своего рода «ложь» (ср. высочайшую требовательность Л. Толстого к себе как человеку и художнику, отображенную и в публицистике, и в письмах, и в дневниках: там тоже найдем сходные упреки и самоупреки во «лжи»). Необходимо помнить об этом. Дневник Дружинина оказывается замечательным документом, раскрывающим совершенно неизвестные стороны характера, поведения, взглядов автора и проясняющим некоторые обстоятельства, пусть даже и известные в общих чертах исследователям.

Материалы дневников особенно важны для изучения внутреннего мира лиц, раскрывающих в статьях, повестях, устных беседах, письмах лишь часть своей души и жизни, оставляя для себя многое, особенно то, что касается тонкостей личных, интимных переживаний. И наоборот, у писателей, довольно откровенно несущих читателю или собеседнику все глубины своей натуры, все тайны своих воззрений, дневники, как правило, менее интересны.

Смеем утверждать, что у Льва Толстого дневник, если не считать некоторых важных подробностей, мало что добавляет нового к его художественным и публицистическим произведениям, к письмам, к уст-

[25] ЦГАЛИ, ф. 167, оп. 3, № 107, л. 75.

ным беседам. В то же время ровесник Толстого, осторожный и замкнутый Чернышевский, оказался бы для исследователя как личность, как индивидуальность, как социальный тип несравненно более обедненным и односторонним, если бы не были известны его дневники.

В творчестве Дружинина мы находим много противоречивого, часто даже не в связи с глубиной и сложностью взглядов, а из-за путаницы, слияния сразу нескольких систем или факторов, воздействующих на письменный (или печатный) текст. А Дневник помогает кое-что распутать, разобраться в противоречивости и объяснить многое, что осталось бы навсегда непонятным или даже загадочным.

Записи Дневника запечатлели побуждения человека живого ума, широкого кругозора, благородного и независимого. Его общественный темперамент объясняет его роль в журналах, к сотрудничеству в которых он умел привлечь многих литераторов. В свете его культа дружбы и солидарности между писателями становится ясным, почему именно Дружинин стал организатором Литературного фонда.

Дореволюционные и советские исследователи считали, что воздействие школы Белинского обусловило успех ранним повестям Дружинина, а затем он увлекся «чернокнижием», бытовым и творческим, придерживался либеральных принципов и был глашатаем «чистого искусства». Автор этих строк внес в эту концепцию некоторые уточнения, обнаружив, что во второй половине пятидесятых годов Дружинин стал осторожно отказываться от крайностей эстетизма — не без влияния Чернышевского и Добролюбова[26]. Н. Н. Скатов в своих статьях о Дружинине еще больше подчеркнул связанность его критики с критическими работами Чернышевского и Добролюбова, и в сходстве, и в отличии[27]. Но тем не менее все исследователи признали, что к началу шестидесятых годов иссякают творческие возможности Дружинина.

Не следует думать, что издание Дневника разрушает эту схему — он лишь значительно уточняет и корректирует ее. Если говорить об общем и о главном, то самое существенное, что вносит Дневник в наше понимание личности и творчества Дружинина,— это свидетельства о большей демократичности писателя, чем казалось ранее. Чуть ли не с первых страниц Дневника звучат тирады против сословного и корпоративного разделения общества, против принуждения и эксплуатации; заметно внимание к человеку независимо от его общественного положения. Особенно ярка запись от 16 января 1846 г.: «Боже мой, за что на одного человека, который ест трюфли, сотни глодают черствый хлеб, на одного, который сидит в театре, десятеро бедняков мерзнут около лошадей на подъезде, на одного офицера, который сидит покойно в караульной комнате, десятки солдат жмутся в одной комнатке и сидят сутки на хлебе и воде, не смея заснуть более двух часов». А дальнейшие рассуждения об

[26] *Егоров Б. Ф.* Очерки по истории русской литературной критики середины XIX века. Л., 1973, с. 121—124.

[27] *Скатов Н. Н.* А. В. Дружинин — литературный критик.— Русская литература, 1982, № 4, с. 117—121, то же в кн.: *Дружинин А. В.* Литературная критика. М., 1983, с. 12—26.

обездоленности простолюдинов как будто протягивают прямые нити к многим соответствующим тирадам Салтыкова-Щедрина пятидесятых-шестидесятых годов; очерк спокойной, безропотной кончины простого человека как бы предваряет рассказ Л. Толстого «Три смерти». Острое чувство социальных несправедливостей, сочувствие к униженным говорят о родстве его прозы с магистральными проблемами русской литературы.

Дружинин думает об улучшении жизни своих крестьян (см. записи от 23 сентября и 22 ноября 1853 г.), он сочувствует солдатам в их тяжкой армейской жизни. Поверхностные «воинственные» очерки, касающиеся событий Крымской войны, вызывали у него отвращение именно в связи с раздумьями о солдатских судьбах. Когда 8 октября 1854 г. Дружинин описывает, как его крестьян сдают в рекруты, он при виде народного горя не удерживается от гневных слов в адрес «всех бесстыдных мерзавцев, толкующих о трофеях, военной славе и прочем в таком роде». Трезвые очерки офицерской и солдатской жизни, содержащиеся в Дневнике (см., например, запись от 10 августа 1845 г.), многое разъясняют в художественных произведениях Дружинина (см., например, описания военных сцен и прямые антивоенные тирады в «Рассказе Алексея Дмитрича»).

Дружинин, несомненно, по воспитанию и убеждениям был деятелем либерально-дворянского лагеря, даже «аристократом». И многие его высказывания подчас как-то не вяжутся с демократизмом (для сравнения напомним: М. Бакунин, к примеру, несмотря на революционно-демократические принципы, в быту часто вел себя как настоящий барин и законченный эгоист). Когда мы читаем прямые политические высказывания Дружинина, в том числе и в Дневнике, то в них чаще всего соседствуют откровенно либеральные воззрения с откровенным же политическим антидемократизмом (см., например, запись от 17 сентября 1845 г.).

Мировоззрение Дружинина вобрало устои, свойственные людям его круга, его домашней среде, офицерской аристократической молодежи Пажеского корпуса. Но общий дух эпохи, писательская среда (Григорович, Боткин, Анненков, Тургенев), в которой он вращался, поддерживали его либеральные настроения. Была, однако, и другая среда, которая тоже оказала существенное воздействие на воззрения писателя: было солдатское и крестьянское окружение. И был деятель большого влияния — Белинский... Органический душевный демократизм тянул Дружинина к художнику Федотову, поэту и критику Ап. Григорьеву, драматургу Островскому — об их творческих и человеческих достоинствах он оставил ценные заметки как в Дневнике, так и в статьях.

В личности, в привычках, в поведении Дружинина смешивались разнородные стихии, в Дневнике запечатлен противоречивый образ писателя. Мы ради исторической правды не должны закрывать глаза на «аристократические» пристрастия Дружинина, что, конечно, существовало (отметим органическую психологическую несовместимость Дружинина с кругом литераторов-семинаристов по образованию и воспитанию). Но

не следует прямолинейно воспринимать дворянское «джентльменство» Дружинина. Как видно из Дневника, «аристократизм» автора оказывается защитной реакцией против тех же «аристократов», представителей «света», против пошлого мира офицеров и чиновников и даже против собственной семьи (с матушкой и братьями, между прочим, Дружинину трудно жилось под одной крышей). И в этом же контексте следует читать частые пассажи в Дневнике относительно одиночества и чуждости миру, обществу: «Он был *чужестранец,* как и я» (16 августа 1855 г.). Эти слова оказываются грустной констатацией реальности, которую следовало бы изменить. Как счастлив бывал Дружинин, когда ему удавалось сблизиться с людьми, живущими близкими ему духовными и творческими интересами!

Природные и еще усиленные воспитанием и привычками Дружинина качества «джентльмена» — аккуратность во всем, от дел до одежды, точность, сдержанность, ответственность, владение собой — давали подчас повод знакомым то шутя, то серьезно называть его «дэнди». Но ведь эти черты его личности нисколько не свидетельствуют о противостоянии демократическому идеалу. Многое, что сам Дружинин истолковывал как «дэндизм», на самом деле оказывалось глубоко человечным. Таков, например, лейтмотив, проходящий сквозь весь Дневник, да и вообще сквозь всю жизнь писателя: стремление к ограничиванию своих потребностей, довольство малым, постоянное благодарение судьбе за доставленное ему счастье. Есть два противоположных человеческих типа: одни бранят судьбу за недоданное им в жизни, другие же благословляют ее за то, что она им дала.— Дружинин явно принадлежал ко второй категории. Более того, он готов был не только благодарить судьбу, но и упрекать себя за то, что он не пользуется данными ему возможностями и не работает в полную силу. А ведь он был постоянно болен, слаб, труд и напряжение были для него нелегки, но Дружинин и здесь был настоящим джентльменом, он не любил распространяться о своих болезнях и жаловаться. Проницательный Тургенев однажды сказал Дружинину: «... у вас счастие зависит от ровного характера <...> Вы проживете не очень долго, однако ж не мало. Будете счастливы, или, скорее, не будете несчастливы» (Дневник от 16 января 1854 г.).

Может показаться, что другой лейтмотив и Дневника, и художественных произведений, и очерков — пафос наслаждения — противоречит выше сказанному. Нисколько. Прежде всего следует учесть, что радикальная европейская и русская общественная мысль сороковых годов (европейская даже раньше) идею наслаждения жизнью связывала с раскрепощением человека от феодальных и буржуазных пут (социальных и нравственных), от догм христианского аскетизма, связывала с правом человека на полное счастье. И все утопические социалисты, особенно Ш. Фурье, и писатели типа Жорж Санд, и радикальные публицисты Франции ратовали за радости бытия как за один из самых существенных аспектов личного счастья. То же самое мы наблюдаем в философской мысли, особенно у немецких левогегельянцев. Л. Фейербах сделал борьбу за счастье человека, за его право на счастье и на наслажде-

ние одной из самых главных своих философских и социологических тем. Как он подчеркивал во «Фрагментах к характеристике моей философской биографии» (1846), «разумное наслаждение настоящим составляет единственную разумную заботу о будущем»[28].

Проблема счастья и наслаждения очень много занимала Белинского и Герцена, она перейдет от них к шестидесятникам, к Чернышевскому и Писареву. Так что Дружинин отнюдь не противостоял общей демократической линии в истории русской и западноевропейской общественной мысли. Поэтому, когда он в записках от весны 1847 г. провозглашает: «Жизнь есть наслаждение», ратует за гармоничное развитие и проявление всех свойств и способностей человека, а затем отмечает, что в современном неблагополучном обществе человек испытывает не наслаждение, а страдание, и чем более развитой человек, тем этих страданий больше, то здесь Дружинин находится в русле самых радикальных принципов современной ему этики.

Наслаждение Дружинина разными видами искусства, науками, товарищеской беседой, поездками или прогулками запечатлены с талантом большого литератора. Он не любил крайностей — ни жеманства, ни аскетизма, ни бездуховной чувственности. Да и не следует преувеличивать вообще его тяготение к земным радостям, хотя за ним (как и за Боткиным) утвердилась еще прижизненная «худая» слава «чернокнижника». Но достаточно внимательный читатель фельетонов и Дневника удивится такой славе — слишком много блеска, таланта, да и наивности во всех описанных там «похождениях». И как далеко это от развлечений так называемой «золотой молодежи». Французский путешественник де Кюстин, бывший в России в 1839 г., дал колоритный очерк московских светских шалопаев, описывая «связи этих развратников не только с погибшими женщинами, но и с молодыми монахинями, весьма своеобразно понимающими монастырский устав»,— во время одного кутежа в присутствии де Кюстина князь Н. даже сочинил от имени всех «куртизанок» Москвы петицию властям с просьбой обложить женские монастыри соответствующими налогами[29]...

Отметим, что Дружинин вообще придерживался нравственных запретов в «чернокнижной» области (см., например, рассуждение в Дневнике от 10 сентября 1854 г. о «чужих женах», отвращение к гаремам из крепостных крестьянок и т. п.). Ценны также постоянные критические самонаблюдения и замечания автора Дневника в свой адрес, пафос нравственного самоусовершенствования, что опять же сближает Дружинина с Л. Толстым, который весьма интенсивно освещал эту тему в своих дневниках.

И еще один аспект следует учесть — культ дружбы. Дружинин стремился выйти из узкого семейного круга, но его стремление к независимости не вело к отчуждению, хотя такое стремление было всегда характерным для Дружинина. Ему органически необходимы были собеседни-

[28] *Фейербах Л.* Избр. филос. произведения. М., 1955, т. 1, с. 253.
[29] *Маркиз де Кюстин.* Николаевская Россия. М., 1930, с. 221—223.

ки, и не один, а несколько. В «Рассказе Алексея Дмитрича» есть интересное лирическое отступление автора-повествователя: «В уединенной беседе человек является великим подлецом: отступается от своих убеждений, спорит без увлечения, потакает такому человеку, над которым верно бы посмеялся, если б был сам-четверт или сам-пят» (*Дружинин,* I, 110). Ранний Дневник полон сетований на одиночество, скуку, на отсутствие друзей. 10 августа 1845 г. Дружинин записал в Дневнике: «Мне надо двух-трех людей молодых, очень молодых, с горячей душою, с верой в душу, в славу, в *труд,* в поэзию, в науку» [30].

Дружинин очень тосковал в молодые годы без своего круга и тем более был обрадован, когда он, наконец, в редакционном кружке «Современника» нашел товарищей, близких ему по духу. Дружба с ними — с Боткиным, Анненковым, Тургеневым, Григоровичем, а позднее с Л. Толстым — нашла заметное отражение в Дневнике. Дружинин устраивал домашние вечера, совместные прогулки и поездки; писатели то отправлялись большой компанией к Тургеневу в Спасское-Лутовино, в Орловскую губернию, то совершали поездки (правда, уже вдвоем — Дружинин с Григоровичем) на север, к Чудскому озеру, в имение самого Дружинина. Григорович, не очень-то серьезно относившийся к Дружинину, несколько насмешливо описывает петербургские собрания у своего сотоварища: «Общество литераторов предпочитал он всякому другому; любил литературные сходки и прения; с этой целью завел он у себя вечера, кончавшиеся обильным ужином. Он выказывал особую заботливость, чтобы вечера эти были как можно оживленнее, веселее <...> Букет увеселения состоял, главным образом, в том, чтобы присутствующие, держа друг друга за руки, водили хороводы вокруг Венеры (статуя Венеры Медицейской.— *Б. Е.*) и пели веселые песни» [31].

Литературные вечера — это Григорович подчеркнул справедливо — были хозяину особенно милы. Рыцарственное отношение к товарищам отмечали все писавшие о Дружинине, но особенно тепло об этой черте отозвался Некрасов: «Это был характер прямой и серьезный. Несмотря на видимую мягкость свою и отвращение от крайностей, это был человек самый крайний там, где того требовали обстоятельства. У него не было отношений натянутых или двусмысленных... „Это *едрило*“,— говорил Дружинин о человеке, который ему не нравился, и отворачивался от него, не справляясь, как это отразится на его житейских делах. Зато он умел любить своих друзей, неохотно изменял о них доброе мнение и считал долгом вступаться за них всякий раз, как слышал суждение, казавшееся ему несправедливым или преувеличенным. Эта благородная черта характера придавала какую-то величавую простоту и в то же вре-

---

[30] Поразительное совпадение! Когда Дружинин взял в свои руки «Библиотеку для чтения», П. В. Анненков в письме к нему от 1 сентября 1856 г. советовал: «Но ради бога, ищите вы молодых людей, чтоб разбавить дух мертвечины, который неизбежно нанесут вам однокорытники наши, уже давно усопшие <...> Изобретите вы, во что бы то ни стало, пару молодых, независимых, капризных, дерзких и несносных талантов» (*Письма,* с. 26).

[31] *Григорович Д. В.* Литературные воспоминания. М., 1961, с. 146—147.

мя значительность отношениям Дружинина к своим друзьям — чувствовалась их цена. Дружинина искренне любили и *уважали*» (*Некрасов*, IX, 430—431).

Дружеские встречи Дружинина были косвенным отражением общедемократических и общесоциалистических (разумеется, в утопических вариантах) поисков новых форм отношений между людьми в середине XIX в. В этих формах чувствуется отблеск принципов братства, идущих от сенсимонистских общин и фурьеристских фаланстеров через идеи семьи и дружбы, исповедуемые Жорж Санд, к жизни в складчину многих петрашевцев (в дальнейшем прямой путь от них шел к принципам Чернышевского). И именно в связь с этим следует поставить организацию Фонда помощи нуждающимся литераторам и ученым — мысль, впервые пришедшую к Дружинину (или, по крайней мере, впервые высказанную), как видно из Дневника, 14 ноября 1856 г. После ряда усилий по его инициативе в 1859 г. было организовано в России «Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым»[32]. Создание Литературного фонда (в измененном виде существующего и по сию пору при Союзе писателей СССР) — значительная общественная и историческая заслуга Дружинина перед русской культурой. И тяготение к союзу единомышленников может быть объяснено и вписано в сферу интересов известного круга писателей при учете своеобразного пафоса товарищества, который был характерен для Дружинина, пафоса доброты, участия в судьбе ближнего, готовности всегда помочь ему (примечательны неоднократные выражения его радости по поводу организации Литературного и Шахматного клубов в записях 1855—1856 гг.).

Дневник многое объясняет не только в жизни и деятельности Дружинина, но также в жизни и деятельности ведущих писателей середины XIX в. Некоторые записи Дневника уже были использованы в научных биографиях писателей и журналистов той поры, а после публикации в нашем издании всего текста послужат еще более широко и плодотворно исследователям самых различных гуманитарных областей. Например, Дневник будет очень полезен для историков русского литературного стиля — в частности, откровенной установкой автора на разговорную речь. Дружинин отметил 19 января 1855 г.: «Фельетон должен окончательно сблизить речь разговорную с писаной речью и, может быть, со временем сделает возможным то, что нам давно надобно,— разговор на русском языке в обществе». Дневник, как и свои фельетоны, Дружинин писал удивительно непринужденно.

В целом публикуемый Дневник является замечательным памятником русской культуры. Помимо обилия конкретных сведений из области литературы, журналистики, общественной жизни середины XIX в., он содержит богатый художественный материал, показывающий наряду с известными повестями автора, как писатель, чуткий к традициям отече-

[32] Подробнее см.: *Гаевский В. П.* А. В. Дружинин как основатель Литературного фонда. В кн.: XXV лет, 1859—1884: Сб. статей, изданный Комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, с. 423—434.

ственной и западноевропейской литературы и к новым веяниям эпохи, смог создать произведения, которые вошли в фонд русской культуры и явились по целому ряду признаков предвестьем будущих творений Тургенева, Толстого, Достоевского.

В заключение следует сказать, что после самых поздних записей в Дневнике в 1858 г. Дружинин еще несколько лет усердно трудился в литературной и журналистской сферах. Правда, отсутствие успеха «Библиотеки для чтения» заставило его в 1860 г. отказаться от редактирования этого журнала. Он довольно активно писал в последующие годы фельетоны, очерки, обзоры современной английской литературы (публикуя их в «Русском вестнике», «Веке» «Санкт-Петербургских ведомостях»).

Дружинин сочувственно встретил крестьянскую реформу 1861 г., содействовал освобождению своих крепостных, увидел противоречия пореформенной жизни в русской деревне. Свои наблюдения над новым бытом писатель реализовал в последнем прижизненном цикле очерков «Из дальнего угла С.-Петербургской губернии», опубликованном в «Московских ведомостях» 1863 г.

19 января 1864 г. Дружинин умер: многолетняя чахотка сломила его. Скромные похороны, на которых присутствовали Некрасов, Тургенев, Анненков, Боткин, Фет и другие литераторы, состоялись на петербургском Смоленском кладбище. Ворота кладбища были видны из той холостяцкой квартиры, где писатель любил устраивать свои литературные вечера; а еще раньше, в трудное холерное лето 1848 г., унесшее много человеческих жизней в Петербурге, он там, может быть, в подражание столь любимому им Пушкину («Пир во время чумы») устраивал товарищеские пирушки. Однако облик Дружинина как-то плохо вяжется с темой смерти. Он, постоянно больной, немощный, всегда ратовал за жизнь, за разнообразие и яркость бытия, за светлое и гармоничное начало во всем. Эти мотивы пронизывают и публикуемые нами произведения писателя.

Вместе с изданным в 1983 г. «Советской Россией» сборником критических статей Дружинина настоящий том предлагает современному читателю лучшее из созданного писателем. Произведения Дружинина — и художественные, и документальные, и литературно-критические — важное звено в истории русской литературы и журналистики, и история нашей гуманитарной культуры выглядела бы без них обедненной, неполной.

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Д. его проза публиковалась, как правило, в журналах (исключение — перепечатка повести «Полинька Сакс» в сборнике 1856 г.); вскоре после кончины Д. Н. В. Гербель на средства родственников покойного издал Собрание сочинений в 8 т. (СПб., 1865—1867), куда вошло большинство произведений писателя. В дальнейшем перепечатывалась лишь популярная повесть «Полинька Сакс». Впрочем, за минувшее столетие было издано немало писем Д. разным адресатам (среди них — И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой), а также несколько ценных статей писателя. Лишь в 1983 г. в издательстве «Советская Россия» вышел в свет первый сборник статей Д. «Литературная критика». В настоящем издании, помимо двух ранних повестей, получивших высокую оценку В. Г. Белинского, впервые публикуется многолетний Дневник Д., представляющий большой историко-литературный интерес.

Племянник писателя В. Г. Дружинин сохранил в довольно полном объеме архив дяди (ныне находится в ЦГАЛИ), что дает нам возможность публиковать Дневник по подлинной рукописи, а также широко использовать другие материалы архива.

Тексты повестей печатаются по прижизненным журнальным публикациям, а Дневник и материалы «Дополнений» — по рукописям ЦГАЛИ, с исправлением явных опечаток и описок. Исправления спорных и сомнительных случаев комментируются в «Примечаниях». Конъектуры публикатора заключаются в угловые скобки; зачеркнутое самим автором воспроизводится в квадратных скобках.

Орфография и пунктуация текстов несколько приближена к современным; не сохраняется архаическое или индивидуально-ошибочное написание слова, если оно не сказывается на произношении (баталион, сватьба, впродчем) или если сам Д. допускает варианты написания (лучше и лутше, Александрович и Александрыч). Разнобой при написании фамилий (Трефорт — Трефурт, Крабб — Крэбб) устраняется использованием варианта, более часто встречающегося (Трефорт, Крабб). Однако варианты более отличающиеся друг от друга (типа «осьмнадцать — восемнадцать») не унифицируются.

Редакционные переводы иностранных слов и выражений даются в тексте под строкой с указанием в скобках языка, с которого осуществляется перевод. Все остальные подстрочные примечания принадлежат Д. Подстрочные примечания обозначаются звездочками, а все отсылки к комментариям «Примечаний» — цифрами.

Даты событий в России приводятся по старому стилю, даты за рубежом — по новому.

ПОЛИНЬКА САКС

Впервые — *С,* 1847, № 12, отд. 1, с. 155—228. Переиздана с некоторыми произвольными исправлениями: *Дружинин,* I, а также в кн.: Для легкого чтения, т. 1. СПб., 1856; отдельно — в серии «Дорожная библиотека», изд. А. С. Суворина. СПб., 1886; в серии «Универсальная библиотека». М., 1914; вошла как единственное произведение Д. в кн.: «Русские повести XIX века 40—50-х годов», т. 2. М., 1952 (подгот. текста и примеч. Б. С. Мейлаха); последнее отдельное издание повести.— М., 1955. Во всех перепечатках журнального текста имеются грубые пропуски и искажения. В нашем издании печатается по первой журнальной публикации.

Первоначально замысел сюжета о семье Саксов вырисовывался у Д. в виде драмы (см. разработку ее замысла в «Дополнениях»). Мы не имеем возможности точно датировать замысел драмы и написание повести, равно как и знакомство с редакцией *С.* Отрывочные сведения о Д. и «Полиньке Сакс», содержащиеся в письме Белинского к В. П. Боткину от 2—4 декабря 1847 г.: «Оказалось, что это человек 25 лет, а повесть эта написана им три года назад <...> Эта повесть неожиданно прислана нам цензо-

ром Куторгою и пришлась кстати» (*Белинский*, XII, 444). С. С. Куторга — цензор *С*, но кто и когда передал ему рукопись — неизвестно. Н. А. Некрасов писал официальному редактору *С*. А. В. Никитенко 19 ноября 1847 г.: «...мы сочли за лучшее напечатать в этой книжке „Полиньку Сакс" <...> для заключения года выведем в публику нового талантливого человека. Куторга эту повесть читал в рукописи, на которой есть поправки его рукой,— итак, он задерживать не будет» (*Некрасов*, X, 88—89).

Черновая рукопись повести хранится в ЦГАЛИ (ф. 167, оп. 3, № 10, лл. 5—88). Тексту повести предшествует «Пролог» на французском (частично на латинском) языке (л. 3, писарская копия) фривольного содержания, явно не предназначавшийся для печати; он содержит прямую ссылку на Рабле: «...comme nous dict nostre divin maistre Rabelais dans ses escriptstant immortels et rejouissants» («...как нам говорит наш божественный мастер Рабле в своих бессмертных и веселых произведениях» — *старофранц.*).

В черновике повесть предварялась двумя эпиграфами (л. 5): «Il n'y a plus d'enfants. M-me de Staël. Il n'y a d'enfants que les femmes. Anon<yme>» («Нет больше детей. Мадам де Сталь. Нет бóльших детей, чем женщины. Аноним» — *франц.*).

В печатный текст по сравнению с черновой рукописью Д. внесены стилистические и другие поправки: вместо «Псков» — «***ов», вместо Неаполя и мая месяца (в заключительных строках повести) — Флоренция и июнь.

«Полинька Сакс» имела большой читательский успех, нашедший отражение и в журналистике того времени.

[1] *пантагрюэлист* — см. роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532—1552); Дружинин как главные свойства «пантагрюэлизма» выделяет свободную, невозмутимую жизнь на лоне природы и гастрономические удовольствия.

[2] Так как ниже романс Дездемоны об иве назван по-итальянски, то речь, очевидно, идет об опере Дж. Россини «Отелло» (1816), шедшей в исполнении итальянской труппы в Петербурге.

[3] *первые романы Жоржа Санда* — из них наиболее известны «Индиана» (1832), «Валентина» (1832), «Жак» (1834), романы о страстной, всепоглощающей любви.

[4] *Св. Цецилия* (III в.) — святая католической церкви (день ее памяти — 22 ноября); за принятие христианства была мученически казнена римлянами; считается покровительницей духовной музыки.

[5] *третное жалование* — жалование за треть года, т. е. за четыре месяца.

[6] *Пхе, пучзат!* — распространенное крепкое тюркоязычное выражение, означающее приблизительно: «А, дрянь!».

[7] *каменноостровские дачи* — аристократические дачи на Каменном острове в Петербурге.

[8] *Тибур* — древний город близ Рима (ныне Тиволи), известный по находившейся там вилле Горация; Гораций воспевал также упомянутое ниже фалернское вино.

[9] *Эльдорадо* — легендарная страна в Южной Америке, полная золота и драгоценных камней.

[10] *Кларисса* — героиня романа С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1748); *Юлия* — героиня романа Ж. Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), идеализированные женские образы.

[11] *Панург*, герой романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», посетил оракула «дивной (божественной) бутылки», изрекшего пророчество: «пей».

[12] Французский художник Жан Гранвиль стал известен с конца 1820-х гг. едкими карикатурами на социально-политические темы.

[13] *собрание* — имеется в виду Дворянское собрание.

[14] В дворянской и чиновной среде ценили искусство французского и итальянского театров; русские спектакли воспринимались как «плебейские».

[15] Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Феодор и Елена» (цикл «Песни западных славян», 1834).

[16] В черновой рукописи — город Псков.

[17] *Фамилизм* — подчеркивает интерес к кругу семейных дел и забот.

[18] Из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» (1825).

[19] *алгвазилы* — испанские судьи и полицейские; ироническое наименование русских чиновников судебного или полицейского ведомств.

[20] Цитата из монолога Гамлета («Гамлет, принц Датский» в переводе Н. А. Полевого, 1837).
[21] *гидальги* — испанские дворяне; иронический намек на якобы донкихотский поступок кн. Галицкого.
[22] Намек на романс на стихотворение А. С. Пушкина «Черная шаль» (1820).
[23] *Жак* — герой одноименного романа Жорж Санд (1834).
[24] См. примеч. 22.
[25] *Амадис, Роланд* — рыцари, герои средневекового французского эпоса.
[26] *петиметр* — щеголь, модник, франт.
[27] *штучные стены* — стены с архитектурными членениями.
[28] Имеется в виду указ 2 апреля 1842 г. об обязанных крестьянах, разрешавший «освобождать» крепостных без земли.

РАССКАЗ АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЧА

Впервые — *С*, 1848, № 2, отд. 1, с. 209—304; повесть перепечатана с некоторыми произвольными исправлениями: *Дружинин*, I; более не переиздавалась. Печатается по журнальному тексту. Рукопись не сохранилась.

Повесть была высоко оценена современной критикой, хотя и не столь единодушно положительно, как «Полинька Сакс».

[1] *Нептун* — бог морей (рим.), поэтому «отправиться в объятия Нептуна» означает «погрузиться в воду»; автор выражения спутал Нептуна с Морфеем, греческим богом сновидений.
[2] Речь идет о пьесе парижского драматурга М. Ф. Сулье «Хуторок дроков» (1846).
[3] *«Двумужница»* — популярная драма кн. А. А. Шаховского (1836).
[4] Подобная опера не обнаружена; возможно, Д. придумал название ради каламбура: по-немецки zopfig — устаревший, безвкусный; schwer — тяжелый; поэтому название «Коса и меч» близко к смыслу «безвкусное и тяжелое».
[5] Речь идет о Большом театре в Петербурге (находился на Театральной площади, на месте современной Оперной студии Консерватории).
[6] *Вознесенская улица* — соврем. пр. Майорова; район старого Петербурга.
[7] Намек на героя романа Ж. Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1766) и на принципы естественного, «руссоистского» воспитания.
[8] *ландскнехт* — наемный солдат в Западной Европе XV—XVII вв.
[9] *регентство* — период царствования во Франции (1715—1723) регента Филиппа Орлеанского, эпоха цинической распущенности в верхах.
[10] Намек на известное стихотворение Д. В. Давыдова «Бурцов ёра, забияка...» (1804).
[11] Детей несостоятельных дворян стремились устраивать в учебные заведения на казенный счет; иногда приходилось ждать вакансии несколько лет.
[12] Перевод романа Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1758) впервые напечатан в СПб. в 1769 г. и затем выходил неоднократно.
[13] Роман «Страдания молодого Вертера» Гете (1774) многократно переводился на русский язык, начиная с 1781 г.; переводы XVIII — начала XIX в. носили название «Страсти молодого Вертера».
[14] Роман немецкого писателя Августа Коцебу «Страдание Ортенберговой фамилии» (1785) был дважды переведен в России: в 1802 и 1823 гг.
[15] Произведение с таким названием не обнаружено.
[16] Русский перевод мистического сочинения К. фон Эккартсгаузена «Ключ к таинствам натуры» (Дружинин называет его неточно) вышел в 1804 г.
[17] *состав* — здесь в смысле «сустав».
[18] *Шарле* — такого реального лица, содержащего пансион в Петербурге, не было.
[19] *Шевардинский редут* — укрепление у села Шевардина, созданное русской армией в 3 км юго-западнее Бородина; 24 августа 1812 г. там произошло кровопролитное сражение, задержавшее французскую армию и позволившее Кутузову лучше приготовиться к обороне Бородина.
[20] Неточная цитата из стихотворения П. Беранже «Старые мундиры, старые галуны» (1814).

[21] *Ваграмское поле* — при селении Ваграм близ Вены, где 5 и 6 июля 1809 г. происходила кровопролитная битва между наполеоновской и австрийской армиями, принесшая победу французам.

[22] *Потсдамский дворец* — один из дворцов прусских королей; очевидно, имеется в виду дворец Сан-Суси, резиденция Фридриха Великого.

[23] *конскрипт* — призывник в армию.

[24] *жомини* — здесь в смысле «воспевающий подвиги Наполеона»; образовано от имени барона Анри Жомини (1779—1869), военного писателя, офицера наполеоновской армии, перешедшего на сторону России в 1813 г.; ему принадлежит много трудов по истории наполеоновских войн.

[25] *Френетическое* — здесь в смысле: внутреннее, нервное.

[26] *Карл Моор* — герой драмы Шиллера «Разбойники» (1781); *Ринальдо Ринальдини* — герой романа немецкого писателя X. А. Вульпиуса (1762—1827) «Ринальдо Ринальдини. Знаменитый атаман итальянских разбойников» (1797); роман вызвал много подражаний в европейских литературах.

[27] *дортуар* (франц.) — общая спальня.

[28] *юная Германия* — «Молодая Германия» — прогрессивное течение в немецкой литературе 1830-х гг.: наиболее видные представители — Л. Берне, К. Гуцков, Л. Винбарг. В данном контексте, скорее всего, имеются в виду стихотворения Г. Гейне, идеологически близкого к «Молодой Германии» («завиральные текстики», видимо, означают радикальность суждений).

[29] *спондеи* — ритмически и интонационно выделяемые стопы в ямбе и хорее, когда оба слога в стопе ударные.

[30] Возможно, намек на известное путешествие по Кордильерам знаменитого немецкого ученого А. фон Гумбольдта (1769—1859). С 1845 г. стал выходить многотомный энциклопедический свод знаний «Космос», создававшийся Гумбольдтом, и имя ученого и путешественника было одним из самых популярных. В *С* (1847, № 12) в статье Н. Г. Фролова «Александр фон Гумбольдт и его Космос» (ст. 2) было описано восхождение ученого на Кордильеры.

[31] *гроньяр* (франц.) — ворчун.

[32] *Антигона* — дочь Эдипа, олицетворение преданной любви к отцу (греч.); наиболее ярко ее образ запечатлен в трагедиях Софокла «Эдип в Колоне» и «Антигона».

[33] Далее генерал рассказывает об одном из крупнейших сражений с Наполеоном в августе 1813 г. под Дрезденом, когда австрийская, прусская и русская армии неудачно атаковали французскую.

[34] *диспарат* (франц.) — несоответствие.

[35] *благая* — в народных говорах означает не «добрая», а «злая», «дурная», «вздорная».

[36] Имеется в виду известная скульптурная группа Кановы «Амур и Психея» (1789), выполненная в нескольких экземплярах (один из них — в Эрмитаже).

[37] *фузея* (франц., польск.) — старинное кремневое ружье.

[38] *мюрид* (араб.) — мусульманский послушник, ученик шейха; здесь — в смысле «фанатичный воин».

[39] *караковая* — вороная с желтыми подпалинами.

[40] *чухны* — пренебрежительное наименование финно-угорских народов.

[41] *Линдор* — образ испанского любовника с гитарой под полою, широко бытовавший в европейской литературе; *Аминт* (Аминта) — герой одноименной пасторальной драмы Т. Тассо (1573), тип влюбленного юноши.

[42] Имеются в виду повести «фернейского проказника», т. е. Вольтера: «Задиг, или Судьба» (1747), «Принцесса Вавилонская» (1768).

[43] *«Фоблаз»* («Любовные похождения кавалера де Фобласа») — многотомный роман (1787—1790) французского писателя Ж. Б. Луве де Кувре (1760—1797), дважды переводившийся на русский язык в конце XVIII — начале XIX в.

[44] *«Маркиз Глаголь»* — речь идет о серии романов А. Ф. Прево д'Экзиль (1697—1763) под общим заглавием «Записки и приключения знатного человека...» (1728—1733. Т. 1—7); последний том этого цикла — знаменитый роман о Манон Леско; в русском переводе В. И. Лукина и И. П. Елагина цикл назывался «Приключения маркиза Г.,

или Жизнь благородного человека, оставившего свет» (в наиболее полном виде: СПб., 1793. Т. 1—8). «Глаголь — старорусское наименование буквы «г».

45 Перечисляются битвы наполеоновской армии в характерной последовательности: от сражения при итальянской деревне Маренго, где 14 июня 1800 г. французы разбили австрийскую армию, через «средний» Ваграм (см. примеч. 20) к Ватерлоо, бельгийскому селу близ Брюсселя, где английская и прусская армии 18 июня 1815 г. окончательно поразили Наполеона.

46 Имеется в виду миф об Антее, сыне Геи (Земли), дававшей ему силу, пока он касался почвы (греч.); Геркулес смог его победить, лишь оторвав от нее.

47 Д., вероятно, по памяти излагал отрывок из окончания повести «Принцесса Вавилонская»: «А ты, учитель Алиборон, говорит Флерон, напредь сего называемой иезуит, ты, которого Парнас то в скуке, то в угольном кабаке...» (3-е изд. М., 1789, с. 226—227).

48 Неточная цитата из басни Ж. Лафонтена (1621—1695) «Человек, который гонится за Судьбой, и Человек, который ожидает ее в постели» (Басни, кн. 7, басня 12). Д. ошибочно приписывал приоритет в авторстве Жорж Санд: см. примеч. 32 к Дневнику.

ДНЕВНИК

Печатается впервые по рукописи ЦГАЛИ (ф. 167, оп. 3, № 108, лл. 3—207 об.). Д. начал вести Дневник в 1840 г., как можно судить по записи, сделанной в 1843 г.; «Неужели, после первой бестолковой попытки, спустя три года, мне должно снова взяться за перо...». Однако ранние записи не сохранились, а от 1840-х годов осталось очень мало записей, а среди сохранившихся встречаются обрывы текста — по-видимому, многие листы потеряны. Д., ведя дневниковые записи в течение почти всей своей творческой жизни, не пользовался тетрадями, а писал на отдельных, чаще всего двойных, листах; на таких же листах, как правило, созданы черновые и беловые рукописи произведений Д.; тетрадки, причем самодельные, сшитые нитками, крайне редки в архиве Д. Утраты текста обозначаются многоточием в круглых скобках: (...). Выпуск слов, неудобных для печати, обозначается, как и все редакторские конъектуры, многоточием в угловых скобках: <...>.

Незадолго до Великой Отечественной войны известный текстолог В. А. Жданов (1896—1971) подготовил Дневник Д. к изданию в серии «Летописи Гос. литературного музея». В 1948 г. в этой серии вышел том «Письма к А. В. Дружинину (1850—1863)», где в подстрочном примечании на с. 8 редакция выражала благодарность «В. А. Жданову, редактору „Дневника“ Дружинина, выходящего в свет в ближайшее время» (следует, впрочем, учесть, что это примечание, скорее всего, было написано не в 1948, а в 1941 г., ибо вскоре весь том «Писем...» был заматрицирован из-за условий военного времени и лишь в 1948 г. напечатан по этим матрицам). Но так как с 1949 г. «Летописи...» перестали выходить, то издание Дневника в свое время не было осуществлено. В домашнем архиве В. А. Жданова сохранился машинописный текст подготовленного к печати Дневника вместе с примечаниями и именным указателем. Вдова покойного исследователя Э. Е. Зайденшнур любезно предоставила эти материалы в 1983 г. для настоящего издания, за что редколлегия выражает ей глубокую благодарность. Возникла благодарная ситуация: подготовленный Б. Ф. Егоровым в 1981—1982 гг. текст Дневника можно было сравнить с копией В. А. Жданова, соотнести структуру, композицию, разночтения.

За исключением отдельных случаев (несколько неразобранных мест, неверно прочтенных слов, например «Твери» вместо должного «Тьера»), машинопись В. А. Жданова дает образцовую копию Дневника, что очень облегчило работу при подготовке его к печати.

Большую помощь в комментировании Дневника оказали и примечания, составленные В. А. Ждановым, хотя далеко не все места, нуждающиеся в пояснении, там отражены. В целом же следует воздать глубочайшую благодарность покойному ученому, много лет трудившемуся над подготовкой к печати сложной и далеко не всегда разборчивой рукописи Д.

Особые трудности возникли при определении последовательности частей. Расположение листов Дневника в современном архиве (ЦГАЛИ), особенно разрозненных листов ранних лет, случайно, даже хаотично. Далеко не со всеми перестановками В. А. Жданова можно согласиться, некоторые его соотнесения не кажутся убедительными. Так, отдельный листок дневника с рассуждениями Д. о Гоголе, Гете, о любви и ненависти художника к изображаемому В. А. Жданов помещает в разрозненные отрывки конца 1840-х гг., но, по нашему мнению, более логично в связи с фразой: «А я сижу полдня между людьми нравственно уродливыми...» — поместить этот листок после записей начала 1846 г. о службе в канцелярии, где чиновники сравниваются с гоголевскими персонажами.

Иногда необходима была перестановка и в других случаях, когда В. А. Жданов сохранил архивную последовательность частей. В группе разрозненных отрывков конца 1840-х — начала 1850-х гг. нами соединены два листа, которые и в рукописи Д., и в копии В. А. Жданова были отделены многими страницами, между тем как они представляют единый текст; одна фраза была разорвана по середине: «Да тут и не будет лжи — будут только события» (л. 20 об. рукописи Д.) — «случившиеся не на деле, а в моем воображении» (л. 62). Второй пример касается «психологических заметок». В архивной рукописи Д. (лл. 23—28 об.) и в копии В. А. Жданова «Продолжение психологических статей. Письмо 2» предшествовало отрывку «Продолжение психологических заметок». Между тем в этом отрывке впервые подробно говорится о знакомстве с «художником», а в «Письме 2» содержится отсылка: «Художник, о котором я говорил вам недавно...», что заставляет нас поменять эти части местами и воспринимать «Продолжение психологических заметок» как «Письмо 1» по отношению к «Письму 2».

В остальном композиция разрозненных листов дневника в настоящем издании идентична компоновке, которая была предложена В. А. Ждановым.

Так как в архиве Д. имеется большое количество — несколько сот — мелко исписанных страниц большого формата (ЦГАЛИ, ф. 167, оп. 3, № 109), разрозненных записей о событиях, лицах, выражений, отрывков и понравившихся фраз из прочитанных сочинений (на русском, английском, французском языках), то в случае возможности относительно точной датировки мы включаем эти отрывки в текст Дневника (см. записи от 7 ноября 1851 — 27 февраля 1852 г. и от апреля-мая 1856 г.). Они ценны тем, что заполняют лакуны в Дневнике, а также рядом уникальных сведений; например, Э. Г. Герштейн на основании отрывочных записей Д., совершенно непонятных на первый взгляд («Дом на Пятигорском бульваре», «Хастатов», «Имение Вадковского», «Дом Хлюпина», «Участь книг в Пятигорске»), воссоздает историю знакомства Д. с лицами из лермонтовского окружения, позволяющую расшифровать многое неясное в замечательной рукописи Д. о Лермонтове (см.: *Герштейн Э.* Новый источник для биографии Лермонтова. Неизвестная рукопись А. В. Дружинина.— Лит. наследство, 1959, т. 67, с. 615—644).

Из-за недостатка места (публикация всех записей потребовала бы еще около 20 печатных листов) мы ограничиваемся воспроизведением лишь датированных отрывков, хотя на остающихся неопубликованными страницах рукописи имеются весьма колоритные записи. Воспроизведем для примера некоторые из них (лл. 74—76):

«— Охотник Федор. Охотники Некрасов и Тургенев. „Матерщиной так гремит!"

— Физиогномии собак. Раппо (Некр<асова>). Гамлет. Бабулька Тургенева. Между собой собаки. Гамлет и бараны.

— Грязные № в гостинице „Лейпциг" — Фет и Писемский.

— Странности И. С. Т<ургенева>. Недостаток этикета в приемах.

— Неистовства Гербеля и Михайлова перед моим отъездом.

— Одряхлевший Щепкин и Шуберт.

— Суждения наших мужичков об охотниках. Тургенев и Некрасов.

— Рассказ Тургенева о триксе.

— Рассказы о поэте Тютчеве.

— Семейство Тютчева (Н. Н.).

— Тургенев и персик во время обеда».

Многие из отрывочных записей, возможно, связаны с предполагавшейся работой над воспоминаниями, которые, впрочем, так и не были написаны Д. (лл. 76 об.— 83);

«— Летнее уединение в Парголове в 1852 г. Май. Савон. Ванновский. Охота. Об-

жорство. Пир у Мейера. Деяния Смирнова. Настя. Обеды у нас. Дейбнер. Доктор со складным стулом. Поездка в город с трепетом сердца. Извощичьи рыдваны. W. Scott. Дети и котята. Tableau du genre. Сатир и Каменский. Бильярд. Воспоминания прежнего чернокнижия.

— Мишле, Кине, Э. Жирарден.

— Салтыков М. Е. Наружость и приключения. Наша дружба. Дела литературные и служебные. Оперы. Концерты Эрнста. Приключения с Зотовыми. Курение в печку. Чтения.

— Казарменные балы и спектакли. Турецкий костюм из чалмы и подштанников. Король Адольф».

Мемуарный характер носит и большинство публикуемых отрывочных записей.

В Дневнике также мы находим разработку тех или иных литературных мотивов и образов, волновавших писателя.

К папке Дневника (№ 108) архивными работниками приложена небольшая тетрадь (лл. 209—214 об.), где Д., остановившись в Нарве в июне 1853 г., по пути из Петербурга в имение Гдовского уезда, записывал свои мысли и наблюдения. Публикуем текст этой тетради в разделе «1853 год».

<1843 г.>

[1] *Корпус* — Пажеский корпус в Петербурге, где Д. учился с конца 1840 г. по 2 августа 1843 г.

[2] *Александринский театр* — петербургский театр, где ставились главным образом драматические спектакли (ныне Академический театр драмы им. А. С. Пушкина).

[3] Неточная цитата из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (д. 2, явл. 1; монолог Фамусова).

<1845 г.>

[4] Датируется 1845 г. на основании дальнейшего упоминания, что автор принялся за науки «через полтора года» после весенних выпускных экзаменов Пажеского корпуса в 1843 г.

[5] С 1843 по 1846 г. Д. служил прапорщиком в лейб-гвардии Финляндском полку.

[6] *уконтентовался* — удовлетворился, удовольствовался (от франц. contenter — удовлетворить).

[7] *Средняя Рогатка* — развилка Московской и Киевской дорог в южном пригороде Петербурга (ныне в черте города).

[8] *Вейно* — село Гдовского уезда Санкт-Петербургской губ. (ныне — Гдовского р-на Псковской обл.); находится в 30 км от имения родителей Д. Мариинское — *С.*— возможно, кто-то из Семевских, знакомых Д. (в 1840-х гг. Вейно принадлежало Семевским).

[9] Д. спутал: Введенская церковь находилась на Загородском проспекте, напротив Царскосельского (ныне Витебского) вокзала, а судя по описываемому пути от Пажеского корпуса (ныне Садовая, д. 28) по Невскому проспекту к Александро-Невской лавре, речь идет о Знаменской церкви, находившейся на месте современной станции метро «Площадь Восстания».

[10] *монастырь* — Александро-Невская лавра.

[11] У Д. было два старших брата: Григорий (1821—1889), в 1838—1850 гг. офицер лейб-гвардии Финляндского полка, и Андрей (ум. 1852 г.), с 1838 г. до смерти — офицер того же полка.

[12] В Евангелии от Луки рождение Иисуса Христа приурочено к реальному историческому событию, ко времени переписи граждан и их имущества, проводившейся в Иудее римским сенатором Квиринием (2, 1—7). А в «Иудейских древностях» (80-е гг. н. э.) Иосифа Флавия перепись Квириния отнесена к 6 г. н. э. (собеседник Д. поэтому ошибался, говоря о 4 г. до н. э.), т. е. тем самым колеблет свидетельство Евангелия. Собеседник Д. мог прочитать «Иудейские древности» Иосифа Фла-

вия в русском переводе XVIII в.; о дате переписи см.: СПб., 1783, ч. 3, с. 195 (книга XVIII, гл. 2, разд. 1).

13 Намек на название «Финляндский полк» и на графа Роберта Генриха Ребиндера (1777—1841), бывшего с 1834 г. министром статс-секретарем по делам Великого княжества Финляндского.

14 *гуртовой* — обобщенный, валовой, коллективный.

15 *редюит* (франц. réduit) — уголок, убежище, приют.

16 Намек на славянофилов.

17 Намек на «западников».

18 Речь идет о библиотеке Финляндского полка, которой заведовал Д.

19 Роман Е. П. Ковалевского «Петербург днем и ночью» печатался в Бдч (1845—1846). Белинский отозвался о романе резко отрицательно, назвав его пародией на роман Э. Сю «Парижские тайны» (IX, 395).

20 *увраж* (франц. ouvrage) — произведение, сочинение (обычно — о книгах).

21 Речь идет о двухтомном сочинении Г. О. де Бомона «Ирландия социальная, политическая и религиозная» (Париж, 1839, затем неоднократно переиздавалось).

22 «Revue indépendante» («Независимое обозрение») — радикально-демократический журнал, издававшийся Ж. Санд, Луи Виардо, П. Леру в 1841—1848 гг. два раза в месяц. «Издания» — в смысле «очередные тома».

<1846 г.>

23 *трюфли* — особый сорт грибов, гастрономическое лакомство.

24 *фюрзихзейн* (нем. für sich sein) — бытие для себя (понятие гегелевской философии).

25 Ошибка или в дате, или в дне недели: в 1846 г. воскресенье было 20 января. Впрочем, именно 20 января подписан приказ об увольнении Д. из полка подпоручиком. См.: *Гулевич С. А.* История лейб-гвардии Финляндского полка, 1806—1906. СПб., 1909, ч. 5, с. 55. 15 февраля Д. поступил в канцелярию Военного министерства.

26 *тупей* — часть модной в тридцатых годах мужской прически, взбитый надо лбом «кок», хохол.

27 Иван Антонович Кувшинное рыло, как и «чиновники Чичикова» — персонажи «Мертвых душ» Гоголя.

28 Дружинина привлекали жизнь и творчество французского писателя и журналиста Ж. А. Карра, который поселился в деревне, занимался садоводством и цветоводством и писал там философские и художественные произведения.

<1847 г.>

29 «Психологические заметки» датируются весной 1847 г., так как в конце их идет речь о весне и о минувшей половине марта, а «Продолжение психологических заметок» имеет авторскую дату «23 февраля 1848».

30 Малоизвестный роман Жорж Санд «Письма путешественника» (1837) был высоко оценен Белинским (см.: XII, 313).

31 Перифраз из стихотворения А. С. Пушкина «Полководец» (1836).

<1848 г.>

32 См. примеч. 48 к «Рассказу Алексея Дмитрича». Д. ошибочно приписывал эту крылатую фразу Жорж Санд.

33 Возможно, это лицо вымышленное, но в его облике и поведении запечатлены реальные черты художника П. А. Федотова.

34 Датируется 1848 г., так как именно летом того года в Петербурге свирепствовала холера, а также по связи с содержанием рассказа Д. «Художник», создававшегося в то же время (опубликован: *С*, 1848, № 7).

35 *гроньяр* — ветеран, солдат наполеоновской гвардии.

36 Неточная цитата из знаменитого монолога Гамлета «Быть или не быть?..».

<Отрывки конца 1840-х — начала 1850-х гг.>

[37] Отрывки датируются по связи с аналогичным содержанием заметок 1848 г. и по указанию на служебную деятельность автора (она прекратилась в январе 1851 г.).
[38] Н. Макиавелли в своих сочинениях, особенно в трактате «Государь» (1513), придерживается теории циклизма, т. е. закономерных, объективных, независимых от воли людей смен государственных форм.
[39] Цитата из Библии (Бытие, 4, 10).
[40] См. примеч. 31.
[41] *ерыжность* — загул, разврат.
[42] *рожер* — комическое «офранцуживание» слова «рожа».

<1851 г.>

[43] Датируется на основании кавказских записей; Д. впервые посетил Кавказ (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки) летом 1851 г., так что записи «Светлые дни», видимо, были сделаны осенью, в интервале от начала октября, когда Д. вернулся в Петербург, до 7 ноября — проставленной последующей даты. «Светлые дни» — очевидно, наиболее памятные и наиболее приятные события последних лет.
[44] *Елисаветинская* (ныне — Академическая) *галерея* — в Пятигорске.
[45] *Сатир* — чиновник А. Д. Михайлов, петербургский домовладелец (Васильевский Остров, близ Смоленского кладбища); Д. снимал у него квартиру для дружеских и литературных вечеров.
[46] *Красный Кабачок* — трактир у Красненького кладбища (Нарвская застава Петербурга).
[47] *Чернокнижие* — термин, придуманный Д. для обозначения фривольного времяпрепровождения литераторов его круга (отсюда фельетонный псевдоним автора — Чернокнижников).
[48] В письме к Е. Н. Ахматовой от 17 февраля (1854?) Д. дал такую характеристику Лизе: «Единственное существо, преданнейшее из преданных, милое из милых, имеющее возможность видеть меня и отгонять от меня тоску, есть моя прошлогодняя подруга души, девушка, не умеющая ни читать, ни писать и неспособная обходиться без двух или трех, а иногда и четырех новых любовников в месяц. Смело скажу, что если бы наша цензура не преследовала всех историй о девицах легкого поведения, русская словесность обогатилась бы новою Manon Lescaut в истории Лизы, которую мы называем транстеверинкою за то, что ее волосы едва ли не первые в Петербурге падают ниже колен и заставляют ее носить шляпки особого покроя» (*РМ*, 1891, № 12, с. 145).
[49] *Новая деревня* — пригород Петербурга (ныне в черте города).
[50] Имеется в виду семейство Майковых: отец Николай Аполлонович (1794—1873), известный художник, и сын Аполлон, поэт.
[51] Концерт виолончелиста А. Ф. Серве состоялся в Петербурге 23 декабря 1851 г.
[52] Вероятно, речь идет о библиотеке Финляндского полка, где Д. несколько лет был библиотекарем.

<1852 г.>

[53] Д. явно недооценивал четкости и обязательности Н. А. Некрасова как руководителя журнала и финансиста: В это время ошибка объясняется тем, что Некрасов лишь начинал свою журналистскую деятельность, но еще больше — самолюбивым раздражением Д.: с 1851 г. начались расхождения редакции *С* (Некрасов и Панаев) с Д.

<1853 г.>

54 *Ямбург* — ныне г. Кингисепп Ленинградской обл.

55 Имеется в виду рассказ Д. «Фрейлейн Вильгельмина» (1848), где описан г. Нарва. Этот же город описан в рассказе «Две встречи» (1854).

56 Цитата из «Мертвых душ» Гоголя (т. 1, гл. 6).

57 Д. несколько германизирует фамилию персонажа из повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759), барона Тундер-тен-Тронка.

58 *Росбах* — селение в Пруссии, где в 1757 г., во время Семилетней войны, французское войско (совместно с союзными — австрийским и русским) потерпело поражение от прусской армии, возглавлявшейся Фридрихом Великим.

59 Д. вскоре напишет цикл из трех статей «Жизнь и драматические произведения Ричарда Шеридана» (*С*, 1854, № 1, 9, 10).

60 Д. написал обстоятельную статью «Сочинения А. Н. Островского» несколько лет спустя (*Бдч*, 1859, № 8).

61 Просьба о высылке в деревню сочинений английских писателей.

62 Цитата из стихотворения Дж. Китса «Ода соловью» (1819).

63 О Мунго Парке, соседе Вальтера Скотта, Д. подробно напишет в статье «Вальтер Скотт и его современники», гл. VI (*ОЗ*, 1854, № 4).

64 Цитата из комедии Мольера «Плутни Скапена» (1671), д. 2, явл. 11 (слова Жеронта).

65 *«Письма сатирана»* (буквально переведено с англ. «Satyrane's Letters») — три письма Кольриджа о посещении им Германии в 1798 г., приложенные к 22-й главе его книги «Biographia Litteraria» (1817).

66 Эту тираду Д. почти буквально повторил вскоре в «Письмах иногороднего подписчика об английской литературе и журналистике» (Письмо 4 — *С*, 1853, № 10; см.: *Дружинин*, V, 346—347). Сара Кольридж — дочь поэта.

67 В архиве Д. (ЦГАЛИ) хранится начало этой пьесы (часть 1-го действия) под названием «Дантово проклятие».

68 Речь идет о деде и бабке поэта Александра Блока, Льве Александровиче и Ариадне Александровне, соседях Д. по имению.

69 *кондотьеры* — наемники итальянских военных отрядов в XIV—XVI вв.

70 Будучи летом 1851 г. в Пятигорске и Кисловодске, Д. познакомился с хорошо знавшим Лермонтова Р. И. Дороховым (1806—1852), который передал Д. исключительно ценные сведения о жизни Лермонтова в 1841 г.; Д. ввел часть рассказов Дорохова в свою незаконченную статью о поэте (1860). См.: *Герштейн Э.* Новый источник для биографии Лермонтова: Неизвестная рукопись А. В. Дружинина.— Лит. наследство, 1959, т. 67, с. 615—644.

71 *бель-демуазель* (франц. belle demoiselle) — красивая девушка.

72 Речь идет об элегии памяти товарища, офицера Финляндского полка П. П. Ждановича. В архиве Д. (ЦГАЛИ) сохранился полный текст элегии, законченной Д. 1 сентября 1853 г. (опубликован: *С*, 1855, № 5, без подписи):

7 апреля 1853 г.

Еще одна и тяжкая утрата!
Еще боец из наших взят рядов!
И молча мы стоим над прахом брата,
Товарища блистательных годов.
Чего ж молчать? пусть с плачем пред гробницей
Стеснится круг сомкнувшихся друзей,
Пусть с плачем в ней хоронит он частицу
Невозвратимой юности своей!

Ужели нам стыдиться слез напрасных
И бурю чувств в груди своей скрывать?
Над другом дней,— то светлых, то ненастных
Давайте все — как женщины, рыдать!
Сто раз счастлив, кто рано взят могилой,

Кто вовремя простился с жизнью сей,
Не переживши молодости силы,
Не растерявши пламенных друзей!

Как нищете веселой и беспечной,
Как шуткам он и смеху цену знал!
Как смело он — унынья недруг вечный
Самих друзей средь горя покидал!
Но в час тоски, в виду годины смутной,
Как грудью сам встречать умел беду
И наслаждаться роскошью минутной,
И с жизнию всю жизнь прожить в ладу!

Он счастлив был,— и с песнью погребальной
Сольется ж пусть другой, отрадный стих:
Не будет знать он старости печальной,
Не станет он терять друзей своих!
И пусть года промчатся за годами,
Пусть жизни цвет берут от нас с собой:
Друг лучших дней навеки перед нами,
Как юноша, счастливый и живой!

Бросайтесь же последним целованьем
В последний раз любимца целовать,
Друзья, друзья! с надгробным нам рыданьем
Не в первый раз ряды свои смыкать!
Сомкнемтесь же и двинемся навстречу
Всему, что жизнь готовит нам вперед:
Как лучший воин в гибельную сечу
С безропотной холодностью идет!

73 В письме к Е. Н. Ахматовой от 17 февраля (б. г.) Д. заметил: «Стих мне дается чрезвычайно тяжело и оттого самый труд мне интересен <...> я всегда был того мнения, что в приготовительных трудах писателя должны занимать важное место два занятия, именно живопись и писание стихов. Живопись даже нужнее, но приниматься за нее поздно» (*РМ*, 1891, № 12, с. 145—146).

74 Впервые замысел возник у Д. во время его пребывания на Кавказе. Он писал Е. Н. Ахматовой из Пятигорска 8 июня 1851 г.: «По поводу Нарзана я имею одну великолепную историю <...> состряпаю из нее рассказ наиигривейшего содержания для печати» (*РМ*, 1891, № 12, с. 136). Замысел позднее реализовался в повесть «Легенда о кислых водах» (*Бдч*, 1855, № 3, 4).

75 См. в настоящем издании статью Б. Ф. Егорова.

76 Намек на эпитафию Н. М. Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра» (1794).

77 *«Ивангое»* — известный роман В. Скотта «Айвенго» (1820).

78 А. В. Старчевский, заведовавший денежными расчетами по *Бдч*, отличался большой скупостью; очевидно, Д. просил его выслать гонорар на адрес брата Григория.

79 Поэма Байрона «Гяур» (1813).

80 *смесь одежд и лиц* — скрытая цитата из поэмы А. С. Пушкина «Братья-разбойники» (1821—1822).

81 Роман Т. Смоллетта «Приключения Перигрина Пикля» (1751).

82 *Ильин день* — 20 июля.

83 Имеется в виду жена Л. А. Блока, Ариадна Александровна.

84 Сестра Л. А. Блока, София-Мария Александровна.

85 *Николай Петрович... Лев Николаевич* — отец и сын Обольяниновы.

86 *старый брат Блока* — Николай Александрович; ему был всего 31 год.

87 Неясно, о ком идет речь. Из книг 1850-х гг. к записи подходят «Записки В. М. Головнина в плену у японцев» (СПб., 1851).

88 *киновья* — особый тип монастыря.

89 Цитата из «Горя от ума» Грибоедова, д. 3, явл. 3.

[90] Д. беспокоился за судьбу своего приятеля П. Л. Соляникова из-за его нравственной распущенности; ср. письмо Д. к В. П. Боткину от 23 июля 1853 г. (*Письма,* с. 38).

[91] *Озера Вестморлендские* — на северо-западе Англии; известны благодаря поэтам «озерной школы» — В. Вордсворту, С. Т. Кольриджу и Р. Саути.

[92] *ямбургские* — из г. Ямбург (ныне г. Кингисепп Ленинградской обл.).

[93] *липец* — вареный липовый мед.

[94] О процессе Варрена Гестингса, бывшего генерал-губернатора Западной Индии, отличавшегося жестокостью и корыстью, см. в статье Д. о Шеридане: *Дружинин,* IV, 321—345.

[95] *толерировать* (франц. tolérer) — терпеть, допускать.

[96] Это первое собрание сочинений А. Ф. Писемского — «Повести и рассказы» в трех частях (М., 1853).

[97] В архиве Д. (ЦГАЛИ) хранится рукопись этого произведения Д.: «Тяжкая ночь (Noche triste).» Она посвящена завоеванию испанцами Центральной Америки в XVI в. Материалами послужили труды американского историка В. Прескотта: «History of the conquest of Mexico» (Boston, 1843); «History of the conquest of Peru» (Boston, 1847). Обе эти книги были известны русскому читателю; первая переведена в *ОЗ* (1848, № 1—9), вторая — в *С* (1848, № 11—1849, № 7).

[98] Дж. Брюс издал свои «Путешествия в Абиссинию» в 5-ти томах (Эдинбург, 1790, многократно переиздавались).

[99] В. Ирвинг написал много книг-очерков о США, трудно сказать, что имел в виду Д. («История Нью-Йорка», 1809; «Книга эскизов», 1819—1820; «Рассказы путешественника», 1824; «Астория», 1836; «Скалистые горы», 1837).

[100] Очерки о путешествиях П. А. Чихачева по Северной и Южной Америке публиковались в *ОЗ* 1840-х гг.

[101] В архиве Д. (ЦГАЛИ) хранится неоконченная рукопись «Путевых заметок».

[102] *tant' Effie* (тетушка Эффи) — баронесса Евфимия Никитична Вревская, у которой воспитывалась мисс Мэри.

[103] *Олинька* — жена брата Д., Г. В. Дружинина, родственница умершего Я. Г. Головнина.

[104] *фестень* (франц. festin) — пир.

[105] В *С* (1853, № 8) была напечатана большая статья К. Д. Ушинского (будущего знаменитого педагога) — обзор этнографических и географических исследований; в него входила и подробная характеристика путевого дневника В. Н. Латкина, опубликованного в «Записках имп. Русского географического общества» (кн. 7).

[106] *мердуа* (франц. merdeux) — грязного цвета, мерзостный.

[107] *Селимеги* — ныне Силламяэ, Эстонской ССР.

[108] В *С* не появились переводы романов Т. Смоллетта. Однако в 1855 г. (№ 3) была напечатана статья «Жизнь и сочинения Тобиаса Смоллетта» за подписью «С ***». Может быть, автор — Д.?

[109] Имеется в виду, скорее всего, глава 14 цикла статей Д. «Вальтер Скотт и его современники» (*ОЗ,* 1854, № 10), где несколько страниц посвящено Краббу; возможно, однако, что Д. уже начал работать над циклом статей «Георг Крабб и его произведения» (*С,* 1855, № 11 — 1856, № 5).

[110] Буржуазный политэконом Ж. Б. Сей, противник налогов и запретов, ратовал за свободу финансовых и торговых операций.

[111] *Вольное экономическое общество* — добровольная научная организация (основана в 1765); издавала много трудов, главным образом в области сельского хозяйства.

[112] Известны четыре статьи лорда Джеффи о Краббе (Эдинбургское обозрение, 1808, 1810, 1812, 1819).

[113] В главе 14 из цикла статей Д. о В. Скотте (см. примеч. 109) имеется краткий разбор «романа-поэмы» «Монастырь» (см.: *Дружинин,* IV, 764—765).

[114] Имеется в виду ледяное озеро Коцит («Ад», песни 32, 34).

[115] Д. рекомендовал в *Бдч* повесть своего знакомого М. А. Ливенцова «Михако и Нина», «грузинскую идиллию» (*Бдч,* 1852, № 5, 6); Старчевский потом всячески уклонялся от уплаты гонорара; см. об этом: *Старчевский А. В.* Александр Васильевич Дружинин.— Наблюдатель, 1885, № 4, с. 227; *Ливенцов М. А.* Александр Васильевич Дружинин.— Русская старина, 1887, № 6, с. 751.

116 Произведения Ливенцова не были напечатаны в *С*.
117 Д. был оскорблен, когда И. И. Панаев в статье «Заметки Нового поэта о русской журналистике» (*С*, 1851, № 5) отмежевался от «Писем Иногороднего подписчика...», заявив, что редакция *С* выступает лишь в роли вежливого хозяина, не отвечающего за суждения гостей. Д. после этого на много месяцев прекратил сотрудничество в *С*.
118 Этот стихотворный перевод Д. из Байрона был опубликован в *С* (1854, № 1).
119 *Сергиев день* — 7 октября.
120 *Рудный Погост* — ныне г. Сланцы Ленинградской обл.
121 *гитара* — вид извозчичьих дрожек.
122 *пишущие столы* — модное увлечение «спиритическими сеансами» с блюдечком, «пишущим» слова; распространилось в Европе с 1852 г.
123 28 сентября 1853 г. открылась ежегодная выставка в Академии художеств.
124 Обзоры Д. русских переводов романов Ф. Купера «Морские львы...» и Ч. Диккенса «Дедушка и внучка» (т. е. «Лавка древностей») опубликованы в *С* (1853, № 11).
125 Из стихотворения Пушкина «Десятая заповедь» (1821).
126 В 1853 г. Д. жил на Васильевском острове, в 7-й линии, в доме Капгера.
127 *транстеверинка* — буквально: жительница окраины Рима за Тибром (аналогично Замоскворечью в Москве); так Д. назвал свою знакомую Лизу (Лизетту) (см. примеч. 48).
128 См. примеч. 72 и 118.
129 У Цепного моста через Фонтанку (ныне мост Пестеля) помещалось III отделение императорской канцелярии (ныне Фонтанка, 16). Следующая фраза: «...окрестности, мне неизвестные», видимо, шутливый намек на это здание.
130 В журнале «The Quarterly Review» (1853, June, N 185) подробно изложено содержание книги «Memoirs, Journals and Correspondence of Thomas Moore» (L. 1853).
131 *Ботани-бей* — залив в Австралии, район ссылки преступников.
132 Том Приг, леди Ботиболь — персонажи «Книги снобов» (1846—1847) В. Теккерея.
133 Отзыв Д. на книгу А. Котляревского «Крымские цыгане» (СПб., 1853) опубликован в *Бдч* (1853, № 11).
134 *Снобы* — «Книга снобов» (1846—1847), роман В. Теккерея.
135 Цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Торжество победителей» (перевод из Шиллера) (1829).
136 Д. использовал этот эпизод в статье «Русская журналистика. Вступительное письмо Иногороднего подписчика» (*С*, 1854, № 1); см.: *Дружинин*, V, 750.
137 Вероятнее всего, Д. сам сочинил это французское четверостишье «под Беранже»: характеристика Лизетты совпадает с дальнейшими записями в Дневнике.
138 Отзыв Д. на книгу Е. П. Ковалевского «Путешествие в Китай» (СПб., 1853) опубликован в *Бдч* (1853, № 12).
139 Турецкое правительство объявило войну России еще 22 сентября 1853 г., но около месяца военные действия носили разведывательный характер; настоящие бои на Дунае начались 23 октября, на Кавказском фронте — в ноябре.
140 Пародия «Неразговорчивый гость» — перевод самого Д. из английского журнала «Punch» — была незадолго до этого опубликована в тексте «Письма Иногороднего подписчика об английской литературе и журналистике» (*С*, 1853, № 10); см.: *Дружинин*, V, 347—348.
141 Это письмо Д. от 23 октября 1853 г. хранится в ИРЛИ.
142 С 25 октября в Петербурге спектаклем Ж. Расина «Федра» начались гастроли Рашели, знаменитой трагической актрисы.
143 В отчете газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (1853, № 248) также отмечалось, что артисты труппы слабы, бездарны, способны лишь подавать реплики для Рашели.
144 Каламбур: вечер у Балтазара Калиновского и «пир Валтасара» (Балтазара), халдейского царя (Библия, книга пророка Даниила, 5).
145 В. П. Гаевский в течение 1853—1854 гг. опубликовал в *С* цикл из четырех статей «Дельвиг»; очевидно, в октябре подготовлялась статья третья (*С*, 1854, № 1).
146 *Милютины лавки* — торговля привозными фруктами, устрицами и т. п. дорогими товарами; помещались в здании Городской думы (ныне Невский пр., 31).

[147] *Амфитрион* — гостеприимный хозяин; имя древнегреческого царя стало нарицательным после комедии Мольера «Амфитрион» (1668).
[148] *бенефициант* — офицер П. С. Ванновский, отправлявшийся в действующую армию.
[149] Турецкая армия захватила 15 октября пограничный пост св. Николая на побережье Черного моря (между Поти и Батумом).
[150] Статья неизвестна. Может быть, это анонимная статья «Повести и рассказы А. Ф. Писемского», появившаяся в *Бдч* (1854, № 2).
[151] Речь идет о статье «Повести и рассказы А. Ф. Писемского», напечатанной без подписи в *Бдч* (1854, № 2). Исследователям Д. она не была известна.
[152] Повесть А. Ф. Писемского «Леший» (*С*, 1853, № 11).
[153] *«Невский альманах»* — петербургский альманах, издававшийся Е. Аладьиным; последние выпуски — в 1846 и 1847 гг.
[154] В газете А. А. Краевского «Санкт-Петербургские ведомости» Д. стал регулярно участвовать лишь с 1855 г., помещая там «Заметки петербургского туриста», продолжение «Сантиментального путешествия Ивана Чернокнижникова...» (1850).
[155] В журнале «Русский художественный листок» (1853, № 19, 1 июля) в очерке о П. А. Федотове упоминается «превосходная статья» Д. о художнике (*С*, 1853, № 2) и приведена большая выдержка из статьи.
[156] *лепетушка* — болтовня.
[157] *Пять углов* — известное место в Петербурге, угол Загородного пр. и Разъезжей ул.
[158] *Комиссариатский департамент* — отдел военного министерства, в ведении которого было снабжение армии одеждой.
[159] Каламбур: *дюшесс* (франц. duchesse) — сорт груш, буквальный перевод — «герцогиня».
[160] Эти письма при Дневнике не сохранились.
[161] *Walpole.* Four years in the Pacific, 1844—1848. L., 1849. Vol. 1, 2.
[162] Драма А. Н. Островского «Бедная невеста» (1852).
[163] Комедия в одном действии А. Декурселя и Т. Баррьера «Пансионерка»; перевод с франц. К. А. Тарновского и Ф. М. Руднева (1852).
[164] Пьеса в одном действии Г. В. Кугушева «Комедия без названия» (1851). Все три пьесы, как было принято в XIX в., шли в один вечер (23 ноября).
[165] «Благодаря Рашели» — значит, основная масса любителей театра была в этот вечер на спектакле французской труппы.
[166] Театральная цензура полностью вычеркнула из «Бедной невесты» роль Дуни, «падшей» женщины. Д. знал полный текст драмы по ее публикации в журнале «Москвитянин» (1852, № 4).
[167] Цикл Д. из трех статей «Жизнь и драматические произведения Ричарда Шеридана» опубликован в *С* (1854, № 1, 9, 10).
[168] *бельфамность* (от франц. belle femme) — ироническое определение женской представительности.
[169] *куафюрка* — прическа.
[170] *Kemble F. A.* Journal of a residence in the United States. L., 1834.
[171] Пьесы Д. под общей рубрикой «Драмы из обыденной, преимущественно столичной жизни» напечатаны в *С* (1854, № 2, 3) во вновь открытом юмористическом отделе «Литературный ералаш» (см. запись от 7 декабря 1853 г.).
[172] Имеется в виду разгром турецкого флота в Синопской гавани эскадрой под командованием адмирала П. С. Нахимова (18 ноября 1853 г.); на суше было несколько крупных побед, особенно на Кавказе (сражения 2 и 14 ноября).
[173] Письма Л. М. Жемчужникова и А. В. Старчевского (оба от 29 ноября 1853 г.) опубликованы: *Письма,* с. 131, 295.
[174] По письму Жемчужникова можно понять, что он обещал Д. продать какое-то количество экземпляров оттисков статьи Д. о П. А. Федотове или же внести свои деньги. Д., очевидно, собирал средства в помощь семье художника.
[175] *шовер* — лысый (от франц. chauve).
[176] *Морской корпус* — военно-морское учебное заведение на Николаевской наб. (ныне наб. лейтенанта Шмидта, 17).
[177] Д. изложил их содержание в цикле из трех статей «Лекции В. Теккерея об английских юмористах» (*С*, 1854, № 1—3).

[178] Имеется в виду крупная победа русских войск на Кавказе под командованием кн. В. О. Бебутова — разгром турецкой армии под Ахалцыхом 14 ноября 1853 г.

[179] С января 1854 г. Д. снова начнет публиковать в *С* «Письма Иногороднего подписчика о русской журналистике».

[180] Каламбур: название оперы Дж. Мейербера «Пророк» по-французски звучит «Профэт» («Prophète»).

[181] Фет тоже говорит о знакомстве с Д., но относит его к следующей встрече у Панаева — 13 декабря (см.: *Фет А. А.* Мои воспоминания. М., 1890, ч. 1, с. 33). Ср. запись Д. от 14 декабря 1853 г.

[182] Речь идет о «чернокнижных» стихотворениях, создававшихся в Парголове, дачной местности под Петербургом, где в начале 1850-х гг. проводили летние месяцы Д. и его знакомые из круга *С*. По сведениям С. А. Венгерова, эти произведения «были изданы за границею — в Карлсруе, но Лонгинов впоследствии, когда вышел в люди, скупал их и уничтожал» (*Венгеров С. А.* Собр. соч. СПб., 1911, т. 5. Дружинин, Гончаров, Писемский, с. 9). С. А. Венгеров, очевидно, поверил в реальность шутливого указания М. Н. Лонгинова на Карлсруе. Попытки С. А. Рейсера найти сведения об этой книге в каталогах Германии, в библиотеках СССР и Западной Европы, в архивах оказались безрезультатны. Подобного издания, очевидно, не было.

[183] В магазине на Б. Морской ул. (ныне ул. Герцена) была открыта выставка серебряных вещей, предназначавшихся для лотереи в пользу бедных.

[184] М. Л. Михайлов; повесть «Адам Адамыч» (1851) — его первое крупное произведение; Михайлов «поразил» присутствующих потому, что у него были сильно опущенные веки.

[185] *окондировать* — сопровождать (от франц. conduire).

[186] *босвеллизм* — так Д. именует хвастовство и болтливость,— которыми отличался английский писатель Джемс Босвелл (1740—1795). Д. написал обширный цикл из шести статей «Джонсон и Босвелль...» (*Бдч,* 1851, № 11 — 1852, № 10).

[187] Возможно, статья Шарля де Ремюза «Гораций Вальполь» (*Бдч,* 1852, № 10; 1853, № 11). Хили — Стравбери-Гиль, сельская местность, где жил Вальполь.

[188] Имеется в виду строка «И напечатаю в Карлсруе» из нецензурного стихотворения М. Н. Лонгинова «Пишу стихи я не для дам...» (см. примеч. 182).

[189] Речь идет о М. Л. Михайлове, снимавшем квартиру в доме кн. Т. Ф. Любомирской на углу Вознесенского пр. и Офицерской ул. (ныне пр. Майорова).

[190] Очевидно, А. Ф. Видерт.

[191] По высочайшему повелению с 1 января 1854 г. вводилась новая жесткая такса для извозчиков; Ф. В. Булгарин осмелился в своем фельетоне «Журнальная всякая всячина» (Северная пчела, 1853, № 277, 12 ноябр.) скептически отнестись к пользе такой нормы (извозчики будут заявлять «занят», если седок не намерен платить выше таксы); за статью Булгарин получил «строжайший выговор».

[192] В *Бдч* (1853, № 10) появился резко отрицательный отзыв О. И. Сенковского на сборник статей об античности «Пропилеи» (М., 1853); цензор А. В. Никитенко записал в своем дневнике: «...комитет 2 апреля, или негласный, вместо литературного безвкусия увидел здесь целое преступление, а именно нашел, что тут «оскорблены русская литература и русское суждение». Так точно донес он и государю. Велено сделать цензору строгий выговор <...>. Сенковскому велено сделать строжайший выговор» (*Никитенко А. В.* Дневник: В 3-х т. М., 1955, т. 1, с. 375—376).

[193] Спустя несколько дней эти стихотворения Фета будут опубликованы в *С* (1854, № 1). Д. называет их неточно; нужно — «На Днепре в половодье» и «Гораций. К Лидии».

[194] Это письмо опубликовано: *Письма,* с. 67—68.

[195] *Новый мост* — будущий Николаевский мост через Неву (ныне мост лейтенанта Шмидта).

[196] Повесть М. Л. Михайлова «Святки» была только что издана (СПб., 1854).

[197] *приапизм* — сладострастие (бог садов Приап, древнегреч.).

[198] Этими словами Некрасова Д. и начал очередное из «Писем Иногороднего подписчика...» (*С,* 1854, № 1); см.: *Дружинин,* VI, 742.

[199] Комедия-водевиль в одном действии О. Фейе и П. Бокажа «Амишка», переделка с франц. П. С. Федорова (1853).

200 Балет Ф. И. Кшесинского «Крестьянская свадьба» (1851).

201 Комедия-водевиль в одном действии Э. М. Лабижа и М. Мишеля, переделка с франц. К. А. Тарновского (1853).

202 Комедия-водевиль в одном действии М. Теолона и др. «Чудак-покойник, или Таинственный ящик» (пер. с франц. П. А. Каратыгина, 1842).

203 Комедия-водевиль в одном действии П. И. Григорьева «Зачем иные люди женятся» (1853). Все четыре пьесы шли в Александринском театре вечером 21 декабря.

204 Из стихотворения Пушкина «Друзья» (1822).

205 Имеется в виду повесть «Зимний вечер», запрещенная цензором Ю. Е. Шидловским. (См. *Мещеряков В. П.* Д. В. Григорович — писатель и искусствовед. Л., 1985, с. 54).

<1854 г.>

206 *Осьмино* — село Санкт-Петербургской губ. (ныне Лужского р-на Ленинградской обл.), в 45 км от усадьбы Д. Мариинское; управляющим имением в Осьмине был И. И. Маслов; вероятно, Н. А. Блок предполагал или сменить его, или занять какую-то близкую к Маслову должность.

207 Стихотворения Фета «Пчелы» опубликовано в *С* (1854, № 2).

208 А. Я. Панаева начала с № 1 публиковать в *С* роман «Мелочи жизни» (окончание в № 4).

209 *«Львы в провинции»* (1852) — роман И. И. Панаева, где при некоторой ироничности наблюдалось и любование светскими «львами».

210 Намек на стихотворения Некрасова «Муза» («Нет! Музы, ласково поющей и прекрасной...»). Об отношении Д. к демократическим стихотворениям-манифестам Некрасова см.: *Зельдович М. Г.* Неопубликованная статья А. В. Дружинина о Некрасове.— Некрасовский сб., 4. Л., 1967, с. 241—266.

211 Речь идет о третьей (из четырех) статье В. П. Гаевского «Дельвиг», опубликованной в *С* (1854, № 1).

212 Роман-эпопея Г. Фильдинга «История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса» (1742).

213 25 декабря 1853 г. на Дунайском театре военных действий произошло крупное сражение. Превосходящие силы турецкой армии много часов атаковали село Четати близ Калафата, где стоял Тобольский пехотный полк (командир — полковник А. К. Баумгартен); две трети солдат и офицеров полка вышли из строя, но полк не сдался; подоспевшие на помощь другие полки русской армии разгромили наступавшие турецкие части.

214 Резкие и несправедливые отзывы Д. свидетельствуют о его непонимании культурно-общественной роли этого ученого и педагога.

215 «Письмо Иногороднего подписчика о русской журналистике» для *С* (1854, № 2).

216 Очевидно, Фет читал стихотворение «Старый парк» (*С*, 1854, № 2).

217 И. И. Панаев, редактор *С*, и А. А. Краевский, редактор *ОЗ*, хотя и были почти «родственники» (женаты на сестрах Брянских), но находились в весьма враждебных отношениях из-за журнальной конкуренции.

218 У Фета нет стихотворения «Голубь»; скорее всего, речь идет о стихотворении «Не спрашивай, над чем задумываюсь я...»: оно, как и «Пчелы», напечатано в *С* (1854, № 2).

219 *«Сомнамбула»* — опера В. Беллини (1831).

220 Жуковский перевел «Одиссею», Гнедич — «Илиаду».

221 Речь идет об учившихся в Царскосельском лицее с 1836 по 1842 г.

222 *Фурштадская* — ныне ул. Петра Лаврова.

223 Крылатое выражение, приписываемое англ. писателю С. Джонсону (1709—1784).

224 Днем 7 февраля в петербургском Большом театре состоялся бенефис капельмейстера Ф. Риччи; в программе: отрывки из опер Россини «Карл Смелый» («Вильгельм Телль»), «Зора» («Моисей»), «Севильский цирюльник», Беллини «Норма», Мейербера «Осада Гента» («Пророк»).

225 Основную часть «Библиографии» (*С*, № 2) занимали статьи Н. Г. Чернышевского и К. Д. Ушинского; в «Смеси» — статьи Д., И. И. Панаева, К. Д. Ушинского.

226 *Стикс* — река забвения в царстве мертвых (греч.).
227 Статья Николая М. (псевдоним П. А. Кулиша) «Опыт биографии Николая Васильевича Гоголя» (*С,* 1854, № 2).
228 Письмо О. И. Сенковского от 9 февраля 1854 г. (опубликовано: *Письма,* с 284), автор упрекает Д. за отрицательный отзыв о *Бдч* и самом Сенковском в «Письмах Иногороднего подписчика...» (*С,* 1854, № 2).
229 Имеется в виду издатель *Бдч* и книгопродавец В. П. Печаткин и помощник О. И. Сенковского (Барона Брамбеуса) по *Бдч* А. В. Старчевский.
230 *«Лукреция»,* «Лукреция Борджиа» (1833) — опера Г. Доницетти.
231 Письмо О. И. Сенковского от 11 февраля опубликовано: *Письма,* с. 286.
232 «Путевые картины» Г. Гейне (1831); владельцем книги был, вероятно, М. Л. Михайлов, много переводивший из Гейне, в том числе и «Путевые картины» (стихи и прозу).
233 *«Картина Парижа» Л. С. Мерсье* (1781—1788) — многотомное собрание очерков, рисующих нравы предреволюционной Франции.
234 Родители Ап. Майкова: художник Николай Аполлонович и писательница Евгения Петровна (1803—1880), урожд. Гусятникова.
235 Водевиль Ф. Дюмануара и Л. Клервиля «Драматические шалости» с большим успехом шел в Михайловском театре; содержание его изложено: Пантеон, 1854, № 3, отд. IV, с. 66—70.
236 Имеются в виду очерки: *Ротчев А. Г.* Воспоминания русского путешественника о Вест-Индии, Калифорнии и Ост-Индии.— Пантеон, 1854, № 1, 2; *ОЗ,* 1854, № 2.
237 *Ольга Н.*— псевдоним С. В. Энгельгардт; ее повесть «Суженого конем не объедешь» появилась в *ОЗ* (1854, № 2).
238 Драма Ф. Дюмануара и А. Деннера «Дон Сезар де Базан» шла в Михайловском театре; содержание ее см.: Пантеон, 1854, № 3, отд. IV, с. 55—58.
239 *горы* — катальные горы, которые на масленице устраивались в Петербурге возле Адмиралтейства. Упоминаемое ниже «Синопское сражение» — живая картина в балагане.
240 Н. А. Степанов лепил шаржевые статуэтки русских писателей.
241 Имеется в виду роман Ш. Бронте (псевдоним — Каррер Белл) «Вильет» (1853). Статья Д. об этом романе опубликована в *Бдч* (1856, № 12).
242 Роман писателя Яна Потоцкого (1761—1851) «Рукопись, найденная в Сарагоссе» (1804); был написан по-французски.
243 Роман М. Г. Льюиса «Монах» (1796).
244 Персонаж романа Ч. Диккенса «Домби и сын» (1848).
245 Роман Т. Готье «Мадмуазель Мопен» (1835—1836).
246 Е. А. Хвостова, в девичестве Сушкова (предмет увлечения юного Лермонтова).
247 *ревизская сказка* — список всех жителей.
248 Сатира И. И. Панаева (под псевдонимом «Аполлиний **») «Литературные гномы и знаменитая артистка (фантастическая сцена из подземной литературы)», опубликованная во 2-й тетради приложения «Литературный ералаш» (*С,* 1854, № 3).
249 О знакомстве артистки с Д., Тургеневым и Григоровичем см.: *Шуберт А. И.* Моя жизнь. Л., 1929, с. 159—160.
250 *«Яр»* — вероятнее всего, не ресторан на Петербургском шоссе, а гостиница на Кузнецком мосту, 9 (дом не сохранился).
251 *«Лейпциг»* — гостиница и ресторан в Москве.
252 *Троицкий трактир* — в Москве на ул. Ильинке (ныне ул. Куйбышева, 5).
253 *Гебетация* (франц, hébêtation) — одурение, отупение.
254 *лампопо* — напиток, популярный в кругу московских друзей Д. (пиво, настоенное с черными сухарями, лимоном и сахаром).
255 Книжная лавка И. В. Базунова, московского комиссионера *С,* помещалась на Б. Дмитровке (ныне Пушкинская ул.), 25 (дом не сохранился). Д. получал деньги, вероятно, за проданные оттиски-брошюры своих произведений.
256 В. П. Боткин проживал в Москве в собственном доме (Петроверигский пер., 4).
257 *«Hôtel de France»* (гостиница «Франция») — Петровка, 5 (ныне здесь сквер).
258 Концерт в пользу раненых и инвалидов войны состоялся 19 марта в московском

Благородном собрании (ныне Дом союзов). См. о нем: Пантеон, 1854, № 4, отд. «Моск. вестник», с. 6—9.

259 «С. Н. Мосолов владел знаменитою картинною галереей в Москве, на Лубянке <...> стоило ему получить известие из Лейпцига или Парижа о продаже собрания гравюр, он немедленно укладывался и летел за границу» (*Григорович Д. В.* Литературные воспоминания. М., 1961, с. 127—128).

260 *Купеческое собрание* — Купеческий клуб на Б. Дмитровке (ныне Пушкинская, 17) (дом перестроен).

261 Д. писал Григоровичу 9 апреля 1854 г.: «...познакомился с одним замечательным, хотя и диким господином, именно Юрием Бартеневым. В этом мистическом старце встретил я столько ума, сочувствия ко всему новому и молодому и, наконец, столько проницательности и блеска в мыслях, что, несмотря на свои занятия, дал обещание с ним переписываться» (ГПБ).

262 *Английский клуб* — Тверская (ныне ул. Горького), 21.

263 Очевидно, речь идет о Дмитрии Петровиче (1829—1889) или Петре Петровиче (1831—1907) Боткиных, главных деятелях чаеторговой фирмы «Боткин и сыновья»; в Кяхте, на границе с Китаем, находилось отделение фирмы.

264 «Народные сценки» (1830) — сборник сатирических пьес писателя А. Менье.

265 *Доминик* — владелец одноименного ресторана, помещавшегося на Невском пр., 22—24.

266 Имеется в виду коллективное стихотворение «Загадка» («Художества любитель...»). К. И. Чуковский, вслед за Н. М. Гутьяром (1910), ошибочно считал, что оно написано Некрасовым и Тургеневым летом 1854 г. в Петергофе (см.: *Некрасов,* 1, 627). А. М. Гаркави на основании Дневника Д. справедливо датировал стихотворение началом 1854 г. (*Некрасов Н. А.* Полн. собр. стихотворений: В 3-х т. Л., 1967, т. 1, с. 667). Следует в число авторов добавить и Д.: в копии А. А. Краевского имеется на полях карандашная запись: «Дружинин, Тургенев, Некрасов» (*Некрасов,* 1, 628).

267 Англия и Франция, опасаясь успехов России в Восточной войне (с Турцией), стали стягивать к русским берегам свои эскадры; 11 апреля 1854 г. Николай I издает манифест о войне с западными союзниками Турции; лорд Ч. Непир был назначен командующим английским флотом, двигающимся к Балтийскому морю; 28 мая все русские порты Балтийского моря будут блокированы.

268 «Три поры жизни» (*Бдч,* 1853) — роман Евгении Тур (псевдоним Е. В. Сальяс де Турнемир). Отзыв Д. о романе неизвестен. Отзыв О. И. Сенковского см.: *Бдч,* 1854, № 4, отд. VI («Лит. летопись»), с. 32—42.

269 10 апреля — страстная суббота (ночь перед пасхой).

270 *Английский клуб* — привилегированное дворянское собрание (в России — в Петербурге и Москве) с ограниченным числом членов (в 1850-х гг.— до 400), с большими членскими взносами (в 1850-х гг.— 75 р. серебром в год). Кроме членов, было несколько сот кандидатов, ожидающих, по старшинству, открывающейся вакансии. В Петербурге клуб в 1830—1859 гг. помещался в Демидовом пер. (ныне пер. Гривцова, 1, во дворе).

271 Рассказ Д. «Две встречи» напечатан в *Бдч* (1854, № 12).

272 Балаганы и катальные горы устраивались в Петербурге дважды в году — на масленице (зимние гулянья) и на святой (пасхальной) неделе (весенние). Здесь описываются весенние балаганы. Подробный отчет о них см.: *С,* 1854, № 5, отд. V, с. 51.

273 Эти рассуждения Д. включил в рассказ «Две встречи» (см.: *Дружинин,* I. 589).

274 10 апреля 1854 г. англо-французская эскадра после длительной бомбардировки Одессы высадила на берег десант для захвата города, но нападение было отбито защитниками Одессы.

275 Из романа Пушкина «Евгений Онегин» (гл. 8, строфа XI).

276 *«Легенда о Кислых водах»* — С, 1855, № 3, 4.

277 Такая повесть неизвестна. Возможно, это первоначальное название повести «Деревенский рассказ» (*Бдч,* 1855, № 3).

278 Такой роман не был написан.

279 *Благовещенский мост* — Новый мост (ныне мост лейтенанта Шмидта); *Борель* — ресторан на Б. Морской (ныне ул. Герцена, 7).

280 Босвелл — автор известной биографии Джонсона, Мур — автор жизнеописания Байрона.
281 *обол* — толстяк.
282 *русский театр* — имеется в виду Александринский театр (ныне Ленинградский академический театр драмы им. А. С. Пушкина).
283 *Пески* — чиновничье-плебейская окраина Петербурга (ныне район Советских улиц и Суворовского пр.).
284 *Shaw Thomas B.* Outlines of English Literature, for the Use of Imperial Alexander Lyceum. SPb., 1847.
285 *Острова* — места гуляний в Петербурге (морская окраина Петербургской стороны).
286 *Грязная* — затем Николаевская ул. (ныне ул. Марата).
287 Абботсфорд — имение В. Скотта, где была большая коллекция картин и древностей.
288 *волюм* — (франц. volume) — том.
289 *сандаран* — очевидно, образовано от франц. sandaraque, сандарак, смола.
290 10 мая 1854 г. в Александринском театре в бенефис Л. И. Леонова ставились опера Обера «Влюбленная баядерка» (в 2-х д., с танцами и пантомимою балетмейстера Перро) и комическая одноактная опера А. Адана «Нюренбергская кукла» (текст Левена и Артура, пер. с франц. Н. И. Куликова).
291 Ирония по отношению к осторожному и весьма расчетливому и пристрастному в отзывах А. А. Краевскому, редактору *ОЗ* и *СПб. вед.*
292 В 1849 г. Николай I для подавления революции в Венгрии отправил войска в помощь австрийскому правительству.
293 *Chasles Ph.* Francis Jeffrey et la Revue d'Edinbourgh.— RC, 1853, t. 8.
294 П. В. Анненков в середине 1850-х гг. усердно трудился над изданием первого собрания Сочинений Пушкина (1855. Т. 1—6; 1857. Т. 7).
295 Имеется в виду легенда из древнеримской истории: кровопролитную войну между римлянами и сабинянами прекратили сабинянки (жены римлян и дети сабинян).
296 *Минеральные воды* — Полюстрово, дачное место под Петербургом (ныне в черте города).
297 *пирамидальный* — в кругу *С* этим словом обозначалось понятие «огромный», «величественный».
298 Знаменитая скульптурная группа «Самсон».
299 Намек на повесть Д. «Петербургский фонтан» (*Бдч*, 1850, № 12).
300 *Силистрия* (ныне г. Силистра, Болгария) — турецкая крепость, осаждавшаяся русскими войсками во время Восточной войны 1853—1856 гг.
301 *Систербек* — Сестрорецк.
302 В мае 1854 г. англо-французская эскадра неоднократно бомбардировала прибрежные города Финского залива, в том числе и г. Ганге на полуострове Гангут (Гангеуд) в Финляндии (ныне город и полуостров Ханко).
303 См. примеч. 276.
304 Персонажи из повести Д. «Полинька Сакс», рассказа «Фрейлейн Вильгельмина», романа «Жюли».
305 *Лола* — героиня повести Д. «Лола Монтесс» (1848), *Жанета* — героиня рассказа «Mademoiselle Jeannette» (1852).
306 Статья С. И. Барановского «Письмо из Гельсингфорса» напечатана во всех русских петербургских газетах в начале июня (см., например: Русский инвалид, 1854, № 125, 5 июня; *СПб. вед.*, № 124, 6 июня). *Гамла-Карлеби* — город в Финляндии.
307 В том же номере *СПб. вед.* — сообщение о похоронах в Одессе, о военных почестях, оказанных умершему от ран капитану английского корабля.
308 Замысел, наверное, не был осуществлен. «Письма Иногороднего подписчика...» более не появлялись, а разбор романа Ш. Бронте «Вильет» опубликован отдельно (*Бдч*, 1856, № 12), впрочем, под рубрикой «Литературные беседы и парадоксы Иногороднего подписчика».
309 *скорбут* — цинга.
310 См. примеч. 284.
311 *Du Camp. M.* Le livre posthume...— *RP*, 1852, déc.— 1853, mars.

312 *Рене* — герой одноименной повести Ф. Р. Шатобриана (1802), *Оберман* — герой одноименного романа Э. П. де Сенанкура (1804).
313 Имеется в виду «Жизнеописание романистов» В. Скотта (1821—1824. Т. 1—4).
314 Д. вспоминает свои историко-литературные статьи: «Кларисса Гарлов, С. Ричардсона» (*С*, 1850, № 1), «Векфильдский священник, роман Оливера Голдсмита» (*С*, 1850, № 2), «Вальтер Скотт и его современники» (*ОЗ*, 1854, № 3—10), «Джонсон и Босвелль» (*Бдч*, 1851, № 11 — 1852, № 12).
315 *Achard A.* Les petits fils de Lovelace.— *RP*, 1853, oct.— déc.
316 *Gozlan L.* Souvenir des Jardies. I. Chez Balzac.— *RC*, 1853, t. 10.
317 *Du Camp M.* Le Nil (lettres sur l'Egypte et la Nubie).— *RP*, 1853, oct.-déc.
318 *Delessert E.* Voyage aux villes maudites: Sodome, Gomorrhe, Seboiïn, Adama, Zoar... P., 1853.
319 *Delord T.* Charges et portraites littéraires (Шаржи и литературные портреты — франц.) — *RP*, 1853, 1 nov.
320 В каждом номере *RP* за 1853 г. печатался фельетон Э. Тексье.
321 *Nettement A.* Histoire d'Angleterre depuis l'avènement de Jacques II. — *RC*, 1853, juill. Это рецензия на франц. перевод книги Маколея под тем же названием (1848).
322 *Michelet J.* Histoire de la Révolution français. P., 1853, t. 7. О смерти Дантона — с. 213—225 (кн. 17, гл. 7).
323 Имеется в виду изломанный, рассчитанный на эффект стиль французского журналиста Эмиля де Жирардена (1806—1884).
324 *сибилла* — легендарная пророчица (рим.).
325 Т. Карлейлю принадлежит 3-томный труд «История французской революции» (Лондон, 1837).
326 Д. неточен: *Girardin Saint Marc.* De l'usage des passion dans le drame (P., 1847).
327 *Wey F.* William Hogarth...— *RC,* 1853, t. 7.
328 Статья лейтенанта бар. Дистерло «Кавказский пароход Колхида. 19, 20 и 21 октября 1853 г.» — *СПб. вед.*, 1854, № 139, 24 июня; Северная пчела, № 141, 142, 24 и 26 июня.
329 *Дом Белосельской* — красивый особняк на углу Невского пр. и Фонтанки, принадлежавший князьям Белосельским-Белозерским (ныне Невский пр., 41); 10 тысяч руб. ассигнациями (т. е. около 2500 руб. серебром) — крайне низкая цена за дворец.
330 Имеется в виду Трефорт.
331 *Смольный* — институт благородных девиц в Петербурге.
332 А. В. Никитенко был инспектором Смольного института.
333 *Великий Могол* — титул государя Индии из династии бабуридов.
334 «Послание к Лонгинову», с соответствующими выпусками, опубликовано: *Некрасов*, I, 425—426. В копии из архива А. А. Краевского указаны авторы: «Н. Некрасов, И. Тургенев, А. Дружинин» (Там же, с. 629). Некрасов перед отъездом из Мариинского обратился к гостеприимному хозяину со стихотворением: «Мы, посетив тебя, Дружинин...» (Там же, с. 413).
335 Намек на 2-ю строфу коллективного стихотворения «Загадка» (см. примеч. 266):

Поклонник вре-бонтона,
Армянский жантильйом,
Читающий Прудона
Под пальмовым листом... (*Некрасов*, I, 424).

336 Д. напишет большую статью «Александр Петрович Степанов, автор „Постоялого двора“ и «Описания Енисейской губернии» (*Бдч*, 1857, № 7, 8).
337 Д. неточен: *Souvestre E.* Un philosophe sous les toits. Journal d'un homme hereux. P., 1851.
338 *Фиваида* — легендарный цветущий край (по имени древнеегипетской области с городом Фивы).
339 Имеются в виду книга А. де Кюстина» «La Russie en 1839» (P., 1843), путанная по воззрениям, но раскрывающая некоторые типичные стороны русской жизни, особенно в высшем свете, и полемический ответ Н. И. Греча, инспирированный III отделением: «О произведении „Россия в 1839 г.“ маркиза де Кюстина»; ответ был пере-

веден на франц. и нем. языки и издан в Париже в 1844 г. Подробнее см.: *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.; Л., 1930, с. 782—784.

340 *D'Arlincourt, le vicomte*. L'Etoile polaire. P., 1843. Vol. 1, 2.

341 Имеется в виду роман Монтескье «Персидские письма» (1721).

342 *Dufaï A.* Une vie d'homme de lettres au XVIII-e siècle. Les Mémoires de Marmontel.— *RC*, 1853, Juillet.

343 Намек на стихотворение Н. Ф. Щербины «Моя богиня» (1851) и вообще на увлечение поэта Грецией.

344 *сад Ленотра* — сады и парки в Версале, Фонтенбло, Медоне и других местностях.

345 *Отель* — по-французски означает не только гостиницу, но и резиденцию короля, общественные и частные здания.

346 Д. неточен: в Риме наиболее известен собор св. Петра (но не Петра и Павла).

347 Очерки Кс. Мармье печатались в *RC* (1853).

348 *электер* (от франц. électeur) — избиратель.

349 Сципион Африканский Старший в конце жизни, после скандальных неприятностей в Риме (суд над братом, происки враждебной политической группы), удалился в свое имение.

350 13 августа 1854 г.— пятница.

351 Персонажи трагедий Шекспира «Король Генрих IV» и «Король Ричард III».

352 С начала 1855 г. в *СПб. вед.* в течение полутора лет будут печататься «Заметки Петербургского туриста» Д.— продолжение путешествий Ивана Чернокнижникова.

353 Драма Шекспира «Юлий Цезарь».

354 Сб. повестей Ш. де Бернара «L'ecueil» (P., 1853).

355 *Murger H.* Scènes de la vie de Bohème. P., 1851.

356 Встреча послужила темой для рассказа Д. «Пашинька» (*ОЗ*, 1855, № 1).

357 *обол* — мелкая монета в Древней Греции.

358 В октябре 1854 г. в магазине антиквара Негри (на Б. Морской ул.) открылись выставка и аукцион.

359 *белиндрясы* — мелочь, безделушки.

360 2 сентября 1854 г. союзники Турции (английская и французская армия) высадились в Крыму, а с 5 октября начались их многомесячные попытки захватить Севастополь; до развязки было еще очень далеко!

361 См. примеч. 356.

362 Балет Ж. Перро «Фауст»; премьера в Большом театре — 7 ноября.

363 Намек на отставного генерала А. М. Гедеонова, который уже много лет был директором императорских театров (1833—1858 гг.), и на консервативного управляющего московской конторы императорских театров А. Н. Верстовского (1848—1860 гг.).

364 Премьера пьесы Островского «Бедность не порок» (1853) в Петербурге состоялась 9 сентября 1854 г. в Александринском театре и затем неоднократно ставилась русской драматической труппой на сценах Петербурга. В главных ролях (ниже Д. называет основных актеров): Любим Торцов — В. В. Самойлов, Любовь Гордеевна — А. М. Читау, Митя — Ф. А. Бурдин.

365 Водевиль Ф. А. Кони «Покойник муж и вдова его» (1835), переделка франц. комедии А. Дюма, О. Анисе-Буржуа и Дюрье.

366 Д. напечатал «Письмо в редакцию Санкт-Петербургских ведомостей» (*СПб. вед.*, 1854, № 164) за подписью: «А. Дружинин. С. Мариинское, 29 июня 1854 года», где благодарит редакцию за публикацию статьи лейтенанта Дистерло «Кавказский пароход „Колхида“ 19, 20 и 21 октября 1853 года».

367 «Две встречи» — *Бдч*, 1854, № 12.

<1855 г.>

368 *«Осада Гента»* — опера Дж. Мейербера «Пророк» (название было запрещено театральной цензурой).

369 Заметки петербургского туриста. II. Знакомство мое с фантастическим собирателем редкостей.— *СПб. вед.*, 1855, № 20.

370 12 января 1855 г. исполнилось столетие Московского университета; юбилей торжественно отмечался в Москве.
371 Далее следует несколько страниц отрывочных записей от 18—29 января, которые по ряду признаков относим к 1855 г. (см. записи 22 января «Рассказы о московском юбилее» и 24 января о юбилее Греча).
372 *«Таинственная капля»* — запрещенная духовной цензурой поэма Ф. Н. Глинки; содержание основано на апокрифической легенде об исцелении богородицей умирающего ребенка. См.: *Штакеншнейдер Е. А.* Дневник и записки (1854—1886). М.; Л., 1934, с. 471—472.
373 См. примеч. 370.
374 *вердепомовое* (от франц. vert-de-pomme) — цвета незрелого яблока.
375 Эпиграмма А. Н. Майкова «Авторам „Письма к Лонгинову"» опубликована в статье: *Рейсер С., Максимович А.* Два стихотворения Ап. Майкова о Некрасове. Из истории литературной борьбы 1850-х гг.— *ЛН,* т. 49—50, М., 1946, с. 618.
376 Л. А. Мей, переехавший в 1853 г. в Петербург, стремился приобрести журнал «Сын отечества», но неудачно; в дальнейшем он стал постоянным сотрудником Бдч.
377 *«La citerne»* — драма д'Альби, находилась в репертуаре Михайловского театра.
378 Очевидно, повесть А. Ф. Писемского «Виновата ли она?» (*С.* 1855, № 2).
379 Об этой поездке см.: *Григорович,* с. 143—148. Григорович, однако, ошибочно относит поездку к концу июля — августу 1855 г., она же состоялась в июне — начале июля.
380 *«Дрезден»* — гостиница на Тверской (ныне ул. Горького, 6). Дом перестроен.
381 *Труба* — Трубная пл. в Москве.
382 Д. двойственно относился к сотруднице *Бдч* С. В. Энгельгардт. В письме к В. П. Боткину от 26 сентября Д. писал: «Все, все могу я скрыть, затаить и проглотить, кроме скуки. А хотя вы и хвалите женщин писательниц, но они на меня действуют тлетворно, еще не столько своим посредством, как через людей, у них собирающихся. При одной идее о граф<ине> Сальяс, Павлове, Мельгунове, барышнях Новосильцовых у меня кровь стынет в жилах. Но что сама Софья Владимировна мила, добра и привлекательна, в том не имеется никакого сомнения. Припомните, как в контраст к этим собраниям, собрания у Ростопчиной, когда у ней бывают хорошенькие дамы не из литературного круга, или наши прогулки в Шереметевском саду с тремя девушками» (ГТМ).
383 Очевидно, имеется в виду сад Останкинского дворца графов Шереметевых.
384 *Спас в Наливках* — церковь на ул. М. Полянка в Москве (близ дома Ап. Григорьева — М. Полянка, 12). Церковь и дом снесены.
385 *Самотека* — ул. Садовая-Самотечная.
386 Описываются события и лица, связанные с домом Боткиных (Петроверигский пер., 4): приезд брата В. П., Николая Петровича, из-за границы; П. Л. Пикулин — зять Боткиных (женат на сестре Василия Анне Петровне); в начале 1850-х гг. Т. Н. Грановский тоже снимал квартиру в доме Боткиных.
387 *пророки* — «западники» Т. Н. Грановский и Н. Х. Кетчер.
388 Д. имеет в виду цикл своих статей «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений» (*Бдч,* 1855, № 3, 4).
389 Д., Григорович, Боткин отправились в гости к Тургеневу в Спасское-Лутовиново Орловской губ. Об этой поездке см.: *Григорович,* с. 137—141. Д. готовился подробно описать поездку в юмористическом фельетоне «Заметки Петербургского туриста» (для *СПб. вед.*), но очерк остался неоконченным, вероятно, из-за протеста Боткина (он счел, что ему как одному из владельцев известной чаеторговой фирмы неприлично выступать в качестве комического персонажа). Рукопись хранится в архиве Д. (ЦГАЛИ); она дает возможность расшифровать почти все имена и события, описанные под рубриками «11 мая», «12 мая», «18 мая».
390 Боткин путешествовал по Испании в 1845 г.; впечатления от поездки явились поводом к созданию его известного цикла очерков «Письма об Испании» (*С,* 1847, № 3 — 1851, № 1).
391 Григорович распустил слух о разбойниках, грабящих на тульской дороге; путешественники запаслись оружием; слух оказался ложным.

392 Тургенев познакомился с соседкой по имению, сестрой писателя графиней М. Н. Толстой, в октябре 1854 г. и увлекся ею.

393 Подробности о домашнем спектакле 26 мая 1855 г. см.: *Григорович*, с. 139—141. Спектакль состоял из пародий на эпизод из трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах» (1804) и из фарса «Школа гостеприимства» (добряк-помещик зазывает к себе в неустроенное имение уйму гостей).

394 В «Заметках...» Д. (см. примеч. 389): «Навстречу нам высыпала многочисленная дворня хозяина, между которой стоят особенного внимания престарелый, но важный буфетчик Антон и глухонемой дворник Андрей, добродушнейшая персона, как кажется, послужившая оригиналом Герасима в повести Ивана Сергеевича „Муму"».

395 Об этом эпизоде см.: *Григорович,* с. 138.

396 Тургенев протежировал молодому писателю К. Н. Леонтьеву, способствовал публикации его повести «Лето на хуторе» (*ОЗ,* 1855, № 5), расхваливал друзьям талант автора. «Боткин дождался панегириста и с документом в руке, усадив его за стол, требовал, чтобы он показал, где тут сила и гениальность. Разбор его до того был резок и привязчив, что Тургенев не выдержал и убежал в сад, „где и принялся сочинять на меня эпиграмму", прибавлял Боткин. Эпиграмма вышла действительно забавная. Пародируя пушкинского „Анчара", Тургенев предоставил роль древа яда самому Боткину» (*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1960, с. 393).

397 Д. в «Заметках...» (см. примеч. 389): «Д. В. Григорович окаменел около шкапа с двумя безобразнейшими львами из твердого камня и несколькими китайскими чашками».

398 Возможно, речь идет о будущем романе Григоровича «Переселенцы» (*ОЗ,* 1855, № 11 — 1856, № 8).

399 *Дулебино* — имение Григоровича в Каширском уезде Тульской губ.

400 В обзоре «Журналистика» (*Бдч,* 1855, № 6) содержится подробный разбор повести Д. «Легенда о Кислых водах», автор назван «замечательным беллетристом» (с. 39—46). Автор обзора — А. И. Рыжов (см.: *Егоров Б. Ф.* Критическая деятельность А. И. Рыжова.— Учен. зап. Тарт. ун-та, 1958, вып. 65, с. 75—77).

401 В мае 1855 г. защитники Севастополя под напором превосходящих сил французской армии оставили ряд укрепленных редутов.

402 У Маросейки (ныне ул. Богдана Хмельницкого) — дом Боткина.

403 Некрасов остановился в гостинице Шевалье в Камергерском пер. (ныне проезд Художественного театра), 4. Дом перестроен.

404 Стихотворение Некрасова «Русскому писателю» (1855) (*С,* 1855, № 6). В переработанном виде оно вошло в стихотворение «Поэт и гражданин» (1856).

405 Московский книгоиздатель К. Т. Солдатенков приобрел у Некрасова право на издание тома его стихотворений.

406 Некрасов и Боткин сняли дачу в Петровском парке Москвы и провели там лето 1855 г.

407 Наиболее крупный штурм Малахова кургана происходил 6 июня (закончился для англо-французов неудачно).

408 *Петровский монастырь* — на ул. Петровка.

409 Сад «Эрмитаж» в Москве (Каретный ряд, 3).

410 *Александрия* — парк в Петергофе.

411 *Крестовский* (и выше упомянутый Каменный) остров — дачная окраина Петербурга.

412 В письме к Боткину от 20 июня 1855 г. Д. описывал ложные слухи о высадке в Ораниенбауме английского десанта, оказавшиеся ложными,— была лишь перестрелка с вражескими кораблями (*Письма,* с. 36). В связи с расхождением дат (Дневник — 21-го, письмо — 20-го) возможна ошибка в датировке.

413 *Калибан* — персонаж драмы Шекспира «Буря» (1612).

414 Среда была 13 июля 1855 г.

415 См. примеч. 389.

416 Очевидно, письмо В. П. Боткина от 27 июня 1855 г. (*Письма,* с. 35). Боткин излагает свое и Тургенева мнение по поводу статей Д. о Пушкине.

417 *Baschet A.* Honoré de Balzac. Essai sur l'homme et sur l'oeuvre. P., 1851.

418 Письмо от А. А. Краевского от 13 июля 1855 г. (*Письма,* с. 161—162) и письмо Тургенева от 10 июля (см. примеч. 416).

419 *киники* (циники) — в данном контексте противники общепринятых норм.
420 *«Русский черкес»* — *Бдч,* 1855, № 11.
421 *блюетка* (франц. bluette) — искорка, остроумный пустячок.
422 Лермонтов в записной книжке 1841 г. отметил: «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем»; интересно, что Д. знал эту мысль Лермонтова (вероятно, от друзей Лермонтова?),— приведенная запись впервые опубликована лишь в 1860 г.
423 4 августа 1855 г. русские войска под командованием бездарного кн. М. Д. Горчакова неудачно атаковали противника под Севастополем (Федюхины высоты); потери русских составили 8 тыс. человек убитыми и ранеными.
424 Письмо Д. к Некрасову от 19 августа 1855 г. см.: Тургенев и круг «Современника». М.; Л., 1930, с. 230—232; письмо к Боткину от 19 августа см.: *Письма,* с. 41.
425 Боткин сообщал Д. в письме от 6 августа 1855 г. о выходе томов сочинений Гоголя (вышли первые четыре тома из шести) и отдельного издания 2-го тома «Мертвых душ» (*Письма,* с. 37).
426 Русские войска оставили Севастополь 28 августа 1855 г.
427 *Лейпциг, Кульм* (в Чехии) — города, близ которых в 1813 г. происходили ожесточенные битвы русских войск (совместно с союзниками) с наполеоновской армией.
428 *вилледжиатура* (итал. villeggiatura) — дачная жизнь.
429 Имеется в виду второе стихотворение Г. Гейне из цикла «Книга песен»; в переводе М. Л. Михайлова оно называется «Зловещий грезился мне сон...» (*С,* 1858, № 3); перевод этого стихотворения А. Н. Струговщиковым неизвестен.
430 *Капернаум* — легендарный город в древней Иудее, жители которого, по евангельскому преданию, погрязли в мелочной, практической суете.
431 С августа 1855 г. по август 1856 г. Некрасов поселился в доме Имзена на М. Конюшенной, 5 (ныне ул. Софьи Перовской, 10). Дом надстроен.
432 Одноактная комедия Д. «Не всякому слуху верь» (*С,* 1850, № 11) шла в Александринском театре в течение 1855—1895 гг. (премьера — 3 октября 1855 г.), иногда ставилась и в Михайловском театре (труппа тогда была одна, менялись лишь площадки); в московском Малом театре пьеса шла в 1859—1878 гг.
433 *Крез* — царь Лидии, легендарный богач (древнегреч.); К. Т. Солдатенков — богатый московский купец и книгоиздатель.
434 *Сен Жорж* — петербургский ресторатор.
435 *Остров Патмос* — место ссылки в Древнем Риме, туда был, по преданию, сослан апостол Иоанн.
436 Начал печататься цикл из шести статей Д. «Георг Крабб и его произведения» (*С,* 1855, № 11 — 1856, № 5).
437 Л. Н. Толстой приехал в Петербург 21 ноября и остановился у Тургенева.
438 Шахматный клуб был учрежден в Петербурге в 1853 г.
439 Отрывки из дневника М. П. Погодина, опубликованные в 1840-х годах, представляют собой лаконичные, отрывочные записи.
440 27 ноября 1855 г. отмечалось 50-летие сценической деятельности М. С. Щепкина. Адрес от имени петербургских литераторов составил Некрасов (опубликован: *С,* 1855, № 12).
441 С января 1856 г. в Москве начинал выходить «Русский вестник», новый журнал тогда еще либерального М. Н. Каткова; в первые месяцы Е. Ф. Корш был деятельным помощником Каткова, затем они разошлись.
442 В литературных кругах Писемского звали Ермилом Костровым (поэт XVIII в.) за некоторую развязность в поведении и за пристрастие к спиртному.
443 Возможно, упомянутый выше А. В. Никитенко рассказывал о вечерах у министра народного просвещения А. С. Норова.
444 Был проект о преобразовании Шахматного клуба в литературный.
445 Статья Д. «Русские в Японии в начале 1853 и в конце 1854 годов (из путевых заметок) И. Гончарова. СПб., 1855» опубликована в *С* (1856, № 1).
446 Д. в статье о Гончарове отмечал сходные черты писателя и художников-фламандцев (точнее — голландцев, Д. упоминает Остаде и ван-дер Нээра): «...открытие чистой поэзии в том, что всеми считалось за безжизненную прозу» (*С,* 1856, № 1, отд. 3, с. 12).

447 Ср. мнение А. В. Никитенко, записавшего в дневнике 24 ноября 1855 г.: «Мне удалось, наконец, провести Гончарова в цензора. К первому января сменяют трех цензоров, наиболее нелепых. Гончаров заменит одного из них, конечно, с тем, чтобы не быть похожим на него. Он умен, с большим тактом, будет честным и хорошим цензором. А с другой стороны, это и его спасает от канцеляризма, в котором он погибает» (*Никитенко А. В.* Дневник... М., 1955, т. 1, с. 425).

448 *амфаз* (эмфаза) — эмоциональная возбужденность.

449 Об этом же обеде в Шахматном клубе см. подробную запись в дневнике Я. П. Полонского от 2 декабря 1855 г. (Голос минувшего, 1919, № 1-4, с. 104).

450 Турецкий гарнизон крепости Карс капитулировал перед русской армией 16 ноября 1855 г.

451 Подробный рассказ о чествовании графа Э. И. Тотлебена см. в дневнике Я. П. Полонского (записи от 3 и 6 декабря 1855 г.) (Голос минувшего, 1919, №1-4, с. 104—108). Там же помещен отрывок из стихотворения А. Н. Майкова.

452 Александр II, восшедший на престол в феврале 1855 г., после смерти Николая I, заставил уйти в отставку ряд наиболее реакционных и невежественных сановников; главноуправляющий путей сообщения граф П. А. Клейнмихель был уволен 15 октября 1855 г.

453 *троглодит* (греч.) — пещерный житель; *баши-бузук* (турец.) — сорви-голова, разбойник; *редиф* (араб.) — здесь в смысле «отставной (резервный) солдат».

454 *лаз* — представитель южнокавказской народности; здесь в смысле «естественный, нецивилизованный человек».

455 Намек на комическую поэму В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811).

456 29 декабря 1855 г. в Пажеском корпусе состоялось чествование начальника штаба Севастопольского гарнизона кн. В. И. Васильчикова.

457 *Финляндцы* — офицеры лейб-гвардии Финляндского полка.

458 См. мнение Д. о поэме Н. П. Огарева: *Бдч,* 1856, № 5 (*Дружинин,* VII, 131—140).

459 См. примеч. 482.

460 *«Армида»* — балет на музыку Г. Пуни, шел 18 декабря в Большом театре.

461 «Севастополь в августе 1855 года» Л. Н. Толстого (*С,* 1856, № 1).

462 «Король Лир» в переводе Д. появится в *С* (1856, № 12) и выйдет отдельным изданием (СПб., 1858).

463 Подробности об этом споре см.: *Фет* А. Мои воспоминания. М., 1890, ч. 1, с. 107; *Григорович,* с. 149. Спор явился лишь кульминацией предшествующих разногласий; Толстой считал Тургенева слишком «литературным», «романтичным» и нарочито заявлял о своей нелюбви к мировой классике (Гомер, Шекспир).

464 Д. опубликует две статьи о «Военных рассказах» Л. Н. Толстого и о повестях «Метель» и «Два гусара» (*Бдч,* 1856, № 9, 12).

<1856 г.>

465 *«Трубадур»* — опера Дж. Верди (1853).

466 Это юмористическое стихотворение, посвященное П. В. Анненкову; см.: *Некрасов,* 1, 427. Здесь первая строка: «За то, что ходит он в фуражке...».

467 Народное поверье: повязанная шерстяная нитка вылечивает от простуды.

468 Слова Гамлета («Гамлет», акт I, сцена 5).

469 *Греческий поэт* — Н. Ф. Щербина (см. примеч. 343).

470 Морское министерство субсидировало в 1856 г. несколько экспедиций писателей и ученых для изучения быта, экономики, фольклора жителей морских и речных бассейнов страны. А. Ф. Писемский и А. А. Потехин отправились в Поволжье.

471 Намек на строку из стихотворения, посвященного Анненкову (см. примеч. 466): «Что может собственных Катонов...» (перепев из Ломоносова).

472 Ср. изложение одного из споров Тургенева и Толстого Фетом: «Я не могу признать,— говорил Толстой,— чтобы высказанное вами было вашим убеждением. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением».— «Зачем же вы к нам ходите? — задыха-

ясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев.— Здесь не ваше знамя!» (*Фет А. А.* Мои воспоминания. М., 1890, ч. 1, с. 106).

473 Имеется в виду басня И. А. Крылова «Белка» (1830).

474 Трагедия П. П. Сухонина «Деньги» (СПб., 1855). Она не имела успеха на сцене, шла в Александринском театре всего 4 раза (январь 1856 г.).

475 Вероятно, речь идет о комедии гр. В. А. Соллогуба «Чиновник» (*Бдч,* 1856, № 3); поставлена в Александринском театре в феврале 1856 г.

476 М. Е. Салтыков до ссылки в 1848 г. был сослуживцем Д. по Военному министерству.

477 *конкубинат* — сожительство.

478 Вероятно, А. С. Хомяков рассуждал о русской истории, о правах сословий («грамоты»), может быть — о самоуправлении («гласные» — выборные люди).

479 *«Русские святки»* — водевиль П. А. Каратыгина (*ОЗ,* 1856, № 3). Первые спектакли в Александринском театре — 18 и 25 января 1856 г. Д., очевидно, был на втором из них (но 25-го — среда, Д. ошибочно называет понедельник), ибо в этот же вечер ставился упомянутый выше «Ревизор» Гоголя.

480 *пастиш* — литературная подделка.

481 *кипсек* — роскошное издание иллюстраций.

482 «Таинственной маской» оказалась Л. П. Шелгунова, позднее описавшая, как она «интриговала» Д., Тургенева и Григоровича. См.: *Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л.* Воспоминания: В 2-х т. М., 1967, т. 2. с, 61—62. Вскоре она станет гражданской женой М. Л. Михайлова.

483 См. примеч. 393.

484 Л. Н. Толстой вернулся из Орла, куда он ездил к умиравшему брату Дмитрию.

485 Тургенев был редактором готовящегося издания «Стихотворений» А. А. Фета в 2-х т. (СПб., 1856). Фет считал издание «настолько же очищенным, насколько изувеченным» редактурой (*Фет А. А.* Мои воспоминания. М., 1890, ч. 1. с. 105).

486 Ср. в письме Д. к Боткину от 3 февраля 1856 г.: «В ареопаге же прочел я сцен 10 из „Короля Лира“,— успех превзошел все мои ожидания, а Толстой покупает себе Шекспира и хочет с сим великим мужем примириться» (*Письма,* с. 45).

487 Подробное изложение постановки пьесы 7 февраля см.: *Штакеншнейдер Е. А.* Дневник и записки (1854—1886). М.; Л., 1934, с. 117—120. Авторы «Школы гостеприимства» — Григорович, Д. и Тургенев — отказались выступать в доме придворного архитектора перед именитыми сановниками вроде Н. И. Греча, но текст пьесы предоставили устроителям (спектакль был платный, с благотворительной целью). В главных ролях (безалаберный муж, приглашающий гостей, и сварливая жена) выступили М. Л. Михайлов и Л. П. Шелгунова, утрировавшие фарсовость пьесы. В водевильном духе были представлены персонажи: действительный статский советник и волокита Щепетильников (его играл литератор Е. А. Моллер), петербургский бонвиван Таратаев (играл подвыпивший актер-любитель И. И. Ознобишин). Штакеншнейдеры, видимо, опасались доносов; дочь хозяина дома записала в дневнике: «...пророчат, что папá будут неприятности из-за этой пьесы, что нельзя было выставлять таким образом генерала и его звезду» (Там же, с. 119).

488 «Свои люди — сочтемся» (1849); постановка пьесы до 1861 г. запрещалась театральной цензурой.

489 Редакция *С* весной 1856 г. заключила с Толстым, Тургеневым, Островским и Григоровичем соглашение об их исключительном сотрудничестве в журнале. Соглашение не дало практических результатов. Подробнее см.: *Евгеньев-Максимов В. Е.* «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. Л., 1936, с. 71—72, 85—88.

490 Эта групповая фотография (Гончаров, Тургенев, Толстой, Григорович, Д., Островский), снятая С. Л. Левицким, ныне хранится в Гос. Литературном музее в Москве.

491 Точнее — «Картина семейного счастья» (1847), ранняя пьеса Островского. С исправлениями и под заглавием «Семейная картина» она была напечатана в *С* (1856, № 4).

492 Речь шла пока о перемирии, заключенном Россией с Англией, Францией, Сардинией, Турцией, и о прекращении Восточной войны. А затем представители враждующих держав, а также Австрии собрались в Париже и подписали 18 марта мирный трактат (ср. запись от 29 февраля).

[493] Дом известного армянского богача Л. Я. Лазарева находился на Итальянской ул. (ныне ул. Ракова, 11).
[494] Речь идет об известном Мариинском дворце, построенном А. И. Штакеншнейдером в 1845 г. (ныне Исаакиевская пл., 6, здание Ленгорисполкома).
[495] Будущий роман «Обломов». В начале 1856 г. Гончаровым была написана лишь 1-я часть романа (из четырех).
[496] «Не всякому слуху верь» (1850).
[497] Эти отрывочные записи датируются первой половиной 1856 г. (до отъезда в Москву в начале мая), так как они содержат сведения этих месяцев и в них встречаются и записи о событиях 1854 и 1855 гг.: возможно Д. набрасывал план мемуаров. Некоторые записи варьируются и дублируются.
[498] Заключение обязательного соглашения в *С* (см. примеч. 489) очень ожесточило конкурирующего редактора *ОЗ* А. А. Краевского.
[499] См. запись от 31 июля 1854 г.
[500] См. записи от 24 июня — 19 июля 1855 г.
[501] См. запись от 30 июня 1854 г.
[502] Обед в честь Анненкова состоялся 17 февраля 1855 г. по случаю выхода первого тома собрания Сочинений Пушкина под его редакцией. Присутствовали Тургенев, Некрасов, Боткин, Д., И. И. Панаев, М. Л. Михайлов и др. Они подписали Анненкову один экземпляр 1-го тома; текст опубликован в «Историческом вестнике» (1907, № 8, с. 512).
[503] Роман «Тысяча душ» (будет опубликован: *ОЗ,* 1858) и его персонажи.
[504] Цензоры и в конце «мрачного семилетия» 1848—1855 г. продолжали свирепствовать. Например, Н. И. Пейкер запретил в 1853 г. метеорологические таблицы: ему не понравилось там соотношение дат по старому и новому стилю. «Свирепость» не освобождала цензоров от непрерывных выговоров министра за пропуски «недозволенного». Министр А. С. Норов, с одной стороны, понимал необходимость смягчения цензуры (при нем 6 декабря 1855 г. был упразднен грозный бутурлинский «комитет 2 апреля»), а с другой — применял и крутые меры, достойные его предшественников (например, запрещение «Стихотворений» Н. Некрасова в 1856 г.). «Ловушка Фрейгангу», возможно, означает один из способов, применявшихся А. А. Краевским: если цензор *ОЗ А. И.* Фрейганг запрещал текст статьи, то редактор отдавал ее цензору *СПб. вед.* Н. И. Пейкеру, который мог и разрешить ее к печати; статья появлялась в газете, а над Фрейгангом смеялись (ср. примеч. 515).
[505] В альбоме Г. П. Данилевского (ГПБ) имеется автограф Д.: «Афоризмы Ивана Черножнижникова».
[506] См. примеч. 503.
[507] *«Плотничья артель»* — повесть А. Ф. Писемского.
[508] «Африкан» (1855).
[509] «Рудин»; Тургенев читал роман друзьям в октябре 1855 г.
[510] Так Д. назвал драму А. А. Мея «Сервиллия» (*ОЗ,* 1854, № 5).
[511] За повесть «Запутанное дело» М. Е. Салтыков был сослан в 1848 г. в Вятку; Д. или перечитал повесть, или вспомнил о ней в связи с возвращением Салтыкова в Петербург (см. запись от 15 января 1856 г.).
[512] *Пантикапея* — древнегреческое поселение на месте современной Керчи.
[513] Возможно, запись в связи с известием о смерти А. Мицкевича в Константинополе (26 ноября 1855 г.).
[514] Очевидно, имеется в виду библейская легенда о целомудренном Иосифе и жене Потифара (Бытие, 39, 7—13).
[515] Министр А. С. Норов, не без влияния своего либерального советчика проф. А. В. Никитенко, отправил в 1856 г. на пенсию цензоров Н. И. Пейкера и А. И. Фрейганга, взяв взамен И. А. Гончарова (ср. примеч. 504).
[516] Ср. запись от 25 мая 1855 г.
[517] Ср. запись от 13 мая 1855 г.
[518] Намек на басню Козьмы Пруткова (А. М. Жемчужникова) «Помещик и садовник»; впервые она будет опубликована в *С* (1860, № 3).
[519] Итальянская улица в Петербурге (ныне ул. Ракова).
[520] «Несколько слов в память юным пловцам, погибшим 21 августа 1854 г. в С.-Петербурге» (СПб., 1855; то же — Северная пчела, 1855, № 30).

521 Речь идет о крылатом выражении: «Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли», обычно приписываемом Талейрану; однако в разных вариантах эта фраза встречается еще у древних авторов.
522 *Корниш* (франц. corniche) — карниз.
523 Имеется в виду монолог Лежнева в 12-й главе романа «Рудин»: «Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает... Космополитизм — чепуха... вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет». Д., вероятно, знал, что Тургенев внес в образ Рудина некоторые черты личности М. А. Бакунина.
524 Мраморный дворец на Дворцовой наб.
525 По-видимому, речь идет о замысле будущей статьи Д. «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» (*Бдч*, 1856, № 11, 12). «Об искренности в критике» — название статьи Н. Г. Чернышевского (*С*, 1854, № 7).
526 Большинство приводимых сведений и размышлений Д. касается романов Гёте «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» (1786) и «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795—1796) и автобиографических «записок» (как называет Д.) «Поэзия и правда» (1831). Вернер — или персонаж из романов о Вильгельме Мейстере, или реальное лицо, немецкий драматург Цахариас Вернер (1768—1823). О чтении юным Гете (с сестрой) эпической поэмы Ф. Г. Клопштока (1724—1803) «Мессиада» (1773) повествуется в «Поэзии и правде» (ч. 1, кн. 2).
527 Статья Д. «Барон Штейн» (*Бдч*, 1856, № 10).
528 В марте-апреле 1856 г. происходили переговоры издателя *Бдч* В. П. Печаткина с Д. о передаче ему журнала (с согласия официального редактора О. И. Сенковского) на выгодных условиях: полная власть в журнале, освобождение от технической типографской работы, 2000 руб. жалованья в год, помимо оплаты за статьи, 3 месяца отпуска (*Письма*, с. 246). Д. согласился, в августе он уже заочно из Мариинского руководил *Бдч*, но полным первым номером в обновленной редакции стал октябрьский.
529 Для официального утверждения редактором *Бдч* Д. должен был представить в цензурный комитет аттестат о служебной деятельности (вместе с поручительствами каких-либо «известных лиц» о его поведении и познаниях; см.: *Письма*, с. 247).
530 Хотя до коронации Александра II (26 августа 1856 г.) оставалось еще несколько месяцев, но в Москве уже в ожидании наплыва зрителей взвинчивались цены.
531 В. К. Бодиско недавно вернулся из Калифорнии (США).
532 В. П. Боткин снял для себя и для Д. дачу в Кунцево, поселке под Москвой (ныне в черте города).
533 «История Англии» Маколея.
534 Народное училище в Москве; но В. П. Боткин был не директором, а почетным попечителем.
535 Очевидно, речь идет о цикле статей Н. Г. Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы» (*С*, 1855, № 12 — 1856, № 12). К моменту записи было опубликовано 5 статей из 9.
536 Комедия К. С. Аксакова. «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню» (опубликована в 1856 г. в приложении к № 1 нового славянофильского журнала «Русская беседа»).
537 Согласно дневнику Л. Н. Толстого, он, только что вернувшись из Петербурга, ездил в Кунцево к Боткину и Д. (и видел там Ап. Григорьева) 18 мая.
538 Ап. Григорьев излагал свои заветные мысли о роли народа в истории, о народности искусства, изложенные в статьях об А. Н. Островском (1855).
539 Перевод драмы Шекспира «Сон в летнюю ночь» Ап. Григорьев передал Д., опубликован в *Бдч* (1857, № 8).
540 Возможно, речь идет о драме М. А. Стаховича «Святки» (1856), но опубликована она не в *Бдч*, а в «Драматическом сборнике» (1860).
541 Повесть Е. Э. Дрианского «Лихой сосед» (*Бдч*, 1856, № 11).
542 Л. Н. Толстой был в Троице-Сергиевской лавре 19 и 20 мая.
543 22 мая Л. Н. Толстой встретил в Москве А. А. Оболенскую (урожд. Дьякову), которой он был увлечен в юности.
544 Возможно, Д. классифицировал спорящих: деист Боткин, атеист Д. и православные Григорьев и Эдельсон.

545 Вступительная статья Д. к его же переводу «Короля Лира» (*С*, 1856, № 12).
546 Врач Сергей Петрович Боткин (1832—1889).
547 «*Sartor Resartus*» (1833) — роман Т. Карлейля.
548 *Леонтьевский переулок* — ныне ул. Станиславского в Москве.
549 Ап. Григорьев был близок к известному цыганскому хору под руководством И. В. Васильева; совместно с И. В. Васильевым им создана «Цыганская венгерка».
550 *Пегов трактир* — будущий ресторан «Эрмитаж» в Москве (ныне Неглинная, 29).
551 «*Паныч*» — вариант названия повести «Лихой сосед» Е. Э. Дрианского (см. примеч. 541).
552 Первая статья Д. о повестях Л. Толстого («Метель» и «Два гусара»); см.: *Бдч*, 1856, № 9.
553 Речь идет или о статье Д. на «Журнал садоводства», издаваемый П. Л. Пикулиным (*Бдч*, 1856, № 9), или о статье Д. «Заметки о садоводстве в Петербургской губернии» (Журнал садоводства, 1856, № 12).
554 В *С* № 6 в «Заметках о журналах» Н. Г. Чернышевский резко отрицательно характеризовал отзыв Т. И. Филиппова на драму Островского «Не так живи, как хочется» (Русская беседа, 1856, № 1) и противопоставлял крайне консервативную статью Филиппова другим произведениям, опубликованным в славянофильском журнале. Это, видимо, и вызвало протесты славянофилов.
555 Проект объявления о новой редакции *Бдч*, отдельный рекламный листок.
556 *Тиволи* — увеселительное заведение И. И. Излера в Новой Деревне, пригороде Петербурга (ныне в черте Ленинграда).
557 В *Бдч* № 10 опубликованы стихотворения Некрасова «Прекрасная партия», «Школьник», «Прости», а также «В альбом (Е. П. К-у)», «На лодке» Фета.
558 *Аптекарский сад* — ботанический сад на Аптекарском острове.
559 Из письма Д. Тургеневу от 13 октября 1856 г.: «...нашел квартиру у Владимирской, с кабинетом самым великолепным во всей русской литературе, но еще не переехал. В том же доме В<ладимир> Майков, который драгоценен как помощник по редакции» (Тургенев и круг «Современника». М.; Л., 1930, с. 193). Д. поселился в доме Водова в Хлебном пер. (ныне Дмитровский пер., 16), у Владимирской пл.
560 *иногюриваны* (от франц. inaugurere) — торжественное открытие.
561 *ведомство* — цензурное управление.
562 В «Заметках о журналах» (*С*, 1856, № 11) Н. Г. Чернышевский дал очень высокую оценку 10-летнему участию Д. в *С*, личным качествам Д. как литератора и приветствовал издание нового журнала (*Бдч*) под редакцией Д.
563 Д. намеревался поместить в *Бдч* отзыв на «Стихотворения» Некрасова, но цензурное запрещение книги и печатных откликов на нее остановило работу над статьей.
564 Граф Г. А. Кушелев-Безбородко задумал издавать свой журнал; эту идею он осуществил двумя годами позднее: с 1859 г. стал выходить его журнал «Русское слово».
565 «Король Лир» в переводе Д. был поставлен в Александринском театре в 1858 г., в Малом театре в Москве — в 1859 г.
566 «*Незнакомые знакомцы*» — одноактная шутка-водевиль Оникса (псевдоним Н. И. Ольховского); с успехом шла в Александринском театре с 1855 г.
567 С этого момента Д. начинает активно действовать с целью организации Литературного фонда. См. в настоящем издании статью Б. Ф. Егорова.
568 *фестень* (франц. festin) — пир.
569 Д. писал Тургеневу 26 декабря 1856 г., что Писемский «жаждет составить труппу для великолепнейшего разыграния чего-нибудь из Гоголя, при помощи Стаховича, Садовского и разных литераторов. Этот спектакль, о котором уже слухи разнеслись по городу, есть дело весьма важное для театра, для сближения публики с литературой» (Тургенев и круг «Современника». М.; Л., 1930, с. 200).
570 В стихотворении А. Н. Майкова «Савонаролла» (*Бдч*, 1857, № 1) именем Христа творит жестокие дела монах Савонаролла и именем же Христа его казнят, поэтому требовалось разрешение духовной цензуры.
571 Л. Толстой уехал в Москву, а оттуда — за границу.
572 *брик-а-брак* (франц. bric-à-brac) — старье, хлам.

573 Эти пьесы отсутствуют в репертуаре императорских театров Петербурга и Москвы, видимо, они не были приняты к постановке.

574 Большая статья Д. «Повести и рассказы И. С. Тургенева» печаталась в *Бдч* (1857, № 2, 3, 5).

575 А. И. Ершов будет печатать в *Бдч* мемуарный цикл: «Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера Е. Р. Ш-ова» (1857, № 3—11).

576 *выборы* — дворянские выборы Петербургской губ. (избрание предводителя и других должностных лиц).

577 Д. выехал в Москву, а оттуда 14 или 15 апреля 1857 г. вместе с В. П. Боткиным — за границу. В Варшаве они были около 21—23 апреля, в Вене — с конца апреля до 11 мая, оттуда через Лейбах и Триест переехали в Венецию (с 14 — после 20 мая), а затем через Падую и Болонью — во Флоренцию (около 29 мая — после 4 июня), оттуда через Генуэю и Турин — в Швейцарию (Женева — Кларан — Женева — Экс, около 20 июня — начало июля). В Эксе Боткин остался лечиться, а Д. один отправился в Париж, куда прибыл (через Лион) около 5 июля (первое письмо из Парижа к Боткину от 7 июля 1857 г.— ГТМ); в начале августа Д. уже вернулся в Россию, съездил на 10 дней в Гдовский уезд и затем, возвратившись в Петербург, занялся редактированием *Бдч*. Осенью он тяжело заболел (видимо, усиливалась чахотка). Из письма Д. к Боткину от 18 января 1858 г.: «После жаркой журнальной работы от сентября до половины ноября я занемог <...> около двух месяцев считал себя умирающим человеком <...> видя, что я не умер, я приободрился, одолел бессонницу» (ГТМ).

<1858 г.>

578 Ср. запись Никитенко: «Собрание «Литературного фонда». Я читал проект устава. Предложено несколько изменений» (*Никитенко А. В.* Дневник: В 3-х т. М., 1955, т. 2, с. 12).

579 Речь идет о «Семейной хронике» С. Т. Аксакова (1856).

580 Роман И. А. Гончарова «Обломов» напечатан в *ОЗ* (1859, № 1—4).

581 Д. напишет некролог «Осип Иванович Сенковский» (*Бдч,* 1858, № 4).

582 П. В. Анненков уезжал за границу.

583 Председатель петербургского цензурного комитета кн. Г. А. Щербатов приглашал Д. как редактора *Бдч* явиться к начальнику III отделения кн. В. А. Долгорукому. Очевидно, правительство решило ужесточить надзор над литературой в связи со студенческими волнениями в университете в начале 1858 г. Любопытно совпадение: именно в день вызова Д., 15 марта, подал в отставку министр народного просвещения А. С. Норов, а за ним его помощник кн. П. А. Вяземский.

584 В 1858 г. с 16 по 22 марта была страстная неделя (перед пасхой) с церковными службами.

585 Д. писал Л. Н. Толстому 15 апреля 1858 г.: «Я выздоровел самым внезапным и неожиданным образом. В один прекрасный день болезнь ушла от меня так же необыкновенно, как и пришла <...> восчувствовал я сильную изобретательность и жажду деятельности» (*Чуковский К. И.* Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934, с. 260). Но, видимо, Д. начал выздоравливать раньше, в письме к Боткину от 4 марта 1858 г. он излагает свой план объединить литераторов своего круга, выкупить у В. П. Печаткина *Бдч* и издавать уже свой собственный журнал и т. п. (ГТМ; значительная часть письма опубликована Г. В. Красновым в кн.: Проблемы истории общественной мысли и историографии... М., 1976, с. 125).

ДОПОЛНЕНИЯ.

<ЗАМЫСЕЛ ДРАМЫ О СЕМЬЕ САКСОВ>

Печатается впервые по рукописи: ЦГАЛИ, ф. 167, оп. 3, № 107, л. 78—91а об. О связи драмы с повестью «Полинька Сакс» см. в настоящем издании статью Б. Ф. Егорова. В рукописи имеется обрыв текста в середине. Текст явно не завершен.

[1] Драма Д. «Жена игрока» неизвестна.

[2] *Ловелас превращается в Грандисона* — персонажи романов С. Ричардсона «Кларисса» (1747—1748) и «История сэра Грандисона» (1754); Ловелас — повеса, Грандисон — безупречный положительный герой.

<АВТОБИОГРАФИЯ>

Печатается впервые по рукописи: ГПБ, ф. 265, оп. 1, № 1. Датируется концом 1850-х гг. Автобиография приложена к письму Д. к писателю И. С. Ремезову (1828—1901): «Препровождаю к вам, милостивый государь Иван Сократович, сведения, вами требуемые. Портрет у г. Денвера готов, стало быть, и по этой части остановки быть не может. С истинным почтением имею честь быть готовым к услугам А. Дружинин».

Ремезов, возможно, намеревался издавать биографии писателей (или сочинения Д.?).

[1] Ошибка: Д. родился в 1824 г.

[2] Отряд генерала А. М. Римского-Корсакова сражался в 1799 г. в Швейцарии против войск Наполеона, под Цюрихом потерпел поражение.

[3] Камер-пажескими назывались два старших класса корпуса — второй и первый (счет велся «обратный»: шестой класс — самый младший, первый — старший); но звание камер-пажа присваивалось не всем пажам, а лишь наиболее успевающим в учебе. Д. поступил в 1841 г. сразу в предпоследний, второй класс Пажеского корпуса, а в 1843 г. закончил учебное заведение.

[4] Д. имеет в виду свои статьи «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений» (*Бдч,* 1855, № 3, 4); «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» (*Бдч*, 1856, № 11, 12); «Повести и рассказы И. С. Тургенева» (*Бдч*, 1857, № 2, 3, 5). «Разбора сочинений Гончарова» в целом Д. не помещал ни в *С,* ни в *Бдч;* известны две рецензии Д.: «Русские в Японии... И. Гончарова» (*С,* 1856, № 1), «„Обломов“. Роман И. А. Гончарова» (*Бдч*, 1859, № 12).

В. Г. ДРУЖИНИН.
А. В. ДРУЖИНИН (1824—1864) И ЕГО ДНЕВНИК...

Публикуется впервые по рукописи: ЦГАЛИ, ф. 167, оп. 1, № 3, лл. 1—11 об. Воспоминания племянника писателя Василия Григорьевича Дружинина (1859—1937), этнографа, члена-корреспондента АН СССР, содержат уникальные сведения о семье, о быте Д. в имении Мариинское, о судьбе архива Д. после его смерти. Из приводимых сведений вызывает сомнение год рождения матери Д.— 1774 (она родила Д. в 50-летнем возрасте?). Но если она с мужем-офицером участвовала в Итальянском походе 1799 г., то родилась она никак не позже 1780—1781 гг., так что ошибка могла быть допущена не более чем на 6—7 лет.

[1] Имеется в виду Итальянский поход суворовской армии в 1799 г.

[2] *экзекутор* — чиновник, ведавший в канцелярии хозяйственными делами и надзором за порядком.

[3] Акварельный рисунок П. А. Федотова, изображающий трех братьев Дружининых (см. в наст. томе), опубликован в кн.: *Гулевич С. А.* История лейб-гвардии Финляндского полка. СПб., 1907, ч. 4, отд. 2, с. 16.

[4] В. Г. Дружинин сильно преувеличивает «нецензурность» этих стихотворений; см.: «Дружинину», «Загадка», «Послание к Лонгинову» (*Некрасов,* I, 413, 424—427).

[5] Предание ошибочное: роман Григоровича «Рыбаки» печатался в *С* 1853 г., а поездка его в Мариинское состоялась в 1855 г.

[6] Эти листы неизвестны.

[7] Имеется в виду сб.: XXV лет, 1859—1884: Сб., изданный комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884.

[8] Неточно; опубликовано было только одно письмо Гончарова к Д. в кн.: Временник Пушкинского дома, 1914. Пг., 1915.

[9] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Письма, 1845—1889. Л., 1924. В. Г. Дружинин передал для публикации 5 писем.

[10] Неточно; большинство из них (7) уже было опубликовано в ст.: *Чуковский К. И.* Молодой Толстой — Звезда, 1930, № 3—5; еще одно письмо появится в свет уже после 1933 г., когда были написаны воспоминания В. Г. Дружинина; см.: *Чуковский К. И.* Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934, с. 75.

[11] Журнал «Библиография» неизвестен; В. А. Соловьева-Трефилова издавала журнал «Русский библиофил» (1911—1916); объявление об издании Дневника Д. не обнаружено.

[12] К Мариинскому этот рисунок не имеет отношения: Тургенев жил там в 1854 г., Григорович — в 1855, Боткин вовсе никогда не был; рисунок был сделан, вероятно, в Петербурге (или в Мариинском по памяти).

[13] В настоящее время письма Боткина к Д. находятся в архиве Д. (ЦГАЛИ).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Бдч — Библиотека для чтения.

Белинский — *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1953—1959. Т. 1—13.

ГПБ — Отдел рукописей Гос. Публичной библиотеки им.

М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

Григорович — *Григорович Д. В.* Литературные воспоминания. М., 1961.

ГТМ — фонд В. П. Боткина в архиве Гос. музея Л. Н. Толстого в Москве.

Дружинин — *Дружинин А. В.* Собр. соч. СПб., 1865—1867. Т. 1—8.

Некрасов — *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем. М., 1948—1953. Т. 1—12.

ОЗ — Отечественные записки.

Письма — Письма к А. В. Дружинину (1850—1863). М., 1948.

РМ — Русская мысль.

С — Современник.

СПб. вед. — Санкт-Петербургские ведомости.

ЦГАЛИ — Центральный гос. архив литературы и искусства в Москве.

RC — Revue contemporaine.

RP — Revue de Paris.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН [1]

---

[1] В указатель не включены имена из раздела «Приложения». Имена случайных знакомых Д., сведения о которых не удалось разыскать, в указатель не вошли.

СОДЕРЖАНИЕ

А. В. Дружинин
ПОВЕСТИ
ДНЕВНИК

Утверждено к печати
Редколлегией серии
«Литературные памятники»
АН СССР

Редактор издательства
Ф. И. Гринберг

Художественный редактор
Н. Н. Власик

Технический редактор
Н. П. Кузнецова

Корректоры
Р. С. Алимова, В. А. Бобров, Л. Д. Изотова

ИБ № 20803

Сдано в набор 31.01.86.
Подписано к печати 16.05.86.
Формат $70 \times 90^1/_{16}$. Бумага кн.-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 37,9. Усл. кр.-отт. 39,5
Уч.-изд. л. 41,7. Тираж 30 000 экз. Тип. заказ 1587.
Цена 5 руб. 50 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука».
117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
2-я типография издательства «Наука».
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6